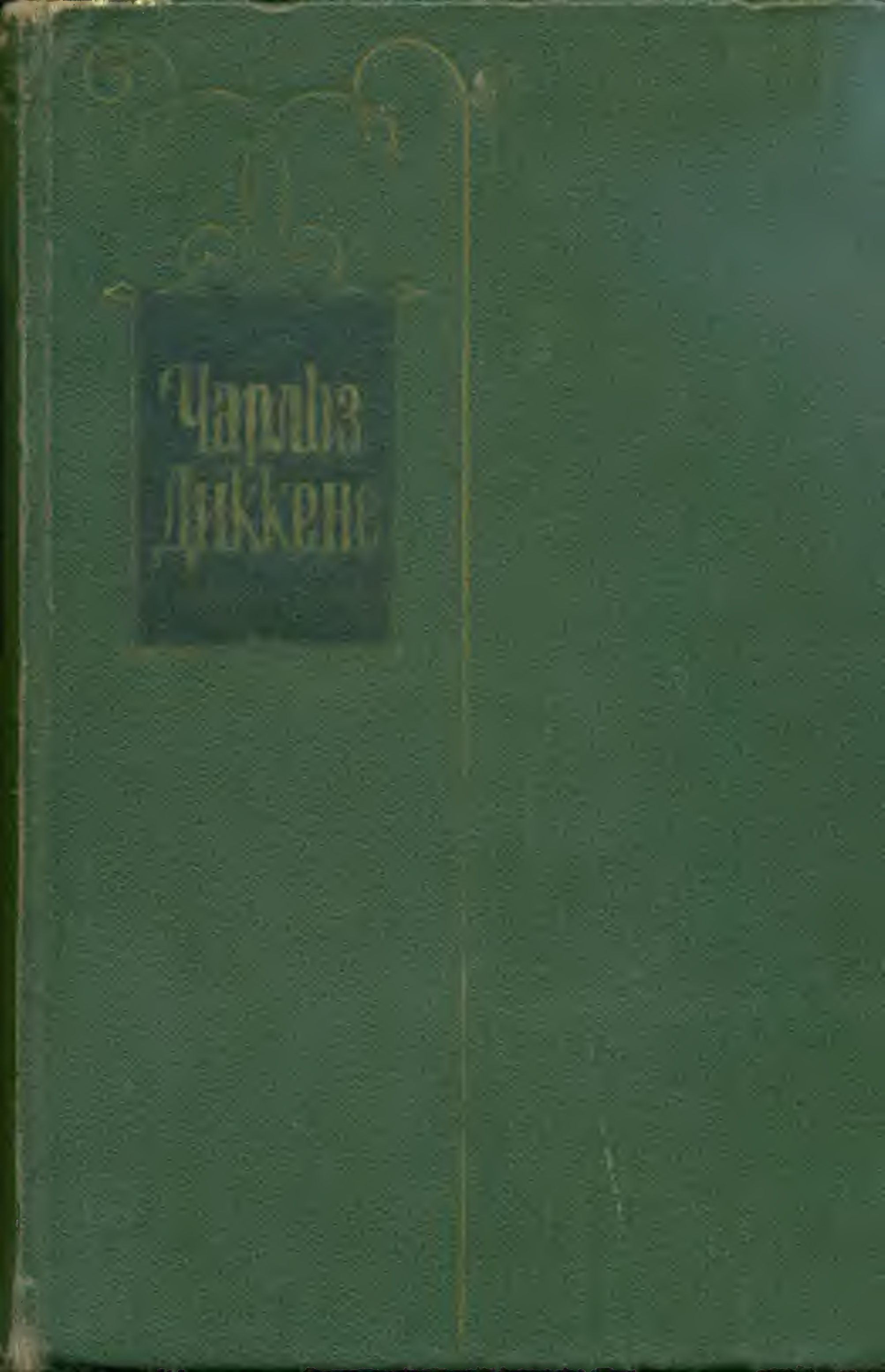

Чарлз
Диккенс

# ЧАРЛЬЗ
# ДИККЕНС

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
## В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

*Под общей редакцией*
*А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ*

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
*Москва 1962*

# ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

## ТОМ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

**ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ ПО ТОРГОВЫМ ДЕЛАМ**

**РАССКАЗЫ 60-х ГОДОВ**

*Переводы с английского*

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

*Москва 1962*

CHARLES DICKENS

# THE UNCOMMERCIAL TRAVELLER

***1860—1869***

# STORIES

**Somebody's Luggage (1862), Mrs. Lirriper's Lodgings (1863), Mrs. Lirriper's Legacy (1864), Holiday Romance (1868), George Silverman's Explanation (1868).**

*Иллюстрации*
*Ф. БАРНАРДА, ДЖ. ПИНВЕЛЛА, Э. ДЭЛЗИЛА, Х. ФЕРНИСА*

*Редактор* М. БЕККЕР

# ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ ПО ТОРГОВЫМ ДЕЛАМ

I

*О характере его занятий*

Позвольте представиться. Скажу вам сначала о том, кем я не являюсь. Среди трактирщиков у меня нет ни братьев, ни друзей, среди горничных — воздыхательниц, среди лакеев — почитателей, и коридорные не смотрят на меня с восторгом и завистью. Мне не спешат зажарить бифштекс, язык, кусок ветчины или для меня одного испечь пирог с голубями; гостиницы не шлют мне на дом объявлений, не оставляют номеров, увешанных, словно шпалерами, пальто и пледами для путешествующих по железной дороге, и нет в Соединенном Королевстве ресторатора, который бы слишком интересовался, какого я мнения о его коньяке или хересе. Когда я нахожусь в пути, я не имею обычно скидки по счетам и, возвращаясь домой, не получаю комиссионных. Я не знаю, где что идет по какой цене, и, если б даже пришлось, не сумел бы всучить человеку вещь, которая ему не нужна. Когда я путешествую по городу, меня не увидишь на козлах экипажа, снаружи напоминающего новехонький легонький фургон для перевозки фортепьяно, а внутри печь, в которую пекарь вздумал уложить в несколько рядов какие-то плоские коробочки. Когда я путешествую по провинции, меня не часто увидишь в двуколке и уж никак не встретишь на

маленькой станции, где я стоял бы в ожидании увеселительного поезда вроде друида, окруженного горой образчиков величиной с целый Стонхендж *.

И все же, если обратиться теперь к тому, кто я такой, я путешествую по Лондону и по провинции, и я всегда в дороге. Я езжу, фигурально выражаясь, от великой фирмы «Братство Человеческих Интересов» и имею самое близкое касательство к распространению духовной пищи. Попросту же говоря, мне не сидится в моих лондонских комнатах в Ковент-Гардене, и я вечно брожу то по городским улицам, то по деревенским проселкам, наблюдая малое, а иной раз великое, и то, что рождает во мне интерес, надеюсь, заинтересует и других.

Вот и все, что я могу сказать наперед о себе, как о Путешественнике не по торговым делам.

## II

### *Кораблекрушение*

Никогда прежде не случалось мне встречать новый или провожать старый год в столь безмятежном уголке. Тысяча восемьсот пятьдесят девятому оставался день жизни, и, умиротворенный, он начинал последнее свое утро на этом берегу.

Легкие тени облаков пробегали по залитому солнцем морю, и такие здесь царили гармония и покой, словно залив этот много лет уже не знал иных дней и до конца времен останется таким же, как в это утро. Вместе с медлительным дыханием моря поднимался и опускался стоявший неподалеку буксир, поднимался и опускался стоявший поближе к берегу лихтер с лодкой у борта, а на нем — и с ним заодно — безостановочно вращавшийся брашпиль и фигуры людей, методично выполнявших какую-то работу, и чудилось, что подобно приливам и отливам все они извечно присущи этому месту. Прилив начался уже часа два с половиной назад, и в нескольких ярдах от меня какой-то предмет, похожий на корягу, что сползла в море, но удержалась стоймя благодаря застрявшей между корнями

земле, слегка выступал над поверхностью и рябил набегающую волну; я бросил через него камень.

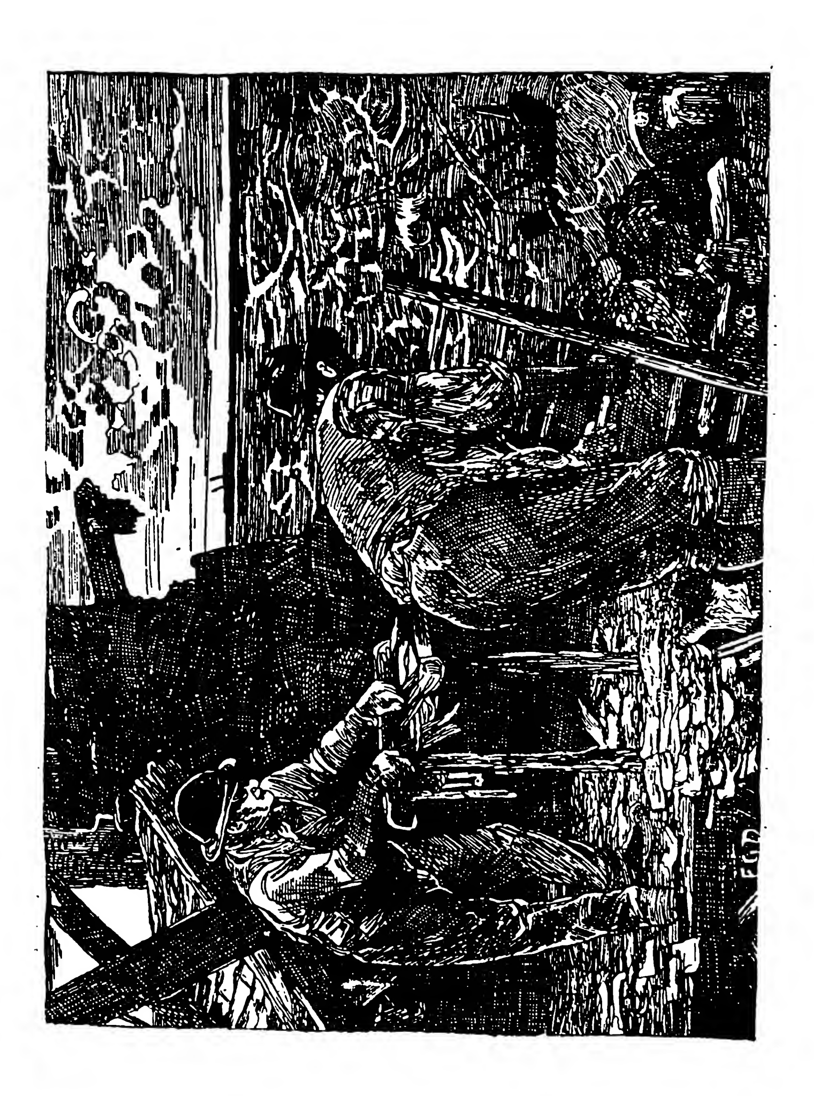
Такая во всем гармония, такой покой, такая размеренность — вверх-вниз, буксир, лихтер и лодка, и вращается брашпиль, и море все прибывает,— что я уже самому себе не казался недавним пришельцем. А ведь я стоял здесь всего лишь минуту, никогда прежде не видал этих мест и, чтобы добраться сюда, проделал две сотни миль. Только сегодня утром я поднимался вверх и скатывался вниз по горной дороге и оглядывался на снежные вершины и встречал на пути состоятельных учтивых крестьян, гнавших на рынок откормленных свиней и коров. Я видел аккуратные, благополучные домики, на кустах сушилось в необычном количестве чистое белье. По каждой скирде, где слои соломы набегали один на другой, как складки на спине носорога, было видно, что дует ветер. И не я ли четырнадцать миль вез берегового стражника, который со всеми пожитками поспешал к месту службы, и разве не совсем недавно расстались мы с ним? Все это было, но дорога упорно вела меня вниз, к этому спокойному морю, незнакомому с людскою заботой, и ничто под солнцем не казалось сейчас столь живым и реальным, как его монотонность, и его безмятежность, и тихое колыхание вод вместе со всем грузом, и безостановочное вращение брашпиля на лихтере, и едва различимый предмет у моих ног.

Так знай же, читатель, коль скоро ты надумал под звук завывающего в камине ветра полистать у своего камелька эти страницы — предмет, едва различимый в воде, был обломком погибшего на пути в Англию австралийского грузо-пассажирского судна «Ройял Чартер», которое в то ужасное утро двадцать шестого октября минувшего года развалилось на три части и навсегда ушло под воду, унося с собою сокровище по меньшей мере в пятьсот человеческих жизней.

Теперь уже никому не узнать, с какого места понесло его кормою к берегу и с какой стороны прошло оно маленький остров в заливе, который отныне и на веки веков останется в нескольких ярдах от него,— ответ на эти вопросы похоронен во мраке ночи и во мраке смерти. Здесь оно затонуло.

Пока я стоял на отмели и слова «здесь оно затонуло» звучали у меня в ушах, водолаз в своем нелепом одеянии тяжело перевалился через борт лодки рядом с лихтером и ушел под воду. На берегу, у самой границы прибоя, водолазы и рабочие соорудили себе на скорую руку шалаш из корабельных обломков и за ромом и ростбифом справили там рождество, но их плохонькая печурка не пережила этого празднества. По отмели, среди камней и валунов, были разбросаны большие рангоуты погибшего корабля и горы искореженного металла, которому ярость моря придала самые удивительные формы. Но дерево уже отбелилось, железо покрылось ржавчиной, и даже присутствие этих предметов не нарушало общего настроения картины, неизменной, казалось, многие и многие годы.

И все же, лишь два коротких месяца минуло с того дня, когда ветер, грозивший на рассвете сорвать крышу с дома, поднял с постели человека, жившего на ближайшем холме, и он, взобравшись с соседом на лестницу, чтобы закрепить кое-как стропила и не остаться без крова над головой, бросил взгляд на залив и заметил совсем близко от берега какую-то темную беспокойную массу. Они с соседом спустились к заливу и увидели, что море яростно бьет израненный корабль, и тогда они вскарабкались вверх по каменистым, похожим на лестницы без ступеней, тропам, на которых, словно плоды на ветках, лепятся гроздья хижин, и подали сигнал тревоги. И со всех сторон — по склонам холмов, мимо водопада, по лощинам, из которых море вымыло землю,— бросились к месту катастрофы каменотесы и рыбаки, обитатели этой части Уэльса, и вместе с ними бежал их священник. Напрягая все силы, чтобы устоять против ветра, полные сострадания, толпились они на берегу, а водяные горы то возникали, то рушились, бросая в них пылью и брызгами; у них перехватывало дыхание; им слепило глаза; всплески соленой пены, растекаясь, оставляли на земле шерсть из корабельного трюма; и тут они увидели, как от груды обломков отделилась лодка, и было в ней трое, но мгновенье спустя она взлетела вверх дном, и осталось лишь двое, и масса воды обрушилась на нее, и остался один, и снова взлетела она вверх дном, и этот последний ушел в морские глубины, и рука его,



торчавшая из щели разбитого днища, трепетала, словно взывая о помощи, которой нечего было ждать.

Я стоял на берегу и слушал рассказ священника, глядя в его доброе, пышущее здоровьем лицо, повернутое к тому месту, где боролась с волнами лодка. Водолазы были заняты под водой. Они поднимали обнаруженное накануне золото — тысяч двадцать пять в фунтах стерлингов. Из трехсот пятидесяти тысяч фунтов около трехсот тысяч было уже к этому времени поднято. То, что оставалось, беспрерывным потоком шло на поверхность. Часть соверенов, конечно, пропала — их поглотил песок и подобно ракушкам разнес по всему заливу,— но большая часть золотого сокровища нашлась. Поднятое золото передавали на борт буксира, где его тщательно пересчитывали. Такой неистовой силы преисполнено было море, когда оно разбило корабль, что большой золотой слиток оказался вколоченным в массивную железную балку и несколько соверенов, которые он увлек с собой, засели в ней так прочно, словно проникли в расплавленный металл. Осматривая выброшенные на берег тела, врачи заметили, что смерть в некоторых случаях последовала от сильного удара, а не от удушья. В известном смысле смерть была милосердна и пришла легко — это подтвердила и картина наружных изменений и исследование внутренних органов. Пока я беседовал со священником на берегу, нам сообщили, что со вчерашней ночи море не выбрасывает больше трупов. До начала весны, когда начнут дуть северо-восточные ветры, вряд ли следует ожидать, что их появится много. К тому же, как известно, большое число пассажиров, особенно женщин из второго класса, находилось в каютах, когда под ними разверзлась пучина и обломки развалившегося корабля обрушились на них, погребая их под собой. Один водолаз рассказывал, что он набрел на мужской труп и попытался освободить его от навалившейся сверху тяжести, но, обнаружив, что не сумеет это сделать, не изуродовав тела, оставил его там, где оно было.

В доброе лицо человека, стоявшего сейчас, как я уже говорил, рядом со мной, и хотел я заглянуть, отправляясь из дому в Уэльс. Я слышал, что этот священнослужитель предал земле десятки жертв кораблекрушения и открыл свое жилище и свое сердце для их убитых горем друзей;

слышал о том, с какой душевностью, с каким бесконечным терпением исполнял он много недель подряд самый печальный долг человека перед человеком; слышал и о том, как самозабвенно и кротко посвятил он себя заботе о мертвых и о тех, кто их оплакивал. «В рождественские праздники я должен повидать этого человека»,— сказал я тогда себе. И вот, всего лишь полчаса тому назад он распахнул передо мною калитку своего садика и встретил меня у входа.

Какая бодрость духа, какая непритязательность! Именно таков всегда истинный христианин в делах своих! За пять минут, что шли мы деревней, я прочел в этом свежем, открытом лице больше истин Нового завета, чем удалось мне сыскать по сей день во всех, столь торжественно преподанных, анафемах мирскому злу. В этой от сердца идущей речи, в которой ни слова не было о себе, мне открылось больше от священного писания, чем узнал я в жизни ото всех ханжей, ото всех этих благочестивых раздувальных мехов, обдувавших меня своим самомнением.

Через множество мелких препятствий, по лужам и глубокой грязи, по разбросанным всюду камням и высокой траве, с которых только что сошла изморозь и стаял снег, бодрым шагом поднялись мы к церквушке. Мой друг рад был дорогой опровергнуть мнение, будто местные простолюдины суеверно избегали утонувших. Напротив, они по большей части вели себя очень достойно и с готовностью ему помогали. Чтобы по такой крутизне доставить покойника в церковь, трое или четверо мужчин должны были помогать лошади, впряженной в телегу, на которой лежало завернутое в саван тело, и хотя за поездку платили по десять шиллингов, плата выходила небольшая. Здешние жители не сделались богаче от кораблекрушения. Сельдь в это время года идет косяками, но кому охота забросить сети и вытащить утопленника или утопленницу?

Ключами, которые священник держал в руке, он отпер ворота кладбища, затем двери церкви, и мы вошли.

Это старая-престарая церковка, и считают, что первая церковь была воздвигнута на этом месте тысячу лет назад, а то и больше. Кафедра и другие предметы церковной обстановки ушли отсюда вместе с прихожанами и, уступив место мертвым, перебрались по соседству, в школьную

комнату. Даже десять заповедей нечаянно сдвинули с места, когда вносили тела, и черные деревянные доски, на которых они написаны, скосились, а на каменном полу под ними и на каменном полу по всей церкви, везде, где клали тела, остались темные пятна. До сих пор, почти без помощи воображения, легко угадать, как лежали трупы, где была голова, а где ноги. И еще долго после того, как в Австралии перестанут рыть золото,— пожалуй что целую сотню лет,— можно будет различить на каменном полу этой церквушки потускневшие следы гибели австралийского судна.

Был день, когда здесь ждало погребения сорок четыре трупа. В доме моего попутчика из каждой комнаты слышались причитания и плач, а он часами трудился здесь в окружении застывших торжественно лиц, что смотрели на него невидящим взором и не могли отверзнуть уста, и внимательно изучал их висевшее клочьями платье, срезал пуговицы, метки с белья, локоны волос — все, что помогло бы установить их личность, выискивал какой-нибудь шрам, сломанный или подагрический палец на руке или ноге, сличая это с перечисленными в письмах приметами. «У моего дорогого брата были серые глаза и приятная улыбка»,— писала одна сестра. Бедная сестра! Как хорошо, что ты далеко отсюда и таким он остался в твоей памяти!

Женщины из семьи священника, его жена и обе свояченицы, часто приходили к покойникам. Это сделалось их жизненным долгом. Всякий раз, когда в доме появлялась еще одна обездоленная, они, движимые жалостью, шли сравнить то, что узнали из ее слов, с тем, что сегодня было ужасной правдой. Иногда, вернувшись, они могли сказать: «Я нашла его», или: «По-моему, она там». Случалось, что родственницу усопшего, которая не в силах была видеть все, что творилось в церкви, вводили туда с завязанными глазами. Со словами утешения ее подводили к месту, где лежал труп, и когда удавалось уговорить ее, чтобы она взглянула на него, она произносила только: «Это мой мальчик!» — и с пронзительным воплем падала бездыханной на бездыханное тело.

Он скоро заметил, что у женщин метки на белье часто не совпадали со всеми другими, совершенно достоверными

приметами; это заставило его обратить внимание на то, что самые метки нередко бывали разные на белье одной и той же покойницы, и тогда он понял, что все их платье смешалось в кучу и одевались они в тревоге и спешке. Опознать по одежде мужчин оказалось чрезвычайно трудно — значительная часть их была одета одинаково, в платье, что продается в магазинах и матросских лавках и шьется не на заказ, а сотнями штук. Многие мужчины везли с собой попугаев и имели при себе счета, полученные при покупке птиц; у других лежали в карманах или были зашиты в поясах векселя. Иные из этих документов, тщательно расправленные и высушенные, выглядели в тот день не хуже страниц этой книги, если их в обычной обстановке перелистать три или четыре раза.

В этой глуши оказалось не просто получить даже обычные для города средства дезинфекции. В церкви курили смолой, единственным, что было под рукой, и сковорода, на которой она кипела, все еще стояла здесь на жаровне, полной пепла. У престола, вся в песке и водорослях, просоленная и размокшая, стояла снятая с утонувших обувь — башмаки старателей, которые пришлось разрезать, чтобы стащить с ноги, стоптанные мужские ботинки с верхом из грубой кожи,— и всякая другая.

Из церкви мы прошли на кладбище. Здесь к тому времени было погребено сто сорок пять выброшенных на берег жертв кораблекрушения. Тех, кого не удалось опознать, священник похоронил по четыре в одной могиле. Каждого покойника он подробно описал и занес под номером в свою книгу и соответствующие номера проставил на каждом гробу и на каждой могиле. Опознанные тела он похоронил в другой части кладбища в отдельных могилах. В нескольких случаях, когда прибывшие издалека родственники находили в его книге приметы своих близких, тела были извлечены из общих могил и после опознания похоронены поодиночке, чтобы те, кто оплакивал их, могли воздвигнуть над их прахом надгробный камень. Всякий раз он при этом вторично исполнял заупокойную службу; жена и свояченицы помогали ему. Останки несчастных, когда их снова извлекали на свет божий, не выдали следов разрушения — мать-земля уже приняла их в свое лоно. Покойников хоронили в их собственном платье.

Чтобы удовлетворить необычайную нужду в гробах, он приспособил к делу всех местных жителей, умевших обращаться с инструментом, и они работали без воскресений с утра до ночи. Гробы были сколочены аккуратно; на берегу я видел два из них, ожидавших своих жильцов у развалин каменного домика, что стоит неподалеку от шалаша, где пировали на рождество. А здесь, на погосте, уже вырыта была общая могила. Могилы погибших заняли большую часть этого скромного кладбища, и деревенские жители начали опасаться, что скоро для них не останется места в своей земле, рядом с дедами и внуками. Дом священника был в двух шагах от погоста, и мы зашли туда. Его белый стихарь висел у самых дверей, чтоб можно было в любой момент надеть его для заупокойной службы.

В сих печальных обстоятельствах истинным утешением было неутомимое рвение этого доброго служителя божия. Ничто и никогда не казалось мне столь достойным восхищения, как те спокойствие и естественность, с какими он и его домочадцы относились ко всему, что выпало им свершить, усматривая в том лишь простой свой долг. Рассказывая о случившемся, они говорили с глубоким сочувствием о тех, кто потерял своих близких, и если заводили речь о себе, то не для того, чтобы подчеркнуть, как трудно пришлось им в эти тяжелые дни, а лишь затем, чтобы поведать, скольких друзей они приобрели и сколь трогательны были изъявления людской благодарности. Членом этой семьи следует считать и брата священника, настоятеля двух соседних приходов, который похоронил на своем кладбище тридцать четыре трупа и сделал для усопших не меньше, чем его брат. Он тоже был здесь со своими аккуратными записями, и он молчал о своих трудах так же, как и все остальные. За все это время, до получения накануне почты, один только брат священника написал родным и друзьям погибших тысячу семьдесят пять писем. И так мало притязали оба на внимание к себе, что мне удалось узнать все это только путем деликатных расспросов при удобном случае. Лишь после того, как я не раз заговаривал со священником о том, какую ужасную картину смерти пришлось ему наблюдать своими глазами, чтоб утешить живых, он заметил мимоходом, нисколько не утратив своей жизнерадостности, что и впрямь не мог

какое-то время ни есть, ни пить,— разве что возьмет кусок хлеба да выпьет глоточек кофе.

Эта благородная скромность, эта чудесная простота, эта душевная чуткость, побуждавшие его избегать всего, что хоть мало-мальски могло усугубить тяжесть, лежавшую у меня на сердце, заставили меня блаженно перенестись с погоста, где, как символ Смерти, зияла отверстая могила, в Жилище Христианина, стоявшее бок о бок с нею, как символ Воскресения из мертвых. Думая о первой, я всегда теперь буду думать и о втором. Они всегда будут соседствовать в моей памяти. И если б я потерял на этом несчастном судне дорогого мне человека и проделал путь из Австралии, чтобы взглянуть на его могилу, я бы уехал, вознося богу хвалу за то, что так близко от кладбища стоит этот дом и осеняет его в светлые дни, а с приходом тьмы заливает светом своих огней землю, в которой господь упокоил близкое мне существо.

В ходе разговора мы, естественно, коснулись описаний погибших на судне и благодарственных писем родных и друзей, и мне захотелось просмотреть некоторые из них. Меня тотчас усадили перед грудой обведенных черной каймой бумаг, и я сделал оттуда следующие извлечения.

Мать пишет:

«Достопочтенный сэр!

Среди тех, кто погиб у вашего берега, был и мой любимый сын. Я только начала поправляться после тяжелой болезни, а это ужасное горе вызвало рецидив, так что я не в состоянии сейчас приехать и опознать останки дорогого дитяти, которого я лишилась. Моему любимому сыночку было бы на рождество шестнадцать лет. Он был очень ласковый и послушный мальчик и рано выучил катехизис. Мы надеялись, что он будет украшением британского флота, но «не так судил господь». Я убеждена, что сыну моему даровано будет спасение. Как он не хотел идти в свое последнее плаванье! Пятнадцатого октября я получила от него письмо из Мельбурна, помеченное двенадцатым августа; он был в чудесном расположении духа и в конце писал: «Пожелай мне попутного ветра, мама, а я постараюсь поймать его в паруса, и милостью божией снова

увижу тебя и дорогих малюток. До свидания, дорогая мама, до свидания, дорогие родители. До свидания, дорогой братец». Увы, это было его последнее «прости». Я не прошу извинения за это письмо, ибо сердце мое полно печали».

Муж пишет:

«Милостивый государь!

Вы окажете мне большую любезность, если сообщите, обозначены ли инициалы на кольце и кольце-держателе, которые, как сообщает «Стандарт», найдены в прошлый четверг и находятся сейчас у Вас. Право же, милостивый государь, у меня недостает слов, чтобы по заслугам возблагодарить Вас за Ваше доброе отношение ко мне в тот ужасный день. Скажите, чем могу я быть Вам полезен? И не напишете ли Вы несколько слов мне в утешение — ибо я близок к безумию».

Одна вдова пишет:

«Я нахожусь в таком состоянии, что я и мои друзья решили, что лучше схоронить дражайшего моего супруга там, где он сейчас пребывает,— и, как бы мне ни хотелось, чтоб все было иначе, приходится покориться судьбе. То, что я слышала о Вас, позволяет мне надеяться, что похороны будут обставлены самым приличным образом. Раз душа отлетела, не все ли равно, где покоятся бренные останки, хоть тем, кто еще ждет своего часа, дóлжно проявить, поелику возможно, свою любовь к усопшему. Мне отказано в этом утешении, но такова уж воля господня, и я стараюсь смириться. Когда-нибудь я, верно, сумею посетить Ваши края, увидеть место, где покоится мой супруг, и воздвигнуть в память о нем скромный могильный камень. Не скоро, о, не скоро, забуду я ту ужасную ночь! Не найдется ли в Бангоре или его окрестностях лавки, откуда я могла бы выписать картинку с видом Молфри или церкви Ланальго, память о которых я всегда буду свято хранить в своем сердце?»

Другая вдова пишет:

«Нынче утром я получила Ваше письмо и от души благодарю Вас за попеченье о прахе любимого моего мужа и за добрые чувства, которые Вы мне высказали, как то и

подобает христианину, скорбящему обо всех, кто, как и я, убит горем. Да поможет Вам бог в этом великом испытании, и да благословит он Вас и всех Ваших близких. Быстротечное время уносит своих сыновей, но незабвенное Ваше имя останется вечным примером бескорыстия, и сколько б ни минуло лет, многие вдовы будут вспоминать о Вашем благородном деянии, и слезы благодарности будут течь по их щекам, как дань сердечной признательности, когда все остальное навеки забудется».

Вот письмо отца:

«Не знаю, в каких словах высказать благодарность за то внимание, которое в столь печальных обстоятельствах оказали Вы моему сыну Ричарду, приезжавшему попрощаться со своим дорогим братом, и за то радение, с коим отслужили Вы прекрасный заупокойный молебен над останками моего несчастного сына. Да будет божье соизволение молитве Вашей достичь престола всевышнего, чтобы заступничеством Христовым душа моего ребенка принята была в царствие небесное.

Его любящая мать просила меня передать Вам сердечную признательность».

Лица, посетившие дом священника, присылали такие письма:

«Дорогие и незабвенные друзья!

Благополучно прибыв сюда вчера утром, я отправляюсь дальше по железной дороге.

Всякий раз, когда я вспоминаю о Вас и Вашем гостеприимном доме, сердце мое переполняется благодарностью. Чувства мои к Вам не передашь словами. Я умолкаю. Пусть же господь воздаст Вам полною мерой. Не называю имен, но обнимаю вас всех».

«Мои дорогие друзья!

Я молчала до сих пор потому, что лишь сегодня впервые после приезда поднялась с постели.

Если б сбылась моя последняя печальная надежда и мне удалось обрести тело моего горячо оплакиваемого сына, то сейчас, по возвращении домой, это было бы для

меня некоторым утешением, и, мне думается, я смирилась бы, сколько возможно, со своей участью.

Боюсь, что теперь мне почти нечего больше ждать, и я нахожусь в неутешном горе.

Мою скорбь смягчает лишь Ваше великодушное согласие принять на себя заботы об этом деле, и я твердо уверена, что Вы сделаете все, что в Ваших силах, дабы разыскать и похоронить моего дорогого сына, как мы с Вами о том уговорились перед моим отъездом с места этой ужасной катастрофы.

Я очень хотела бы знать, не обнаружилось ли за это время что-нибудь новое. Я и без того многим Вам обязана, но не будете ли Вы так добры написать мне? Если Вам удастся опознать тело моего несчастного мальчика, сообщите немедленно, и я тотчас же приеду.

Не выразить словами, скольким обязана я Вам за Вашу поддержку, доброту и участие».

«Мои любимые друзья!

Я вернулась вчера благополучно домой, и ночной сон освежил и успокоил меня. Я снова должна повторить, что нет слов, которые могли бы передать мою благодарность Вам. Память о Вас я сохраню в глубине своего сердца.

Я видела его и, как никогда, осознала свое несчастье. Какую горькую чашу довелось мне испить! Но я покорно склоняюсь перед неисповедимой волей господней. Я не щажу себя; я только ищу в себе силы для смирения».

На борту «Ройял Чартер» было несколько евреев, и благодарность их единоверцев с большим чувством выражена в нижеследующем письме, присланном из канцелярии главного раввина:

«Достопочтенный сэр!

Не могу не выразить Вам глубокую признательность от лица тех членов моей общины, чьи близкие оказались, к несчастью, среди погибших во время крушения «Ройял Чартер». Поистине Вы, подобно Воозу *, «не оставили добротой своей ни живого, ни мертвого».

Вы явили доброту свою не только к тем, кого приняли столь радушно в своем доме и кому столь деятельно помогли исполнить последний долг, но и к мертвым единоверцам нашим, озаботясь, чтобы они были похоронены в своей земле и по своему обряду. Да вознаградит Вас отец небесный за Вашу гуманность и человеколюбивые Ваши деяния!»

Еврейская община города Ливерпуля, в письме, подписанном секретарем, так выразила свои чувства:

«Достопочтенный сэр!

Старосты нашей общины с большим удовлетворением узнали, что, положив в местах недавнего крушения «Ройял Чартер» столько неустанных и удостоенных всеобщего признания трудов, Вы весьма любезно употребили немало ценных усилий, дабы оказать содействие тем нашим единоверцам, которые вознамерились похоронить своих друзей в освященной земле, по обряду и ритуалу нашей религии.

Старосты просили меня при первой возможности выразить Вам от лица общины самую теплую признательность и благодарность и пожелать долгих лет счастья и благоденствия».

Джентльмен иудейского происхождения пишет:

«Достопочтенный сэр!

Пользуюсь случаем сердечно поблагодарить Вас за незамедлительный ответ на письмо, в котором я сообщал все подробности о своем горячо оплакиваемом брате, и прошу Вас принять изъявления искренней признательности за помощь и содействие, столь охотно оказанное Вами при эксгумации останков моего бедного брата. Когда в столь скорбных и горестных обстоятельствах встречаешь людей, так дружески к тебе расположенных, это в какой-то мере служит утешением и притупляет душевную боль. Его судьба кажется особенно тяжелой, если припомнить все обстоятельства, которые ей сопутствовали. Семь лет назад он покинул свой дом и три года спустя приехал повидаться с семьей. Он помолвился тогда с очень милой девушкой. В чужих краях ему улыбнулась удача, и он возвращался домой, чтоб исполнить свою священную клятву.

Он ничего не застраховал и все, что у него было, вез с собой в золоте. Мы получили от него весточку, когда корабль заходил в Куинстаун; он был тогда полон упований, а через несколько коротких часов все пошло прахом».

•

Проникнуты скорбью, но слишком сокровенны, чтобы приводить их здесь, многочисленные упоминания о медальонах с женскими портретами, которые эти грубые мужчины носили на шее (там их нашли после их смерти), о срезанных локонах, страничках из писем и многих, многих других знаках затаенной нежности. На одном трупе, выброшенном волнами на берег, нашли напечатанным на листе бумаги с краями, вырезанными в форме кружев, такое, единственное в своем роде (и оказавшееся бесполезным) заклинание:

*Благословение*

Пусть благословение божие пребудет с тобою. Пусть солнце славы озаряет ложе твое и дорога изобилия, счастья и почестей всегда будет открыта перед тобой. Пусть никакая печаль не омрачит дни твои и горе не лишит тебя сна. Пусть голова твоя мирно покоится на мягком своем изголовье и приятные дремы сопутствуют ночному твоему отдохновению; а когда годы пройдут долгой чредою, и радости жизни наскучат тебе, и смерть легкой рукою накинет на тебя свое покрывало, чтоб не пробудился ты больше к жизни земной, пусть ангел господень стоит над одром твоим и да озаботится он, чтобы резкий порыв ветра не затушил раньше срока угасающий светильник жизни.

У одного матроса на правой руке была такая татуировка — спаситель на кресте; чело распятого и его одеяние забрызганы кровью; ниже изображены мужчина и женщина; с одной стороны от распятия — лунный серп, нарисованный в форме человеческого лица, с другой — солнце; над распятием буквы X. B. На левой руке изображена танцующая пара, сделана попытка обрисовать женское платье; внизу подписаны инициалы. У другого матроса — на правой руке внизу вытатуированы моряк и женщина; моряк держит английский флаг; лента, при-

крепленная к древку, развевается над головою женщины, и она сжимает в руке один ее конец. На верхней части руки вытатуирован спаситель на кресте; верх распятия окружен звездами, и одна большая звезда наколота тушью сбоку. На левой руке флаг, сердце, пронзенное стрелой, лицо и инициалы. Эту татуировку удалось совершенно ясно различить под обесцвеченным кожным покровом изуродованной руки, когда кожа была осторожно соскоблена ножом. Вполне возможно, что обычай татуироваться так живуч среди моряков потому, что они хотят быть опознанными, если утонут и будут выброшены на берег.

Прошло немало времени, прежде чем я смог оторваться от заинтересовавших меня бумаг на столе, и я покинул это доброе семейство лишь после того, как преломил с ними хлеб и выпил вина. И совершенно так же, как я приехал сюда с береговым стражником, своим обратным попутчиком я избрал почтальона с его кожаной сумкой, палкой, рожком и терьером. Много писем, проникнутых отчаяньем, принес он за эти два месяца в дом приходского священника; много добрых утешительных ответов унес он отсюда.

По дороге я размышлял о множестве наших соотечественников, которые в грядущие годы совершат паломничество на это маленькое кладбище, и о множестве австралийцев, причастных к этой катастрофе, которые, приехав в Старый Свет, посетят это место; я размышлял о людях, написавших всю эту груду писем, что я оставил на столе, и тогда мне захотелось включить сюда этот короткий отчет. Церковные соборы, конференции, епископские послания и тому подобное могут, я полагаю, немало способствовать упрочению веры — и дай им бог! Однако, думается мне, за все время, сколько они просуществуют, им не преуспеть в служении делу господню и вполовину против того, что явил небесам этот открытый ветрам клочок гористого валлийского побережья.

Если б во время крушения «Ройял Чартер» я потерял подругу жизни, больше того, если б я потерял нареченную, если б я потерял свою юную дочь, даровитого сына или маленького ребенка, я поцеловал бы эти бережные руки, неутомимо трудившиеся в церкви, и сказал: они более всех других достойны были б коснуться праха близ-

кого моего, даже если б успокоился он в родном своем доме. Я был бы счастлив, что близкое мне существо покоится в мирной могиле неподалеку от дома, в котором живет эта добрая семья, на маленьком кладбище, где судьба свела столь многих; я вспоминал бы об этом с чувством благодарности и знал, что чувство мое справедливо.

Моя заметка немногого стоит, пока я не назову,— даровав, надеюсь, утешение многим сердцам,— имя священнослужителя, столько раз здесь упомянутого. Это преподобный Стивен Руз Хьюз из Ланальго, близ Молфри на Энглси *. Его брат — преподобный Хью Роберт Хьюз из Пенроз Олигви.

## III

### *Работный дом* в Уоппинге*

Однажды мне захотелось на досуге отправиться из Ковент-Гардена в Ист-Энд и, обратив свои стопы к этой стороне круга столичного, я миновал Индиа-Хаус *, раздумывая от нечего делать о Типу-саибе * и Чарльзе Лэме *, миновал своего маленького деревянного мичмана, ласково потрепав его, на правах давней дружбы, по ноге в коротких штанишках, миновал Олдгетскую водокачку и «Голову Сарацина» * (его черномазая физиономия обезображена позорной сыпью реклам), пересек пустой двор старинного его соседа, Черного или Синего не то Кабана, не то Быка, который ушел из жизни неизвестно когда и чьи экипажи подевались неизвестно куда, возвратился в век железных дорог и, пройдя мимо Уайтчеплской церкви, очутился — довольно некстати для Путешественника не по торговым делам — на Торговой улице. Я весело прошлепал по густой грязи этого проспекта, созерцая с превеликим удовольствием громаду одного из зданий рафинадного завода; маленькие шесты с флюгерами в маленьких садиках, расположенных позади домов в переулках; прилегающие к улице каналы и доки; фургоны, громыхающие по булыжной мостовой, лавки ростовщиков, где корабельные помощники, оказавшись в стесненных обстоятельствах, прозакладывали такое количество секстантов и

квадрантов, что я купил бы, пожалуй, несколько штук за бесценок, имей я хоть малейшее представление о том, как с ними обращаться, и свернул, наконец, направо, в сторону Уоппинга.

Я не собирался нанять лодку у Старой Лестницы в Уоппинге или полюбоваться местами, где некая молодая особа под очаровательный старинный напев уверяла своего возлюбленного моряка, что нисколечко не переменилась с того самого дня, когда подарила ему кисет с его именем,— я не верю в ее постоянство и боюсь, что в этой сделке его надули самым бессовестным образом, да и что всегда-то он ходил в дураках. Нет, меня заставил отправиться в Уоппинг один полицейский судья из восточной части Лондона, который заявил в утренних газетах, будто уоппингский работный дом для женщин содержится очень плохо, и называл это стыдом, позором и другими страшными словами, так что я решил самолично узнать, как обстоит все это в действительности. Ведь полицейские судьи восточной части Лондона не обязательно принадлежат к числу мудрейших мужей Востока, о чем можно судить по их манере вести дела о маскарадах и пантомимах, которые устраиваются там в приходе Сент-Джордж; способ этот состоит в том, чтобы утопить дело в словопрениях сторон, привлечь к нему всех, кто к нему причастен, и всех, кто к нему не причастен, осведомиться у истца, как, по его мнению, следует поступить с ответчиком, а у ответчика — как он советует поступить с самим собой.

Задолго до того, как я достиг Уоппинга, я уже понял, что сбился с пути, и, решив, подобно турку, положиться на судьбу, отдался на волю узких улочек, в надежде так или иначе добраться, если только мне суждено, до намеченной цели. Я брел около часа куда глаза глядят и в конце концов очутился над воротами грязного шлюза с черной водой. Против меня стояло какое-то склизкое существо, отдаленно напоминавшее лоснящегося от грязи молодого человека с опухшим землистым лицом. Оно могло сойти за младшего сына этой грязной старухи Темзы или за того утопленника, что был изображен на плакате, наклеенном на стоявшей между нами гранитной тумбе в форме наперстка.

Я спросил у этого привидения, как называется место, куда я попал.

— Ловушка мистера Бейкера,— ответствовало оно с призрачной ухмылкой; звук его голоса напоминал клокотание воды.

В подобных случаях я всегда бываю озабочен тем, чтобы суметь удержаться на умственном уровне своего собеседника, и я задумался над сокровенным смыслом слов, произнесенных привидением, а оно покамест, обхватив железный засов на воротах шлюза, принялось сосать его. Вдохновение осенило меня: я догадался, что мистер Бейкер — здешний коронер *.

— Подходящее место для самоубийства,— сказал я, глядя в темную воду шлюза.

— Это вы насчет Сью? — встрепенулось привидение.— Здесь, здесь. И Полли. Опять же Эмили, и Нэнси, и Джейн.— После каждого имени он вновь принимался сосать железо.— А все от чего — все от дурного нрава. Срывает шляпку или платок, и ну бегом сюда, да и вниз головой. Завсегда здесь. Бултых — и вся недолга. В одночасье.

— Что, всегда около часа ночи?

— Да нет,— возразило привидение.— Насчет этого они не разборчивы. Для них любое время годится — и в два ночи и в три. Только вот что я вам скажу,— тут привидение прислонилось головой к засову и саркастичеcки заклокотало,— им надо, чтоб кто-нибудь мимо шел. Станут они тебе топиться, коли нет рядом бобби или еще какого типа, чтоб услышал, как вода плеснулась.

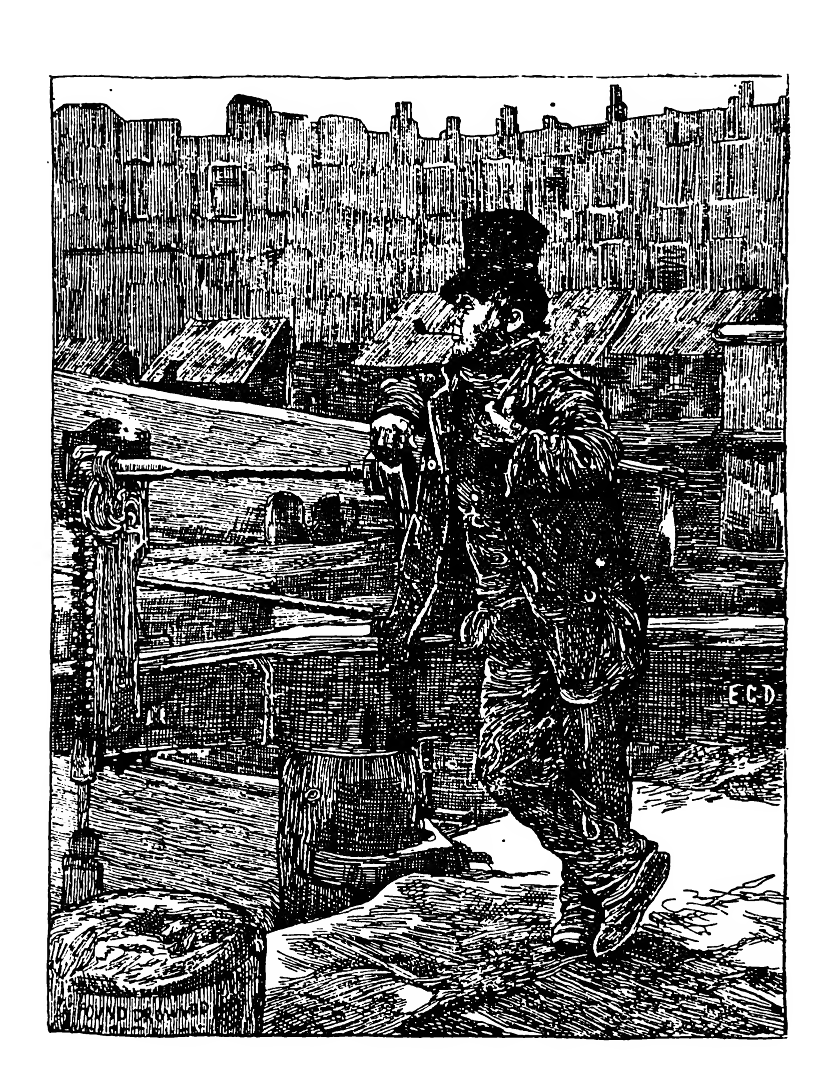
Насколько я мог уразуметь сказанное, я как раз и был тип, иначе говоря — один из представителей разношерстной толпы, и я с подобающим смирением позволил себе спросить:

— И часто удается их вытащить и вернуть к жизни?

— Насчет того, чтоб вернуть, не знаю,— заявило привидение, которому по какой-то таинственной причине очень не по душе пришлось это слово.— Тащут их в работельню, суют в горячую ванну, они и очухиваются. А насчет того, чтоб вернуть, не знаю. К чертям собачьим!

И привидение исчезло.

Поскольку оно стало обнаруживать поползновение к ссоре, я не жалел, что остался один, тем более что «ра-


E.G.D

богадельня», в сторону которой оно мотнуло своей косматой головой, была совсем рядом. Я покинул страшную ловушку мистера Бейкера, покрытую грязной пеной, словно этой водой мыли закопченные трубы, и решился позвонить у ворот работного дома, где меня не ждали и где я был никому не знаком.

Маленького роста смотрительница со связкой ключей в руке, живая и расторопная, ответила согласием на мою просьбу осмотреть работный дом. При виде ее быстрых энергичных движений и умных глаз я сразу усомнился в достоверности фактов, сообщенных полицейским судьей.

Пусть путешественник, предложила смотрительница, прежде всего увидит самое худшее. Он волен осмотреть все, что пожелает. Без всяких прикрас.

Это было единственным ее предисловием к посещению «гнилых палат». Они помещались в углу мощеного двора, в старом строении, расположившемся поодаль от более современного и просторного здания работного дома. «Гнилые палаты» представляли собой какое-то допотопное и бессмысленное нагромождение неприютных чердаков и мансард, доступ к коим можно было найти лишь по крутой и узкой лестнице, совершенно не приспособленной для того, чтобы поднимать по ней больных или спускать умерших.

В этих убогих комнатах, одни на кроватях, другие,— очевидно, для разнообразия,— на полу, лежали женщины во всех стадиях болезни и истощения. Только тот, кто привык внимательно наблюдать подобные сцены, может разглядеть здесь удивительное многообразие человеческих характеров, скрытое сейчас болезнью, общим у всех цветом лица, одинаковым положением тел. На каждом соломенном тюфяке, словно простившись уже с этим миром, покоится, лицом к стене, съежившаяся фигура; с каждой подушки безучастно смотрит неподвижное лицо — углы рта опущены, губы бескровны; и на каждом покрывале рука — такая вялая и безвольная, такая легкая и в то же время тяжелая. Но когда я остановился возле какой-то кровати и, обратившись к больной, промолвил всего лишь несколько слов, что-то от прежнего ее облика проступило в ее лице, и «гнилые палаты» сделались вдруг столь же разноликими, как и весь божий свет. Больные казались безразличными к жизни, но никто не роптал, а те, кто мог

говорить, сказали, что для них делают здесь все, что возможно, они окружены внимательным и усердным уходом, и хоть страдания их тяжелы, им не о чем больше просить. Жалкие комнаты были, насколько это возможно в подобном помещении, чисты и хорошо проветрены; если их запустить, они за неделю превратились бы в источник заразы.

По другой чудовищной лестнице я поднялся за бойкой смотрительницей еще на один чердак, немного получше, отведенный для слабоумных и душевнобольных. Тут по крайней мере было светло, тогда как окна предыдущих палат были величиной со стенку птичьей клетки, что мастерят школьники. Камин здесь был загорожен массивной железной решеткой, и по обе стороны от нее торжественно восседали две пожилые леди, на лицах коих можно было прочесть слабые следы чувства собственного достоинства — наипоследнейшее проявление самодовольства, какое только можно обнаружить в нашем удивительном мире. Они, как видно, завидовали друг другу и все свое время (как и некоторые другие, чьи камины не загорожены решеткой) тратили на то, чтобы размышлять о чужих недостатках и с презрением наблюдать за соседками. Одна из этих двух пародий на провинциальных дворянок оказалась на редкость разговорчивой и сообщила мне, что мечтает посетить воскресное богослужение, которое, по ее словам, всякий раз, как ей выпадает счастье на нем присутствовать, приносит ей величайшее утешение и отраду. Она болтала так складно и казалась существом таким веселым и безобидным, что была бы, подумалось мне, истинной находкой для судьи из восточной части Лондона; но тут я узнал, что во время последнего посещения церкви она извлекла заранее припасенную палку и принялась обхаживать ею собравшихся, чем даже заставила хор несколько сбиться с такта.

Эти две пожилые леди, разделенные решеткой — не будь ее, они вцепились бы друг другу в волосы,— сидели здесь день-деньской, затаив в душе подозрения друг против друга и созерцая припадочных. У всех остальных в этой комнате были припадки, исключая лишь сиделку, пожилую, крепкую, с большой верхней губой, обитательницу работного дома, которая стояла, скрестив руки на груди, с таким видом, словно копила силу и с трудом ее

сдерживала. Глаза ее медленно переходили с предмета на предмет, чтобы не упустить момент, когда надо будет кого-нибудь схватить и держать.

— У них, сэр, это беспрерывно,— сказала мне эта любезная особа, в коей я, к прискорбию своему, признал дальнюю родственницу моего почтенного друга миссис Гэмп *. — Ничем не упредит, прямо так враз и валится, словно сноп, сэр. А как одна повалилась, тут за ней и другая, а там глядишь, иной раз уже четыре или пять по полу катаются и рвут все на себе, господи помилуй. Вот у этой молоденькой сейчас страсть какие припадки.

С этими словами она положила руку на голову молодой женщины и повернула ее лицом ко мне. Та, погруженная в раздумье, сидела на полу впереди других. Ни в форме головы, ни в чертах лица ее не было ничего отталкивающего. У тех, что сидели вокруг нее, с первого взгляда можно было увидеть признаки эпилепсии и истерии, но самой тяжелой, как мне сказали, была она. Я заговорил с ней, но она не изменила позы и по-прежнему сидела, задумчиво подняв кверху лицо, на котором играл луч полуденного солнца.

Когда эта женщина и те, что сидят и лежат вокруг, пораженные столь тяжелым недугом, смотрят на пляшущие в луче солнца пылинки, являются ли им отзвуки воспоминаний о мире за стенами работного дома и образы здоровых людей? А летом, в часы такого раздумья, вспоминается ли ей, что есть на свете цветы и деревья, и даже горы и бескрайнее море? Или, чтоб не ходить так далеко, не начинает ли ей мерещиться туманный образ окруженной любовью, заботой и вниманием молодой женщины, что живет не здесь, а дома, с мужем и детьми, и никогда не знает этих исступленных минут? И не тогда ли она, да поможет ей бог, уступает отчаянью и валится наземь, «словно сноп»?

Не знаю, приятно или горько было мне заслышать голоса грудных детей, проникшие сквозь эти стены, из которых ушла надежда. Они как будто напомнили мне, что наш дряхлый мир не весь одряхлел и обновляется непрерывно, но ведь и эта молодая женщина недавно была ребенком, и через недолгий срок ребенок может стать таким, как она... Впрочем, неугомонная смотрительница уже

бодро устремилась прочь отсюда, и, миновав двух провинциальных дворянок, несколько шокированных при звуке детских голосов, мы прошли в прилегающую детскую.

Там было множество младенцев и несколько прелестных молодых матерей. Среди женщин попадались и уродливые, и угрюмые, и грубые. Но дети не успели еще перенять их выражение лица и, сколько б ни мешали этому иные черты, проступавшие уже на их мягких личиках, могли бы сойти за маленьких принцев и принцесс. Я доставил себе удовольствие попросить пекаря испечь поскорее сладкий пирог, который я разделил с одним юным рыжеволосым обитателем работного дома, после чего почувствовал себя много лучше. Не подкрепившись подобным образом, я вряд ли сумел бы посетить «отделение для строптивых», куда маленькая шустрая смотрительница, чья способность так хорошо исполнять свои обязанности снискала у меня к тому времени искреннее уважение, торжественно меня провела.

Строптивые щипали паклю в маленькой комнате, выходившей окнами во двор. Они сидели в один ряд на скамейке, спиной к окну, а перед ними лежала на столе их работа. Старшей из них было лет двадцать, младшей — лет шестнадцать. Сколько я ни ездил по своим не торговым делам, я так и не сумел понять, почему строптивость порождает гнусавость, но всегда замечал, что строптивые обоих полов и всех ступеней, начиная со Школы оборвышей и кончая Олд-Бейли, говорят на один голос, порожденный болезнью язычка и миндалин.

— Скажут тоже, пять фунтов! — заявила глава строптивых, кивая головой в такт своей речи.— Я и не подумаю щипать по пять фунтов. В этаком месте да на этаком харче и того, что делаем, хватит.

Это было сказано в ответ на деликатное замечание, что дневное задание не мешало бы увеличить. Дневной урок и правда был невелик; одна из строптивых уже успела выполнить его, хотя не было еще и двух часов пополудни, и перед ней лежала вся ее пакля, ничем не отличавшаяся от ее волос.

— Хорошенькое здесь местечко, смотрительница,— заявила Строптивая Номер Два.— Стоит девушке рот открыть, сейчас полисмена зовут.

— И ни за что ни про что в тюрьму тащат,— продолжала глава строптивых, выдирая клок пакли с таким видом, словно это были волосы смотрительницы.— Да только куда ни попадешь, все лучше, чем здесь. Что, съела?

Раздался смех строптивых, предводительствуемых сидевшей сложа руки Паклеголовой, которая не предпринимала самостоятельных вылазок, а командовала цепью стрелков, расположившихся за пределами словесной перепалки.

— Если всюду лучше, чем здесь,— ответствовала спокойнейшим тоном моя шустрая проводница,— то напрасно вы ушли с хорошего места.

— А я, начальница, и не уходила,— возразила Главная, выдергивая новый клочок пакли и бросая выразительный взгляд на голову своей противницы.— Так что, начальница, это все вранье.

Паклеголовая снова подняла своих стрелков, они дали залп и отошли в укрытие.

— А вот я,— воскликнула Строптивая Номер Два,— а вот я и не хотела оставаться, хоть и прослужила в одном месте четыре года, потому как место было неподходящее, так-то! Семейство было нереспектабельное. И там я узнала — то ли к счастью своему, то ли к несчастью,— что люди совсем не такие, какими хотят казаться, так-то! И коли не сделалась я там гулящей и беспутной, так совсем не по их вине — так-то!

Во время этой речи Паклеголовая снова произвела вылазку во главе своего отряда и снова ушла в укрытие.

Путешественник не по торговым делам позволил себе предположить, что Главная Строптивая и Номер Один и были теми самыми молодыми особами, которые недавно предстали перед полицейским судьей.

— Мы самые и есть,— сказала Главная.— Еще удивительно, что сейчас снова полицейского не позвали, чтоб нас забрать. Ведь здесь, только рот раскрой — сейчас в полицию.

Номер Два гнусаво захохотала, и отряд стрелков последовал ее примеру.

— Я была бы очень благодарна, если б мне помогли определиться на место или еще как отсюда выбраться,—

заявила Главная, поглядывая краем глаза на Путешественника не по торговым делам.— У меня, уж поверьте, этот распрекрасный работный дом вот где сидит.

Того же хотела и по той же причине Номер Два. Того же хотела и по той же причине Паклеголовая. Того же хотели и по той же причине стрелки.

Путешественник не по торговым делам взял на себя смелость намекнуть, что, судя по тому, как Главная сама себя рекомендует, навряд ли сыщется леди или джентльмен, которые, пожелав нанять в услужение усердную и смирную молодую особу, соблазнились бы ею или ее подружкой.

— А здесь иначе вести себя и не стоит,— сказала Главная.

Путешественник не по торговым делам предположил, что, быть может, стоило бы все-таки попробовать.

— Незачем,— возразила Главная.

— Никакого толку,— подтвердила Номер Два.

— И я была бы очень благодарна, если б мне помогли определиться на место или еще как отсюда выбраться,— сказала Главная.

— И я тоже,— присоединилась Номер Два.— Очень была бы благодарна.

Тут поднялась Паклеголовая и объявила, словно сделала открытие, которое при одном лишь упоминании о нем должно поразить своей новизной неподготовленных слушателей, что она была бы очень благодарна, если б ей помогли определиться на место или еще как отсюда выбраться. А затем,— как будто она возгласила: «Хором, девушки!» — все стрелки завели ту же песню. На этом мы с ними расстались и начали длинный обход просто старых и немощных женщин, но всякий раз, когда б я ни выглянул из любого высокого окна, выходившего во двор, я видел, что Паклеголовая и прочие строптивые следят за мной из своего окошка, ни разу не упустив случая заметить меня, едва только моя голова оказывалась на виду.

За какие-нибудь десять минут я утратил веру в россказни о счастливых временах человеческой жизни — о юности, зрелости, о неомраченной старости. За какие-нибудь десять минут свет женственности, казалось, померк

вокруг, и этот склеп мог порадовать только зрелищем чадящих и угасающих огарков.

И, что любопытно, у этих поблекших старух было свое, общее для всех, представление о том, каковы должны быть здесь требования этикета. Узнав о появлении посетителя, все старухи, которые не лежали в постели, проковыляли к скамьям и заняли свои места, образовав две ровные линии старых поблекших женщин, глядевших друг на друга через узкий стол. Никто не заставлял их усаживаться подобным образом — для них это значило «принимать гостей». По большей части они даже не пытались завязать между собой разговор, не смотрели ни по сторонам, ни на посетителя, а только жевали губами, наподобие старых коров. В некоторых палатах было приятно увидеть зеленые растения; в других — одну из строптивых, которая исполняла обязанности сиделки,— лишившись общества своих товарок, она работала неплохо. Каждая палата — дневное помещение, или спальня, или и то и другое вместе — была безукоризненно чиста и хорошо проветрена. Подобных мест я видел не меньше, чем любой путешественник не по торговым делам, но нигде не видел такого порядка.

Те, что не могли подняться с постели, были преисполнены терпения, веры в бога и находили опору в библии, лежавшей у них под подушкой. Они жаждали участия, но ни одна не желала, чтобы ей стали внушать надежду на исцеление. Здесь считалось делом чести иметь побольше недугов и быть в худшем состоянии, чем другие. День был солнечный, из нескольких окон видна была Темза, полная жизни и движения, но при мне никто не выглянул в окошко.

В одной большой палате сидели у огня в почетных креслах, словно президент и вице-президент этого славного общества, две старушки, каждой из которых было за девяносто. Младшая, которой только что исполнилось девяносто лет, была туга на ухо, но могла еще, при некотором усилии, вас услышать. В молодости она нянчила девочку, которая жила сейчас в той же комнате и была еще дряхлей, чем она. Когда смотрительница напомнила ей об этой женщине, она отлично поняла, о ком идет речь, принялась кивать головой и указала в ее сторону пальцем.

Старшая из двух, девяностотрехлетняя, держала перед собой иллюстрированный журнал, но не читала его. Она смотрела веселыми глазами, прекрасно сохранилась, хорошо слышала и была удивительно разговорчива. Совсем недавно она потеряла мужа и попала сюда немногим более года назад. В Бостоне, штат Массачузетс, с этим бедным созданием обращались бы как с человеком *, она имела бы отдельную комнату, за ней бы ухаживали и постарались бы, чтоб ее жизнь ничем не отличалась от жизни состоятельного человека за стенами работного дома. Неужели трудно было сделать то же самое в Англии для женщины, которая девяносто тяжелых и долгих лет сумела оставаться вне стен работного дома? Разве это повелели ангелы-хранители в своей, воспеваемой по сей день, хартии, когда Британия, вся в путанице аллегорий, восстала по воле небес из лазурных вод океана? *

Шустрой смотрительнице не оставалось больше ничего показать мне, и цель моего путешествия была достигнута. Стоя у ворот и пожимая ей руку, я сказал, что, помоему, правосудие обошлось с ней не слишком любезно и что мудрецы Востока не всегда непогрешимы.

Идя домой, я раздумывал о «гнилых палатах». Они не имеют права на существование. В этом не усомнится ни один элементарно порядочный и гуманный человек, который хоть раз их увидит. Но что может поделать здешнее объединение приходов? Необходимые переделки должны стоить несколько тысяч фунтов, а ему и без того приходится содержать три работных дома. Жители этих приходов едва зарабатывают себе на хлеб, а налог на вспомоществование беднякам достиг уже предела возможного. В одном бедном приходе он составляет пять с половиной шиллингов на фунт, тогда как в богатых приходах Сент-Джордж и Ганновер-сквер он составляет семь пенсов на фунт, в Пэддингтоне — около четырех, а в Вестминстере и Сент-Джеймсе — около десяти! Только уравняв повсюду этот налог, удастся сделать все что нужно в этой области. А недоделано или сделано плохо гораздо больше, чем я сумел рассказать в этих коротких заметках об одном-единственном своем путешествии не по торговым делам. И пусть мудрецы Востока, дабы иметь возможность высказать по этому поводу разумное мнение, посмотрят

на Север, на Юг и на Запад, и не мешало бы им каждое утро, прежде чем усесться в судейское кресло, наведываться в лавчонки и домишки вокруг Тэмпла, задавая себе всякий раз один и тот же вопрос: «Сколько еще способны выдержать эти бедняки, из которых многие сами находятся на пороге работного дома?»

По пути домой я получил и другую пищу для размышлений, ибо, прежде чем покинуть окрестности ловушки мистера Бейкера, я постучался в двери ист-эндского работного дома Сент-Джордж; заведение это, на мой взгляд, делает честь приходу и прекрасно управляется в высшей степени умным смотрителем. Но вот вам пример того, какие мелкие, ненужные огорчения могут причинить вздорное тщеславие и глупость.

— В этом зале собираются на молитву старики и старухи? — спросил я.

— Да.

— Есть здесь какой-нибудь инструмент, чтобы петь под него псалмы?

— Им это было бы, конечно, очень приятно, и они получили бы большое удовольствие...

— Так разве нельзя его достать?

— Фортепьяно мы можем приобрести за бесценок, но, знаете, эта ужасная разноголосица...

О мой христианнейший друг в великолепных одеждах! Лучше, много лучше, не обращаться к мальчикам-певчим — пусть люди поют сами. Мне ли оспаривать ваше мнение, но, помнится, я читал, что однажды так оно и было и что, «когда они пели гимн», Некто (на ком не было великолепных одежд) поднялся на Гору Елеонскую *.

Мне больно было думать об этих жалких мелочах, когда я шел по улицам города, где, казалось, каждый камень взывал ко мне: «Оборотись сюда и взгляни, сколько тут надо сделать!» Мне захотелось отвлечься другими мыслями, чтобы облегчить свое сердце. Однако я был так полон воспоминаниями об обитателях работных домов, что мне только удалось вместо тысячи бедняков сосредоточить свои мысли на одном из них.

— Извините, сэр,— сказал он мне как-то раз конфиденциальным тоном, отводя меня в сторону,— но я знавал лучшие дни.

— Печально слышать.

— Я, сэр, хочу пожаловаться вам на смотрителя.

— Но, поверьте, я здесь ничего не значу. Если б...

— В таком случае, сэр, пусть это останется между вами и человеком, который знавал лучшие дни, сэр. Мы со смотрителем оба масоны, сэр, и я всякий раз делаю ему знак *, а он, из-за того, что я сейчас в таких жалких обстоятельствах,— никогда не дает мне отзыв!..

## IV

### *Два посещения общедоступного театра*

Когда минувшим январем в дождливый субботний вечер я закрыл за собой в шесть часов дверь своего дома и вышел на улицу, окрестности Ковент-Гардена казались вымершими. Скверная погода заметнее в этом, знавшем лучшие времена, квартале, чем в любом другом, не успевшем еще так явно прийти в упадок. В теперешнем своем незавидном положении он плохо, много хуже других, переносит сырость. Когда начинается оттепель, он приходит в ужасное расположение духа. Памятник Шекспиру, с ни в чем не повинного носа которого падали капли дождя, горько оплакивал в тот вечер замечательные здания вокруг театра Друри-Лейн, которые в былые дни, когда театр преуспевал, тоже благоденствовали, занятые солидными конторами, а сейчас из года в год меняют своих обитателей, так что неизменным в них остается только обычай беспрерывно разгораживать первый этаж на все более тесные заплесневелые закутки, где ютятся лавчонки, выставляющие на продажу один апельсин и полдюжины орехов или баночку помады, коробку сигар и кусок фигурного мыла, не находящие себе покупателей. В теперешних невообразимых конторах, размером с голубиное гнездо, нет даже чернильницы, а только стоит модель театрального зала и какие-то перекати-поле в грязных, слишком для них высоких цилиндрах — так и кажется, что видел их на ипподроме, сопричастными к шару и разноцветным лоскутьям,— продают в сезон Итальянской оперы

билеты со скидкой... В безлюдных, покинутых ордой, бедуинских стойбищах сыскали себе приют лишь бутылки из-под имбирного пива, которые способны в такой вечер одним видом своим вызвать дрожь — когда бы не уверенность, что они пусты; от пронзительных криков мальчишек-газетчиков, доносящихся с их биржи у сточной канавы на Кэтрин-стрит, они суматошливо забились в угол, словно перепуганный преступник, получивший повестку в суд. Трубки с изображением мертвой головы в лавке курительных принадлежностей на Грейт-Рассел-стрит казались театральным memento mori [1], напоминавшим зрителям об упадке театра как общественного института. Шагая по Боу-стрит *, я готов был вознегодовать против лавок, выставляющих напоказ материалы, из которых изготовляются диадемы и королевские мантии, так что тайное театра делается явным любому обывателю. Я заметил, что иные лавчонки, причастные прежде к театру, но отошедшие потом от него, отнюдь не процветали,— совсем как известные мне актеры, решившие стать деловыми людьми, но не преуспевшие на этом поприще. Одним словом, эти улицы близ театров являли столько свидетельств банкротства и разорения, что слова «Найден мертвым» на доске объявлений у полицейского управления могли бы возвещать о гибели театра, а лужи воды близ мастерской пожарных насосов на углу Лонг-Эйкр словно бы остались после того, как владелец пустил в ход все эти машины, чтобы затушить дымящиеся остатки пожарища.

И все же в это убогое время, в этот сырой вечер, целью моего путешествия был театр. И все же через полчаса я очутился в огромном зале, способном вместить почти пять тысяч зрителей.

Что это за театр? «Ее величества»? Сравненья нет! «Королевская итальянская опера»? Сравненья нет! Здесь и слышно куда лучше, чем в последнем, и видно куда лучше, чем в обоих. В каждую часть театра ведут широкие проходы, безопасные от огня. В каждой его части — удобные буфеты и туалетные. Еда и напитки отборные, и продаются по ценам без запроса, хорошо воспитанные служительницы внимательны даже к самой простой женщине,

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

сидящей в зале; здесь все очень прилично, за всем присмотрено, во всем полная предупредительность, все достойно похвалы; на каждом шагу сказывается дух уважения к публике.

Но, верно, это дорогой театр? Были же в Лондоне не так давно театры с ценами за билеты до полугинеи, и вполовину так хорошо не поставленные. Значит, это дорогой театр? Не очень. Галерея по три пенса, другая галерея — по четыре, партер — по шесть, билет в кресла партера и в ложи — шиллинг, а в несколько литерных лож — по полукроне.

Любопытство заставило меня заглянуть во все уголки этого обширного помещения и поинтересоваться каждой разновидностью зрителей, собравшихся в зале,— их было в тот вечер, по моему подсчету, около двух с половиной тысяч. Созвездия канделябров заливали здание ярким светом, и оно было отлично проветрено. Мое чувство обоняния не отличается особой утонченностью, но во время моих путешествий не по торговым делам, предпринятых со специальной целью осмотреть некоторые места публичных увеселений, оно подчас так страдало, что мне приходилось ретироваться. А здесь воздух был чистый, прохладный, здоровый. Для этого применили разумные меры, умело воспользовавшись опытом больниц и железнодорожных вокзалов. Асфальт заменил деревянные полы; изразцы и кафель повсюду, даже в ложах, пришли на смену обоям и штукатурке, нет ни мягких диванчиков, ни ковров, ни сукон, и все сидения обиты светлым, блестящим, прохладным материалом.

Все продумано с удивительным вниманием, словно в больнице, и помещение здесь здоровое, дышится в нем легко и приятно. От фундамента до крыши здание построено так, чтобы отовсюду было хорошо видно и слышно, поэтому форма его прекрасна, и зал, если взглянуть на него с просцениума, являет превосходное зрелище, соединяя поместительность и компактность,— каждое лицо видно со сцены, и все, словно пучок лучей, сходится к единому центру, так что можно заметить любое движение среди многочисленной публики. А сама сцена, театральные механизмы, огромное помещение под сценой — легче поверить, что видишь все это в миланском

театре Ла Скала, неаполитанском Сан Карло или в парижской Гранд Опера, нежели в лондонском театре «Британия» * в Хокстоне, всего за милю к северу от больницы св. Луки, на Олд-стрит-роуд. Здесь можно поставить «Сорок разбойников» так, чтобы каждый разбойник сидел на настоящем коне, переодетый атаман привозил свои кувшины с маслом на настоящих верблюдах, и никому бы не пришлось потесниться. Это поистине замечательное сооружение возникло благодаря предприимчивости одного человека и было меньше чем за пять месяцев воздвигнуто на развалинах старого неудобного здания, потребовав затрат примерно в двадцать пять тысяч фунтов. Чтобы покончить с этой частью моего рассказа и воздать должное владельцу театра, следует добавить, что чувство ответственности, которое побудило его не ударить лицом в грязь перед публикой и сделать для нее все, что было в его силах,— весьма отрадная примета нашего времени.

Поскольку интерес для меня на сей раз составляли, по причине, о которой я скоро скажу, здешние зрители, я пришел на спектакль как один из этих двух с половиной тысяч и принялся разглядывать тех из них, кто оказался ко мне поближе. Мы составляли довольно пеструю толпу, и среди нас было много юношей и девушек, молодых людей и молодых женщин. Не следует думать, впрочем, что среди нас не было, и притом в изрядной пропорции, людей, которые пришли сюда целыми семьями. Их можно было увидеть во всех частях театра; в ложах и креслах партера сидели особенно приличные семьи, и в них насчитывалось по нескольку детей. Одежда зрителей, по преимуществу из плиса и бумазеи всех степеней заношенности и обветшалости, не отличалась ни чистотой, ни благоуханностью. Картузы у наших молодых людей были блином, а их обладатели сидели на своих местах ссутулясь, высоко подняв плечи, засунув руки в карманы; у одних шейные платки словно угри обматывали шею, у других словно сосиски свисали на грудь; у третьих завитки волос лезли на скулы, придавая им какой-то разбойничий вид. В толпе попадался всякий бездельный городской сброд, но по большей части среди нас были ремесленники, докеры, уличные разносчики, мелкие торговцы и мелкие служащие, модистки, корсетницы, башмачники, тряпичники —

люди, шедшие по сотням нелегких житейских дорог. Большинство из нас не отличалось опрятностью и ни по образу жизни своему, ни по говору не принадлежало к изысканному обществу. Но мы пришли в этот зал, где о нас позаботились, где подумали о наших удобствах, чтобы сообща весело провести вечер. Нам хотелось за свои деньги увидеть все, что полагается, мы не собирались по чьей-то прихоти хоть что-нибудь упустить, и, кроме того, мы заботились о своей репутации. Поэтому мы слушали внимательно, соблюдали образцовый порядок, а если бы какому-нибудь мужчине или юноше вздумалось его нарушить, пусть бы он лучше убирался подобру-поздорову, пока его без всякого промедления не вышвырнули вон.

Представление началось в половине седьмого с пантомимы — такой тягучей, что мне показалось, будто я совершил шестинедельное сухопутное путешествие, ну, скажем, в Индию. Главным персонажем пролога был Дух Свободы, который очень мило пел, и Четыре Стороны Света, сверкая блестками, выходили из земного шара, чтобы с ним потолковать. Нам было приятно услышать, что, кроме как у нас, нигде больше нет свободы, и мы встретили эту прекрасную весть громом рукоплесканий. С помощью аллегории (этот способ оказался ничуть не хуже любого другого) мы перенеслись вместе с Духом Свободы в королевство Иголок и Булавок, восставших против своего владыки, который призвал на подмогу их заклятого врага Ржавчину и, конечно, одолел бы их, если бы Дух Свободы в мгновение ока не превратил предводителей враждующих партий в Клоуна, Панталоне, Арлекина, Коломбину и еще в целое семейство Духов, состоявшее из на редкость толстого папаши и трех его складных сыновей. Мы все поняли, что происходит, когда Дух Свободы обратился к королю в маске и его величество, с маской, съехавшей набок, побежал переодеваться в боковую кулису. В этот критический момент нам прямо не сиделось на месте, и восторгу нашему не было границ. Миновав этот период своей жизни, мы прошли через все треволнения пантомимы. Это не была одна из тех жестоких пантомим, где людей режут, жгут, кидают в кипящие котлы или выбрасывают из окон; она была выдержана в гуманном духе, хорошо поставлена и местами забавна.

Я заметил, что актеры, игравшие лавочников и всех тех, с кем мы каждый день ездим в омнибусах, чужды были условности и очень правдиво изображали своих персонажей, из чего я заключил, что собравшуюся здесь публику можно, при желании, провести, когда речь идет о рыцарях, дамах, волшебницах, ангелах и тому подобном, но не тогда, когда дело касается жизни городской улицы. Когда, например, на сцене к двум молодым людям, одетым точно так же, как сосисочногрудые и угрешеии, приблизились полисмены и они, почуяв опасность, так стремительно свалились со стульев, что полисменам ничего не оставалось, как свалиться на них, молодые люди в мятых картузах возликовали, словно услышав тонкий намек на давно им известные обстоятельства.

За пантомимой последовала мелодрама. В течение всего вечера я имел удовольствие созерцать торжествующую Добродетель, торжествующую, как мне показалось, даже больше, чем обычно, когда она является на люди. Мы все были согласны (на это время), что честность — лучшая политика, были беспощадны к Пороку и ни под каким видом не желали примириться с преуспевающим Злодейством — нет, ни под каким видом.

В антракте почти все мы пошли подкрепиться. Многие отправились выпить пивка у стойки в соседнем трактире, кое-кто хлебнул спиртного, а большинство заполнило буфетные театра, где для нас были приготовлены сандвичи и имбирное пиво. Сандвич — такой внушительный, какой только ухватишь рукой, такой дешевый, какой только возможно,— был здесь нашим национальным блюдом, и мы встретили его с совершенным восторгом. Он оставался с нами в течение всего представления и неизменно радовал глаз, он замечательно подлаживался под любое наше настроение, и разве нашли бы мы такое утешение в слезах, если б не падали они на наш сандвич, разве смеялись бы так заразительно, если б сандвич не застревал у нас в горле, разве оценили бы так красоту Добродетели и уродство Порока, если б, замирая, дабы узнать, что выйдет из попытки Зловреда, одетого в сапоги, разлучить Невинность в цветастом ситчике с Честным Трудолюбием в полосатых чулках, не держали в руке свой сандвич? И когда упал занавес, мы уповали на то, что сандвич

скрасит наш путь сквозь дождь и туман, а дома проводит нас в постель.

Был, как уже говорилось, субботний вечер. В этот день я совершил только половину своего путешествия не по торговым делам, ибо его целью было сравнить субботнее представление с вечерней воскресной проповедью в том же театре.

Вот почему в воскресенье, как и в прошлый раз, в половине седьмого, в такой же сырой и слякотный вечер, я снова отправился в этот театр. Подкатив ко входу (я боялся опоздать, иначе пришел бы пешком), я очутился в большой толпе, которую, счастлив отметить, мое прибытие привело в отличнейшее расположение духа. За неимением лучшего, разве что грязи под ногами и закрытых дверей, толпа глазела на меня, наслаждаясь этим комическим зрелищем. Скромность заставила меня отъехать ярдов на сто и спрятаться в темный угол, после чего, сразу позабыв обо мне, они снова обратили все свое внимание на грязь под ногами и на закрытые двери из железных прутьев, сквозь которые был виден освещенный проход. Толпу составляли по преимуществу люди приличного вида, она была экспансивна и эксцентрична, как всякая толпа, и, как всякая толпа, весело подшучивала над самою собой.

Я бы еще долго просидел в своем темном углу, если б любезный прохожий не сообщил мне, что театр давно полон и что публику, которую я видел на улице, не впускают из-за нехватки мест, после чего я проскользнул внутрь и устроился в ложе просцениума, где для меня было оставлено кресло.

В театре собралось добрых четыре тысячи человек. Внимательно оглядев партер, я определил, что только там было немногим меньше тысячи четырехсот человек. Куда ни пойдешь — всюду полно; мне нелегко было пробраться по коридору позади лож к своему месту. Люстры в зале были зажжены, сцена темна, оркестр пуст. Зеленый занавес был опущен, и узкое пространство просцениума тесно уставлено стульями, на которых сидело около тридцати мужчин и две или три женщины. В самом центре, за каким-то подобием аналоя или кафедры, покрытой красным сукном, стоял проповедник. Чтобы понять, какова была эта кафедра, нужно представить себе камин, обшитый досками

и задней стенкой повернутый к публике, причем в топке стоит джентльмен, одетый в черный сюртук, и, перегнувшись через каминную полку, адресуется к залу.

Когда я вошел, читали отрывок из священного писания. За сим последовала проповедь, которую собравшиеся выслушали, соблюдая безупречный порядок, тишину и приличие. Мое внимание было обращено как на оратора, так и на слушателей, и, возвращаясь сейчас к этой сцене, я буду рассказывать и о нем и о них.

«Очень трудно,— раздумывал я, когда проповедь только началась,— доходчиво и с тактом говорить для такой большой аудитории. А без этого лучше не говорить совсем. Предпочтительней прочитать как следует отрывок из Нового завета, и пусть он говорит сам за себя. Эта толпа сейчас, бесспорно, живет в одном ритме, но надо быть чуть ли не гением, чтобы взволновать ее и заставить откликнуться».

Вслушиваясь в проповедь, я при всем желании не мог убедить себя, что проповедник — хороший оратор. Я при всем желании не мог убедить себя, что он понимает слушателей, их чувства, их образ мыслей. В проповеди был выведен некий воображаемый рабочий, с его воображаемыми возражениями против христианской веры (должным образом опровергнутыми), который был личностью не только весьма неприятной, но и на редкость неправдоподобной — гораздо неправдоподобнее всего, что я видел в пантомиме. Природная независимость характера, которой якобы обладал этот ремесленник, была передана при помощи диалекта, какого я ни разу не встречал во время своих путешествий не по торговым делам, а также посредством грубых интонаций и манер, никак не соответствующих его душевному складу, и вообще, я бы сказал, вся эта имитация так же не отвечала оригиналу, как сам он не походил на монгола. Подобным же образом выведен был примерный бедняк, который, как показалось мне, был самым самонадеянным и надутым из всех бедняков, получавших когда-либо воспомоществование, и словно напрашивался на то, чтоб пройти крайне необходимый ему курс лечения в каменоломне. Любопытно, как этот бедняк доказал, что он проникся христианским смирением. Некий джентльмен, встретив его в работном доме, обра-

тился к нему (что одно уже, по-моему, рекомендует этого джентльмена как человека весьма добродушного) с такими словами: «А, Джон! Как печально встретить тебя здесь. Как жаль, что ты так беден», на что бедняк ответствовал, раздуваясь от спеси: «Как это беден, сэр? Я — сын владыки небесного. Мой отец — царь царей. Мой отец — владыка владык. Мой отец правит всеми земными владыками!» — и так далее, и тому подобное. И все это станет уделом пасторских собратьев во грехе, когда обратятся они к благословенной книге, которую он время от времени протягивает к ним в вытянутой руке, звонко похлопывая по ней, словно это лежалый товар на распродаже,— от чего, кстати сказать, весьма страдало мое чувство благочестия. И я невольно подумал: не усомнится ли (к сожалению — ибо речь идет о вещах очень важных) сидящий впереди меня рабочий в справедливости его рассуждений о том, что недоступно человеческим чувствам, если проповедник, как нетрудно заметить, заблуждается в столь доступных всем вещах, как манеры этого и других рабочих и как лицемерие болтливого бедняка из работного дома.

И еще. Так ли уж нужно и полезно адресоваться все время к подобным слушателям как к «собратьям во грехе»? Разве мало быть просто собратьями, рожденными вчера, страждущими сегодня и обреченными завтра на смерть? Мы братья и сестры в силу человеческой природы своей, мы братья и сестры потому, что всем нам дано познать радости и печали, смех и слезы, изведать порывы к лучшему, верить в добро и наделять все, что мы любим, и все, что теряем, свойствами, которые, как мы в глубине души своей смиренно сознаем, весьма далеки от наших недостатков и слабостей,— вот почему мы братья и сестры. Услышьте слово мое! Будьте просто собратьями — этого довольно. Это слово воспримет все другие оттенки, все другие наши черты.

И еще. В этой проповеди был выведен один знакомый проповедника (персонаж не слишком оригинальный, сколько я могу судить по своим воспоминаниям о прочитанном), который ни во что не верил, хотя не хуже самого Крайтона понаторел в философии *. Много раз толковал с ним наш проповедник, однако ему все не удава-

лось переубедить этого просвещенного человека. Но вот знакомый его заболел, и пришел его смертный час, и перед смертью он поведал о своем обращении в словах, которые проповедник записал и сейчас прочтет вам, мои братья во грехе, с этого листка бумаги... Должен признаться, что мне, как одному из непросвещенных слушателей, эти слова не показались чересчур поучительными. Их тон представился мне на редкость себялюбивым, и было в них духовное тщеславие, присущее вышеупомянутому бедняку из работного дома.

Любого рода жаргон и манерность всюду нехороши, но особенно они неуместны в случаях вроде мною описанного, а на религиозных собраниях они таковы, что подобное можно услышать — хуже не скажешь! — только в палате общин. Наш проповедник был здесь не без греха. Да и не слишком приятно было наблюдать, как он обращается с излюбленными своими сентенциями к сидящим позади него на сцене, словно призывая этих апостолов веры засвидетельствовать, сколь вески его доводы.

Но что касается широты религиозных взглядов, которой была отмечена вся его речь, отсутствия у него притязаний на духовную власть, его искренних, многократно повторенных заверений, что самый простой человек без чужого посредничества при желании может спастись, преданно, любовно и безропотно следуя спасителю нашему, то здесь этот джентльмен достоин наивысших похвал. В этих местах своей проповеди он нашел простые и выразительные слова, и дух его речи был ни с чем не сравним. Поистине замечательно и внушает большую надежду то обстоятельство, что стоило ему затронуть эту струну или заговорить о деяниях Христа, как в море лиц перед ним выразилось гораздо больше убежденности, гораздо больше чувства, чем прежде.

И теперь мне пора сказать, что самые простые из вчерашних зрителей сегодня здесь *не присутствовали.* В этом не приходилось сомневаться. В этот воскресный вечер их здесь не было. Мне рассказывали потом, что театру Виктории удалось привлечь на воскресные проповеди самую простую часть своих зрителей. Это приятно слышать, но в театр «Британия», о котором я пишу, соответствующая часть его обычной публики бесспорно в этот день не при-

зила. Когда я, заняв свое место, окинул взглядом зал, удивление мое было столь же велико, сколь и мое разочарование. К самым солидным представителям вчерашней публики прибавились почтенного вида незнакомцы, привлеченные сюда любопытством, и группки прихожан из различных церквей. Их невозможно было не узнать, и явилось их очень много. Когда я медленно двигался к выходу по коридору позади лож, их вокруг меня образовалось целое скопище. Да и во время проповеди обличие публики так явно свидетельствовало об ее солидности, что нельзя было не почувствовать неловкость за проповедника всякий раз, как он взывал к своим «отверженным», настолько эта фигура речи не соответствовала тому, что можно было увидеть перед собой.

Окончание проповеди было назначено на восемь часов. Поскольку принято завершать подобного рода собрания пением гимна, а проповедь затянулась до этого часа, проповедник в нескольких словах тактично объявил, что время вышло и желающие могут, никого тем не обидев, покинуть зал до исполнения гимна. Никто не шелохнулся. Гимн пропели звучно, согласно и стройно, и он произвел на всех сильное впечатление. После доброй простой молитвы толпа рассеялась, и через несколько минут в театре оставалось только легкое облачко пыли.

У меня нет сомнений в том, что такие воскресные собрания в театре полезны. Не сомневаюсь и в том, что они будут привлекать все более и более низкие слои общества, если только их устроители запомнят два условия: во-первых, где ни выступаешь, нельзя относиться свысока к понятливости слушателей, а во-вторых, нельзя пренебрегать естественным прирожденным желанием большинства людей развлечься и отдохнуть.

Но следует помнить и еще об одном, самом важном условии — к этому, собственно, и клонились все замечания, которые я сделал об услышанной проповеди. В Новом завете рассказана самая прекрасная и впечатляющая повесть, какую только дано узнать человеку, и там можно сыскать отличные образцы для любой молитвы и проповеди. К чему эти образцы, воскресные проповедники, как не для того, чтобы им подражать? А что до повести, то поведайте ее людям. Иные не умеют читать, иные не

хотят; есть люди (в особенности молодые и необразованные), которым трудно дается евангельский стих, потому что им кажется, будто дробность стиха проистекает из отсутствия единой связи. Уберите с их дороги этот камень преткновения, расскажите им повесть прозой и не бойтесь, что этот источник иссякнет. Как бы хороша ни была ваша проповедь, вам никогда не удастся так глубоко их тронуть, вам никогда не удастся дать им такую тему для размышлений. Что лучше — рассказать, как Христос избрал двенадцать бедняков *, чтоб они помогли ему прийти с благодатным чудом к бедным и отверженным, или застращать своим благочестием всех бедняков в нескольких приходах? Какое дело мне, несчастному, пришедшему в этот зал с грязных улиц, из нелегкой своей жизни, до вашего раскаявшегося философа, когда вы можете рассказать мне о сыне вдовицы, о царской дщери и о том, кто стоял в дверях, когда у двух сестер умер брат * и одна из них подбежала к другой, безутешной, и сказала: «Учитель здесь и зовет тебя». И пусть проповедник, забыв думать о себе, забыв думать обо всех, кроме одного, помня только его слова, встанет в любой воскресный вечер перед четырьмя тысячами в театре «Британия», расскажет им, своим собратьям, эту повесть и посмотрит, что будет!

## V

### *Бедный Джек-Мореход*

Интересно, поручен ли заботам того милого херувимчика, что с добродушной улыбкой присматривает с небес за Бедным Джеком, не только Джек Военный Моряк, но и Джек-Мореход с торгового судна? Если же нет, то кому о нем позаботиться? Что думает этот херувимчик, что думаем все мы, когда Джеку-Мореходу мало-помалу выбивают мозги на бриге «Вельзевул» или на барке «Живодерня», или когда за миг до того, как настанет конец проклятой его службе, он успевает заметить своим единственным невыбитым глазом окованный железом сапог помощника капитана, или когда его безжизненное тело

сбрасывают за борт с кормы и кровь его страшных ран «окрашивает волны в цвет багровый»? *

Разве не разумно было бы предположить, что, если бы помощник с брига «Вельзевул» или барки «Живодерня» сгубил хоть вполовину столько хлопка, сколько сгубил он людей, с обоих берегов Атлантики послышался бы такой многоголосый призыв к херувимчику, который присматривает с небес за выгодными рынками, что бдительный наш херувимчик в мгновение ока поразил бы этого доблестного корабельного помощника своим крылатым мечом и выбил у него из головы вместе с мозгами намеренье кому-либо причинить ущерб.

Если моя мысль неразумна, значит, я самый неразумный из людей, ибо я всей душой в это верю.

С этой мыслью бродил я вдоль причалов ливерпульского порта, не спуская глаз с бедного Джека-Морехода. Увы, я давно уже вышел из того возраста, когда меня принимали за милого херувимчика, но я был здесь; и здесь же был Джек, занятый делом и совершенно продрогший, ибо снег еще лежал в промерзших складках земли, а северо-восточный ветер срезал верхушки с маленьких волн Мерсея и, обратив их в острые градины, хлестал ими Джека. Но Джек трудился не покладая рук, несмотря на скверную погоду; он ведь, бедняга, почти всегда трудится, какая бы ни была погода. Обвязавшись канатом, он чистил и красил трубы и мачты, повиснув на них, словно житель лесов на огромном дереве. Он лежал на реях, сворачивая паруса, которые грозили скинуть его за борт. Он был едва различим в гигантской паутине канатов, забирая рифы и сплеснивая концы. Его голос — хотя и не слишком отчетливо — доносился из трюмов, где он складывал или выгружал товары. Он крутил и крутил лебедки, издававшие монотонный расхлябанный звук. Он, похожий на черта, грузил уголь для жителей другого полушария. Босоногий, он драил палубу, и расстегнутая красная рубаха открывала его грудь ветру, который был острее его ножа, заткнутого за пояс. Он глядел через фальшборт,— такой заросший, что только глаза выделялись на всем лице. Он стоял у погрузочного желоба уходящего на следующий день парохода компании Кьюнард, и мимо текли в ледник мясо, и рыба, и битая птица. Он поднимался на борт дру-

гих кораблей со своими пожитками, уложенными в брезентовый мешок, и до последней минуты его сухопутной жизни с ним оставались прихлебатели. И, словно затем, чтобы возместить ему умолкший в его ушах шум стихий, на набережной ни на минуту не утихает дикий, одуряющий, сутолочный гомон, и грохочут колеса, и стучат копыта, и лязгает железо, и падают кипы хлопка, бочки и бревна. Посреди всего этого стоит он на ветру, простоволосый и растрепанный, и, покачиваясь, суматошно прощается с прихлебателями, а под порывами ветра снасти свистят, и каждый пароходик, шныряющий по Мерсею, пронзительно воет, и каждый речной бакен кивает ему с издевкой, и все эти звуки сливаются в единый злорадный хор: «Приди к нам, Джек-Мореход. Приди к нам, бездомный, голодный, забитый, обманутый, обобранный, протратившийся, закабаленный. Приди к нам, бедный Джек-Мореход, и мы будем кидать тебя по бурным волнам, пока не настанет твой черед утонуть».

Но торговое дело, которое свело меня с Джеком, было такого рода: с целью изучить ловушки, которые всякие беззаконники каждый вечер расставляют на Джека, я поступил служить в ливерпульскую полицию. Это превосходная полиция, и поскольку срок моей службы был невелик и меня уже нельзя назвать лицом заинтересованным и потому пристрастным, мои слова не вызовут, надеюсь, ни малейшего недоверия. Не говоря уже о том, что в ней служат люди отборные, принятые на службу без всякой протекции, во главе ее стоит чрезвычайно умный человек. Пожарная охрана в Ливерпуле, по-моему, поставлена значительно лучше, чем в столице, и в любом деле замечательная бдительность здешней полиции умеряется не менее замечательной осмотрительностью.

Джек уже несколько часов как разделался с работой в доках, а я успел в портретной полицейского управления сфотографировать, в целях опознания, вора (он, в общем, был скорее польщен этой процедурой) и побывать на полицейском смотру, так что часовая стрелка приближалась уже к десяти, когда я, захватив фонарь, приготовился сопровождать полицейского инспектора во время обхода ловушек, расставляемых на Джека. При взгляде на инспектора нельзя было не заметить его высокий рост,

приятное обличье, хорошее сложение, солдатскую выправку и осанку кавалериста, широкую грудь и решительное, но вовсе не грубое лицо. В руке он держал простую черную трость из крепкого дерева, и когда бы и где бы, в любой час ночи, он ни стукнул ею со звоном о тротуар, из темноты раздавался свисток и возникал полисмен. Эта трость, мне кажется, и порождала тот дух тайны и волшебства, который окутывал нас во время обследования ловушек, расставленных на Джека.

Сначала мы погрузились во мрак самых темных портовых улочек и закоулков. Внезапно, в разгар оживленной беседы, инспектор остановился возле глухой, миль в десять длиною стены, стукнул палкой о землю, стена тотчас же расступилась, и перед нами явились два полисмена, которые по-военному откозыряли и, казалось, нисколько не были удивлены нашим появлением, равно как не был удивлен их появлением и сам инспектор.

— Все в порядке, Шарпай?

— Все в порядке, сэр.

— Все в порядке, Трэмпфут?

— Все в порядке, сэр.

— Квикир здесь?

— Здесь, сэр.

— Пойдете с нами.

— Есть, сэр.

Шарпай двинулся вперед, мы с инспектором за ним следом, а Трэмпфут и Квикир замыкали шествие. Шарпай, как я скоро имел случай заметить, открывал двери с чисто профессиональной сноровкой. Он мягко, словно это были клавиши музыкального инструмента, касался запора, а потом отворял дверь так, словно заранее знал, что за ней хранится краденое, и в ту же минуту, чтобы ее не успели захлопнуть, оказывался внутри.

Шарпай открыл уже несколько дверей, но Джека ни в одной из расставленных для него ловушек не оказалось. Это все были такие омерзительные трущобы, что, право, Джек, я бы на твоем месте обошел их подальше. В каждой ловушке кто-нибудь сидел у огня, поджидая Джека. Это была то сгорбленная старуха, похожая на Норвудскую цыганку с картинки в старинном шестипенсовом соннике *, то погруженный в чтение газеты вербовщик мужского пола

в клетчатой рубашке и без пиджака, то сразу вербовщики обоего пола, которые неизменно сообщали, что связаны священными узами брака, то Джекова зазноба, его прелестная (страшилище!) Нэн; все они ждали Джека, и все бывали ужасно разочарованы, увидев нас.

— Кто у вас там наверху? — спрашивал обычно Шарпай (тем самым тоном, каким говорят: «А ну, проходи, проходи!»).

— Никого, сэр, ни единой души. (Так ответила ему одна ирландка.)

— Значит, никого? А я, когда взялся за щеколду, слышал наверху женские шаги.

— Ах, ну конечно вы правы, сэр, я совсем о ней позабыла! Это же всего-навсего Бетси Уайт, сэр. Вы ее знаете, сэр. Бетси, сойди вниз, милая, поздоровайся с джентльменом.

Бетси обыкновенно перегибается через перила крутой лестницы, находящейся в комнате, и на ее недовольном лице написано, что она намерена вознаградить себя за эту неприятность, больше обычного поиздевавшись над Джеком, когда он, наконец, явится. В подобных случаях Шарпай, обернувшись к инспектору, говорит с таким видом, словно речь идет о восковых фигурах:

— Этот дом, сэр, один из худших. Женщина три раза была под судом. Мужчина тоже ее стоит. Его настоящее имя Пегг. Выдает себя за Уотерхауза.

— Сколько лет живу в этом доме, а такого имени никогда не слышала, бог мне свидетель,— отвечает женщина.

Мужчина большей частью вообще ничего не отвечает; он только сильнее ссутуливается и с еще большим интересом погружается в свою газету. Шарпай взглядом обращает наше внимание на гравюры и картинки, которыми увешаны стены. Трэмпфут и Квикир сторожат на крыльце. И всякий раз, когда Шарпай не может установить личность того или иного джентльмена из наших случайных знакомцев, Трэмпфут или Квикир возглашают со двора, подобно охрипшему призраку, что Джексон вовсе не Джексон, а Фогль, или что Канлон приходится братом Уокеру, которого оправдали за недостатком улик, или что человек, уверявший, будто он с детства ни разу не был в море,

сошел на берег в прошлый четверг или уходит в море на следующее утро.

— Это — скверная публика,— говорит мне инспектор, когда мы снова погружаемся во мрак,— с ними трудно иметь дело. Как начнет ему подпаливать пятки, он нанимается на корабль стюардом или коком, исчезает на несколько месяцев, а потом возвращается еще большим негодяем, чем был.

Когда мы заглянули уже во множество подобных домов, хозяева коих после нашего ухода продолжали ждать Джека, мы отправились в музыкальный зал, куда Джек должен был явиться в полном составе.

Вокальные номера исполнялись в длинной низкой зале на втором этаже; в одном ее конце возвышалась небольшая эстрада и сидел оркестр из двух музыкантов; по всей длине комнаты стояли скамьи для Джека, разделенные проходом, а в дальнем ее конце помещалась скамья побольше, именуемая «удобной» и предназначенная для помощников капитана и другой чистой публики. На стенах висели какие-то странные, кофейного цвета картины, покрытые на добрый дюйм лаком, и чучела всяких тварей под стеклянными колпаками; на «удобной» и на других скамьях расположились вперемежку с публикой исполнители; среди них был знаменитый комик, любимец публики мистер Банджо Боунс, с зачерненной физиономией и в мягкой шляпе в форме сахарной головы, что придавало ему вид совершенного страшилища, а рядышком, посасывая разведенный ром, сидела в своем естественном, то есть в немного приподнятом расположении духа миссис Банджо Боунс.

Была пятница, а этот вечер считается не слишком удачным для Джека. Во всяком случае, Джек даже сюда не явился в очень большом количестве, хотя в этот дом он заходит чаще всего и денег тут оставляет немало. Здесь был сонный и немного плаксивый во хмелю Британский Джек, который клевал носом над пустым стаканом, словно желал прочитать на дне его свою судьбу; здесь был этот не больно-то выгодный клиент Звезднополосый Бездельник Джек, такой длинноносый, с такими впалыми щеками и острыми скулами, что казалось, только и есть в нем мягкого, что его шляпа, похожая на капустный лист; здесь

был, весь в завитках черных волос, Испанский Джек с серьгами в ушах и с ножом под рукой, на случай если вы с ним повздорите; здесь были едва различимые среди клубов табачного дыма Мальтийский Джек, Шведский Джек и Финский Джек, оборотившие свои, словно выточенные из темного дерева, лица к молодой особе, которая так лихо отплясывала матросский танец, что эстрада ей казалась мала, и я все время со страхом ждал, как бы она, отступая назад, не вылетела в окно. И все же, если бы всех пришедших посадить рядом, они бы не заполнили и половины залы. Заметьте, впрочем, объяснил нам хозяин, Трактирщик с Правом Продажи Спиртных Напитков, сегодня пятница, да к тому же дело идет к полуночи, и Джек отправился на корабль. Продувная бестия, этот мистер Трактирщик, он всегда начеку, губы у него плотно сжаты, из каждого глаза глядит полное издание арифметики Кокера. Сам ведет свое дело, сообщает он. Безотлучно на месте. Когда услышит про какой-нибудь талант, ни на чьи слова не полагается, садится в поезд и едет посмотреть. Если это и вправду талант, приглашает к себе. И платит жалованье в фунтах — по четыре фунта в неделю, а то и по пять. Банджо Боунс — бесспорный талант. И вот послушайте эту, что сейчас будет играть,— настоящий талант!

Исполнение и вправду было очень приятное. Молоденькая, со вкусом одетая, хрупкая девушка, с личиком таким милым и тонким, что при взгляде на нее публика казалась еще более грубой, играла на какой-то разновидности аккордеона. Она еще и пела под свой инструмент и сначала исполнила песню о перезвоне сельских колоколов, затем песенку «Ушел я в море», закончив имитацией волынки, которую Джек-Мореход, мне кажется, понял лучше всего. Хорошая девушка, сказал мистер Трактирщик. Не водится с дурной компанией. Когда сидит на «удобной», помощники ее уговаривают, а она и не слушает. Живет с матерью, отец помер. Был богатый купец, а потом стал спекулировать и разорился. В ответ на деликатный вопрос касательно жалованья, выплачиваемого данному обладателю таланта, мистер Трактирщик не упоминает уже больше о фунтах — речь идет на сей раз о шиллингах,— но и это, сами понимаете, совсем неплохо для такой молоденькой девушки. Она ведь всего-то за вечер шесть раз

выступает и должна здесь находиться только с шести до двенадцати. Более убедительными были уверения мистера Трактирщика, что он «не позволяет выражаться и не допускает у себя никаких безобразий». Шарпай подтвердил это заявление, да и царивший здесь порядок лучше всяких слов свидетельствовал о его достоверности. Итак, я пришел к заключению, что, доверившись мистеру Трактирщику, бедный Джек-Мореход избирает (боюсь, не всегда) далеко не худший способ вечернего времяпрепровождения.

— Мы еще не искали Черного Джека, господин инспектор,— сказал ожидавший на улице Трэмпфут, снова отдавая честь при нашем появлении.

Верно, Трэмпфут! Стукни со звоном волшебной тростью, протри волшебную лампу, и пусть духи приведут нас к Черному Джеку!

Ожидания наши были не напрасными: Черного Джека удалось вызвать из небытия. Джинны перенесли нас на второй этаж маленького кабачка, где было нечем дышать и где у стены сидели Черный Джек и Зазноба Черного Джека, его белая безобразная Нэн,— наименее безобразная, в физическом отношении и в нравственном, из всех, что я видел в этот вечер.

Среди собравшихся были скрипач и музыкант с бубном. «Почему бы не сыграть?» — предложил Квикир.

— А ну-ка, леди,— сказал негр, сидевший у двери,— станцуйте с джентльменами. Джентльмены, приглашайте дам на кадриль!

Этот негр, наряженный в полугреческий, полуанглийский костюм, с греческой шапочкой на голове, и был хозяином заведения. В качестве церемониймейстера он называл все фигуры танца, а иной раз адресовался к самому себе. Эти его слова я привожу далее в скобках, а когда он был особенно громогласен, употребляю крупный шрифт.

— А ну, пошли! ЭЙ! ПЕРВАЯ. Вправо и влево. (А ну, поддай пару, задай им жару!) Дамы вместе. Разойдись. Притоп. Вторая. Вперед. Назад. (Ноги нечего жалеть, протрясись-ка, попляши!) Через угол, разойдись-ка и притопни. (Гей!) ТРЕТЬЯ. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, вперед с дамой и назад, и напротив вперед с дамой и назад, все четыре враз вперед, ну-ка постарайся! (Эге-гей!) Разойдись, чуть-чуть притопни. (Что там негр волосатый у камина отстает,

протрясись-ка, попляши!) Ну-ка снова! Гей, ЧЕТВЕРТАЯ. Попритопни, разойдись, а теперь кружись. Дамы вчетвером в середку, джентльмены кругом них, проходи теперь в середку у них под руками, покрутись, теперь притопни, пока музыка играет. (Гей! Гей!)

Все кавалеры здесь были чернокожие, и среди них находился один силач шести футов и трех или четырех дюймов ростом. Стук их плоских ступней настолько же отличался от звука шагов белого человека, насколько лица их были не похожи на лица белых людей. Они вставали на пятку и на носок, делали скользящий шаг, двойной, два двойных скользящих шага, менялись местами и замечательно отбивали такт, и танцевали они с такой широкой улыбкой, с таким добродушным детским восторгом, что смотреть на них было одно удовольствие. Эти бедняги, объяснил мне инспектор, избегают ходить в одиночку и стараются держаться вместе, потому что на соседних улицах их часто задевают. Я бы на месте Белого Джека не оскорблял Черного Джека, ибо всякий раз, когда я с ним встречался, он производил на меня впечатление простого и доброго малого. И, памятуя об этом, я попросил у него дружеского позволения попотчевать его на прощанье пивом. Вот почему последние его слова, которые я слышал, спускаясь по шаткой лестнице, были: «Ваше здоровье, джентльмен! Дамы пьют первыми!»

Уже близилось к рассвету, а мы час за часом и миля за милей изучали этот удивительный мир, где никто не ложится спать, а все вечно сидят и ждут Джека. Наша экспедиция двигалась по лабиринту грязных дворов и тупиков, именуемых «въездами»; полиция навела здесь образцовый порядок, чего нельзя сказать о городском управлении — в самых подозрительных и опасных из этих мест нет газового освещения, что просто недостойно такого оживленного города. Мне незачем описывать все дома, в которых ждали Джека; достаточно привести для примера только два или три из них. Мы добирались до них большей частью через зловонные проходы, такие темные, что приходилось двигаться ощупью. В каждом доме обязательно были развешаны картины и стояла на полочках и в стеклянных ящичках разрисованная посуда; обилие подобной приманки в комнатах, таких жалких во всех иных

отношениях, объяснить можно было не иначе, как необычайным пристрастием Джека к посуде.

В одной такой гостиной, заставленной украшениями, глубокой ночью сидели у огня четыре женщины. Одна из них держала на руках маленького мальчика. Тут же сидел на табурете смуглый молодой человек с гитарой; он, видно, перестал играть, заслышав наши шаги.

— Ну а вы как поживаете? — спрашивает инспектор, оглядывая собравшихся.

— Превосходно, сэр. Раз уж заглянули к нам, угостили бы девушек.

— А ну, молчать! — говорит Шарпай.

— Довольно! — говорит Квикир.

Слышно, как снаружи Трэмпфут доверительно сообщает сам себе: «Меггисонова компания. И к тому же прескверная».

— Ну, а это кто такой? — спрашивает инспектор, кладя руку на плечо смуглому юноше.

— Антонио, сэр.

— А он что тут делает?

— Пришел поиграть нам. Надеюсь, ничего дурного в этом нет?

— Молодой матрос? Иностранец?

— Он из Испании. Ты ведь испанец, Антонио?

— Испанец.

— И сколько вы ни говорите, ничего не поймет, хоть ему до Судного дня толкуй. (С торжеством, словно это обстоятельство благоприятствует хорошей репутации дома.)

— Он не сыграет что-нибудь?

— Пожалуйста, если вам угодно. Сыграй что-нибудь, Антонио. Ты-то позора в этом не видишь?

Расстроенная гитара бренчит какое-то слабое подобие мотива, и три женщины качают в такт головами, а четвертая — ребенком. Если у Антонио есть при себе деньги, они, боюсь, здесь и останутся, и мне приходит на ум, что его гитаре и куртке тоже угрожает опасность. Но треньканье гитары и вид юноши так изменили на мгновение весь вид этого места, что мне почудилось, будто передо мной перевернули страницу «Дон-Кихота», и я даже спросил себя, где здесь конюшня, в которой стоит его мул, ожидая отъезда.

Я вынужден (к стыду своему) признаться, что по моей

вине мы в этом доме столкнулись с затруднениями. Я взял на руки ребенка, и когда попытался вернуть его по принадлежности, женщина, притязавшая на роль его матери (эта злая шутка пришла ей в голову не без помощи рома), совсем не по-матерински заложила руки за спину и отказалась принять его обратно; отступив к камину, она, несмотря на увещания своих друзей, заявила пронзительным голосом, что ей известен закон, согласно которому всякий, кто по своей воле взял ребенка у матери, обязан впредь о нем заботиться. Путешественника не по торговым делам, который, стоя с перепуганным ребенком на руках, не мог не почувствовать всю нелепость своего положения, выручил его достойный друг и сослуживец, констебль Трэмпфут,— он схватил предмет спора, словно это была бутылка, и передал его ближайшей женщине со словами: «А ну, подержи». Когда мы уходили, Бутылка уже перешла к той, что так зло подшутила над нами, и вся компания уже сидела как прежде, вместе с Антонио и его гитарой. Было ясно, что здесь и в помине нет такой вещи, как ночной чепчик для ребенка, и что здесь даже он никогда не ложится спать, а напротив, вынужден бодрствовать, и так и вырастет, не смыкая глаз в ожидании Джека.

В еще более поздний час, пройдя двором, где, как мне сказали, был убит человек, а потом другим двором на противоположной стороне улицы, куда затащили мертвое тело, мы через «въезд» попали еще в одну гостиную, где несколько человек сидели у огня, в тех же позах, что и в предыдущем доме. Это была омерзительная грязная комната; здесь сушились какие-то лохмотья, но высоко над входной дверью (подальше от загребущих рук) была прибита полка, на которой лежало два белых каравая и большой кусок чеширского сыра.

— Ну а вы как поживаете? — спрашивает инспектор, окидывая все вокруг внимательным взглядом.

— Хвастать нечем, сэр,— приседая, отвечает хозяйка.— А это мой муженек, сэр.

— Ваша квартира зарегистрирована в качестве ночлежного дома?

— Нет, сэр.

— Почему же? — вопрошает весьма уместно Шарпай своим тоном «а ну, проходи».

— А у нас никого нет, живем своей семьей,— отвечают хором женщины и «мой муженек».

— Сколько же человек у вас в семье?

Чтобы сосчитать, нужно время, и женщина разражается притворным приступом кашля, в конце которого выпаливает: «Семеро, сэр».

Но она ошиблась на одного, и всеведущий Шарпай говорит:

— Ну а вон тот молодой человек, восьмой, он не из вашей семьи?

— Нет, мистер Шарпай, он у нас нанял комнату понедельно.

— Чем он зарабатывает себе на жизнь?

«Вон тот молодой человек» предпочитает ответить сам за себя и бросает коротко: «А мне нечем заняться».

«Вон тот молодой человек» скромно размышляет о чем-то грустном, сидя позади мокрого передника, свисающего с бельевой веревки. При взгляде на него мне, не знаю сам почему, смутно припоминаются Вулидж, Чатам, Портсмут и Дувр. Когда мы выходим, мой уважаемый собрат констебль Шарпай говорит, обращаясь к инспектору:

— Вы заметили у Дарби этого молодого человека, сэр? — говорит он.

— Да. Кто он?

— Дезертир, сэр.

Мистер Шарпай немного погодя говорит мимоходом, что, когда нам больше не нужна будет его помощь, он вернется и заберет этого молодого человека. Через некоторое время он это и проделывает, нисколько не опасаясь упустить дезертира и будучи твердо уверенным, что во всей округе никто еще не спит.

В еще более поздний час мы, поднявшись на ступеньку или две, вошли в другую гостиную, убранную аккуратно, чисто, даже со вкусом; здесь, на задрапированном материей комоде, отгораживавшем лестницу, стояло столько разрисованной посуды, что ее хватило бы на хороший ярмарочный ларек. Перед комодом сидела полная пожилая дама — Хогарт изображал ее многократно * и с удивительной точностью — и мальчик, старательно переписывавший в тетрадку прописи.

— Ну, сударыня, а вы как поживаете?

Как нельзя лучше, уверяет она дорогих джентльменов, как нельзя лучше. Восхитительно, восхитительно. И она так счастлива нас видеть!

— Но почему мальчик делает уроки в такое неподходящее время? Ведь сейчас уже за полночь!

— Вы правы, дорогие джентльмены, вы правы, да ниспошлет вам господь всяческое благополучие, и да будет благословен ваш приятный визит. Все дело в том, что один наш молодой друг пожелал развлечь мальчика и сводил его в театр, а теперь он, дабы утехи не мешали ученью, делает уроки, благослови вас бог.

Пропись призывала человека подавлять испепеляющий пламень страстей, но можно было подумать, что она учит раздувать, а не тушить этот пламень, до того одобрительно относилась к ней пожилая дама. Она все так же сидела и озарялась лучезарной улыбкой при каждом взгляде на мальчика и на тетрадку и все так же изливала ливень благословений на наши головы, когда мы вышли, оставив ее посреди ночи ожидать своего Джека.

В еще более поздний час мы вошли в отвратительную комнату с земляным полом, на который со двора стекали помои. В этом обиталище царили ужасающее зловоние и нищета. Но и здесь был гость или жилец, расположившийся, как и все ему подобные, перед камином и не без симпатии поглядывавший на хозяйскую племянницу, которая тоже сидела перед камином. Сама хозяйка, к несчастью, находилась в тюрьме.

Три Парки *, мертвенно-бледные, шили за столом. И спросил Трэмпфут первую ведьму: «Что шьете вы?» И ответила она ему: «Мешки для денег».

— Что, что?..— переспрашивает Трэмпфут, немного ошарашенный.

— Мешки для ваших денег,— отвечает ведьма, кивнув головой и скрежеща зубами,— коль они у вас есть.

Она протягивает обыкновенный кошелек, которых на столе лежит целая груда. Вторая ведьма смеется, глядя на нас. Третья ведьма хмурится, глядя на нас. Ведьмы-сестрицы шьют вещицы. У первой ведьмы вокруг глаз красные круги. Мне чудится, что они вот-вот превратятся в адский нимб; и когда он засияет вокруг ее головы, она сгинет, окутанная клубами серы.

Трэмпфут желает узнать, что там такое лежит позади стола на полу, сбоку от первой ведьмы.

— Покажи ему ребенка,— каркают злобно вторая и третья ведьмы.

Та вытаскивает из грязной груды тряпья маленькую костлявую ручку. Ее просят не тревожить ребенка, и она роняет ее обратно. Так мы, наконец, убеждаемся, что в мире «въездов» есть один ребенок, которого укладывают в постель — если это можно назвать постелью.

Инспектор спрашивает, долго ли они еще будут шить свои кошельки.

— Долго ли? — переспрашивает первая ведьма.— Сейчас собираемся ужинать. Видите на столе чашки, блюдца и тарелки? Поздно? Пожалуй. Да только прежде чем съесть ужин, нам надо его заработать!

Две другие ведьмы повторяют это вслед за первой и окидывают Путешественника не по торговым делам таким взглядом, словно снимают на глазок мерку для волшебного савана. За сим следует угрюмый разговор о хозяйке этого вертепа, которая завтра выходит на волю. Когда Трэмпфут заговаривает о том, как трудно будет старухе пройти такое расстояние пешком, ведьмы объявляют, что «на этот раз он прав: племянница привезет ее в рессорной повозке».

Поворачиваясь, чтобы уйти, я бросил прощальный взгляд на первую ведьму; мне показалось, что красные круги вокруг ее глаз уже сделались шире; не замечая меня, она жадно вглядывалась в темную дверь, высматривая, не явился ли Джек. Ибо Джек является даже сюда, и хозяйка попала в тюрьму за то, что надула Джека.

Когда минула эта ночь странствий и я добрался до своей постели, воспоминания обо всем этом сброде мешали мне сосредоточиться на приятных мечтах о Доме Моряка, в котором не было бы слишком казенно, и о портовых правилах, составители которых позаботились бы о том, чтобы у Джека было больше тепла и света на борту корабля. Весь этот сброд не оставлял меня и во сне. И теперь, когда б ни увидел я в прохладный день Бедного Джека-Морехода, идущего с попутным ветром на всех парусах в порт, мне всегда будет вспоминаться хищное племя, которое не ведает сна, а только сидит и, не смежая очей, ждет Джека у расставленных на него ловушек.

## VI

### *Где закусить в дороге?*

Недавние сильные ветры занесли меня во множество мест — ветер, не ветер, предметом моих сделок всегда бывает воздух,— но в Англии редко когда за последнее время и мало когда за всю мою жизнь случалось, чтоб меня занесло в такое местечко, где бы меня за пять минут сносно накормили и напоили и где бы меня с радушием встретили.

Об этом любопытно поговорить. Но прежде чем, подстрекаемый собственным опытом и опытом, которым поделились со мной собратья мои, всех родов путешественники по торговым и не по торговым делам, я остановлюсь на этом вопросе, мне надо сказать мимоходом несколько недоуменных слов по поводу сильных ветров.

Мне никак не понять, почему в столице так подвержен ураганам Уолворт *. Всякий раз, когда я узнаю из газет о мало-мальски стоящем ветре, я начинаю дивиться, за какую ветреность Уолворт навлек на себя подобное наказание. У Брикстона *, видно, есть что-то на совести. Пекхем * страдает больше, чем можно было бы предположить, исходя из его добродетели. Окрестности Детфорда, где вечно дуют ветры, попадают обычно в газеты тогда, когда речь идет о весьма предприимчивых джентльменах, которые выходят на улицу в любую погоду и для которых всякий ветер — попутный. Но в Уолворте, вероятно, уже не осталось камня на камне. Он, конечно же, снесен ветром. Мне чаще попадались упоминания о трубах и коньках крыш, с ужасным грохотом скинутых наземь, и о церквах, которые чуть не унесло в море из этой проклятой округи, чем о ловких ворах с обличием и манерами джентльменов — об этих популярных персонажах, которые существуют лишь в произведениях изящной словесности и в полицейской хронике. И опять же: почему это, хотел бы я знать, людей вечно сносит ветром в Сэррейский канал, а не в какой-нибудь иной водоем? Почему люди встают спозаранку и группами по нескольку человек идут к Сэррейскому каналу, чтоб их туда сдуло? Что они, сговори-

лись, что ли: «Умрем, лишь бы попасть в газеты»? Но даже и это ничего не объясняет, ибо зачем им тогда так упорствовать насчет Сэррейского канала и не потонуть разок-другой в Риджентском? Некоего безыменного полисмена тоже по малейшему поводу беспрестанно сдувает все в тот же Сэррейский канал. Что смотрит сэр Ричард Мэйн * и почему он не призовет к порядку этого слабоумного и слабосильного констебля?

Но вернемся к любопытному разговору о пище. И хоть я британец и в качестве такового убежден, что никогда не буду рабом *, в душе у меня все же таится подозрение, что здесь мы в известной мере рабы скверной привычки.

Я еду по железной дороге. Наскоро перекусив, я выхожу из дому в семь или восемь утра. То ли потому, что мы несемся по открытой равнине, то ли потому, что мы ныряем в сырые недра земли, то ли потому, что десятки миль нас сопровождают грохот, и стук, и свистки, я голоден, когда прибываю на станцию с буфетом, где меня ожидают, заметьте — ожидают. Как я уже сказал, я голоден, и, может быть, я лучше и точнее выражу свою мысль, если скажу, что я измучен и что мне необходимо — в том отчетливом смысле, какой французы вкладывают в это слово,— восстановить свои силы. Что же предусмотрено на этот случай? Помещение, где мне полагается восстановить свои силы, хитроумно приспособлено для того, чтобы заманить любой ветерок, дующий в этой сельской местности, и сообщить ему силу и скорость урагана, овевающего раздельными вихрями мою несчастную голову и мои несчастные ноги. Молодых особ за прилавком, которые должны восстановить мои силы, с детства готовили на амплуа негодующих героинь, и они всем своим видом показывают, что я — нежданный гость. Напрасно я своим покорным и смиренным видом всячески внушаю им, что не собираюсь скупиться. Напрасно я, чтобы окончательно не пасть духом, всячески внушаю себе, что молодые особы сами заинтересованы в моем приезде, ибо извлекут из него денежную выгоду. Чувства и разум смолкают перед холодным, стеклянным взглядом, который ясно дает мне понять, что меня здесь не ждали и что во мне не нуждаются. Одинокий мужчина, стоящий среди бутылок, проникся бы ко мне

иной раз сочувствием, но он не смеет, он не в силах побороть власть и могущество женщин. (О слуге я не говорю, потому что он мальчишка и, стало быть, прирожденный враг всего рода человеческого.) Трясясь мелкой дрожью в центре двух смертоносных вихрей, овевающих мои верхние и нижние конечности, морально подавленный ужасным положением, в котором очутился, я обращаю свой неутешный взор на яства, долженствующие восстановить мои силы. Мне предстоит, как обнаруживается, либо ошпарить себе глотку, в безумии вливая туда половником — совсем не ко времени и вообще ни с того ни с сего — горячую коричневую бурду, круто заваренную мукой, либо измазаться и подавиться банберийским пирогом, либо загнать в свой нежный желудок смородинную подушечку для булавок, которая, как мне наперед известно, распухнет до невероятных размеров, едва туда попадет, либо, подобно пахарю, взрыхляющему бесплодную почву, выковыривать вилкой из каменного карьера липкие кусочки хрящей и жира, именуемые свиным паштетом. Пока я занят этим неблагодарным делом, выставленное на столе унылое угощение заставляет меня вспомнить вечеринки в самых бедных и убогих домах, и мне уже начинает казаться, будто я обязан «сопровождать к столу» незнакомую мне, посиневшую от холода старуху, которая, сидя рядом со мной, набивает себе оскомину холодным апельсином, и что хозяин кухмистерской, подрядившийся за самую низкую цену накормить гостей, оказался недобросовестным банкротом и решил таким способом сбыть лежалый товар со своей витрины, а хозяева дома, по какой-то неведомой мне причине, заделались моими смертельными врагами и устроили вечеринку нарочно с целью меня оскорбить. А то мне начинает мерещиться, будто я снова погружаюсь в сон от скуки на школьном литературном вечере, за каковой каждые полгода вписывают нам в счета по два с половиной шиллинга, или снова погружаюсь в бездну отчаяния в пансионе миссис Боглз, за полчаса до начала того знаменитого празднества, когда явилось к нам, под видом арфиста, некое лицо, причастное к юриспруденции, описало имущество миссис Боглз и препроводило ее в узилище вместе с ключами и собранным нами по подписке капиталом.

Возьмем другой случай.

Мистер Грейзинглендс, житель одного из центральных графств, приехал однажды утром на прошлой неделе по железной дороге в Лондон со своей очаровательной и обворожительной миссис Грейзинглендс. Мистер Грейзинглендс — человек весьма состоятельный, и ему необходимо было совершить в Английском банке одну небольшую операцию, требующую согласия и подписи миссис Грейзинглендс. Покончив с делом, мистер и миссис Грейзинглендс посетили Королевскую биржу и осмотрели снаружи собор св. Павла. Тут миссис Грейзинглендс что-то немножечко приуныла, и мистер Грейзинглендс, нежнейший из мужей, сказал ей сочувственно: «Арабелла, дорогая, боюсь, тебе сейчас будет дурно».— «Да, мне очень нехорошо, Александр,— ответила ему миссис Грейзинглендс,— но не обращай на меня внимания, это скоро пройдет». Тронутый женской кротостью этого ответа, мистер Грейзинглендс заглянул в витрину кухмистерской, раздумывая, стоит ли здесь перекусить. Ему не удалось обнаружить ничего съедобного, кроме медленно раскисающего в тепловатой воде масла, по-разному уложенного и перемешанного с небольшим количеством варенья. Два доисторических черепаховых панциря с надписью «супы» украшали собой стеклянную стенку внутри, отделяющую душный закуток, откуда страшная пародия на свадебный завтрак, выставленная на шатком столике, предостерегала пораженного ужасом путешественника. Длинный ящик на табурете, полный несвежих и поломанных пирожных, которые продаются по сниженным ценам, украшал вход, а два стула, таких высоких, словно они ходят на ходулях, придавали красоту прилавку. И над всем этим восседала молодая особа, чья холодность и надменность, с коими она созерцала улицу, свидетельствовали о глубоко вкоренившейся обиде на общество и о неумолимой решимости воздать ему по заслугам. Из кишащей тараканами кухни в подвале этого заведения доносились запахи, порождающие воспоминания о таком супе, от которого, как известно было мистеру Грейзинглендсу по горькому опыту, мутится в голове, пучит живот, наливается кровью лицо и слезы брызжут из глаз. Когда он решил не входить и отвернулся, миссис Грейзинглендс, заметно ослабев, повторила: «Але́ксандр, мне

очень нехорошо, но не обращай на меня внимания». Побуждаемый этими смиренными словами к новым попыткам, мистер Грейзингледс заглянул в холодную, запорошенную мукою булочную, где постные булочки, которым отказал в поддержке изюм, были совсем под стать заскорузлым сдобным сухарям, каменной воронке с холодной водой, часам, на коих заскорузла светлая краска, и заскорузлой старушке с льняными волосами, у которой был такой непромолотый и непропеченный вид, словно она питается одним только зерном. Однако он вошел бы даже сюда, не вспомни он вовремя, что за ближайшим углом находится Джеринг.

Поскольку Джеринг — гостиница для одиноких и семейных джентльменов, пользующаяся отменной репутацией у приезжих из центральных графств, мистер Грейзингледс возликовал душой, сообщив миссис Грейзингледс, что она сможет получить там отбивную котлету. Эта дама в свою очередь почувствовала, что возвращается к жизни. Войдя в эту обитель веселья и празднеств, они застали там младшего лакея в затрапезном платье, который протирал окна пустой залы, и старшего лакея, который, сняв свой белый галстук, наполнял солонки и перечницы, спрятавшись за адресной книгой. Последний был крайне ошеломлен их снисходительным тоном и озабочен необходимостью как можно скорее спровадить миссис Грейзингледс в самый мрачный уголок гостиницы. И эту даму (гордость ее части графства) тотчас же самым унизительным образом провели по множеству темных коридоров, потом заставили сначала подняться, а потом спуститься по нескольким ступенькам, и, наконец, она очутилась в некоем узилище на противоположной стороне здания, где пять старых увечных грелок для посуды прислонились друг к другу под старым, унылым, отставным буфетом и где навалом лежали облетевшие листья со всех обеденных столов гостиницы, а диван, который меньше всего походил на диван, — с какой диванной точки зрения к нему ни подойди, — шептал: «Это постель», тогда как смешанный запах винного перегара и недопитых стаканов подсказывал: «младшего лакея». Упрятанные в эту мрачную дыру, обуреваемые таинственными страхами и догадками, мистер Грейзингледс и его очаровательная

супруга ждали двадцать минут, пока появится дым (до огня в камине дело так и не дошло), двадцать пять минут — пока появится херес, полчаса — пока появится скатерть на столе, сорок минут — пока появятся ножи и вилки, сорок минут — пока появятся отбивные, и час — пока появится картофель. При расплате по небольшому счету, который лишь немногим превышал дневное содержание лейтенанта морской службы, мистер Грейзинглендс решился высказать недовольство обедом и его ценой, на что лакей веско возразил, что Джеринг вообще оказал им любезность, приняв их, «потому как,— добавил лакей (кашляя явно в лицо миссис Грейзинглендс, гордости своей части графства),— когда кто не остановился у нас, то нет такого правила, чтобы им угождать, да мистер Джеринг и не желает с такими возиться». Наконец мистер и миссис Грейзинглендс в совершенном унынии покинули гостиницу Джеринга для семейных и одиноких джентльменов, обливаемые презрением из-за стойки, и еще несколько дней им никак не удавалось вновь обрести чувство собственного достоинства.

Или возьмем другой случай. Ваш собственный.

Вы уезжаете по железной дороге с какой-нибудь конечной станции. У вас остается двадцать минут, чтобы пообедать перед отъездом. Вам нужно пообедать, и, подобно доктору Джонсону *, сэр, вы любите обедать. Вы мысленно рисуете себе вид обеденного стола на вокзале. Традиционный ужин на дрянной вечеринке, который принят за образец на любой конечной и на любой промежуточной станции с буфетом, заставляет вас при одной мысли о нем испытать тошноту, ибо земное существо, если только оно не находится на последней стадии истощения, вряд ли согласится на подобную трапезу, и вы говорите себе: «Я не могу пообедать лежалыми бисквитами, которые обращаются в песок, едва только возьмешь их в рот. Я не могу пообедать лоснящимися коричневыми пирожками, начиненными мясом бог знает каких животных, а снаружи напоминающими неудобоваримую морскую звезду в сыром тесте. Я не могу пообедать сандвичами, которые долго сохли под колпаком, из которого выкачали воздух. Я не могу пообедать ячменными леденцами. Я не могу пообедать сливочными помадками». Вы

направляетесь в ближайшую гостиницу и торопливо входите в залу ресторана.

Хоть это и достойно всяческого удивления, но лакей чрезвычайно к вам холоден. Как это себе ни объясняй, как это ни оправдывай, не приходится отрицать, что он к вам холоден. Ваше появление нисколько его не радует, вы нисколько ему не нужны, он был бы весьма не прочь, чтобы вас тут и вовсе не было. Его неколебимая выдержка противостоит вашей горячности. И, словно этого мало, другой лакей, будто для того только и рожденный на свет, чтобы глазеть на вас на этом этапе вашего жизненного пути, стоит неподалеку, сложа руки и прижав локтем салфетку, и глазеет на вас что есть сил. Вы пытаетесь внушить своему лакею, что у вас всего десять минут на обед, а он предлагает начать с рыбы, которая будет готова через двадцать. После того как вы отклонили это предложение, он подает замечательно оригинальный совет «взять телячью или баранью отбивную». Вы согласны на обе отбивные, на какую угодно отбивную, на что угодно. Он неторопливо выходит за дверь и кричит что-то в какую-то невидимую вам трубу. За сим следуют переговоры двух чревовещателей, из коих в конце концов выясняется, что в данный момент имеется в наличии только телятина. «Давайте телячью!» — кричите вы в тревоге. Ваш лакей, урегулировав этот вопрос, возвращается, дабы без лишней спешки (ибо что-то в окне отвлекает его внимание) расставить на скатерти салфетку, сложенную наподобие треуголки, белый бокал, зеленый бокал, голубую полоскательницу, стопку и мощную артиллерийскую батарею в составе четырнадцати солонок и перечниц, которые совершенно пусты или, во всяком случае,— что для вас, пожалуй, одно и то же,— из которых нельзя ничего извлечь. Все это время другой лакей продолжает сосредоточенно и с интересом разглядывать вас, словно ему почудилось, что вы смахиваете на его брата, и он прикидывает в уме, так это или не так. У вас уже ушла половина времени, а на столе успели появиться лишь хлеб да кувшин пива. «Пойдите узнайте, как там насчет отбивной, будьте добры»,— умоляете вы лакея. Но сейчас ему некогда — он несет вам семнадцать фунтов американского сыра, который пойдет вам на закуску, а также целый ого-

род сельдерея и кресс-салата. Второй лакей переступает на другую ногу и смотрит на вас теперь уже по-другому, с сомнением, словно он оставил мысль о вашем сходстве с его братом и раздумывает, не похожи ли вы на его тетку или бабушку. Вы снова, в порыве благородного негодования, посылаете своего лакея «пойти и разузнать, как там насчет отбивной», и когда вы совсем уж собрались уйти без нее, он появляется с нею. Но даже и теперь он не снимает крышку поддельного серебра без того, чтобы не сделать наперед какой-то торжественный жест, а потом не уставиться на дряхлую отбивную с таким интересом, словно свиделись они впервые в жизни, хотя эта причина, во всяком случае, отпадает, ибо они наверняка не раз встречались и прежде. На поверхности котлеты искусство повара произвело некое подобие меха, а в сосуде поддельного серебра, что пытается устоять на двух ножках вместо трех, налита в качестве соуса какая-то дубильная жидкость с коричневыми пупырышками и маринованными огурцами. Вы просите счет, но лакею некогда, и он приносит вместо него три картофелины, твердых как кремень, и две унылых головки недоваренной цветной капусты, напоминающих украшения на ограде садика. Зная, что ни до этого блюда, ни до сыра с сельдереем дело у вас никогда не дойдет, вы настоятельно просите счет, и лакей идет за ним, но даже и теперь вам приходится ждать, потому что лакею надо сперва посовещаться с особой, обитающей за подъемным окошком в углу, а та, прежде чем выяснить, сколько с вас причитается, должна, очевидно, заглянуть в несколько гроссбухов, точно вы прожили здесь целый год. Вам безумно не терпится поскорее уйти, а второй лакей, который, снова переступив с ноги на ногу, все еще не может оторваться от вас, смотрит теперь уже с подозрением, словно бы вы напомнили ему того субъекта, что прошлой зимой украл несколько пальто. Ваш счет, наконец, принесен и оплачен по шесть пенсов за каждый проглоченный кусок, но лакей замечает вам с укоризной, что «за один обед услуги в счет не ставятся», и вам приходится обшарить все свои карманы в поисках еще одного шестипенсовика. Когда вы вручаете монету лакею, вы еще ниже падаете в его мнении, и, провожая вас на улицу, он, как явствует из его вида, говорит

про себя: «Уж тебя-то, надеюсь, мы больше здесь не увидим».

Или возьмем любой другой из многочисленных случаев, когда у путешественника в распоряжении больше времени, но его все равно обслужили, обслуживают и обслужат плохо. Возьмем старинную «Бычью Голову» с ее старинными коробками для ножей на старинных буфетах, с ее старинной пылью под старинными кроватями о четырех столбах в старинных душных комнатах, с ее старинной грязью на всех этажах, с ее старинной кухней и старинным обычаем грабить клиентов. Вспомните, сколько неприятностей причинили вам ее закуски — хворое сладкое мясо, обложенное белыми припарками, аптекарские порошки, засыпанные в рис вместо кэрри, анемичные вываренные куски телятины, которые тщетно пытаются вызвать к себе интерес, превратившись в фрикадельки. Вы вкусили в старинной «Бычьей Голове» жилистой птицы, чьи нижние конечности торчат из блюда, словно деревянные ноги, баранины по-каннибальски, обагряющей кровью каперсы, когда ее режешь ножом, пирожных на сладкое — домиков из спермацетовой мази, воздвигнутых над половинкой яблока или четырьмя ягодами крыжовника. И ваше счастье, если вы успели забыть старинный, пахнущий фруктами портвейн «Бычьей Головы», слава которого зиждется на старинной цене, которую назначила за него «Бычья Голова», да на старинном способе расставлять бокалы, расстилать салфеточки и освещать это подагрическое пойло свечами по три с половиной шиллинга за штуку, словно своим старинным цветом оно обязано чему-нибудь другому, а не обычной краске.

И, наконец, чтоб с этим покончить, остановлюсь еще на двух случаях, с которыми все мы каждый день сталкиваемся.

Мы все знаем новую гостиницу близ вокзала, куда мы добираемся, борясь с порывами ветра, по улице вечно грязной, куда мы попадаем обязательно ночью и где газ устрашающе вспыхивает, когда открываешь входную дверь. Мы все знаем слишком новые полы в коридорах и на лестницах, и слишком новые стены, и весь дом, по которому все еще бродит Дух Известки. Мы все знаем рассохшиеся двери и рассохшиеся ставни, сквозь которые

виден свет безутешной луны. Мы все знаем новых людей, принявших новую гостиницу, которые предпочли бы никогда здесь не появляться, и — что неизбежно отсюда следует — предпочли бы, чтоб и мы никогда здесь не появлялись. Мы все знаем новую мебель, что слишком скудна, слишком гладка и слишком блестяща, и никак не обживется на новом месте, и никак не попадет туда, куда надо, и все норовит пристроиться где не надо. Мы все знаем, как зажженный газ освещает карту Пятен Сырости на стене. Мы все знаем, как Дух Известки заползает в наши сандвичи, входит в букет глинтвейна, сопровождает нас в постель, поднимается в спальне по сырой каминной трубе и мешает подняться дыму. Мы все знаем, как за утренним завтраком отлетает ножка от стула и удрученный жизнью лакей относит это происшествие за счет того, что в этом доме все молодо-зелено, а в ответ на вопрос, как пройти на какую-нибудь улицу, сообщает, что он человек, слава богу, нездешний и в субботу уедет обратно в родные края.

Но мы знаем также большую станционную гостиницу, находящуюся в совместном владении нескольких лиц, которая внезапно выросла на задворках любого квартала, какой ни назови, так что из ее великолепных окон можно увидеть задние дворы, садики, старые беседки, курятники, голубятни и свинарники. Мы все знаем эту гостиницу, где за деньги мы получим все, что угодно, но где никто не радуется нашему приезду, никто не сетует на наш отъезд, никому нет дела до того, когда, почему и на сколько мы приехали, лишь бы мы платили по счетам. Мы все знаем эту гостиницу, где каждый из нас уже больше не индивидуум, а номер такой-то, где нас расположили на постой и соответственно нами располагают. Живется в такой гостинице, как все мы знаем, не то чтобы плохо, но и не сказать что хорошо, и причиной тому, весьма вероятно, сугубо оптовый ее характер, тогда как в каждом из нас живет что-то сугубо розничное и нам хотелось бы, чтобы это чувство получило удовлетворение.

Подведем итог. Мои путешествия не по торговым делам еще не убедили меня, что в подобных вещах мы близки к совершенству. И совсем так же, как я уверен в том, что конец света не наступит до тех самых пор, пока

остаются на свете надоедливые и спесивые людишки, ежечасно предрекающие эту катастрофу, я не слишком поверю и в отель «Золотой Век» до тех пор, покуда остается в силе хоть один из дурных обычаев, свидетелем коих я стал.

## VII

### *Путешествие за границу*

Я сел в дорожную колесницу — она была немецкой работы, просторная, тяжелая, не покрытая лаком,— я сел в дорожную колесницу, поднял за собой подножку, с громким стуком захлопнул дверцу и крикнул: «Пошел!»

Тотчас же Запад и Юго-Запад Лондона побежали мимо меня таким быстрым аллюром, что я был уже за рекой, миновал Олд-Кент-роуд, выехал на Блекхит и поднимался на Шутерс-Хилл, прежде чем успел, как полагается добропорядочному путешественнику, оглядеться в своем экипаже.

У меня было два поместительных империала на крыше, хранилище для багажа впереди и еще одно сзади; над головой у меня была сетка для книг, под всеми окнами — большие карманы, с потолка свешивались две-три кожаных сумки для всяких мелочей, а к задней стенке была прикреплена лампа для чтения на случай, если придется заночевать в дороге. Все было предусмотрено для моего удобства, и, что особенно приятно, я понятия не имел, куда еду; знал только, что еду я за границу.

Так накатана была старая дорога, так бодры были кони и так быстро мы ехали, что находились уже на полпути между Грейвзендом * и Рочестером *, и река, раздвинув свои берега, уносила в море корабли с белыми парусами и черными дымками, когда я заметил на обочине презабавного маленького мальчика.

— Эй! — крикнул я презабавному маленькому мальчику.— Где ты живешь?

— В Чатаме,— отвечал он.

— И что ты там делаешь?

— Хожу в школу.

Я мигом посадил его к себе в экипаж, и мы поехали дальше. Вдруг презабавный маленький мальчик сказал:

— Мы подъезжаем к Гэдсхиллу, где Фальстаф вышел грабить путешественников, а потом убежал *.

— Да ты, оказывается, знаешь про Фальстафа?

— Я все про него знаю,— ответствовал презабавный маленький мальчик.— Я уже старый, мне девять лет, и я читал всякие книги. Но, прошу вас, давайте остановимся на вершине холма и посмотрим на этот дом.

— Тебе очень нравится этот дом? — спросил я.

— Еще бы, сэр,— отвечал презабавный маленький мальчик.— Да мне и половины моих лет не исполнилось, а для меня уже не было большей радости, чем когда меня приводили сюда посмотреть на него. А теперь мне девять, и я сам хожу на него смотреть. Отец заметил, как он мне нравится, и, сколько я себя помню, все твердит мне: «Если ты будешь настойчив и упорен в труде, ты, возможно, когда-нибудь поселишься в нем...» Но разве такое сбудется! — И презабавный маленький мальчик, тяжело вздохнув, принялся что есть мочи глазеть из окошка на дом.

Я был несколько озадачен, услышав такие речи от презабавного маленького мальчика, потому что дом, о котором шла речь, как раз принадлежит мне, и у меня есть основания полагать, что все сказанное им — сущая правда.

Но ладно. Я не делал здесь остановки и, вскоре высадив презабавного маленького мальчика, двинулся дальше. По дороге, которой шли римские легионы; по дороге, которой шли пилигримы в Кентербери; по дороге, которой, бряцая оружием, двигались конным кортежем по воде и грязи с континента на наш остров властолюбивые священники и принцы; по дороге, на которой Шекспир, сидя в седле у ворот трактирного дворика, напевал про себя, наблюдая за возчиками: «Дуй, хладный ветер, дуй!» * — дорогой, вьющейся меж вишневых садов и яблоневых садов, меж полей пшеницы и зарослями хмеля, ехал я мимо Кентербери в Дувр. Там море глухо обрушивало во мраке свои волны на берег, а французский поворотный маяк на мысе Гри Не то бросал вспышку света, то притухал, словно его каждые полминуты загораживал своей огромной головой беспокойный смотритель, чтобы проверить, горит ли фонарь.

Рано утром я был на палубе парового пакетбота, и то мы, как всегда, натыкались на отмель, то несносная от-

мель на нас; отмель наступала, а мы в беспорядке отступали — так все и шло, как всегда, самым несносным образом.

Но когда на другом берегу я покинул таможню и колеса нашей кареты подняли пыль с иссушенных жаждой дорог Франции, где голые придорожные деревья (которые, мне кажется, никогда не покроются зеленью, ибо я никогда не видел на них листвы) осеняли своей мнимой тенью то запыленного солдата, то работника с соседнего поля, поджаривающихся во сне на груде раскаленного солнцем щебня, вкус к путешествию стал возвращаться ко мне. А повстречав каменотеса в жесткой и жаркой, ярко горевшей на солнце шляпе, которая, словно зажигательное стекло, далеко отбрасывала лучи, я почувствовал, что сейчас я и правда в дорогой моему сердцу старой Франции. Я понял бы это и без помощи памятных мне с давних пор бутыли простого вина, холодной жареной курицы, каравая хлеба и щепотки соли, которыми я с несказанным удовольствием позавтракал, достав их из набитого до отказа кармана своей колесницы.

Я, должно быть, заснул после завтрака, потому что, когда в окошко заглянула веселая физиономия, я, встрепенувшись, промолвил:

— Боже мой, Луи! А мне снилось, что вы скончались.

Мой жизнерадостный слуга расхохотался.

— Я? И не собирался, сэр.

— Как хорошо, что я проснулся! А что мы сейчас делаем?

— Сейчас будем менять лошадей. Хотите подняться на холм?

— Конечно, хочу.

Привет тебе, старый французский холм, где на середине склона в крытой соломой конуре живет старый большеголовый французский безумец (он никак не сродни Марии Лоренса Стерна) *, который протягивает вам свой ночной колпак; он выскакивает с костылем из крытой соломой хибарки, дабы опередить старика и старуху, каковые показывают вам увечных детей, и детей, каковые показывают вам безобразных слепых старика и старуху; все они каким-то животворным путем словно возрождаются из праха, чтобы неожиданно заселить пустоту!

— Вот и чудесно,— сказал я, раздавая им мелочь, которая оказалась у меня при себе; пришел Луи, и я стряхнул с себя дремоту.

Мы двинулись дальше, и я радостно встречал каждое новое свидетельство того, что Франция все та же, какой я ее оставил. Все те же почтовые станции с въездными арками, с грязными конюшнями и чистенькими бойкими смотрительшами, которые следят, чтоб лошадям задали овса; все те же форейторы, которые считают в шляпах полученные деньги и никак не могут кончить считать; все те же неизменные серые лошади фламандской породы, которые при каждом удобном случае начинают кусать друг друга; все те же овчины с вырезом для головы, вроде детского слюнявчика, которые форейторы в дождливую и ветреную погоду надевают поверх своей формы; все те же форейторские ботфорты и щелканье кнутов; все те же соборы, которые я, словно исполняя повинность, выхожу осматривать, не испытывая к ним ни малейшего интереса; все те же городишки, которым, кажется, никакой нет нужды быть городами, потому что дома в них большей частью сдаются внаем и никого не заставишь их осмотреть, кроме тех, кому не по средствам их снять и у кого только и дела, что весь день беспрерывно на них глазеть. Ночь я провел в дороге, наслаждаясь восхитительным кушаньем из картофеля и других вполне съедобных продуктов, каковые, однако, если бы у нас вздумали их употреблять, грозили бы по той или иной причине — как вам непременно докажут — разорением британскому фермеру, этому хрупкому предмету нашей национальной гордости; и, наконец, прогремев, словно пилюля в коробочке, несколько лье по камням — бешено щелкает кнут, лошади рвутся вперед, приветственно машут два серых хвоста,— я совершил свой триумфальный въезд в Париж.

Я снял в Париже на несколько дней номер под самой крышей в одном из отелей на Рю де Риволи. Окна фасада выходили в сторону Тюильри, где няньки и цветы отличались друг от друга по преимуществу тем, что первые двигались, а вторые нет, задние же окна выходили на задние окна других номеров и на мощеный дворик глубоко внизу, где, словно навеки удалившись от дел, втиснулась под узкую арку моя германская колесница, и где

беспрерывно звонили звонки, не интересовавшие никого, кроме коридорных в зеленых байковых шапочках и с метелками из перьев в руках, невозмутимо глядевших вниз из высоких окон, и где с утра до ночи сновали изящные лакеи с подносами на левом плече.

Всякий раз, когда я попадаю в Париж, какая-то неведомая сила влечет меня в морг. Я не хочу идти туда, но меня туда тянет. Однажды, на рождество, когда я предпочел бы находиться где-нибудь в другом месте, я против воли очутился там и увидел седого старика, лежавшего в одиночестве на своем холодном ложе; над его седой головой был открыт водопроводный кран, и вода капля за каплей, капля за каплей стекала струйкой по его изможденному лицу и, огибая угол рта, придавала ему выражение лукавства. Одним новогодним утром (солнце к тому же ярко блестело на дворе, и бродячий фокусник балансировал пером на носу всего лишь в каком-то ярде от ворот морга) меня снова неудержимо повлекло туда, и я увидел восемнадцатилетнего юношу с льняными волосами и медальоном в форме сердца на груди («от матери», было написано на нем), которого сетью вытащили из реки; на его прекрасном лбу зияла рана от пули, а руки были изрезаны ножом,— но где и почему это произошло, оставалось совершенной загадкой. На сей раз меня опять потянуло в это ужасное место, и я увидел там крупного темноволосого мужчину, чье лицо, обезображенное водой, внушало ужас комичным своим видом; застывшее на нем выражение напоминало боксера, опустившего веки после сильного удара, но готового тотчас же открыть их, встряхнуть головой и «с улыбкой вскочить на ноги». Чего стоил мне этот крупный темноволосый мужчина в этом залитом солнцем городе!

Стояла жара, и ему от этого было не лучше, а мне и совсем сделалось худо. Это так бросалось в глаза, что аккуратненькая, приятная маленькая женщина с ключом от квартиры на указательном пальце, которая показывала покойника своей дочке, причем обе они все время ели конфеты, заметила, когда мы вместе выходили из морга, как плохо выглядит мсье, и спросила мсье, удивленно подняв свои хорошенькие бровки, что с ним такое? С трудом пролепетав, что с ним все в порядке, мсье зашел в винный

погребок через дорогу, выпил коньяку и решил освежиться в купальне на реке.

В купальне, как всегда, было весело и многолюдно. Мужчины в полосатых кальсонах веселых расцветок прохаживались под руку, пили кофе, курили сигары, сидели за маленькими столиками, любезно беседовали с девицами, выдававшими полотенца, и время от времени бросались в реку вниз головой, а затем выходили на берег, чтобы потом проделать все это еще раз. Я поспешил присоединиться к водной части этого развлечения и наслаждался от души приятным купанием, когда вдруг мной завладела безумная мысль, что большое темное тело плывет прямо на меня.

В мгновение ока я был на берегу и начал одеваться. В испуге я глотнул воды, и теперь мне стало дурно, ибо я вообразил, что вода отравлена трупным ядом. Я возвратился в прохладную, затемненную комнату своего отеля и лежал на диване до тех пор, пока не собрался с мыслями.

Разумеется, я прекрасно знал, что этот большой темноволосый человек был мертв и что у меня не больше вероятия где-либо повстречаться с ним, кроме как там, где я видел его мертвым, чем вдруг нежданно-негаданно и в совершенно неподобающем месте наткнуться на собор Парижской богоматери. Что тревожило меня, так это образ мертвеца, который почему-то так ярко запечатлелся в моем мозгу, что я отделался от него лишь тогда, когда он стерся от времени.

Пока эти странные видения одолевали меня, я сам понимал, что это всего только наваждение. В тот же день за обедом какой-то кусок на моей тарелке показался мне частью того человека, и я был рад случаю встать и выйти. Позднее, вечером, идя по Рю Сент-Оноре, я увидел на каком-то кабачке афишу, обещавшую состязания на рапирах и на палашах, борьбу и другие подобные зрелища. Я вошел и, поскольку некоторые фехтовальщики были очень искусны, остался. В заключение вечера был обещан образец нашего национального спорта, британского бокса. В недобрый час решил я, как подобает британцу, дождаться этого выступления. Боксеры (два английских конюха, потерявшие место) дрались неумело и неловко, но

один из соперников, получив правый прямой перчаткою между глаз, поступил совершенно так же, как, показалось мне, собирался поступить крупный темноволосый мужчина в морге, и он доконал меня в этот вечер.

В маленькой прихожей моего номера стоял довольно-таки тошнотворный запах,— в Париже такой аромат вовсе не редкость. Большое темное существо в морге никак не воздействовало на мое чувство обоняния, потому что лежало за толстой стеклянной стеной, которая так же непроницаема для запахов, как стальная или мраморная. И все же воздух комнаты все время напоминал мне о нем. Еще любопытнее та своенравная настойчивость, с какою его портрет вдруг ни с того ни с сего возникал у меня в мозгу, когда я шел по улице. Я мог идти по Пале-Роялю, лениво разглядывая витрины, услаждая свой взор выставкой какого-нибудь магазина готового платья. Мой взгляд, скользя по пеньюарам с немыслимо тонкой талией и ярким жилетам, задержится, бывало, на хозяине, на приказчике, а то и на манекене у дверей, воображение подскажет мне вдруг: «похож на него», и меня тотчас же снова одолевает тошнота.

Точно так же это случалось и в театре. Часто это происходило на улице, когда я никак не искал этого сходства, да его наверняка и не было. Это наваждение обуяло меня совсем не потому, что он был мертв; я знаю, что меня мог бы (со мной так не раз уже бывало) преследовать образ живого человека, мне отвратительного. Это продолжалось около недели. Картина не тускнела, не становилась менее назойливой или яркой, но являлась мне все реже и реже. Об этом, быть может, следовало бы поразмыслить тем, кому поручена забота о детях. Трудно преувеличить силу и точность восприятия развитого ребенка. В эту пору жизни, когда наблюдательность столь сильна, те или иные впечатления иногда бывают очень устойчивы. И если подобное впечатление произвел предмет, способный испугать ребенка, то страх ребенка, по недостатку в нем рассудительности, будет очень силен. Стараться в такое время сломить волю ребенка, поступать с ним по-спартански, посылать его насильно в темную комнату, оставлять его против воли в пустой спальне — все равно что просто взять его и убить.

В одно прекрасное солнечное утро застучали колеса моей германской колесницы, унося меня из Парижа, и я навсегда расстался с большим темным существом. Должен признаться, впрочем, что после того, как его предали земле, меня потянуло в морг посмотреть на его одежду, которую я нашел страшно похожей на него самого — в особенности башмаки. Но я ехал в Швейцарию, я не оглядывался назад, а глядел только вперед, и мы с ним перестали водить компанию.

И снова я с радостью предвкушаю долгое путешествие по Франции, с ее занятными, полными цветочных ваз и стенных часов придорожными тавернами, что приютились в сонных городках с населеньицем никак не сонным, когда выберется оно вечерком под деревья маленького своего бульвара! Привет вам, господин кюре, когда вы гуляете по дороге неподалеку от города и читаете вечный свой требник, который пора б уже знать почти что весь наизусть. И позже, среди дня, привет вам, господин кюре, когда вы трясетесь по большой дороге в облепленном грязью десяти зим кабриолете с необычайно большим верхом, а вокруг кабриолета такие облака пыли, словно возносится он в заоблачные выси. И снова привет вам, господин кюре, когда вы распрямляете спину, чтобы взглянуть на мою германскую колесницу, проезжающую мимо вашего огородика, где вы берете немного овощей на сегодняшний суп, и я обмениваюсь с вами приветствием, сидя и глядя в окно в том чудесном, знакомом путешественникам оцепенении, когда нет у тебя забот, нет у тебя ни вчера, ни завтра, и только проносятся мимо картины, запахи, звуки. Так приехал я полный восторга в Страсбург, где провел дождливый воскресный вечер у окна, наблюдая пустячный водевильчик, разыгранный для меня у дома напротив.

Как такой большой дом обходился всего лишь тремя жильцами, это его личное дело. Под его высокой крышей виднелось штук двадцать окошек, и я начал было считать, сколько их было на нелепом фасаде, но оставил эту затею. Принадлежал он лавочнику по фамилии Страуденгейм, который торговал... Я, впрочем, не сумел дознаться, чем он торговал, потому что он пренебрег возможностью сообщить об этом на вывеске, а лавка его была закрыта.

Глядя сквозь беспрерывные потоки дождя на дом

Страуденгейма, я поначалу определил его владельца в торговцы гусиной печенкой. Но вот сам Страуденгейм показался в окне второго этажа, и, хорошенько изучив его, я пришел к твердому убеждению, что речь тут идет о чем-то поважней печенки. На нем была черная бархатная ермолка, и на вид он казался богатым ростовщиком. Старый, седой, губастый, нос как груша, глаза острые, хоть и близорукие. Он писал за конторкой, и время от времени останавливался, брал перо в рот и принимался что-то делать правой рукой, как будто складывал столбики монет. Что это, Страуденгейм, пятифранковики или золотые наполеондоры? Кто ты, Страуденгейм, ювелир, ростовщик или торговец бриллиантами?

Под окном Страуденгейма, в окне первого этажа, сидела его домоправительница, далеко не юная, но приятной наружности, предполагавшей хорошо развитые икры и лодыжки. Одета она была в яркое платье, в руке у нее был веер, в ушах большие золотые серьги, а на груди большой золотой крест. Она, вероятно, собралась на воскресную прогулку, да вот зарядил этот противный дождь. Страсбург отказался в этот день от воскресных прогулок как от дела неподходящего, потому что дождь хлестал струями из старых водосточных труб и лился потоком посреди мостовой. Домоправительница, сложив руки на груди, постукивала веером по подбородку, сияла улыбками у своего открытого окошка, но в остальном фасад страуденгеймовского дома наводил тоску. Только окно домоправительницы было открыто; Страуденгейм сидел взаперти, хотя в такой душный день воздух доставляет отраду, и дождь принес с собой слабый аромат полей, который всегда приходит в город с летним дождем.

Еле различимая мужская фигура, появившаяся за плечом Страуденгейма, внушила мне опасение, что кто-то явился убить этого процветающего купца и похитить богатства, которыми я так щедро наделил его, тем более что человек этот был взволнован, высок и худ и двигался, как легко было заметить, крадущейся походкой. Но вместо того чтобы нанести Страуденгейму смертельную рану, он о чем-то с ним посовещался, затем они тихонько открыли окно в своей комнате, приходившееся как раз над окном домоправительницы, и, перегнувшись вниз, попытались ее

разглядеть. И в моем мнении Страуденгейм сразу упал, когда я увидел, что этот известный купец плюет из окошка с явным намереньем попасть в домоправительницу.

Ничего не подозревавшая домоправительница обмахивалась веером, встряхивала головкой и смеялась. Страуденгейма она не видела, но зато видела кого-то другого,— уж не меня ли? — больше ведь тут никого не было.

После того как Страуденгейм и его худой приказчик настолько высунулись из окошка, что я уже твердо надеялся увидеть их пятками вверх, они втянули обратно свои головы и закрыли окно. Тотчас же потихоньку открылась входная дверь, и они медленно и зловеще выползли под проливной дождь. «Они направились ко мне,— подумал я,— дабы потребовать удовлетворения за то, что я глядел на домоправительницу»,— но тут они нырнули в нишу под моим окном и извлекли оттуда тщедушнейшего солдатика, опоясанного безвреднейшей шпажонкой. Страуденгейм первым делом сшиб с этого воина глянцевитый кивер, и оттуда вывалились две сахарные головы и несколько больших кусков сахару.

Воин не сделал попытки вернуть свою собственность или поднять свой кивер, а только уставился внимательно на Страуденгейма, который пнул его пять раз, а затем на худого приказчика, когда и тот пнул его пять раз, и снова на Страуденгейма, когда тот разорвал ему на груди мундир и сунул ему в лицо обе свои пятерни, словно подарил десять тысяч. Совершив эти бесчинства, Страуденгейм и приказчик ушли в дом и заперли за собой дверь. Но самое поразительное, что домоправительница, которая видела все это (и которая могла бы прижать к своей пышной груди шестерых таких воинов зараз), обмахивалась себе веером, смеялась, совсем как прежде, и, казалось, не принимала ничьей стороны.

Но кульминацией этой драмы было удивительное мщение, учиненное маленьким воином. Оставшись один под дождем, он поднял и надел свой грязный и мокрый кивер, удалился во двор, угол которого составлял дом Страуденгейма, обернулся и, поднеся к носу оба указательных пальца, потер их крест-накрест один о другой, в знак презрения, вызова и насмешки над Страуденгеймом. И хотя Страуденгейма никак нельзя было заподозрить в том, что

он осведомлен об этой странной церемонии, она настолько вдохновила и утешила солдатика, что он дважды уходил и дважды возвращался во двор, чтобы повторить свой жест, словно это должно было довести его врага до безумия. Мало того, он еще вернулся с двумя другими маленькими солдатиками, и все трое проделали это вместе. И мало того,— чтоб мне с места не сойти! — едва только стемнело, эти трое вернулись с дюжим бородатым сапером, которому рассказали о содеянном зле, чем заставили его повторить тот же жест, хоть Страуденгейм и оставался попрежнему в совершенном неведенье о происходящем. А затем они взяли друг друга под руки и двинулись прочь, распевая песню.

Я тоже на рассвете покинул эти места, и колеса германской колесницы принялись стучать день за днем, словно в приятном сне, и столько звонких бубенчиков звенело на сбруе моих лошадей, что в ушах у меня все время звучали детские стихи о Банбери-Кросс * и о почтенной даме, которая чинно сидела в коляске. И теперь я прибыл в страну деревянных домов, непритязательных пирогов, тощих молочных супов и безупречно чистых гостиничных номеров, как две капли воды похожих на сыроварню. И теперь меткие швейцарские стрелки непрерывно палили из ружей по мишеням через ущелья, да так близко от моих ушей, что я чувствовал себя чем-то вроде нового тирана Геслера в кантоне Теллей * и все время ходил под страхом заслуженной смерти. В качестве призов на стрелковых состязаниях выдаются часы, красивые платки, шляпы, ложки и, главным образом, подносы. На одном из таких состязаний я наткнулся на своего соотечественника, чрезвычайно любезного и образованного, который за долгие годы дострелялся до того, что оглох и выиграл столько подносов, что теперь разъезжал по стране в экипаже, набитом подносами, вроде прославленного коробейника.

В горной части страны, куда я теперь добирался, впереди лошадей иногда пристегивают упряжку волов, и я тяжело двигался вверх, вверх, вверх, сквозь дождь и туман, и вместо музыки слушал шум водопадов. И вдруг дождь прекращался, туман рассеивался, и я въезжал в какой-нибудь живописный городок с блестящими шпилями и затейливыми башнями и взбирался по крутым извилистым

улочкам к рынку, где не меньше сотни женщин в корсетах продавали яйца и мед, масло и фрукты и, сидя возле своих аккуратных корзин, кормили грудью детей, и у них были такие огромные зобы или опухшие железки, что составляло немалый труд разобраться, где кончается мать и начинается ребенок. К этому времени я сменил свою германскую колесницу на верхового мула, цветом и твердостью так похожего на старый, пыльный, обшитый шкурой сундук, который был у меня некогда в школе, что я готов был искать у него на спине свои инициалы, образованные шляпками медных гвоздей, и я поднимался по тысячам горных дорог, и видел внизу тысячи еловых и сосновых лесов, и очень был бы не прочь, если б мой мул держался немного поближе к середине дороги, а не шел на копыто иль два от обрыва, хотя, к великому моему утешению, мне объяснили, что это следует приписать великой его мудрости, ибо в другое время он носит на себе длинные бревна и откуда ему знать, что я не принадлежу к таковым и не занимаю столько же места. И вот мудрый мул благополучно вез меня по альпийским перевалам, и я по десять раз на дню переходил из одного климата в другой; подобно Дон-Кихоту на деревянном коне, я попадал то в область ветра, то в область огня, то в область ледников и вечных снегов. Я перебирался через непрочные ледяные своды, под которыми гремел водопад, я проезжал под аркой сосулек несказанной красоты, и воздух был здесь такой ясный, свежий и бодрящий, что на остановках я, подражая своему мулу, катался в снегу, решив, что ему виднее, когда как поступать. В этой части пути мы иногда попадали среди дня в получасовую оттепель. Постоялый двор, казалось тогда, стоит на острове топкой грязи, окруженном океаном снегов, а с вереницы жующих мулов и тележек, заполненных бочонками и тюками, которые за милю отсюда были как в Арктике, снова начинал подниматься пар. Так добирался я до кучки домиков, где мне надо было свернуть с тропы, чтобы посмотреть водопад. И тогда, издав протяжный крик, словно молодой великан, подкарауливший путника, идущего вверх по круче,— иными словами, промысливший себе обед,— идиот, лежащий на штабеле дров, чтобы погреться на солнце и подлечить свой зоб, вызывал жен-

щину-проводницу, и та поспешно выходила из хижины, закидывая на ходу ребенка за одно плечо, а зоб за другое. Во время этого путешествия я ночевал в молельнях и мрачных пристанищах всякого рода, и ночью у камелька слушал истории о путешественниках, которые неподалеку от этого места погибли во время снежных обвалов или провалились под толщу снега. Одна такая ночь, проведенная у очага, когда снаружи трещал мороз, вернула меня к давно забытым впечатлениям детства, и мне почудилось, что я русский крепостной из книжки с картинками, которую я разглядывал еще до того, как мог ее сам прочесть, и что меня собирается отхлестать кнутом благородная личность в меховой шапке, в высоких сапогах и с серьгами в ушах, явившаяся, надо думать, из какой-нибудь мелодрамы.

Привет вам, прекрасные воды этих гор! А впрочем, мы с ними расходимся во мнениях: они привычно стремятся в долины, а я горячо стремлюсь подольше остаться здесь. Какие отчаянные прыжки они совершают, в какие бездонные пропасти падают, какие скалы истачивают, какое эхо порождают! В одном из мест, где я побывал, их приставили к делу, и они несут на себе лес, который зимой сожгут в Италии как ценное топливо. Но нелегко обуздать их свирепый и безудержный нрав, и они сражаются с каждым бревном, и кружат его, и сдирают с него кору, и бьют его об острые выступы, и прибивают к берегу, и рычат, и бросаются на крестьян, которые, стоя на берегу, длинными толстыми шестами сталкивают бревна обратно. Но, увы! Быстротечное время, словно горный поток, уносило меня в долину, и в один ясный солнечный день я прибыл на лозаннский берег Женевского озера, где я стоял, глядя на яркие синие воды, на ослепительную белизну вздымавшихся над ними гор и на колыхавшиеся у моих ног лодки со свернутыми средиземноморскими парусами, которые казались гусиными перьями, вроде того, что сейчас у меня в руке, только выросшими до невероятных размеров.

...Небо вдруг, без всякого предуведомления, заволоклось тучами, я ощутил дуновение ветра, похожего на восточный ветер, что дует в Англии в марте, и чей-то голос сказал: «Ну, как она вам нравится? Подойдет?»

Я всего лишь на минутку закрылся в германской до-

рожной колеснице, которая была выставлена на продажу в каретном отделе лондонских торговых рядов. Мне поручил купить ее один приятель, отправлявшийся за границу; и вид и повадка этого экипажа, когда я забрался внутрь, чтобы опробовать рессоры и пружины сиденья, заставили меня предаться чему-то вроде путевых воспоминаний.

— Вполне подойдет,— промолвил я с легкой грустью, вылезая с другой стороны и захлопывая за собой дверцу кареты.

## VIII

### *Груз «Грейт Тасмании»*

Я постоянно езжу по одной железной дороге. Она ведет из Лондона к большим провиантским складам военного ведомства и расположенным там же большим казармам. Насколько я могу припомнить, мне ни разу не случалось ехать днем в поезде без того, чтобы не встретить нескольких дезертиров в наручниках.

Вполне естественно, что в армии, устроенной на таких началах, как наша английская армия, попадается немало дурных и недисциплинированных людей. Но ведь это довод в пользу, а не против того, чтобы сделать армию возможно более приемлемой для порядочных людей, которые хотели бы стать солдатами. А этих людей никак не привлекает необходимость жить в грязи, в какой не живет свинья, жить так, как не согласилось бы ни одно человеческое существо. Вот почему, когда иные из этих весьма относительных прелестей солдатской жизни стали не так давно достоянием гласности, мы, люди штатские, которые, в неведенье о происходящем, сидели себе и умилялись в душе подоходному налогу, сочли, что имеем к этому делу касательство, и даже вознамерились высказать вслух пожелание, чтобы здесь был наведен порядок, если только можно сделать подобный намек властям предержащим, не погрешив против катехизиса.

Всякое живое описание недавних боев, всякое письмо солдата к родным, опубликованное в газетах, всякая страница реляций о награждении крестом ордена Виктории * показывают, что в рядах армии, при всем, что мешает

этому, столько же людей с чувством долга, сколько и среди представителей остальных профессий. Можно ли усомниться, что, исполняй все мы свой долг так же честно, как исполняет его солдат, на свете жилось бы много легче? Не спорю, нам это бывает порою трудней, чем солдату. Но давайте по крайней мере выполним свой долг перед ним.

Я вернулся опять в тот прекрасный богатый порт, где присматривал за Джеком-Мореходом, и как-то раз, в непогожее мартовское утро, решил подняться на холм. Моим случайным попутчиком был мой чиновный друг Панглос *, и мы разговорились о том, что было целью этого моего путешествия не по торговым делам — я хотел повидать отслуживших свой срок солдат, которые вернулись недавно из Индии. Среди них были солдаты Хэвлока *, люди, участвовавшие во многих жарких боях великой индийской кампании, и мне любопытно было посмотреть, каковы из себя отставные солдаты, когда их отпустили из армии.

— Мой интерес отнюдь не уменьшился,— сказал я своему чиновному другу Панглосу,— из-за того, что эти солдаты добивались отставки, а их долгое время не отпускали.

Нельзя было усомниться в их верности долгу и храбрости, но когда обстоятельства переменились, они решили, что их договор потерял силу, и сочли себя вправе требовать нового. В Индии наши власти упорно сопротивлялись их настояниям, но, как видно, солдаты были не так уж неправы, ибо это запутанное дело кончилось тем, что из Англии пришел приказ уволить их в отставку и отправить домой. (Это, конечно, стоило немалых денег.)

Когда солдатам удалось отстоять себя перед Департаментом Пагод того великого Министерства Околичностей, во владениях коего никогда не заходит солнце и никогда не пробивается луч разума, Департаменту Пагод, думал я, поднимаясь на холм, где случайно встретил своего чиновного друга, следовало особенно озаботиться честью нации. Он должен был даже в мелочах проявить исключительную добросовестность, если не великодушие, и тем доказать солдатам, что государственной власти чужды такие мелкие чувства, как мстительность и злопамятство. Он должен был принять все меры к тому, чтобы на пути домой сохранить их здоровье и чтобы они выса-

дились на суше отдохнувшие от своих ратных трудов после морского путешествия, во время которого им были бы обеспечены чистый воздух, здоровая пища и хорошие лекарства. И я наперед радовался, представляя себе, какие замечательные рассказы об обхождении с ними принесут эти люди в свои города и села и насколько это будет способствовать популярности военной службы. Я почти уже начал надеяться, что на моей линии железной дороги дезертиры, которых доселе трудно было не встретить, станут мало-помалу в диковинку.

В этом приятном расположении духа вошел я в ливерпульский работный дом, ибо лавры были посажены в песчаную почву и солдаты, о которых идет речь, очутились в этом приюте славы.

Прежде чем пойти к ним в палаты, я спросил, как совершили они свой триумфальный въезд. Если не ошибаюсь, их привезли сюда под дождем на открытых телегах прямо с места высадки, а затем обитатели работного дома затащили их на своих спинах наверх. Во время исполнения этой пышной церемонии страдания и стоны несчастных были до того ужасны, что на глазах у присутствующих,— как ни привычны они были к душераздирающим сценам,— показались слезы. Солдаты настолько промерзли, что тех, кто в состоянии был подобраться к огню, с трудом удержали от того, чтобы они не сунули ноги прямо в пылающие уголья. Они были настолько истощены, что на них страшно было смотреть. Сто сорок человек, измученных дизентерией, почерневших от цинги, привели в чувство коньяком и уложили в постель.

Мой чиновный друг Панглос происходит по прямой линии от носившего то же имя ученого доктора, который был некогда наставником Кандида,— довольно известного юноши простодушного нрава. В частной жизни он человек достойный и добрый, не хуже многих других, но в качестве представителя власти он, по несчастью, исповедует веру своего славного предка, пытаясь по всякому случаю доказать, что мы живем в лучшем из чиновных миров.

— Скажите мне, во имя человеколюбия,— промолвил я,— каким образом эти люди дошли до столь горестного состояния? Какими припасами снабжен был корабль?

— У меня нет собственных сведений, но я имею все основания утверждать, что продукты были лучшие на свете,— отвечал Панглос.

Офицер медицинской службы положил перед нами пригоршню гнилых сухарей и горсть сухих бобов. Сухарь представлял собой сплошную массу червей и их экскрементов. Бобы были еще тверже, чем эта мерзость. Подобную же пригоршню бобов варили на пробу в течение шести часов, и они нисколько не стали мягче. Таков был провиант, которым кормили солдат.

— Говядина...— начал я, но Панглос не дал мне кончить.

— Лучшая на свете,— заявил он.

Но вот посмотрите, перед нами положили один из протоколов коронерского дознания, проведенного по случаю того, что некоторые солдаты, очутившись в подобных условиях, из неповиновения умерли. Из этого протокола явствовало, что говядина была худшая на свете.

— Тогда я торжественно заявляю, что уж свинина, во всяком случае, была лучшая на свете,— сказал Панглос.

— Но посмотрите, что за продукты лежат перед нами, если только их можно назвать этим словом,— сказал я.— Разве мог инспектор, честно исполняющий свои обязанности, признать эту пакость годной в пищу?

— Их не следовало принимать,— согласился Панглос.

— В таком случае тамошние власти...— начал я, но Панглос снова не дал мне кончить.

— Кажется, и в самом деле иногда что-то где-то было не так,— сказал он,— но я берусь доказать, что тамошние власти лучшие на свете.

Я еще никогда не слышал, чтоб власти, чьи действия подвергнуты критике, не были бы лучшими властями на свете.

— Говорят, что эти несчастные слегли от цинги,— продолжал я.— Но с тех пор как у нас во флоте стали заготовлять и выдавать матросам лимонный сок, эта болезнь не наносит опустошений и почти исчезла. На этом транспорте был лимонный сок?

Мой чиновный друг уже завел было свое: «Лучший на свете», но, как назло, палец медика указал еще на один пункт в протоколе дознания, из коего следовало, что

лимонный сок тоже никуда не годился. Стоит ли упоминать, что уксус никуда не годился, овощи никуда не годились, для приготовления пищи (если там вообще стоило что-либо готовить) все было приспособлено плохо, воды не хватало, а пиво было прокисшее.

— В таком случае солдаты,— сказал Панглос, начиная раздражаться,— были самые плохие на свете.

— В каком смысле? — поинтересовался я.

— Пропойцы! — заявил Панглос.

Однако тот же неисправимый палец медика указал еще на один пункт в протоколе дознания, из коего явствовало, что умершие были подвергнуты вскрытию и что они, во всяком случае, никак не могли быть алкоголиками, ибо органы, на которых обнаружились бы последствия пьянства, оказались совершенно здоровыми.

— Кроме того,— заявили в один голос все трое присутствовавших здесь врачей,— алкоголики, дойдя до такого состояния, не оправились бы, получив пищу и уход, как большинство этих солдат. У них организм оказался бы слишком слаб.

— Ну, значит, они были расточительны и не думали о завтрашнем дне,— сказал Панглос.— Эта публика всегда такова, в девяти случаях из десяти.

Я обратился к смотрителю работного дома и спросил его, были у этих людей деньги или нет.

— Деньги? — переспросил он.— У меня в несгораемом шкафу лежит фунтов четыреста их денег, еще фунтов сто у агентов, и у многих из них остались деньги в индийских банках.

— Да! — сказал я себе, когда мы поднимались наверх.— История, пожалуй, не самая лучшая на свете!

Мы вошли в большую палату, где стояло двадцать или двадцать пять кроватей. Мы обошли одну за другой несколько подобных палат. Я не решаюсь сказать, какое ужасное зрелище явилось моим глазам, ибо отпугну читателя от этих строк и тем самым лишу себя возможности сообщить ему все, что намерен.

Эти запавшие глаза, которые обращались ко мне, когда я проходил между рядами кроватей, и — хуже того — эти потухшие невидящие взоры, неподвижно вперившиеся в белый потолок, лишенные всякого интереса к окружаю-

щему! Здесь лежит живой скелет, обтянутый тонкой нездоровой кожей, так что видна каждая косточка, и я могу двумя пальцами обхватить его руку повыше локтя. Здесь лежит человек, у которого черная цинга разъела ноги; десны исчезли, и во рту торчат длинные обнаженные зубы. Эта кровать пуста, потому что здесь побывала гангрена и пациент накануне умер. Этот больной безнадежен, он день за днем угасает, и его можно только заставить со слабым стоном повернуть на подушке несчастное, изможденное, подобное маске лицо. Ужасная худоба запавших щек, ужасный блеск провалившихся глаз, серые губы, бледные руки. Эти человеческие подобия лежат безвольно, осененные крылом смерти и освещенные торжественным сумеречным светом, как те шестьдесят, что умерли на корабле и покоятся ныне на дне морском... О Панглос, бог тебе судья!

На одной кровати лежал человек, чья жизнь, после того как ему сделали глубокие надрезы на руках и ногах, надеялись, была вне опасности. Пока я разговаривал с ним, подошла сиделка сменить припарки, необходимые после этой операции, и я почувствовал, что отвернуться, дабы спасти себя от переживаний, было бы с моей стороны нехорошо. Больной был впечатлителен и страшно истощен, но делал буквально героические усилия, чтобы ничем не выдать своих невыносимых страданий. По тому, как он содрогался всем телом, по тому, как натягивал простыню на лицо, легко было увидеть, что́ ему приходилось терпеть, и я сам содрогался, словно это мне было больно, но, когда ему наложили новые повязки и его бедные ноги успокоились, он извинился, хотя за все это время не проронил ни слова, и жалобно проговорил: «Видите, сэр, какой я стал слабый и чувствительный!» Ни от него, ни от других несчастных страдальцев не слышал я слова жалобы. Слов благодарности за внимание и заботу я слышал много, но жалобы — ни одной.

Даже в самом ужасном скелете можно было, я думаю, узнать солдата. Что-то от былого характера таилось в бледных тенях людей, с которыми я говорил. Одно истощенное существо, от которого, в буквальном смысле слова, остались кожа да кости, лежало распростертое ничком на кровати и было так похоже на мертвеца, что я спросил докторов, не умирает ли он. Но вот доктор сказал

ему на ухо несколько добрых слов; он открыл глаза, улыбнулся, и мне вдруг показалось, что, если бы он мог, он отдал бы честь. «Мы его вызволим, с божьей помощью»,— сказал доктор. «Спасибо, доктор, дай бог»,— сказал пациент. «Вам сегодня много лучше, правда?» — спросил доктор. «Дай бог, сэр; мне надо хорошенько постучать по спине, сэр, ночью не сплю, дышать трудно».— «А вы знаете, он человек предусмотрительный,— сказал доктор весело.— Когда его положили на телегу, чтобы везти сюда, шел сильный дождь, и он догадался попросить, чтобы у него из кармана вынули соверен и наняли извозчика. Возможно, это спасло ему жизнь». Пациент издал какое-то дребезжащее подобие смеха и промолвил, гордый тем, что о нем рассказали: «То-то и дело, сэр, что тащить сюда умирающего на открытой телеге — нелепая затея; чтоб его доконать, лучше средства не сыщешь». Когда он произнес эти слова, можно было побиться об заклад, что перед вами солдат.

Когда я ходил от постели к постели, одно обстоятельство сильно меня озадачило. Очень важное и очень печальное обстоятельство. Я не обнаружил молодых людей, кроме одного. Он привлек мое внимание тем, что встал, натянул свои солдатские штаны и куртку, чтобы посидеть у огня, но, убедившись, что слишком для этого слаб, забрался обратно на койку и улегся поверх одеяла. В нем одном признал я молодого человека, постаревшего раньше времени от голода и болезни. Когда мы стояли у кровати солдата-ирландца, я упомянул о своем недоумении врачу. Он снял табличку с изголовья кровати ирландца и спросил, сколько, по-моему, лет этому человеку. Я внимательно наблюдал его все время, что с ним говорил, и ответил с уверенностью: «Пятьдесят». Доктор, бросив сочувственный взгляд на больного, снова впавшего в забытье, повесил табличку обратно и сказал: «Двадцать четыре».

Порядок в палатах был образцовый. Невозможно было отнестись к больным с большей человечностью и сочувствием, окружить их лучшим уходом, поместить в более здоровую обстановку. Владельцы судна тоже сделали все, что было в их силах, не побоявшись затрат. В каждой комнате ярко пылал камин, и выздоравливающие сидели у огня, читая газеты и журналы. Я взял на себя смелость

попросить своего чиновного друга Панглоса посмотреть на их лица, приглядеться к их поведению и сказать, не видно ли по ним, что это исправные, стойкие солдаты. Смотритель работного дома, услышав мои слова, заметил, что ему немало пришлось иметь дела с военными, но что ему никогда прежде не случалось сталкиваться с людьми более примерного поведения. Они, добавил он, всегда такие, какими мы их видим сейчас. А о нас, посетителях, добавлю я, они знали лишь то, что мы здесь.

Как ни дерзко это было с моей стороны, я позволил себе еще одну вольность с Панглосом. Заметив для начала, что хотя, как мне известно, никто ни в малейшей мере не пробовал замолчать какие-либо обстоятельства этого ужасного дела и что дознание было справедливейшее на свете, я все же попросил его, во-первых, обратить внимание на то, что дознание велось не здесь, а в другом месте; во-вторых, посмотреть на эти беспомощные тени людей, что лежат вокруг него на кроватях; в-третьих, припомнить, что свидетелей для коронера пришлось отбирать не из тех, кто знал больше других, а из тех, кто способен был перенести поездку к коронеру; и в-четвертых, объяснить, почему коронер с присяжными не могли явиться сюда, к этим постелям, и здесь тоже снять показания? Мой чиновный друг отказался свидетельствовать сам против себя и промолчал.

В кучке людей, сидевших у одного из каминов, я увидел сержанта, который что-то читал. Поскольку у него было умное лицо и поскольку я питаю большое уважение к унтер-офицерам, я присел на ближайшую постель и заговорил с ним. (Это была постель одного из самых страшных скелетов; он вскоре умер.)

— Мне было приятно, сержант, прочитать показания одного офицера, который во время дознания заявил, что ему никогда прежде не случалось видеть, чтобы солдаты лучше вели себя на борту корабля.

— Они вели себя очень хорошо, сэр.

— И еще мне было приятно узнать, что у каждого солдата была своя подвесная койка.

Сержант угрюмо покачал головой.

— Здесь какая-то ошибка, сэр. У солдат моей команды не было коек. На корабле коек не хватало, и солдаты

двух других команд захватили койки, как только попали на борт, так что они, что называется, обошли моих людей.

— Значит, у тех, кого обошли, коек не было?

— Нет, сэр. Когда человек умирал, его койка доставалась другому, хотя до многих очередь не дошла.

— Так что вы не согласны с этим пунктом протокола?

— Конечно нет, сэр. Как можно согласиться, когда знаешь, что это не так?

— Были на корабле солдаты, которые продавали свою постель, чтобы купить спиртного?

— Здесь опять ошибка, сэр. Люди думали, да и я так считал в то время, что нам не позволят взять с собою на борт одеяла и постельные принадлежности, и поэтому те, у кого они были, старались сбыть их с рук.

— А случалось, что солдаты пропивали свою одежду?

— Случалось, сэр. (Я думаю, что на свете не было свидетеля более беспристрастного, чем этот сержант. Он совершенно не старался никого обелить.)

— И многие это делали?

— Кое-кто, сэр,— отвечал он, подумав.— По-солдатски. Мы долго шли в сезон дождей по плохим дорогам, короче говоря, по бездорожью, и когда мы добрались до Калькутты, людям захотелось выпить, прежде чем проститься с городом. По-солдатски.

— Вот, например, в этой палате есть сейчас кто-нибудь из тех, кто пропил тогда свою одежду?

Тусклые глаза сержанта, в которых только еще стали зажигаться первые счастливые искорки жизни, оглядели палату и снова обратились ко мне.

— Разумеется, сэр.

— Должно быть, пройти пешим маршем в Калькутту в сезон дождей было очень трудно?

— Это был очень тяжелый марш, сэр.

— Но я думаю, что солдаты, даже те, кто пил, должны были скоро оправиться на борту корабля, где они могли отдохнуть и подышать морским воздухом.

— Могли бы, но на них сказалась плохая пища, особенно в холодных широтах, и когда мы попали туда, люди совсем обессилели.

— Мне говорили, сержант, что больные, как правило, отказывались от еды.

— А вы видели, чем нас кормили, сэр?

— Кое-что видел.

— А вы видели, сэр, в каком состоянии у них зубы?

Если бы сержант, привыкший к коротким словам команды, не был столь лаконичен, а наговорил бы на весь этот том, он все равно не сумел бы лучше растолковать суть дела. Я думаю, что больные могли с таким же успехом съесть корабль, как и корабельные припасы.

Когда я, пожелав ему скорого выздоровления, оставил сержанта, я снова позволил себе вольность по отношению к своему чиновному другу Панглосу, осведомившись у него, слыхал ли он когда-нибудь, чтобы сухари напились пьяными и выменяли свои питательные качества на гниль и червей, а бобы затвердели в спиртном; чтобы койки спились и сгинули со света, а лимонный сок, овощи, уксус, кухонные принадлежности, вода и пиво собрались вместе и сами себя пропили. Если он такого не слышал, продолжал я, то что он может сказать в защиту осужденных коронерским судом офицеров, которые, подписав инспекторский акт о пригодности «Грейт Тасмании» для транспортировки войск, тем самым предумышленно объявили всю эту отраву, все эти отбросы, годные для помойки, доброкачественной и полезной пищей. Мой чиновный друг в ответ заявил, что если иные офицеры относительно хороши, а другие только сравнительно лучше, то офицеры, о коих идет речь, самые лучшие на свете.

У меня щемит сердце и рука изменяет мне, когда я пишу отчет об этом своем путешествии. Видеть этих солдат на больничных койках в ливерпульском работном доме (кстати, очень хорошем работном доме) было так ужасно и так позорно, что я, как англичанин, сгораю от стыда при одном лишь воспоминании. Я просто не в силах был бы вынести это зрелище, если бы не забота и сочувствие, которые проявили к ним там, пытаясь облегчить их страдания.

Никакое наказание, предусмотренное нашими слабыми законами, нельзя даже назвать наказанием, когда речь идет о лицах, виновных в таком преступлении. Но если память о нем умрет неотмщенной и все, кто в нем пови-

нен, не будут беспощадно изгнаны и заклеймены позором, позор падет на голову правительства (все равно, какой партии), до такой степени пренебрегшего своим долгом, и на английский народ, безучастно взирающий на то, как от его имени совершаются столь чудовищные злодеяния.

## IX

### *Церкви лондонского Сити*

Если мое признание, что я по воскресеньям часто покидаю свою квартиру в Ковент-Гардене, дабы отправиться в путешествие, покажется обидным для тех, кто никогда не путешествует в день воскресный, они, надеюсь, будут удовлетворены, услышав от меня, что я путешествую по городским церквам.

Не то чтоб я любопытствовал услышать громогласных проповедников. Я их наслушался еще в те времена, когда меня в церковь, что называется, тянули за волосы. Летними вечерами, когда цветы, деревья, птицы, а вовсе не проповедники манили мое детское сердце, женская рука хватала меня за макушку, и в качестве очищения пред вступленьем в храм меня принимались скрести что есть сил, от шеи до самых корней волос, после чего, заряженного мыльным электричеством, тащили томиться, словно картошку, в застойных испарениях громогласного Воанергеса Кипятильника и его паствы и парили там до тех пор, пока мое слабое разумение окончательно не испарялось из моей головы. В означенном жалком состоянии меня выволакивали из молитвенного дома и, в качестве заключительного экзерсиса, принимались вытягивать из меня, что имел в виду Воанергес Кипятильник, когда произносил свои «в-пятых», «в-шестых», «в-седьмых»; и все это продолжалось до тех пор, пока преподобный Воанергес Кипятильник не становился для меня олицетворением какой-то мрачной и гнетущей шарады. Меня таскали на религиозные собрания, на которых ни одно дитя человеческое, исполнено ли оно благодати или порока, не способно не смежить очи; я чувствовал, как подкрадывается

и подкрадывается ко мне предательский сон, а оратор все гудел и жужжал, словно огромный волчок, а потом начинал крутиться и в изнеможении падал — но тут, к великому своему страху и стыду, я обнаруживал, что упал вовсе не он, а я. Я присутствовал на проповеди Воанергеса, когда он специально адресовался к нам — к детям; как сейчас слышу его тяжеловесные шутки (которые ни разу нас не рассмешили, хотя мы лицемерно делали вид, будто нам очень смешно); как сейчас вижу его большое круглое лицо; и мне кажется, что я все еще гляжу в рукав его вытянутой руки, словно это большой телескоп с заслонкой, и все эти два часа безгранично его ненавижу. Вот так-то и вышло, что я знал этого громогласного проповедника вдоль и поперек, когда был еще очень молод, и распрощался с ним в ранний период своей жизни. Бог с ним, пусть живет. Пусть себе живет, хоть мне житья от него не было.

С тех пор я слышал многих проповедников — не громогласных, а просто христианских, непритязательных, благоговейных,— и многих из них я считаю своими друзьями. Но я предпринял свои воскресные путешествия не для того, чтобы послушать этих проповедников, не говоря уж о громогласных. Я просто осматривал из любопытства многочисленные церкви лондонского Сити. Как-то раз я подумал, что хорошо знаком со всеми церквами Рима, а вот в старые лондонские церкви ни разу не заглянул. Это пришло мне в голову одним воскресным утром. В тот же день я начал свои походы, и они продолжались целый год.

Я никогда не интересовался названиями посещаемых мною церквей и по сей час не могу сказать, как называлось по крайней мере девять из десяти. Я знаю, что церковь в Саутуорке, где похоронен старый Гауэр * (ваятель изобразил его лежа, и голова его покоится на его сочинениях), называется церковью Спасителя; что церковь, где похоронен Мильтон *, это церковь Криплгейт и что церковь на Корнхилле с большими золотыми ключами — церковь св. Петра, но этим мои познания исчерпываются, и конкурсный экзамен по данному предмету я навряд ли бы выдержал. Никакие сведения об этих церквах, полученные мной от живых людей, и никакие сведения, почерпнутые

мною из книг о старине, не отягчат душу читателя. Удовольствием, которое я получил, я наполовину обязан тому, что эти церкви были окутаны тайной, и такими они для меня останутся.

С чего начну я свой обход затерянных и позабытых старинных церквушек Сити?

Воскресным утром, без двадцати одиннадцать, я побрел вниз по одной из многочисленных узких и крутых улочек Сити, которые спускаются на юг к Темзе. Это моя первая поездка. Я приехал в Виттингтонову округу на омнибусе. Мы высадили худощавую старушку с яростным взглядом, в платье цвета аспидной доски, пахнущем травами, которая отправилась по Олдерсгет-стрит в какую-то церквушку, где она, ручаюсь, утешается, слушая про адские муки. Мы высадили и другую старушку, более полную и благодушную, с большим красивым молитвенником, обернутым носовым платком, которая завернула за угол и вошла во двор возле Стейшнерз-Холл, наверно в тамошнюю церковь, куда она ходит как вдова какого-нибудь служащего старой Компании. Остальные наши пассажиры были случайные любители загородных прогулок и развлечений: они ехали дальше, к Блекуоллской железной дороге. На улице такой трезвон, когда я стою в нерешительности на углу, словно у каждой овцы в здешней пастве на шее висит колокольчик. Они звучат ужасным диссонансом. Моя нерешительность вполне объяснима: у меня нет, можно сказать, никаких оснований отдать предпочтение какой-нибудь одной из четырех церквей, которые все находятся в пределах видимости и слышимости, на площади в несколько квадратных ярдов.

Пока я стою на углу, мне удается увидеть не более четырех человек, одновременно заходящих в церковь, хотя церквей здесь целых четыре и колокола их шумно призывают народ. Я выбираю себе церковь и, поднявшись на несколько ступеней, вхожу в высокие двери колокольни. Внутри она заплесневела, как грязная прачечная. Сквозь балки перекрытия пропущена веревка, и человек, стоящий в углу, дергает за нее, заставляя звонить колокол. Человек этот белесо-коричневый, в одежде некогда черной, засыпанной пылью и паутиной. Он глазеет на меня, удивляясь, как я сюда попал, а я глазею на него,

удивляясь, как он сюда попал. Сквозь деревянную застекленную перегородку я пытаюсь разглядеть слабо различимую внутренность церкви. Здесь можно насчитать человек двадцать, ожидающих начала службы. Детей в этой церкви, видно, давным-давно перестали крестить, ибо купель от долгого неупотребления заросла толстым слоем грязи, а деревянную крышку, похожую на крышку от старомодной суповой миски, не удастся, судя по виду, открыть, даже если явится в том нужда. Я замечаю, что алтарь здесь шаткий, а доски с заповедями отсырели. Войдя после этого осмотра в церковь, я сталкиваюсь со священником в облачении, который одновременно со мной появляется из темного прохода позади пустующей почетной ложи с занавесками. Ложа украшена четырьмя голубыми жезлами, которые некогда, я полагаю, четверо Некто подносили пятому Некто, но ныне в ней уже нет никого, кто воздал бы или принял подобную честь. Я отворяю дверцу семейной ложи и закрываюсь в ней; если б я мог занять двадцать семейных лож сразу, все они были бы в моем распоряжении. Причетник, бойкий молодой человек (он-то как сюда угодил?), смотрит на меня понимающе, словно хочет сказать: «Что, попался? Вот теперь и сиди». Играет орган. Он помещается на маленькой галерее, расположенной поперек церкви; на галерее есть прихожане — две девицы. Каково-то будет, думаю я про себя, когда нам предложат запеть?

В углу моей ложи лежит кипа выцветших молитвенников, и пока хриплый сонный орган издает звуки, в которых скрежет ржавых педалей заглушает мелодию, я просматриваю эти молитвенники, переплетенные большей частью в выцветшее сукно. Они принадлежали в 1754 году семейству Даугейтов. Кто такие Даугейты? Джейн Компорт, должно быть, стала членом этой семьи, выйдя замуж за молодого Даугейта. Когда молодой Даугейт подарил Джейн Компорт молитвенник и сделал надпись на нем, он, вероятно, за нею ухаживал. Но если Джейн любила молодого Даугейта, почему она оставила здесь молитвенник и не вспомнила о нем перед смертью? Быть может, у этого шаткого алтаря, перед отсыревшими заповедями она, Компорт, отдала свою руку ему, Даугейту, вся светясь юной надеждой и счастьем, и, быть может, со временем этот

брак оказался совсем не таким удачным, как она ожидала?

Начало службы выводит меня из задумчивости. Я обнаруживаю, к своему изумлению, что все это время мне в нос, в глаза, в горло забивалась и продолжает забиваться какая-то крепкая невидимая смесь вроде нюхательного табака. Я моргаю, чихаю и кашляю. Причетник чихает; священник моргает; невидимый органист чихает, кашляет и, по всей вероятности, моргает; все наше маленькое собрание чихает, моргает и кашляет. Смесь, видимо, состоит из частиц разлагающихся циновок, дерева, сукна, камня, железа, земли и чего-то еще. Не останки ли мертвых сограждан, что покоятся в склепах под полом, составляют это «что-то еще»? Это непререкаемо как смерть! Мало того что в этот сырой и холодный февральский день мы всю проповедь чихаем и кашляем останками наших мертвых сограждан; они еще забрались в чрево орга́на и чуть не задушили его. Мы топаем ногами, чтобы согреться, и останки наших мертвых сограждан поднимаются вверх тяжелыми клубами пыли. Они прилепились к стенам, они лежат порошком на резонаторе над головой у священника и, когда сюда проникает порыв ветра, сыплются ему на голову.

На первый раз обилие нюхательного табаку, состоящего из компортской ветви семейства Даугейтов и других семей и их ветвей, вызвало у меня омерзение столь сильное, что я обращал очень мало внимания на службу, бежавшую унылой мелкой рысцой, на бойкого причетника, пытающегося подстрекнуть нас к тому, чтобы во время исполнения псалма мы взяли ноту-другую, на прихожанок с галереи, с наслаждением визжащих дуэтом, в котором не было ни складу, ни ладу, и на белесо-коричневого человека, закрывшего за проповедником дверцу кафедры и так старательно запершего ее, словно проповедник был опасным хищным зверем. Однако в следующее воскресенье я предпринял новую вылазку, и, обнаружив, что, избегая своих мертвых сограждан, я, пожалуй, лишу себя возможности продолжать изучение церквей Сити, я скоро к ним привык.

Еще одно воскресенье.

Послушав опять трезвон, призывавший меня, как при-

зывал он людей сто лет назад, одновременно в разные стороны, я останавливаю свой выбор на церкви, расположенной в стороне от других, на углу, куда сходится несколько улочек,— уродливой церквушке времен королевы Анны *, размером поменьше, чем предыдущая. Нас, прихожан, целых четырнадцать человек, не считая заморенной школы для бедных, усохшей до четырех мальчиков и двух девочек, расположившейся на галерее. В одном из притворов лежат приношения — караваи хлеба, и, входя в церковь, я вижу, как заморенный церковный сторож, от которого осталась одна только униформа, пожирает их глазами за себя и за свою семью. Тут же присутствует заморенный причетник в коричневом парике; заморенные окна и двери заложены кирпичом; требники покрыты грязью; подушки на кафедре протерлись, и вся церковная утварь находится в весьма жалком и заморенном состоянии. В церкви собралось трое старушек (ходят сюда постоянно), двое влюбленных (попали сюда случайно), двое торговцев — один с женой, другой без жены, тетка с племянником, опять-таки две девицы (подобных двух девиц, одетых специально для церкви так, чтоб все части одежды, которым надлежит топорщиться, обвисали, и наоборот, всегда встретишь во время богослужения) и трое смешливых мальчишек. Священник, вероятно, состоит капелланом какой-нибудь торговой компании; у него подернутый влагой пьяный взгляд и вдобавок сапоги раструбом, как у человека, знакомого с портвейном урожая двадцатого года и винами кометы.

От скуки мы впадаем в дремоту, так что всякий раз, как трое смешливых мальчишек, которые забились в угол возле ограждения алтаря, прыскают со смеху, мы вздрагиваем, словно от звука хлопушки. И мне вспоминается, как во время воскресной проповеди в нашей сельской церкви, когда солнце светило так ярко и птицы пели так мелодично, крестьянские мальчишки носились по мощеному двору, а причетник вставал из-за своего пюпитра, выходил, и в воскресной тишине было отчетливо слышно, как он гонялся за ними и колотил их, после чего возвращался с лицом сосредоточенным и задумчивым, чтобы все подумали, будто ничего такого и не было. Смешливые мальчишки в этой лондонской церкви весьма смущают

спокойствие духа тетки с племянником. Племянник сам мальчишка, и смешливые его ровесники искушают его мирскими соблазнами, потихоньку показывая ему издали мраморные шарики и веревочку. Сколько-то времени этот юный святой Антоний противится искушению, но потом превращается в отступника и начинает жестами просить смешливых мальчишек, чтоб они «подкинули» ему шарик-другой. На этом и ловит его тетка, суровая обедневшая дворянка, которая ведет в их доме хозяйство, и я замечаю, как эта почтенная родственница тычет ему в бок рифленой крючковатой ручкой старинного зонтика. Племянник вознаграждает себя тем, что задерживает дыхание и заставляет тетку со страхом подумать, будто он решил лопнуть. Сколько ему ни шепчут, сколько его ни трясут, он раздувается и бледнеет, снова раздувается и бледнеет и продолжает это до тех пор, пока тетка, утратив присутствие духа, не уводит его, причем глаза у него выпучены, как у креветки, и кажется, что он лишился шеи. Это наводит смешливых мальчишек на мысль, что сейчас самое время начать отступление, и по тому, с каким благоговением один из них принимается слушать священника, я уже знаю, кто уйдет первым. Немного погодя этот лицемер, умело подчеркивая, как неслышно он старается ступать, уходит с таким видом, будто он сейчас только вспомнил об одном религиозном обязательстве, призывающем его в другое место. Номер два уходит таким же образом, но гораздо поспешнее. Номер три, осторожно пробравшись к выходу, беззаботно оборачивается и, распахнув дверь, вылетает с гиканьем, от которого сотрясаются своды колокольни.

Священник, который говорит сдавленным голосом, как человек, сытно пообедавший и которому, должно быть, не только сперло дыхание, но и заложило уши, всего лишь бросает взгляд вверх, будто ему примерещилось, что кто-то в неподходящем месте сказал «аминь», и продолжает трястись мерной рысцой, словно фермерша, едущая на рынок. Так же, не слишком усердствуя, исполняет он и остальные обязательные части службы, и сжатая проповедь, которую он нам прочитывает, тоже напоминает рысцу нашей фермерши по ровной дороге. Этот дремотный ритм скоро убаюкивает трех старушек; неженатый

торговец сидит, глядя в окошко; женатый торговец сидит, глядя на женину шляпку, а влюбленные глядят друг на друга с выражением такого безграничного блаженства, что мне вспоминается, как я, на сей раз уже восемнадцатилетний юноша, спрятался от ливня со своей Анжеликой в одной из церквей лондонского Сити (забавное совпадение: она была расположена на улице Объятий) и сказал своей Анжелике: «Пусть, Анжелика, это счастливое событие произойдет пред этим самым алтарем, и только пред ним!» — и Анжелика согласилась, что ни пред каким другим; так оно и было, ибо ни пред каким другим алтарем мы не предстали, как, впрочем, и перед этим. О Анжелика, где ты проводишь это воскресное утро, когда я не могу прислушаться к проповеди, что сталось с тобою и — еще более трудный вопрос — что сталось со мною, с тем юношей, что сидел возле тебя?

Но вот нам уже подают знак всем вместе нырнуть вниз,— чем, разумеется, мы в какой-то мере отдаем дань условности, равно как и тем странным шорохом, и шелестом, и звуком прочищаемых глоток и носов, без которых в определенных местах не обходится ни одна церковная служба и которые не обязательны ни при каких других обстоятельствах. Минуту спустя служба закончена, и орга́н возвещает, как безмерно он, старый ревматик, этому рад, а еще минуту спустя мы все уже вышли из церкви, и Белесо-коричневый запирает за нами дверь. Еще минута или чуть побольше, и на приходском кладбище соседней церкви, напоминающем большой ветхий ящик с резедой (на нем всего два дерева и одна могила), я встречаю Белесо-коричневого, который уже в качестве частного лица несет себе на обед пинту пива из трактира на углу, где хранятся ключи от сарая с прогнившими пожарными лестницами, которые ни разу никому не понадобились, и где на втором этаже стоит истрепанный, потертый на швах и вконец обносившийся бильярд.

В одной из церквей Сити — только в одной — я встретил человека, который, казалось, был непременной принадлежностью этой части города. Я запомнил эту церковь по тому обстоятельству, что священник не мог пробраться к своему пюпитру, иначе как минуя пюпитр причетника, или,— не помню точно, но это и не важно,— он не мог

пробраться на кафедру, иначе как минуя аналой, а также по присутствию этого человека среди чрезвычайно немногочисленной паствы. Вряд ли нас набралась там дюжина, и в подкрепление нам не было даже заморенной школы для бедных. Человек этот был немолод годами, одет в черный костюм прямого покроя и носил на голове черную бархатную шапочку, а на ногах суконные башмаки. С виду он был богат, степенен и разочарован в жизни. Он приводил с собой за руку таинственное дитя женского пола. На девочке была касторовая шляпа с желтовато-серым твердым пером, которое наверняка никогда не принадлежало ни одной птице небесной. Кроме того, на ней были нанковое платье, короткая жакетка из той же материи, коричневые рукавички и вуаль. На подбородке у нее выступало большое пятно от смородинного желе, и она вечно хотела пить. На этот предмет у человека была припасена в кармане зеленая бутылка, из коей после исполнения первого псалма девочка на глазах у всех и напилась. За все время службы она с этих пор не шелохнулась и стояла на скамейке большой ложи, плотно втиснувшись в угол, словно дождевая труба.

Человек ни разу не открыл свой молитвенник и ни разу не взглянул на священника. Он ни разу не присел, а стоял, облокотившись о барьер ложи, и глядел на дверь, время от времени прикрывая глаза правой рукой. Церковь для своих размеров была довольно длинной, и он стоял недалеко от священника, но все равно не отрываясь смотрел на дверь. Без сомнения, это был старый бухгалтер или старый торговец, который сам ведет свои книги и которого можно увидеть в Английском банке в дни выплаты дивидендов. Без сомнения, он всю жизнь прожил в Сити и презирает все другие части города. Почему он глядел на дверь, мне так и не удалось узнать, но я совершенно уверен, что он жил в ожидании тех времен, когда горожане снова поселятся в Сити и оно обретет свою былую славу. Он, видимо, ждал, что это случится воскресным днем и блудные сыны, смиренные и раскаявшиеся, прежде всего появятся в опустевших церквах. И он глядел на дверь, но они в нее не входили. Кому принадлежало это дитя,— был ли это ребенок его дочери, которую он лишил наследства, или удочеренная им приходская си-

рота,— понять было невозможно. Девочка никогда не играла, не прыгала, не улыбалась. Однажды мне даже пришло на ум, что это — автомат, изготовленный им самим, но как-то раз в воскресенье, идя за сей странной парой из церкви, я слышал, как он сказал девочке: «Тринадцать тысяч фунтов», и она слабым человеческим голосом добавила: «Семнадцать шиллингов четыре пенса». Четыре воскресенья я провожал их из церкви, и это все, что я от них слышал. Однажды я проводил их до дому. Они жили позади водоразборной колонки, и он открыл свое обиталище ключом необычайных размеров. Единственная надпись на доме относилась к пожарному крану. Под одну половину дома совершили подкоп запертые, никому не нужные ворота; окна его ослепли от грязи, и весь он безутешно повернулся лицом к стене. Между домом, где жила эта пара, и облюбованной ими церковью раздавался воскресный звон пяти больших церквей и двух маленьких, так что у них, должно быть, была какая-то особая причина ходить туда за четверть мили. Последний раз я видел их вот по какому случаю. Я отправился осмотреть одну отдаленную церковь, и мне случилось пройти мимо той церкви, которую они посещали; было около двух часов пополудни, и она была заперта. Однако боковая дверца, которую я до тех пор не замечал, стояла открытой, и за нею виднелось несколько ступенек лестницы, ведущей в подвал. «Сегодня проветривают склепы»,— подумалось мне, и тут человек с девочкой молча подошел к лестнице и молча спустился в подвал. Разумеется, я пришел к заключению, что этот человек в конце концов отчаялся дождаться возвращения раскаявшихся сограждан и решил похоронить себя заживо вместе с ребенком.

Во время своих паломничеств я набрел на одну неприметную церковь, которую разубрали в мелодраматическом стиле и обвешали всякими разноцветными тканями, вроде того как украшали когда-то в Лондоне исчезнувшие ныне майские шесты *. Все эти приманки побудили нескольких юных священников или дьяконов в черных нагрудниках вместо жилетов и некоторое число молодых дам, принимающих близко к сердцу дела священства (по моим подсчетам, на каждого дьякона приходилось семнадцать дам), отправиться в Сити в поисках свежих впечатлений.

Забавно было наблюдать, как эти молодые люди разыгрывают в самом центре Сити свое представление, о коем в этой покинутой округе никто и ведать не ведает. Выглядело все это так, как если б вы сняли на воскресенье пустую контору и поставили там мистерию. Они уговорили учеников какой-то маленькой школы (не знаю, где расположенной) принять участие в их лицедействе, и одно удовольствие было видеть, какие замысловатые гирлянды из лент развесили они на стенах, адресуясь к этим несчастным несмышленышам посредством надписей, которые те не могли разобрать. Отличительным признаком этой паствы был исходивший от нее приятный запах помады.

Но в других случаях гниль, плесень и мертвые наши сограждане составляли преобладающий запах, к коему каким-то образом примешивались отнюдь не неприятные ароматы главных предметов здешней торговли. В церквах около Марк-лейн, например, это был сухой запах пшеницы; в одной из них я нашел в подушечке для колен пахучий колос ячменя. От Руд-лейн до Тауэрстрит и в их окрестностях чувствовался часто тонкий аромат вина, иногда чая. Одна церковь у Минсинглейн пахла как ящик с лекарствами. За Монументом * церковная служба отзывалась гнилыми апельсинами, пониже к реке этот запах переходил в запах селедки и постепенно скрадывался в доносимом порывами ветра запахе всевозможной рыбы. В одной церкви, в точности напоминавшей ту церковь из «Пути повесы» *, где герой женится на отвратительной старухе, не чувствовалось никаких присущих исключительно ей ароматов до тех пор, пока орга̀н не обдал нас запахом кожи из ближайшего склада.

Но каким бы ни был запах, в людях не было никаких, присущих исключительно этой округе черт. Никогда не набиралось достаточно людей, которые были бы характерны для какой-нибудь местности или профессии. Все они разъезжались накануне вечером, и в многочисленных церквах томились невыразимой тоской случайные пришельцы.

Среди путешествий не по торговым делам, предпринятых мною, воскресные путешествия этого года занимают особое место. Вспоминаю ли я о церкви, где об окна чуть ли не хлопали паруса устричных лодок с реки, или о церкви, где железная дорога проходила чуть ли не над самой

крышей и проносящиеся поезда заставляли гудеть колокола, ко мне всегда возвращается странное чувство. Летними воскресеньями, моросил ли дождь или светило яркое солнце (и то и другое лишь подчеркивало праздность и без того праздного Сити), я сидел в зданиях, расположенных в самом сердце мировой столицы и все же знакомых гораздо меньшему числу людей, говорящих на английском языке, чем старинные строения Вечного города или пирамиды Египта, и меня окружала та особая тишина, которая присуща местам обычно оживленным, когда они обезлюдели. Темные ризницы, в которые я заглядывал; потемневшие метрические книги, которые я листал, маленькие, стиснутые стенами домов приходские кладбища, разносившие эхо моих шагов, оставили во мне впечатление не менее сильное и необычное, чем все, что я видел в других местах. Во всех этих пыльных, изъеденных червями метрических книгах нет ни единой строчки, которая не заставляла бы некогда чьи-то сердца биться от радости или не исторгала из чьих-то глаз слезы. Давно высохли слезы, давно перестали биться эти сердца, и старое дерево под окном, ветвям которого стало теперь мало места, проводило их всех в мир иной. Пережило оно и могилу бывшего владельца бывшей компании, на которую падают капли с его ветвей. Сын его обновил ее и умер, дочь его обновила ее и умерла, и теперь, когда память о нем прожила достаточно долго, дерево завладело ею, и по могильной плите с его именем прошла трещина.

Мало есть столь разительных свидетельств тому, какие перемены в обычаях и нравах принесли два или три столетия, чем эти покинутые церкви. Многие из них отличаются красотой и богатством, некоторые возведены по проектам Рена *, многие поднялись из пепла Великого пожара, другие пережили чуму и пожар, чтобы в наши дни умереть медленной смертью. Никто не знает, что принесет ему время, но уже сейчас можно сказать, что его набегающий вал не отхлынет пред церквами Сити, их прихожанами, их ритуалом. Они стоят памятниками минувшего века, подобно могилам бывших наших сограждан, что находятся под ними и вокруг них. В них не мешает порой заглянуть в воскресенье, ибо звучит в них мелодичный отзвук тех времен, когда в лондонском Сити вопло-

щался весь Лондон, когда подмастерья и ополчение граждан играли важную роль в государстве, когда даже лорд-мэр был реальностью, а не фикцией, раздуваемой по привычке на один день в году его именитыми друзьями, которые столь же привычно потешаются над ним остальные триста шестьдесят четыре дня.

## X

### *Глухие кварталы и закоулки*

Я столько прошел пешком во время своих путешествий, что, если бы я питал склонность к состязаниям, меня, наверно, разрекламировали бы во всех спортивных газетах, как какие-нибудь «Неутомимые башмаки», бросающие вызов всем представителям рода человеческого весом в сто пятьдесят четыре фунта. Последнее мое достижение состояло в том, что я поднялся в два часа ночи после тяжелого дня, часть которого провел на ногах, и отправился пешком за тридцать миль завтракать в деревню. Ночная дорога была так пустынна, что я заснул под монотонный звук своих шагов, отмерявших ровно четыре мили в час. Я без труда вышагивал милю за милей в тяжелой дремоте и все время видел сны. Я приходил в себя и озирался вокруг только тогда, когда начинал спотыкаться, как пьяный, или когда бросался на середину дороги, чтобы меня не сшиб несуществующий встречный всадник, примерещившийся мне совсем рядом. Серый рассвет пробивался сквозь осеннее небо, и я не мог отделаться от мысли, что мне предстоит одолеть облачные гряды и вершины, чтобы добраться до горного монастыря, где-то за солнцем, куда я иду завтракать. Эти сонные грезы казались мне настолько реальней таких реальных вещей, как деревни и стога сена, что, когда уже засияло солнце и я стряхнул с себя сон и мог оценить красоту пейзажа, я все еще ловил себя на том, что ищу деревянных указателей, обозначающих, какая тропа ведет к вершине, и удивляюсь, по-прежнему не видя снега. Любопытно, что в этом полузабытьи, охватившем меня во время моей

пешей прогулки, я сочинил огромное количество стихов (я, разумеется, не сочиняю стихов наяву) и бегло говорил на иностранном языке, некогда хорошо мне знакомом, но теперь позабытом за отсутствием практики. В состоянии полусна со мной это бывает очень часто и я нередко сам говорю себе, что, значит, я не проснулся, если способен все это проделывать в два раза лучше, чем наяву. Эта моя способность не воображаемая, ибо, проснувшись, я часто припоминаю помногу строк стихов и многие отрывки моих речей.

Мои прогулки бывают двоякого рода. В одних случаях я устремляюсь быстрым шагом прямо к намеченной цели, в других просто иду куда глаза глядят, слоняюсь, словом — просто бродяжничаю. В этом случае ни одному цыгану со мной не сравняться; и это настолько естественное и сильное свойство моей натуры, что мне думается, среди моих не очень далеких предков наверняка был какой-нибудь неисправимый бродяга.

Слоняясь по закоулкам столицы, заходя во всякого рода лавчонки, я, среди прочих, открыл прелестную вещицу, где вдохновение скромного художника воплотилось в фигурах мистера Томаса Сейерса, Великобритания, и мистера Джона Хинана, Соединенные Штаты Америки *. Эти знаменитые люди изображены в ярких красках; они стоят в боксерских позах, одетые для боя. Чтобы передать пасторальный и умственный характер их мирной профессии, мистер Хинан изображен на изумрудного цвета мураве, и вокруг его башмаков растут первоцветы и другие скромные цветочки, тогда как сельская церковь молча, но красноречиво подсказывает мистеру Сейерсу, чтоб он нанес свой любимый удар, «аукционщик». Скромные, преисполненные семейной добродетелью английские домики, с крылечками, увитыми жимолостью, призывают героев сойтись и биться до победы, а в голубой выси жаворонок и другие певчие птицы в экстазе поют осанну небесам за то, что им довелось увидеть подобный бой. В общем, искусство бокса порождает у художника ассоциации в стиле Исаака Уолтона *.

Однако сейчас мой предмет составляют бессловесные твари с маленьких улочек и закоулков. Что же до здешних жителей, то мы, быть может, вернемся ради них в эти места, когда будет досуг и желание.

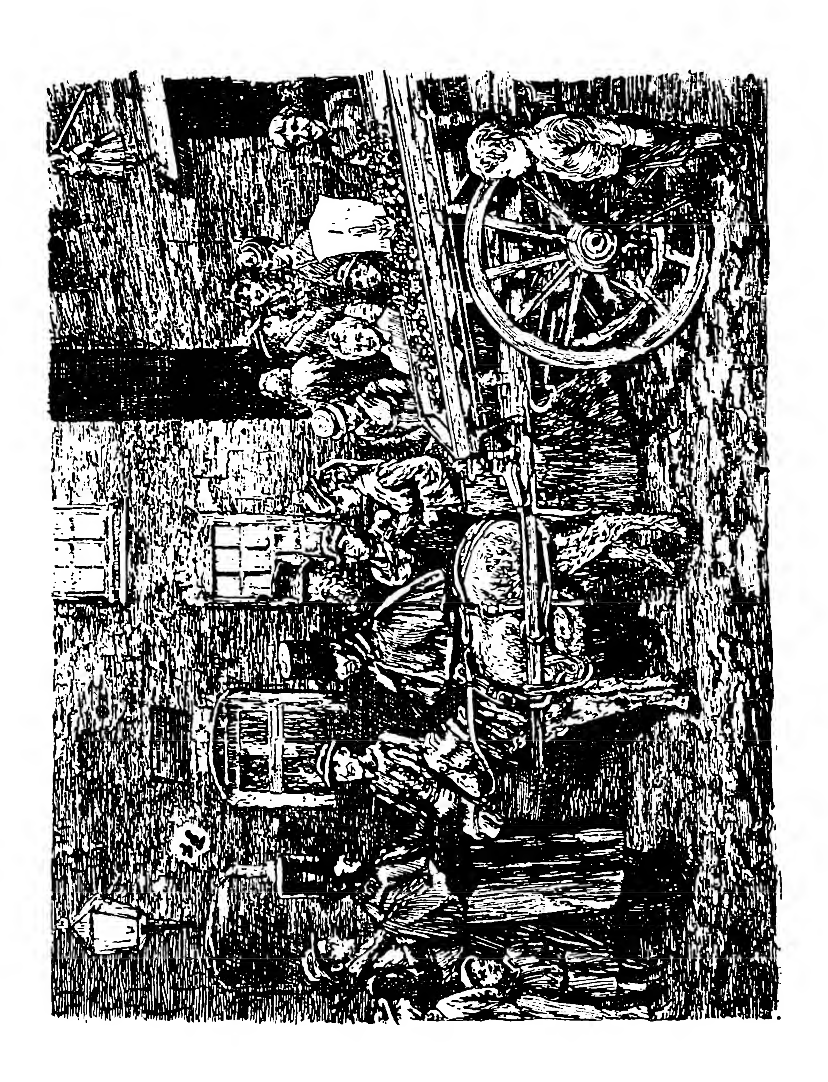
В столичных предместьях мне труднее всего понять, почему тамошние птицы водят такую дурную компанию. Иноземные птицы зачастую попадают к людям респектабельным, но английские неразлучны с подонками общества. В Сент-Джайлсе ими полна вся улица, и я всегда находил их в бедных районах с дурною славой, где самое место кабакам и лавкам ростовщиков. Они словно подбивают людей предаваться пьянству, и даже человек, который изготовляет для них клетки, ходит почти все время с подбитым глазом. Чем все это объяснить? К тому же для личностей, одетых в короткополые вельветиновые пальто с костяными пуговицами или в душегрейки и меховые шапки, они готовы сделать то, чего от них никогда не добиться людям приличным. На грязных задворках в Спитлфилдс я обнаружил щегленка, который сам себе набирал воду, причем набирал ее столько, словно его сжигала какая-то лихорадка. Щегленок жил в птичьей лавке и в письменной форме предлагал себя в обмен на старую одежду, пустые бутылки и даже кухонные отбросы. Какая низменность натуры, какой извращенный вкус! Я купил этого щегленка за деньги. Его прислали ко мне домой и повесили на гвоздь над моим столом. Он жил во дворе игрушечного домика, который, как я заключил, принадлежал какому-нибудь красильщику,— иначе нельзя было объяснить, почему из слухового окна этого домика торчит длинная жердь. Водворившись в моей комнате, он либо перестал испытывать жажду, что не входило в наши условия, либо не мог заставить себя услышать снова стук бадейки, падающей в колодец. (Этот звук и в лучшие времена заставлял его вздрагивать от испуга.) Он набирал воду лишь по ночам и украдкой. После долгих и напрасных ожиданий я вызвал торговца, который его обучил. Это был кривоногий субъект с приплюснутым бесформенным носом, похожим на перезрелую землянику. Он носил меховую шапку, короткополое пальто и был самый вельветиновый из всей вельветиновой братии. Он передал, что «заглянет». И действительно, стоило ему показаться в дверях моей комнаты и покоситься своим дурным глазом на щегленка, как жестокая жажда тотчас же охватила птицу, и, утолив ее, она зачерпнула еще несколько ненужных бадеек, а потом прыгнула на свой шест и принялась точить

клюв, точно побывала в ближайшем винном погребе и напилась там пьяной.

Или возьмем ослов. Я знаю один закоулок, где осел входит в парадную дверь и, видимо, живет наверху, ибо, сколько я ни осматривал через изгородь задний двор этого дома, я его там не обнаружил. Дворяне, знать, принцы и короли напрасно будут упрашивать его сделать для них то, что он делает для уличного торговца. Корми его отборным овсом, посади в его корзины малолетних принца с принцессой, надень на него изящную, аккуратно пригнанную попону, отведи его на заросшие мягкой травой склоны Виндзора — а потом посмотри, добьешься ли от него хорошей рыси. Или же замори его голодом, запряги кое-как в тележку с лотком и полюбуйся, как он припустит из Уайтчепла * в Бейзуотер. На лоне природы, кажется, нет особой близости между птицами и ослами, но в глухих закоулках вы всегда найдете их в одних и тех же руках, и всегда они отдают лучшее, что у них есть, наихудшим представителям рода человеческого. У меня было шапочное знакомство с одним ослом, который жил за Лондонским мостом, в Сэррей-сайд, среди твердынь Острова Джекоба и Докхеда. Этот осел, когда в его услугах не было особой нужды, шатался повсюду один. Я встречал его за милю от его местожительства, когда он слонялся без дела по улицам, и выраженье лица в этих случаях у него было самое подлое. Он принадлежал к заведению одной престарелой леди, торговавшей береговичками; в субботу вечером он обычно стоял около винной лавки с тележкой, полной доверху этими деликатесами, и всякий раз, когда покупатель подходил к тележке, начинал прядать ушами, явно радуясь, что того обсчитали. Его хозяйка иногда напивалась до бесчувствия. Именно эта ее слабость и была причиной того, что, когда я, лет пять тому назад, встретил его в последний раз, он находился в затруднительных обстоятельствах. Хозяйка забыла о нем, и, оставшись один с тележкой береговичков, он побрел куда глаза глядят. Какое-то время он, ублажая порочный свой вкус, шатался по своим излюбленным трущобам, но потом, не приняв в соображение тележку, зашел в узкий проезд, откуда не мог уже выбраться. Полиция арестовала его, и поскольку до местного загона для отбившегося от стада

скота было рукой подать, его отправили в это узилище. В этот критический момент его жизни я и повстречал его; он глядел таким закоренелым и убежденным негодяем, в самом прямом смысле слова, что ни один человек не мог бы его превзойти. Яркая свеча в бумажном колпачке, воткнутая среди его береговичков, освещала его потрепанную и порванную сбрую, совершенно развалившуюся тележку и его самого, с подрагивающими губами, покачивающего опущенной головой — олицетворение закоснелого порока. Мне приходилось видеть отведенных в участок мальчишек, которые были похожи на него как родные братья.

Псы в этих кварталах, как я заметил, чувствуют свою бедность и избегают игр. Работы они, как и всякие другие животные, тоже по возможности избегают. Я имею удовольствие быть знакомым с одним псом, обитающим в закоулках Уолворта, который весьма отличился в легких драматических жанрах и, когда ему случается получить ангажемент, всюду носит с собой свой портрет, служащий иллюстрацией к театральной афише. На портрете он изображен (совершенно на себя не похожим) в тот момент, когда он валит наземь коварного индейца, который зарубил или собирается зарубить томагавком британского офицера. Эта картина — чистейшей воды поэтический вымысел, потому что в пьесе нет такого индейца и нет такой сцены. Пес этот ньюфаундлендской породы, и за честность его я готов поручиться любыми деньгами, однако, когда речь идет о драматическом роде изящной словесности, я не могу высоко оценить его способностей. Он слишком честен для избранной им профессии. Прошлым летом, находясь в одном йоркширском городе, я увидел его на афише и пошел посмотреть спектакль. Первая сцена прошла весьма успешно, но поскольку она заняла в спектакле всего лишь одну секунду (и пять строк на афише), исходя из нее трудно было вынести спокойное и обдуманное суждение о возможностях исполнителя. Ему надо было только залаять, пробежать по сцене и прыгнуть в окошко гостиницы за удиравшим комическим персонажем. Следующую, важную для развития интриги сцену, он немного испортил своим чрезмерным рвением. Пока его хозяин-солдат, застигнутый ночною тьмой и бурей в лесу и очутившийся в пещере разбойников, горько сокрушался, что нет



рядом с ним его верного пса, особенно подчеркивая то обстоятельство, что собака находится в тридцати лье от него, его верный пес яростно лаял в суфлерской будке и, рискуя задохнуться, рвался с поводка. Но в главной сцене честность совсем его погубила. Ему надо было войти по следу убийцы в непроходимую чащу и затем, обнаружив убийцу, который, сидя рядом со связанной и готовой к закланию жертвой, отдыхал у подножия дерева, броситься на него. Вечер был жаркий, и пес в самом кротком расположении духа и ничуть не взволнованный, неторопливо вбежал в лес совсем не с той стороны, откуда должен был появиться; высунув язык, он подбежал к рампе, уселся там, часто дыша, и, дружелюбно глядя на публику, принялся постукивать хвостом по полу, вроде фигурки на голландских часах. Между тем убийца, которому не терпелось понести кару, во всеуслышанье звал его «поди сюда», а жертва, пытаясь освободиться от пут, осыпала преступника ужасающей бранью. Когда пса, наконец, убедили подбежать к убийце и разорвать его на куски, он, пренебрегая законами сцены, слишком уж явно показал, что совершает эту ужасную кару, слизывая масло с окровавленных рук злодея.

На захолустной улочке за Лонг-Эйкр живут две честные собаки, которые играют в театре Панча. Я осмелюсь утверждать, что нахожусь с ними на короткой ноге и что ни разу на моих глазах ни одна из них не оказалась столь вероломной, чтобы во время представления упустить случай взглянуть на человека за ширмой. Время, казалось, не способно разрешить недоумение, которое эти собаки вызывали у других псов. Те наверняка то и дело встречали собак-актеров, когда они в свободные минуты бродили между ножками ширмы и около барабана, но относились с подозрением к их курточкам и жабо и фыркали на них, словно эти принадлежности туалета казались им какой-то сыпью, чем-то вроде чесотки. Из своего окна в Ковент-Гардене я заметил на днях деревенского пса, явившегося на Ковент-Гарденский рынок с телегой, но оборвавшего привязь, конец которой все еще волочился за ним. Когда он слонялся по всем четырем углам, которые видны из моего окна, нехорошие лондонские собаки подошли к нему и наговорили ему всяких небылиц, но он им не поверил, и

тогда совсем скверные лондонские собаки подошли к нему и позвали идти воровать на рынок, но он не пошел, потому что это было противно его принципам, и задумался он с огорчением о том, какие нравы царят в этом городе, и отошел он тихонько и лег в подворотне. Но не успел он смежить очи,— глядь, идут Панч и Тоби. Он кинулся было к Тоби за советом и утешением, но увидел жабо и замер в страхе посреди улицы. Расставили ширму, Тоби удалился за занавеску, собралась публика, ударил барабан, задудели дудки. Деревенский пес стоял недвижим, не сводя глаз с этих странных предметов, до тех пор, пока Тоби, появившись над ширмой, не открыл представление и Панч, подойдя к нему, не сунул ему в рот трубку. При виде этого зрелища наш деревенский пес вскинул голову, издал пронзительный вой и стрелой помчался на запад.

Мы обыкновенно говорим, что человек держит собаку, но часто вернее было бы сказать, что собака держит человека. Я знаю одного бульдога из глухого закоулка в Хаммерсмите, который держит при себе человека. Он держит его во дворе, и держит его в ужасной строгости, заставляет ходить в кабаки и биться об заклад, заставляет любоваться им, прислонившись к столбу, и манкировать ради него работой. Я знал чистокровного терьера, который держал джентльмена, к тому же получившего образование в Оксфорде. Собака держала его только затем, чтоб он прославлял ее, и джентльмен ни о чем не мог говорить, кроме собаки. Впрочем, это происходило отнюдь не в глухом закоулке, и, следовательно, я уклонился от темы.

Множество псов в предместьях держит мальчишек. В Соммерс-Тауне я приметил одну дворнягу, которая держит трех мальчишек. Она притворяется, будто умеет ловить на лету воробьев и выкапывать крыс из нор (она не умеет делать ни того, ни другого), и под предлогом охоты таскает мальчишек по всем окрестным полям. Она также заставила их поверить, будто обладает какими-то тайными познаниями в искусстве рыбной ловли, и, когда они отправляются на Хэмпстедские пруды, им мало банки из-под маринада и широкогорлой бутылки, а надо еще, чтобы с ними была собака и чтобы она оглушительно лаяла. В Саутуорке есть пес, который держит слепого. Большей частью его можно увидеть на Оксфорд-стрит, когда он та-

щит слепого в походы, о коих тот и не помышлял и цели коих ему неизвестны, так что и замысел и исполнение целиком принадлежат самой собаке. И напротив, когда у хозяина появляются свои планы, собака садится посреди людной улицы и погружается в размышления. Вчера я видел, как эта собака, вместо того чтобы предложить публике тарелку для подаяния, повесила ее себе на шею, словно ошейник, и, увлекая за собой упирающегося слепого, бежала куда-то за компанию с прощалыгой-дворняжкой,— очевидно, навестить знакомую собаку в Хэрроу, судя по направлению, какого она упорно держалась. Северная ограда Берлингтон-Хаус-Гарденс, между Аркадой и Олбени, примерно от двух до трех часов пополудни, служит укромным местом встреч для слепых. Неловко примостившись на покатом камне, они обмениваются впечатлениями. Там же можно увидеть их собак; они без всякого стеснения перемывают косточки людям, которых держат, и уславливаются, куда каждая поведет своего слепого, когда пора будет снова двинуться в путь. В маленькой мясной лавке, расположенной в одном предместье,— а впрочем, к чему скрывать в каком именно? оно находится у Ноттинг-Хилл и выходит к кварталу, именуемому Поттериз,— я познакомился с лохматым черно-белым псом, который держит гуртовщика. Нрав у него мягкий, и он слишком часто позволяет гуртовщику напиваться пьяным. В таких случаях пес обыкновенно сидит возле трактира, наблюдает за небольшим стадом овец и о чем-то раздумывает. Однажды я видел, как он сторожил шестерых овец и, очевидно, подсчитывал в уме, сколько их было, когда он ушел с рынка, и где он оставил остальных. Я видел, как он оторопел, недосчитавшись нескольких овец. Но постепенно в голове у него прояснилось, и, припомнив, у какого мясника они остались, он в порыве сдержанной радости поймал муху у себя на носу и с облегчением вздохнул. Если б я когда-либо усомнился в том, что этот пес держит гуртовщика, а не гуртовщик пса, мои сомнения тотчас же рассеялись бы при виде того, как он безраздельно берет на свое попечение шестерых овец, когда гуртовщик, залитый пивом, замазанный красной охрой, выходит из кабака и дает ему неверные указания относительно дороги, которые он молча пропускает мимо ушей. Он принял овец

целиком на себя, заметил с почтительной твердостью: «Если они вас послушаются, то попадут под омнибус; позаботьтесь-ка лучше о себе», и, насторожив уши, подняв хвост трубой, увел свое стадо с таким знанием дела; что мужлану-гуртовщику вовек за ним не угнаться.

Насколько в собаках из глухих закоулков угнездилось тайное сознание бедности, заметное большей частью по их беспокойному виду, неловкости в играх, вечной боязни, что кто-нибудь попытается воспользоваться их услугами с целью заработать себе на пропитание, настолько же кошки в этих местах отличаются непреодолимым стремлением вернуться в первобытное состояние. Эгоистичными и свирепыми делает их неотступная мысль о том, что народонаселение все растет и дороги к куску конины все более заполняются густою толпой; одичание их объясняется не одними только политико-экономическими и моральными причинами; они вырождаются также физически. Их белье не отличается чистотой и ужасно заношено, их черные одеяния порыжели, как старое траурное платье, они носят весьма жалкие меха, а бархат сменили на потрепанный вельветин. Я свел шапочное знакомство с кошачьим населением нескольких улиц возле Обелиска * в Сент-Джордж-Филдс, в окрестностях Клакенуэлл-грин и на задворках Друри-лейн. Внешностью эти кошки весьма напоминают женщин, среди которых живут. Так и кажется, что они прямо из грязных постелей выскочили на улицу. Они предоставляют своим детишкам без всякого присмотра валяться в сточных канавах, а сами безобразно ссорятся, ругаются, царапаются и плюются на углу. Я заметил, между прочим, что, когда они ждут прибавления семейства (что происходит довольно часто), это сходство становится разительным — и те и другие делаются грязными, неряшливыми и совершенно ко всему безразличными. Положа руку на сердце, я не могу припомнить, чтобы какая-нибудь кошачья матрона из этих слоев общества, находясь в интересном положении, умывала бы на моих глазах мордочку.

Дабы не затягивать эти заметки о путешествии не по торговым делам среди бессловесных тварей из глухих кварталов и закоулков, я лишь мимоходом упомяну о надутом и унылом коте, во многом напоминающем собрата тво-

его — человека, и скажу в заключение несколько слов о домашней птице, обитающей в этих местах.

То обстоятельство, что существо, рожденное из яйца и наделенное крыльями, может дойти до такого состояния, когда оно с удовольствием прыгает вниз по лестнице в подвал и называет это «идти домой», само по себе настолько удивительно, что ничему больше в этой связи не приходится удивляться. Иначе я подивился бы тому, сколь полно отделилась домашняя птица от птицы небесной — она пресмыкается среди кирпича, известки и грязи, забыла о зеленых деревьях, превратила в насесты прилавки магазинов, тачки, бочки из-под устриц, крыши сараев и железные скобы перед дверьми, о которые чистят обувь. Глядя на этих птиц, я ничему не удивляюсь и принимаю их такими, какие они есть. Я принимаю как феномен природы и как нечто само собой разумеющееся знакомое мне захудалое семейство бентамок на Хэкни-роуд, которое не выходит из лавки ростовщика. Нельзя сказать, что они весело проводят время, потому что темперамента они меланхолического, но то веселье, на какое они способны, они извлекают из того, что толпятся у бокового входа в лавку ростовщика. Там всегда можно видеть, как они беспокойно трепещут крыльями, словно лишь недавно дошли до такого жалкого положения и боятся, что их узнают знакомые. Я знаю одного субъекта, выходца из хорошей семьи — из доркингов, который выстраивает весь свой гарем у двери Кувшинного отдела грязной таверны недалеко от Хэймаркета, марширует с ними под ногами посетителей, появляется с ними в Бутылочном входе — и так проводит всю свою жизнь, редко когда во время сезона ложась спать раньше двух часов пополуночи. По ту сторону моста Ватерлоо живут две жалкие пеструшки (они принадлежат мастерской, изготовляющей деревянные французские кровати, умывальники и вешалки для полотенец), которые все время пытаются войти в дверь часовни. То ли эта пожилая дама одержима религиозной манией, наподобие миссис Сауткот, и желает непременно отдать свое яйцо в лоно именно этого вероучения, то ли просто понимает, что ей в этом здании делать нечего, а потому особенно упорно стремится в него попасть; как бы то ни было, она изо дня в день старается подкопаться под главную дверь, а ее

супруг, который нетвердо держится на ногах, расхаживает взад и вперед, воодушевляя ее и бросая вызов вселенной. Но семейство, с которым я лучше всего знаком с тех самых пор, когда покинул докучливую сферу китайского круга в Брентфорде, обитает в самой густонаселенной части Бетнел-грин. Их безразличие к предметам, средь коих они живут, или, вернее, их убеждение, что все эти предметы созданы на потребу домашней птице, так очаровало меня, что я многократно в разное время ходил посмотреть на них. Внимательно изучив все семейство, состоявшее из двух лордов и десяти леди, я пришел к заключению, что от имени семьи выступают главный лорд и главная леди. Последней была, по-моему, особа в годах, облысевшая настолько, что ствол каждого пера был на виду, и вся она походила на пучок канцелярских перьев. Когда товарный фургон, который сокрушил бы слона, выкатывает из-за угла и мчится прямо на птиц, они выпархивают невредимые из-под лошадей, нисколько не сомневаясь в том, что это пронеслось какое-то небесное тело, которое, быть может, оставило за собой что-нибудь съестное. Старые ботинки, поломанные чайники и сковородки, лоскутки от чепцов они рассматривают как некии метеориты, специально свалившиеся с неба, чтоб курам было что поклевать. Юлу и обручи они, по-моему, принимают за град, волан — за дождь или росу. Газовый свет кажется им таким же естественным, как и всякий другой. И я более чем подозреваю, что в сознании двух лордов кабак на углу, открывающийся раньше других, совершенно вытеснил солнце. Я точно установил, что они начинают кукарекать, когда в кабаке открывают ставни, и как только выходит мальчик, чтобы заняться этим делом, они приветствуют его, словно он — Феб собственной своей персоной.

## XI

### *Бродяги*

Слово «бродяга», упомянутое случайно в моей последней заметке, заставило меня столь живо представить себе многочисленное бродяжное братство, что едва лишь я от-

ложил перо, как снова испытал потребность взять его в руки и написать кое-что о бродягах, которых я встречал летом на всех дорогах, куда бы ни шел.

Когда бродяга садится отдохнуть на обочине, он свешивает ноги в сухую канаву, а когда он ложится спать, что проделывает весьма часто, он непременно лежит на спине.

Вот, у большой дороги, подставив лицо палящим лучам солнца, на пыльном клочке травы под живой изгородью из терновника, отделяющей рощицу от дороги, лежит и спит мертвым сном бродяга из ордена диких. Он лежит на спине, обратив лицо к небу, а рука в изодранном рукаве небрежно прикрывает лицо. Его узелок (что может быть такое в этом таинственном узелке, ради чего стоило бы таскать его по дорогам?) валяется рядом, а его спутница бодрствует, опустив ноги в канаву и повернувшись спиной к дороге. Ее чепец низко надвинут на лоб, дабы защитить лицо от солнца во время ходьбы, и она, как принято у бродяг, туго стягивает талию чем-то вроде передника. Когда ни увидишь ее в эти минуты отдыха, она почти всегда с вызывающим и угрюмым видом делает что-то со своими волосами или чепцом и поглядывает на вас сквозь пальцы. Днем она редко спит, но готова сидеть сколько угодно рядом с мужчиной. А его склонность ко сну вряд ли можно объяснить тем, что он утомился, неся узелок, ибо она носит его чаще и дольше. Когда они идут, он обыкновенно, угрюмо понурив голову, тяжело шагает впереди, а она со своей ношей тащится сзади. Он к тому же склонен учить ее уму-разуму, каковая черта его характера чаще всего проявляется, когда они сидят на лавке у питейного дома; ее привязанность к нему объясняется, очевидно, именно этой причиной, поскольку, как нетрудно заметить, бедняжка нежнее всего к нему тогда, когда на лице ее видны синяки. Этот бродяжный орден не имеет никаких занятий и блуждает без всякой цели. Такой бродяга назовет себя иногда рабочим с кирпичного завода или пильщиком, но это случается лишь тогда, когда он дает волю фантазии. Он обычно как-то неопределенно рекомендуется человеком, ищущим работу, но он никогда не работал, не работает и не будет работать. Больше всего ему, однако, нравится думать, что вы никогда не работаете (словно он —

самый трудолюбивый человек на земле), и если он проходит мимо вашего сада, когда вы любуетесь цветами, вы слышите, как он ворчит, мысленно противопоставляя себя вам: «Ишь бездельник! Таким всегда счастье!»

Вкрадчивый бродяга тоже принадлежит к числу безнадежных и его тоже преследует мысль, что все, что у вас есть, было у вас от рождения и вы для этого палец о палец не ударили, но он менее дерзок. Он остановится у ваших ворот и скажет своей спутнице свойственным ему умильным, просительным тоном, в назидание всякому, кто может услышать его из-за кустов или ставен: «Какое прелестное местечко, не правда ли? Как здесь хорошо! А разве дождешься, чтоб они хоть водицы дали испить таким вот, как мы, бедным, усталым путникам, разбившим ноги о камни? А мы ведь очень благодарны были бы, очень. Очень были бы благодарны, право слово, очень!» У него удивительное чутье на собак, и если у вас во дворе сидит на цепи собака, он ее тоже начинает умасливать тем же тоном смиренной обиды. Прокрадываясь к вам во двор, он замечает: «Ах, какая ты породистая собачка! И ты не зря свой хлеб ешь. Как было бы славно, если б твой хозяин помог бедному скитальцу с женой, которые чужому счастью совсем не завидуют, и уделил бы им что-нибудь из твоих объедков. Ему бы не убыло, а тебе и того меньше. Не лай так на бедняков; они тебе ничего худого не сделали; беднякам и без того плохо живется, их и без того все унижают, не лай же так на них!» Выходя со двора, он обыкновенно испускает глубокий тяжелый вздох и, прежде чем двинуться дальше, окидывает взглядом дорогу и переулок.

Члены обоих этих бродяжных орденов отличаются крепким сложением, и там, где неустанный труженик, у чьих дверей они промышляют и клянчат, получил бы тяжелую лихорадку, они остаются в добром здравии.

Другого вида бродяги встречаются вам в погожий летний день где-нибудь на дороге, где вьется пыль, поднятая морским ветерком, и в голубой дали виднеются за грядой меловых холмов паруса кораблей. Вы с наслаждением идете по дороге и вдруг различаете в отдалении, у подножья крутого холма, через который лежит ваш путь, человека, непринужденно сидящего на изгороди и насви-

стывающего весело и беззаботно. Приближаясь к нему, вы замечаете, как он соскальзывает с изгороди, перестает свистеть, опускает заломленные поля своей шляпы, начинает ступать с трудом, опускает голову, ссутуливается и являет все признаки глубочайшей тоски. Подойдя к подножью холма и приблизившись к этой фигуре, вы видите перед собой молодого человека в лохмотьях. С трудом передвигая ноги, он движется в том же направлении, что и вы, и так преисполнен своей тяжелой заботой, что не замечает вас до тех самых пор, пока вы почти не поравнялись с ним у начала подъема. Как только он вас заметил, вы тотчас узнаете, какие прекрасные манеры у этого молодого человека и как он речист. О его прекрасных манерах вы можете судить по тому, как почтительно касается он своей шляпы, о его речистости — по тому, как бегло, без единой запинки он говорит. Доверительным тоном, без всяких знаков препинания он произносит: «Прошу прощения сэр за вольность которую позволил себе обратившись к вам на проезжем тракте и надеюсь вы извините человека обносившегося почти до лохмотьев потому что он знавал лучшие времена и случилось это не по его вине а через болезни близких и многие незаслуженные страдания если он позволит себе полюбопытствовать который час».

Вы говорите речистому молодому человеку, который час. Речистый молодой человек, не отставая от вас ни на шаг, начинает снова: «Я сознаю сэр сколь невежливо утруждать дальнейшими расспросами джентльмена гуляющего для собственного удовольствия но осмелюсь все же осведомиться какая дорога ведет в Дувр и долго ли туда идти?»

Вы сообщаете речистому молодому человеку, что эта дорога ведет прямиком в Дувр и что идти еще миль восемнадцать. Речистый молодой человек ужасно взволнован этим сообщением. «В тяжелом своем состоянии,— говорит он,— я не мог бы рассчитывать добраться в Дувр дотемна когда бы даже на мне были башмаки и ноги мои способны были идти по кремнистой дороге и не были босы в чем любой джентльмен может самолично удостовериться сэр и позвольте мне такую вольность адресоваться к вам с разговором».

Поскольку речистый молодой человек не отстает от вас ни на шаг и вам трудно не позволить ему такую вольность, он продолжает свою плавную речь: «Сэр я не собираюсь просить у вас милостыни ибо воспитан был лучшей из матерей и не занимаюсь попрошайничеством и если б даже избрал это постыдное ремесло то не сумел бы им прокормиться ибо совсем другому учила меня лучшая из матерей в лучшем семействе хотя и приходится мне теперь обращаться к людям на проезжем тракте а торговал я принадлежностями для судопроизводства и меня с лучшей стороны знали поверенный по делам казны и стряпчий по делам казны и большинство судей и все законники но через болезни близких и вероломство друга за которого я поручился а был он не кто иной как женин брат мой собственный шурин вынужден я оставшись с нежной моей супругой и тремя малыми детьми не просить милостыню ибо я скорее умру от лишений чем стану просить но зарабатывать на дорогу до портового города Дувра где у меня есть весьма почтенный родственник который не только поможет мне но осыпал бы меня золотом сэр а в лучшие времена до того как стряслась со мною эта беда сделал я в минуты досуга не помышляя что понадобится он мне иначе как для собственных моих волос,— здесь речистый молодой человек засовывает руку за пазуху,— этот вот гребешок! Во имя милосердия умоляю вас сэр купить черепаховый гребешок настоящую вещь за любую цену какую сострадание подскажет вам и да снизойдут на вас благословения бездомного семейства что сидит на холодной каменной скамье Лондонского моста и ждет с трепетом сердечным возвращения из Дувра отца и мужа и позвольте мне такую смелость адресоваться к вам и умолять вас приобрести этот гребень!» Но к этому времени вы, будучи хорошим ходоком, оказываетесь уже не под стать речистому молодому человеку, который вдруг останавливается и смачным плевком выражает свое возмущение и одышку.

К концу той же самой прогулки, в тот же самый погожий летний день вы можете повстречать, подходя к какому-нибудь селу или городку, другую разновидность бродяг, воплощенную в примерной супружеской паре, чей единственный просчет состоит, очевидно, в том, что все свои

небольшие сбережения они целиком издержали на мыло. Это мужчина и женщина, невероятно чистые на вид — Джон Андерсон, в короткой холщовой блузе, на которой осела изморозь, подобная седине, в сопровождении миссис Андерсон. Джон выставляет напоказ изморозь на своем одеянии и опоясан на талии едва ли так уж необходимой полосой белоснежного белья,— такого же белого, как передник миссис Андерсон. Эта чистота была последним усилием почтенной четы, и мистеру Андерсону отныне ничего больше не оставалось, как только написать мелом, белоснежными аккуратными буквами на лопате: «Голодны» — и усесться здесь. Да, только одно оставалось теперь у мистера Андерсона — его доброе имя; владыки земные не могли лишить его заработанного честным трудом доброго имени. И поэтому, когда вы подходите к сему олицетворению страдающей добродетели, миссис Андерсон поднимается на ноги и, учтиво перед вами присев, предъявляет на ваше рассмотрение свидетельство, в коем некий доктор богословия, преподобный викарий Верхнего Доджингтона, сообщает своим собратьям во Христе и всем заинтересованным лицам, что податели сего Джон Андерсон и его законная супруга — люди, по отношению к которым никакое даяние не будет излишне щедрым. Этот благожелательный пастор не пожелал упустить ни одного случая своею рукой потрудиться на благо славной четы, ибо уголком глаза вы замечаете, что на лопате красуется его же автограф.

Другую разновидность бродяг представляет собой человек, самое ценное профессиональное качество коего — крайняя бестолковость. Он одет как деревенский житель, и вам нередко случается повстречать его в ту минуту, когда он пытается разобрать надпись на дорожном столбе,— попытка бесплодная, поскольку он не умеет читать. Он просит у вас извинения, просит от всей души (этот бродяга говорит очень медленно, и все время, пока вы с ним беседуете, с растерянным видом озирается вокруг), но каждый должен поступать с другими, как он хотел бы, чтоб поступали с ним, и он был бы благодарен, если бы его научили, как сыскать дорогу в больницу, где сейчас его старшой, потому как он сломал ногу, когда клал стену, а куда идти, собственноручно написал ему сквайр Паунсерби, который никогда не соврет. Он достает

затем из-под своей темной блузы (все так же медлительно и с таким же растерянным видом) старенький и потертый, но аккуратный кожаный кошелек и извлекает оттуда клочок бумаги. На бумажке значится, что сквайр Паунсерби из имения «Роща» просит направить подателя сего, бедного, но вполне достойного человека, в больницу графства Сассекс, неподалеку от Брайтона, исполнить каковую просьбу в настоящий момент представляется несколько затруднительным, поскольку она застигает вас в самом сердце Харфордшира. Чем более упорно вы пытаетесь — после того, как сами с великим трудом это вспомнили,— объяснить, где находится Брайтон, тем меньше понимает вас преданный отец и с тем более бестолковым видом озирается он по сторонам. Наконец, доведенные до крайности, вы кончаете тем, что советуете любящему отцу добраться сперва до Сент-Олбенс и даете ему полкроны. Это оказывает на него благотворное действие, но вряд ли помогает приблизиться к цели своего путешествия, ибо в тот самый вечер вы находите его пьяным в пильной яме колесного мастера под навесом, где свалены срубленные деревья, напротив кабачка «Три веселых плетельщика».

Но самый худший из всех праздных бродяг, это бродяга, выдающий себя за бывшего джентльмена. «Получил образование,— пишет он бледными чернилами ржавого цвета, сидя в деревенской пивной,— получил образование в Тринити-колледж, в Кембридже, рос среди изобилия, некогда в меру скромных своих возможностей покровительствовал искусствам», и так далее и тому подобное. И разумеется, сострадательный человек не откажет ему в пустячной сумме, что, однако, поможет ему добраться до соседнего города, где он намерен на ярмарке прочитать тем, кто fruges consumere nati [1], лекцию обо всем вообще. Эта гнусная тварь, которая шатается по низкопробным кабакам, облаченная в лохмотья, так давно утратившие черный цвет, словно они никогда и не были черными, еще более своекорыстна и нагла, чем даже дикий бродяга. У самого бедного мальчика он ухитрится вытянуть фартинг, а потом пнет его ногой. Он бы встал, если б надеялся на какую-нибудь выгоду, между младенцем и материнской

---

[1] Рожден потреблять плоды земные *(лат.)*.

грудью. Этот бессердечный негодяй будет заливаться пьяными слезами, утверждая, что он выше других, но это как раз и ставит его ниже всех, с кем он водит компанию; он портит своим видом летнюю дорогу, шатаясь меж окаймляющих проселок пышных зарослей, и, кажется, даже дикий вьюнок, розы и шиповник сникают, когда он проходит мимо, и не сразу могут оправиться от порчи, которую он оставил в воздухе.

Молодые парни, которые идут пешком по дороге компанией человек по пять или шесть зараз,— башмаки у них закинуты за плечо, жалкие узелки засунуты под мышку, палки недавно срезаны в придорожном лесу,— нельзя сказать, чтобы слишком располагали к себе, но все же не так неприятны. У них существует некое бродяжное братство. Они знакомятся друг с другом на привалах и дальше отправляются вместе. Они идут быстрым и мерным шагом, хотя при этом обычно прихрамывают, а кому-нибудь одному из этой компании трудно угнаться за остальными. Чаще всего они говорят о лошадях и о всяких других средствах передвижения, только не о ходьбе, или же один из них рассказывает о недавних дорожных приключениях, которые непременно состоят в каком-нибудь столкновении или ссоре. Вот, например: «Стою я, значит, на рынке, возле колодца, и все бы хорошо, да подходит приходский надзиратель и говорит: «Нечего здесь стоять».— «А почему бы это?» — говорю. «Здесь в городе нельзя попрошайничать»,— говорит. «А кто это попрошайничает?» — говорю. «Ты»,— говорит. «А вы видели, как я попрошайничал? Вы что, видели?» — говорю. «Тогда, значит, говорит, ты бродяга».— «А лучше быть бродягой, чем приходским надзирателем»,— говорю. (Компания шумно выражает свое одобрение.) «Будто бы?» — говорит. «Спору нет!» — говорю. «Ну, говорит, все равно убирайся из города!» — «А пошел он к чертям, ваш городишко, говорю. Охота была здесь оставаться! И чего это только ваш грязный городишко торчит на дороге и у всех под ногами путается? Взяли бы вы лопату и тачку да убрали бы свой городишко с проезжей дороги!» (Компания выражает самое шумное одобрение, на какое способна, и, громко смеясь, спускается с холма.)

Затем есть еще бродячие ремесленники. Где только вы

их не встретите летней порой! По всей Англии, где только поет жаворонок, зреет зерно, машет крыльями мельница и струится река, всюду они, в свете дня и в сумрачный час — лудильщики, мебельщики, зонтовщики, часовщики, точильщики. Принадлежи мы к этому сословию, как хорошо было бы идти по Кенту, Сассексу и Сэррею и точить ножи! Первые шесть недель или около того искры, вылетающие из-под нашего точильного камня, горели бы алым пламенем на фоне зеленой пшеницы и зеленой листвы. Немного спустя они бы пожелтели на фоне зрелых хлебов и оставались такими до тех пор, пока мы не добрались бы до свежевспаханной черной земли и они снова не стали огненно-красными. К этому времени мы проточили бы свой путь к утесам на морском берегу и гудение нашего точильного круга потерялось бы в рокоте волн. А потом наши новые искры оттенило бы великолепие красок осенних лесов, и к тому времени мы проточили бы свой путь к вересковым равнинам между Райгетом и Кройденом, славно подзаработав по пути, и в прозрачном морозном воздухе наши искры казались бы маленьким фейерверком, уступающим по красоте лишь искрам из кузнечного горна. А еще приятно идти себе и чинить стулья. Какими были бы мы знатоками камыша, с каким глубокомысленным видом стояли бы, облокотясь о перила моста (за спиною стул без сидения и связка тростинок), обозревая ивняк. Среди всех бессчетных ремесел, которыми можно заниматься лишь в присутствии зрителей, починка стульев занимает одно из первейших мест. Когда мы садимся, прислонившись спиною к стене амбара или кабака, и начинаем починку, как растет у нас ощущение того, что мы завоевали всеобщее признание! Когда на нас приходят посмотреть все дети, и портной, и местный торговец, и фермер, который заходил за какой-то безделицей в шорную лавочку, и конюх из помещичьего дома, и трактирщик, и даже два игрока в кегли (заметим попутно, что как бы ни была об эту пору занята остальная часть деревенских жителей, всегда сыщутся двое, которым будет досуг пойти поиграть в кегли, где б ни был расположен деревенский кегельбан), сколь приятнее нам плести и переплетать! Ведь никто не смотрит на нас, когда мы плетем и сплетаем эти слова.

EGD

Или возьмем починку часов. Правда, нести часы под мышкой неудобно, а заставлять их бить всякий раз, как подойдешь к человеческому жилью, попросту скучно, но зато какое удовольствие вернуть голос замолкшим часам в какой-нибудь хижине и заставить их снова заговорить с обитающей в ней семьей! И мы предвкушаем удовольствие от прогулки по парку, под нависшими над головою ветвями, когда зайцы, кролики, куропатки, фазаны прыскают как безумные у нас из-под ног, а мы поднимаемся по парковой лестнице и идем лесом, пока не дойдем до домика лесничего. Затем мы видим лесничего, который курит трубку у своих дверей, густо обвитых листвой. Мы рекомендуемся ему по обычаю нашего ремесла, и он зовет жену, чтобы она показала нам старые часы на кухне. Затем жена лесничего проводит нас в свой домик, и мы, должным образом осмотрев механизм, предлагаем пустить его в ход за полтора шиллинга, и когда предложение наше принято, усаживаемся на час или больше и звоним и постукиваем в кругу толстощеких детишек лесничего, взирающих на нас с благоговением. К полному удовольствию семьи, мы кончаем свою работу, и лесничий говорит, что у башенных часов над конюшней не ладится с боем, и если мы не прочь отправиться к домоправительнице, чтобы выполнить еще и эту работу, он готов нас туда проводить. И мы пойдем мимо ветвистых дубов и по густому папоротнику, пробираясь таинственными, тихими тропками, которые знает один лесничий, и увидим стадо, и, наконец, откроется перед нами поместье, старинное, торжественное и величавое. Лесничий проводит нас под террасой-цветником, мимо конюшен, и по дороге мы замечаем, как обширны и великолепны конюшни, как красиво написаны имена лошадей на стойлах и как все безлюдно, ибо хозяева уехали в Лондон. Затем нас представят домоправительнице, которая безмолвно сидит за шитьем в нише окна, выходящего на громадный унылый, вымощенный красным кирпичом четырехугольник двора, охраняемый каменными львами, неуважительно прыгающими через гербы благородной фамилии. А затем, когда наши услуги приняты, нас медленно проводят со свечой в башенку над конюшней, и мы обнаруживаем, что все дело в маятнике, но провозиться придется дотемна. А затем мы погружаемся в работу, и нам все

время почему-то кажется, что вокруг толпятся призраки, а портреты на стенах, без сомнения, выходят из рам и бродят по комнатам, хотя семейство ни за что не хочет в этом признаться. И мы работаем и работаем до тех пор, пока сумеречный свет не приходит на смену дневному и даже до тех пор, пока сумерки мало-помалу не сменяет ночная тьма. Но мы сделали, наконец, свое дело, и нас проводят в огромную людскую и потчуют там мясом и хлебом и крепчайшим элем. Нам щедро заплатили, и теперь мы вольны уходить, и наш доброжелательный проводник советует нам сперва идти туда, где стоит разбитый молнией ясень, а потом прямиком через лес, пока не покажутся впереди городские огни. И мы, чувствуя себя покинутыми и несчастными, мечтаем о том, чтобы ясень не был разбит молнией или хотя бы о том, чтоб наш проводник имел деликатность об этом умолчать. Но, как бы то ни было, мы все же пускаемся в путь, но вдруг часы на конюшенной башенке начинают самым скорбным образом отбивать десять часов, и кровь застывает у нас в жилах, словно это кто-то другой, а не мы только что научили их выполнять свои обязанности. А мы все идем вперед, и вспоминаем старые сказки, и думаем про себя, как поступить в случае, если появится длинная белая фигура, с глазами как плошки, подойдет к нам и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли на кладбище и починили церковные часы. Следуйте за мной!» И мы ускоряем шаг, чтобы поскорее выбраться из лесу, и вот мы уже на открытом месте, а впереди ярко горят городские огни. Эту ночь мы проводим под старинной вывеской Криспина и Криспануса и встаем рано поутру, чтобы снова отправиться в путь.

Каменщики часто бродят по двое и по трое, останавливаясь на ночлег в своих «ложах», которые рассеяны по всей стране *. Работа каменщика в сельской местности тоже никак не ладится без помощи зрителей, и полагается, чтоб их было как можно больше. В малолюдных местностях я знавал бродячих каменщиков, которые были до такой степени проникнуты сознанием пользы, приносимой зрителями, что, повстречав своих товарищей, занятых делом, выступали в качестве таковых и по два или три дня не могли снизойти до того, чтобы принять участие в общей работе, как им предлагали. Иной раз бродячий земле-

коп, с запасной парой башмаков, перекинутых через плечо, узелком, фляжкой и котелком, подобным же образом принимает участие в работе своих товарищей и праздно глазеет на них до тех пор, пока не проживет все свои деньги. По ходу моих не торговых дел мне пришлось не далее как в прошлое лето нанять несколько человек, чтоб они исполнили для меня небольшую работу в приятной местности, и меня почтили своим присутствием одновременно двадцать семь человек, наблюдавших за работой шести.

Можно ли познакомиться с сельской дорогой в летнее время и не унести в своей памяти воспоминание о множестве бродяг, что идут от одного оазиса к другому — от одного города или деревни к другой, дабы распродать свой товар, за который, после того как вы его купили, не дашь и шиллинга. Креветки — излюбленный предмет подобного промысла, а также напоминающие губку пирожные, испанский орех и конфеты с ликером. Товар носят в корзине на голове, а между головой и корзиной лежат складные козлы, на которых выкладывают эту снедь в часы торговли. Эти бродяги легки на ногу, но в большинстве своем отмечены печатью заботы; шея у них одеревенела от вечной необходимости держать в равновесии корзину на голове, а глаза раскосые, как у китайцев,— должно быть, эту форму придал им придавленный тяжестью лоб.

На жаркой и пыльной дороге у приморских городов или больших рек вы встретите странствующего солдата. И если вам никогда не случалось задаться вопросом, подходит ли его одежда для его ремесла, то, может быть, вид бедняги, когда он уныло бредет вам навстречу — до нелепости узкий китель расстегнут, высокий стоячий воротник в руке, ноги парятся в байковых штанах,— заставит вас спросить себя, как бы вам самому понравилась такая одежда. Много лучше странствующему матросу, хотя его одежда слишком плотна для суши. Но почему помощник капитана торгового судна, бредущий среди меловых холмов в самое жаркое время года, должен носить черный бархатный жилет, навсегда останется одной из величайших неразгаданных тайн природы.

Перед моими глазами дорога в Кенте; она пролегает через лес, где с одной стороны, между пыльной обочиной и опушкой, тянется полоска травы. Место это высокое,

воздух здесь свеж, полевые цветы растут в изобилии, и вдали, как жизнь человеческая, медленно течет к морю река. Чтобы добраться здесь до придорожного камня, который так зарос мхом, примулами, фиалками, колокольчиками и шиповником, что сделался бы неразличим, когда б любопытные путешественники не раздвигали растения своими палками, вы должны подняться на крутой холм. И все бродяги, что едут в телегах или фургонах — цыгане, бродячие актеры, коробейники,— не в силах противостоять искушению и, добравшись до этого места, выпрягают лошадей и ставят на огонь котелок. Благословенно будь это место! Как люблю я пепел опаливших траву кочевых костров! А каких я там видел одетых в скудные лохмотья детишек, для которых оглобли — гимнастический снаряд, камни и ежевика — перина, а игрушка — стреноженная лошадь, похожая на лошадь не больше, чем любая дешевая игрушка. Здесь набрел я на подводу, полную циновок, корзин и метелок; мысли о торговых делах развеял вечерний ветерок; коробейник со своею любезной готовили жаркое и тут же его уплетали, извлекая приятную музыку из своих тарелок, которые, когда на рынке или на ярмарке их ставят на аукцион, гремят подобно тарелкам военных оркестров, и эти люди наверняка так заворожены пением соловья в лесу у них за спиной, что если б я вздумал приторговать у них что-нибудь, они что угодно продали б по своей цене. На этой благословенной земле мне выпало счастье (сообщу по секрету) видеть Белошерстую красноглазую Леди, разделившую мясной пирог с Великаном, а у кустарника, на ящике с одеялами, где, как я знал, были змеи, стояли чашки, блюдца и чайник. На это захватывающее зрелище мне случилось набрести августовским вечером, и я заметил, что, тогда как Великан полулежал, почти сокрытый нависающими над ним ветвями, и казался безразличным к природе, белая шерстка прелестной Леди пушилась под дыханием вечернего ветерка, и красные ее глазки с удовольствием созерцали пейзаж. Я слышал из ее уст одну только фразу, но в ней раскрылись ее находчивость и ее достоинство. Невоспитанный Великан — да будет проклято все это отродье! — оборвал ее на полуслове, и когда я проходил этим благословенным лесным уголком, она кротко возразила ему: «Послушай, Недоросток (Недо-

росток! — как метко сказано!) — разве мало одному дураку говорить зараз?»

Неподалеку от этой волшебной страны, хотя и достаточно далеко, чтобы песня, распеваемая у пивной бочки или на скамейке у дверей, не нарушала лесную тишину, расположился небольшой постоялый двор, мимо которого в теплую погоду ни один еще человек, коли был у него хоть грош за душой, не прошел без того, чтоб туда не заглянуть. У входа растет несколько славных подстриженных лип, и здешний колодец такой прохладный, и ворот его издает такой музыкальный звук, когда касается дужки ведра, что лошадь на пыльной дороге слышит его за полмили и принимается ржать и прядать ушами. Этот дом — излюбленный приют бродячих косарей в пору сенокоса и жатвы, и когда они сидят, потягивая пиво из кружек, их отставленные в сторону серпы и косы сверкают сквозь открытые окна, словно все это заведение — семейная боевая колесница древних бриттов. Ближе к концу лета вся сельская часть этого графства на много миль вокруг начинает кишеть бродячими сборщиками хмеля. Они приходят семьями — мужчины, женщины, дети; каждая семья тащит с собой тюк с постелью, железный котелок, множество младенцев и, весьма нередко, какого-нибудь несчастного больного, не приспособленного к этой тяжелой жизни, для которого, как им кажется, запах свежего хмеля послужит целительным бальзамом. Среди сборщиков хмеля много ирландцев, но многие приходят из Лондона. Они запружают все дороги, они располагаются лагерем под каждой живой изгородью, на каждом клочке общинной земли, и они живут среди хмеля и живут хмелем до тех пор, пока весь он не собран и хмельники, такие прекрасные летом, не становятся похожи на землю, опустошенную вражеской армией. А затем начинается великий исход бродяг из этой местности, и если вы быстрее, чем шагом, выедете на лошади или в экипаже на любую дорогу, вы, к своему смущению, обнаружите, что врезались в самую гущу полусотни семейств и что вокруг вас в величайшем беспорядке плещется море тюков с постелями, младенцев, железных котелков и множество добродушных лиц, принадлежащих людям обоих полов и всех возрастов, которые изнывают столько же от жары, сколько и от хмельного.

## XII

### *Скукотаун*

Недавно мне случилось бродить по местам, где прошли мои юные годы; я уехал оттуда ребенком, а вернулся уже взрослым мужчиной. Ничего в этом необыкновенного нет,— в один прекрасный день это случается чуть ли не с каждым, но, быть может, читателю будет интересно сравнить свои впечатления о предмете, так хорошо ему знакомом, с моими заметками о путешествии по самым не торговым делам, какие только можно себе представить.

Я назову свой родной городок (произнося это название, я чувствую себя почти что тенором Английской Оперы) Скукотаун *. Всякий, кто родился в провинции, обычно происходит из Скукотауна.

Я покинул свой Скукотаун в те дни, когда не было еще железных дорог, и поэтому я покинул его в почтовой карете. Сколько прожито лет, а разве забыл я запах мокрой соломы, в которую упаковали меня, словно дичь, чтобы отправить — проезд оплачен — в Кросс Киз на Вуд-стрит, Чипсайд, Лондон. Кроме меня в карете не было других пассажиров, и я поглощал свои бутерброды в страхе и одиночестве, и всю дорогу шел сильный дождь, и я думал о том, что в жизни гораздо больше грязи, чем я ожидал.

Я с нежностью вспоминал об этом, когда на днях поезд весело примчал меня обратно в Скукотаун. Мой билет, равно как и железнодорожные сборы, был оплачен заранее, на мой сверкающий новизной чемодан был наклеен огромный пластырь, и, согласно акту парламента, мне, под угрозой штрафа от сорока шиллингов до пяти фунтов, подлежащему заменой тюремным заключением, было отказано в праве протестовать против чего-либо, что могли сделать с ним или со мной. Отослав свою обезображенную собственность в гостиницу, я огляделся вокруг, и первое мое открытие состояло в том, что вокзал поглотил нашу площадку для игр.

Она исчезла. Два прекрасных куста боярышника, живая изгородь, лужайка и все лютики и маргаритки усту-

пили место самой булыжной из всех тряских булыжных мостовых, а за станцией жадно зияла разверстая пасть туннеля, этого противного мрачного чудовища, которое, казалось, сожрало цветы и деревья и приготовилось дальше опустошать окрестность. Экипаж, который увез меня, носил благозвучное имя «Тимпсонова Синеокая Дева» и принадлежал Тимпсону, владельцу конторы почтовых карет, что вверх по улице; локомотив, что привез меня обратно, носил мрачное название «номер 97», принадлежал Ю.В.Ж.Д. и плевался пеплом и кипятком на опаленную землю.

Когда меня, как заключенного, которого тюремщик неохотно отпускает на волю, выпустили с платформы, я снова через невысокую стену оглядел места былой славы. Здесь, в пору сенокоса, мои соотечественники, победоносные британцы (мальчик из соседнего дома и двое его кузенов), освободили меня из темницы в Серингапатаме* (которую представляла огромная копна сена), и меня с восторгом встретила моя нареченная (мисс Грин), проделавшая долгий путь из Англии (второй дом по верхней улице), дабы выкупить меня на волю и выйти за меня замуж. Здесь же я узнал по секрету от человека, чей отец находился на государственной службе и потому обладал обширными связями, о существовании ужасных бандитов, именуемых «радикалами», которые считали, что принц-регент должен носить корсет, никто не должен получать жалованье, флот и армию следует распустить, и я, лежа в постели, дрожал от ужаса и молил, чтоб их поскорее переловили и перевешали. Здесь же состоялся крикетный матч между нами, мальчиками из школы Боулса, и мальчиками из школы Коулса, во время которого Боулс и Коулс самолично сошлись на крикетной площадке, но вопреки нашим упованиям, не начали тотчас же яростно дубасить друг друга; вместо этого один из этих трусов сказал: «Надеюсь, миссис Боулс находится в добром здравии», а другой: «Надеюсь, миссис Коулс и малютка чувствуют себя превосходно». Неужели после этого и еще многого другого площадка для игр превратилась в станцию, номер 97 харкал на нее кипятком и раскаленной золой, а все это вместе взятое принадлежало теперь, согласно акту парламента, Ю.В.Ж.Д.?

Но поскольку это случилось на самом деле, я с тяжелым сердцем ушел отсюда, дабы пройтись по городу. Сначала я направился к Тимпсону, вверх по улице. Когда я в объятиях соломенной Тимпсоновой Синеокой Девы уезжал из Скукотауна, заведение Тимпсона было скромной, вернее даже сказать, маленькой конторой почтовых карет; в окне висело такое красивое по вечерам, овальное прозрачное изображение одной из Тимпсоновых почтовых карет,— заполненная до отказа внутри и снаружи одетыми по последней моде и безмерно счастливыми пассажирами, она мчалась по дороге в Лондон мимо придорожного камня. Я не нашел больше Тимпсона — не нашел ни его стен, ни крыши, не говоря уже о вывеске — не было больше такого здания на этой перенаселенной земле. Пришел Пикфорд и разнес на куски Тимпсона. Он разнес на куски не только Тимпсона, но еще по два или три дома по обе стороны от Тимпсона и сколотил из всех этих кусков одно большое заведение с большими воротами; ныне туда беспрерывно въезжают и оттуда выезжают его, Пикфорда, фургоны, сотрясая своим грохотом весь город; кучера сидят на них так высоко, что заглядывают в окна третьего этажа старомодных домов на Хай-стрит. Я не имею чести быть знакомым с мистером Пикфордом, но я чувствовал, что он нанес мне обиду, чтоб не сказать большего; он, по-моему, совершил детоубийство, бесцеремонно переехав через мое детство, и если я когда-нибудь встречу Пикфорда, восседающего на одной из своих колымаг и покуривающего трубочку (это в обычае у его кучеров), он поймет по выражению моих глаз, если мне удастся встретиться с ним глазами, что между нами что-то неладно.

Кроме того, я чувствовал, что Пикфорд не вправе был налетать на Скукотаун и лишать его картины, составлявшей общественное достояние. Он не Наполеон Бонапарт. Когда он снял прозрачное изображение почтовой кареты, он должен был возместить это городу прозрачным изображением фургона. Преисполненный мрачной уверенности в том, что Пикфорд находится целиком во власти практичности и лишен всякого воображения, я двинулся дальше.

Если у моих дверей нет красно-зеленого фонаря и ноч-

ного звонка *, то это милость судьбы, ибо в детстве меня таскали к такому количеству рожениц, что я сам не пойму, как избежал опасности стать акушером. У меня, должно быть, была очень участливая няня с огромным количеством замужних приятельниц. Во всяком случае, продолжая свой путь по Скукотауну, я обнаружил много домов, которые были связаны для меня исключительно с этим своеобразным моим развлечением. Около лавчонки зеленщика, в которую надо было спуститься на несколько ступенек с улицы, я припомнил, что навещал здесь некую даму, родившую зараз четверых детей (я не решаюсь написать пятерых, но совершенно уверен, что их было пятеро). Эта достославная особа устроила у себя в то утро, когда меня туда привели, настоящий светский прием, и вид этого дома живо напомнил мне, как четверо (верней пятеро) усопших младенцев лежали рядышком на чистой скатерти, постланной на комоде; по детской моей простоте, они казались мне,— вероятно благодаря своему цвету,— похожими на свиные ножки, которые выкладывают на витрине в чистеньких лавочках, торгующих требухой. Стоя перед лавкой зеленщика, я припомнил еще, что нас всех обнесли тогда горячим коудлом * и что среди присутствующих была объявлена подписка; у меня были при себе карманные деньги, и это весьма меня встревожило. О моих деньгах знала и моя провожатая, кто бы она ни была, и она принялась горячо убеждать меня внести свою лепту, но я решительно отказался, чем возмутил всех собравшихся, которые дали мне понять, что я должен оставить всякую надежду попасть на небо.

Почему случается так, что куда бы вы ни приехали, все там стало другим, но везде есть люди, которые совсем не меняются? Когда вид зеленной лавки пробудил в моей памяти эти мелкие эпизоды давно минувших времен, зеленщик, все такой же, как прежде, появился на ступеньках и, заложив руки в карманы, прислонился плечом к дверному косяку,— совершенно так же, как во времена моего детства; даже след от его плеча сохранился на косяке, словно тень его навсегда осталась там. Это был он, собственной своею персоной; когда-то его можно было назвать старообразным молодым человеком; теперь его можно было скорее назвать моложавым стариком, но все

равно это был он. Перед этим я тщетно искал на улицах знакомые лица или хотя бы лица, доставшиеся своим владельцам по наследству, а здесь был тот самый зеленщик, который взвешивал овощи и вручал покупателям корзинки в утро того самого светского приема. При виде его я смутно припомнил, что он не имел права собственности на тех младенцев, и потому, перейдя дорогу, я заговорил с ним о них. То обстоятельство, что я так хорошо об этом помню, не заставило его выразить ни удивления, ни удовольствия, ни вообще проявить какое-нибудь чувство, он сказал только, что да, это был случай особенный, а вот сколько именно их было, он не помнит (как будто полдюжиной младенцев больше, полдюжиной меньше, разницы особой не составляет), что приключилось это с миссис такой-то, которая когда-то здесь жила, но что вообще-то он особенно про это не вспоминал. Раздосадованный его безразличием, я сообщил ему, что покинул этот город ребенком. Ничуть не смягчившись, он с оттенком какой-то благодушной язвительности, неторопливо ответил мне: «Вот оно что! Да... Ну и как, по-вашему, шли тут без вас дела?» «Вот в чем разница,— подумал я, отойдя уже от зеленщика на добрую сотню ярдов и пребывая теперь в настроении во столько же раз лучшем, чем прежде,— вот в чем разница между теми, кто уехал, и теми, кто остался на месте. Я не вправе сердиться на зеленщика за то, что не вызвал в нем никакого интереса; я для него — ничто, тогда как он для меня — и город, и мост, и река, и собор, и мое детство, и немалый кусок моей жизни».

Разумеется, город страшно съежился с тех пор, как я жил здесь ребенком. Я лелеял мысль, что Хай-стрит, во всяком случае, не уступит по ширине Риджент-стрит в Лондоне или Итальянскому бульвару в Париже. Эта улица оказалась немногим шире переулка. На ней были часы, которые я считал красивейшими в мире; сейчас они оказались самыми невыразительными, глупыми и слабосильными часами, какие я когда-либо встречал. Они были установлены на здании ратуши, в зале которой я когда-то видел индийца (теперь я подозреваю, что он не был индийцем), глотавшего шпагу (теперь я подозреваю, что он ее не глотал). Это здание казалось мне в те дни столь вели-

чественным, что я считал его про себя образцом, по которому Джинн Волшебной Лампы выстроил дворец для Аладина. Я застал жалкую кучку кирпича, вроде какой-то выжившей из ума часовни, и несколько изнывающих от безделья личностей в кожаных крагах, которые, заложив руки в карманы, стояли, позевывая, у дверей и называли себя хлебной биржей!

Расспросив торговца рыбой, который устроил у себя в окне компактную выставку своего товара, представленного одной камбалой и миской креветок, я узнал, что городской театр еще существует, и решил утешения ради сходить взглянуть на него. Там я когда-то впервые увидел Ричарда Третьего, одетого в очень неудобную мантию, который, схватившись не на жизнь, а на смерть с добродетельным Ричмондом *, начал отступать прямо к выходившей на сцену ложе, где я сидел, чем заставил меня замереть от ужаса. В этих стенах, словно листая историю Англии, я узнал, что в дни войны этот король-злодей спал на слишком для него короткой софе и что душевный покой его ужасно смущали узкие башмаки. Там же я впервые увидел смешного, но благородного душой поселянина, носившего расшитую цветами жилетку, который, расшумевшись, сорвал с головы свою шапочку, бросил ее на землю и со словами: «А ну-ка, сквайр, черт тебя подери, выходи на кулачки!» — скинул кафтан, чем заставил так растревожиться прелестную молодую женщину, водившую с ним компанию (она собирала колосья в белом муслиновом фартуке, украшенном пятью лентами пяти разных цветов), что в страхе за него она лишилась чувств. Много чудесных тайн познал я в этом храме искусства, и едва ли не самая страшная из них состояла в том, что ведьмы из «Макбета» до ужаса походили на шотландских танов * и других лиц, по праву населяющих эту страну, а доброму королю Дункану не лежалось в могиле, и он то и дело вылезал из нее, выдавая себя за кого-нибудь другого. Итак, я пришел в театр за утешением. Но он очень мало меня утешил; он был в упадке и запустении. Торговец вином и бутылочным пивом уже втиснулся со своим товаром в театральную кассу, а деньги за билеты (когда их платили) брали в каком-то подобии холодильного шкафа, стоявшем в проходе. Торговец вином и бутылочным пивом,

как легко было догадаться, пролез и под сцену, ибо, как явствовало из объявления, у него имелись различные спиртные напитки в бочках, а бочки негде было хранить иначе как там. Он, очевидно, мало-помалу прогрызал себе путь к самому сердцу театра и скоро должен был сделаться его полным владельцем. Театральное здание сдавалось внаем, и если оно ждало нанимателя, который вернул бы ему прежнее назначение, то ожидания эти были напрасными. Уже долгое время в этих стенах не было никаких зрелищ, кроме панорамы, да и та, как гласили афиши, «соединяла приятное с полезным», а я превосходно знаю, какую смертную тоску таит в себе это ужасное выражение. Нет, театр не принес мне утешения. Он ушел неведомо куда, как и моя юность. В отличие от нее, он в один прекрасный день еще может вернуться, но на это мало надежды.

Поскольку город пестрел афишами, на которых упоминался Скукотаунский Клуб механиков, я решил пойти взглянуть на него. В мои молодые годы ничего подобного в городе не было, и мне подумалось, что, быть может, упадок театра объясняется чрезмерным преуспеянием Клуба. Я нашел Клуб не без труда, и если б судил по наружности, вряд ли понял бы, что я его, наконец, нашел, ибо он был недостроен, не имел фасада и потому скромно и отрешенно пристроился над конюшней. Как я узнал из расспросов, Клуб процветал и приносил большую пользу городу; эти два замечательных его достоинства нисколько не умерялись, как было мне приятно услышать, теми двумя кажущимися недостатками, что механиков при Клубе не состояло и что он был в долгу по самые колпаки дымовых труб. В нем была большая зала, куда можно было добраться по шаткой приставной лестнице,— хотели построить настоящую, но строитель отказался, пока ему не заплатят наличными, а Скукотаун (хотя он чрезвычайно высоко ценил свой Клуб) по непонятной причине жался с подпиской. Зала обошлась — вернее сказать, обойдется, когда за нее заплатят,— в пятьсот фунтов, и в ней больше известки и лучшее эхо, чем удается обычно получить за эти деньги. В ней был помост и все, что полагается для чтения лекций, включая огромную, устрашающего вида черную доску. Список лекцион-

ных курсов, прочитанных в этом преуспевающем обществе, заставил меня подумать, что здесь стесняются естественного желания человека развлечься и отдохнуть в минуты досуга,— всякий жалкий довесок веселья протаскивают здесь украдкой, застенчиво и бочком. Так, я обнаружил, что, прежде чем порадовать слушателей этими непонятными хористами, негритянскими певцами в придворных костюмах времен Георга Второго, полагается обрушить им на голову Газ, Воздух, Воду, Пищу и Солнечную систему, Геологические периоды, Творчество Мильтона, Паровую машину, Джона Беньяна * и Клинопись *. Равным образом, прежде чем подвести слушателей к концерту, их полагается ошеломить увесистым вопросом о том, нельзя ли найти у Шекспира скрытые доказательства того, что его дядя с материнской стороны жил несколько лет в Сток Ньюингтоне. Стремление надеть на развлечения чужую личину и выдать их за что-то другое — подобно тому как люди, вынужденные держать кровати в гостиной, пытаются выдать их за книжные шкафы, диваны, комоды, за что угодно, только не за кровати,— было очевидно даже из того, какое уныние напускали на себя, дабы не погрешить против здешних приличий, несчастные исполнители. Один недурной профессиональный певец, который гастролировал с двумя певицами, был настолько осмотрителен, что самолично предпослал балладе «Чрез поля, где зреет рожь» *, которую исполняла одна из певиц, несколько общих замечаний о пшенице и клевере, но даже и после этого не решился назвать песню песней, а выдал ее в афише за «иллюстрацию». В библиотеке, где на полках, способных вместить три тысячи книг, стояло, упираясь переплетами в мокрую штукатурку, около ста семидесяти (по большей части преподнесенных в дар), мне с такой горечью и с такими извинениями рассказывали о том, что шестьдесят два безобразника читают путешествия, популярные биографии и обыкновенную беллетристику, повествующую о сердечных и душевных порывах обыкновенных, во всем им подобных людей, и с таким усердием прославляли двух замечательных личностей, которые, просидев целый день в четырех стенах за работой, читают потом Эвклида; трех замечательных личностей, которые после трудов дневных читают книги по

метафизике; одного индивидуума, читающего книги по богословию после подобных же трудов, и еще четырех, вгрызающихся после подобных трудов сразу в грамматику, политическую экономию, ботанику и логарифмы, что, как я заподозрил, всех этих читателей, составлявших предмет такой гордости, олицетворяет, должно быть, один человек, специально для того нанятый.

Уйдя из Клуба механиков и продолжив свою прогулку по городу, я по-прежнему замечал на каждом шагу все то же упорное сверх всякой меры старание спрятать подальше от глаз естественное человеческое желание поразвлечься — так иные неряшливые хозяйки сметают с заметных мест пыль и делают после этого вид, будто комната прибрана. Тем не менее все эти притворщики преподносили вам развлечения, но только унылые и жалкие. Заглянув в магазин «серьезной литературы» (так он именуется в Скукотауне), где в детстве я изучал лица джентльменов, изображенных на кафедре, с газовыми рожками по обеим сторонам оной, и пробежав глазами раскрытые страницы некоторых брошюр, я обнаружил даже в них отменное стремление выказать шутливость и достичь драматического эффекта,— право же, это стремление замечалось даже у одного гневного обличителя, предававшего жестокой анафеме какой-то несчастный маленький цирк. Обозревая книги, предназначенные для молодых людей из «Лассо любви» и других превосходных обществ, я подобным же образом обнаружил у их авторов мучительное сознание того, что начинать, во всяком случае, им следует как обыкновенным рассказчикам, дабы обманом внушить юным читателям мысль, будто им предстоит интересное чтение. Я двадцать минут по часам разглядывал эту витрину, и потому вправе,— имея в виду не один только этот случай,— сделать дружеский упрек художникам и граверам, иллюстрирующим подобные книги. Думают ли они о том, какие ужасные последствия может иметь принятый ими способ изображать Добродетель? Задавались ли они вопросом, не может ли боязнь того, что они приобретут безобразно одутловатые щеки, вывихнутую ногу, неуклюжие руки, кудряшки на голове и безмерной величины воротники, которые изображаются как неотделимые атрибуты Добродетели,— не может ли все

это заставить впечатлительных и слабых людей закоснеть в Пороке? Самый убедительный (меня он, правда, не убедил) пример того, чего могут достигнуть Мусорщик и Матрос, обратившиеся на путь добродетели, я увидел в той же витрине. Когда эти друзья-приятели, пьяные и беспечные, в крайне потрепанных шляпах, с волосами, нависшими на лоб, стояли, прислонившись к столбу, они выглядели весьма живописно, и казалось, что не будь они такими скотами, они были бы людьми довольно приятными. Но когда они преодолели свои дурные наклонности, головы их, в результате, так распухли, волосы так раскудрявились, что щеки казались запавшими, обшлага так удлинились, что работать им теперь было никак невозможно, а глаза так округлились, что заснуть им теперь было тоже никак невозможно, и они являли собою зрелище, рассчитанное на то, чтобы толкнуть робкую натуру в пучину бесчестия.

Однако часы, пришедшие в такой упадок с тех пор, как я видел их в последний раз, напомнили мне, что я уже достаточно здесь простоял, и я двинулся дальше.

Не успел я пройти и пятидесяти шагов, как вдруг замер на месте при виде человека, который вылез из фаэтона, остановившегося у дверей квартиры доктора, и вошел в дом. Тотчас же в воздухе повеяло запахом помятой травы, передо мной открылась длинная перспектива прожитых лет, в самом конце ее у крикетных ворот я увидел маленькое подобие этого человека и сказал себе: «Боже ты мой! Да ведь это Джо Спекс!»

Через долгие годы, заполненные трудом, годы, за которые столько случилось со мною перемен, пронес я теплое воспоминание о Джо Спексе. Вместе с ним мы познакомились с Родриком Рэндомом *, и оба решили, что он совсем не злодей, а остроумный и обаятельный малый. Я даже не спросил у мальчика, сторожившего фаэтон, действительно ли это Джо; я даже не прочел медной дощечки на дверях, так я был уверен, что это он; я просто позвонил и, не назвавшись, сказал служанке, что мне надо повидать мистера Спекса. Меня провели в комнату, наполовину кабинет, наполовину приемную, и попросили подождать; здесь все говорило, что я не ошибся. Портрет мистера Спекса, бюст мистера Спекса, серебряная чаша, подаренная мистеру Спексу благодарным пациентом, про-

поведь, преподнесенная местным священником, поэма с посвящением от местного поэта, приглашение на обед от местного представителя знати, трактат о политическом равновесии, презентованный местным эмигрантом с надписью: «Hommage de l'auteur à Specks» [1].

Наконец мой школьный друг вошел в комнату, и когда я с улыбкой сообщил ему, что я не больной, он, видимо, никак не мог понять, что здесь смешного, и спросил меня, чему он обязан честью? Я спросил его, опять с улыбкой, помнит ли он меня? Он ответил, что не имеет этого удовольствия. Мистер Спекс начал уже падать в моем мнении, но тут он вдруг задумчиво промолвил: «А все-таки что-то такое есть». При этих словах мальчишеский огонек промелькнул у него в глазах, и я, обрадовавшись, попросил его сообщить мне, как человеку чужому в этих краях, которому негде об этом справиться, как звали молодую особу, вышедшую замуж за мистера Рэндома, на что он ответил: «Нарцисса», потом пристально поглядел на меня, назвал меня по имени, пожал мне руку и, совершенно оттаяв, разразился громким смехом.

— Ты, конечно, помнишь Люси Грин? — сказал он, когда мы немного разговорились.

— Разумеется, помню.

— Как ты думаешь, за кого она вышла замуж?

— За тебя? — сказал я наудачу.

— За меня,— заявил Спекс.— И сейчас ты ее увидишь.

Я действительно увидел ее. Она растолстела, и если б на нее свалили все сено с целого света, это изменило бы ее лицо не больше, чем время изменило его, сравнительно с тем личиком, которое я увидел из благоуханной темницы в Серингапатаме, когда оно склонилось надо мной. Но после обеда (я обедал у них, и с нами за столом сидел еще только Спекс-младший, адвокат, покинувший нас, едва лишь сняли скатерть, чтобы навестить молодую особу, на которой он собирался через неделю жениться) вошла ее младшая дочка, и я снова увидел то самое личико, что видел в пору сенокоса, и это тронуло мое глупое сердце. Мы без конца говорили о прошлом, и все мы —

[1] Спексу от автора *(франц.)*.

и Спекс, и его жена, и я — вспоминали о том, какие мы были, так, словно те люди давно уже умерли, — впрочем, они и правда были мертвы и ушли от нас, как площадка для игр, превратившаяся в свалку ржавого железа и принадлежащая ныне Ю.В.Ж.Д.

Спекс, однако, снова разжег во мне начинавший уже пропадать и без него не вернувшийся бы интерес к Скукотауну и стал тем звеном, которое так приятно связало для меня прошлое этого города с его настоящим. В обществе Спекса я еще раз имел случай убедиться в одном обстоятельстве, подмеченном мною прежде при подобных же встречах с другими людьми. Все школьные товарищи и другие друзья минувших лет, о коих я осведомлялся, либо пошли удивительно далеко, либо пали удивительно низко; одни сделались недобросовестными банкротами или преступниками и были высланы, другие творили чудеса и многого в жизни достигли. Это настолько обычное явление, что я никогда не мог понять, куда деваются все посредственные юноши, когда они достигают зрелых лет, тем более что посредственных людей в этом возрасте тоже хоть отбавляй. Но разговор наш лился непрерывным потоком, и я не сумел поделиться своим затруднением со Спексом. Равным образом, не сумел я сыскать в добром докторе ни сучка, ни задоринки, — когда он будет читать это, он по-дружески примет мой шутливый укор — разве лишь то, что он позабыл своего Родрика Рэндома и спутал Стрэпа с лейтенантом Хэтчуэем, который не был знаком с Рэндомом, хоть и находился в близких отношениях с Пиклем.

Когда я шел один к станции, чтоб успеть на вечерний поезд (Спекс собирался меня проводить, но его не ко времени вызвали), я был более расположен к Скукотауну, нежели в течение дня, и все же я и днем в глубине души любил его. Кто я такой, чтобы ссориться с городом за то, что он переменился, когда и сам я вернулся сюда другим? Здесь зародилась моя любовь к чтению, здесь зародились мои мечты, и я увез их с собой, полный наивных грез и простодушной веры, и я привез их обратно такими потрепанными, такими поблекшими, и сам сделался настолько умудреннее и настолько хуже, чем был!

## XIII

### *Ночные прогулки*

Несколько лет назад временная бессонница, вызванная тяжелыми переживаниями, заставила меня из ночи в ночь бродить по улицам. Если б я оставался в постели и пробовал всякие почти бесполезные средства, осилить этот недуг удалось бы не скоро, но я вставал и выходил на улицу сразу после того, как ложился, а возвращался домой усталым к рассвету, и таким решительным способом быстро справился со своей бессонницей.

В эти ночи я восполнил пробелы в моих довольно основательных любительских познаниях о бездомных. Главной моей целью было как-нибудь скоротать ночь, и это помогло мне понять людей, у которых нет иной цели каждую ночь в году.

Шел март; погода была сырая, насмурная, холодная. Солнце вставало только в половине шестого, и мне предстояла достаточно длинная ночь — она начиналась для меня в половине первого.

Большой город неугомонен, и смотреть на то, как он ворочается и мечется на своем ложе, прежде чем отойдет ко сну,— одно из первых развлечений для нас, бесприютных. Это зрелище длится около двух часов. Становилось скучнее, когда гасли огни поздних трактиров и слуга выталкивал на улицу последних шумливых пьяниц, но после этого нам оставались еще случайные прохожие и случайные экипажи. Иногда нам везло, слышалась вдруг полицейская трещотка и удавалось увидеть драку, но обычно с подобными развлечениями дело обстояло удивительно скверно. Если исключить Хэймаркет, в котором больше беспорядков, чем в остальных частях Лондона, окрестности Кент-стрит в Боро, и еще часть Олд-Кент-роуд, спокойствие в городе нарушается редко. Но Лондон перед сном всегда был подвержен припадкам буйства — словно он подражал некоторым своим обитателям. Все уже, кажется, стихло, но вот прогремел экипаж, и наверняка их сразу появится еще целых полдюжины; мы, бездомные, обратили также внимание и на то, что пьяных, словно магнитом, притягивает одного к другому, и когда

мы замечаем пьянчугу, который, еле держась на ногах, прислонился к ставням какой-нибудь лавки, то наперед знаем, что не пройдет и пяти минут, как появится, еле держась на ногах, второй пьянчуга и начнет обниматься или драться с первым. Когда мы видим пьяницу, непохожего на обычного потребителя джина — с тощими руками, опухшим лицом и губами свинцового цвета — и обладающего более приличной наружностью, пятьдесят против одного, что он будет одет в перепачканный траур. Что происходит на улице днем, то же происходит и ночью: простой человек, неожиданно войдя во владение небольшим капиталом, неожиданно пристращается к большим дозам спиртного.

Наконец замирают и гаснут последние искры, мерцающие у лотка запоздалого торговца пирожками или горячей картошкой, и Лондон погружается в сон. И тогда бездомный начинает тосковать хоть по какому-нибудь признаку жизни: по освещенному месту, по какому-нибудь движению, по любому намеку на то, что кто-то еще на ногах, еще не спит, ибо глаза бесприютного ищут окон, в которых еще горит свет.

Бездомный все идет, и идет, и идет под стук дождевых капель; он не видит ничего, кроме бесконечного лабиринта улиц, да изредка встретит где-нибудь на углу двух полисменов, занятых беседой, или сержанта и инспектора, проверяющих своих людей. Порой — впрочем, редко — бездомный замечает в нескольких шагах от себя, как чья-то голова украдкой выглянула из подъезда, и, поравнявшись с ней, видит человека, вытянувшегося в струнку, чтобы остаться в тени и явно не намеренного сослужить какую-либо службу обществу. Словно зачарованные, в мертвом молчании, столь подходящем для этого ночного часа, бездомный и сей джентльмен смерят друг друга взглядом с головы до ног и расстанутся, затаив взаимное подозрение и не обменявшись ни словом. Кап-кап-кап, капает вода с оград и карнизов; брызги летят из желобов и водосточных труб — и вот уже тень бездомного падает на камни, которыми вымощен путь к мосту Ватерлоо, ибо бездомному хочется иметь за полпенни случай сказать «доброй ночи» сборщику пошлины и взглянуть на огонек, горящий в его будке. Хороший огонь, и хорошая шуба, и хороший шер-

стяной шарф у сборщика пошлины, приятно на них посмотреть, и приятно побыть со сборщиком пошлины,— сна у него ни в одном глазу, он смело бросает вызов ночи со всеми ее печальными мыслями, он нисколько не боится рассвета и со звоном отсчитывает сдачу на свой металлический столик. Мост казался зловещим, и перед тем, как на него ступить, бездомный жаждал хоть чьей-нибудь поддержки. Убитого, всего изрезанного человека еще не спустили на веревке с парапета в эти ночи, он был еще жив и скорее всего спокойно спал, и его не тревожили сны о том, какая участь его ожидает. Но река была страшной, дома на берегу были окутаны черным саваном, и казалось, что отраженные огни исходят из глубины вод, словно призраки самоубийц держат их, указывая место, где они утонули. Луна и тучи беспокойно метались по небу, точно человек с нечистой совестью на своем смятом ложе, и чудилось, что сам необъятный Лондон своей тяжелой тенью навис над рекой.

От моста до двух больших театров расстояние всего в несколько сот шагов, так что дальше я пошел в театры. Мрачны, темны и пустынны по ночам эти огромные сухие колодцы; уныние охватывает тебя при мысли об исчезнувших лицах зрителей, о погашенных огнях, о пустых креслах. Наверное, все предметы в этот час неузнаваемо изменились, кроме разве черепа Йорика *. В одну из моих ночных прогулок, когда с колоколен прозвучали сквозь мартовский ветер и дождь четыре удара, я пересек границу одной из этих великих пустынь и вошел внутрь. Держа в руке тусклый фонарь, я пробрался хорошо знакомой дорогой на сцену и поверх оркестра, который казался огромной могилой, вырытой на случай чумы, заглянул в простиравшуюся за ним пустоту. Передо мной предстала мрачная необъятная пещера, с безжизненной, как и все остальное, люстрой, так что сквозь мглу и туманную даль можно было различить одни только ряды саванов. На том самом месте, где я сейчас стоял, в последний раз, когда я был в театре, неаполитанские крестьяне танцевали среди виноградных лоз, не обращая внимания на огнедышащую гору, грозившую их погубить; теперь подмостки были во власти протянувшейся от пожарного насоса толстой змеи-рукава, которая притаилась в засаде в ожидании змеи-огня, чтобы

накинуться на нее, если та высунет свой раздвоенный язык. Призрачный сторож, несущий свечу, в которой еле теплилась жизнь, словно видение, промелькнул на верхней дальней галерее и бесшумно исчез. Когда я отошел в глубь просцениума и поднял фонарь над головой к свернутому занавесу — теперь он был уже не зеленый, а черный, как эбеновое дерево,— мой взгляд затерялся в глубине мрачного склепа, где можно было разгадать груду холстов и снастей, напоминавших остатки разбитого корабля. Я почувствовал себя водолазом на дне морском.

В те предрассветные часы, когда на улицах нет движения, стоит, пожалуй, пройти мимо Ньюгета и, коснувшись рукой жесткого камня стен, подумать о спящих узниках, а потом через зарешеченное окошечко в двери бросить взгляд в караульную и увидеть на белой стене отражение света и огня, при которых сидят бессонные тюремщики. Еще уместно в эту пору немного постоять у зловещих маленьких Врат Должников, закрытых плотнее, чем все ворота на белом свете, и для столь многих оказавшихся Вратами Смерти. В те дни, когда люди, приехавшие из провинции, соблазнились пустить в обращение поддельные фунтовые бумажки, сколько сотен несчастных обоего пола — многие из них были совершенно невинны,— закачавшись в петле, ушли из этого безжалостного и непостоянного мира, а перед глазами их торчала жуткая колокольня христианской церкви Гроба Господня! Интересно знать, бродят ли теперь по ночам в приемной Банка мучимые угрызениями совести души бывших директоров, раздумывал я, или там столь же спокойно, сколь и на кровавой земле Олд-Бейли?

Дальше уже нетрудно было, оплакивая добрые старые времена и сетуя на теперешние тяжелые, направиться к Банку, и я обошел его вокруг, размышляя о богатствах, хранящихся в нем, и о караульных солдатах, которые проводят здесь всю ночь напролет и клюют носом возле своего костра. Затем я отправился к Биллинсгету, в надежде повстречать там торговцев с рынка, но для них оказалось еще слишком рано, и я, перейдя через Лондонский мост, двинулся по Сэррейскому берегу мимо зданий большой пивоварни. Пивоварня жила полной жизнью, и испарения, запах барды и топотание здоровенных ломовых лошадей

у кормушек составили мне превосходную компанию. Побывав в этом изысканном обществе, я, освеженный и воспрянувший духом, направился дальше, на этот раз избрав своей целью старую тюрьму Королевской Скамьи *, что была передо мною, и решил поразмыслить возле ее стен о бедном Горации Кинче и сухой гнили, поражающей человека.

Сухая гниль в человеке — болезнь очень странная, и распознать ее в самом начале весьма затруднительно. Она привела Горация Кинча в тюрьму Королевской Скамьи и вынесла его оттуда ногами вперед. Это был человек приятной наружности, во цвете лет, состоятельный, достаточно умный и имевший множество добрых друзей. У него была хорошая жена, здоровые и красивые дети. Но, подобно многим приятным на вид домам и приятным на вид кораблям, он был заражен сухой гнилью. Первый заметный симптом, по которому можно судить о сухой гнили в человеке, состоит в том, что ему все время хочется бездельничать, торчать на углу улицы без всякой видимой причины, вечно куда-то спешить при встрече с друзьями, быть всюду и нигде, не делать ничего определенного, но намереваться завтра или послезавтра сделать множество неопределенных дел. Наблюдатель обычно связывает эти симптомы с однажды появившимся у него смутным впечатлением, что больной ведет несколько неумеренный образ жизни. Но не успел он еще все это обдумать и найти для своих подозрений страшное название «сухая гниль», как во внешности больного уже наметилась перемена к худшему: он стал каким-то неряшливым и потрепанным, причем не от бедности, не от грязи, пьянства или слабого здоровья, а просто от сухой гнили. За сим следует запах спиртного по утрам, небрежное обращение с деньгами; потом более крепкий запах спиртного во всякое время дня, небрежение всем на свете; далее дрожание конечностей, сонливость, нищета и полный распад. С человеком происходит то же, что с деревянной вещью. Сухая гниль растет с непостижимой быстротой, как ростовщический процент. Обнаружилась одна гнилая доска, и все здание обречено. Так было и с несчастным Горацием Кинчем, похороненным недавно по скромной подписке. Не успели знакомые сказать о нем: «Так состоятелен, живет в таком доволь-

стве, такие надежды на будущее, да вот беда, кажется, немного гниловат»,— как вдруг, глянь, от него уже осталась одна только труха.

От глухой стены, с которой в те одинокие ночи была связана для меня эта слишком банальная история, я направился к больнице Марии из Вифлеема, отчасти потому, что мимо нее я мог кружным путем добраться до Вестминстера, отчасти же потому, что в голове у меня зародилась ночная фантазия, которую мне легче было развить в виду купола и стен этого здания. А думал я вот о чем: не одинаковы ли по ночам безумные и люди в здравом уме, когда последние грезят во сне? Не находимся ли мы, живущие вне стен этой больницы, каждую ночь, когда мы грезим, приблизительно в том же состоянии, что и больные, живущие в ее стенах? Разве мы по ночам, как они днем, не одержимы нелепой мыслью, будто мы водимся с королями и королевами, императорами и императрицами и всякого рода знатью? Разве мы ночью не путаем события, лица, время и место, как они это делают днем? Разве нас не смущает порой несообразность наших снов и разве не пытаемся мы с досадой найти им объяснение или оправдание, как иной раз делают это они со своими снами наяву? Когда я последний раз был в такой лечебнице, один больной сказал мне: «Сэр, мне нередко случается летать». Я не без стыда подумал, что и мне тоже случается летать — по ночам. Одна женщина сказала мне тогда: «Королева Виктория часто приходит ко мне обедать, и мы с ее величеством сидим в ночных рубашках и едим персики и макароны, а его королевское высочество супруг королевы оказывает нам честь своим присутствием и сидит за столом на коне, в фельдмаршальской форме». И когда я вспомнил, какие удивительные королевские приемы я сам устраивал (ночью), какими невообразимыми яствами уставлял свой стол, как непостижимо вел себя по случаю этих выдающихся событий, как мог я не покраснеть при этом воспоминании? Я удивляюсь, почему великий всеведущий мастер, который назвал сон смертью каждодневной жизни *, не назвал сны безумием каждодневного рассудка.

Пока я думал об этом, больница осталась уже позади, и я снова приближался к реке; чтобы передохнуть, я постоял на Вестминстерском мосту, услаждая свой бесприют-

ный взор зрелищем стен Британского парламента; мне известно, какое это изумительное, бесподобное учреждение, и я не сомневаюсь в том, что оно составляет предмет восхищения всех соседних народов и пребудет славным в веках, но мне все же кажется, что его не мешает немного подхлестывать, дабы оно получше работало. Завернув в Олд-Пелас-Ярд, я пробыл четверть часа около судейских палат, которые тихо нашептывали мне, сколько людей из-за них не ведает сна и как неспокойны и тягостны предрассветные часы для несчастных просителей. Вестминстерское аббатство составило мне хорошую мрачную компанию на следующие четверть часа; я представил себе удивительную процессию погребенных в нем мертвецов, выступавшую меж темных колонн и сводов,— причем каждое столетие больше дивилось тому, которое шло за ним, нежели всем тем, которые прошли до него. Право же, во время этих ночных скитаний, заводивших меня даже на кладбища, где сторожа в определенные часы обходят могилы и поворачивают стрелку контрольных часов, которые отметят, когда их коснулись, я с благоговением думал о бесчисленных сонмах мертвецов, принадлежащих одному-единственному старому городу, и о том, что, восстань они ото сна, они заполнили бы собой все улицы, и негде было бы иголке упасть, не то что пройти живому человеку. Мало того, полчища мертвых захлестнули бы окрестные холмы и долины и протянулись дальше бог знает куда.

Когда в ночной тиши до слуха бездомного доносятся удары церковных часов, он может нечаянно обрадоваться им как собеседникам. Но по мере того как волны звука — в такую пору они ощущаются очень ясно — широкими кругами уходят все дальше и дальше в мировое пространство (как объяснял нам философ), начинаешь понимать, что ошибся, и чувство одиночества становится еще сильнее. Однажды — это было после того, как я оставил Аббатство и обратил лицо свое к северу,— я подошел к широким ступеням церкви св. Мартина в ту минуту, когда часы били три. Вдруг у меня из-под ног поднялось человеческое существо (которого я не заметил и в следующий момент непременно бы на него наступил) и в ответ на удары колокола испустило такой крик одиночества и бесприютности, какого я никогда дотоле не слышал. Мы стоя-

ли лицом к лицу и в страхе глядели друг на друга. Это был юноша лет двадцати с нависшими бровями и пушком па губе, одетый в лохмотья, которые он придерживал рукой. Он дрожал всем телом, зубы у него стучали, и, глядя на меня — своего гонителя, дьявола, привидение или за кого еще он мог меня принять,— завывал и скалил зубы, как затравленная собака. Намереваясь дать этому уродливому существу денег, я, чтобы задержать его,— ибо оно, завывая и скаля зубы, пятилось от меня,— протянул руку и положил ее ему на плечо. В тот же миг оно выскользнуло из своей одежды, подобно юноше в Новом завете, и оставило меня одного с лохмотьями в руках.

Прекрасное развлечение представляет собой Ковент-Гарденский рынок в базарный день поутру. Огромные фургоны капусты, под которыми спят работники с фермы, взрослые и мальчишки, и хитрые собаки из окрестностей рынка, наблюдающие за всем происходящим, были по-своему недурным обществом. Но одно из худших ночных зрелищ, какие я знаю в Лондоне, это дети, которые бродят по рынку, спят в корзинах, дерутся из-за отбросов, бросаются на любой предмет, на который, как им кажется, они могут наложить свою воровскую руку, ныряют под телеги и тележки, увертываются от констеблей и постоянно оглашают базарную площадь глухим топотом своих босых ног. Горестные и противоестественные выводы напрашиваются, если сравнить, насколько поддались порче заботливо взращенные плоды земли и насколько поддались ей эти дикари, оставленные без всякой заботы, не считая, разумеется, того, что их вечно преследуют.

Около Ковент-Гарденского рынка можно рано поутру выпить кофе, и это тоже компания, да к тому же, что еще лучше, компания теплая. Здесь можно получить и поджаренный хлеб с маслом весьма приличного качества, хотя косматый человек, который готовит все это за перегородкой, не успел еще облачиться в сюртук, и его так одолевает сон, что всякий раз, удалившись за новой порцией хлеба и кофе, он замирает на перекрестке между сапом и храпом и совершенно не знает, куда идти дальше. Как-то утром, когда я, бездомный, сидел на Боу-стрит за чашкой кофе в одном из этих заведений, открывавшемся раньше других, и размышлял, куда бы отправиться дальше, туда

вошел человек, на котором было длинное, табачного цвета пальто с поднятым воротником, башмаки, и, я совершенно уверен, больше ничего, кроме шляпы, вытащил из этой шляпы огромный холодный мясной пудинг, такой огромный и так в ней плотно засевший, что, вынимая его, он вывернул вместе с ним и подкладку. Этого таинственного человека здесь знали по пудингу, ибо, когда он вошел, спящий подал ему небольшой каравай хлеба, пинту горячего чаю, огромный нож, тарелку и вилку. Оставшись один за своей перегородкой, человек положил пудинг прямо на стол и, вместо того чтобы разрезать, принялся колоть его ножом, словно своего смертельного врага, затем вытащил нож, вытер его об рукав, пятерней разломал пудинг на куски и съел его до крошки. Я до сих пор вспоминаю о человеке с пудингом, как об одном из самых призрачных персонажей, встретившихся мне во время ночных скитаний. Всего лишь дважды посещал я это заведение, и оба раза видел, как он гордо входил туда (мне кажется, он незадолго до того вылезал из постели и намеревался тотчас же снова в нее забраться), вытаскивал пудинг, колол его, вытирал свой кинжал и съедал пудинг до крошки. Он был тощ, как мертвец, но его лошадиное лицо было чрезвычайно красным. Когда я увидел его вторично, он сиплым голосом спросил у спящего: «Что, красный я сегодня?» — «Красный»,— честно отвечал тот. «Мамаша у меня,— промолвил призрак,— любила выпить и была краснолицая, а я все смотрел на нее, когда она лежала в гробу, вот и перенял у нее цвет лица». Не знаю почему, но пудинг показался мне после этого несвежим, и с тех пор я больше к нему не прикасался.

Когда день был не базарный или когда мне хотелось разнообразия, железнодорожный вокзал с утренними почтовыми поездами вполне вознаграждал меня за отсутствие иного общества. Но как и всякое другое общество на этом свете, оно было недолговечно. Станционные фонари вспыхивали ярким огнем, носильщики покидали свои убежища, извозчики и ломовики с грохотом выезжали на места стоянки (тележки почтового ведомства уже стояли на своих местах), наконец ударял станционный колокол, и на станцию с шумом въезжал поезд. Но пассажиров бывало немного, багаж невелик, и все исчезало с ужасной быстро-

той. Почтовые вагоны с огромными сетками — они такие большие, словно ими выуживают человеческие тела со всей страны,— распахивают двери и выплевывают изнуренного клерка, стражника в красной куртке, запах ламп и сумки с письмами; паровоз отдувается, с трудом переводит дыхание, потеет, и кажется, будто сейчас он вытрет со лба пот и скажет, как он славно пробежался, но через десять минут лампы гаснут, и ты снова бездомен и одинок.

Но вот уже по дороге вблизи от станции гонят стадо, и коровы, как всегда, стараются свернуть к каменным стенам и протиснуться сквозь прутья решетки, и, как всегда, опускают головы, чтобы поддеть на рога воображаемых собак, и причиняют себе и всякому живому существу, имеющему к ним отношение, великое множество совершенно ненужных хлопот. И вот уже разумный газ начинает бледнеть, понимая, что наступил день и стало светло, там и сям идут уже на работу люди, и подобно тому, как последние искорки дня загасли с уходом последнего торговца пирожками, сейчас жизнь разгорается вновь, когда на углу появляются первые продавцы завтраков. И так, все быстрей и быстрей, а потом и совсем уже быстро приближался день, а я до того устал, что уже мог заснуть. Направляясь в эти часы домой, я нисколько не удивлялся, что глухой ночью бездомный бродяга в Лондоне так одинок. Я хорошо знал, где найти — если бы мне захотелось — любого рода Порок и Несчастье, но они были скрыты от взоров, и, бесприютный и одинокий, я предпочитал без конца бродить по пустынным улицам.

## XIV

### *Квартиры*

Мне пришлось недавно зайти по делу к одному стряпчему, который занимает в Грейз-Инне * квартиру, способную довести до самоубийства ее обитателя, и я потом прошелся по всей этой цитадели уныния, чтобы в соответствующей обстановке припомнить все, что я знаю о квартирах.

Начал я, как и следовало ожидать, с той квартиры,

в которой только что побывал. Она расположилась на верхней площадке прогнившей лестницы, где стоял какой-то таинственный, выкрашенный в густую черную краску предмет — не то койка, не то ларь, видом своим заставлявший вспомнить о море и о винтовом угольщике. Много пыльных лет минуло с тех пор, как этот рундук морского властелина был приспособлен к какому-то делу, и на памяти людей, ныне здравствующих, он всегда был закрыт висячим замком. Я никак не могу решить, для чего он предназначался вначале — для хранения угля или трупов или для того, чтобы складывать туда на время добычу, захваченную прачкой, но склоняюсь к последнему мнению.

Ящик этот высотою по грудь и служит поддержкой и опорой для ответчиков, находящихся в стесненных обстоятельствах; они всегда могут облокотиться о него и немного поразмыслить, когда являются сюда в надежде устроить свое дело без всяких расходов,— при этих благоприятных обстоятельствах юрист, коего они желают видеть, большей частью оказывается чрезвычайно занятым, и им приходится долгое время околачиваться на лестнице. Против этого камня преткновения самым нелепым образом притаилась в засаде дверь, ведущая в комнаты стряпчего; она напоминает дверь в склеп, тоже выкрашена густой черной краской и целый день остается полуоткрытой. Квартира стряпчего состоит из трех помещений — закутка, чулана и коридорчика. Закуток отдан двум клеркам, чулан занят главою конторы, а в коридорчике свалены старые бумаги и корзины из-под дичи, а также стоит умывальник и модель патентованного корабельного камбуза, которая в начале нынешнего столетия фигурировала на Канцлерском суде в качестве вещественного доказательства по иску о нарушении авторских прав. Ежедневно в половине десятого утра можно увидеть, как младший клерк (у меня есть основания полагать, что он — законодатель пентонвиллских мод по части рубашек и трубок), стоя на площадке, выбивает пыль из ключа от конторы об вышеупомянутый ларь или рундук, и этот ключ так восприимчив к пыли и так хорошо ее удерживает, что в одно прекрасное летнее утро, когда луч солнца упал при мне на рундук, я заметил, что его невыразительная физиономия сильно попорчена чем-то вроде рожи или оспы. Мне, к сожале-

нию, приходилось заглядывать сюда и в неурочные часы, дабы навести справки или оставить письмо, и со временем я открыл, что квартира эта находится на попечении одной особы, по фамилии Свини, фигура которой весьма напоминает старый семейный зонтик; живет она за Грейз-Инн-лейн в строении, выходящем окнами на глухую стену, и ее можно в случае нужды вызвать в коридор этой беседки из соседнего приюта трудолюбия, который обладает любопытным свойством придавать ее физиономии пунцовую окраску. Миссис Свини принадлежит к породе патентованных прачек и является составителем замечательного рукописного тома, озаглавленного «Записки миссис Свини», из коего можно почерпнуть много любопытных статистических данных относительно высокой стоимости и плохого качества соды, мыла, песка, дров и тому подобных предметов. У меня в голове сложилась легенда, в справедливость которой я поэтому твердо верю, будто покойный мистер Свини служил рассыльным в Почетном обществе Грейз-Инн и миссис Свини была назначена на свой теперешний пост в награду за его продолжительную и плодотворную службу. Я заметил, что эта леди, хоть и лишена была всякого очарования, совершенно заворожила престарелого рассыльного, с которым сталкивалась по преимуществу в подворотнях, проулочках и на углах, и я могу объяснить это лишь тем, что она принадлежала к тому же братству и вместе с тем не была конкуренткой. Описание этой квартиры будет закончено, если добавить, что она расположена на площади Грейз-Инн, в большом, обветшалом, разделенном на две части доме, портал которого украшен уродливыми обломками камня, напоминающими окаменевший бюст, торс и конечности четвертованного старшины юридической корпорации.

Вообще, по-моему, Грейз-Инн — одно из самых унылых сооружений из кирпича и известки, которое когда-либо знали сыны человеческие. Можно ли сыскать что-нибудь более тоскливое, чем его пустынная площадь, эта бесплодная Сахара юриспруденции, чем его старые доходные дома, крытые черепицей, грязные окна, бесчисленные билетики «сдается внаем»; дверные косяки, исписанные, словно надгробья; покосившиеся ворота, выходящие на грязную Грейз-Инн-лейн; хмурый, закрытый, как в

тюрьме, железной решеткой проход к Веруламским зданиям; заплесневелые красноносые рассыльные, почему-то в передниках и с бляхами, напоминающими маленькие таблички на крышках гробов, и вся эта куча пыли, подобная высохшей мумии. Когда путешествия не по торговым делам приводят меня в эту мрачную дыру, я утешаюсь лишь тем, что все здесь обветшало. Воображение мое с восторгом предвосхищает то время, когда лестницы окончательно рухнут (они день за днем обращаются в зловонную труху, но пока еще держатся); когда последнего многоречивого старшину корпорации, дожившего до этих времен, спустят по пожарной лестнице с верхнего этажа и сдадут на попечение Холборнского объединения приходов; когда последний клерк перепишет последний документ за последним грязным оконным стеклом, на которое в последний раз плеснет слякоть Грейз-Инн-лейн, где круглый год выставлены на поругание непроницаемые от грязи окна. Тогда заросшая буйной травой грязная канавка с помпой, лежащая между кофейней и Саут-сквером, целиком отойдет крысам и кошкам, и им не придется больше делить это царство с несколькими лишенными клиентов двуногими, которых некогда обманщики-духи призвали в судебные залы, где ни одному смертному нет в них нужды, так что им теперь только и дела, что глядеть на улицу из своих мрачных и темных комнат глазами, застекленными куда лучше, чем их окна. Тогда путь на северо-запад, что проходит под низкой и мрачной колоннадой, где в летнее время глаза простых смертных засыпает угольным порошком, слетающим с окон лавки принадлежностей для судопроизводства, будет завален мусором и обломками и сделается, слава богу, непроходим. Тогда сады, где газоны, деревья и гравий ныне облачены в черную судейскую мантию, зарастут сорняками, и пилигримы будут ходить в Горэмбери, чтобы посмотреть памятник, изображающий Бэкона в кресле *, и не будут больше посещать эти места, где он гулял (что они, сказать правду, и сейчас делают редко). Тогда, короче говоря, продавец газет и журналов будет сидеть в своей старинной лавчонке у Холборнских ворот, подобно тому, как сидел на развалинах Карфагена Марий *, являя собою предмет бесчисленных сравнений.

В период своих путешествий не по торговым делам я одно время часто наведывался в другие квартиры на площади Грейз-Инн. Они представляли собой так называемые «комнаты наверху», и все попавшие туда съестные припасы и напитки приобретали запах чердака. На моих глазах нераспечатанный страсбургский пирог, только что доставленный от Фортнема и Мезона, впитал в себя чердачный запах сквозь стенки глиняного блюда и спустя три четверти часа пропах чердаком до самой сердцевины трюфелей, которыми был начинен. Но самое любопытное, что можно рассказать об этих комнатах, было даже не это, а то, как глубоко их обитатель, мой уважаемый друг Паркль, убежден был в их чистоте. Был ли он сам от рождения подвержен галлюцинациям или поддался внушению прачки миссис Миггот, я так никогда и не понял. Но за это убеждение он, мне кажется, готов был взойти на эшафот. А грязь там была такая, что я мог получить свой точнейший оттиск на любом предмете обстановки, всего только прислонившись к нему на минутку, и любимым моим занятием было, так сказать, запечатлеваться в его комнатах. Это был первый случай, когда я вышел таким большим тиражом. Иногда мне во время оживленной беседы с Парклем случалось нечаянно задеть оконную занавеску, и тогда мне на руку падали барахтающиеся насекомые, которые бесспорно были красного цвета и бесспорно не были божьими коровками. Но Паркль жил в этих «комнатах наверху» годами и душой и телом оставался верным своему предрассудку касательно их чистоты. Когда ему хвалили его комнаты, он всегда говорил: «Да, в одном отношении они совсем не похожи на квартиры — в них чисто». Вдобавок, он почему-то забрал себе в голову, будто миссис Миггот каким-то образом связана с церковью. Когда он был в особенно хорошем расположении духа, он считал, что ее покойный дядя был настоятелем собора; а когда он впадал в уныние, он считал, что брат ее был помощником приходского священника. Мы с миссис Миггот, женщиной благовоспитанной, были в дружеских отношениях, но я ни разу не слышал, чтобы она отягчила свою совесть, определенно утверждая что-либо подобное. Единственное ее притязание на близость с церковью состояло в том, что коль скоро в ее присутствии

речь заходила о церкви, она принимала такой вид, словно этот разговор касался ее лично и пробуждал в ней воспоминания о былом. Быть может, именно эта дружеская уверенность Паркля в том, что миссис Миггот знавала лучшие дни, и была причиной его заблуждения относительно этих комнат; во всяком случае, он ни разу ни на мгновение не поколебался в своей вере, хотя семь лет прожил в грязи.

Два окна этой квартиры выходили в сад, и мы много летних вечеров просидели возле них, рассуждая о том, как это приятно, а также о многом другом. Близкому знакомству с этими «комнатами наверху» я обязан тремя самыми яркими своими наблюдениями над тоскливою жизнью в квартирах. Я расскажу здесь о них по порядку — о первом, втором и третьем.

Первое. Мой друг из Грейз-Инна однажды повредил себе ногу, и у него началось сильное воспаление. Не зная о его болезни, я как-то летним вечером направился к нему с обычным визитом, но, к великому своему удивлению, повстречал на Филд-Корт, что в Грейз-Инне, живую пиявку, явно державшую путь к Вест-Энду. Поскольку пиявка шла сама по себе и, будь у нее даже такое желание (а судя по виду, у нее такого желания не было), не могла бы мне ничего объяснить, я прошел мимо и двинулся дальше. Завернув за угол площади Грейз-Инна, я был несказанно изумлен, повстречав другую пиявку, которая тоже шла сама по себе и тоже на запад, хотя и не столь уверенно. Поразмыслив об этом из ряда вон выходящем случае и сделав попытку припомнить, не читал ли я когда-либо в философских трудах или в каком-нибудь сочинении по естественной истории о миграциях пиявок, и миновав тем временем затворенные мрачные двери контор и одной или двух несданных квартир, расположенных между земной поверхностью и возвышенной областью, где жил мой друг, я поднялся к нему. Войдя в его комнату, я увидел, что он лежит на спине, словно прикованный Прометей, а вместо коршуна над ним хлопочет вконец рехнувшийся рассыльный: это слабосильное, беспомощное и трусливое существо, как объяснил мне, пылая гневом, мой друг, вот уже битых два часа ставило ему на ногу пиявки, но пока что поставило только две из двадцати. Бедняга рассыль-

ный разрывался между мокрой простыней, на которую он поместил пиявок, чтобы освежить их, и моим другом, который гневно понукал его: «Да ставьте же их, сэр!», чем я и объяснил себе свою странную встречу, тем более что в этот момент два прекрасных образчика этой породы выходили за дверь, тогда как среди остальных, находящихся на столе, назревал общий бунт. Вскоре мы соединенными усилиями одолели пиявок, и когда они отвалились и пришли в себя, мы посадили их в графин и тщательно его завязали. С тех пор я никогда больше о них не слышал — знаю только, что все они на другое утро ушли и что молодой человек, служивший курьером в конторе Бикл Буша и Боджера на первом этаже, был искусан до крови неким существом, которое не удалось опознать. К миссис Миггот они не «пристали», но я до сих пор убежден, что она, сама того не ведая, носила на себе несколько штук до тех пор, пока они постепенно не приискали себе другое поле деятельности.

Второе. На одной лестнице с моим другом Парклем и на той же площадке снимал комнаты один законник, который вел дела где-то в другом месте, а здесь только жил. В течение трех или четырех лет Паркль скорее знал о нем, чем знал его, но когда минул этот недолгий — для англичанина — срок раздумья, они начали разговаривать. Паркль обменивался с ним замечаниями лишь о том, что касалось сугубо его персоны, и ничего не знал ни о его занятиях, ни о средствах, которыми тот располагал. Сосед Паркля много бывал на людях, но всегда один. Мы с Парклем обратили внимание на то, что, хотя мы часто встречаем его в театрах, концертных залах и тому подобных общественных местах, он там всегда один. Он не был, однако, человеком угрюмым и скорее склонен был к разговорчивости,— настолько, что он иногда часами торчал по вечерам с сигарой в зубах наполовину у Паркля, наполовину на лестнице, обсуждая события дня. В таких случаях он обыкновенно давал понять, что недоволен жизнью по четырем причинам: во-первых, потому, что каждый день приходится заводить часы; во-вторых, потому, что Лондон слишком мал; в-третьих, потому, что вследствие этого в нем мало разнообразия, и, в-четвертых, потому, что в нем слишком много пыли. И правда, в его сумрачных комна-

тах было столько пыли, что они напоминали мне склеп, несколько тысячелетий назад обставленный мебелью в пророческом предвиденье наших дней, и лишь недавно открытый. В один сухой и жаркий осенний вечер этот человек, которому тогда было пятьдесят пять лет, заглянул, как всегда с сигарой в зубах, в сумерки к Парклю и небрежно сказал: «Я уезжаю из города». Поскольку он никогда не покидал город, Паркль ответил ему: «Что вы говорите! Наконец-то собрались!» — «Да,— промолвил тот,— собрался, наконец. А что еще прикажете делать? Лондон так мал. Пойдешь на запад, выйдешь к Хаунсло, пойдешь на восток, выйдешь к Боу, пойдешь на юг, тут тебе Брикстон или Норвуд, а если пойдешь на север, никуда не деться от Барнета. И все время улицы, улицы, улицы, и проспекты, проспекты, проспекты, и пыль, пыль, пыль!» Произнеся эти слова, он пожелал Парклю доброго вечера, но вернулся с часами в руке и сказал: «Я просто не могу больше заводить эти часы. Не возьмете ли вы этот труд на себя?» Паркль, посмеявшись, согласился, и человек этот уехал из города. Он так долго не возвращался, что его почтовый ящик наполнился до отказа и письма в него больше уж не влезали, так что их стали оставлять в швейцарской, где их тоже скопилось немало. Наконец старший швейцар, переговорив с управляющим, решил воспользоваться своим ключом и заглянуть в комнаты, чтобы хоть немного их проветрить. И тогда оказалось, что жилец повесился на своей кровати, оставив следующую записку: «Я предпочел бы, чтобы меня вынул из петли мой сосед и друг (если я вправе так называть его) Х. Паркль, эсквайр». С тех пор Паркль больше не снимал квартир. Он немедленно переехал в меблированные комнаты.

Третье. Когда Паркль жил в Грейз-Инне, а я, продолжая свои не торговые дела, готовился к поступлению в адвокатуру — это занятие, как известно, состоит в следующем: старуха с хроническим антоновым огнем и водянкой накидывает на вас в чулане старую потрепанную мантию, и, наряженный подобным образом, вы поспешно проглатываете скверный обед в обществе четырех человек, из коих каждый не верит остальным трем,— так вот, когда я был занят этими делами, жил на свете один пожилой джентльмен, который обитал в Тэмпле и был великим любителем и зна-

током портвейна. Каждый день он в своем клубе выпивал за обедом бутылку-другую портвейна и каждый вечер возвращался в Тэмпл и ложился спать в своих уединенных комнатах. Это продолжалось неизменно много лет подряд, но однажды вечером, когда он возвратился домой, ему стало плохо, он упал и сильно поранил себе голову. Впрочем, на какое-то время он пришел в себя и в темноте попытался на ощупь отыскать свою дверь. Когда его нашли мертвым, это без труда установили по следам его рук около входа в комнаты. Случилось это как раз в сочельник, а над ним жил молодой человек, который в тот самый вечер позвал в гости своих сестер и приятелей из провинции, и они принялись играть в жмурки. Для пущего удовольствия они играли в эту игру только при свете камина, и в ту минуту, когда все они тихонько крались по комнате и тот, кто водил, пытался поймать самую хорошенькую из сестер (за что я его никак не осуждаю), кто-то крикнул: «Эй, а жилец внизу, видно, тоже сам с собою играет в жмурки!» Все прислушались; действительно, внизу кто-то все время падал и натыкался на мебель; они посмеялись над своим предположением и стали играть дальше, теперь еще веселей и беззаботней, чем прежде. Итак, в двух квартирах играли вслепую в две столь разные игры — в одной живые играли друг с другом, в другой игра шла со смертью.

Вот эти-то происшествия, сделавшись мне известными, и внушили мне твердую уверенность в том, что квартиры тоскливы. Этому также немало способствовал рассказ об одном невероятном случае, в правдивость которого безоговорочно верил один странный человек, теперь уже умерший; я знавал его в те дни, когда не достиг еще по закону совершеннолетия, что не мешало мне, впрочем, интересоваться делами не по торговой части.

Хотя этому человеку не перевалило еще за тридцать, он уже повидал свет и испробовал множество разнообразных занятий, никак друг с другом не связанных — между прочим, был офицером в Америке, в полку южан,— но ни на одном поприще не достиг успеха, по уши увяз в долгах и скрывался от кредиторов. Он снимал страшно мрачные меблированные комнаты в Лайонс-Инне. Его имя, однако, не было обозначено ни на двери, ни на дверном косяке, а вместо этого там стояло имя его друга, который умер в

тех же комнатах и оставил ему всю мебель. Об этой мебели и шла речь в истории, рассказанной ниже. (Пусть имя прежнего жильца, по-прежнему обозначенное на двери и на дверном косяке, будет мистер Завещатель.)

Мистер Завещатель снял комнаты в Лайонс-Инне, когда у него было очень мало мебели для спальни и совсем не было мебели для гостиной. Так прожил он несколько зимних месяцев, и комнаты казались ему очень холодными и неуютными. Однажды, уже за полночь, когда он писал и ему предстояло писать еще очень долго, потому что надо было кончить работу, прежде чем лечь спать, он обнаружил, что вышел весь уголь. Уголь хранился в подвале, но он еще ни разу туда не спускался. Впрочем, ключ от подвала лежал на каминной полке, и если бы он спустился в подвал и открыл ключом дверь, к которой ключ подошел бы, он мог бы с чистой совестью решить, что это и есть его уголь. Его прачка жила на одной из улочек по другую сторону Стрэнда, среди фургонов для угля и перевозчиков — ибо тогда на Темзе еще были перевозчики — в какой-то никому не известной крысиной норе, у самой реки. Никто другой не мог встретиться ему и помешать, ибо Лайонс-Инн храпел, пил, плакал хмельными слезами, хандрил, бился об заклад, размышлял над тем, учесть или отсрочить вексель, и наяву или во сне был все равно занят только своими делами. Мистер Завещатель взял ведерко для угля в одну руку, свечку и ключ — в другую и спустился в самое мрачное из всех подземелий Лайонс-Инна, где стук колес запоздалого экипажа отдавался грохотом грома и где все дождевые трубы округи, казалось, хотели выдавить из себя Макбетово «аминь», застрявшее у них в глотке *. Безуспешно попытавшись отворить несколько низеньких дверец, мистер Завещатель набрел, наконец, на дверь со ржавым висячим замком, к которому его ключ подошел. С немалым трудом отворив дверь, он заглянул внутрь, но увидел не уголь, а в беспорядке нагроможденную мебель. Встревоженный тем, что вторгся в чужие владения, он запер дверь, нашел собственный погреб, наполнил ведерко и возвратился наверх.

Но в пять часов утра, когда он, дрожа от холода, улегся в постель, мебель, которую он видел, принялась без остановки кататься на своих колесиках у него в мозгу. Ему

особенно нужен был письменный стол, а стол, явно предназначенный для того, чтобы на нем писали, лежал поверх всей груды вещей. Когда прачка вылезла утром из своей норы, чтобы вскипятить ему чайник, он искусно завел разговор о подвалах и о мебели, но эти два понятия, очевидно, никак не соединялись у нее в мозгу. Когда прачка ушла и он, размышляя о мебели, уселся завтракать, ему припомнилось, что замок совсем заржавел, из чего он заключил, что мебель лежит в чулане уже очень давно и, быть может, о ней позабыли, а владелец, быть может, умер. Он думал об этом несколько дней, в течение которых не мог выудить в Лайонс-Инне никаких сведений о мебели; и тогда он пошел на отчаянный шаг и решился позаимствовать стол. В ту же ночь он так и сделал. Но не прошло и нескольких дней, как он решил уже позаимствовать кресло; кресло не простояло у него и нескольких дней, а он надумал позаимствовать книжный шкаф; потом он позаимствовал кушетку, потом ковер и коврик для ног. Тут он почувствовал, что зашел уже так далеко, что беды не будет, если он заберет и все остальное. Он так и сделал и запер чулан, чтобы больше его не открывать. Он всегда запирал его после каждого посещения. Вещи он затаскивал наверх по отдельности, в самый глухой час ночи, и чувствовал себя, в лучшем случае, таким же преступником, как человек, который похищает из могил трупы и продает их в анатомический театр. Вся мебель обросла мхом и плесенью, и, воровским образом втащив какую-нибудь вещь в квартиру, он принимался потихоньку полировать ее в тот час, когда весь Лондон спал.

Мистер Завещатель жил в своих обставленных мебелью комнатах уже два или три года, а то и больше, и постепенно убедил себя, что мебель теперь принадлежит ему. В этой приятной уверенности пребывал он и в тот час, когда посреди ночи на лестнице послышались шаги, чья-то рука зашарила по двери, отыскивая дверной молоток, а затем раздался торжественный звучный удар, который произвел на мистера Завещателя такое же действие, как если бы в кресле у него сорвалась пружина,— его мгновенно выбросило из кресла.

Со свечой в руке мистер Завещатель приблизился к двери и обнаружил за ней очень бледного и очень высо-

кого человека, сутулого, с очень высокими плечами, очень узкогрудого, с очень красным носом — обшарпанного благородного человека. Он был одет в длинное потертое черное пальто, застегнутое на большее число булавок, нежели пуговиц, и рукой прижимал к боку зонтик без ручки, словно играл на волынке.

— Прошу прощения, но не можете ли вы мне сказать...— начал он, но тут глаза его остановились на каком-то предмете в комнате, и он замер.

— Что сказать?..— спросил мистер Завещатель, встревоженный этой заминкой.

— Прошу прощения,— продолжал незнакомец,— это не то, что я хотел спросить,— но не вижу ли я там некий принадлежащий мне предмет?

Мистер Завещатель начал было бормотать, будто не понимает, в чем дело, но посетитель проскользнул мимо него в комнаты. Здесь он совсем как домовой, заставляя мистера Завещателя чувствовать, как мороз подирает его по коже, осмотрел сначала письменный стол и промолвил: «Мой»; потом кресло и промолвил: «Мое»; потом книжный шкаф и промолвил: «Мой»; потом отогнул угол ковра и промолвил: «Мой»,— словом, изучил по порядку каждый предмет обстановки, извлеченной из подвала, всякий раз произнося: «Мое». К концу этого обыска мистер Завещатель заметил, что незнакомец основательно нагрузился каким-то напитком и что напиток этот джин. Не то чтоб джин придал неуверенность речи его или походке, нет, скорее он сковывал его как в том, так и в другом отношении.

Мистер Завещатель был в ужасном состоянии, ибо (по его словам) ему тут только, с ясностью внезапного озарения, открылись возможные последствия его дерзкого и безрассудного поступка. После того как они постояли немного друг против друга, он дрожащим голосом начал:

— Я сознаю, сэр, что вы вправе требовать надлежащего объяснения, возмещения убытков и возвращения вашей собственности. Все это вы получите. Позвольте мне просить вас не поддаваться гневу и даже естественному раздражению и согласиться на небольшую...

— Выпивку,— перебил его незнакомец.— Что ж, я согласен.

Мистер Завещатель собирался сказать «на небольшую спокойную беседу», но с великим облегчением принял эту поправку. Он принес графин джина и засуетился, чтобы согреть воду и достать сахар, но когда он подал то и другое, оказалось, что посетитель выпил уже полграфина. Другую половину посетитель выпил с горячей водой и сахаром еще до того, как пробыл час в комнатах (по часам на церкви св. Марии на Стрэнде), и за этим занятием не раз принимался шептать про себя: «Мое».

Когда весь джин вышел и мистер Завещатель раздумывал, что за этим последует, посетитель поднялся и, с еще большим трудом ворочая языком, промолвил: «В какой час утра вам будет удобно, сэр?» — «В десять?» — сказал наугад мистер Завещатель. «Сэр,— заявил посетитель,— в десять часов, минута в минуту, я буду здесь». Некоторое время он неторопливо осматривал мистера Завещателя, а потом сказал: «Благослови вас господь! Как поживает ваша жена?» Мистер Завещатель, который никогда не был женат, ответил с чувством: «Очень волнуется, бедняжка, а в общем здорова»,— после чего посетитель повернулся и ушел, два раза свалившись на лестнице. С этого часа никто о нем больше не слышал. Был ли то призрак или виденье, порожденное нечистой совестью, был ли то пьяница, забредший сюда без всякого повода, или пьяный владелец мебели, у которого на миг прояснилась память, добрался он благополучно домой или не имел дома и идти ему было некуда, умер ли он по дороге от джина или жил на джине сколько-то времени — этого никто никогда не узнал. Второй владелец, обитавший на верхнем этаже в сумрачном Лайонс-Инне, получил эту историю вместе с мебелью и сомневался в ее реальности не больше, нежели в реальности мебели.

Следует заметить, что для того, чтобы квартиры в должной мере навевали тоску, они с самого начала должны быть построены для сдачи внаем. Можно, конечно, разгородить жилой дом на несколько частей, назвать их квартирами, и тем самым сделать их тоскливыми, но настоящей тоски таким путем не добьешься. Эти дома видели в своих стенах праздники, в них вырастали дети, в них расцветали девушки и превращались в женщин, здесь происходили помолвки и свадьбы. Настоящие же

квартиры никогда не знали молодости, детства, девичества, в них никогда не было кукол, детских лошадок, крестин, обручений и маленьких гробиков. Пусть Грейз-Инн укажет мне ребенка, который в одной из его многочисленных квартир взял в свои руки «Робинзона Крузо» и потянулся к нему душой, и я за свой счет поставлю маленькую статую этого ребенка из белого мрамора с золотой надписью, чтоб была она родником задушевности, освежающим иссушенную площадь Грейз-Инна. Пусть Линкольн-Инн покажет мне прекрасных молодых невест, вступивших в брак по любви, а не по расчету, которые вышли из всех его домов, и если их будет всего лишь в двадцать раз меньше, сравнительно с тем, сколько вышло из любого жилого дома, в двадцать раз позже построенного, все вице-канцлеры будут получать бесплатно букеты цветов, едва только они заявят о подобном желании автору этих строк. Никто не спорит, что на Аделфи или на любой из улиц, прилегающих к этому скопищу благоуханных подземных конюшен, по соседству с Бедфорд-Роу или столь же отвратительной Джеймс-стрит, или в любом другом из этих кварталов, давно миновавших пору расцвета и пришедших в упадок, вы тоже найдете комнаты, с избытком снабженные такими удобствами, как одиночество, духота и тьма, и на вас нападет там такое же точно уныние, как в настоящих квартирах, и вас с таким же успехом убьют, а все будут думать, что вы всего-навсего отправились к морю. Однако воды жизни бежали когда-то говорливым потоком меж этих иссохших ныне берегов, в Иннах же их никогда не знали. Лишь об одном из всего этого угрюмого семейства Иннов ходит легенда в народе; эту легенду о Клементс-Инне нашептал мрачный Олд-Бейли, и согласно ей чернокожее существо, что держит здесь солнечные часы, было некогда негром, который убил своего хозяина и воздвиг эти мрачные строения на деньги, извлеченные из его сейфа. За одно только это насилие над законами архитектуры его надо было приговорить к поселению в здешних местах. И правда, разве станет народ тратить свою фантазию на подобное место или на Нью-Инд, Степл-Инн, Барнардс-Инн или на любой другой из этой обшарпанной компании Иннов?

Настоящую прачку во всей ее красе тоже не встретишь нигде, кроме как в настоящих квартирах. Повторяю, никто не спорит, что ограбить вас могут везде. Опять же везде к вашим услугам будут — за деньги, конечно,— нечестность, пьянство, грязь, леность и полнейшее незнание своего дела. Но подлинную, бесстыжую прачку, настоящую миссис Свини, с лоснящимся красным лицом, напоминающую фигурой, цветом, выделкой и запахом старый мокрый семейный зонтик,— это отвратительнейшее первоклассное сочетание чулок, спиртного, шляпки, распущенности, неряшества и воровства,— вы обретете только у самых истоков. Один мастер не в силах живописать миссис Свини. Выполнить эту великую задачу можно лишь соединенными усилиями многих людей, и довести этот образ до совершенства удастся лишь под эгидой Почетного Общества в одном из судебных Иннов.

## XV

### *Нянюшкины сказки*

Когда меня клонит к безделью, мало куда мне так хочется снова попасть, как в места, где я дотоле не был, ибо знакомство мое с ними такое давнишнее и перешло уже в такую любовь и близость, что убедиться в их неизменности составляет для меня особый интерес.

Я никогда не был на острове Робинзона Крузо, и все же я часто возвращаюсь туда. Основанная им колония скоро исчезла, никто из потомков степенных и галантных испанцев или Уилла Аткинса и других бунтовщиков не живет больше на острове, и он вернулся к своему первобытному состоянию. От плетеных хижин не осталось ни веточки, козы снова одичали, крикливые попугаи ярким цветным облаком закрыли бы солнце, если выстрелить из ружья, и ничье лицо не отражается в водах бухты, которую переплыл Пятница, когда за ним гнались двое его проголодавшихся собратьев-людоедов *. Сличив свои заметки с заметками других путешественников, которые, подобно мне, вновь посетили остров и добросовестно его изу-

чили, я убедился, что ничто не заставляет теперь вспомнить о домашнем укладе и теологических взглядах мистера Аткинса, хотя еще можно ясно увидеть приметы того памятного дня, когда он приплыл к берегу, чтобы высадить капитана *, и его заманивали на остров, пока не стемнело, а в его лодке пробили дно, и силы оставили его, и он пал духом. Можно также различить и холм, стоя на вершине которого Робинзон онемел от радости, когда восстановленный в своих правах капитан указал ему на стоявший на якоре в полумиле от берега корабль, который должен был забрать его с этого уединенного острова после того, как он больше двадцати восьми лет провел там вдали от людей. Сохранилась и песчаная отмель, где отпечатался памятный след ноги и куда дикари втаскивали свои каноэ, когда приплывали сюда на свои ужасные банкеты, которые кончались танцами (что еще хуже, чем речи). Сохранилась и та пещера, из мрака которой, словно глаза домового, жутко сверкали глаза старого козла. Сохранилось и место, где стояла хижина Робинзона, в которой он жил с собакой, попугаем и кошкой, и где он испытал первые приступы одиночества, хотя, как это ни странно, у него не было при этом видений — обстоятельство столь примечательное, что, думается, он, быть может, не обо всем написал. Вокруг сотен подобных предметов, скрытых в густой тропической листве, день и ночь шумит тропическое море, и над ними вечно — кроме короткого периода дождей — сияет яркое, безоблачное, тропическое небо.

Я никогда не был застигнут ночью волками на границе Франции и Испании * и с приближением ночи, когда земля была покрыта снегом, не размещал своих спутников между срубленными деревьями, которые служили нам бруствером, и, сидя там, не поджигал порох так искусно, что перед нами внезапно появилось шестьдесят или восемьдесят горящих волков, освещавших тьму, словно факелы. И все же я время от времени возвращаюсь в эту мрачную местность и повторяю свой подвиг, и чувствую запах горящей шерсти и горящего волчьего мяса, и вижу, как волки мечутся, падают и поджигают друг друга, и как они катаются по снегу, пытаясь сбить с себя огонь, и слышу их вой, подхваченный эхом и невидимыми для нас волками в лесу, и все это заставляет меня трепетать.

Я никогда не был в подземелье разбойников, где жил Жиль Блаз *, но я часто возвращаюсь туда и вижу, что крышку люка все так же трудно поднять, а этот подлый старый негр, как и прежде, лежит больной в постели и беспрерывно бранится. Я никогда не был в кабинете Дон-Кихота, где он читал свои рыцарские романы, перед тем как он встал, чтобы поразить воображаемых великанов, а потом освежиться огромными глотками воды, и все же вы не могли бы без моего ведома или согласия переставить там хоть одну книгу. Я никогда, слава богу, не был в обществе маленькой хромой старушонки, которая вылезла из сундука и сказала купцу Абуда, чтобы он шел искать талисман Ороманесов, но все же мне зачем-то нужно знать, что она хорошо сохранилась и несносна по-прежнему. Я никогда не был в школе, где мальчик Горацио Нельсон поднялся ночью с постели, чтобы украсть груши — не потому, что он хотел груш, а потому, что другие мальчишки боялись,— и все же я несколько раз возвращался в эту академию, дабы посмотреть, как он спускается из окна на простыне. И так же обстоит дело с Дамаском, Багдадом, Бробингнегом * (у этого слова странная судьба — его всегда пишут с ошибками), Лиллипутией, Лапутой, Нилом, Абиссинией, Гангом, Северным полюсом и множеством других мест — я никогда в них не был, но считаю делом своей жизни заботиться, чтобы они оставались такими, как прежде, и я часто их навещаю.

Но когда я однажды, как писал на предшествующих страницах, посетил Скукотаун и вернулся к воспоминаниям детства, оказалось, что весь мой опыт в этом отношении был до сих пор весьма незначителен и просто не мог идти в счет: столько я припомнил здесь мест и людей — совершенно неправдоподобных, но все же до ужаса реальных,— с которыми познакомила меня моя нянюшка, когда мне не было еще шести лет от роду, и с которыми мне приходилось встречаться из вечера в вечер, хотел я того или нет. Если б мы умели разбираться как следует в наших мыслях (в более широком смысле, чем принято понимать это выражение), мы, наверное, сочли бы наших нянюшек виновными в том, что нас против воли тянет все время возвращаться в разные темные уголки.

Как я припомнил в тот день в Скукотауне, первой

сатанинской личностью, вторгшейся в мое мирное детство, был некий капитан Душегуб. Этот негодяй был, по всей вероятности, сродни Синей Бороде, но в те времена я не подозревал о существовании этих кровных уз. Его зловещее имя не возбуждало, очевидно, никаких опасений, ибо он был принят в высшем обществе и владел несметными богатствами. Делом капитана Душегуба было все время жениться и удовлетворять каннибальский аппетит нежным мясом невест. В утро свадьбы он всякий раз велел сажать по обе стороны дороги в церковь какие-то странные цветы, и когда невеста спрашивала его: «Дорогой капитан Душегуб, как называются эти цветы? Я никогда прежде таких не видела», он свирепо шутил: «Они называются гарниром к семейному жертвоприношению», и отвратительно смеялся, впервые показывая свои острые зубы и тем приводя в смущение благородных гостей. Он ездил ухаживать за невестой в карете шестеркой, а на свадьбу отправлялся в карете, запряженной дюжиной коней, и все кони у него были молочно-белые, с одним только красным пятнышком на спине, которое он прятал под сбруей. Ибо пятнышко обязательно появлялось там, хотя кони, когда капитан Душегуб покупал их, были молочно-белые. И это пятнышко было кровью юной невесты. (Этой ужасной подробности я обязан первым в жизни содроганьем от ужаса и холодными каплями пота на лбу.) Когда ровно месяц спустя после свадьбы капитан Душегуб прекращал пиры и забавы, провожал благородных гостей и оставался один с молодой женой, он — такая уж была у него причуда — доставал золотую скалку и серебряную доску для теста. А когда капитан сватался, он всегда обязательно спрашивал, умеет ли его невеста печь пироги, и если она не умела, потому ли, что не было у нее такого желания, или потому, что ее не так воспитали, ее этому обучали. Так вот, когда невеста видела, что капитан достал золотую скалку и серебряную доску для теста, она вспоминала об этом и закатывала свои шелковые кружевные рукава, чтобы испечь пирог. Капитан приносил огромный серебряный противень, муку, масло, яйца и все что нужно, кроме начинки — главного, что полагается для пирога, он не приносил. Тогда прелестная молодая жена спрашивала его: «Дорогой капитан Душегуб, какой мне сделать пирог?» —

и он отвечал: «Мясной». Тогда прелестная молодая жена говорила ему: «Дорогой капитан Душегуб, я не вижу здесь мяса», и он шутливо отвечал: «А ты погляди-ка в зеркало». Она глядела в зеркало, но не видела там никакого мяса, и капитан разражался хохотом, но потом вдруг хмурился и, вытащив шпагу, приказывал ей раскатывать тесто. Она раскатывала тесто, роняя на него горькие слезы, из-за того что капитан был так с ней груб, и когда она клала тесто на противень и приготовляла еще один кусок теста, чтоб покрыть его сверху, капитан восклицал: «Зато я вижу в зеркале мясо!» И молодая жена, взглянув в зеркало, успевала только заметить, как капитан отсекает ей голову. Потом он изрубал ее на куски, перчил ее, солил, клал в пирог, отсылал его пекарю, съедал его весь без остатка и обгладывал косточки.

Капитан Душегуб все продолжал в этом же духе и жил припеваючи до тех самых пор, пока не выбрал себе в невесты одну из двух сестер-близнецов. Он не сразу решил, которой из них отдать предпочтение, потому что, хоть одна была белокурой, а другая темноволосой, обе были красавицы. Но белокурая его любила, а темноволосая ненавидела, и поэтому он избрал белокурую. Темноволосая помешала бы этому браку, если б могла, но тут она была бессильна. Все же в ночь перед свадьбой, подозревая капитана Душегуба в чем-то недобром, она выскользнула на улицу, перелезла через стену, окружавшую сад капитана, заглянула к нему в окно сквозь щелочку в ставне и увидела, как ему точат напильником зубы. На другой день она все время была настороже и услышала его шуточку насчет домашнего жертвоприношения. И ровно месяц спустя он велел раскатать тесто, отсек белокурой сестрице голову, изрубил ее на куски, проперчил ее, посолил, положил в пирог, отослал его пекарю, съел его весь без остатка и обглодал ее косточки.

А подозрения темноволосой сестры сильно укрепились после того, как она увидела, как натачивают зубы капитану и услышала его шуточку. Когда он объявил, что ее сестра умерла, она, сопоставив все это, догадалась, в чем дело, и решила отомстить. Она отправилась в дом капитана Душегуба, постучала дверным молотком, позвонила в звонок, и когда капитан появился в дверях, сказала ему: «До-

рогой капитан Душегуб, женитесь теперь на мне, потому что я всегда вас любила и ревновала к сестре». Капитан был весьма польщен, любезно ответил ей, и вскоре была назначена свадьба. В ночь перед свадьбой невеста́ снова пробралась к окошку и снова увидела, как ему точат зубы. При этом зрелище она рассмеялась ужасным смехом в щелочку ставня — таким ужасным смехом, что у капитана кровь застыла в жилах, и он сказал: «Кажется, со мной что-то неладно». И тогда она засмеялась еще ужасней, и в доме распахнули ставень и стали искать, кто смеялся, но она улизнула, и они никого не нашли. На другой день они отправились в церковь в карете, запряженной дюжиной коней, и там обвенчались. А ровно через месяц она раскатала тесто, капитан Душегуб отсек ей голову, изрубил ее на куски, проперчил ее, посолил, положил в пирог, отослал его пекарю, съел его весь без остатка и обглодал ее косточки.

Но перед тем как стала она раскатывать тесто, она проглотила смертельный яд самого ужасного свойства, изготовленный из жабьих глаз и паучьих лапок, и не успел капитан Душегуб доглодать последнюю косточку, как он начал раздуваться, синеть, покрываться пятнами и кричать. И он все раздувался, синел, покрывался пятнами и все громче кричал, пока не раздулся от пола до потолка и от стены до стены, и тогда, ровно в час ночи, лопнул, словно порох взорвался, и от этого грохота молочно-белые кони, что стояли в конюшне, сорвались с привязи и, обезумев, стали топтать всех, кто был в доме (начиная с домашнего кузнеца, который точил капитану зубы), а потом растоптали насмерть всех остальных и умчались прочь.

Сотни раз выслушал я в ранней юности историю капитана Душегуба, и к этому надо прибавить еще сотни раз, когда я лежал в постели и что-то принуждало меня заглянуть к нему в щелку, как заглянула темноволосая сестра, а потом вернуться в его ужасный дом и увидеть, как он посинел, покрылся пятнами и кричит и как он раздувается от пола до потолка и от стены до стены. Молодая женщина, познакомившая меня с капитаном Душегубом, злорадно наслаждалась моими страхами и, помнится, обычно начинала рассказ с того, что принималась царапать руками воздух и протяжно, глухо стонать — это было своего рода музыкальным вступлением. Я жестоко страдал и от

этой церемонии и от сатанинского капитана Душегуба, и порою начинал слезно доказывать нянюшке, что я недостаточно еще большой и выносливый и не могу еще раз выслушать эту историю. Но она никогда не избавляла меня ни от единого слова, а напротив, всячески рекомендовала мне испить эту ужасную чашу как единственное известное науке средство против «черного кота» — таинственного сверхъестественного зверя с горящими глазами, который, судя по слухам, бродит ночами по свету, высасывая кровь у детей, и (как мне давали понять) особенно жаждет моей. Эта женщина-бард — да воздастся ей по заслугам за мой холодный пот и ночные кошмары! — была, насколько я помню, дочерью корабельного плотника. Звали ее Милосерда, хотя она никогда не была милосердна по отношению ко мне. История, которая здесь последует, была как-то связана с постройкой кораблей. Она припоминается мне также в какой-то смутной связи с пилюлями каломели, и, судя по этому, ее, очевидно, приберегали для тех вечеров, когда мне было дурно от лекарств.

Жил-был однажды корабельный плотник, и плотничал он на казенной верфи, и звали его Стружка. А еще до того отца его звали Стружка, а еще до того отцова отца звали Стружка, и все они были Стружки. И Стружка-отец продал свою душу дьяволу за бушель десятипенсовых гвоздей, полтонны меди и говорящую крысу, и Стружка-дед продал свою душу дьяволу за бушель десятипенсовых гвоздей, полтонны меди и говорящую крысу, и Стружка-прадед распорядился собою таким же образом и на тех же условиях, и сделка эта заключалась в семействе с давних времен. И вот однажды, когда младший Стружка работал один в темном трюме старого семидесятичетырехпушечника, который втащили в доки для починки, перед ним появился дьявол и заметил ему:

У ведерка есть дужка,
На палубе пушка,
У меня будет Стружка.

(Не знаю почему, но то обстоятельство, что дьявол изъяснялся стихами, произвело на меня особенно тягостное впечатление.) Услышав эти слова, Стружка поднял голову и увидел дьявола с глазами, что твои плошки — смотрели

они в разные стороны, и сыпались из них синие искры. Стоило ему мигнуть, как из глаз у него сыпались снопы синих искр, а ресницы стучали так, словно железом ударили по кремню, чтобы высечь огонь. Чугунок он повесил себе на руку, одной рукой он прижимал к боку бушель десятипенсовых гвоздей, другой рукой — полтонны меди, а на плече у него сидела говорящая крыса. И вот дьявол снова и говорит:

У ведерка есть дужка,
На палубе пушка,
У меня будет Стружка.

(Эта наводящая ужас склонность злого духа к тавтологии всякий раз неизменно заставляла меня почти что лишаться чувств.) Стружка ничего не ответил и продолжал свою работу. «Что ты делаешь, Стружка?» — спросила говорящая крыса. «Я прибиваю новые доски вместо тех, что изгрызла ты со своей шайкой»,— отвечал Стружка. «А мы их снова изгрызем,— отвечает ему крыса,— и корабль даст течь, вся команда потонет, и мы ее тоже съедим». Ну а Стружка ведь был не военный моряк, а всего только плотник, так что он ей на это сказал: «Ну и на здоровье». Но он не мог оторвать глаз от полтонны меди и бушеля десятипенсовых гвоздей, ибо медь и гвозди любезны сердцу всякого корабельного плотника, потому что с ними он куда хочешь может податься. Вот дьявол ему и говорит: «Я вижу, Стружка, на что ты поглядываешь. Давай-ка лучше ударим по рукам. Ты условия знаешь. Твой отец знал их еще до тебя, а еще до него твой дедушка, а еще до него твой прадедушка». А Стружка ему: «Медь мне пригодится, и гвозди в дело пойдут, и чугунок тоже сойдет, а вот крыса мне ни к чему». Дьявол прямо рассвирепел: «Ты без нее ничего не получишь! — говорит.— Это тебе не какая-нибудь обыкновенная крыса! Ну, я пошел!» Стружка испугался, что уплывут от него полтонны меди и бушель гвоздей, он и говорит: «Давай сюда купчую». Получил он, значит, медь, гвозди, чугунок и говорящую крысу, а дьявол сгинул.

Стружка продал медь, продал гвозди, продал бы и чугунок, да только всякий раз, как он предлагал его покупателю, оказывалось, что в чугунке сидит крыса, и покупатель при виде крысы ронял чугунок и не желал больше

слышать о покупке. Тогда Стружка задумал сгубить говорящую крысу, и вот однажды, когда он работал на верфи и с одной стороны у него стоял большой котел горячей смолы, а с другой — чугунок с крысой, он вывернул котел в чугунок и залил его горячей смолой до краев. Он не отводил глаз от чугунка до тех пор, пока смола не застыла, потом не трогал его двадцать дней, потом разогрел снова и вылил смолу в котел, а чугунок на двадцать дней оставил в воде, а потом попросил горновых посадить его на двадцать дней в топку, и когда они вернули ему чугунок, до того раскаленный, что казалось, будто он сделан из расплавленного стекла, а не из железа, в нем сидела все та же крыса. И, поймав его взгляд, она сказала с издевкой:

У ведерка есть дужка,
На палубе пушка,
У меня будет Стружка.

(С той самой минуты, как этот припев в последний раз прозвучал у меня в ушах, я ждал его с несказанным ужасом, достигшим теперь апогея.) Отныне Стружка уже не сомневался, что крыса от него не отстанет, а она, словно подслушав его мысли, сказала: «Я пристану к тебе как смола».

Произнеся эти слова, крыса выскочила из чугунка и убежала, и у Стружки появилась надежда, что она не выполнит своего обещания. Но на другой день случилось что-то ужасное. Когда наступило время обеда и колокол в доке пробил, чтоб кончали работу, Стружка сунул линейку в длинный карман штанов и там нашел крысу — не ту, а другую. И в своей шляпе он нашел еще одну крысу, и в своем носовом платке он нашел еще одну крысу, а когда он натянул свою куртку, чтобы идти обедать, в каждом рукаве оказалось по крысе. И с этого времени он так ужасно подружился со всеми крысами с верфи, что они взбирались ему по ногам, когда он работал, и сидели на его инструментах, когда они были в деле. И все они говорили друг с другом, и Стружка понимал, что они говорят. И они приходили к нему домой, и забирались к нему в постель, и забирались к нему в чайник и в кружку с пивом и в башмаки. Он собирался жениться на дочери лавочника, торговавшего хлебом и фуражом, и когда он подарил ей

рабочую шкатулку, которую он сам для нее смастерил, оттуда выскочила крыса, и когда он обнял дочь лавочника за талию, к ней прицепилась крыса, и свадьба расстроилась, хотя сделали уже два оглашения. Причетник помнит об этом до сих пор, ибо когда он протянул книгу священнику, чтобы тот второй раз прочитал их имена, по странице пробежала огромная, жирная крыса. (К этому времени легионы крыс уже бегали у меня по спине, и они совершенно завладели всем моим маленьким существом. А в перерывах между рассказами я до смерти боялся, что, сунув руку в карман, я найду там одну или две подобных твари.)

Легко себе представить, как страшно было Стружке, но самое худшее было еще впереди. Он всегда знал, что делают крысы, где бы они ни находились. И, сидя по вечерам в своем клубе, он вдруг начинал кричать: «Гоните крыс из могилы повешенного! Не позволяйте им это делать!», или: «Одна крыса гложет сыр внизу», или: «Две крысы обнюхивают ребенка на чердаке!», или еще что-нибудь в этом роде. Под конец все решили, что он помешался, и он потерял работу на верфи и нигде не мог получить другой. Но королю Георгу нужны были люди, и недолго спустя Стружку завербовали в матросы. И как-то вечером лодка отвезла его на корабль, который стоял в Спитхеде, совсем уже готовый к отплытию. И первое, что он увидел, когда они подгребли поближе, была резная фигура на носу корабля, и по ней узнал он тот самый старый семидесятичетырехпушечник, на котором увидел дьявола. Корабль назывался «Аргонавт», и они подплыли под самый бушприт, откуда смотрела в море резная фигура аргонавта в голубом хитоне и с руном в руке, а на голове аргонавта сидела, выпучив глаза, говорящая крыса, и вот ее точные слова: «Эй, старина! На борт пора! Мы новые доски вконец доедим, и команду потопим, и всех мы съедим». (Здесь я начинал чувствовать ужасную слабость, и просил бы воды, если б не лишался дара речи.)

Корабль отправился в Индию, и коли ты не знаешь, где она, то туда тебе и дорога, и никогда не возлюбят тебя силы небесные. (Здесь я чувствовал себя изгнанным из царства божьего.) В ту ночь корабль поднял паруса и поплыл, и поплыл, и поплыл. Переживания Стружки были ужасны. Страхам его не было предела. Да и не мудрено.

Наконец однажды он попросил позволения говорить с адмиралом. Адмирал допустил его пред очи свои. Стружка упал на колени в адмиральской каюте: «Ваша честь! Коли не повелит ваша честь, не теряя ни минуты, плыть кораблю к ближайшему берегу, этот корабль обречен, и для всех нас он станет гробом!» — «Молодой человек, ты говоришь как безумный».— «Нет, ваша честь, они нас сгрызают».— «Кто они?» — «Эти ужасные крысы, ваша честь. Труха и дыры остались от прочных дубовых досок. Крысы всем нам роют могилу! О, любит ли ваша честь свою супругу и своих прелестных деток?» — «Конечно, любезный, конечно».— «Тогда, бога ради, поверните к ближайшему берегу, ибо сейчас все крысы бросили свою работу, и смотрят на вас, и скалят зубы, и все говорят друг дружке, что никогда, никогда, никогда, никогда не видеть вам больше своей супруги и своих деток».— «Бедняга, тебе надо к врачу. Часовой, позаботьтесь о нем!»

И вот шесть дней и шесть ночей ему пускали кровь и ставили пластыри. И тогда он снова попросил позволения говорить с адмиралом. Адмирал допустил его пред очи свои. Стружка упал на колени в адмиральской каюте. «Адмирал, вы должны умереть! Вы не послушались совета, и вы должны умереть. Крысы никогда не сбиваются в счете, и они подсчитали, что сегодня в полночь они закончат свою работу. Вы погибли — все мы погибли!» И ровно в полночь доложили, что открылась большая течь, и в нее хлынул поток воды, и ничто не могло ее сдержать, и все пошли ко дну — все до одного. А то, что после крыс (это были водяные крысы) осталось от Стружки, прибило к берегу, и огромная крыса сидела на нем и смеялась, и едва только труп коснулся отмели, она нырнула и больше никогда не всплывала. А на теле Стружки осталась морская трава. И если ты сорвешь тринадцать пучков морской травы, высушишь ее и сожжешь в огне, то услышишь очень ясно такие слова:

У ведерка есть дужка,
На палубе пушка,
У меня теперь Стружка.

Та же женщина-бард (происходившая, по-видимому, от тех ужасных старинных скальдов, что созданы были с

исключительною целью забивать мозги людям, когда те начинают изучать разные языки) прибегала все время к одной уловке, которая сыграла немалую роль в моем постоянном стремлении возвращаться в разные жуткие места, которых я, будь на то моя воля, всячески старался бы избегать. Она утверждала, будто все эти страшные истории случались с ее родней. Мое уважение к этому достойному семейству не позволяло мне усомниться в истинности этих историй, и они сделались для меня настолько правдоподобными, что навсегда испортили мне пищеварение. Она, например, рассказывала о некоем сверхъестественном звере, предвещавшем смерть, который явился как-то раз среди улицы горничной, когда она шла за пивом на ужин, и предстал ей сперва (насколько я помню) в виде черной собаки, а потом мало-помалу начал подниматься на задние лапы и раздуваться, пока не превратился в четвероногое во много раз больше гиппопотама. Я сделал слабую попытку избавиться от этого видения — не потому, что оно показалось мне маловероятным, а потому, что оно было для меня слишком уж велико. Но когда Милосерда с видом оскорбленного достоинства возразила мне, что эта горничная приходилась ей невесткой, я понял, что для меня не остается больше надежды, сдался на милость этого чудища и зачислил его в легион своих мучителей. Был у нее еще рассказ о привидении одной молодой особы, которое вылезало из-под стеклянного колпака и приставало к другой молодой особе до тех пор, пока та, другая, не расспросила его и не узнала, что кости первой (бог ты мой, подумать только, до чего она была привередлива со своими костями!) похоронены под этим стеклянным колпаком, тогда как ей хотелось бы, чтоб их предали земле где-то в другом месте, со всеми почестями, какие можно получить на сумму до двадцати четырех фунтов и десяти шиллингов. У меня были свои особые причины подвергнуть сомнению этот рассказ, ибо у нас в доме тоже были стеклянные колпаки, и в противном случае ничто не могло бы избавить меня от нашествия молодых особ, каждая из которых будет требовать, чтоб я устроил ей похороны на сумму до двадцати четырех фунтов и десяти шиллингов, тогда как я получал всего два пенса в неделю. Но моя безжалостная нянька лишила мои слабые ножки всякой опоры, объявив,

что другая молодая особа — это она сама, и не мог же я ей сказать: «Я вам не верю». Это было просто невозможно.

Таковы несколько путешествий не по торговым делам, которые я вынужден был предпринять против своей воли, когда был очень молодым и несмышленым. По правде говоря, что касается последней их части, то совсем недавно — раз уж я об этом вспомнил — меня с серьезным видом попросили снова их предпринять.

## XVI

### *Лондонская Аркадия*

Нынешней осенью мне захотелось предаться одиноким размышлениям, и я на шесть недель снял квартиру в наименее людной части Англии — одним словом, в Лондоне.

Место, в котором я уединился, именуется Бонд-стрит. Из этого тихого уголка я совершал паломничества в окрестную глушь и бродил по бесконечным пространствам Великой пустыни. Тоска одиночества уже миновала, подавленность и уныние побеждены, и я наслаждаюсь тем ощущением свободы и чувствую, как во мне просыпается та скрытая первобытная дикость, которую (вообще-то говоря, слишком часто) замечали путешественники.

Квартиру я снимаю у шляпника — у моего собственного шляпника. После того как в течение многих недель он не выставлял в своих окнах ничего кроме широкополых шляп для морских курортов, охотничьих шапок и разнообразных непромокаемых капюшонов для болотистой и горной местности, он нахлобучил на членов своей семьи столько этого товара, сколько могло удержаться у них на головах, и увез их на остров Тэнет. Один только молодой приказчик — и притом совершенно один — остался в лавке. Молодой человек загасил огонь, на котором греются утюги, и, не считая присущего ему чувства долга, я не вижу причины, почему он ежедневно открывает ставни.

К счастью и для себя и для своей страны, молодой приказчик принадлежит к добровольному ополчению,— пре-

жде всего к счастью для самого себя, потому что иначе, мне думается, он впал бы в хроническую меланхолию, ибо жить среди шляп и не видеть голов, которым они пришлись бы впору, испытание, бесспорно, немалое. Но наш молодой человек, коего поддерживают строевые учения и постоянная забота о форменном плюмаже (нет нужды говорить, что, будучи шляпником, он зачислен в часть, носящую петушиные перья), полон самоотречения и не сетует на судьбу. По субботам, когда он запирает лавку раньше обычного и надевает бриджи, он даже весел. Мне непременно хочется с благодарностью упомянуть здесь о нем, потому что он составлял мне компанию в течение многих мирных часов. У моего шляпника за прилавком стоит конторка, огороженная вроде аналоя причетника в церкви. Я запираюсь в этом укромном уголке, чтобы поразмыслить там после завтрака. В эти часы я вижу, как молодой приказчик старательнейшим образом заряжает воображаемое ружье и открывает смертоносный и сокрушительный огонь по неприятелю. Я публично благодарю приказчика за его общество и за его патриотизм.

Простой образ жизни, который я веду, и мирное окружение побуждают меня вставать спозаранок. Я всовываю ноги в шлепанцы и прогуливаюсь по тротуару. Идиллическое чувство охватывает человека, когда он вдыхает свежий воздух необитаемого города и улавливает что-то пастушеское в немногочисленных молочницах, которые разносят молоко в таких малых количествах, что, если б кто и надумал его разбавлять, это было бы вовсе не выгодно. Большой спрос на молоко, а также соблазн, который представляют меловые холмы на многолюдном морском берегу, пагубно влияют там на качество молока. В лондонской Аркадии я получаю его прямо из-под коровы.

Аркадская простота, в которой пребывает наша столица в этот осенний золотой век, и бесхитростность ее обычаев сделали ее для меня совсем новой. В нескольких сотнях ярдов от моего убежища находится дом одного моего друга, который держит великолепнейшего дворецкого. До вчерашнего дня я ни разу не видел его иначе как облаченным в сюртук тончайшего черного сукна. До вчерашнего дня я ни разу не видел, чтобы он вышел из своей

роли, и ни разу наружность этого лучшего из дворецких не выдавала каких-либо иных его помыслов, кроме как направленных к вящей славе своего хозяина и его друзей. Вчера утром, прогуливаясь в шлепанцах возле дома, столпом и украшением коего он является (дом сейчас пуст, и окна его закрыты ставнями), я встретил его, тоже в шлепанцах, в одноцветном охотничьем костюме, в соломенной шляпе с низкой тульей и с утренней сигарой во рту. Он почувствовал, что прежде мы встречались в жизни иной и теперь обретаемся в новых сферах. Тактично и мудро он прошел мимо, не узнав меня. Под мышкой у него была утренняя газета, и вскоре я увидел, как он сидит на перилах в виду прелестного открытого ландшафта Риджент-стрит и с удовольствием просматривает газету под солнцем, с каждой минутой припекающим все жарче.

Мой хозяин увез на просолку всех своих домочадцев, и меня обслуживала пожилая женщина с хроническим насморком, которая каждый вечер, в половине десятого, когда начинало смеркаться, впускала с улицы в дверь тощего седого старика, коего я ни разу не видел отдельно от пинты выдохшегося пива в оловянной кружке. Этот тощий седой старик — ее муж, и супруги удручены сознанием, что они не вправе появляться на поверхности земли. Они вылезают из какой-то норы, когда Лондон пустеет, и снова в нее заползают, когда в него возвращаются жители. В тот самый вечер, когда я вступил здесь в права владельца, они появились перед моими глазами с пинтой выдохшегося пива и постелью, завязанной в узел. Старик очень немощен, и, как мне показалось, он кубарем спустил свой узел по ступенькам кухонной лестницы и сам кувырком полетел вслед за ним. Они разостлали постель в самой дальней и самой низкой части подвала и пропахли постелью, ибо у них не было другого имущества, кроме постели, исключая, быть может, сыра, о чем я догадывался по другому запаху, пробивающемуся сквозь более сильный запах постели. Как их зовут, я узнал вот по какому случаю: на второй день после нашего знакомства я в половине десятого вечера обратил внимание старухи на то, что кто-то стоит у входной двери, и она объяснила мне виноватым тоном: «Это всего лишь мистер Клем». Где пропадает мистер Клем в течение дня, в какой час и зачем

он уходит из дому, для меня до сих пор остается загадкой, но в половине десятого вечера он неизменно появляется на крыльце с пинтой выдохшегося пива. И эта пинта пива, хоть оно и выдохшееся, настолько внушительнее его самого, что мне всегда кажется, будто она подобрала слюнявого старичка на улице и по доброте душевной отвела его домой. Направляясь к себе в подвал, мистер Клем не держится, как все прочие христиане, середины лестницы, а трется о стену, словно бы униженно приглашая меня убедиться в том, как мало места он занимает в доме, и когда бы мы ни столкнулись лицом к лицу, он конфузливо пятится от меня, словно завороженный. Самое поразительное, что мне удалось выведать об этой пожилой супружеской паре, это то, что существует мисс Клем, их дочь, с виду лет на десять старше любого из них, и у нее тоже есть постель, которой она тоже пахнет, и она таскает ее по белому свету и в сумерки прячет в покинутых зданиях. Я получил эти сведения от миссис Клем, когда она попросила моего разрешения приютить мисс Клем под крышей нашего дома на одну ночь, «потому как, значит, в доме на Пэлл-Мэлл, где она стерегла верхний этаж, хозяева возвращаются, а в другом доме на Серджемсистрит только завтра уезжают из города». Я дал ей свое любезное согласие (поскольку не знал, зачем бы мне держать его при себе), и в сумеречный час на крыльце обрисовалась фигура мисс Клем, которая пыталась осилить свою постель, завязанную в узел. Где она ее разостлала на ночь, я не берусь судить, но скорей всего, в сточной трубе. Знаю только, что, следуя инстинкту, руководящему действиями всякого пресмыкающегося или насекомого, она вместе со своей постелью должна была забиться в самый темный угол. Семейство Клемов, как я заметил, одарено еще одним замечательным свойством, а именно, способностью обращать все на свете в пыльные хлопья. Та жалкая пища, которую они украдкой глотают, по-видимому (причем независимо от природы сих яств), неизменно порождает пыльные хлопья, и даже вечерняя пинта пива, вместо того чтобы усваиваться обычным путем, к моему удивлению выступает в виде пыльных хлопьев как на потрепанном платье миссис Клем, так и на потертом сюртуке ее мужа.

Миссис Клем понятия не имеет о моем имени (что касается мистера Клема, то он не имеет понятия ни о чем) и знает меня просто как «своего доброго джентльмена». Так, например, когда она не уверена, в комнате я или нет, она стучит в дверь и спрашивает: «Мой добрый джентльмен здесь?» Или же, если б появление посыльного было совместимо с моим уединением, она впустила бы его со словами: «Вот мой добрый джентльмен». По-моему, этот обычай присущ всем Клемам. Я еще раньше хотел упомянуть, что в свой аркадский период вся часть Лондона, в которой я живу, как-то незаметно наполняется представителями клемовского рода. Они ползают повсюду со своими постелями и расстилают свои постели во всех покинутых домах на много миль вокруг. Они не ищут общества, и только иногда, в сумерках, два из них вылезут из противоположных домов и встретятся посреди дороги, как на нейтральной почве, или обменяются через ограду нижнего дворика несколькими сдержанными, недоверчивыми замечаниями о своих добрых леди или добрых джентльменах. Я это открыл во время различных одиноких прогулок, когда, покинув место своего заточения, я двигался к северу, среди жутких ландшафтов Уимпол-стрит, Харли-стрит и тому подобных мрачных кварталов. Их не отличить от девственных лесов, если б не заблудшие Клемы. В тот час, когда густые ночные тени опускаются на землю, можно заметить, как бесшумно скользят они с места на место, снимают дверные цепочки, вносят в дома свои пинты пива, подобно призракам рисуются темными силуэтами в неосвещенных окнах гостиных или тайно шепчутся о чем-то в подвале с помойным ведром и водяным баком.

У Бэрлингтонской Аркады я с особенным удовольствием замечаю, как первобытная простота нравов вытеснила пагубное влияние чрезмерной цивилизации. Ничто не может сравниться по простодушию с лавкой дамской обуви, складами искусственных цветов и хранилищами головных уборов. В это время года они находятся в чужих руках — в руках людей, которые непривычны к делу, не слишком знакомы с ценами и созерцают товары с неподдельным восторгом и удивлением. Отпрыски этих добродетельных личностей резвятся под сводами Аркады, уме-

ряя суровость двух высоких приходских сторожей. Детский лепет как-то удивительно гармонично сливается с окружающей тенью, и кажется, будто слышишь голоса птиц в рощице. В этот счастливо вернувшийся золотой век мне удалось даже увидеть жену приходского сторожа — того, что ростом повыше. Она принесла ему обед в миске, и он съел его, сидя в своем кресле, а потом уснул, словно пресытившийся ребенок. У превосходного парикмахера мистера Труфита, чтобы скоротать время, учат французский язык; и даже одинокие приказчики, оставленные для охраны парфюмерного заведения мистера Аткинсона, что за углом (в обычных обстоятельствах он неумолим, как никто в Лондоне, и презрительно фыркает на три с половиной шиллинга), становятся снисходительнее, когда они только что кончили гоняться за убегающим с отливом Нептуном на волнистом прибрежном песке или в сонном оцепенении ждут своей очереди. У господ Ханта и Роскела, ювелиров, нет ничего кроме драгоценных камней, золота, серебра и отставного солдата с грудью, увешанной медалями, сидящего у дверей. Я могу простоять еще месяц от зари до зари на Севиль-роу с высунутым языком, но ни один доктор ни за какие деньги не согласится на него посмотреть. Инструменты дантистов ржавеют в ящиках, а их холодные страшные приемные, где люди делают вид, будто читают календари и нисколько не боятся, несут эпитимью за свою жестокость, закрывшись белыми простынями. Уехал в Донкастер жокей, который, прищурив глаз, словно он во всякое время года питается кислым крыжовником, с хитрым видом стоял обычно у ворот извозчичьего двора на своих маленьких ножках, облаченный в огромный жилет. Таким простодушным кажется сейчас этот непритязательный двор, усыпанный гравием и заросший красными бобами, где в углу под стеклянным навесом приютился желтый фаэтон, что я почти начинаю верить, будто меня здесь не обманут, даже если б я сам того захотел. Все трюмо в портновских мастерских померкли и покрылись пылью оттого, что в них никто не смотрится. Ряды закрытых коричневой бумагой жилетов и сюртуков на манекенах имеют такой похоронный вид, словно это траурные гербы клиентов, имена коих на них начертаны. Тесьма для снятия мерки висит без упо-

требления на стене. Приемщик, которого оставили на тот невероятный случай, если кто-нибудь сюда заглянет, отчаянно зевает над альбомами мод, как будто он пытается читать это занимательное собрание книг. Гостиницы на Брук-стрит пустуют, и лакеи безутешно глазеют из окон, стараясь высмотреть, не приближается ли новый сезон. Даже человек, который, словно вставшая на дыбы черепаха, расхаживает по улицам, зажатый между двумя щитами, рекомендующими покупать брюки за шестнадцать шиллингов, сознает свою смехотворность и никчемность и щелкает орешки, прислонившись задним щитом к стене.

Я люблю побродить и поразмышлять среди этих умиротворяющих предметов. Успокоенный царящей вокруг тишиной, я незаметно захожу очень далеко и отыскиваю обратный путь по звездам. И тогда я наслаждаюсь контрастом, который составляют те немногочисленные места, где еще остались жители и теплится деловая жизнь, где не все облетели цветы, где не все догорели огни и где есть еще люди, кроме меня. Там я узнаю, что в наш век на шумных улицах столицы от человека настойчиво требуют трех вещей. Во-первых, чтоб он почистил башмаки. Во-вторых, чтоб он съел на пенни мороженого. В-третьих, чтоб он сфотографировался. И тут я начинаю гадать: кем были эти обшарпанные художники, которые стоят в фесках у дверей фотографий с образцами в руках и с таинственным видом уговаривают прохожих (женщин они уговаривают особенно настойчиво и задушевно) войти и «сняться»? Какой прок извлекали они из своих льстивых речей до того, как наступила эра дешевой фотографии? Какого рода люди становились прежде их жертвами и каким образом? И как они ухитрились приобрести и оплатить огромную коллекцию фотографий, якобы снятых в их заведении, меж тем как они причастны ко всем этим снимкам не больше, чем к осаде и взятию Дели?

Но все это лишь маленькие оазисы, и скоро я опять попадаю в столичную Аркадию. Ее невозмутимость и умиротворенность следует, мне кажется, отнести за счет отсутствия обычных дебатов. Как знать, нет ли у этих дебатов скрытой способности смущать душевный покой

людей, которые их не слышат? Как знать, не могут ли дебаты, которые идут за пять, десять, двадцать миль от меня, носиться в воздухе и как-то мне досаждать? Если во время парламентской сессии я просыпаюсь утром с каким-то смутным беспокойством в душе и жизнь кажется мне немила, то, как знать, быть может, в таком состоянии моих нервов повинен мой благородный друг, мой преподобный друг, мой почтенный друг, мой высокочтимый друг, мой высокочтимый и ученый друг или мой высокочтимый и доблестный друг? Мне говорили, что избыток озона в воздухе чрезвычайно дурно сказывается на моем здоровье, и я этому верю, хоть и не знаю, что такое озон,— так почему же не может оказывать аналогичное действие избыток дебатов? Я не вижу и не слышу озона; я не вижу и не слышу дебатов. А дебатов ведь много, во много раз больше, чем нужно, и шуму тоже много, а толку мало, и стольких стригут, и так мало шерсти! Вот почему в дни золотого века я с торжеством отправляюсь в покинутый Вестминстер, чтобы увидеть запертые суды, пройти немного дальше и увидеть запертыми обе палаты парламента, постоять во дворе Аббатства, подобно жителю Новой Зеландии из большой Истории Англии (об этом несчастном всегда рассказывают кучу всяких небылиц), и позлорадствовать по поводу отсутствия дебатов. Когда я возвращаюсь в свою одинокую обитель и укладываюсь спать, мое благородное сердце переполняется сознанием того, что сейчас нет ни отложенных прений, ни министерских ответов на запросы, никто не заявляет о намерении задать разом двадцать пять никому не нужных вопросов благородному лорду, стоящему во главе правительства ее величества, не идут во время сессий словопрения законников, адвокаты по гражданским делам не выступают с красноречивыми обращениями к британским присяжным, и что завтра, и послезавтра, и после послезавтра воздух будет чист от чрезмерного количества дебатов. С торжеством, хотя и меньшим, я вхожу в клуб, где ковры свернуты, а надоеды вместе со всякого рода пылью отправились на все четыре стороны. И снова, подобно жителю Новой Зеландии, стою я у холодного камина и говорю в пустоту: «Здесь я видел, как надоеда номер один таинственным шепотом, таинственно склонив голову, нашептывал на ухо

доверчивым сынам Адама политические секреты. Да будет проклята память его во веки веков!»

Впрочем, я все это время шел к тому, что счастливая природа мест моего уединения полнее всего сказывается в том, что они являют собою обитель любви. Это, так сказать, дешевая эгепимона * — никто ничем не рискует, всем одинаково выгодно. Единственное важное следствие этого возвращения к примитивным обычаям и (что одно и то же) к ничегонеделанию — избыток любви.

Порода Клемов не способна к нежным чувствам. Возможно, у этого примитивного племени кочевников все нежные чувства обратились в хлопья пыли. Но за этим единственным исключением все, кто разделяет со мной мое уединение, предаются любви.

Я уже упоминал Севиль-роу. Мы все знаем слугу доктора. Мы все знаем, как он респектабелен, как он сух, как он тверд, как он надежен, и помним, как он впускает нас в приемную, сохраняя вид человека, который точно знает, чем мы больны, но не выдаст этой тайны даже под пыткой. Пока не кончился прозаический «сезон», совершенно ясно, что у него лежат деньги в сберегательной кассе и что он ничем не погрешит против своей респектабельности. В это время так же невозможно представить себе, что он способен развлекаться или вообще подвержен какой-либо человеческой слабости, как невозможно, встретив его взгляд, не почувствовать себя виновным в своем нездоровье. Как изменился он в благословенные аркадские времена! Я видел, как он, одетый в крапчатую куртку — да, да, в куртку! — и желтовато-серые брюки, обнимал за талию служанку башмачника и улыбался средь бела дня. Я видел его у помпы близ Олбени, бескорыстно качающим воду для двух белокурых молодых созданий, чьи фигурки, когда они наклонялись над своими ведрами, могли бы послужить — если позволительно употребить такое оригинальное выражение — моделью для скульптора. Я видел, как он бренчал одним пальцем на пианино в гостиной доктора, и слышал, как он напевал про себя песенки во славу прекрасной дамы. Я видел, как, сидя на пожарном насосе, он ехал к месту пожара — очевидно, в поисках сильных ощущений. Я видел, как он в лунную ночь, когда непорочность и покой идиллического

нашего западного квартала достигали своего апогея, шел в польке с прелестной дочкой чистильщика перчаток от крыльца своей резиденции через Севиль-роу, по Клиффорд-стрит, Олд-Бэрлингтон-стрит и назад к Бэрлингтон-гарденс. Что это — Лондон железного века или возродившийся золотой век?

Или возьмем слугу дантиста. Разве этот человек не загадка для нас, не олицетворение тайной власти? Этот страшный индивидуум знает (кто еще знает это, кроме него?), что делают с вырванными зубами; он знает, что происходит в маленькой комнате, где постоянно что-то моют и пилят; он знает, что это за теплый ароматный успокоительный настой налит в стакан, из которого мы полощем свой израненный рот, где зияет такая дыра, что на ощупь кажется, будто она в фут шириной; он знает, сообщается ли с Темзой штуковина, в которую мы сплевываем, и закреплена ли она наглухо, или ее можно отодвинуть для танцев; он видит страшную приемную в те часы, когда в ней нет пациентов, и при желании мог бы рассказать, что в это время делается с календарями. Когда я вижу его при исполнении служебных обязанностей, внутренний голос малодушно твердит мне, будто он знает наперечет все зубы и десны, коренные зубы и передние, запломбированные зубы и здоровые. Теперь же, в тиши Аркадии, я ни капельки не боюсь этого безобидного и беспомощного существа в шотландской шапочке, влюбленного в юную леди, которая служит в соседней бильярдной и носит широченный кринолин, причем его страсть не потерпит ущерба, если даже у нее все зубы вставные. Может быть, они и вставные. Он их принимает на веру.

В местах моего уединения спрятались в укромных уголках от любопытства публики маленькие лавчонки (они никогда не расположены одна рядом с другой), где скупают все, что, по использовании, перешло в руки слуг. В этих торговых заведениях повар может с удобством и без огласки распорядиться салом, дворецкий — бутылками, слуга и камеристка — платьем; одним словом, большая часть слуг большею частью вещей, на которые им удалось наложить руку. Я слышал, что в более суровые времена с помощью этих полезных учреждений можно

было вести любовную переписку, когда иные способы были запрещены. Аркадской осенью подобные ухищрения ни к чему. Все любят, любят открыто, и не боятся попреков. Молодой приказчик моего хозяина влюблен в целую сторону Старой Бонд-стрит, а в него влюблены несколько домов на Новой Бонд-стрит. Когда ни выглянешь из окна, видишь вокруг воздушные поцелуи. По утрам здесь принято идти из лавки в лавку и всюду обмениваться нежными словами; по вечерам здесь принято стоять парочками у дверей, держась за руки, или бродить по безлюдным улицам, любовно прижавшись друг к другу. Людям нечего больше делать, кроме как предаваться любви, и они делают все, что могут.

В полном согласии с этим занятием находится и строгая простота домашних нравов в Аркадии. Немногие ее обитатели обедают рано, во всем соблюдают умеренность, ужинают в компании и спят крепким сном. Ходит слух, что сторожа Аркады, эти заклятые враги мальчишек, со слезами на глазах подписали обращение к лорду Шефтсбери * и внесли свои деньги на школу для бедных. И не удивительно! Они могли бы превратить в посохи свои тяжелые булавы и пасти овец возле Аркады под журчание струй, вытекающих у водовозов, которые скорей напаивают иссохшую землю, чем доставляют воду по назначению.

Счастливый золотой век, безмятежный покой. Чарующая картина, но ей сужден свой срок. Вернется железный век, лондонцы возвратятся в свой город, и если я всего полминуты простою тогда на Севиль-роу с высунутым языком, мне пропишут рецепт, а слуга доктора и слуга дантиста будут делать вид, будто и не было тех простодушных дней, когда они не находились при исполнении своих служебных обязанностей. Где будут тогда мистер и миссис Клем со своей постелью,— уму непостижимо, но в уединенной хижине у шляпника их больше не будет, как не будет там и меня. Конторка, на которой я записал эти свои размышления, отплатит мне тем, что на ней будет написан мой счет, а колеса роскошных экипажей и копыта рысаков раздавят тишину на Бонд-стрит, сотрут Аркадию в порошок и смешают его с пылью мостовых.

## XVII

### *Итальянский узник*

Весть о том, что итальянский народ восстал против невыносимого гнета, что утренняя заря разгорелась, хоть и с опозданием, над его прекрасною родиной, рассеяв нависший мрак несправедливости, невольно пробудила у меня в памяти воспоминания о моих собственных странствиях по Италии. С этими странствиями связано одно забавное драматическое происшествие, в котором сам я играл роль настолько второстепенную, что могу свободно рассказать о нем без опасения быть заподозренным в хвастливости. Все описанное здесь — истинная правда.

Летний вечер. Я только что прибыл в один небольшой городок на побережье Средиземного моря. Я поужинал в гостинице, и теперь мы с москитами собираемся вместе отправиться на прогулку. До Неаполя отсюда далеко, но разбитная, смуглая, кругленькая, как пышка, служанка гостиницы — уроженка Неаполя и так искусно объясняется жестами, что не успеваю я попросить ее вычистить мне пару башмаков, которые оставил наверху, как она тут же начинает проворно работать воображаемыми щетками и, наконец, делает вид, будто ставит вычищенные башмаки у моих ног. Я улыбаюсь расторопной пышке, восхищенный ее расторопностью, а расторопная пышка довольна тем, что доволен я, хлопает в ладоши и заразительно хохочет. Действие происходит во дворе гостиницы. Увидев, что глаза неаполитаночки загораются при виде папиросы, которую я курю, я отваживаюсь ее угостить; она очень рада, несмотря на то, что кончиком папиросы я легонько касаюсь очаровательной ямочки на ее пухлой щечке. Окинув быстрым взглядом окна с зелеными решетчатыми ставнями и убедившись, что хозяйка не смотрит, пышка упирает в бока свои кругленькие в ямочках руки и, встав на цыпочки, прикуривает от моей папиросы. «А теперь, миленький господин,— говорит она, выпуская дым с самым невинным, ангельским видом,— идите все прямо, а как дойдете до первого поворота, сверните направо, и,

наверное, там он и будет стоять у своей двери — вы сами увидите».

У меня к «нему» поручение, и я о «нем» расспрашивал. Это поручение я вожу с собой по всей Италии вот уже несколько месяцев. Перед самым моим отъездом из Англии как-то вечером зашел ко мне некий знатный англичанин * — человек с добрым сердцем и широкой душой (теперь, когда я рассказываю эту историю, его уже нет в живых, и в его лице изгнанники родины потеряли своего лучшего английского друга), и обратился ко мне со следующей просьбой: «Если вам случится попасть в такой-то город, не разыщете ли вы некоего Джиованни Карлаверо, который содержит там винный погребок? Упомяните неожиданно в разговоре мое имя и посмотрите, какое это произведет на него впечатление». Я согласился исполнить доверенное мне поручение и теперь иду его выполнять.

Весь день дул сирокко, вечер жаркий и душный, и нет даже обычного прохладного морского ветерка. Москиты и светляки исполнены бодрости, чего никак не скажешь про все остальные живые существа. Воздух совершенно неподвижен; не унимается только вихрь кокетства, охвативший юных красавиц, которые, нацепив крошечные и весьма задорные кукольные шляпки и распахнув решетчатые ставни, выглядывают в окна. Безобразные, изможденные старухи с прялками, на которые намотана серая пакля, так что кажется, будто они прядут свои собственные волосы (вероятно, и они в свое время были хороши, только теперь этому трудно поверить), сидят прямо на тротуарах, прислонившись к стенам домов. Все, кто пришел к фонтану за водой, вместо того чтобы уходить восвояси, продолжают стоять там, не в силах сдвинуться с места. Вечерняя служба уже окончилась, хотя и не очень давно, потому что, проходя мимо церкви, я чувствую тяжелый смолистый запах ладана. Кажется, никто, кроме медника, не работает. В любом итальянском городке только он один всегда занят и всегда оглушительно стучит.

Я иду все прямо и прямо, потом сворачиваю направо в узенькую мрачноватую улочку, и вот моему взору представляется красивый рослый человек с военной выправкой, в длинном плаще, стоящий у одной из дверей. По-

дойдя поближе, я вижу, что это вход в небольшой винный погребок, и в сумерках только-только могу разобрать на вывеске, что его содержит Джиованни Карлаверо.

Поравнявшись с фигурой в плаще, я приподымаю шляпу, вхожу и придвигаю табуретку к столику. Лампа (точь-в-точь как те, что находят на раскопках в Помпее) зажжена, но помещение пусто. Фигура в плаще входит вслед за мною и останавливается возле меня.

— Хозяин?

— К вашим услугам.

— Дайте-ка мне, пожалуйста, стаканчик лучшего здешнего вина.

Он отходит к небольшой стойке и достает вино. Примечательное лицо его бледно, а по движениям можно судить, что он сильно чем-то изнурен, и потому я осведомляюсь, не болен ли он. Он отвечает любезно, но без улыбки, что это пустяк, хоть и достаточно неприятный: всего-навсего лихорадка. В то время как он ставит вино на столик, я, к его нескрываемому удивлению, кладу ладонь на его руку, заглядываю ему в лицо и говорю шепотом: «Я англичанин, и вы знакомы с одним моим другом. Помните...?» И я называю своего великодушного соотечественника.

Тут он громко вскрикивает, разражается слезами, падает к моим ногам, обхватывает руками мои колени и склоняет голову до земли.

Несколько лет тому назад человек, склонившийся сейчас к моим ногам, переполненное сердце которого колотится так, словно вот-вот выскочит из груди, и чьи слезы омочили мою одежду, был узником каторжной тюрьмы в северной Италии. Он был политическим преступником, поскольку принимал участие в последнем — по тому времени — восстании и был приговорен к пожизненному заключению. Если бы не то обстоятельство, что уже известный нам англичанин посетил как-то эту тюрьму, он, несомненно, умер бы в цепях.

То была отвратительная старинная тюрьма, каких много в Италии, и часть ее была расположена ниже уровня моря. Он был заточен в сводчатой подземной и подводной галерее; вход в нее преграждали решетчатые ворота, через которые только и проникал сюда воздух и

свет. Здесь было так грязно и стояла такая невыносимая вонь, что человек, попавший сюда с воли, начинал задыхаться и даже при свете факела почти ничего не мог разглядеть. Когда англичанин увидел узника впервые, тот сидел на железной кровати, прикованный к ней тяжелой цепью, в дальнем — то есть худшем, наиболее отдаленном от света и воздуха — конце подземелья. Лицо этого человека, столь непохожее на физиономии окружавших его преступников, поразило своим выражением англичанина, и он заговорил с ним и узнал, каким образом тот очутился здесь.

Когда англичанин выбрался из страшной темницы на свет божий, он спросил сопровождавшего его начальника тюрьмы, почему Джиованни Карлаверо содержится в самом скверном месте.

— Потому что насчет него было особое распоряжение,— последовал сухой ответ.

— Так сказать, распоряжение уморить?

— Прошу прощения, особое распоряжение,— снова последовал ответ.

— У него нарыв на шее — несомненно следствие тяжелых условий, в которых он находится. Если его не будут лечить и не переведут в другое место, это его погубит.

— Прошу прощения. Я ничего тут поделать не могу. Насчет него было особое распоряжение.

Англичанин жил в этом городе, он пошел к себе домой, но образ прикованного к кровати человека лишил его сна и покоя, и дом перестал быть для него домом. У этого англичанина было на редкость отзывчивое сердце, и вынести эту картину он не мог. Он опять пошел к воротам тюрьмы; снова и снова возвращался он туда и беседовал с узником, и старался ободрить его. Пустив в ход все свои связи, он добился, чтобы с этого человека каждый день снимали цепи, которыми он был прикован к кровати,— пусть ненадолго — и разрешали ему подходить к решетке. На это понадобилось много времени, но общественное положение англичанина, его репутация и настойчивость сломили сопротивление, и поблажка была в конце концов дана. Через решетку, поскольку возле нее был хоть какой-то свет, англичанин вскрыл нарыв, и все сошло благополучно, и рана зажила. К этому времени его интерес к узнику воз-

рос еще больше, и он принял отчаянное решение не щадить усилий, чтобы добиться помилования Карлаверо.

Будь этот узник грабителем или убийцей, соверши он все уголовные преступления из тех, что занесены или даже не занесены в летопись Ньюгетской тюрьмы, для человека со связями при дворе и среди духовенства ничего не могло быть проще, чем добиться отмены приговора. При существующем же положении дел ничего не могло быть труднее. Итальянские власти и английские официальные лица, имевшие здесь некоторое влияние, в один голос уверяли англичанина, что старания его напрасны. Он натыкался повсюду лишь на уклончивые ответы, отказы и насмешки. Его политический преступник стал посмешищем всего города. Особенно достойно внимания то обстоятельство, что английские официальные лица и представители английского высшего общества, путешествовавшие по Италии, веселились по этому поводу так, как вообще только могут веселиться официальные лица и высший свет, не роняя своего достоинства. Но наш англичанин обладал (и доказал это всей своей жизнью) мужеством среди нас незаурядным: ради доброго дела он не боялся прослыть назойливым. Итак, он снова, снова и снова продолжал упорные попытки освободить Джиованни Карлаверо. После того как нарыв был вскрыт, узника снова беспощадно заковали в цепи, и стало ясно, что долго он не протянет.

Однажды, когда уже весь город знал об англичанине и его политическом преступнике, к англичанину пришел один бойкий итальянский адвокат, которого он знал понаслышке, и сделал ему следующее странное предложение: «Дайте мне сто фунтов стерлингов на освобождение Карлаверо. Мне кажется, что за такую сумму я смогу добиться его помилования. Но я не могу сказать вам, как я распоряжусь этими деньгами. Более того, вы не должны меня ни о чем спрашивать, если это мне удастся, и требовать отчета в деньгах, если меня постигнет неудача». Англичанин решил рискнуть сотней фунтов. Так он и сделал и больше ничего об этом деле не слышал. С полгода адвокат не подавал никаких признаков жизни и никак не показывал, что занимается этим делом. Тем временем англичанину пришлось переехать в другой, более известный город северной Италии. С тяжелым сердцем расставался

он с бедным узником, как с обреченным, избавление которому могла принести только смерть.

На новом месте англичанин прожил еще с полгода и никаких вестей о несчастном узнике так и не имел. И вот однажды он получил от адвоката сдержанную загадочную записочку следующего содержания: «Если вы еще не отказались от мысли оказать благодеяние человеку, в котором вы в свое время приняли столь горячее участие, вышлите мне еще пятьдесят фунтов стерлингов, и я думаю, что дело увенчается успехом». Надо сказать, что англичанин давно уже смирился с мыслью, что адвокат этот — бессердечный вымогатель, воспользовавшийся его доверчивостью и участием к судьбе несчастного страдальца. Поэтому он сел и написал сухой ответ, давая понять адвокату, что стал умнее и что выудить у него из кармана деньги больше не удастся.

Жил он за городскими воротами, милях в двух от почты, и имел обыкновение сам относить свои письма в город и собственноручно их отправлять. Чудесным весенним днем, когда небо сверкало удивительной синевой, а море было божественно прекрасно, он шагал привычной дорогой, а в кармане у него лежало письмо к адвокату. Он шел и наслаждался красивым видом, и его доброе сердце сжималось при мысли о прикованном к кровати, умирающем медленной смертью узнике, для которого в мире не осталось больше никаких радостей. Чем ближе подходил он к городу, где должен был отправить свое письмо, тем тревожнее становилось у него на душе. Он никак не мог решить, можно ли надеяться, что эти пятьдесят фунтов вернут в конце концов свободу ближнему, к которому он испытывал такое сострадание и ради спасения которого сделал уже так много. Он не был богатым англичанином в обычным смысле слова — отнюдь нет,— но свободные пятьдесят фунтов в банке у него лежали. Он решил рискнуть ими. Можно не сомневаться, что господь вознаградил его за это решение.

Он отправился в банк, выписал чек на нужную сумму и вложил его в письмо, адресованное адвокату,— хотелось бы мне прочитать это письмо! Он написал без всяких обиняков, что человек он небогатый и сознает, что, по всей вероятности, выказывает слабодушие, расставаясь с

такою крупною суммой на основании столь туманного сообщения, но тем не менее — вот эти деньги, и он только просит адвоката истратить их с пользой для дела. В противном случае, добра они ему все равно не принесут и когда-нибудь лягут тяжелым бременем на его совесть.

Спустя неделю англичанин сидел у себя и завтракал, как вдруг он услышал приглушенный шум и суматоху на лестнице, и вслед за этим Джиованни Карлаверо ворвался в комнату и упал к нему на грудь — свободный!

Сознавая, как несправедлив он был в своих мыслях по отношению к адвокату, наш англичанин написал ему горячее, исполненное благодарности письмо, открыто признаваясь в своем заблуждении и умоляя оказать ему доверие и сообщить, какими путями и средствами он добился успеха. Полученный по почте ответ адвоката гласил: «Много есть у нас в Италии такого, о чем куда лучше и благоразумнее не говорить, а тем паче не писать. Быть может, когда-нибудь мы встретимся, и тогда я смогу рассказать вам то, что вас интересует, но, во всяком случае, не здесь и не сейчас». Однако они так никогда и не встретились. Когда англичанин давал мне свое поручение, адвоката уже не было в живых, и каким образом человек этот получил свободу, осталось для англичанина, да и для него самого, такой же загадкой, как и для меня.

И вот теперь, в этот душный вечер, передо мной на коленях стоял человек, потому что я был другом его англичанина; и его слезы смочили мою одежду, и его рыдания мешали ему говорить; и на руках моих, недавно касавшихся рук, которые даровали ему свободу, были его поцелуи. Ему не нужно было говорить мне, что он с радостью отдал бы жизнь за своего благодетеля: пожалуй, никогда — ни до, ни после — не приходилось мне видеть столь неподдельной, столь чистой и пламенной душевной благодарности.

За ним неотступно следили, рассказывал он, его подозревали, и ему приходилось все время быть начеку, чтобы не попасть в какую-нибудь историю. В делах он тоже не слишком преуспел, и все это вместе взятое и было причиной того, что он не смог посылать обычных весточек о себе англичанину в течение — если память мне не изме-

няет — двух или трех лет. Но теперь дела его стали улучшаться, и жена его, которая тяжело болела, наконец поправилась, и сам он избавился от лихорадки, и он купил себе маленький виноградник, и не отвезу ли я его благодетелю вина первого урожая? Разумеется, отвезу, с готовностью ответил я и пообещал, что доставлю вино в полной сохранности, не пролив ни единой капли.

Прежде чем начать рассказывать о себе, он из осторожности притворил дверь; говорил он с таким избытком чувств, и к тому же на провинциальном итальянском наречии, столь трудном для понимания, что мне несколько раз приходилось останавливать его и умолять успокоиться. Мало-помалу ему это удалось, и, провожая меня до гостиницы, он уже совершенно овладел собой. В гостинице, прежде чем лечь спать, я сел и добросовестно описал все это англичанину, закончив письмо обещанием, невзирая ни на какие препятствия, доставить вино на родину, все до последней капли.

На следующий день рано утром, когда я вышел из гостиницы, чтобы пуститься в дальнейший путь, оказалось, что мой приятель уже поджидает меня с огромной — галлонов этак на шесть — бутылью, оплетенной ивовыми прутьями, в каких итальянские крестьяне хранят вино для пущей прочности, чтобы не разбилась в дороге. Как сейчас вижу его в ярком солнечном свете, со слезами благодарности на глазах, с гордостью показывающего мне свою объемистую бутыль (а рядом на углу два попахивающих вином, здоровенных монаха — они притворяются, что беседуют между собой, а на самом деле злобно следят за нами в четыре глаза).

Каким образом была доставлена к гостинице бутыль — история умалчивает. Но трудности с водворением ее в полуразвалившуюся vetturino [1], на которой я собирался уезжать, были так велики, и она заняла столько места, что когда мы, наконец, втолкнули ее туда, я предпочел устроиться снаружи. Некоторое время Джиованни Карлаверо бежал по улице, рядом с дребезжащей каретой, сжимал руку, которую я протянул ему с козел, и упрашивал меня передать его обожаемому покровителю тысячу неж-

---

[1] Небольшая карета.

ных и почтительных слов; наконец он бросил прощальный взгляд на покоившуюся внутри кареты бутыль, восхищенный свыше всякой меры почестями, которые оказывались ей во время путешествия, и я потерял его из виду.

Если бы кто знал, каких душевных волнений стоила мне эта нежно любимая, высокочтимая бутыль! Во все время длинного пути я как зеницу ока берег эту драгоценность, и на протяжении многих сотен миль ни на одну минуту, ни днем ни ночью, не забывал о ней. На скверных дорогах — а их было много — я исступленно сжимал ее в объятиях. На подъемах я с ужасом наблюдал, как она беспомощно барахтается, лежа на боку. В дурную погоду, при выезде с бесчисленных постоялых дворов, мне приходилось первому лезть в карету, а на следующей остановке приходилось ждать, чтобы сначала вытащили бутыль, потому что иначе до меня невозможно было добраться. Злой джинн, обитающий в таком же сосуде — вся разница, что с ним связано только лишь плохое, а с этой бутылью только хорошее,— был бы куда менее беспокойным спутником. На моем примере мистер Крукшенк мог бы лишний раз показать, до чего может довести человека бутылка *. Национальное общество трезвости могло бы воспользоваться мною как темой для внушительного трактата.

Подозрения, которые вызывала эта невинная бутыль, значительно усугубляли мои трудности. Она была совсем как яблочный пирог в детской песенке: Парма при виде ее надулась, Модена отвернулась, Тоскана пососала, Австрия смотреть не стала, Неаполь облизнулся, Рим отмахнулся, солдаты подозревали, иезуиты к рукам прибрали. Я сочинил убедительнейшую речь, в которой излагались мои безобидные намерения насчет этой бутыли, и произносил ее у бесчисленных сторожевых будок, у множества городских ворот, на каждом подъемном мосту, выступе и крепостном валу всей сложной системы фортификаций. По пятьдесят раз на дню приходилось мне изощряться в красноречии перед разъяренной солдатней по поводу бутыли. Сквозь всю грязь и мерзость Папской области я прокладывал путь нам с бутылью с такими трудностями, словно в ней были закупорены все ереси, сколько их есть на свете. В Неаполе, где обитали только шпионы, или сол-

даты, или священники, или lazzarone [1], бессовестные попрошайки всех этих четырех разрядов поминутно налетали на бутыль и пользовались ею для того, чтобы вымогать у меня деньги. Дести * — я, кажется, употребил слово «десть»? — стопы бланков, неразборчиво отпечатанных на серовато-желтой бумаге, были заполнены во славу бутыли, и я в жизни не видел, чтобы ради чего-нибудь другого ставили столько печатей и сыпали столько песка. Наверное, эта песчаная завеса и повинна в том, что с бутылкой вечно было что-то неладно, вечно над ней витала угроза страшной кары — то ли ее отошлют назад, то ли не пропустят вперед,— которой можно было избежать, лишь сунув серебряную монету в алчную лапу, высовывавшуюся из обтрепанного рукава мундира, под которым не было и признака рубашки. Но, невзирая ни на что, я не падал духом и сохранял верность бутыли, решившись любой ценой доставить все ее содержимое до последней капли по месту назначения.

Такая щепетильность обошлась мне слишком дорого и доставила мне слишком много неприятностей. Каких только штопоров, высланных против бутыли военными властями, не довелось мне повидать, каких бурильных, сверлильных, измерительных, испытательных и прочих неведомых мне инструментов, вплоть до какой-то волшебной лозы, при помощи которой, оказывается, можно установить наличие подпочвенных вод и минералов! В иных местах власти твердо стояли на том, что вино пропустить нельзя, пока оно не будет откупорено и испробовано; я же упирался (к тому времени я привык отстаивать свое мнение, сидя верхом на бутыли, чтобы ее как-нибудь не откупорили, невзирая на мои протесты). В северных широтах пятьдесят преднамеренных убийств наверняка наделали бы меньше шума, чем наделала эта бутыль в южных областях Италии, вызвав там бесконечные яростные вопли, гримасы, жестикуляцию, пламенные речи, выразительную мимику и театральные позы. Она поднимала с постели среди ночи важных чиновников. Мне случилось быть свидетелем того, как с полдюжины солдат с фонарями рассыпались по всем концам огромной сонной

[1] Так называются в Неаполе бездомные бродяги.

пьяццы — каждый фонарь отправился за какой-то важной шишкой, которую нужно было немедленно вытащить из постели, заставить напялить треуголку и бежать перехватывать бутыль. Любопытно, что в то время, как эта ни в чем не повинная бутыль испытывала такие непомерные трудности, пробираясь из одного городишка в другой, синьор Мадзини и Огненный крест беспрепятственно путешествовали по всей Италии из конца в конец.

И все же я хранил верность своей бутыли, словно какой-нибудь почтенный английский джентльмен добрых старых времен. Чем более сильным нападкам подвергалась бутыль, тем тверже (если только это было возможно) укреплялся я в своем первоначальном решении доставить ее своему соотечественнику целой и невредимой — в том самом виде, в каком человек, которому он столь благородно вернул жизнь и свободу, вручил ее мне. Если я когда-нибудь в жизни выказывал упорство — а разок-другой это со мною, пожалуй, случалось,— то это было, несомненно, в случае с бутылью. Но мне пришлось взять себе за правило всегда иметь к ее услугам полные карманы разменной серебряной монеты и, отстаивая правое дело, никогда не выходить из себя. И вот так мы с бутылью и пробивали себе дорогу. Однажды у нас сломалась карета — довольно серьезно сломалась, да к тому же на краю отвесной скалы, у подножья которой бесновалось море, разгулявшееся в тот вечер. Мы ехали в коляске четвериком, как принято на юге; пугливые лошади понесли, и их не сразу удалось сдержать. Я сидел на козлах и почему-то не свалился, но нет слов, чтобы описать чувства, которые я испытал, когда увидел, как бутыль — находившаяся, по обыкновению, внутри кареты,— распахнула дверцу и неуклюже выкатилась на дорогу. Благословенная бутыль! Каким-то чудом она уцелела, и мы, починив карету, победоносно покатили дальше.

Тысячу раз от меня требовали, чтобы я оставил бутыль то там, то тут и заехал бы за нею позже. Я ни разу не уступил и ни разу ни под каким предлогом не расстался с бутылью; я не поддавался ни мольбам, ни угрозам. Я не доверял официальным распискам, которые мне хотели выдать на бутыль, и ни за что не соглашался принять хоть одну. Наконец эти сложнейшие маневры при-

вели нас с бутылью, по-прежнему торжествующих победу, в Геную. Там я нежно и неохотно простился с ней на несколько недель, оставив ее на попечение надежного капитана английского судна с тем, чтобы он доставил ее морем в лондонский порт.

Пока бутыль совершала свое плавание, я с таким волнением читал ведомости торгового судоходства, словно сам занимался страхованием. После того как я возвратился в Англию через Швейцарию и Францию, на море разыгрался шторм, и я места себе не находил от мысли, что бутыль может попасть в кораблекрушение. Наконец, к своей великой радости, я получил уведомление о ее благополучном прибытии и тотчас же отправился на пристань св. Екатерины * и обнаружил ее в таможне, где она пребывала в почетном плену.

Вино оказалось чистейшим уксусом, когда я поставил его перед великодушным англичанином — возможно, оно и было чем-то вроде уксуса, когда я получил его от Джиованни Карлаверо,— но довез я его в полной сохранности, не пролив ни единой капли. И англичанин сказал мне,— причем на лице его и в голосе отражалось сильнейшее волнение,— что в жизни своей он не пил вина лучше и слаще этого. И еще долгое время спустя бутыль украшала его обеденный стол. А в последний раз, что я видел его на этом свете (где теперь его так недостает), он отвел меня в сторонку и со своею милой улыбкой сказал: «А мы вас только сегодня вспоминали за обедом, и я пожалел, что вы не с нами, потому что бутыль Карлаверо я велел наполнить кларетом».

## XVIII

### *Ночной пакетбот Дувр—Кале*

Откажу ли я Кале в своем завещании богатое наследство или, наоборот, прокляну его — вопрос для меня далеко не решенный. Я настолько ненавижу этот порт и в то же время прихожу всегда в такой восторг при виде его, что до сих пор продолжаю пребывать в сомнении на этот счет.

Впервые я предстал перед Кале в образе жалкого юноши, нетвердо стоящего на ногах, покрытого липким

потом и пропитанного соленой водяной пылью; юноши, который понимал только одно, а именно, что морская болезнь непременно его прикончит, ибо у него уже отнялись и верхние и нижние конечности, и теперь он представлял собой лишь до краев налитое желчью туловище, испытывающее страшную головную боль, по ошибке переместившуюся в желудок; юноши, которого посадили в Дувре на какие-то страшные качели, а когда он окончательно одурел, вышвырнули из них то ли на французском побережье, то ли на острове Мэн *, то ли еще бог знает где. Времена переменились, и теперь я прибываю в Кале уверенный в себе и уравновешенный. Я могу заранее определить, где Кале находится, я зорко сторожу его появление, я прекрасно разбираюсь в его береговых знаках, мне известны все его повадки, и я знаю — и могу снести — самое худшее его поведение.

Каверзное Кале! Затаившийся аллигатор, скрывающийся от глаз людских и губящий надежды! Стараясь увильнуть с прямого пути, забегая то с одного борта, то с другого — оно то всюду, то везде, то нигде! И напрасно мыс Гри Не выступает с открытой душой вперед, призывая слабеющих сохранять стойкость сердца и желудка — подлое Кале, распростершееся за своей отмелью, действуя как рвотное, снова ввергает вас в пучину отчаяния. Даже когда оно больше уже не может прятаться за своими утопающими в грязи доками, оно и то умудряется нет-нет да скрыться с глаз, это самое коварное Кале, и своей игрой в прятки способно повергнуть вас в совершенное уныние. Бушприт чуть не задевает за пирс, вы уже считаете себя на месте, но вдруг... налетевший вал, грохот, перекатившаяся волна!.. Кале отступает на много миль назад, а Дувр выскакивает вперед, приглядываясь, где же оно? Все, что есть самого подлого и низкого, сосредоточило оно, это самое Кале, в своем характере на радость богам преисподней. Трижды проклят будь этот гарнизонный городишко, умеющий нырнуть под киль и вынырнуть где-то с правого борта за несколько лье от парохода, который тем временем содрогается, трещит по всем швам, мечется и, вытаращив глаза, ищет его.

Не то чтобы у меня не было никаких враждебных чувств по отношению к Дувру. Мне особенно неприятно

благодушное спокойствие, с каким этот порт укладывается спать. Дувр всегда укладывается спать (стоит мне собраться в Кале), так ярко засветив все свои лампы и свечи, что перед ним меркнет любой другой город. Я очень люблю и уважаю мистера и миссис Бирмингем — владельцев гостиницы «Лорд Уорден», но считаю, что кичиться удобствами, предоставляемыми этим учреждением, вряд ли уместно в момент отплытия пакетбота. Я и так знаю, что останавливаться в их гостинице одно удовольствие, и незачем в такую минуту подчеркивать этот факт всеми ее ярко освещенными окнами. Я знаю, что «Уорден» — это строение, которое крепко стоит на своем месте, что оно не переваливается с боку на бок и не зарывается носом в волны, и я решительно протестую против того, чтобы он всей своей громадой подчеркивал бы это обстоятельство. Зачем тыкать мне это в глаза, когда меня мотает по палубе пакетбота? И нечего «Уордену» — черт бы его побрал — загромождать вон тот угол и злить ветер, которому волей-неволей приходится его огибать. И зачем этот назойливый «Уорден» вмешивается? Я и без него очень скоро узнаю, как ветер умеет выть!

Пока я ожидаю на борту ночного пакетбота прибытия ночного юго-восточного поезда, мне начинает казаться, что Дувр иллюминирован по случаю какого-то крайне обидного торжества, специально затеянного назло мне. Глумливые похвалы земле и порицание угрюмому морю и мне — за то, что я собираюсь уйти в него,— примешиваются ко всем без исключения звукам. Барабаны на вершинах скал затихли на ночь, иначе — я уверен — и они бы выстукивали издевательства по моему адресу, потешаясь над вензелями, которые я выписываю на скользкой палубе. Многочисленные газовые глазки на Морском бульваре нагло подмигивают, словно подсмеиваются. Откуда-то издалека дуврские собаки облаивают мою укутанную в бесформенный плащ персону, как будто это не я, а Ричард III.

Скрежет, удары станционного колокола... и вот два красных ока начинают скользить вниз по склону, приближаясь к адмиралтейской пристани. Их движение кажется тем плавнее, чем неистовее ныряет в волнах пакетбот. При ударах волн о пирс кажется, будто стадо гиппопотамов лакает морскую воду, причем обстоятельства от

них ничуть не зависящие все время мешают им мирно утолять жажду. Мы — то есть пароход — приходим в страшное волнение: громыхаем, гудим, пронзительно кричим, ревем и устраиваем генеральную стирку в кожухах всех гребных колес. По мере того как раздвигаются двери почтовых вагонов, на фоне поезда вспыхивают яркие пятна света, и сразу же между наваленными грудами появляются сгорбленные фигурки с мешками за спиной; они начинают спускаться вниз, похожие на процессию духов, спешащих в кладовые морского властелина. На пароход подымаются пассажиры: несколько призрачных французов с картонками для шляп, похожими на пробки от гигантских фляжек, несколько призрачных немцев в громадных шубах и высоченных сапогах, несколько призрачных англичан, готовых к худшему и делающих вид, будто они вовсе об этом не думают. Даже мой, увлеченный не торговыми делами ум, не может не признать печального факта, что мы — толпа отверженных, что занимается нами минимальное число лиц, только-только достаточное для того, чтобы отделаться от нас с возможно меньшей затратой времени, что даже ночные зеваки не пришли поглазеть на нас, что нехотя светящие нам фонари содрогаются при виде нас и что все сговорились между собой отправить нас на дно морское и поскорее о нас забыть. Но, чу!.. Два красных горящих ока все отдаляются и отдаляются от нас, и не успеваем мы отчалить, как и сам поезд погружается в сон!

Интересно, какую моральную поддержку оказывает зонтик некоторым неискушенным мореплавателям? Почему иные путешественники, пересекая Ламанш, считают своим долгом раскрыть этот предмет и со свирепым и непреклонным упорством держат его над головой? Какой-то представитель рода человеческого, стоящий рядом — о том, что он действительно представитель рода человеческого, я могу догадаться лишь по зонтику: без зонтика он с таким же успехом мог бы быть обломком скалы, столбом или переборкой,— крепко обхватив рукоятку этого прибора, сжимает ее отчаянной хваткой, которая не ослабнет, пока мы не высадимся в Кале. Существует ли в сознании некоторых индивидуумов аналогия между поднятием зонтика и поднятием духа? Брошенный канат шлепается на палубу и отвечает: «Есть приготовиться!»,

«В машине приготовиться!», «Пол-оборота вперед!», «Есть пол-оборота вперед!», «Малый ход!», «Есть малый ход!», «Лево руля!», «Есть лево руля!», «Так держать!», «Есть так держать!», «Вперед!», «Есть вперед!»

Крепкий деревянный клин входит в мой правый висок и выходит из левого; тепловатое растительное масло заполняет горло, и тупые щипцы сдавливают переносицу — вот ощущения, по которым я могу судить, что мы уже в море, и которые будут непрестанно напоминать мне об этом, пока мы, наконец, не высадимся на французском берегу. Не успевают еще мои симптомы окончательно установиться, как несколько теней, пытавшихся было ходить или стоять на месте, начинают носиться по палубе, как на роликах; они налетают друг на друга и валятся в одну кучу, после чего еще несколько теней в матросской одежде, скользя, растаскивают и прячут их по углам. И затем огни Южного Форленда начинают икать у нас на глазах, поведением своим не предвещая ничего хорошего.

Приблизительно к этому времени мое отвращение к Кале достигает апогея. В душе я снова прихожу к убеждению, что никогда в жизни не прощу этот ненавистный город. Я, правда, поступал так в прошлом — и притом неоднократно, но теперь с этим покончено. Прошу выслушать мою клятву — непримиримая ненависть к Кале навеки... Вот это качка! Труба, по-видимому, согласна со мной, так как начинает жалобно реветь.

Дует крепкий северо-восточный ветер, море беснуется, мы порядочно зачерпнули, ночь темна и холодна, и потерявшие свои очертания пассажиры печально валяются на палубе, словно приготовленные для прачки узлы с грязным бельем; но что касается моей не торговой личности, не стану притворяться, что я испытываю от всего этого хоть какое-нибудь неудобство. До меня доносится вой ветра, свист, удары, бульканье воды; я понимаю, что природа ведет себя весьма беспутно, но впечатления мои очень смутны. Я погрузился в кроткую апатию, чем-то напоминающую запах подпорченного апельсина, я должен был бы, как мне кажется, испытывать чувство томного благодушия, но на это у меня нет времени. Нет же времени у меня потому, что какое-то странное чувство вынуждает меня развлекаться пением ирландских песенок.

«Украшали ее драгоценные камни и жемчуг» — вот песня, которая полностью завладела моим вниманием. Я исполняю ее про себя с восхитительной легкостью и невероятной экспрессией. Время от времени я приподнимаю голову (сижу я на самом твердом, какое только можно представить себе, сиденье, и к тому же мокром, в самой неудобной, какую только можно представить себе, позе, и весь к тому же мокрый, но все это мне нипочем) и вижу, что, превратившись в волан *, вихрем ношусь между огненной ракеткой маяка на французском берегу и огненной ракеткой маяка на английском берегу, но это обстоятельство мало меня трогает, разве что разжигает мою ненависть к Кале. Я снова затягиваю: «Украшали ее дра-а-а-гоценные камни и же-е-емчуг, золотой ободок на же-е-езле красовался ее... Но краса-а-а-а ее все затмевала собою...» Это место в моем исполнении мне особенно нравится, но тут до моего сознания доходит, что море снова позволило себе опасный выпад, из трубы снова рвется протест, а один из товарищей по несчастью, лежавший возле кожуха гребного колеса, излишне громко, по моему мнению, дает понять, что ему плохо... «Драгоценные камни и жемчуг, и блиставший, как снег на вершине горы, ее жезл, но кра-а-а-са ее все затмевала собою...» На этом месте еще один опасный удар, товарищ по несчастью — тот, что с зонтиком,— падает, и его подымают... «ни драгоценные камни, ни жемчуг, ни бли-и-и-ис-тавший... Лево руля! Лево руля! Так держать! Так держать!.. как сне-е-ег... товарищ по несчастью возле кожуха ведет себя эгоистически громко... бац! Грохот, рев, волна... на вершине горы ее жезл».

Все, что меня окружает, начинает понемногу превращаться в нечто совершенно иное, подобно тому, как искаженное восприятие окружающего вплетается в мое исполнение ирландской песенки. Кочегары в машинном отделении открывают дверцы топки, чтобы подкинуть угля, и я вдруг оказываюсь на козлах скорой почтовой кареты «Экзетер-Телеграф» и смотрю на огни ее навеки угасших фонарей; отблеск огня на люках и кожухах превращается в отблеск этих самых фонарей на коттеджах и стогах сена, а монотонное постукивание машины — в однозвучный перезвон колокольчиков превосходной упряжки. И тотчас же прерывистые вопли протеста, которые рвутся из трубы при

каждом новом яростном ударе волн, становятся регулярными взрывами двигателя высокого давления, и я узнаю пароход с ужасно норовистой машиной, на котором подымался вверх по Миссисипи, когда в Америке еще не было гражданской войны, а были только причины, приведшие к ней. Часть мачты, освещенная светом фонаря, обрывок каната и подергивающийся шкив наводят меня на мысль о цирке Франкони * в Париже, где я — может статься — буду еще сегодня вечером (потому что сейчас, по всей вероятности, уже утро), и они даже пляшут под тот же самый мотив и соблюдают тот же ритм, что и дрессированный конь «Черный Ворон». И каковы бы ни были намерения стремительно набегающих волн, я не могу уклониться от настойчивых требований, которые предъявляют мне ее драгоценные камни и жемчуг, чтобы спросить их... но, оказывается, у них есть какое-то важное поручение насчет Робинзона Крузо, и я припоминаю, что когда он впервые отправился в плавание, то при первом же шквале на Ярмутском рейде чуть было не погиб при кораблекрушении (как грозно звучало это слово для меня в детстве!). И все же, несмотря на это, я понимаю, что должен спросить ее (кто она, хотел бы я знать!), спросить в пятидесятый раз, не переводя дыхания — и неужели такая красотка не боится ничуть, Проделать одна столь далекий унылый путь? И неужели сыны Ирландии так благородны иль так владеют собой, что не смутятся ни тем... в хор вступают еще товарищи по несчастью возле кожухов... ни златою казной? Ах, добрый рыцарь, я совсем не смела, Но ни один сын Ирландии мне не сделает зла, Потому что хоть... товарищ по несчастью с зонтом снова падает плашмя... и корысть у них есть, Но им все же... Вот это да!.. дороже добродетель и честь. Но им все же дороже... стюарды и яркий фонарика глаз, ваш билет, сэр, прошу прощенья, бурный рейс был на этот раз!

Я смело признаю, что это — жалкое проявление человеческой слабости и непоследовательности, но лишь только последние слова стюарда доходят до моего сознания, я начинаю смягчаться по отношению к Кале. Тогда как прежде я был преисполнен мстительного желания, чтобы бюргеры Кале, кратчайшим путем вошедшие прямо из своего городишка в историю Англии, были вздернуты на тех самых

веревках, на которых, накинув им петлю на шею, их уже несчетное количество раз протаскивали в карикатуры, то теперь я начинаю рассматривать их как чрезвычайно почтенных и добродетельных тружеников. Я оглядываюсь по сторонам и вижу далеко за кормой на шлюпбалке с подветренной стороны огни мыса Гри Не и огни Кале, которое, без всякого сомнения, готово приняться за свои старые штучки, но тем не менее огни Кале сияют, и они впереди. Чувство снисхождения к Кале, чтобы не сказать нежности к Кале, начинает понемногу распирать мою грудь. В голове возникают неясные мысли, что на обратном пути надо будет остановиться здесь на несколько дней. Поблекший, лежащий на боку незнакомец, застывший в глубокой задумчивости над краем таза, спрашивает меня, что за город Кале. Я отвечаю (да простит мне господь!): «Очень, очень славное местечко, и холмистое, да, я бы именно сказал — холмистое».

Понятие о времени настолько теряется, и время проходит, в общем, так быстро — хотя мне все еще продолжает казаться, что я провел на пароходе неделю,— что не успела еще красотка «улыбкой чудной путь проложить чрез остров Изумрудный», как в вихре толчков, качки, ударов волн с бортов и с носа я оказываюсь в гавани Кале, где поистине «Счастлив будет корабль, что при входе в гавань Кале, Захочет вверить судьбу только полной приливной волне». Потому что на этот раз мы не причаливаем среди покрытых слизью бревен, сплошь обмотанных зелеными волосами, как будто русалки только здесь и занимаются своими прическами, и где приходится выползать на мол, уподобляясь выброшенной на берег креветке, а идем на всех парах прямо к пристани железнодорожной набережной. Мы идем, а рядом с нами волны бьются о столбы и настилы и хлещут весьма яростно (чем мы немало гордимся), и фонари качаются на ветру, и вибрирующий звон башенных часов Кале, пробивших ОДИН, прорывается сквозь взбаламученный воздух с не меньшим усилием, чем прорываемся сквозь взбаламученные воды мы сами. И тут наступает момент, когда чувство облегчения внезапно охватывает всех, все вытирают лица, и кажется, что всем пассажирам на борту только что удалили по огромному зубу мудрости и они только сию минуту вы-

рвались из рук дантиста. И тут только мы впервые начинаем сознавать, как мы промокли, и замерзли, и как просолены; и тут я понимаю, что всем сердцем люблю Кале.

«Отель Дэзэн». (Только в этом единственном случае название не выкрикивается, а вы видите, как оно светится в глазах жизнерадостного представителя этой лучшей из гостиниц.) «Отель Мэрис!», «Отель де Франс!», «Отель де Кале!», «Ройял Отель, сэр,— английская гостиница!», «Направляетесь в Париж, сэр?», «Вашу багажную квитанцию, сэр!» Дай вам бог счастья, милые посыльные, дай вам бог счастья, милые комиссионеры, дай вам бог счастья, загадочные личности в кепи военного образца с голодными глазами, обретающиеся здесь днем и ночью, в хорошую погоду и в ненастную, в поисках какой-то непонятной работы, которую, насколько я знаю, никто из вас никогда не получил.

Дай бог счастья и вам, милые таможенные чиновники в серовато-зеленой форме; разрешите мне пожать ваши радушные руки, которые просовываются в мой чемодан, по одной с каждой стороны, чтобы встретиться на дне и перетряхнуть всю мою смену белья каким-то особым приемом, словно это мера мякины или зерна. Нет, Monsieur le Douanier [1], мне нечего предъявлять, разве только свое сердце, загляните в него после того, как я испущу последний вздох, и там будет начертано: «Кале». Нет, Monsieur l'Officier de l'Octroi [2], у меня нет предметов, подлежащих оплате пошлиной, разве что переполняющие мою грудь чувства преданности и любви к вашему чудесному городу подлежат такой оплате.

А вон на сходнях, возле мигающего фонаря, возлюбленный брат мой и друг — в прошлом представитель паспортного управления — регистрирует имена прибывших! Да сохранится он навеки таким, как сейчас — в застегнутом на все пуговицы черном сюртуке, с записной книжкой наготове, в черном цилиндре, который высится над его круглым улыбающимся терпеливым лицом. Обнимемся, возлюбленный брат мой, я твой à tout jamais — весь и навсегда!

---

[1] Таможенный надсмотрщик *(франц.)*.
[2] Акцизный чиновник *(франц.)*.

Кале, оживленное и полное энергии на вокзале, и Кале, утомленное и мирно почивающее в своей постели; Кале, попахивающее рыбой и древностью, и Кале, проветренное и начисто промытое морской водой; Кале, представленное в буфете вкусной жареной дичью, горячим кофе, коньяком и бордо, и Кале, представленное повсюду шустрыми личностями, помешавшимися на размене денег, хотя для меня в моем теперешнем положении непонятно, как они умудряются существовать, занимаясь этим; впрочем, возможно, я и мог бы это постичь, стоит только вообще понять валютный вопрос; Кале en gros [1] и Кале en détail [2], отпусти вину заблуждавшемуся! Там, на другом берегу, я не совсем понимал это, но подразумевал-то ведь я Дувр!

Дзинь-дзинь-дзинь! По вагонам, господа путешественники! Подымайтесь в вагоны, господа путешественники, направляющиеся в Газебрук, Лилль, Дуэ, Брюссель, Аррас, Амьен и Париж. Подымаюсь вместе с остальными и я, скромный путешественник не по торговым делам. Сегодня поезд не переполнен, и купе разделяют со мной только два попутчика: один из них мой соотечественник в старомодном галстуке, который находит весьма странным, что французские железные дороги не придерживаются лондонского времени, и крайне возмущен моим предположением, что, быть может, парижское их больше устраивает; второй — молодой священник, который везет с собой маленькую птичку в маленькой клеточке. Он сначала перышком сыплет птичке корм, а затем ставит клеточку в сетку над своей головой, после чего птичка подскакивает к проволочной дверце и начинает щебетать, обращаясь, по всей видимости, ко мне, с таким видом, словно держит предвыборную речь. Соотечественник (который был со мной на одном пакетботе и который, я полагаю, является знатной персоной, потому что на палубе он сидел запертый в отдельной клетке, совсем как породистый кролик) и молодой священник (присоединившийся к нам в Кале) скоро засыпают, и тогда купе остается в птичкином и моем распоряжении. Ночь продолжает неистовствовать; яростной рукой она рвет и сотрясает телеграфные провода. Ночь так

---

[1] Вообще *(франц.)*.
[2] В частности *(франц.)*.

бурна — это усугубляется еще бурным бегом поезда в темноте,— что когда кондуктор, цепляясь, делает обход мчащегося полным ходом поезда, чтобы проверить билеты (подвиг в экспрессе поистине беспримерный, несмотря на то, что он очень искусно придерживается локтями за раму открытого окна), он попадает в такой вихрь, что я крепко хватаю его за воротник и чувствую, что отпустить его сейчас будет почти равносильно человекоубийству. Однако он удаляется, а крошечная пичужка остается у проволочной дверцы и потихоньку щебечет мне что-то. Она щебечет и щебечет, а я сижу, откинувшись на своем месте, и, как завороженный, наблюдаю за ней в полусне, и пока мы несемся вперед, она начинает навевать мне воспоминания.

Когда-то, расточая время на праздные путешествия не по торговым делам (так щебетала маленькая пичужка), повидал ты и этот изрезанный болотами и дамбами край, как повидал ты и много других необычных мест, и тебе хорошо знакомы и диковинные старые домишки фермеров, сложенные из камня, к которым ведут подъемные мосты, и водяные мельницы, добраться до которых можно только на лодке. Это край, где женщины возделывают земли, переезжая с поля на поле в челноках; где в грязных дворах маленьких таверн и крестьянских домиков стоят каменные голубятни, по прочности равные сторожевым башням в старых замках; где миля за милей простираются однообразные каналы, по которым ходят построенные в Голландии ярко размалеванные баржи, и тянут их женщины, обмотав бечеву вокруг головы или вокруг талии и через плечи (не очень-то приятное зрелище!). В этом краю разбросаны повсюду и мощные фортификации известного тебе Вобана *, здесь встречаются и легионы капралов, не хуже того, о котором ты, разумеется, когда-то слышал, и много голубоглазых Бебéль. По этим равнинам проходили в сияющие летние дни длинные вереницы несуразных юных послушников в огромных широкополых шляпах — ведь ты помнишь, как затемняли они солнечные блики в густых тенистых аллеях? А теперь, когда Газебрук * почивает мирно в нескольких километрах отсюда, вспомни тот летний вечер, когда запыленные ноги невзначай занесли тебя с вокзала на ярмарку, где седые старцы с самым серьезным видом кружились под шарманку на игру-

шечных лошадках и где главным развлечением были религиозные зрелища Ричардсона * или, дословно, как он сам объявил огромными буквами, Theatre Religieux. В этом возвышающем душу храме исполнялись в лицах «все интересные события из жизни Иисуса Христа, начиная с яслей и кончая погребением». Неизменная исполнительница главной женской роли была в момент твоего появления занята заправкой висевших снаружи фонарей (уже темнело), тогда как исполнительница второй роли сидела за кассой, а юный Иоанн Креститель делал стойку на помосте.

Тут я взглянул на маленькую пичужку, желая уверить ее, что она права во всем до мельчайших подробностей, но увидел, что она перестала уже щебетать и спрятала голову под крылышко. Тогда и я — не так, а по-своему,— последовал ее благому примеру.

## XIX

### *Воспоминания, связанные с бренностью человеческой*

Я расстался с маленькой птичкой около четырех часов утра в Аррасе, где ее встретили два дежуривших на перроне священника в черных широкополых шляпах, придававших им приличествующий случаю орнитологический, я бы даже сказал, вороний вид *. Мы с соотечественником проследовали дальше в Париж; соотечественник время от времени повторял для моего сведения длинный перечень невероятных неудобств, с которыми связано путешествие по французским железным дорогам, ни об одном из которых я, грешный, и не подозревал, несмотря на то, что знаком с французскими железными дорогами не хуже большинства путешественников не по торговым делам. Я расстался с ним на конечной остановке (не внимая никаким объяснениям и увещаниям, он упорно настаивал, что багажная квитанция — это его пассажирский билет) в ту минуту, когда он весьма раздраженно доказывал дежурному чиновнику, что он, по его собственному свидетель-

ству, представляет собой четыре пакета, общим весом столько-то килограммов — ни дать ни взять Кассим-баба! *

Я принял ванну, позавтракал и отправился бродить по нарядным набережным. Мысли мои отвлеклись вопросом — неужели и правда столица не может стать прекрасной, пока ее не захватят и не поработят враги, действительно ли это так уж естественно и неизбежно, как то полагают, по-видимому, бритты — последователи известной школы,— как вдруг, осмотревшись по сторонам, я увидел, что ноги мои, потеряв — подобно мыслям — направление, привели меня к собору Парижской богоматери.

Точнее будет сказать, собор находился передо мной, но нас разделяло огромное пустое пространство. В очень недалеком прошлом я оставил это самое пространство тесно застроенным; теперь же оно было очищено от зданий, вероятно, чтобы уступить место какому-нибудь новому диву, вроде широкого проспекта, площади, бульвара, фонтана или всего этого вместе взятого. Только отвратительный маленький морг, притаившийся на обрывистом берегу реки и готовый вот-вот сползти в воду, задержался до поры до времени, с видом чрезвычайно пристыженным и крайне гнусным. Не успел я посмотреть на этого старого знакомца, как взорам моим представилась огибавшая собор и проходившая мимо здания огромного госпиталя весьма легкомысленная процессия. Трепещущие на ветру полосатые занавески посередине придавали ей сходство с мятежными толпами Мазаньелло *. Процессия шла приплясывая и с самым развеселым видом.

Я уже подумал было, что мне удастся посмотреть свадьбу какого-нибудь блузника, или, быть может, крестины, или еще какое-нибудь семейное торжество, как вдруг из слов пробегавших мимо блузников я понял, что это доставляют в морг тело. До сих пор мне еще ни разу не доводилось принимать участие в подобном кортеже, поэтому я тоже перевоплотился в блузника и вместе с остальными побежал в морг. День был слякотный, и мы нанесли с собой туда порядочно грязи, следовавшая же за нами по пятам процессия изрядно к ней добавила. Процессия была чрезвычайно жизнерадостна. Состояла она из зевак, с самого начала сопровождавших занавешенные носилки, и подкреплений, примкнувших к ним по пути. Носилки

были установлены посередине морга, и затем два смотрителя громко объявили, что нас «приглашают» покинуть помещение. Это приглашение было подкреплено настойчивым, если и не слишком любезным образом — нас попросту повыталкивали взашей и заперли за нами двухстворчатые ворота.

Те, кто никогда не бывал в этом морге, могут легко представить его себе в виде каретного сарая с кое-как настланным полом, с двухстворчатыми воротами, открывающимися на улицу. Левую сторону каретного сарая занимает витрина во всю стену, не хуже, чем у любого лондонского портного или торговца мануфактурой. За витриной два ряда наклонно расположенных помостов и на них экспонаты каретного сарая; вокруг, напоминая хаотически свисающие с потолка пещеры сталактиты, развешана одежда — одежда мертвых и похороненных экспонатов каретного сарая.

Возбуждение наше достигло предела, еще когда мы заметили, что при приближении процессии смотрители начали стаскивать куртки и засучивать рукава. Все говорило за то, что предстоит дело нешуточное. Очутившись же за дверью на грязной улице и не зная, что, собственно, произошло, мы просто пропадали от любопытства. Что это — река, пистолет, нож, любовь, азарт, грабеж, ненависть? Сколько ножевых ран, сколько пуль, сохранился ли труп или успел разложиться, убийство или самоубийство? Стиснутые в кучу, мы обменивались напряженными взглядами, вытягивали шеи и задавали эти вопросы и сотни других, им подобных. Нечаянно выяснилось, что одному мсье — вон тому высокому и болезненному каменщику — известны факты. Не будет ли мсье высокий и болезненный каменщик, на которого тотчас же обрушился наш первый вал... не будет ли он так любезен поделиться с нами? Оказалось, что мертвец — всего лишь какой-то бедный старик, проходивший по улице мимо одного из строящихся домов; на него свалился камень и убил его на месте. А его возраст? Еще один вал обрушился на высокого и болезненного каменщика, и мы были сметены и рассеяны... а возраст его определить трудно: от шестидесяти пяти до девяноста.

Старик — это, конечно, не бог весть что, ну и, несомненно, мы предпочли бы, чтобы смерть его была делом рук

человеческих, своих или чужих — последнее предпочтительнее, — но нас утешало то, что при нем не оказалось никаких бумаг, с помощью которых можно было бы удостоверить его личность, и что его близким предстояло разыскивать его. (Может быть, даже сейчас, поджидая его, они не садились обедать.) Эта мысль пришлась нам по душе. Имевшиеся среди нас обладатели носовых платков медленно, долго и тщательно вытирали носы, а затем, скомкав, прятали платки за пазуху. Тем же из нас, у кого носовых платков не было, приходилось попросту утирать нос рукавом — это тоже давало выход волнению. Какой-то человек с изуродованным лбом, придававшим ему угрюмое выражение — судя по синеватому оттенку кожи и общему облику паралитика, один из обреченных, работающих в свинцово-белильной промышленности, — закусил воротник куртки и с аппетитом жевал его. Появилось несколько приличных женщин; они пристроились к краю толпы и готовились, как только представится возможность, ринуться внутрь зловещего сарая. Среди них оказалась одна миловидная молоденькая мать, она делала вид, что кусает указательный пальчик своего ребенка, розовыми губками придерживая его — когда придет время, этим пальчиком удобно будет указывать на экспонат. Между тем все взоры были обращены к зданию; мы, мужчины, ожидали с суровой, твердой решимостью, по большей части скрестив на груди руки. Можно смело сказать, что это было единственное общедоступное зрелище во Франции — из тех, что довелось повидать путешественнику не по торговым делам, — где ожидающие не выстраивались en queue [1]. Здесь таких порядков заведено не было. Здесь царила лишь всеобщая решительная готовность броситься вперед да стремление воспрепятствовать тому, чтобы мальчишки, взобравшиеся на столбы ворот, не ворвались внутрь при первом же повороте шарниров.

Но вот шарниры начали поворачиваться, и мы ринулись. Страшная давка, крики впереди... Затем смешки, возгласы разочарования, давка уменьшилась, и страсти улеглись — старика в морге не оказалось.

— Но что же вы хотите? — уговаривает смотритель,

[1] В очередь *(франц.)*.

выглядывая через маленькую дверку.— Терпение, терпение! Мы приводим его в порядок. Скоро он будет выставлен. Нужно же соблюдать правила. Туалет в одну минуту не сделаешь. Своевременно его выставят, джентльмены, своевременно! — И он удаляется, покуривая, махнув голой рукой в сторону окна, как бы говоря: «Развлекайтесь пока что осмотром других достопримечательностей. К счастью, музей сегодня не пустует».

Кто бы мог подумать, что человеческое непостоянство распространяется даже на морг? Однако на этот раз так оно и было. Три объекта, бывшие в центре внимания и вызывавшие живейший интерес еще совсем недавно, пока не были запримечены огибавшие величественный собор подпрыгивающие носилки, теперь окончательно и бесповоротно отошли на второй план, и никто, кроме двух маленьких девочек (одна показывала их своей кукле), не хотел на них смотреть. А между тем у наиболее выдающегося из трех, у объекта, выставленного в первом ряду, была зияющая рана на левом виске, тогда как двое других во втором ряду, утопленники, лежали рядом, чуть повернув друг к другу головы, и, казалось, обменивались впечатлениями насчет происшедшего. Правду сказать, у тех двух в заднем ряду (при всей их раздутости) был такой заговорщический и притом настолько осведомленный относительно обстоятельств убийства того переднего вид, что трудно было поверить, будто они никогда прежде не встречались и только смерть случайно их свела. Разделялось ли впечатление путешественника остальными или нет, сказать трудно, бесспорно одно — в течение десяти минут эта группа вызывала чрезвычайный интерес. Но вот непостоянная публика уже повернулась к ним спиной, кое-кто стоял даже облокотившись небрежно о поручни витрины, счищая грязь с башмаков, тогда как другие, заимствуя и одалживая огонек, раскуривали трубки.

Смотритель выходит опять из своей дверки.

— Джентльмены, мы еще раз приглашаем вас...

Дальнейшие приглашения излишни. Стремительный бег на улицу. Туалет окончен, сейчас появится старик.

На этот раз любопытство накалилось до такой степени, что проявлять терпимость по отношению к мальчишкам на столбах ворот оказалось невозможным. Обреченный рабо-

чий свинцово-белильной промышленности внезапным прыжком настиг карабкавшегося на столб мальчишку и под одобрительные возгласы, несущиеся со всех сторон, стащил его на землю. Как бы тесно ни были мы спаяны в одно целое, мы все же умудрились разбиться на несколько беседующих групп, однако от общей массы никто не отбивался, и темой всех разговоров был старик. У высокого болезненного каменщика вдруг нашлись соперники; извечное людское непостоянство проявилось и тут. Эти соперники привлекали жадно внимавших им слушателей, и хотя все свои сведения они почерпнули исключительно у того высокого и болезненного, тем не менее некоторые не в меру угодливые личности в толпе пытались сообщить ему же кое-что из этих новых источников. Столкновение с действительностью превратило каменщика в сурового и закоренелого мизантропа; теперь он свирепо поглядывал на окружающих и, несомненно, лелеял мечту о том, чтобы вся эта компания оказалась на месте мертвого старика. Но мало-помалу внимание слушателей стало рассеиваться, при малейшем звуке люди срывались с места, недобрый огонек загорался в глазах, и стоявшие впереди нетерпеливо стучали в ворота, как будто принадлежали к племени каннибалов * и были голодны.

Вновь заскрипели шарниры, и мы кинулись вперед. Произошла беспорядочная давка, и лишь после этого путешественнику удалось занять место в первом ряду. Странно было видеть, что причиной всех этих волнений и сумятицы был несчастный, навеки упокоившийся, безобидный седой старик. Он лежал на спине с лицом спокойным и необезображенным — удар камня пришелся на тыльную сторону головы, заставив его упасть вперед,— и что-то похожее на слезинки показалось из-под опущенных век и оросило его щеки. Удовлетворив любопытство первым же взглядом, путешественник не по торговым делам перенес свое внимание на окружавших его со всех сторон, рвущихся вперед людей; он задался вопросом, можно ли только по выражению лица определить, на что именно смотрит человек. Большого разнообразия выражений не наблюдалось. Были лица, выражавшие жалость — не очень много, и к жалости по большей части примешивалось эгоистическое чувство, словно человек хотел спро-

сить: «Неужели и я, несчастный, буду похож на него, когда придет мой час?» На других лицах — их было больше — отражалось затаенное тягостное раздумье и любопытство, как будто говорившее: «Интересно, будет ли тот неприятный мне человек, против которого я имею зуб, похож на него, если кто-нибудь,— не важно, кто именно,— вдруг его пристукнет?» Было и что-то хищное во взглядах, которые устремили на труп некоторые люди, особенно этим отличался обреченный из свинцово-белильной промышленности. Но всего больше было обращено на старика бесцельных отсутствующих взглядов, какие бывают у людей, когда они смотрят в паноптикуме на восковую фигуру, не имея в руках каталога и не понимая, что же это перед ними такое. Но объединяло этих людей присущее всем без исключения выражение — выражение лица человека, смотрящего на кого-то и не ожидающего встретить ответный взгляд. Путешественник счел это обстоятельство весьма примечательным, но в это время новый единодушный натиск с улицы самым постыдным образом лишил его свободы передвижения и бросил прямо в объятия смотрителя, который успел тем временем спустить рукава и стоял у своей дверки, покуривая и отвечая между затяжками на вопросы с безмятежным и достойным похвалы видом человека, который не возгордился, несмотря на занимаемое им высокое положение. Кстати, о гордости,— уместно будет отметить, что лицо единственного прежде экспоната, занимавшего первый ряд, выражало теперь чувство глубокого презрения по отношению к несчастному старику, законно привлекшему к себе всеобщее внимание, тогда как двое во втором ряду, казалось, просто ликовали при виде того, как быстро может сойти на нет чья-то популярность.

Немного погодя, прогуливаясь вдоль решетки сада, примыкавшего к башне Сент Жак де ла Бушери и затем снова перед Отелем де Вилль, я вспомнил вдруг некий печальный морг под открытым небом, на который я набрел однажды в Лондоне в дни суровой зимы 1861 года и который показался мне в ту минуту чем-то таким чужеродным, как если бы увидел я его не в Лондоне, а в Китае. Приближался тот предвечерний час зимнего дня, когда фонарщики загодя начинают зажигать фонари на улицах, по-

тому что темнота наступает быстро и бесповоротно. Я возвращался после прогулки по окрестностям, обходя с северной стороны Риджент-парк — застывший и пустынный,— и увидел вдруг, как пустой экипаж подкатил к сторожке у Глочестерских ворот. Кучер в сильном волнении прокричал что-то сторожу, тот проворно снял с дерева длинный багор и, ловко подхваченный за воротник кучером, вскочил на подножку козел, после чего экипаж с грохотом выехал из ворот и покатил по каменистой дороге. Я пустился за ним вдогонку, но, уступая в скорости, прибежал к правому мосту через канал, близ того места, откуда поперечная тропка ведет к Чок-фарм, когда экипаж уже остановился, от лошади валил пар, длинный багор валялся на земле, а кучер и сторож смотрели вниз, перегнувшись через парапет. Взглянув туда же, я увидел лежащую на бечевнике женщину с лицом, обращенным в нашу сторону. Умерла она, по-видимому, дня два тому назад, и лет ей, должно быть, было под тридцать. Одета она была бедно, во все черное. Ноги ее были небрежно скрещены в щиколотках, а темные волосы, как бы последним движением отчаявшихся рук откинутые назад от лица, струились по земле. Мокрое платье ее местами обмерзло, и земля вокруг была забрызгана водой и засыпана хрупкими льдинками, наломавшимися, когда ее вытаскивали. Около тела стояли только что вытащившие его полисмен и разносчик, случайно оказавшийся поблизости и помогавший ему; последний устремил на женщину взгляд, который я уподоблял уже взгляду человека, очутившегося в паноптикуме без каталога, первый же с профессиональной надменностью и хладнокровием поглядывал поверх топорщившегося галстука в ту сторону, откуда должны были появиться носилки, за которыми он послал. Каким жутким одиночеством, какой жуткой печалью, какой жуткой загадкой веяло от этой новопреставленной рабы божьей! Подошла баржа, раскалывая лед и нарушив царившую вокруг тишину; у руля ее стояла женщина. На человека, который шагал рядом с тянувшей баржу лошадью, труп произвел так мало впечатления, что разъезжающиеся копыта запутались в волосах, и бечева, зацепившись, повернула голову женщины, прежде чем крики ужаса, вырвавшиеся у нас, заставили его схватить лошадь под уздцы. При звуке на-

ших голосов женщина у руля взглянула на нас — стоявших на мосту — с невыразимым презрением, потом она бросила такой же взгляд на утопленницу, как будто эта несчастная не была сотворена по тому же образу и подобию, что и сама она, как будто она кипела другими страстями, погибла по воле других случайностей, как будто это скатившееся к гибели создание отличалось чем-то от нее. Затем от ее весла полетела в сторону утопленницы струя жидкой грязи, в которую она вложила все свое презрение, и баржа проследовала дальше.

Более приятное, хотя тоже связанное с моргом, происшествие, где счастливый случай помог мне быть в некоторой степени полезным, возникло в моей памяти, когда я вышел по бульвару де Себастополь к более жизнерадостным кварталам Парижа.

Произошло это лет двадцать пять тому назад. В то время я был молодым и скромным путешественником не по торговым делам, робким и неискушенным. С тех пор солнце и ветры разных широт покрыли коричневым загаром мою кожу, но то были дни юношеской бледности. Я только что арендовал тогда дом в некоем весьма элегантном столичном приходе — дом, казавшийся мне в те времена невероятно роскошным родовым особняком, налагавшим на меня огромные обязательства,— и стал жертвой приходского надзирателя. Я полагаю, что приходский надзиратель, по всей вероятности, видел, как я входил и выходил из дома, и понял, что я изнемогаю под бременем собственного величия. Не исключена также возможность, что он прятался где-нибудь в соломе, когда я покупал свою первую лошадь (на приличествующем моему положению конском дворе, примыкавшем к роскошному родовому особняку), прятался, когда продавец, выводя ее напоказ, сняв попону и оглаживая, заметил своим особым говорком: «Вот она, сэр! Это ль не лошадка!», и когда я осведомился любезно: «Сколько вы за нее хотите?», и когда продавец ответил: «С вас не больше шестидесяти гиней», и когда я, не растерявшись, спросил: «Почему же не больше шестидесяти именно с меня?», и когда он ответил уничтожающе: «Потому что, клянусь честью, человеку понимающему и семьдесят показалось бы дешево, но ведь вы же не понимаете...» Так вот, я полагаю, что приходский

надзиратель мог прятаться в соломе, когда этот позор обрушился на мою голову, или, быть может, он заметил, что я слишком не искушен и молод, дабы выступать в роли Атласа, с достоинством несущего на плечах роскошный родовой особняк *. Как бы то ни было, приходский надзиратель поступил со мной, как Меланхолия поступила с юношей в элегии Грея *,— он наметил меня себе в жертву. Осуществил же он это следующим образом — прислал мне повестку с уведомлением, что я включен в состав присяжных заседателей, которые должны присутствовать при судебных разбирательствах дел о насильственной смерти или самоубийствах.

В первый момент, охваченный лихорадочным смятением, я — подобно мудрым пастухам Севера, решившим, что раз в прошлом у них не было никаких оснований верить юному Норвалу *, то благоразумнее будет и впредь не поддаваться опасному соблазну,— бросился за спасением и поддержкой к искушенному опытом владельцу моего особняка. Этот дальновидный человек поведал мне, что приходский надзиратель, конечно, рассчитывает получить от меня взятку: ждет, что я предпочту откупиться, лишь бы он не вызывал меня, и что если я явлюсь на разбирательство с бодрым видом и выкажу готовность служить родине на этом поприще, то приходский надзиратель будет обескуражен и бросит свои штучки.

Я собрался с духом и, получив в следующий раз вызов от коварного приходского надзирателя, пошел.

Я в жизни своей не видел, чтобы какой-нибудь приходский надзиратель мог быть так озадачен, как этот, когда при перекличке я отозвался на свое имя, и его замешательство придало мне храбрости пройти через испытание.

Наш состав присяжных должен был расследовать обстоятельства смерти крошечного ребенка. Это была извечная грустная история. Совершила ли мать небольшой проступок, утаив рождение ребенка, или тяжкое преступление, убив его,— вот этот вопрос мы призваны были решить. Мы должны были решить вопрос о предании ее суду по одному из этих двух обвинений.

Дознание велось в приходском работном доме, и я до сих пор живо помню, что коллеги-присяжные единодушно признали во мне коллегу сугубо незначительного. Помню

также, что не успели мы еще приступить к делу, как выяснилось, что маклер, совсем недавно отчаянно обжуливший меня при покупке двух ломберных столиков, стоит за применение самых суровых законов. Помню, что мы сидели в комнате, предназначавшейся, по-видимому, для заседаний, в таких огромных квадратных волосяных креслах, что я невольно задался вопросом, на каких патагонцев они были рассчитаны? * И еще помню, что как раз когда мы находились в состоянии морального подъема, только что приняв присягу, какой-то гробовщик всучил мне свою карточку, как «новому жителю этого прихода, который, по всей вероятности, обзаведется вскоре семейством». Затем коронер изложил нам обстоятельства дела, и мы — под предводительством злокозненного приходского надзирателя — отправились вниз осматривать тело. По-видимому, жалкое тельце, к которому относилось это пышное юридическое наименование, лежало на этом месте с того самого дня, как его туда положили. Оно лежало вытянутое на ящике среди картинно нагроможденных гробов всех возможных размеров в каком-то подобии склепа, предназначавшемся для хранения гробов, заготовленных для прихожан. Мать положила его в свой ящик — этот самый — почти сразу после рождения, в нем оно и было со временем обнаружено. Оно было вскрыто, и аккуратно зашито, и — если подходить к нему с этой точки зрения — напоминало чучело. Лежало оно на чистой белой тряпице, и рядом были разложены какие-то хирургические инструменты (вроде скальпеля), и — если подходить к нему с этой точки зрения — можно было подумать, что стол уже накрыт и Великана ждут к обеду. В этом жалком комочке безгрешности не было ничего отталкивающего. И всего-то, формальности ради, требовалось бросить на него один взгляд. Поэтому мы посмотрели еще на нищего старика, расхаживавшего между гробами со складным футом в руках, как будто он помешался на самоизмерении, затем мы посмотрели друг на друга, затем мы выразили мнение, что как бы там ни было, а помещение хорошо побелено, после чего наши — господ присяжных заседателей Британской Империи — разговорные способности иссякли, и старшина спросил: «Все в порядке, джентльмены? Можно возвращаться, мистер приходский надзиратель!»

Жалкое юное существо, которое всего лишь несколько дней тому назад произвело на свет этого ребенка и которому сразу же после этого пришлось скрести на холоде крыльцо, предстало перед нами, когда мы вновь заняли волосяные кресла, и присутствовало при дальнейшем разбирательстве. Ей также предоставили волосяное кресло, настолько она была слаба и больна, и я помню, как она повернулась к сопровождавшей ее бездушной надсмотрщице, похожей на фигуру, украшающую нос корабля нищих, и как прятала свое лицо, рыданья и слезы на этом деревянном плече. Помню, какую нетерпимость по отношению к ней проявила ее хозяйка (девушка была прислугой за все), с каким черствым упорством эта воплощенная добродетель неумолимо укрепляла нить свидетельских показаний, приплетая к ней нить собственных истолкований. Потрясенный не прекращавшимися во все время разбирательства жалобными приглушенными рыданиями брошенной на произвол судьбы сироты, я набрался смелости и задал этой свидетельнице вопрос-другой в надежде, что полученные ответы могут, в случае удачи, дать благоприятный поворот делу. Она сделала все от нее зависящее, чтобы поворот был возможно менее благоприятен, но все же некоторую пользу это принесло, и коронер, выказывавший достойные уважения терпимость и человечность (это был покойный мистер Уэкли), бросил мне взгляд, полный решительного одобрения. Потом перед нами предстал доктор, производивший экспертизу и все обычные исследования, чтобы выяснить, родился ли ребенок живым или мертвым, но это был робкий и бестолковый доктор: он путался и сам себе противоречил, и этого сказать он не умел, и за то поручиться не мог, и перед непогрешимым маклером он спасовал окончательно, и наша сторона потеряла завоеванное было преимущество. Тем не менее я сделал еще одну попытку, и коронер снова поддержал меня, за что я неизменно питал к нему благодарность при жизни, а сейчас продолжаю почитать его память, и нам удалось добиться еще одного удачного поворота, задавая вопросы еще одному свидетелю — тоже члену семьи, сильно настроенному против грешницы; помнится, что вслед за этим перед нами снова появлялся доктор, и я знаю, что коронер резюмировал в нашу пользу и что я и мои коллеги —

присяжные Британской Империи — повернулись затем спиной к остальным, чтобы обсудить свой приговор, чему изо всех сил старались помешать наши огромные кресла и маклер. Тут уж я не щадил усилий, твердо убежденный, что защищаю правое дело, и, наконец, мы сошлись на том, что это был всего лишь небольшой проступок — сокрытие рождения ребенка. Затем несчастную девушку, которую уводили на время нашего совещания, привели обратно для выслушивания приговора, и она, упав перед нами на колени, клялась, что мы не ошиблись — столь надрывающих душу клятв мне, пожалуй, никогда в жизни не приходилось слышать,— после чего ее вынесли без чувств.

(В частной беседе, когда все было кончено, коронер, поделившись со мной своими соображениями, объяснил, почему он, как опытный хирург, считал совершенно невозможным, чтобы даже при самых благоприятных обстоятельствах ребенок этот мог какой-то срок дышать, и полагал сомнительным, что ему вообще удалось сделать хотя бы один вздох: дело в том, что в дыхательном горле ребенка была обнаружена инородная материя, исключающая возможность хотя бы нескольких минут жизни.)

В ту минуту, когда измученная девушка выкрикивала свои последние клятвы, я увидел ее лицо, такое же отчаянное и жалобное, как и голос, и это меня очень тронуло. Я отнюдь не был поражен ее красотой, и если в загробной жизни увижу когда-нибудь ее лицо, то узнать его мне поможет разве только какая-то новая, высшая форма чувства или интеллекта. Но в ту ночь оно явилось мне во сне, и я эгоистично постарался отделаться от него, избрав для этого наиболее действенный способ, который только мог придумать. Я устроил, чтобы в тюрьме ее окружили заботой, и нанял адвоката защищать ее, когда ее судили в Олд-Бейли, и ей вынесли мягкий приговор, и ее дальнейшая жизнь и поведение показали, что приговор этот был справедлив. Сделать для нее то немногое, что я сделал, мне с удовольствием помог один прекраснодушный чиновник, к которому я обратился — какова была его должность, я уже давно забыл, но, по всей вероятности, он присутствовал на следствии в качестве официального лица.

Я нахожу, что это ценнейший опыт на моем не торговом жизненном пути, потому что в этом случае пользу

принес приходский надзиратель. А насколько я знаю, понимаю и верю, начиная с той самой минуты, когда первый приходский надзиратель надел свою треуголку, это был единственный случай, когда хоть один приходский надзиратель принес какую-то пользу...

## XX

### *Как справляют день рождения*

Я решил посвятить несколько страничек своих записок гостиницам, из числа тех, где мне приходилось останавливаться во время своих странствий, и, сказать правду, я даже взялся было за перо, чтобы осуществить свое намерение, но тут одно непредвиденное обстоятельство заставило меня изменить свои планы. Дело в том, что мне пришлось оторваться на минутку, чтобы поздравить с днем рождения некую обладательницу задорного личика, заглянувшую в дверь моей комнаты, и пожелать ей всех благ на много лет вперед. После чего мне в голову пришла, вытеснив свою предшественницу, новая мысль, и я стал вспоминать — вместо гостиниц — торжества по случаю всех дней рождения, на которых мне довелось присутствовать, вплоть до той самой минуты, когда передо мною оказался вот этот лист бумаги.

Я прекрасно помню, как меня водили в гости к очаровательному созданию в голубом шарфе и таких же туфельках, вся жизнь которого — как я полагал — состояла из одних только дней рождения. Мне казалось, что это восхитительное юное существо так и растет, окруженное великолепными подарками, питаясь исключительно бисквитами и сладкими винами. Мне случалось быть участником торжеств по случаю годовщины ее появления на свет (и тогда же страстно увлечься ею) в столь ранний период своих странствий, что я еще не имел даже смутного понятия о том, что день рождения — обязательное достояние всех родившихся на свет, и полагал, будто сие — особый дар, которым благосклонные небеса наделили одно лишь это удивительное дитя. Других гостей, кроме меня, не было, мы сидели в тенистой беседке — под столом, если мне не

изменяет память (но, может, и изменяет) — и, пока не настал час разлуки, без устали поглощали всевозможные сласти в твердом и жидком виде. На следующее утро мне давали горькую соль, и чувствовал я себя прескверно. В общем, я получил достаточно точное представление о неприятностях, ожидающих меня в более зрелом возрасте в подобных случаях.

Затем настало время, когда день рождения превратился в моем сознании в заслуженную награду, в нечто, возвышающее меня над толпой; тогда я стал воспринимать день рождения, как свое личное незаурядное достижение, как символ моей стойкости, независимости и здравого смысла, как нечто оказывающее мне немалую честь. Таково было положение дел, когда в это ежегодное торжество оказалась вовлеченной Олимпия Скуайрс. Олимпия была прекрасна (само собою разумеется!), и я так любил ее, что чувствовал себя обязанным вылезать по ночам из своей постельки специально за тем, чтобы воскликнуть, обращаясь в пространство: «О Олимпия Скуайрс!» Олимпия — всегда в буро-зеленом платье, из чего я заключаю, что вкус ее почтенных родителей, не удосужившихся познакомиться с Саут-Кенсингтонским музеем, был воспитан весьма недостаточно *,— до сих пор является мне в видениях. Истина священна, и виденье является в белой шапочке из лоснящегося кастора, придающей ему невероятное сходство с маленьким почтальоном в юбке. Память услужливо рисует мне день рождения, когда бессердечный родственник — какой-то жестокий дядя или уж не помню кто — повел нас с Олимпией на медленную пытку, именуемую планетарием. Устрашающее сооружение было установлено в местном театре, и еще утром я высказал нечестивое желание, что лучше бы это была пьеса, за что не допускавшая никаких глупостей тетка тут же сурово покарала меня морально и еще более сурово материально, потребовав назад подаренные полкроны. Планетарий был заслуженный и обветшалый, отставший от века по меньшей мере на тысячу звезд и двадцать пять комет. Тем не менее он был ужасен. Когда какой-то унылый джентльмен с указкой в руке объявил: «Дамы и господа (подразумевая, главным образом, Олимпию и меня), огни сейчас погаснут, но основания для тревоги нет ни малейшего», мы

сильно встревожились. Затем пошли планеты и звезды. Они то не желали появляться, то не желали исчезать, то оказывались дырявыми и в большинстве случаев совсем не были на себя похожи. Все это время джентльмен с указкой продолжал говорить в темноте (то и дело постукивая по небесным телам, совсем как надоедливый дятел) о светиле, вращающемся вокруг своей оси восемьсот девяносто семь тысяч миллионов раз — или миль — в двести шестьдесят три тысячи пятьсот двадцать четыре миллиона чего-то еще, пока я не пришел к мысли, что если это называется днем рождения, то уж лучше бы мне совсем не родиться. Олимпия тоже сильно приуныла, мы оба задремали и проснулись в прескверном расположении духа, а джентльмен все говорил и говорил в темноте, и где он находится — среди звезд на верху лестницы или внизу на сцене,— определить было очень трудно, да и стоило ли над этим задумываться. Он так долго еще сыпал цифрами насчет проекции орбит, что Олимпия, доведенная до бешенства, не на шутку пнула меня. Когда вспыхнули огни, все школьники города (включая приходских, которых пропустили бесплатно — и поделом им, потому что они вечно кидались камнями) предстали с измученными лицами, отчаянно протирая глаза или запустив обе руки в волосы — хорошенькое зрелище ради дня рождения! И хорошенькая речь ради дня рождения, когда мистер Слик из Городской бесплатной, сидевший в литерной ложе, встряхнул напудренной головой и заявил, что, прежде чем зрители разойдутся, он имеет честь заявить, что полностью одобряет лекцию и находит ее столь же полезной, столь же поучительной и столь же лишенной всего такого, что могло бы вызвать краску стыда на щеках юных слушателей, сколь любая другая лекция изо всех, какие ему выпадало на долю прослушать. Хорошенький день рождения вообще, если астрономия не могла оставить в покое бедную маленькую Олимпию Скуайрс и меня и во что бы то ни стало решила положить конец нашей любви. Потому что мы так и не оправились от случившегося; наши чувства не устояли перед обветшалым планетарием, купидон с луком спасовал перед джентльменом с указкой.

Когда, наконец, смешанный запах апельсинов, оберточной бумаги и соломы перестанет напоминать мне о днях

рождения, отпразднованных в школе, днях, когда я начинал жить в ореоле надвигающейся корзины с лакомствами задолго до ее появления и когда уже за неделю до прибытия этого традиционного дара я становился центром всеобщего внимания, скажу больше — нежности и любви? Какие благородные чувства высказывались мне в дни, предшествовавшие появлению корзины, какие клятвы в дружбе расточались, какие до невероятия старые перочинные ножи дарились, какие великодушные признания собственной неправоты делались непреклонными прежде личностями из стана моих врагов! День рождения, прошедший под знаком запеченной в горшочках дичи и желе из гуавы, определяется для меня благородным поведением «Задиры»-Глобсона. В письмах из дому стали встречаться таинственные вопросы — очень ли меня удивит и огорчит, если в числе сокровищ грядущей корзины я обнаружу несколько горшочков с дичью и желе из гуавы, присланное из Вест-Индии? Я поведал по секрету об этих намеках кое-кому из своих товарищей и обещал раздать, насколько я теперь понимаю, целую стаю запеченных куропаток и около центнера желе из гуавы. Вот тогда-то Глобсон — больше уж не Задира — разыскал меня на спортивной площадке. Это был большой толстомясый мальчишка, с большой тупоумной башкой и большим мясистым кулаком; в начале полугодия он поставил мне на лоб такую шишку, что я не мог надеть цилиндр, отправляясь в церковь. Он сказал, что, обдумав на досуге происшедшее, он пришел теперь (четыре месяца спустя!) к заключению, что нанести удар его вынудил неправильный ход мыслей, за что он и хочет извиниться. Не довольствуясь этим, он пригнул свою большую голову и, придерживая ее огромными ручищами, чтобы мне было легче дотянуться, попросил меня, во имя торжества справедливости, поставить ему на лоб в присутствии свидетелей ответную шишку, что облегчило бы несколько муки его пробудившейся совести. Я скромно отклонил это великодушное предложение, после чего он обнял меня, и мы удалились, мирно беседуя. Разговор наш коснулся Вест-Индских островов, и, движимый жаждой знания, он спросил с большим интересом, не случалось ли мне встречать в книгах достоверного описания способа приготовления желе из гуавы и не приходилось ли мне

пробовать когда-нибудь это варенье, которое — как он слышал — необыкновенно вкусно?

Семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать... с каждым уходящим месяцем все сильнее возрастало сознание собственного достоинства, обретаемого в двадцать один год. Видит бог, я не «вступал во владение» ничем, я вступал всего лишь в совершеннолетие, но тем не менее считал, что обретаю нечто весьма ценное. В предвкушении дня, когда мне предстояло приобщиться к лику совершеннолетних, я время от времени ронял небрежные фразы, начинавшиеся словами: «Допустим, что перед вами человек, которому уже двадцать один год», или высказывал невзначай предположение, которое ни один здравомыслящий человек и не подумал бы оспаривать, а именно: «Когда человеку стукнет двадцать один, он уже не мальчишка». Чтобы ознаменовать это событие, я устроил званый вечер. На вечере присутствовала Она. Давать ей более точное наименование необязательно. Она была старше меня, и в течение трех-четырех лет ее образ полностью заполнял все складки и извилины моего мозга. Я создал много томов «Воображаемых бесед» с ее матерью относительно нашего грядущего бракосочетания и написал этой скромной женщине, прося у нее руки ее дочери, больше писем, чем Хорэс Уолпол *. У меня никогда не было ни малейшего намерения послать хотя бы одно из этих писем, но писать их, а затем через несколько дней рвать, было захватывающим времяпрепровождением. Иногда я начинал так: «Милостивая государыня! Полагаю, что женщина, одаренная столь тонкой проницательностью, каковая — я уверен — присуща вам, и относящаяся с женственной чуткостью к юным и пылким — сомнение в чем я почитал бы тягчайшим заблуждением,— вряд ли могла бы не заметить, что я люблю вашу обожаемую дочь глубоко и преданно». Находясь в менее бодром расположении духа, я начинал: «Отнеситесь терпеливо ко мне, сударыня! Отнеситесь терпеливо к несчастному, осмелившемуся поразить вас признанием, которое для вас должно явиться полной неожиданностью и которое он умоляет вас предать пламени, когда вы осознаете, на какую недосягаемую высоту завлекли его безумные мечты». В другие времена — периоды глубочайшего душевного упадка, когда Она выез-

жала на балы, на которые меня не приглашали,— черновик принимал форму душераздирающей записки, найденной на письменном столе после моего отъезда на край света. Итак: «Прошу передать эти строки миссис..., когда рука, начертавшая их, будет далеко отсюда. Я не смог вынести ежедневной пытки безнадежной любви к милому созданию, имени которого не назову. Буду ли я изнемогать от жары под солнцем Африки или стынуть от мороза на берегах Гренландии — там мне будет лучше, чем здесь. (В более трезвые минуты я понимал, что все члены семьи предмета моего воздыхания дружно разделили бы со мной это мнение.) Если когда-нибудь я вынырну из мрака неизвестности и герольды Славы возвестят мое имя миру, пусть знают все, что старался я ради нее — моей любимой. Если я накоплю когда-нибудь несметные богатства, то лишь затем, чтобы кинуть их к ее ногам. Но если вдруг я стану добычей воронов...» Боюсь, что я так и не пришел к определенному решению, как следовало мне поступить в этом печальном случае; пробовал я и «что ж, может это и к лучшему...», но, не чувствуя себя вполне убежденным, что это действительно к лучшему, я колебался, оставить ли письмо недописанным, что придавало ему вид выразительный и суровый, или закончить просто: «Итак, прощайте!»

Эта воображаемая переписка виной тому, что я отвлекся от темы. Я собирался более подробно остановиться на том, как в день, когда мне исполнился двадцать один год, я устроил вечер, на котором присутствовала Она. Это был замечательный вечер. Ни одного из окружающих одушевленных или неодушевленных предметов (кроме приглашенных и себя самого) я прежде никогда и в глаза не видел. Все было взято напрокат; наемные лакеи были мне совершенно неизвестны. За дверью, в предутренний час, когда бокалы можно было обнаружить в самых неожиданных местах, я сказал Ей... я высказал Ей все. Того, что произошло между нами, я — как порядочный человек — открыть не могу. Она была воплощением ангельской нежности, но было произнесено слово — коротенькое страшное слово, всего лишь из двух букв, начинающееся на н., которое, как я выразился тогда, «опалило мне душу». Вскоре после этого она уехала, и, когда праздная толпа

(в чем, однако, винить ее нельзя) рассеялась, я, в компании с презиравшим все на свете кутилой, отправился по злачным местам, желая, как я объяснил ему, «обрести забвение». Забвение было обретено — и отчаянная головная боль в придачу,— но хватило его ненадолго, потому что на следующий день, подняв голову с подушки, освещенной укоризненными лучами полуденного солнца, я оглянулся назад на длинную цепь отпразднованных дней рождения и снова проделал круг, неуклонно приводивший меня в конце концов к горькой соли и угнетенному состоянию духа.

Эту соль, дающую такую сильную реакцию (и поглощаемую человечеством в таких количествах, что я склонен считать ее тем «лекарством от всех болезней», поиски которого производились одно время в лабораториях), можно заменить по случаю дня рождения другим средством. Для этой цели годится чей-нибудь без вести пропавший брат, объявившийся в разгар торжества. Будь у меня без вести пропавший брат и избери он день моего рождения для того, чтобы вновь упасть в мои объятия, уж я-то заранее знал бы, что в его лице на меня надвигается обанкротившийся на жизненном пути родственничек. Первый волшебный фонарь, который мне привелось увидеть еще в весьма юном возрасте, готовили тщательно и в большой тайне ко дню рождения, но сюрприз не удался — фонарь не действовал и изображения его были очень туманны. Вполне возможно, что мне просто не везло, но, право же, все сюрпризы на взрослых приемах по случаю дней рождения обычно кончались совершенно так же. Для примера я могу привести день рождения моего друга Флипфилда, чьи приемы по этому случаю издавна славились в обществе. На этих приемах всегда царила самая непринужденная атмосфера. Обычно дня за два, за три Флипфилд просто говорил: «Не забудь, старик, про мой традиционный обед». Не знаю, с какими словами обращался он к дамам, приглашая их, но думаю, что не ошибусь, сказав, что их-то он не называл «старушками». Это бывали очень приятные обеды, доставлявшие огромное удовольствие всем участникам. В недобрый час без вести пропавший брат Флипфилда вдруг объявился где-то за границей. Где именно он пропадал и чем там занимался, я не знаю, потому что Флипфилд неопределенно пояснил

мне, что его обнаружили «на берегах Ганга», причем это звучало так, как если бы его выбросило на берег волной. Пропавший возвращался на родину, и Флипфилд, вычисляя день его приезда, увидел на беду, что, основываясь на всем известной точности прибытия судов пароходства «Пенинсулар энд Ориентал», можно устроить так, чтобы Пропавший подоспел как раз ко дню его (Флипфилда) рождения. Чувство такта заставило меня подавить мрачные предчувствия, охватившие меня, как только я услышал о такой возможности. Роковой день наступил, и мы собрались в полном составе. Всеобщее внимание привлекала миссис Флипфилд — мать новорожденного, на груди которой в нарядной, как кондитерское пирожное, овальной рамке висела испещренная голубыми трещинками миниатюра покойного супруга с напудренными волосами и блестящими пуговицами на камзоле, по всей видимости очень похожая на оригинал. Миссис Флипфилд сопровождала мисс Флипфилд, старшая из многочисленных отпрысков, которая величественным жестом прижимала к груди носовой платочек и всепрощающим, покровительственным тоном рассказывала всем и каждому (никто из нас прежде знаком с ней не был) обо всех ссорах, имевших место в семье, начиная с ее детства — что, по-видимому, было очень давно — и до наших дней. Пропавший не появлялся. Мы были приглашены к столу с опозданием на полчаса, но его все еще не было. Мы сели за стол. Прибор Пропавшего создавал пустоту в природе, и когда нас первый раз стали обносить шампанским, Флипфилд решил временно оставить надежду и приказал его убрать. В этот момент наше расположение к Пропавшему достигло наивысшей точки, а я даже почувствовал, что люблю его нежной любовью.

Обеды Флипфилда всегда превосходны, и сам он, как никто, умеет развлечь и занять своих гостей. Обед проходил блестяще, и чем дольше Пропавший не являлся, тем уютнее чувствовали себя мы и тем больше вырастал он в нашем мнении. Слуга Флипфилда (расположенный ко мне) только что вступил в борьбу с невежественным наймитом, стараясь отобрать у него жилистую ногу цесарки, которую тот попробовал было всучить мне, и заменить ее ломтиком грудки, когда звонок у парадной двери положил конец их распре. Я окинул взглядом присутствующих и

убедился, что внезапная бледность, которая, как я чувствовал, покрыла мои черты, отразилась на всех лицах. Флипфилд поспешно извинился, вышел, отсутствовал минуту-две, а затем снова появился в сопровождении Пропавшего.

Я заявляю во всеуслышание, что если бы этот незнакомец принес с собой Монблан или явился в сопровождении свиты вечных льдов, ему и тогда не удалось бы столь искусно заморозить собравшихся. Пропавший был с головы до ног воплощением законченного неудачника. Напрасно миссис Флипфилд, открыв объятия, восклицала: «Том, мой Том!», и прижимала его нос к портрету его второго родителя. Напрасно мисс Флипфилд, когда не успели еще улечься первые восторги встречи, показывала ему шрам на своей девической щечке и вопрошала, помнит ли он, как ткнул ее кухонными мехами. Мы, наблюдатели, были потрясены, и потрясло нас то, что Пропавший совершенно очевидно потерпел ничем не прикрытое, полное, окончательное и бесповоротное крушение на своем жизненном пути. Как бы он ни старался, примирить нас с ним могло только его немедленное возвращение к водам Ганга. Одновременно было установлено, что чувство это взаимно и что Пропавший питает к нам точно такое же отвращение. Когда один из друзей дома (честное слово, не я!), желая вновь завязать общий разговор, спросил Пропавшего, пока тот насыщался супом — спросил в приливе достойного похвалы дружелюбия, но с беспомощностью, заранее обрекавшей дело на провал,— что за река, по его мнению, Ганг? — Пропавший, бросив на друга дома поверх ложки гадливый взгляд, как будто перед ним было существо низшего порядка, ответил: «Река из воды, насколько я могу судить», и продолжал хлебать суп, вкладывая столько злобы в движения руки и выражение глаз, что повергло любезного гостя в полнейшее уныние. Взгляды Пропавшего по разным вопросам все до единого резко расходились с взглядами присутствующих. Не успел он еще доесть рыбу, как уже громко поспорил с Флипфилдом. Он не имел ни малейшего понятия (или делал вид, что не имеет) о том, что это день рождения его брата, и, узнав о столь интересном обстоятельстве, ничего лучшего не придумал, как накинуть ему четыре года. Это было антипатичное существо, одаренное особой способностью наступать

всем на больное место. В Америке считается, что у каждого человека есть своя «платформа». Уж если говорить о платформе, то я сказал бы, что у Пропавшего она сплошь состояла из мозолей окружающих, наступая на которые изо всех своих сил, он и добрался до своего настоящего положения. Нужно ли говорить, что великолепный праздник Флипфилда провалился окончательно и бесповоротно и что сам он, когда я, прощаясь, притворно высказывал пожелание еще много раз присутствовать на подобных радостных торжествах, пребывал уже в совершенно расстроенных чувствах.

Есть и другой вид дней рождения, присутствовать на которых мне приходилось столь часто, что, по сложившейся у меня уверенности, они должны быть широко известны роду человеческому. Примером может служить день рождения моего приятеля Мэйдея. Гости его ничего общего между собой не имеют и встречаются один-единственный раз в году в этот день, и каждый год уже за неделю начинают замирать от ужаса при мысли о том, что снова увидят друг друга. Почему-то принято делать вид, будто существуют какие-то особые причины, заставляющие нас особенно радоваться и веселиться по этому случаю, хотя на самом деле мы испытываем, мягко выражаясь, мрачное уныние. Но самое удивительное — это молчаливый уговор, по которому все мы тщательно избегаем разговоров о радостном событии, стараемся оттянуть их насколько возможно и говорить о чем угодно, только не о нем. Более того, я готов утверждать, что по немому соглашению мы прикидываемся, что это вовсе не день рождения Мэйдея. Какой-то таинственный и угрюмый субъект, по слухам учившийся с Мэйдеем в одной школе, долговязый и до того тощий, что вид его внушает серьезные сомнения в достаточности питания, предоставлявшегося учреждением, где совместно обучались они оба, обычно ведет нас, так сказать, на заклание и, ухватив страшной лапой графин, просит нас наполнить бокалы. Ухищрения и уловки, к которым на моих глазах прибегали окружающие, чтобы както оттянуть роковой момент и не допустить этого человека к его цели, поистине неисчислимы. Я знавал доведенных до отчаяния гостей, которые, завидев страшную лапу, тянущуюся к графину, начинали возбужденно, без

всякой связи с предыдущим, бормотать: «Да, кстати...» — и пускались в нескончаемое повествование. Когда же в конце концов лапа и графин соединяются воедино, дрожь — очевидная, ощутимая дрожь охватывает по очереди всех сидящих за столом. Мы встречаем напоминание о том, что сегодня — день рождения Мэйдея так, словно это годовщина какого-то очень постыдного события, случившегося с ним, а мы собрались, чтобы как-то его утешить. И после тоста за здоровье Мэйдея и пожеланий ему всех благ и долгих лет жизни, нас на минуту охватывает какая-то мрачная веселость, какое-то неестественное оживление, очень похожее на лихорадочное состояние только что перенесшего операцию больного.

Празднества подобного рода имеют, помимо частной, еще и общественную сторону. Удачный пример тому — «город моего отрочества» Скукотаун. Скукотауну потребовалось отыскать какого-нибудь бессмертного уроженца, чтобы всколыхнуть ненадолго воды застоявшегося болота. Отчасти это было нужно самому Скукотауну, но в особенности содержателю лучшей в городе гостиницы. В поисках бессмертных уроженцев этих мест была проверена вся история графства, но все зарегистрированные местные знаменитости оказались ничтожествами. При таком положении вещей нечего и говорить, что Скукотаун поступил так, как поступает всякий человек, задумавший написать книгу или прочитать лекцию и располагающий всем необходимым материалом, за исключением темы. Он обратился к Шекспиру.

Не успели еще в Скукотауне окончательно решить вопрос о праздновании дня рождения Шекспира, как популярность бессмертного барда достигла небывалых размеров. Можно было подумать, что первое издание его трудов появилось в печати всего лишь неделю тому назад и что восторженные жители Скукотауна уже наполовину одолели их (к слову сказать, я сомневаюсь, чтобы они прочли хотя бы четвертую их часть, но это мое частное мнение!). Молодой джентльмен с сонетом, два года вынашивавший его в уме, что ослабило его мозги и расшатало колени, поместил свой сонет в «Скукотаун Уорден» и прибавил в весе. Портреты Шекспира заполонили витрины книжных магазинов, а наш лучший художник написал

маслом большой портрет, который повесили в клубной столовой. Этот портрет был ничуть не похож на все другие портреты и вызвал чрезвычайное восхищение, ибо голова поэта подавляла размерами. «Дискуссионный Клуб» открыл дебаты по новому вопросу, а именно — имеется ли достаточно оснований считать, что бессмертный Шекспир воровал когда-нибудь дичь? Подавляющее большинство с возмущением отвергло это предположение; по правде сказать, за возможность браконьерства голосовал только оратор, отстаивавший это мнение и вызвавший своим выступлением сильнейшую неприязнь, особенно среди «шалопаев» Скукотауна, осведомленных в данном вопросе не хуже всех остальных. Были приглашены прославленные ораторы, еще немного — и они бы приехали (однако не хватило этого немногого). Выпускались подписные листы, заседали комитеты, и вряд ли жители города очень обрадовались бы, если бы в разгар всей этой суматохи их известили о том, что Скукотаун вовсе не Стрэтфорд-на-Эвоне. Но случилось так, что когда после всех этих приготовлений наступил торжественный день и высоко водруженный портрет воззрился на присутствующих с таким видом, как будто ждал, что среди них вот-вот взорвется мина интеллекта и все взлетит на воздух, по непостижимой загадочной природе вещей не нашлось ни одного человека, которого смогли бы убедить не только коснуться Шекспира вкратце, но даже обмолвиться о нем хотя бы словечком, пока лучший оратор Скукотауна не поднялся, чтобы выступить со словом, посвященным бессмертной памяти. Неожиданным, повергшим всех в недоумение следствием его выступления было то, что не успел он раз шесть повторить великое имя и столько же минут пробыть на ногах, как на него со всех сторон обрушились угрожающие возгласы: «Ближе к делу!»

## XXI

### *Школы сокращенной системы*

Всего лишь в нескольких ярдах от моей квартиры в Ковент-Гардене и всего лишь в нескольких ярдах от Вестминстерского Аббатства, собора св. Павла, здания парла-

мента, тюрем, судебных палат, от всех учреждений, которые управляют страной, прямо на улицах я могу натолкнуться — и *обязательно* натолкнусь, хочу я того или нет — на постыдное зрелище брошенных на произвол судьбы детей, на недопустимое попустительство, приводящее к непрерывному пополнению рядов нищих, тунеядцев, воров, целых поколений жалких и вредных калек, калек телом и духом, жизнь которых — мученье для них самих, мученье для общества, позор для цивилизации и поругание христианства. Для меня ясно, как дважды два четыре, что если бы государство взялось за дело и, исполняя свой долг, властной рукой забирало, пока не поздно, этих детей с улиц и разумно воспитывало их, то из них можно было бы создать частицу славы Англии, а не ее бесчестия, мощи Англии, а не ее слабости, а из потомства преступной части населения можно было бы вырастить хороших солдат и матросов, хороших граждан и немало великих людей. И все же я продолжаю мириться с этим чудовищным положением, как будто это просто пустяки; я продолжаю читать отчеты о парламентских дебатах, как будто это вовсе не пустяки, и меня гораздо больше тревожит вопрос постройки одного железнодорожного моста через оживленную улицу, чем судьбы десятка поколений, жизнь которых определяется золотухой, невежеством, развратом, проституцией, нищетой и уголовными преступлениями. Мне достаточно выйти из дому в любой час после полуночи и сделать всего лишь один круг по переулкам, прилегающим к Ковент-Гарденскому рынку,— чтобы своими глазами увидеть детей и подростков, находящихся в положении столь пагубном, что можно подумать, будто на английском престоле восседает какой-нибудь Бурбон *. И на все это хладнокровно взирают полчища полисменов, облеченных властью лишь за тем, чтобы травить и преследовать гнусных тварей, загоняя их в темные углы и оставляя там. Всего лишь в нескольких кварталах отсюда стоит работный дом, но дело там ведется настолько дурно и с таким тупым, близоруким упрямством, что огромные возможности помочь детям, попавшим туда, теряются безвозвратно, и притом безо всякой выгоды для кого бы то ни было. Но... колесо все вертится, вертится и вертится, а коль

скоро оно вертится, значит — как вежливо уверяют меня люди авторитетные,— все идет хорошо.

Так раздумывал я, когда, выбрав денек на следующей за троицей неделе, проплывал на пароходике под многочисленными мостами Темзы, посматривая — с понятным интересом — на свисавшие кое-где с грязных лестниц крючья, при помощи которых вытаскивают утопленников, и на множество приспособлений, созданных как бы нарочно для того, чтобы крючья эти не болтались без дела. Цель моего тогдашнего путешествия не по торговым делам повернула мои мысли в другое русло, и я задумался вот над чем.

Интересно, что за таинственная связь существовала между нами в школе, когда после нескольких часов прилежного сидения над книгами внимание всех семидесяти мальчиков, одним из которых был я, внезапно рассеивалось? Интересно, откуда у нас бралась изобретательность в достижении того смутного душевного состояния, когда смысл становится бессмыслицей, задачи никак не решаются, когда мертвые языки не переводятся, живые языки ни за что не складываются в фразы, когда память не приходит, а тупость и рассеянность упорно не желают уходить. Я не припомню, чтобы мы когда-нибудь сговаривались быть сонными после обеда или испытывали особое желание поглупеть, сидеть с горящими щеками и жарко пульсирующей в висках кровью, или с полной безнадежностью тупо смотреть вечером на то, что станет совершенно ясным и понятным в прохладе завтрашнего утра. А ведь нас за это наказывали, и это доставляло нам множество неприятностей. Не связывала же нас какая-то клятва или торжественное обязательство, когда по истечении определенного времени нам всем как одному стулья вдруг начинали казаться такими твердыми, что сидеть на них было просто невозможно, или когда невыносимая судорога сводила ноги, вызывая в них воинственность и злобу, или вдруг подобное явление возникало в локтях, которые втыкались в бока соседей, за чем следовал удар кулаком, или когда фунта два свинца скапливались вдруг в груди и еще фунта четыре в голове, и несколько огромных мух принимались деловито жужжать в каждом ухе. Тем не менее все эти беды одолевали нас, и нам вечно ставили их

в укор, как будто мы их нарочно сами на себя навлекали. Что касается умственной стороны страданий — в которых я был якобы сам виноват,— я хотел бы задать на этот счет вопрос любому опытному и образованному педагогу, если не психологу. Ну, а что касается стороны физической — этот вопрос мне хотелось бы задать профессору Оуэну *.

Случайно у меня оказалось с собой несколько статей на тему о так называемой «Системе сокращенного обучения» в школах. Просмотрев одну из этих статей, я узнал, что неутомимый мистер Чэдвик опередил меня и уже задал мой вопрос профессору Оуэну, который благосклонно ответил, что вины моей тут никакой не было, что докучал мне мой скелет и что, будучи сотворенными согласно определенным законам природы, и я и мой скелет были, к сожалению, подчинены в своих действиях этим законам — даже в школе — и, следовательно, вели себя соответственно. Весьма утешенный поддержкой уважаемого профессора, я продолжал читать, желая выяснить, не коснулся ли неутомимый мистер Чэдвик и умственной стороны моих страданий. Оказалось, что он коснулся и ее и привлек на мою сторону сэра Бенджамина Броди, сэра Дэвида Уилки *, сэра Вальтера Скотта, а также здравый смысл всего рода человеческого. За что я прошу мистера Чэдвика — если ему попадутся на глаза эти строки — принять мою искреннюю признательность.

До того времени я еще сомневался: а может, и правда, какая-то злая воля постоянно объединяла семьдесят ни сном, ни духом не повинных несчастных, к числу которых принадлежал и я, в тайном заговоре — вроде заговора Гая Фокса *,— обрекая их после определенного периода непрерывных занятий скрываться в подземелья, где они должны были ощупью бродить с потайными фонарями. Но теперь сомнения мои рассеялись, и, успокоенный, я продолжал свой путь по реке с намерением посмотреть «Сокращенную систему» в действии. Ибо в этом-то и заключалась цель моего путешествия, сначала на пароходике по Темзе, а затем по очень грязной железной дороге по суше. Последнему предприятию я рекомендовал бы употреблять в качестве топлива для паровоза предусмотренный правилами кокс, вместо не предусмотренного ими каменного угля. Совет дается вполне бескорыстно, так как я был

очень щедро снабжен мелким углем во время поездки и, надо сказать, совершенно бесплатно. Углем оказались забиты не только мои глаза, нос и уши, но даже шляпа, все карманы, бумажник и часы.

Эта самая ОГМЖД (или очень грязная и маленькая железная дорога) доставила меня почти до места назначения, и очень скоро я отыскал «Сокращенную систему», разместившуюся в просторном помещении, где мне любезно предложили чувствовать себя как дома.

Что я хотел бы увидеть прежде всего? Я избрал строевое ученье. «Смир-р-на!» И мгновенно на мощеном дворе сто мальчиков как один вытянулись в струнку — смышленые, проворные, решительные, не сводящие глаз с командира, готовые немедленно выполнить любую его команду. Упражнения доведены до совершенства, так что нельзя было ни на слух, ни на глаз уловить ни малейшей неточности, а готовность, с какой они исполнялись, удивительным образом разнообразила упражнения и оживляла их. В совершенно одинаковые движения каждый вносил что-то свое и, кроме того, старался перещеголять всех остальных. Сомнений быть не могло — учение мальчикам нравилось. Иначе, конечно, унтер-офицерам, рост которых варьировался от одного ярда до полутора, едва ли удалось бы добиться таких результатов. Мальчики маршировали взад и вперед, выстраивались в шеренгу и в каре, становились повзводно, маршировали в затылок и парами, выполняли всевозможные повороты — и все это они делали превосходно. Что же касается радостного и к тому же осмысленного выражения их лиц,— что, насколько я понимаю, совершенно недопустимо в английских войсках,— то мальчики эти скорее всего напоминали французских солдатиков. Когда была дана команда «Вольно!» и за этим последовали упражнения с палашами, для которых понадобилось сравнительно небольшое количество участников, мальчики, оказавшиеся не у дел, либо остались тут же, внимательно наблюдая, либо занялись гимнастикой неподалеку. Можно только восхищаться тем, как крепко держались на своих коротких ногах эти мальчуганы с палашами и как уверенно они защищались в любой позиции.

Упражнения с палашами закончились, и вдруг все страшно оживились и ринулись куда-то. Морское учение!

В углу спортивного поля стояла модель корабля с палубами, с настоящими мачтами, реями и парусами, с грот-мачтой семидесяти футов высотой! По команде капитана корабля — бывалого моряка с лицом словно вырезанным из красного дерева и неизбежной табачной жвачкой за щекой, с настоящей морской походкой, в общем самого что ни на есть настоящего морского волка — рой мальчиков облепил снасти, а один из них, первым прыгнувший на ванты, перегнал всех остальных и в мгновение ока очутился на клотике грот-мачты.

И вот мы чудесным образом оказались в море, и все — сам капитан, команда, путешественник не по торговым делам, и вообще весь экипаж — безоговорочно поверили, что нельзя терять ни минуты, что ветер переменил направление и крепчает и что мы отправляемся в кругосветное путешествие. Поднять все паруса! А ну живей, ребята! По реям! Не зевать там на нокбензеле! Пободрей! Отдать шкоты! Эй, вы, на брасах, приготовиться! Поживей там наверху! Закрепить снасти с правой стороны! Горнист! А ну, горнист, вперед — играй! Вперед выскакивает горнист, в руке горн — самого от земли не видно,— на лбу шишка (совсем недавно он растянулся, запнувшись о булыжник) — он играет что есть мочи. Ур-р-ра, горнист! Живей, ребята! Поддай им жару, горнист! Горнист поддает жару. Возбуждение растет. Отдать рифы, ребята! Молодцы! Теперь небось будет слушаться. Вот так! Все паруса подняты, ветер дует прямо с кормы, и корабль несется вперед, рассекая волны со скоростью пятнадцати узлов.

В тот момент, когда все, казалось, благоприятствовало плаванию, я поднял тревогу, крикнув: «Человек за бортом!» (на усыпанном гравием дворе), но его немедленно вытащили, и он ничуть не пострадал от падения. Вскоре я обнаружил за бортом и самого капитана, но воздержался от замечаний на этот счет, так как по всей видимости это обстоятельство его ничуть не огорчало. И действительно, скоро я стал рассматривать капитана как некое земноводное — он так часто бросался за борт, чтобы оттуда наблюдать за матросами на марсе, что больше времени проводил в объятиях океана, чем на палубе. Удивительно отрадно было видеть, как он горд своей командой, и не менее при-

ятно было слушать его приказания, обычно непонятные для всякой сухопутной шушеры, вроде путешественников не по торговым делам и прочей деревенщины, но всегда понятные для экипажа. Но вечно так продолжаться не могло. Корабль вошел в полосу скверной погоды, затем погода еще ухудшилась, и, когда мы никак этого не ожидали, очутился пред лицом страшнейших испытаний. Может быть, тому был причиной ослабнувший винт в штурманской рубке? Во всяком случае, что-то где-то было не в порядке. Впереди буруны, ребята! С подветренной стороны берег! Нас несет прямо на него! В голосе капитана, когда он делал это потрясающее сообщение, звучала такая тревога, что маленький горнист, который больше уже не трубил, а, зажав свой горн под мышкой, стоял возле колеса, посматривая по сторонам, казалось, забыл на мгновение, что это игра; однако и он быстро пришел в себя. В последовавший за этим трудный час капитан и команда оказались достойными друг друга. Капитан ужасно охрип, но тем не менее оставался хозяином положения. Рулевой творил чудеса, весь экипаж (за исключением горниста) по команде «Свистать всех наверх» принял участие в повороте через фордевинд. В минуту чрезвычайной опасности я видел, как горнист достал из нагрудного кармана какую-то бумагу — по-моему, это было его завещание. Как мне кажется, мы на что-то наскочили. Сам я толчка не ощутил, но видел, что капитана поминутно то смывало за борт, то заносило волной обратно, и могу приписать это исключительно лавировке. Не такой я бывалый моряк, чтобы описывать маневры, при помощи которых нам удалось спастись, знаю только, что капитан был страшно разгорячен (его вырезанное из красного дерева лицо совсем побагровело), команда на лету ловила его приказания и сделала чудо, потому что через несколько минут после первой тревоги мы уже повернули корабль через фордевинд, вывели его из опасного места, и притом в полной форме, за что я был чрезвычайно благодарен судьбе. Не могу сказать, чтобы я понимал, что это значит, но подозревал, что последнее время мы были совсем не в форме. Теперь у нас с наветренной стороны появилась земля, и мы держали курс на нее при боковом ветре, постоянно сменяя рулевых, чтобы никого не обидеть. Мы благопо-

лучно вошли в гавань, убрали паруса, отбрасопили реи, навели полный порядок и лоск, и тем закончили свое плаванье. Прощаясь, я поблагодарил капитана за его старанья и за старанья его доблестной команды, и он сообщил мне, что последняя подготовлена ко всему самому худшему, что все члены экипажа учатся нырять и плавать, и прибавил, что особенно отличается в этом деле матрос первой статьи, сидевший на клотике брамфлагштанга,— ему что на самую высокую мачту влезть, что на глубину, равную высоте этой мачты, нырнуть — все нипочем!

Следующим сюрпризом, ожидавшим меня в школе «Сокращенной системы», оказалось внезапное появление военного оркестра. Я занялся было осмотром коек команды славного корабля, как вдруг с изумлением увидел, что несколько духовых инструментов, медных и огромных, неожиданно обрели две ноги каждый и забегали рысцой по двору. Мое изумление усилилось еще больше, когда я увидел, что большой барабан, который до этого стоял, беспомощно прислонившись к стене, тоже вдруг встрепенулся и твердо встал на четыре ноги. Подойдя к барабану поближе и заглянув за него, я обнаружил двух мальчуганов (одному барабан был не под силу); обнаружил я также, что и за каждым медным инструментом скрывалось по мальчику и что инструменты эти вот-вот начнут издавать мелодичные звуки. Мальчики — не исключая горниста, который играл теперь на другом инструменте,— были одеты в опрятные форменные мундирчики и стояли кружком, каждый перед своим пюпитром — совсем как заправский оркестр. Они сыграли марш-другой, затем последовало «А ну живей, ребята!», затем «Янки Дудл»; закончен же концерт был, как того требовали верноподданнические чувства, исполнением «Боже, храни королеву!» *. Оркестр играл просто замечательно, и нет ничего удивительного, что ученики в полном составе внимали ему с выражением живейшего интереса и удовольствия.

Чем же еще могли блеснуть ученики школы «Сокращенной системы»? Словно поднятый сильной струей воздуха, вырвавшейся из медных труб, я очутился в огромной классной комнате; там же вместе со мной очутились и все хоровые силы школы, которые тут же принялись воспевать прелести летнего дня под аккомпанемент фис-

гармонии; и мой маленький ростом, но высокочтимый друг горнист выводил голосом такие рулады, словно он копил для этого случая дыхание по крайней мере весь последний год. Все же остальные члены команды корабля «Безымянного» поднимались на самый верх и спускались вниз нотного стана с той же легкостью, с какой они одолевали подъемы и спуски по реям корабля.

В заключение мы с большим чувством исполнили «Благослови, боже, принца Уэльского!» и благословляли его королевское высочество до такой степени, что я с трудом отдышался, когда мы закончили. Разделавшись с хоровыми занятиями, мы с великолепной бодростью образовали мгновенно несколько каре и принялись за устные уроки, как будто никогда ничем другим не занимались и никогда ни о чем другом не думали.

Не будем распространяться о бесславном положении, в котором мог бы очутиться путешественник не по торговым делам, скажем лишь, что выручило этого хитрого индивидуума лишь глубокомысленное молчание. Возьмите пять в квадрате, умножьте на пятнадцать, разделите на три, вычтите из полученной разности восемь и прибавьте четыре дюжины. Дайте ответ в пенсах и скажите, сколько яиц можно купить на эти деньги по три фартинга штука? Едва только условия продиктованы, как с десяток мальчуганов уже выпаливают ответы. Некоторые от истины далеки, другие — очень близки, у некоторых мысль работает так точно, что сразу же можно определить, какое именно звено цепочки второпях выпало. Пока что вполне правильного ответа нет ни одного, но взгляните, как ходят ходуном пуговицы на жилете — материальной оболочке духа, занятого упорными вычислениями, как этот дух заставляет хмуриться случайную шишку на материальном лбу в процессе напряженной работы над задачей, которая решается в уме! Это мой уважаемый друг (если он позволит мне так называть себя) — горнист. Правая рука его нетерпеливо тянется в знак того, что его осенило решение, правая нога выставлена вперед. Горнист разрешает загадку, затем отзывает на место руку и ногу и, прикрывая шишку, ждет следующей головоломки. Возьмите три в квадрате, умножьте на семь, разделите на четыре, прибавьте пятьдесят, вычтите тринадцать, умножьте на два,

удвойте. Дайте ответ в пенсах и скажите, сколько получится полупенсов. Мудрый, как змий, музыкант, ростом не более четырех футов, который играет на извивающейся подобно этому пресмыкающемуся трубе, мгновенно вскидывает руку и тушит арифметический пожар. Расскажите что-нибудь о Великобритании, расскажите что-нибудь о главных предметах ее производства, расскажите что-нибудь о ее портах, расскажите что-нибудь о ее морях и реках, расскажите что-нибудь об угле, железе, хлопке, лесе и скипидаре. Каре ощетинивается лесом поднятых правых рук. По-прежнему не отступает ни на шаг от истины горнист, всегда мудр, как змий, четырехфутовый музыкант, всегда бодры и блистательны в ответах все оркестранты. Я замечаю, что цимбалист время от времени кидается на заданный вопрос очертя голову, лишь бы только не остаться в стороне, но таковы уж, по-видимому, повадки его инструмента. Все эти вопросы и много других, им подобных, задает с места в карьер человек, которому никогда не приходилось экзаменовать этих мальчиков. Приглашают задать несколько вопросов и путешественника, и он, запинаясь, вопрошает, сколько рождений будет у человека, родившегося двадцать девятого февраля, к тому времени, когда ему исполнится пятьдесят лет? Ощущение, что где-то здесь кроется ловушка и подвох, мгновенно охватывает всех, и вот горнист уже исчезает за вельветовыми куртками ближайших соседей, испытывая, по-видимому, настоятельную потребность собраться с мыслями и углубиться в себя. Тем временем змеиная мудрость высказывает гипотезу, что у этого человека будет только одно рождение за все это время, потому что разве может быть у человека больше одного рождения, при том, что он только один раз рождается и только один раз умирает? Посрамленный путешественник признает правоту замечания и меняет формулировку вопроса. Все погружаются в размышления, предлагаются несколько ошибочных ответов, и цимбалист выпаливает «шесть!», а почему шесть — и сам не знает. Но тут из своей Академической рощи скромно выходит горнист; правая рука его вытянута, правая нога вперед, шишка отливает всеми цветами радуги: «Двенадцать и два в остатке!»

Не ударили лицом в грязь и ученицы женской школы

«Сокращенной системы». Вполне возможно, что они выдержали бы испытание с еще большей честью, если бы их молоденькая учительница-практикантка была более приветлива. Ибо, мой юный друг, холодный взгляд и суровое обращение никоим образом не являются мощным двигателем, как вы в своей наивности полагаете. И девочки и мальчики отлично писали — и под диктовку и списывая готовые тексты; и те и другие умели стряпать; и те и другие умели починить свое платье; и те и другие умели быстро и ловко прибрать все вокруг. Вдобавок к этому, девочки еще приобретали знания по домоводству. Система и порядок чувствовались уже в песенках, которые распевались в детском приюте, где мне тоже удалось побывать; в зачатке их можно было обнаружить и в приюте для самых маленьких, куда с радостными криками утащили трость путешественника и где «доктор» — двухлетний медик, получивший свой диплом в ночь, когда его нашли под дверью аптекаря,— принимал гостей с отменной вежливостью и радушием.

Эти школы славились уже давно, задолго до появления «Сокращенной системы». Впервые я видел их лет двенадцать — пятнадцать тому назад. Но после введения «Сокращенной системы» здесь было наглядно доказано, что восемнадцать часов в неделю, проведенных за книгами, приносят гораздо больше пользы, чем тридцать шесть, и что ученики стали теперь гораздо живее и смышленее, чем прежде. Было также неожиданно доказано благотворное влияние музыки на всех детей. Совершенно очевидно, что значительное сокращение стоимости и срока обучения дает еще одно огромное преимущество этой системе образования. Продолжительность обучения особенно важна, ибо неимущим родителям обычно не терпится поскорее начать пожинать плоды трудов своих детей.

На это могут возразить: во-первых, все это прекрасно, но чтобы добиться успеха, необходимо иметь соответствующие условия, которые найдутся далеко не везде, да и детей нужно специально подбирать. Во-вторых, все это прекрасно, но, по всей вероятности, очень дорого. В-третьих, все это прекрасно, но доказательств хороших результатов пока еще нет, сэр, их нет!

Относительно первого пункта — соответствующих условий и подбора детей. Годятся ли трущобы Лаймхауза для того, чтобы устроить там детский рай? И можно ли считать законно- и незаконнорожденных детей нищих грузчиков, обитающих в этом береговом районе, исключительно подходящими для подобного эксперимента? А между тем школы, о которых я говорю, находятся в Лаймхаузе, и это школы Приходского Совета Степни для детей бедноты.

Относительно второго пункта — дороговизны. Можно ли считать шесть пенсов в неделю чрезмерным расходом на образование одного ученика, если сюда входит и жалованье учителям и даже их питание? Ну а что, если расход не шесть пенсов в неделю и даже не пять? Все это обходится всего лишь в четыре с половиною пенса!

Относительно третьего пункта — но ведь доказательств-то пока еще нет, сэр, их нет! А разве недостаточное доказательство, что «Сокращенная система» дала гораздо больше действительно отвечающих своему назначению учителей-практикантов, чем «Несокращенная»? Или что ученики школ «Сокращенной системы» в состязаниях по правописанию одержали верх над учениками первоклассной приходской «Несокращенной» школы? Или что воспитанники школы — юнги так нужны торговому флоту, что капитаны с образцовой репутацией более чем охотно принимают этих мальчиков на свои корабли и притом совсем безвозмездно, тогда как прежде их приходилось отдавать в ученье и платить по десять фунтов с каждого в большинстве случаев какой-нибудь корыстной скотине (в образе пропойцы-капитана), часто исчезавшей раньше срока, если — не выдержав жестокого обращения — еще раньше не исчезал сам мальчик? Или что этих мальчиков высоко ценят в военном флоте, который они и сами предпочитают, потому что «там везде чистота и порядок»? Или, быть может, доказательством послужат заявления капитанов военного флота, которые пишут: «Трудно ждать лучшего от ваших маленьких воспитанников»? Или, быть может, доказательством послужит следующее свидетельство: «Посетивший школу судовладелец рассказал, что, когда во время последнего плавания его корабль, имея на борту одного из воспитанников школы, проходил Ламанш, лоц-

ман заметил: «Жаль, что бом-брамсель поднят. Лучше бы его спустить». Не ожидая приказания и не замеченный лоцманом юнга, принятый на корабль прямо из школы, мгновенно залез на мачту и спустил бом-брамсель. Когда, немного погодя, лоцман снова бросил взгляд на мачту и увидел, что парус спущен, он воскликнул: «Кто же это расстарался?» — на что бывший на корабле судовладелец ответил: «Да это тот парнишка, которого я взял всего два дня тому назад». После чего лоцман сразу же спросил: «Где же это его так выучили?» Мальчик никогда до той поры не видел моря и ни разу не был на настоящем корабле. Или, быть может, доказательством послужит то, что Приходский Совет Степни не успевает удовлетворять все запросы, поступающие на этих мальчиков из военных оркестров? Или что за три года девяносто восемь из них поступили в полковые оркестры? Или что оркестр одного только полка принял двенадцать человек? Или что командир этого самого полка пишет: «Мы бы взяли еще шестерых. Отличные ребята!» Или что один из мальчиков — все в том же полку — стал уже помощником капельмейстера? Или что люди, возглавляющие самые разнообразные предприятия, тянут в унисон: «Побольше бы нам таких мальчиков — они проворны, они послушны, на них можно положиться»? Видел я и другие доказательства своими собственными не торговыми глазами, хотя и не полагаю себя вправе упоминать, какое общественное положение занимают сейчас некоторые весьма почтенные мужчины и женщины, бывшие некогда нищими, призреваемыми Приходским Советом Степни.

Мне нет нужды утверждать, какие замечательные солдаты могут выйти из некоторых мальчиков. Многих из них привлекает военная служба, и как-то раз, когда один из бывших воспитанников зашел навестить родную школу в полном кавалерийском обмундировании, да еще и при шпорах, мальчиков обуяло возбуждение дотоле неслыханное, так им захотелось попасть в кавалерийский полк и стать обладателями столь же великолепных атрибутов. Из девушек выходят отличные служанки. Время от времени они собираются в школе группами человек по двадцать, а то и больше, чтобы взглянуть на свои классы, выпить чаю со своими бывшими учителями, послушать школьный ор-

кестр, посмотреть на знакомый корабль, мачты которого высятся над соседними крышами и трубами. Что касается физического здоровья воспитанников школ, то оно настолько хорошо (по той простой причине, что все гигиенические правила продуманы так же тщательно, как и вся система образования), что когда инспектор мистер Тэфнел впервые упомянул этот факт в своем отчете, то — вопреки его отменной репутации — возникли подозрения, что он допустил, сам того не ведая, какую-то чрезвычайно грубую ошибку или преувеличение. Прекрасно и нравственное здоровье этих школ (где не знают телесных наказаний), высоко стоит там и правдивость. Когда корабль был только что построен, мальчикам запретили залезать на него, пока, во избежание несчастных случаев, не будут натянуты сетки, которые сейчас всегда на месте. Некоторые мальчики, снедаемые любопытством, ослушались, вылезли на рассвете из окна и вскарабкались на мачту. Один из них, к несчастью, сорвался и разбился насмерть. Против остальных не было никаких улик, однако всех мальчиков собрали, и председатель совета попечителей обратился к ним со следующими словами: «Я ничего не могу обещать вам, вы сами видите, какое случилось несчастье. Вы знаете, сколь тяжек проступок, который привел к таким последствиям. Я не могу сказать вам, какая участь ждет совершивших этот проступок, но, мальчики, вас учили ставить правду превыше всего. Я хочу знать правду! Кто виноват?» И сразу же все мальчики, которые лазили на корабль, отделились от остальных и выступили вперед.

Джентльмен этот весь свой ум и всю душу (и, надо сказать, прекрасный ум и прекрасную душу) уже много лет подряд целиком отдавал и продолжает отдавать этим школам, которым очень посчастливилось иметь такого замечательного руководителя. Кроме того, школы Приходского совета Степни не могли бы быть такими, каковы они сейчас, если бы совет попечителей не состоял из столь ревностных и гуманных людей, наделенных подлинным чувством ответственности. Но что может сделать в этой области одна группа людей, то может сделать и другая. Это благородный пример для всех обществ и союзов, это благородный пример для государства! Если следовать

этому примеру, если его распространять, силой принуждая дурных родителей подчиняться, то лондонские улицы будут очищены от возмущающего глаз зрелища — мириадов детей, самое существование которых противоречит словам нашего спасителя, так как пребывают они пока что не в царствии небесном, а скорее в преисподней. Очистить наши улицы от позора и нашу совесть от угрызения? Ах! Очень кстати звучит вопрос в перекличке лондонских колоколов:

Придут ли те дни?
Гудела Степни.

## XXII

### *На пути к Большому Соленому Озеру*

Итак, жарким июньским утром я направляюсь к кораблю переселенцев. Путь мой лежит через ту часть Лондона, которая известна посвященным под названием «Там, в Доках». «Доки» служат приютом очень многим — слишком многим, насколько я могу судить по избытку населения на улицах,— однако обоняние подсказывает мне, что тех, для кого они действительно «приют благоуханный», можно легко сосчитать по пальцам. «Доки» — это место, которое я избрал бы для посадки на корабль, если бы вздумал навсегда покинуть свою страну. В этом случае намерение мое показалось бы мне удивительно разумным: моим глазам представилось бы много такого, от чего следует бежать.

«Там, в Доках» едят самых больших устриц и разбрасывают самые шершавые устричные раковины, которые видели когда-либо потомки святого Георгия и Дракона *. «Там, в Доках» поглощают самых слизистых улиток, соскребая их, по-видимому, с окованных медью днищ кораблей. «Там, в Доках» овощи в овощной лавке приобретают просоленный и чешуйчатый вид, словно их скрестили с рыбой и морскими водорослями. «Там, в Доках» матросов «кормят» в харчевнях, трактирах, кофейнях, лавчонках, где торгуют одеждой, в лавчонках, где продают в долг, в самых разнообразных лавчонках, не все из которых

можно упоминать в обществе — кормят самым что ни на есть разбойничьим образом, беспощадно выкачивая из них деньги. «Там, в Доках» матросы средь бела дня бродят посреди улицы с вывороченными наизнанку карманами и с такими же мозгами. «Там, в Доках» бродят по улицам разряженные в шелка дщери Британии, владычицы морей; их непокрытые локоны треплются по ветру, яркие косынки развеваются на плечах, а кринолинов — хоть отбавляй! «Там, в Доках» каждый вечер можно услышать, как несравненный Джо Джексон воспевает на волынке британский флаг, и каждый день можно посмотреть в паноптикуме за один пенни и без всякой очереди, как он убивает полисмена в Эктоне * и как его за это казнят. «Там, в Доках» можно купить колбасы и сосиски всех сортов: вареные и копченые, приготовленные всеми возможными способами; главное, не вдумываться, что в них входит, помимо специй. «Там, в Доках» сыны Израиля, забравшись в первую попавшуюся темную каморку или подворотню, которую им удается снять, развешивают матросские товары: мельхиоровые часы, клеенчатые шляпы с большими полями, непромокаемые штаны. «Ведь это же вещь, а, Джек!» «Там, в Доках», выставляя полный костюм мореплавателя, эти торговцы натягивают его просто на каркас, не заботясь о таких условностях, как восковая голова в шляпе, и воображаемый обладатель этого костюма обычно бывает представлен беспомощно свисающим с нок-реи, после того как все его мореходные и землеходные испытания остались позади. «Там, в Доках» вывески магазинчиков обращаются к покупателю запросто, как к давнишнему знакомому: «Погоди-ка, Джек!», «Специально для вас, ребятки!», «Курите нашу мореходную смесь за два шиллинга девять пенсов!», «Все для британского морячка!», «На корабле!», «Сплеснить брасы!», «А ну, ребята, не горюй — зайди тоску развей! Ты пиво наше не пивал? Отведай же скорей!» «Там, в Доках» ростовщики ссужают деньги под носовые платки, расписанные в виде британского флага; под часы, у которых по циферблату ходят малюсенькие кораблики, равномерно поклевывая носом; под телескопы, под навигационные инструменты в футлярах и тому подобные вещи. «Там, в Доках» аптекарь начинает дело буквально ни с чем, торгуя

главным образом корпией и пластырем, чтобы заклеивать раны — без ярких пузырьков и без маленьких ящичков. «Там, в Доках» захудалый гробовщик похоронит вас почти даром, после того как какой-нибудь малаец или китаец всадит вам нож в спину уж совсем задаром, так что трудно рассчитывать на более дешевый конец. «Там, в Доках» любой пьяный может ввязаться в ссору с любым пьяным или трезвым, и все окружающие примут в ней участие, так что ни с того ни с сего вас может закрутить водоворот из красных рубашек, всклокоченных бород, косматых голов, голых татуированных рук, дщерей Британии, злобы, грязи, бессвязных выкриков и безумия. «Там, в Доках» день и ночь пиликают скрипки в трактирах и, покрывая их назойливые звуки и вообще все окружающие звуки, пронзительно кричат бесчисленные попугаи, привезенные из далеких краев, и вид у них такой, будто они чрезвычайно удивлены тем, что увидели на наших берегах. Быть может, попугаи не знают — а быть может, и знают,— что через «Доки» проходит дорога в Тихий океан с его прекрасными островами, где девушки-дикарки плетут гирлянды из цветов, а юноши-дикари занимаются резьбой по скорлупе кокосовых орехов и свирепые идолы с невидящими глазами сидят в тенистых рощах и думают свои думы, которые ничуть не лучше и ничуть не хуже, чем думы жрецов и вождей. И, быть может, попугаи не знают — а быть может, и знают,— что благородный дикарь — всего лишь докучливый обманщик, по вине которого на свет появились сотни тысяч томов, ничего не говорящих ни уму, ни сердцу.

Церковь Шэдуэл! Легкий ветерок резвится в прорезях шпиля, нашептывая о том, что ниже по реке воздух куда свежее и чище, чем «Там, в Доках». В бухте сразу за церковью маячит громада корабля наших переселенцев. Называется он «Амазонка». Фигура, украшающая нос корабля, не обезображена, как, согласно мифу, были обезображены прекрасные родоначальницы племени мудрых воительниц * для удобства обращения с луком, однако я вполне согласен с резчиком:

> Резчик должен бы льстить, приближать к идеалу,
> Если много — убавить, прибавлять, если мало!

Наш переселенческий корабль стоит бортом к пристани. Огромные сходни из перекладин и досок в двух местах соединяют корабль с пристанью, и вверх и вниз по этим сходням бесконечной вереницей, туда и сюда, взад и вперед, как муравьи, снуют переселенцы, отплывающие на нашем корабле. Кто тащит капусту, кто караваи хлеба, кто сыр и масло, кто молоко и пиво, кто ящики, постели и узлы, кто младенцев — дети почти у всех; почти у всех в руках новенькие жестяные бидоны для ежедневного рациона пресной воды, и при виде этих бидонов во рту появляется неприятный жестяной привкус. Туда и сюда, вверх и вниз, с корабля на берег и с берега на корабль, они кишат повсюду — наши переселенцы. И все же каждый раз, как распахиваются ворота порта, появляются новые кэбы, появляются тележки и появляются фургоны, и на них прибывают еще переселенцы, и с ними еще капуста, еще хлеб, еще сыр и масло, еще молоко и пиво, еще ящички, постели и узлы, еще жестяные бидоны, и вместе с этими грузами все нарастает и нарастает количество детей.

Я подымаюсь на борт нашего переселенческого корабля. Прежде всего я иду в кают-компанию и нахожу там обычную при подобных обстоятельствах картину. Каюта заполнена мокрыми от пота людьми с ворохами бумаг, перьями и чернильницами; впечатление таково, что, едва успев вернуться с кладбища, поверенные неутешной миссис Амазонки бросились разыскивать пропавшее в общей суматохе завещание ее новопреставленного супруга. Я выхожу на ют подышать свежим воздухом и, обозревая оттуда переселенцев, расположившихся на нижней палубе (собственно говоря, я и здесь со всех сторон окружен ими), замечаю, что и тут вовсю работают перья, и тут стоят чернильницы, лежат вороха бумаг, и тут возникают бесконечные осложнения при расчетах с отдельными лицами из-за жестяных бидонов и уж не знаю там из-за чего. Раздражения, однако, не замечается, не видно пьяных, не слышно ругани и грубых выражений, не замечается уныния, не видно слез, и везде на палубе, в каждом уголке, где только можно приткнуться — опуститься на колени, сесть на корточки или прилечь, — люди в самых неподходящих для писания позах пишут письма.

Должен сказать, что мне доводилось видеть корабли переселенцев и до этого июньского дня, однако эти люди так разительно отличаются от всех других виденных мною при подобных обстоятельствах людей, что я невольно выражаю свое удивление вслух: «Интересно, за кого бы принял этих людей непосвященный!»

Внимательное, оживленное, коричневое от загара лицо капитана «Амазонки» появляется рядом. Он говорит: «И в самом деле — за кого? Большинство из них мы приняли на борт еще вчера вечером. Приехали они из разных концов Англии небольшими группами и раньше друг друга в глаза не видели. И не успели они пробыть на борту корабля двух часов, как у них уже образовалась своя собственная полиция, установились собственные законы и дежурства у всех люков. Не пробило еще девяти часов, как у нас уже царил порядок и спокойствие, не хуже чем на военном корабле».

Я снова огляделся по сторонам и подивился невозмутимости, с какой писали письма эти люди. Среди окружавшей их толпы они умудрялись не отвлекаться ничем, а в это время над их головами, покачиваясь, проплывали и опускались в трюм огромные бочки; в это время разгоряченные агенты бегали вверх и вниз по трапам, приводя в порядок бесконечные расчеты; в это время сотни две незнакомцев отыскивали повсюду сотни две других таких же незнакомцев, задавая вопросы относительно их местонахождения еще сотням двум таких же незнакомцев; в это время дети носились вверх и вниз, взад и вперед, путаясь у всех под ногами и, ко всеобщему отчаянию, перевешиваясь вниз головами во всех опасных местах — тем не менее они спокойно продолжали писать свои письма. Примостившись у правого борта, какой-то седовласый человек диктовал длинное письмо другому седовласому человеку в огромной меховой шапке, и письмо это, по-видимому, было настолько глубоко по содержанию, что переписчику приходилось время от времени обеими руками снимать с головы меховую шапку, дабы проветрить мозги, и обращать изумленный взгляд на диктовавшего, словно это был человек, окутанный непроницаемой тайной, и на него стоило посмотреть. У левого борта, покрыв кнехт белой тряпочкой и превратив его в аккуратный письменный

столик, сидела на небольшом ящике женщина и писала с тщательностью бухгалтера. У ног этой женщины, растянувшись на животе прямо на палубе и просунув голову под перекладину фальшборта, по-видимому почитая это место надежным убежищем для своего листка бумаги, хорошенькая изящная девушка писала не меньше часу, лишь изредка появляясь на поверхности, чтобы обмакнуть перо в чернильницу (в конце концов она потеряла сознание). Пристроившись у борта спасательной лодки, недалеко от меня, на юте, еще одна девушка — свежая, пышная деревенская девочка — тоже писала письмо на голых досках палубы. Позднее, когда в эту же самую лодку забрались хористы, долго распевавшие разные песни и куплеты, одна из девушек-хористок, машинально исполняя свою партию, писала письмо на дне лодки.

— Да, непосвященному трудно было бы догадаться, кто они такие, мистер Путешественник не по торговым делам,— говорит капитан.

— Несомненно!

— Если бы вы не знали, кто они, могли бы вы хотя бы предположить?

— Ну что вы! Я бы сказал, что это цвет Англии.

— То же сказал бы и я,— говорит капитан.

— Сколько их?

— По круглому подсчету восемьсот.

Я прошелся по нижней палубе, где в темноте ютились многодетные семьи, где вновь прибывающие создавали неизбежную неразбериху и где эта неразбериха усиливалась скромными приготовлениями к обеду, которые шли в каждой группе. Там и сям потерявшие дорогу женщины, подшучивая над собой, расспрашивали, как им пройти к своим или хотя бы выйти на верхнюю палубу. Кое-кто из несчастных детишек плакал, но в остальном поражала бодрость, царившая вокруг. «К завтрашнему дню утрясемся!», «Через день-два все наладится!», «Здесь будет посветлее, как только выйдем в море». Подобные фразы слышались со всех сторон, пока я пробирался ощупью между сундуков, бочек, бимсов, не спущенных в трюм грузов, рым-болтов и переселенцев на нижнюю палубу, а оттуда снова к дневному свету и к моему прежнему месту.

Способность сосредоточиться у этих людей была поистине изумительна! Все те, кто писал письма прежде, продолжали спокойно заниматься своим делом. Кроме того, за время моего отсутствия число пишущих сильно возросло. Мальчик со школьной сумкой в руке и с грифельной доской под мышкой появился снизу, с прилежным видом уселся неподалеку от меня (высмотрев еще издали подходящий светлый люк) и углубился в решение задачи, не обращая никакого внимания на происходящее вокруг. Пониже меня на главной палубе отец, мать и несколько детей расположились тесным семейным кружком у подножья кишевшего народом, беспокойного трапа. Дети, словно в гнездышке, устроились в уложенном кольцами канате, а отец и мать — последняя кормила грудью ребенка — мирно обсуждали семейные дела, как будто они были в полном уединении. Мне кажется, что самой характерной чертой, присущей всем этим восьмистам, без исключения, было отсутствие у них торопливости. Восьмистам? Но кого? «Что мы, гусей считаем, в самом деле?» *Восьмистам мормонов!* * Я — путешественник не по торговым делам, представитель фирмы «Братство Человеческих Интересов» — прибыл на борт этого корабля переселенцев посмотреть, что представляют собой восемьсот «святых последнего дня», и увидел (вопреки всем своим ожиданиям), что они таковы, какими я сейчас описываю их со всей тщательностью и добросовестностью.

Мне указали агента мормонов, немало потрудившегося, чтобы собрать их всех вместе и заключить договор с моими знакомыми — владельцами корабля, который доставит их в Нью-Йорк, откуда они должны ехать дальше, к Большому Соленому Озеру. Это был красивый коренастый человек, весь в черном, невысокого роста, с густыми каштановыми волосами и бородкой и блестящими ясными глазами. По манере говорить я принял бы его за американца. Вероятно, из тех, что «видывали виды». Человек простой и свободный в обращении, с открытым взглядом; вдобавок ко всему на редкость находчивый. Полагаю, что он совершенно не подозревал о моей не торговой особе и, следовательно, о моей огромной не торговой важности.

Лицо не торговое. Каких превосходных людей удалось вам подобрать.

Агент. Вы правы, сэр! Это действительно превосходные люди.

Лицо не торговое *(оглядываясь по сторонам)*. Право, я полагаю, что было бы трудно собрать еще где-нибудь восемьсот человек, среди которых было бы столько красоты, столько силы, столько способности к труду!

Агент *(он не оглядывается по сторонам, а смотрит в упор на лицо не торговое)*. Полагаю, что да. Вчера мы отправили из Ливерпуля еще с тысячу.

Лицо не торговое. Вы не сопровождаете этих переселенцев?

Агент. Нет, сэр, я остаюсь здесь.

Лицо не торговое. Но вы бывали на территории мормонов?

Агент. Да, я уехал из Юты три года тому назад.

Лицо не торговое. Меня удивляет, что эти люди так жизнерадостны и так спокойно относятся к предстоящему им длительному путешествию.

Агент. Видите ли, у многих из них в Юте есть друзья, и многие рассчитывают встретить друзей еще в пути.

Лицо не торговое. В пути?

Агент. Получается это таким образом: корабль доставит их в Нью-Йорк, оттуда они сразу же отправятся поездом до одного местечка за Сент-Луисом, где прерия подходит к самым берегам Миссури. Там их будут поджидать фургоны из Поселения, в которых они поедут через прерии — всего около тысячи миль. Трудолюбивые поселенцы очень скоро обзаводятся собственными фургонами, и друзья некоторых из этих людей выедут им навстречу в своих фургонах. Они очень рассчитывают на это.

Лицо не торговое. Вооружаете ли вы их для такого длительного путешествия через пустыню?

Агент. По большей части выясняется, что кое-какое оружие у них при себе уже есть. Тех же, у кого оружия нет, мы вооружим на время переезда, чтобы обеспечить их безопасность в прериях.

Лицо не торговое. Доставят ли эти фургоны в Миссури какие-нибудь товары?

Агент. Видите ли, с тех пор как началась война, мы стали выращивать хлопок, и вполне вероятно, что фур-

тоны доставят хлопок, который пойдет в обмен на машины. Нам нужны машины. Кроме того, мы стали выращивать еще и индиго. Это очень выгодный продукт. Оказалось, что климат по ту сторону Большого Соленого Озера весьма благоприятен для выращивания индиго.

Лицо не торговое. Я слышал, что на корабле находятся главным образом уроженцы южной части Англии?

Агент. Да, и Уэльса.

Лицо не торговое. Многих ли шотландцев вам удается обратить?

Агент. Нет, немногих.

Лицо не торговое. А горцев, например?

Агент. Только не горцев. Всеобщее братство, мир и благоволение их мало интересуют.

Лицо не торговое. Воинственный дух все еще дает себя знать?

Агент. Да, пожалуй. И кроме этого, им недостает веры.

Лицо не торговое *(оно давно уже мечтает добраться до пророка Джо Смита *, и ему кажется, что теперь для этого представляется удобный случай)*. Веры в...?

Агент *(противник, значительно превосходящий опытом лицо не торговое)*. Во что бы то ни было.

Подобным же образом лицо не торговое потерпело поражение в разговоре на ту же тему с уилтширским рабочим — простодушным краснощеким батраком лет тридцати восьми, который некоторое время стоял подле него, наблюдая за вновь прибывающими. С ним лицо не торговое имело следующую беседу:

Лицо не торговое. Не сочтете ли вы нескромным мой вопрос — из какой части страны вы родом?

Уилтширец. Ничуть! *(Восторженно.)* Я, можно сказать, всю жизнь на равнине Солсбери проработал, чуть что не под самым Стонхенджем. Может, и не подумаешь, но так оно и есть.

Лицо не торговое. Хорошая местность!

Уилтширец. Да уж что там говорить — местность хорошая!

Лицо не торговое. Везете с собой семью?

Уилтширец. Двоих ребятишек — сына и дочку. Сам-то я вдовец. Вон она, моя дочка! Шестнадцать ей сейчас. Молодец она у меня! *(Указывает на девушку, пишущую около лодки.)* Сейчас я приведу своего сынишку. Покажу его вам. *(На этом месте разговора Уилтширец исчезает и через некоторое время возвращается с рослым застенчивым мальчиком лет двенадцати в сапогах не по росту, который, очевидно, совсем не рад предстоящему знакомству.)* Тоже молодец! И к работе охоту имеет... *(Непокорный сын удирает, и Уилтширец прекращает разговор о нем.)*

Лицо не торговое. Должно быть, вам стоило очень много денег оплатить такое длинное путешествие, да еще на троих?

Уилтширец. Уйму денег, можно сказать! Восемь шиллингов в неделю, восемь шиллингов в неделю, восемь шиллингов в неделю — каждый раз откладывал из недельной получки, просто не знаю сколько времени.

Лицо не торговое. И как это вам удалось столько накопить?

Уилтширец *(признав родственную душу)*. А я что говорю! Я и сам не пойму, да только кое-кто помог, кое-кто подсобил, ну вот в конце концов и удалось, хоть я и сам не знаю как. Еще, видите ли, несчастливо для нас получилось: мы порядком застряли в Бристоле — почти на две недели,— брат Хэллидей ошибку одну сделал. Сколько денег ушло, а ведь мы могли бы сразу ехать.

Лицо не торговое *(осторожно подбираясь к вопросу о Джо Смите)*. Вы, конечно, мормонского вероисповедания?

Уилтширец *(уверенно)*. Да, я — мормон! *(Затем в раздумье.)* Я — мормон. *(Затем, оглядевшись по сторонам, делает вид, будто заметил на пустом месте близкого друга и исчезает из поля зрения лица не торгового, чтобы больше уж с ним не встречаться.)*

После полуденного перерыва на обед, во время которого наши переселенцы почти все находились на нижних палубах и «Амазонка» казалась покинутой, всех собрали, так как предстояла церемония проверки переселенцев правительственным инспектором и доктором. Два этих облеченных властью лица временно обосновались в середине

корабля возле бочек, и, зная, что все восемьсот переселенцев должны будут предстать перед ними, я пристроился позади них. Полагаю, что они ничего обо мне не знали, и это должно придать добавочный вес моему свидетельству о том, как просто, мягко и доброжелательно выполняли они свой долг. В их действиях не было ни малейшего намека на волокиту.

Теперь все переселенцы собрались на верхней палубе. Они заполняли корму и, как пчелы, роились на юте. Несколько агентов-мормонов стояли тут же, присматривая за тем, чтобы они по очереди подходили к инспектору и после осмотра шли дальше. Как удалось внушить всем этим людям необходимость соблюдения порядка, я, разумеется, рассказать не берусь. Знаю только, что даже и теперь не было ни беспорядка, ни спешки, ни затруднений.

Наконец все готово: подходит первая группа. Тот, кому доверили проездной билет на всю группу, был заранее предупрежден агентом, что билет нужно иметь наготове, и вот он выходит вперед с билетом в руке. И во всех остальных случаях, у всех восьмиста человек, без единого исключения, этот документ всегда оказывался наготове.

Инспектор *(читая билет)*. Джесси Джобсон, Софрониа Джобсон, еще Джесси Джобсон, Матильда Джобсон, Уильям Джобсон, Джейн Джобсон, еще Матильда Джобсон, Брайэм Джобсон, Лионардо Джобсон и Орсон Джобсон. Все здесь? *(Поглядывая на группу поверх очков.)*

Джесси Джобсон Номер 2. Все здесь, сэр!

Эта группа состоит из старых деда и бабки, сына с женой и их детей. Маленький Орсон Джобсон спит на руках у матери. Доктор, ласково говоря что-то, приподнимает уголок материнской шали, смотрит на личико ребенка и трогает крошечный кулачок. Всем бы нам такое здоровье, как у Орсона Джобсона,— плохо бы пришлось тогда лекарям.

Инспектор. Прекрасно, Джесси Джобсон! Возьмите свой билет, Джесси, и проходите.

И с этим они уходят. Агент-мормон ловко и без суеты отводит их в сторону. Второй агент-мормон ловко и без суеты пропускает вперед следующую группу.

Инспектор *(снова читает билет)*. Сюзанна Клэверли и Уильям Клэверли. Брат и сестра, что ли?

Сестра *(молоденькая деловитая женщина оттирает медлительного брата)*. Да, сэр!

Инспектор. Хорошо, Сюзанна Клэверли. Возьмите свой билет, Сюзанна, и берегите его.

И с этим они уходят.

Инспектор *(снова берет билет)*. Сэмпсон Дибл и Дороти Дибл? *(С некоторым удивлением смотрит поверх очков на очень старую супружескую пару.)* Ваш муж совсем слепой, миссис Дибл?

Миссис Дибл. Да, сэр, совсем слепой, дальше некуда.

Мистер Дибл *(обращаясь к мачте)*. Да, сэр, совсем я слепой, дальше некуда.

Инспектор. Плохо ваше дело. Возьмите свой билет, миссис Дибл, и не теряйте его. Можете идти.

Доктор легонько постукивает мистера Дибла указательным пальцем по надбровной дуге, и они уходят.

Инспектор *(снова берет билет)*. Анастасия Уидл?

Анастасия *(хорошенькая девушка в яркой гарибальдийской блузе, еще утром единодушно объявленная первой красавицей корабля)*. Это я, сэр!

Инспектор. Вы едете одна, Анастасия?

Анастасия *(встряхивая локонами)*. Я еду с миссис Джобсон, сэр. Я только сейчас от них отстала, а так я с ними.

Инспектор. Ага, значит, вы с Джобсонами? Совершенно верно. Это все, мисс Уидл. Смотрите не потеряйте билет.

Она уходит и догоняет Джобсонов, которые ждут ее, наклоняется и целует Брайэма Джобсона (несколько мормонов лет по двадцать, посматривающие на них, считают, по-видимому, что для этой цели она могла бы выбрать кого-нибудь постарше). Не успевают еще ее пышные юбки удалиться от бочек, возле которых идет проверка, как ее место занимает почтенная вдова с четырьмя детьми, и перекличка продолжается.

Уроженцы Уэльса, среди которых было немало стариков, выделялись из всех тупыми лицами. Кое-кто из этих переселенцев, несомненно, мог бы безнадежно все перепутать, если бы вовремя не подоспевала направляющая рука. Интеллект здесь, безусловно, находился на низкой

ступени, оставляла желать лучшего и внешность. В остальных случаях дело обстояло как раз наоборот. Было много изможденных лиц, на которые смиренная нищета и тяжелый труд наложили свою печать, но чувствовались у людей этого класса и непреклонная решимость добиться своей цели и спокойное достоинство. Ехало несколько одиноких молодых людей. Ехали девушки, объединившись по две или по три. Мне было очень трудно представить себе мысленно их покинутые дома и занятия. Пожалуй, скорее всего они были похожи на не в меру разодевшихся белошвеек и учительниц-практиканток. Среди многочисленных безделушек я заметил много брошек с изображением принцессы Уэльской, а также и покойного супруга королевы. Некоторые незамужние женщины в возрасте от тридцати до сорока, которых можно было принять за шляпниц и вышивальщиц, ехали совершенно очевидно в поисках мужей, подобно тому как женщины классом повыше едут в Индию. Не думаю, чтобы они ясно представляли себе, что такое многомужество или многоженство. Допустить, что семейные группы, составлявшие большинство переселенцев, практиковали многобрачие, значило бы допустить нелепость, совершенно очевидную для каждого, кто видел этих отцов и матерей.

Хотя возможности проверить факты у меня не было, полагаю, что все наиболее распространенные виды ремесел были налицо. Широко были представлены батраки, пастухи и другие сельскохозяйственные работники, однако сомневаюсь, чтобы они преобладали. Любопытно было наблюдать, как непременно выявлялся «верховод» семьи даже в таком простом деле, как ответы во время переклички и проверки путешественников. Иногда это был отец, чаще мать, иногда смышленая девчушка, вторая или третья по старшинству. Казалось, что некоторые тяжкодумы-отцы впервые замечали, какие у них огромные семьи. Во время переклички они вращали глазами, словно подозревая, что в ряды их собственных домочадцев обманным путем затесалась еще какая-то семья. Среди красивых здоровых детей я заметил только двоих с отметинами на шее, возможно золотушного происхождения. Из всего числа переселенцев только одна старуха была временно задержана доктором, заподозрившим у нее жар,

но даже она позднее получила удостоверение о полном здоровье.

Когда все «прошли» и день стал уже клониться к вечеру, на палубе появился какой-то черный ящик, вокруг которого хлопотали некии личности, тоже в черном; из них только один выглядел так, как подобает выглядеть странствующему проповеднику. В ящике находились сборники гимнов, аккуратно отпечатанных и изданных в Ливерпуле, а также в Лондоне на Книжном Складе «Святых последнего дня, 30, Флоренс-стрит». Некоторые были в красивых переплетах, но те, что были переплетены попроще, пользовались большим спросом и быстро раскупались. На титульном листе стояло: «Священные Гимны и Духовные Песнопения для отправления богослужений в Мормонских храмах Господа нашего Иисуса Христа». В предисловии, написанном в 1840 году, в Манчестере, говорилось: «Страстным желанием святых нашей страны было иметь Сборник Гимнов, применительных к их верованиям и богослужениям, дабы иметь возможность славословить истину с душой, исполненной понимания, и возносить хвалу, радость и благодарение Господу в песнопениях, применительных к Новому и Извечному Завету. В соответствии с этим желанием мы отобрали гимны, входящие в настоящий том, который, как мы уповаем, будет признан приемлемым, пока не будет сделан более многообразный подбор. С чувством совершенного и глубочайшего почтения, мы пребываем ваши братья по Новому и Извечному Завету — Брайэм Янг, Парли П. Прэтт, Джон Тэйлор». Из этого сборника, ни в коем случае не разъяснившего, что такое Новый и Извечный Завет, и не исполнившего пониманием мою душу, был пропет гимн, не завладевший всеобщим вниманием и поддержанный всего лишь несколькими избранными. Но хор, забравшийся в лодку, пел хорошо и пользовался успехом. Кроме того, должен был играть еще и оркестр, дело было только за корнетом, который прибыл на корабль с опозданием. В послеобеденные часы на борту появилась с берега какая-то женщина в поисках своей дочери, «сбежавшей с мормонами». Инспектор оказал ей всяческое содействие, но дочь так и не была обнаружена. Святые, как мне кажется, не слишком старались ее обнаружить. К пяти ча-

сам камбуз заполнился чайниками, и приятный аромат чая распространился по всему кораблю. Никто никого не толкал, никто не протискивался вперед за горячей водой, никто не сердился, никто не ссорился. «Амазонка» должна была отчалить, когда прилив достигнет наивысшей точки, а так как полную воду можно было ожидать не ранее двух часов утра, я покинул корабль в разгар чаепития, когда бездействующий паровой буксир временно передал кипящим чайникам свои полномочия по части пускания дыма и пара.

Впоследствии я узнал, что прежде чем корабль вышел в открытый океан, капитан его прислал судовладельцам депешу, в которой превозносил поведение переселенцев, образцовый порядок и предупредительность по отношению друг к другу. Что сулит будущее этим бедным людям на берегах Большого Соленого Озера, какими счастливыми иллюзиями тешатся они сейчас и какие печальные разочарования ждут их впереди, я не берусь предсказывать. Но я отправился на корабль с намерением свидетельствовать против них, если бы они того заслужили (а в этом я был уверен); к моему крайнему изумлению, они того не заслужили, и я — как честный свидетель — не имею права поддаваться предубеждениям. Я покинул «Амазонку», уверенный, что некиим удивительным силам удается добиваться удивительных результатов — возможность, которую силы, более известные, постоянно упускают [1].

---

[1] После того как был напечатан очерк об этом Путешествии не по торговым делам, я в разговоре с лордом Хаутоном коснулся описанных в нем событий. Тогда этот джентльмен показал мне свою статью, напечатанную в «Эдинбургском обозрении» в январе 1862 года, статью в высшей степени замечательную по глубине своей философской и литературной мысли и написанную по поводу этих самых «святых последнего дня». В ней содержится следующий абзац: «Выборная комиссия палаты общин по делам переселенческих кораблей в 1854 году пригласила для дачи показаний агента, занимающегося перевозкой мормонов, и пришла к заключению, что по комфорту и безопасности большинство кораблей, на которые распространяются правила «Пассажирского Акта», во многом уступают кораблям, находящимся в его ведении. Пассажиры мормонского корабля — это единая семья, в которой царит крепкая, всеми признаваемая дисциплина, а на самом корабле есть все условия для обеспечения комфорта, внешнего благообразия и внутреннего спокойствия». *(Прим. автора.)*

## XXIII

### *Город ушедших*

Когда я бываю особенно доволен собой, когда мне кажется, что я заслужил небольшую награду, я отправляюсь пешком из Ковент-Гардена в лондонское Сити, после того как там замирает деловая жизнь — в субботу или, еще лучше, в воскресенье,— и брожу один по всем его уголкам и закоулкам. Чтобы получить полное удовольствие от такой прогулки, нужно совершить ее летом, потому что в это время года уединенные местечки, куда я люблю заглядывать, живут особенно тихой и ленивой жизнью. Пусть даже идет дождик, я не возражаю, а если мои излюбленные места окутывает теплый туман, они от этого только выигрывают.

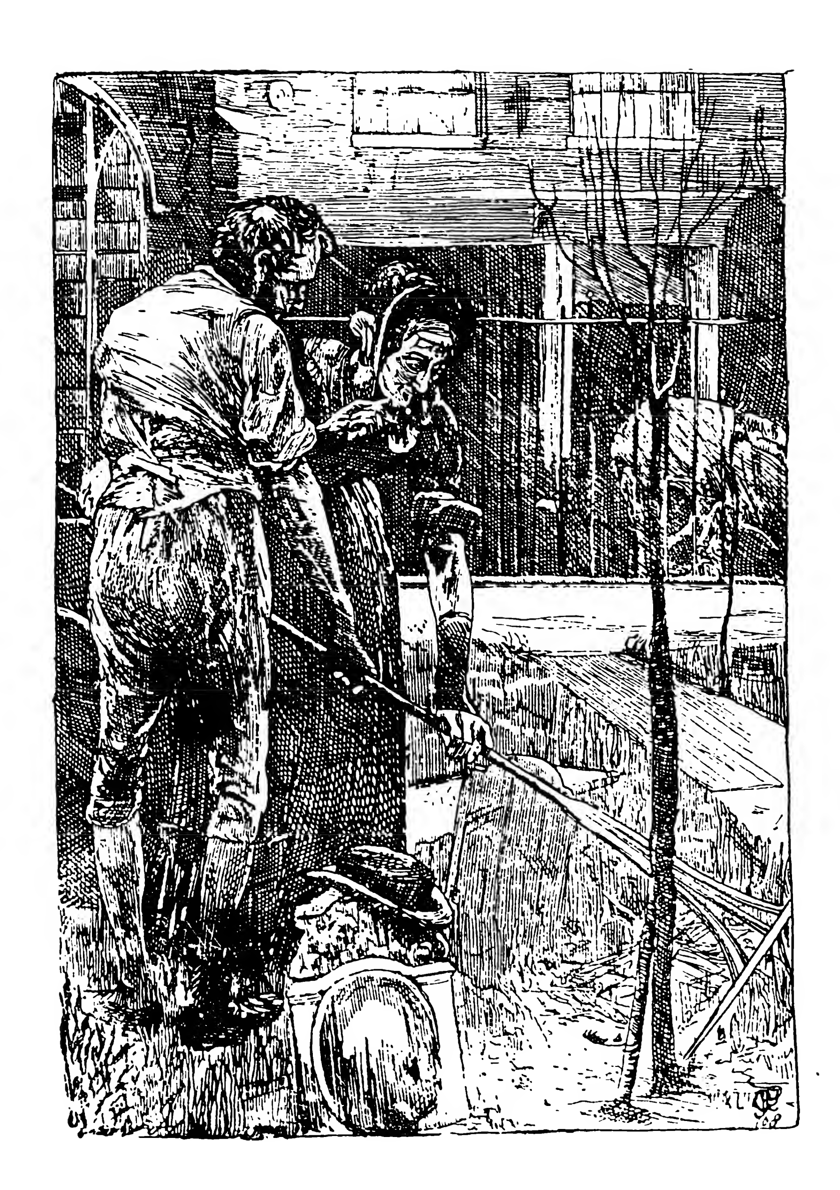
Среди них почетное место занимают кладбища Сити. Какие необыкновенные кладбища прячутся в лондонском Сити, иногда где-нибудь вдалеке от церкви, всегда зажатые между домами, такие крошечные, сплошь заросшие бурьяном, такие безмолвные и забытые всеми, кроме тех немногих, кому постоянно приходится смотреть на них из своих закопченных окон! Я заглядываю внутрь, стоя у ворот или решетки, с железных прутьев которой можно пластами отколупывать ржавчину, совсем как кору со старого дерева. Надгробные плиты с полустертыми надписями покосились, могильные холмики осели после дождей, которые прошли еще сто лет тому назад; ломбардский тополь или платан — все, что осталось от дочери торговца москательными товарами и нескольких членов городского муниципального совета,— зачах, подобно этим досточтимым особам, листья его опали и, превратившись во прах, устилают теперь его подножье. Все вокруг заражено ядом медленного разрушения. Поблекшие черепичные крыши прилегающих зданий посъезжали набок и вряд ли могут служить защитой от непогоды. Кажется, что старинные разваливающиеся дымовые трубы, наклонившись, поглядывают вниз, словно подсчитывают с сомнением, с какой высоты им придется падать. В углу под стеной догнивает сплошь заросший древесными грибами сарайчик, где когда-то хранил свой инвентарь могильщик. Водосточные трубы

и желоба, по которым дождевая вода с окружающих крыш должна была сбегать вниз, давно уже сломаны или хищнически срезаны, потому что кто-то соблазнился старой жестью, и теперь дождь каплет и хлещет как хочет на заросшую бурьяном землю. Иногда поблизости может оказаться заржавевшая помпа, и пока я в раздумье стою у решетки, мне чудится, будто неведомая рука приводит ее в действие, а она протестует скрипучим голосом, словно покойники, лежащие на кладбище, убеждают: «Дайте нам покоиться с миром, не выкачивайте из нас соки!»

Одно из самых своих излюбленных кладбищ я называю погостом святого Стращателя. Я не располагаю сведениями о том, как называется оно на самом деле. Кладбище лежит в самом сердце Сити, и ежедневно его покой нарушают пронзительные вопли паровозов Блекуоллской железной дороги. Это маленькое-маленькое кладбище с грозными и неприступными железными воротами, сплошь утыканными остриями, совсем как в тюрьме. Ворота украшены неестественно большими черепами и скрещенными костями, высеченными из камня. Помимо этого, святого Стращателя осенила удачная мысль пристроить на макушках черепов железные острия, как будто их посадили на кол. Поэтому черепа жутко ухмыляются, пронзенные насквозь железными остриями. Отталкивающее безобразие святого Стращателя притягивает меня к нему, и после того как я неоднократно созерцал его при дневном свете и в сумерки, как-то раз мною овладело желание увидеть это кладбище в полночь в грозу. «А почему бы и нет? — старался я как-то оправдать самого себя.— Ходил же я смотреть Колизей при свете луны, чем же хуже идти смотреть святого Стращателя при свете молнии?» Я отправился на кладбище в кэбе и нашел, что черепа действительно производят сильное впечатление. При вспышках молнии казалось, что свершилась публичная казнь и что насаженные на острия черепа подмигивают и гримасничают от боли. Мне некому было высказать свое удовлетворение, и потому я решил поделиться впечатлениями с кучером. Отнюдь не разделяя моих чувств, он оборотил ко мне побелевшее лицо — от природы багрово-румяное с сизым носом пьяницы — и на обратном пути то и дело погляды-

вал через плечо в маленькое переднее оконце кэба, словно подозревал, что по-настоящему место мое на погосте святого Стращателя, и побаивался, как бы я не ускользнул назад к себе на кладбище, не расплатившись.

Бывает, что на какое-нибудь такое кладбище выходит окнами темный зал какого-нибудь темного торгового общества, и во время обедов компаньонов (если смотреть через железную решетку, чего никто одновременно со мной никогда не делал) можно услышать, как они провозглашают тосты за свое драгоценное здоровье и процветание. Бывает, что оптовая компания, нуждающаяся в складских помещениях, займет примыкающие к кладбищу дома с одной или двух, а то и со всех трех сторон, и тогда в окнах появляются груды тюков с товарами и кажется, что они набились туда, чтобы принять участие в каком-то торговом совещании насчет самих себя. А бывает, что окна, выходящие на кладбище, пусты и в них не больше признаков жизни, чем в могилах внизу — даже меньше, ибо последние по крайней мере могут поведать о том, что когда-то, без сомнения, было жизнью. Такие вот дома обступали одно из кладбищ Сити, которое я посетил прошлым летом часов в восемь вечера в один из тех субботних вечеров, когда я гуляю по Лондону, и к изумлению своему обнаружил там старенького старика и старенькую старушку, сгребавших сено. Да, они именно сгребали сено! И кладбище-то было крошечное, зажатое между Грейс-Чёрч-стрит и Тауэром, и все накошенное там сено можно было унести домой в подоле. Каким образом старенькие старички пробрались туда со своими почти беззубыми граблями, я не мог себе представить. Поблизости не было ни одного открытого окна, поблизости вообще не видно было ни одного окна, расположенного достаточно низко для того, чтобы плохо державшиеся на ногах старички могли спуститься из него на землю; заржавленные кладбищенские ворота были наглухо заперты, покрытая плесенью церковь тоже была наглухо заперта. Одни, в полном одиночестве, они скорбно сгребали сено в этой юдоли скорби. Они были стары, как мир, у них были только одни грабли на двоих, и оба держались вместе за рукоятку, как влюбленные пастушки, и на черном капоре старушки виднелось несколько сухих травинок, как будто старичок



позволил себе немного пошалить. Старичок был донельзя старомоден, в панталонах до колен и в грубых серых чулках, а на старушке были митенки, связанные из такой же пряжи, такого же цвета, что и его чулки. Они не обращали на меня никакого внимания, пока я смотрел и не мог понять, кто же они? Для церковной ключницы старушка казалась слишком шустрой, старичок же был куда более робкий, чем полагается приходскому сторожу. Старое надгробье, отделявшее меня от них, украшали фигурки двух херувимов; если бы не то обстоятельство, что эти небожители совершенно очевидно презирали панталоны до колен, чулки и митенки, я, наверное, нашел бы в них сходство с косцами. Я кашлянул и разбудил эхо, но старички даже не посмотрели в мою сторону, они продолжали рассчитанными движениями подгребать к себе жалкие кучки накошенной травы. Так мне и пришлось покинуть их; кусочек неба у них над головами уже начинал темнеть, а они все продолжали скорбно сгребать сено в этой юдоли скорби, одни, в полном одиночестве. Быть может, это были призраки, и чтобы обратиться к ним, мне нужен был медиум.

На другом столь же тесном кладбище Сити я встретил тем же летом двух жизнерадостных приютских детей. Они были откровенно влюблены — веское доказательство стойкости этого неувядаемого чувства, которое не могла убить даже изящная форменная одежда, за которой так любит укрываться английская благотворительность; оба были угловаты и нескладны, а их ноги (по крайней мере его ноги, ибо скромность не позволяет мне судить об ее ногах) путались, спотыкались и делали все, на что способны ноги, воспользовавшиеся слабохарактерностью своего владельца. Да, все на этом кладбище было свинцово, однако сомнений быть не могло — этим юным существам оно казалось усыпанным золотом! Первый раз я увидел их там в субботу вечером, и, заключив из их времяпрепровождения, что субботний вечер был вечером их свиданий, я вернулся туда ровно через неделю, чтобы еще раз на них посмотреть. Они приходили вытряхивать половички, устилавшие пол в церковных притворах. Вытряхнув, они закатывали их в трубку, он со своей стороны, она со своей, пока не встречались, и над двумя, прежде разъединенными

и теперь соединившимися, трубками — трогательная эмблема! — обменивались целомудренным поцелуем. Мне было столь радостно смотреть, как расцветает при этом одно из моих увядших кладбищ, что я пришел еще раз и еще, и в конце концов случилось следующее: занятые уборкой и перестановкой, они оставили открытой дверь церкви. Переступив порог, чтобы осмотреть церковь внутри, я увидел при слабом свете, что он стоит на кафедре, а она на скамье; его глаза были опущены, ее — подняты кверху, и они о чем-то нежно ворковали. Мгновенно оба нырнули куда-то и как бы исчезли с лица земли. Я повернулся с невинным видом, чтобы покинуть священную обитель, как вдруг в главном портале выросла тучная фигура и, хрипя от одышки, стала требовать Джозефа или, за неимением такового, Селию. Взяв чудовище за рукав, я увлек его прочь, говоря, что могу показать, где находятся те, кого он ищет, а пока дал время выйти из своего укрытия Джозефу и Селии, которых мы вскоре и встретили на кладбище, сгибающимися под тяжестью пропыленных половиков — олицетворение самозабвенного труда. Понятно без слов, что с тех пор я почитаю этот поступок благороднейшим в своей жизни.

Однако подобные случаи, да и вообще какие бы то ни было признаки жизни очень редки на моих кладбищах Сити. Бывает, что воробушки попытаются весело расчирикаться, собравшись на одиноком дереве — возможно, по-другому рассматривая вопрос о червях, чем люди,— но голосишки у них скучные, хриплые, совсем как у причетника, у органа, колокола, у священника и у всех остальных церковных механизмов, когда их заводят к воскресенью. Жаворонки, дрозды — простые и черные,— покачиваясь в клетках в соседних дворах, в страстных мелодиях изливают душу, словно до них донесся аромат распускающегося дерева и они стараются вырваться, чтобы взглянуть еще хоть раз в жизни на листву, но в их пении слышен плач — плач по покойнику. Так мало света проникает внутрь церквушек, которые, бывает, стоят еще при моих кладбищах, что очень часто я только случайно — и то после долгого знакомства — обнаруживаю, что в некоторых окошках вставлены цветные стекла. Уходящее на запад солнце, выискав неожиданную лазейку, посылает ко-

сой луч на кладбище, и тогда несколько прозрачных слезинок падает на старую надгробную плиту, и окошко, казавшееся мне до этого просто грязным, на мгновенье вдруг вспыхивает, как драгоценный камень. Затем свет угасает, и краски блекнут. Но даже и тут — если есть куда отступить, чтобы, задрав кверху голову, увидеть шпиль церкви,— я вижу, как заржавленный флюгер, вдруг заблестевший как новый, посылает радостно горящий взгляд поверх моря дыма к далекому зеленому берегу.

Дряхлые, подслеповатые старики, которых выпускают в этот час из работных домов, любят посидеть на обломках кладбищенских оград, опершись обеими руками о палку, с трудом переводя астматическое дыхание. Нищие классом пониже приносят сюда всякие объедки и жуют. Я шапочно знаком с одним весьма склонным к созерцательности водопроводчиком, который любит подчас замешкаться на одном из кладбищ — в нем я подозреваю поэтические наклонности, они особенно заметны, когда он бывает в дурном расположении духа и с презрительным видом закручивает пожарный кран огромным камертоном, который, наверное, протер бы ему куртку до дыр, если бы на плечо ему предусмотрительно не нашили кусочек кожи. На более просторных кладбищах разрушаются, укрывшись под похожими на деревянные брови карнизами, пожарные лестницы, о существовании которых — я убежден — не знает никто и ключи от которых были утеряны в незапамятные времена. И так удалены эти уголки от всех мест, посещаемых взрослыми и мальчишками, что как-то раз пятого ноября я наткнулся там на чучело Гая Фокса, брошенное на произвол судьбы отправившимися пообедать владельцами. О выражении лица Гая сказать я ничего не могу, потому что он сидел, уткнувшись носом в стену, но его приподнятые плечи и десять растопыренных пальцев, казалось, говорили о том, что вначале, восседая в своем соломенном креслице, он пытался было поучать ближних относительно таинства смерти, но потом, отчаявшись, махнул рукой.

Кладбища не вырастают перед вами внезапно: смена декораций происходит постепенно, по мере приближения к ним. В заброшенном газетном киоске или цирюльне, растерявшей всех своих клиентов еще в начале царствова-

ния Георга III, я усмотрел бы знак того, что следует начинать поиски, если бы все открытия в этой области уже давно не были мною сделаны. Тихий дворик и в нем ни с того ни с сего красильная и скорняжная мастерская подготовили бы меня к появлению кладбища. Излишне скромный трактир, где в полутемном зальце, засыпанном опилками и формой своей напоминающем омнибус, виднеется стол для игры в багатель * и над стойкой висит полка, заставленная чашами для пунша, известил бы меня о том, что где-то поблизости находится божья нива. «Молочная», в скромном оконце которой выставлены крошечный кувшинчик молока и три яйца, навела бы меня на мысль, что где-то совсем рядом бродят куры, клюющие моих праотцев. О близости святого Стращателя я заключил по особому спокойствию и скорби, окутавших огромное скопление товарных складов.

Тишина этих уголков подготавливает к переходу в места, где притихла деловая жизнь. Мне нравится вид повозок и фургонов, которые отдыхают, сбившись в кучу в переулках, вид бездействующих подъемных кранов и запертых складов. Достаточно недолго постоять в узеньких переулочках позади закрытых банков могущественной Ломберд-стрит *, чтобы почувствовать себя богачом, стоит только представить себе широкие прилавки с ободком по краю, предназначенные для денежных расчетов, весы для взвешивания драгоценных металлов, тяжеловесные гроссбухи и, главное, блестящие медные совочки, которыми сгребают золото. Когда я получаю в банке деньги, сумма их никогда не кажется мне внушительной, пока мне не ссыплют монеты из блестящего медного совочка. Мне нравится сказать: «Золотом, пожалуйста!» — и потом смотреть, как семь фунтов с музыкальным звоном сыплются из совочка, как будто их не семь, а семьдесят, и при этом кажется,— я подчеркиваю, *кажется,*— будто банк говорит: «Если вам угодно еще презренного металла, то имейте в виду, что у нас его целая куча и весь он к вашим услугам». Стоит только представить себе банковского клерка, проворными пальцами отсчитывающего хрустящие стофунтовые банкноты, толстую пачку которых он достал из ящика, и снова слышится восхитительный шелест южноденежного ветерка: «Какими вам угодно получить?» Од-

нажды я слышал, как этот обычный у банковского прилавка вопрос был задан пожилой женщине в трауре и простодушной до глупости, которая, вытаращив глаза и скрючив пальцы, ответила с нетерпеливым смешком: «Да не все ли равно!» Прогуливаясь между банками, я перебираю в памяти все это, и мне приходит в голову мысль, не замышляет ли что-нибудь против банков встретившийся мне такой же одинокий воскресный прохожий. Праздное любопытство и любовь к загадочному заставляют меня чуть ли не надеяться, что такой умысел у него есть, и что, быть может, даже сейчас, в эту самую минуту, его сообщник делает восковой слепок ключа от несгораемого шкафа, и что какой-нибудь чудесный грабеж, быть может, уже в процессе свершения. Покинутые людьми винные погреба вокруг Колледж-Хилл, Марк-лейн и дальше к Тауэру и докам дают прекрасную пищу для размышлений; но покинутые людьми подвалы, где хранятся несметные богатства банкиров — их деньги, их золотые слитки, их драгоценности,— вот куда бы отправиться с волшебной лампой Аладина в руках! И опять-таки я думаю, что, быть может, еще вчера по этой самой улице прошлепал босоногий мальчишка, которому судьба уготовала с годами стать банкиром и затмить всех своим богатством. Такие превращения известны еще со времен Виттингтона; * но это не значит, что их не было раньше. Мне хочется знать, видит ли впереди этот мальчик сейчас, когда он, голодный, бредет по камням мостовой, видит ли он отблески своего приближающегося блестящего будущего? А еще больше хочется мне знать, подозревал ли человек, который будет повешен следующим вон там в Ньюгете, что ему не избежать такого конца, подозревал ли он это уже в то время, когда так оживленно обсуждал участь последнего должника, расплатившегося сполна у той же самой маленькой Двери Должников?

Где все те люди, которые суетятся здесь в будни? Где сейчас выездной банковский клерк, который носит при себе черный портфель, прикованный к нему стальной цепью? Ложится ли он в постель с этой цепью, ходит ли он с ней в церковь или все-таки иногда снимает ее? Может быть, его все-таки спускают с цепи по праздникам? А как же тогда портфель? Что касается деловой жизни, то

если бы я занялся исследованием корзинок для мусора этих запертых счетных контор, то они помогли бы мне во многом разобраться. А какие сердечные тайны поведали бы мне листы плотной бумаги, переложенные промокашками, которые молоденькие клерки кладут на свои письменные столы! Этим промокашкам поверяют самые сокровенные тайны, и часто, придя по делу и ожидая, пока обо мне доложат, я с любопытством оглядываю приемную комнату и невольно замечаю, что священнодействующий там юный джентльмен вывел во всех уголках промокашки «Амелия» чернилами разной давности. Да ведь и в самом деле, промокашку можно рассматривать как узаконенную современную преемницу высокоствольного дерева былых времен, на котором эти юные рыцари (поскольку ближайший лес находится в Эппинге) могут запечатлевать имена своих возлюбленных. В конце концов писать куда удобнее, чем вырезывать, да и заниматься этим можно сколько угодно и когда угодно. Итак, несмотря на бесстрастный вид этих величественных палат, в них по воскресеньям царит Всемогущая Любовь! (Эта мысль весьма меня радует.) А вот и таверна Гарравея *, наглухо и накрепко закрытая на все запоры! Можно представить себе лежащим в поле на спине человека, который обычно готовит там бутерброды, можно представить себе и его стол — так же как конторку церковного причетника — без него, но воображение не может проследить за людьми, всю неделю сидящими у Гарравея и ждущими людей, которые никогда там не появляются. Когда их силой выдворяют от Гарравея в субботу вечером — что совершенно неизбежно, ибо по своей воле они ведь никогда не ушли бы оттуда,— куда исчезают все они до утра понедельника? В первый раз, когда я очутился там в воскресенье, я ожидал, что встречу толпу их где-нибудь поблизости в переулках, ожидал, что они — подобно беспокойным духам — будут стараться заглянуть в зал Гарравея через щели в ставнях, а то и попытаются открыть замок поддельными ключами, киркой или штопором. Но на удивление оказалось, что они исчезли бесследно! И тут мне приходит в голову, что на удивление вообще все те, кто толпится здесь в будни, бесследно куда-то исчезают. Человек, продающий собачьи ошейники и игрушечные ведерки для угля, испытывает

столь же настоятельную потребность уйти отсюда подальше, сколь и господа Глин и К⁰, или Смит, Пэйн и Смит. Под таверной Гарравея есть старый монастырский склеп (я побывал в нем как-то среди бочек с портвейном); быть может, Гарравей, сжалившись над заплесневевшими посетителями своей таверны, которые всю жизнь ждут там кого-то, предоставляет им на воскресенье холодную кладовую? Однако, чтобы вместить всех остальных исчезнувших, не хватило бы места и в парижских катакомбах. Вот эта-то особенность лондонского Сити и составляет во время еженедельной передышки в делах главное его очарование и способствует ощущению, которое я неизменно испытываю, придя туда в воскресенье, что я — последний человек на земле. В своем одиночестве — потому что рассыльные тоже исчезли куда-то вместе с остальными — я осмеливаюсь шепотом поверить безмолвным камням и кирпичам свое тайное недоумение: почему рассыльный, никогда не занимающийся физическим трудом, обязан носить белый фартук, тогда как имеющее высокий сан духовное лицо, которое тоже никогда не занимается никаким физическим трудом, равным образом обязано носить фартук, но только черный?

## XXIV

### *Гостиница на старом почтовом тракте*

Не успела еще служанка притворить за собой дверь, как у меня уже вылетело из головы число дилижансов, которые — по ее словам — в былое время ежедневно сменяли в этом городе лошадей. Но это и не столь важно — любое большое число сойдет. В славные дни почтовых карет это был славный город на почтовом тракте, но безжалостные железные дороги убили и похоронили его.

На вывеске значилось «Голова Дельфина». Почему только голова, я затрудняюсь сказать, так как украшало вывеску изображение дельфина во всю длину и хвостом кверху, как это и полагается дельфину, художественно изображенному, хотя, надо думать, что в естественных

условиях они иногда держат кверху подобающую часть тела. Вывеска исцарапала ржавыми петлями стену возле выступа моего окна и вообще имела довольно жалкий вид. С тем, что дельфин умирает медленной смертью, спорить, вероятно, никто бы не стал, а вот в том, что он оживляет пейзаж, усомнился бы всякий. Когда-то он служил другому хозяину: полоса более свежей краски виднелась под его изображением, а по ней шла надпись, с неуместной бодростью извещавшая: «Владелец — Дж. Меллоуз».

Дверь моя снова распахнулась и впустила возвратившуюся представительницу Дж. Меллоуза. Перед тем я спрашивал ее, что можно получить на обед, и сейчас она вернулась со встречным вопросом — что мне хотелось бы получить? Так как «Дельфин» не располагал ничем из того, что мне бы хотелось, я вынужден был согласиться на утку, которой мне вовсе не хотелось. Представительница Дж. Меллоуза была молодой особой с плаксивой физиономией; один глаз ее еще как-то слушался хозяйку, зато другой окончательно вышел из повиновения. Этот последний, блуждая, по всей видимости, в поисках дилижансов, еще больше подчеркивал уныние, в которое был погружен «Дельфин».

Не успела молодая особа затворить за собой дверь, как я вспомнил, что хотел добавить к своему заказу: «И каких-нибудь овощей получше!» Выглянув за дверь, чтобы как можно выразительнее произнести эти слова, я обнаружил, что она уже стоит в пустом коридоре в состоянии задумчивой каталепсии и ковыряет шпилькой в зубах.

На железнодорожной станции в семи милях отсюда я стал предметом всеобщего удивления, заказав экипаж для поездки в этот город. Когда же я приказал вознице: «В «Голову Дельфина»! — от меня не укрылось не предвещавшее ничего хорошего выражение, появившееся на лице здоровенного малого в вельветовой куртке — служителя при железнодорожной станции. Он к тому же крикнул на прощанье моему вознице саркастическим тоном: «Эй, Джо-ордж! Смотри, еще повесишься там!» — так что у меня даже мелькнула мысль пожаловаться на него главному управляющему.

У меня не было в этом городе никаких дел — у меня

вообще никогда не бывает никаких дел ни в каких городах,— но мною овладела фантазия поехать и посмотреть, каков он в состоянии упадка. Я весьма удачно начал с «Головы Дельфина», где все говорило о прошедших дилижансовых и теперешних бездилижансовых днях. Раскрашенные литографии, где были изображены дилижансы в момент прибытия, отбытия и смены лошадей, дилижансы в ясный солнечный день, дилижансы на снегу, дилижансы на ветру, дилижансы в дождь и в туман, дилижансы в день рождения короля, дилижансы во все периоды их величия и славы, но только не в момент поломки и не вверх дном, заполоняли гостиницу. Некоторые из этих произведений искусства в рамках без стекол были продырявлены; на других лак потемнел и растрескался, так что они стали похожи на подгоревшую корочку пирога; третьи были окончательно засижены мухами многих летних сезонов. Разбитые стекла, попорченные рамы, криво повешенные картины и целая партия безнадежно покалеченных литографий, рассованных по темным углам, еще более подчеркивали царившее всюду запустение. Старый зал на первом этаже, где прежде обедали пассажиры скорых дилижансов, был совершенно пуст, и только какие-то жалкие прутики в цветочных горшках красовались там на подоконнике широкого окна, стараясь заслонить от глаз голую землю вокруг, да еще там стояла детская коляска, принадлежавшая младшему отпрыску Меллоузов, но и она с безнадежным видом отвернулась к стене своим откидным верхом. Второй зал, в котором прежде ожидали почтальоны, пока во дворе перекладывали лошадей, еще держался, но в нем было душно, как в гробу, и Уильям Питт *, висевший на перегородке под самым потолком (и забрызганный, по-видимому, портвейном, хотя для меня остается тайной, каким образом портвейн мог туда попасть), не без оснований воротил нос и всем своим видом выказывал отвращение. На тонконогом буфете растерявшие пробки судки для приправ находились в состоянии жалком и заброшенном: анчоусы заплесневели уже несколько лет тому назад, а кайенский перец (с черпачком внутри, похожим на крошечную модель деревянной ноги) совершенно окаменел. Стародавние свечи — не свечи, а одно мошенничество,— за которые всегда приходилось платить и кото-

рыми никогда не приходилось пользоваться, наконец, догорели, но высоченные подсвечники все еще оставались на месте и, прикидываясь серебряными, продолжали вводить людей в заблуждение. Заплесневелый дореформенный член парламента от этого гнилого местечка *, засунувший правую руку за борт сюртука и весьма символически повернувшийся спиной к груде прошений от избирателей, тоже был тут; зато кочерги, неизменно отсутствующей среди других каминных принадлежностей, дабы почтальонам не вздумалось не в меру расшевелить огонь, как и всегда, на месте не было.

Продолжая исследовать «Голову Дельфина», я убедился, что гостиница сильно съежилась. Вступив во владение, Дж. Меллоуз разгородил таверну, и во второй половине ее помещалась теперь табачная лавка с отдельным ходом во двор — тот самый некогда знаменитый двор, куда выбегали почтальоны с хлыстами в руках, обязательно застегивая на ходу жилеты,— выбежал, вскочил на лошадь и был таков! «Кузнец — специалист по ковке лошадей, он же хирург-ветеринар», захватил еще часть двора, а мрачный, саркастически настроенный барышник, который объявлял, что у него даются напрокат «щегольской одноконный кабриолет и телега, тоже одноконная», вместе со своим предприятием и семейством обосновался в одном конце обширной конюшни. Другой ее конец был начисто отрезан от «Головы Дельфина», и теперь здесь помещались молельня, мастерская колесника и «Общество Молодых Людей для взаимного усовершенствования и собеседований» (на чердаке); из всего этого вместе взятого образовался переулок. Ни одна дерзкая рука не осмелилась сорвать с центрального купола конюшни флюгер, но он весь покрылся ржавчиной и застыл в положении «норд», тогда как штук сорок голубей, все еще хранивших верность традициям предков и месту, сидели в ряд по коньку крыши единственного сарая, который «Дельфин» оставил за собой, причем все голуби дружно старались спихнуть крайнего. Я воспринял это как эмблему борьбы за положение и место, которая разыгралась с появлением железных дорог.

Решив отправиться на прогулку в город, я вышел со двора «Дельфина» через крытую галерею с колоннами,

благоухавшую прежде супом и конюшней, а теперь затхлостью и запустением, и зашагал по улице. День стоял жаркий, и жалюзи на окнах были везде опущены, наиболее же предприимчивые торговцы заставляли своих мальчиков кропить водой мостовую перед домами. Казалось, будто они оплакивают дилижансы и не успевают просушивать носовые платки, которые не могут впитать все пролитые слезы. Подобная слабость была бы вполне простительна, потому что дела — как сообщил мне один угрюмый колбасник, который содержал лавку, отказывавшуюся отвечать любезностью на любезность и содержать его,— были «хуже некуда». Большинство шорников и торговцев зерном постигла участь дилижансов, но отрадно было видеть, как выходят на сцену молодые силы — совсем как в ложбине, именуемой «Долиной теней», где на отвесный спуск непрерывно вступает вечно новая вереница ребятишек — ибо на смену этим торговцам пришли по большей части продавцы сластей и дешевых игрушек. Конкурент «Дельфина» — гостиница, гремевшая когда-то под названием «Новый Белый Олень», уже давно потерпела крах. В припадке малодушия «Новый Белый Олень» замазал свои окна мелом и забил досками парадную дверь, оставив лишь боковой вход; но даже этот вход оказался непомерно большим для Литературного Общества — последнего арендатора этого здания — ибо и Общество потерпело крах, и гордые буквы на фронтоне «Белого Оленя», поотвалившись все за исключением:

Т РАТ НОЕ Б СТВО

невольно наводили мысль на слова «Отвратительное убожество». Что же касается соседнего с «Оленем» рынка, то, по-видимому, вся торговля там была брошена на горшечника, который заполонил своими горшками и мисками чуть ли не половину всего рынка, да еще на бродячего разносчика, который сидел, скрестив руки, на оглоблях своей тачки, надменно поглядывал по сторонам и, казалось, таил под вельветовым жилетом серьезные сомнения относительно того, стоит ли даже и на одну ночь оставаться в таком месте.

Когда я уходил с рынка, зазвонили в церкви, но это никоим образом не улучшило положения дел, потому что колокола с обидой и от злости, захлебываясь словами, непрерывно повторяли: «Что же с дилижан-сами сталось?» Выражения они не меняли (как я выяснил, прислушиваясь), разве только голоса их становились все более резкими и досадливыми, и они продолжали повторять: «Что ж с дили-жан-сами сталось?», каждый раз начиная вопрос до неучтивости внезапно. Может быть, со своей высоты они видели железную дорогу, и это их особенно сердило?

Набредя на мастерскую каретника, я начал осматриваться по сторонам с новым приливом бодрости, думая, что, быть может, случайно увижу тут какие-нибудь остатки былого величия города. Работал в мастерской только один человек — иссохший, седоватый и в годах, но высокий и прямой. Заметив, что я смотрю на него, он поднял голову, сдвинул очки на колпак из оберточной бумаги и, очевидно, приготовился дать мне достойный отпор.

— Добрый день, сэр! — кротко обратился я к нему.

— Чего? — сказал он.

— Добрый день, сэр!

Он, казалось, обдумал мои слова и не согласился с ними.

— Ищете кого, что ли? — спросил он в упор.

— Да вот я думал, не сохранилось ли здесь случайно каких-нибудь остатков старого дилижанса?

— Только и всего?

— Да, только и всего.

— Нет, не сохранилось.

Тут пришла моя очередь сказать «о!», что я и сделал. Иссохший седоватый человек не произнес больше ни слова и опять согнулся над своей работой. В те времена, когда здесь строились новые дилижансы, маляры, прежде чем приступить к окраске, пробовали свои кисти на столбике, возле которого он теперь работал, и на этом столбике можно было прочитать настоящую летопись былого великолепия в красках синих и желтых, и красных и зеленых, намалеванных в несколько дюймов толщиной. Наконец он снова поднял на меня глаза.

— Делать вам, видно, нечего,— ворчливо заметил он.

Я признал справедливость этого замечания.

— А жаль, что вас сызмальства к делу не приучили.

Я сказал, что мне и самому жаль.

Тогда, словно осененный какой-то мыслью, он положил рубанок (так как все это время он работал рубанком), снова сдвинул на лоб очки и подошел к двери.

— А «постшэ» [1] вам не подойдет?

— Я вас не совсем понимаю.

— «Постшэ», говорю, вам подойдет? — повторил каретник, стоя почти вплотную ко мне и скрестив руки наподобие адвоката, ведущего перекрестный допрос.— Подойдет ли вам «постшэ» для такого дела? Да или нет?

— Да!

— Тогда ступайте прямо по этой улице, пока ее не увидите. Уж вы ее не пропустите, только нужно далеко идти.

С этими словами он взял меня за плечо и повернул в ту сторону, куда я должен был идти, а сам вошел в мастерскую и снова взялся за работу, усевшись на фоне листвы и гроздьев винограда. Ибо, хотя сам он и был человек ожесточенный и всем на свете недовольный, мастерская его выглядела очень приветливо, потому что в ней удачно сочетались город и деревня, улица и сад — что столь часто можно наблюдать в маленьких английских городках.

Я зашагал в ту сторону, куда он меня послал, дошел до пивной с вывеской «Первая и Последняя» и вскоре оказался за городом на старом лондонском тракте. Дойдя до заставы, где прежде взималась подорожная подать, я нашел, что она красноречивей всяких слов говорит о переменах, происшедших на тракте. Домик сборщика податей зарос плющом, а сам сборщик, не имея больше возможности прокормиться податями, занялся сапожным ремеслом. Мало того, его жена торговала имбирным пивом, а в том самом дозорном оконце, из которого сборщики по-

---

[1] Искаженное от французского слова post-chaise — почтовая карета.

датей взирали в былые времена на великолепные лондонские кареты, лихо подкатывающие к заставе, стоял липкий от сиропа фонарь с выкрашенными по спирали палочками из карамели, похожими на жезлы, что висят у входа в цирюльню.

Взгляды сборщика податей на политическую экономию выяснились из следующего разговора.

— Как идут дела на заставе, хозяин? — обратился я к сборщику, сидевшему на маленьком крылечке и занятому починкой башмака.

— Дела на заставе, хозяин, никак не идут,— сказал он мне.— Встали дела!

— Плохо! — заметил я.

— Плохо? — повторил он и, указав на загорелого пропыленного мальчишку, который старался влезть на шлагбаум, сказал, растопырив пальцы правой руки, словно укоряя всю природу: — А всего-то их пять!

— А нельзя ли как-нибудь улучшить дела на заставе? — спросил я.

— Есть один способ, хозяин,— ответил он с видом человека, всесторонне обдумавшего этот вопрос.

— Хотелось бы мне знать, какой?

— Нужно взимать подать со всего, что провозят мимо, нужно взимать подать с пешеходов. И еще нужно взимать подать со всего, что здесь не провозят, и нужно взимать подать с тех, кто сидит дома.

— Будет ли последнее справедливо?

— Справедливо? Те, кто сидит дома, могут взять да и пройти здесь, если захотят. Нет, что ли?

— Допустим, что могут.

— Значит, нужно брать с них подать. Если они не проходят, это уж их забота. Да что там — брать с них подать, и все!

Убедившись, что спорить с этим финансовым гением так же невозможно, как если бы он был канцлером казначейства (что было бы наиболее подходящей для него должностью), я робко пошел дальше.

Я уже начал было сомневаться, не зря ли я послушался разочарованного каретника, и пошел искать ветра в поле. Наверное, в этих местах никакой кареты вовсе и

нет. Однако, подойдя к огородам, расположившимся вдоль дороги, я взял назад свои подозрения и признал, что был к нему несправедлив. Ибо, несомненно, передо мной была она — самая убогая, самая ветхая почтовая карета, еще сохранившаяся на земле.

Эта почтовая карета, снятая с оси и колес, плотно засела в глинистой почве среди беспорядочно растущих овощей. Эту почтовую карету даже не поставили прямо на землю, она покосилась набок, словно вывалившись из воздушного шара. Эта почтовая карета уже давно, наверное, находилась в таком упадочном состоянии, и алая вьющаяся фасоль оплела ее со всех сторон. Эта почтовая карета была починена и залатана чайными подносами или обрезками железа, очень похожими на подносы, и по самые окна обшита досками, и все же на правой дверце ее висел молоточек. Использовалась ли эта почтовая карета как сарай для хранения инструментов, дачный домик или постоянное жилище,— выяснить я не мог, так как дома — в карете,— когда я постучал, никого не оказалось, однако сомнений быть не могло — для каких-то целей она использовалась и была заперта. Повергнутый этой находкой в изумление, я несколько раз обошел почтовую карету вокруг и уселся рядом с почтовой каретой в ожидании дальнейших разъяснений. Никаких разъяснений, однако, не последовало. Наконец я пошел обратно по направлению к старому лондонскому тракту, обходя теперь огороды с противоположной стороны, и, следовательно, вышел на тракт несколько дальше того места, где свернул. Мне пришлось перелезть через изгородь и не без риска спуститься вниз по обрывистому склону насыпи, и я чуть-чуть не угодил прямо на голову сухощавому человечку, который бил щебень на обочине дороги. Он придержал свой молоток и, таинственно поглядывая на меня из-под проволочных наглазников, сказал:

— Известно ли вам, сэр, что вы нарушаете границы частных владений?

— Я свернул с дороги,— сказал я в объяснение своего поступка,— чтобы взглянуть на эту странную почтовую карету. Вы случайно ничего о ней не знаете?

— Знаю, что она отслужила много лет на дороге,— ответил он.

— Я так и думал. Вы не знаете, кому она принадлежит?

Каменщик опустил брови и наглазники к груде щебня, как будто взвешивая, стоит ли отвечать на этот вопрос. Затем, снова подняв голову, сказал:

— Мне!

Никак не ожидая подобного ответа, я принял его довольно неуклюжими восклицаниями: — Да что вы! Подумать только! — Немного погодя я добавил: — Вы...— Я хотел спросить: «живете там?» — но вопрос показался мне самому настолько нелепым, что я заменил его словами — «живете поблизости?».

Каменщик, который не разбил ни одного камня с той минуты, как началась наша беседа, теперь поступил следующим образом: встал на ноги, опершись о молоток, и, подняв куртку, на которой сидел, перекинул ее через руку, затем он сделал несколько шагов назад, где насыпь была более пологой, чем там, откуда пришел я — все это молча и не отводя своих темных наглазников от меня,— затем вскинул молоток на плечо, резко повернулся, поднялся на насыпь и исчез. Лицо у него было такое маленькое, а наглазники такие большие, что выражения лица его определить я не мог, но остался под полным впечатлением, что выгнутые дугой ноги — это я успел рассмотреть, пока он удалялся,— принадлежали, без сомнения, старому почтальону. Только тут я заметил, что работал он сидя возле заросшего травой подорожного столбика, который казался памятником, воздвигнутым на могиле лондонского тракта.

Близился час обеда, и я не пошел за обладателем наглазников и не стал глубже вдаваться в этот вопрос, а повернул обратно к «Голове Дельфина». В воротах я встретил Дж. Меллоуза, который стоял, устремив взгляд в пустоту, но явно не обнаружив в ней ничего такого, что могло бы привести его в приятное расположение духа.

— Меня этот город нимало не занимает,— заявил Дж. Меллоуз, когда я похвалил ему достижения санитарии, которыми мог (а может, и не мог) похвалиться город.— Век бы мне не видеть этого городишка!

— Вы не отсюда родом, мистер Меллоуз?

— Отсюда родом? — повторил Меллоуз.— Да если бы я не был родом из города рангом повыше, так мне бы ничего не оставалось, как головой в ведро...

Тут я сообразил, что Меллоуз, от нечего делать, частенько прибегал к внутренним ресурсам, под которыми я подразумеваю винный погреб «Дельфина».

— Что нам нужно,— сказал Меллоуз, стаскивая шляпу таким жестом, точно хотел вытряхнуть из нее все отвращение, которое выделял его мозг, а потом надевая снова, чтобы набрать новую порцию.— Что нам нужно, так это железнодорожную ветку. Петиция в парламент о законопроекте, предусматривающем постройку ветки, лежит в кофейной. Может, и вы под ней подпишетесь? Чем больше подписей, тем лучше.

Я нашел вышеупомянутый документ — он был разложен на столе в кофейной и придавлен различными тяжеловесными предметами кухонного обихода — и добавил ему еще веса в виде своей не торговой подписи. Насколько я понимаю, я скрепил своей подписью скромное заявление, из которого явствовало, что расцвет мировой торговли и цивилизации, а также счастье, благоденствие и безграничное торжество нашей страны в соревновании с иностранными державами будут непременным следствием постройки ветки. Свершив сей конституционный акт, я спросил мистера Меллоуза, не может ли он украсить мой обед бутылкой хорошего вина?

Ответ мистера Меллоуза прозвучал так:

— Если бы я не мог предложить бутылки хорошего вина, я бы — да что там — тогда уж только головой в ведро... Только, видите ли, меня надули, когда я покупал это дело, здесь все было вверх дном, и я до сих пор еще не успел перепробовать все до конца, чтобы разобрать вина по сортам. Поэтому, если вы закажете одну марку, а принесут вам другую, отсылайте бутылки назад, пока вам не подадут, что следует. Ибо,— сказал мистер Меллоуз, снова вытряхивая свою шляпу, как прежде,— ибо, что оставалось бы делать вам или любому другому джентльмену, если бы вы заказали одну марку вина, а вас заставляли бы пить другую? Да что там — вам бы только и осталось (как и подобает истинному джентльмену), только бы и осталось, что головой в ведро...

## XXV

### *Кулинарное заведение новой Англии*

Невзрачный вид нашей английской столицы в сравнении с Парижем, Бордо, Франкфуртом, Миланом, Женевой — да почти с любым большим городом европейского континента — особенно резко бросается мне в глаза после длительного пребывания в чужих странах. Лондон невзрачен по сравнению с Эдинбургом, с Абердином *, с Экзетером *, с Ливерпулем, с любым нарядным городком, вроде Бери Сент Эдмондс. Лондон невзрачен по сравнению с Нью-Йорком, с Бостоном, с Филадельфией. Если уж на то пошло, редко можно встретить человека, впервые приехавшего из одного из этих мест, в котором Лондон не возбудит сильнейшего разочарования своей невзрачностью. В самом Риме трудно найти более невзрачное местечко, чем Друри-лейн *. Убожество Риджент-стрит в сравнении с парижскими бульварами поражает не меньше, чем бессмысленное уродство Трафальгарской площади в сравнении с благородной красотой Плас де ла Конкорд. У Лондона невзрачный вид при дневном свете и тем более при свете газовых фонарей. Ни один англичанин не узнает, что такое газовое освещение, не повидав Рю де Риволи и Пале-Ройяль с наступлением темноты.

Невзрачен и вид лондонской толпы. Без сомнения, до некоторой степени повинно в том отсутствие одежды, по которой сразу можно определить, к какому классу принадлежит человек и его профессию. Пожалуй, такую одежду в Лондоне только и носят, что швейцары Компании Винтнер, ломовые извозчики да мясники, но даже они не надевают ее по праздникам. У нас нет ничего, что могло бы сравниться по дешевизне, опрятности, удобству или живописности с подпоясанной блузой. Что же касается наших женщин, сходите на следующую пасху или троицу в Британский музей или в Национальную галерею, взгляните на женские шляпки и вспомните хорошенький белый французский чепец, испанскую мантилью или генуэзскую шаль.

Я вполне допускаю, что в Лондоне продается не больше ношеной одежды, чем в Париже, и все же значительная часть лондонского населения имеет вид людей, одетых в платье с чужого плеча, чего не скажешь про парижан. Мне кажется, это происходит главным образом оттого, что в Париже рабочий люд нимало не обеспокоен тем, как одевается люд праздный, а просто надевает то, что принято носить людьми его класса, и заботится исключительно о своих удобствах. В Лондоне же, наоборот, моды сверху спускаются вниз, и, чтобы действительно понять, насколько неудобна или смешна какая-нибудь мода, нужно дождаться, чтобы она докатилась до самых низов. Совсем недавно мне пришлось наблюдать на скачках, как четверо в кабриолете страшно потешались над видом четверых пешеходов. Пешеходы были два молодых человека и две молодые женщины; и в кабриолете сидели два молодых человека и две молодые женщины. Четыре молодые женщины были одеты согласно одной и той же моде, четыре молодых человека были одеты согласно одной и той же моде. И тем не менее две сидевшие в экипаже пары так забавлялись, глядя на идущие пешком пары, словно и не подозревали, что они сами установили эти моды и в эту самую минуту выставляли их напоказ.

Да разве на одну только одежду мода в Лондоне — и следовательно, во всей Англии — спускается сверху вниз, придавая всем невзрачный вид? Давайте подумаем немного и рассудим справедливо. «Черная область» вокруг Бирмингема действительно очень черна, но так ли уж она черна, как о ней в последнее время пишут? В июле этого года в Народном парке в окрестностях Бирмингема, когда парк был заполнен жителями «Черной области», вследствие постыдного по своей опасности зрелища произошел ужасный случай. Но неужели постыдно опасное зрелище было вызвано черной безнравственностью обитателей «Черной области», особой страстью этих темных людей к зрелищу чужой опасности, которая им самим никак не угрожает? Что и говорить, свет очень нужен «Черной области», в этом мы все сходимся. Но не нужно окончательно забывать и о великом множестве людей хорошего общества, которые ввели в моду эти постыдно опасные зрелища. Не нужно окончательно забывать о предприим-

чивых директорах общества, похваляющегося своим огромным воспитательным влиянием, которые довели до предела игру на низменных чувствах, когда распорядились натянуть канат Блондэна на предельной высоте. Темнота «Черной области» не должна окончательно затемнять все это. Заранее раскупленные места наверху, поближе к канату, расчищенное пространство внизу, чтобы при падении никто, кроме акробата, не пострадал, нарочито неверные движения, ежеминутно грозящие катастрофой, обилие фотографий и полное отсутствие благородного негодования — все это не должно потонуть в кромешной тьме «Черной области».

Какая бы мода ни охватила Англию, она неминуемо спустится вниз. Вот неистощимая тема для проповеди касательно осторожности, с какой нужно вводить моды. Обнаружив что-либо модное в самых низких слоях общества, ищите в прошлом (обычно совсем недалеком) время, когда этой же модой были охвачены самые верха. Это — неистощимая тема для проповеди касательно социальной справедливости. Все, начиная с подражания эфиопским певцам и кончая модными сюртуками и жилетами особого фасона, берет свое начало в приходе Сент-Джеймс. Когда эфиопские певцы станут невыносимы, проследите их путь, он уведет их за «Черную область»; когда сюртуки и жилеты окончательно надоедят, отсылайте их туда, где они берут свое начало,— в Околоток Высокопоставленных Лизоблюдов.

Когда-то джентльменские клубы существовали для лютых схваток между членами разных партий; рабочие клубы того времени носили тот же характер. Джентльменские клубы превратились в места тихих безобидных развлечений; их примеру стали следовать и рабочие клубы. Если нам кажется, что рабочие недостаточно быстро оценивают преимущества объединения в товарищества, которые позволяют джентльменам, уменьшая расходы, пользоваться большими благами, то это происходит только потому, что из-за отсутствия средств рабочие вряд ли могли бы создать подобные товарищества без посторонней помощи, и еще потому, что такая посторонняя помощь неотделима от оскорбительного покровительства. В английском рабочем покровительство вызывает инстинктивный протест, и эта

его черта заслуживает всяческого уважения. Это основа основ, на которой зиждятся все его лучшие качества. И если вспомнить весь поток глупых и пошлых слов, который низвергается на его честную голову, или самодовольную снисходительность, с какой его гладят по этой самой честной голове, то нет ничего удивительного и в том, что он относится к покровительству иногда с незаслуженной подозрительностью, а порою и обижается на него, даже когда для обиды нет повода. Доказательством его умения владеть собой я считаю уже то, что он не машет кулаками направо и налево, услышав обращение: «Друзья мои!», или: «Я собрал вас здесь, друзья мои...», равно как и то, что он не выходит из себя и не бежит, как гонимый амоком малаец *, едва завидев какое-нибудь двуногое в черном костюме из тончайшего сукна, восходящее на помост с целью побеседовать с ним; что любая притворная попытка развить его ум не заставляет его мгновенно сойти с ума и, подобно разъяренному быку, кинуться на своего благосклонного покровителя.

Ибо сколь часто приходится мне слышать, как поучают несчастного рабочего, словно это приютский мальчик, шмыгающий носом, наизусть затвердивший тексты из катехизиса, которому от бога дано до конца дней своих оставаться в том классе общества, который отмечает праздники кружечкой теплого разбавленного молока и сладкой булочкой! Какими только шуточками не терзали его уши, какие только идиотские мысли, беспомощные выводы и прописные истины ему не высказывали, как только не старались ораторы приноровить свое невыносимое многословие к предполагаемому уровню его понимания! Если бы его молоты, его заступы и кирки, его пилы и резцы, его ведра с краской и кисти, его кузницы, горны и инструменты, лошади, которых он погоняет, и машины, которые помыкают им самим, были бы игрушками, сложенными в бумажный кулек, а он ребенком, забавляющимся ими, то и тогда с ним не могли бы беседовать более нагло и глупо, чем мне неоднократно доводилось слышать. И поскольку он не дурак и не низкопоклонник, его отношение к своим покровителям можно было бы выразить приблизительно так: «Оставьте вы меня в покое! Уж если вы не способны понять меня, дамы и господа, то по крайней мере оставьте

меня в покое! Намерения у вас, возможно, и хорошие, но мне все это не нравится, и этим вы меня сюда не заманите».

Все, что делается для блага и прогресса рабочего, должно осуществляться самими рабочими и в дальнейшем существовать без помощи со стороны. Ни о снисходительности, ни о покровительстве тут не может быть и речи. В огромных рабочих областях эту истину уже изучили и поняли. Когда вследствие гражданской войны в Америке возникла необходимость — сперва в Глазго, а затем и в Манчестере — показать рабочим выгоды, которые приносят система и объединение при покупке и приготовлении пищи, об этой истине ни на минуту не забывали. Следствием этого было то, что очень быстро недоверчивость и неприязнь исчезли, а приложенные усилия увенчались успехом и дали удивительные результаты.

Вот какие мысли занимали меня, когда я шел как-то июльским утром в этом году по направлению к Торговой (не Неторговой) улице в Уайтчепле. Нашлись люди, которые сочли нужным дать более широкое распространение системе, принятой в Глазго и Манчестере, и стремились привить ее здесь, и меня заинтересовала розовая афишка, на которой было напечатано следующее:

КУЛИНАРНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ДЛЯ РАБОЧИХ

СОВЕРШЕННО НЕЗАВИСИМОЕ

*Торговая улица, Уайтчепл*

УДОБНО РАЗМЕЩАЮТСЯ 300 ОБЕДАЮЩИХ ОДНОВРЕМЕННО

*Открыто с 7 утра до 7 вечера*

ПРЕЙСКУРАНТ:

*Все продукты лучшего качества!*

Чашка чаю или кофе . . . . . . . . . . . . . . 1 пенс
Хлеб с маслом . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пенс
Хлеб с сыром . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пенс
Порция хлеба . . . . . $1/2$ пенса или . . . . . 1 пенс
Яйцо всмятку . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пенс
Имбирное пиво . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пенс

Вышеуказанные блюда можно получить в любое время. Помимо вышеуказанных блюд от 12 до 3 часов имеются:

Тарелка бульона по-шотландски . . . . . . . . . . 1 пенс

| | |
|---|---|
| Тарелка супа . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 пенс |
| Порция картофеля . . . . . . . . . . . . . . . | 1 пенс |
| Порция рубленого мяса . . . . . . . . . . . . | 2 пенса |
| Порция холодной отварной говядины . . . . . . . | 2 пенса |
| Порция холодной ветчины . . . . . . . . . . . | 2 пенса |
| Порция плум-пудинга или риса . . . . . . . . . . | 1 пенс |

**Ввиду того, что дешевизна пищи в значительной степени зависит от количества людей, которые могут обедать одновременно, Верхний Зал специально отводится для ежедневного общественного обеда от 12 до 3 дня, который состоит из следующих блюд:**

**Тарелка бульона или супа**
**Порция холодной отварной говядины или ветчины**
**Порция картофеля**
**Порция плум-пудинга или риса.**

**На общую стоимость — 4½ пенса.**

**Имеются свежие газеты.**

**Примечание: Это заведение основано на строго деловых началах с твердым намерением сделать его совершенно независимым, чтобы каждый мог посещать его совершенно свободно.**

**Кулинарное заведение с уверенностью рассчитывает на содействие всех посетителей в пресечении поступков, которые могут в какой-то мере нарушить спокойствие, тишину и порядок.**

**Просьба не уничтожать эту афишку, но передать ее другому лицу, для которого она может представить интерес.**

Независимое кулинарное заведение (не слишком удачное название и хотелось бы заменить его другим, более благозвучным) арендовало недавно выстроенный склад, поэтому размещается оно в здании, отнюдь не предназначавшемся для этой цели. Однако при небольших издержках склад удалось удивительно хорошо приспособить для этой цели — помещение хорошо проветривается, оно светлое, чистое и уютное. Состоит помещение из трех больших комнат. В подвальном этаже находится кухня, на первом — общая столовая и на втором — упоминаемый в афишке Верхний Зал, где каждый день можно получить дежурный обед за 4½ пенса. В кухне стоят американские плиты, занимающие очень мало места и поглощающие очень мало топлива, и готовят на них молодые женщины, не учившиеся специально поварскому делу. Стены и колонны двух столовых окрашены в красивые, светлые, приятные для глаз тона, за столами могут разместиться одновременно шесть — восемь человек; подают опрятные молодые девушки; все они одеты одинаково и

все к лицу. По-видимому, весь штат состоит из женщин, за исключением заведующего хозяйством или управляющего.

Мой первый вопрос коснулся жалованья, которое выплачивается этому штату, ибо если заведение, претендующее на самостоятельность, может жить только путем ущемления чьих-либо интересов или влачить жалкое существование, прибедняясь и выпрашивая вспомоществование (как поступают слишком многие так называемые «Клубы механиков»), я осмеливаюсь выразить свое — не торговое — мнение, что существовать ему не стоит и что существование свое ему лучше прекратить. Из счетных книг я узнал, что служащие получают достаточное вознаграждение. Следующие мои вопросы коснулись качества провизии и условий, на которых она закупается. Мне пояснили, что качество самое лучшее и что все счета оплачиваются в конце недели. Следующие мои вопросы коснулись баланса счетов за две последние недели — всего лишь третью и четвертую со дня открытия Заведения. Мне также сказали, что после оплаты всех счетов, налогов, аренды, амортизации и процентов на вложенный капитал — 4% в год — и выплаты жалований, доход за прошлую неделю (в округленных цифрах) выразился в сумме 1 фунт 10 шиллингов, а за предыдущую неделю — 6 фунтов 10 шиллингов. К этому времени у меня разыгрался здоровый аппетит, и мне захотелось тут пообедать.

Только что пробило двенадцать часов, и в маленьком окошечке перегородки, за которой я сидел, просматривая отчеты, стали — быстро сменяя одно другое — появляться лица посетителей. Внутри за окошечком, похожим на театральную билетную кассу, восседала опрятно одетая, проворная молодая женщина, которая принимала деньги и выдавала талоны. Каждый посетитель должен был взять талон. Брали талоны за четыре с половиной пенса для обеда в Верхнем Зале (по-видимому, самые ходкие), или однопенсовые на порцию супа, или вообще столько талонов за один пенс, сколько кто хотел. За три однопенсовых талона предоставлялся широкий выбор блюд: порция холодной отварной говядины с картофелем, или порция холодной ветчины с картофелем, или порция горячего рубленого мяса с картофелем, или тарелка супа, хлеб с сыром и порция плум-пудинга. Некоторых посетителей беспокоило то,

что они должны выбирать; заняв место за столиком, они впадали в задумчивость, слегка смущались, затруднялись в выборе и говорили растерянно, что еще не решили. Пока я сидел за столиком в нижнем зале, мое внимание привлек один старик; он был так поражен стоимостью блюд, что сидел уставившись на прейскурант как на что-то потустороннее. Молодые люди принимали решение с той же быстротой, с какой поглощали поданное, и их выбор неизменно включал пудинг.

Среди обедающих было несколько женщин, клерков и приказчиков. Были тут и плотники и маляры, ремонтировавшие здание неподалеку, были моряки, было здесь — по выражению одного обедающего — «всякой твари по паре». Кто приходил в одиночку, кто по двое, некоторые обедали компаниями по три, четыре или шесть человек. Эти, конечно, разговаривали между собой, но могу заверить, что я не слышал более громких голосов, чем в любом клубе на Пэлл-Мэлл. Один ожидавший обеда повеса, правда, свистнул, и притом достаточно пронзительно, но я с удовлетворением заметил, что сделал это он, желая выразить пренебрежение к моей не торговой особе. Подумав, я полностью согласился с ним, что раз я не обедаю, как все остальные, то нечего мне там и делать. И — как здесь говорят — «пошел» на четыре с половиной пенса.

В зале, где происходили четырехпенсовые банкеты, стоял прилавок, точно такой же, как внизу, сплошь уставленный уже готовыми порциями холодных блюд. Позади прилавка в больших кастрюлях дымился, распространяя аппетитный запах, суп; из таких же кастрюль выкладывали отлично приготовленный картофель. К пище руками не прикасались. У каждой служанки были свои столики, за которыми она и подавала. Увидев, что новый посетитель усаживается за один из ее столов, она брала с прилавка весь его обед — суп, картофель, мясо и пудинг — и, очень ловко справляясь со всем этим, ставила перед ним тарелки и получала взамен талон. Подача всех блюд сразу очень упрощала работу служанок и нравилась посетителям, которые благодаря этому могли разнообразить порядок обеда, начиная сегодня с супа, съедая завтра суп на второе и заканчивая послезавтра им обед; точно так же они могли поступать с мясом и с пудингом. Поражала бы-

строта, с какой каждому новому посетителю подавался обед, а ловкость, с какой исполняли свои обязанности служанки (еще месяц тому назад совершенно незнакомые с этим искусством), радовала не менее, чем опрятность и изящество их одежды и причесок.

Если мне, хоть и нечасто, доводилось встречать более умелую прислугу, то вкуснее приготовленного мяса, картофеля и пудинга я решительно никогда не ел. Суп был прекрасный, наваристый, с рисом и ячневой крупой, было в нем и «кое-чего пожевать», как выразился уже раз упомянутый мною посетитель, с которым я познакомился в нижнем зале. Столовая посуда не поражала своим безобразием — она выглядела красиво и просто. Еще одно последнее замечание относительно кушаний и их приготовления: несколько дней спустя я обедал в своем клубе на Пэлл-Мэлл, в том самом, о котором я уже говорил, и заплатил ровно в двенадцать раз больше за обед, который был в два раза хуже.

После часа сделалось тесновато, и обедающие стали сменяться очень быстро. Несмотря на то, что привыкнуть к этому месту за такой короткий срок вряд ли кто-нибудь успел и несмотря на значительное количество любопытных, толпившихся на улице и у входа, общая атмосфера не оставляла желать ничего лучшего, и посетители очень быстро осваивались с установленными правилами. Для меня, однако, было совершенно очевидно, что обедающие там люди не хотят ни от кого никаких одолжений и что пришли они сюда с намерением платить полностью все, что с них причитается. Насколько я могу судить, стоит им почувствовать чье-то покровительство, и через месяц ноги их в помещении не будет. А надзором, расспросами, нотациями и поучениями их можно выкурить отсюда и того скорее, да так, что и через двадцать пять лет ни один из них сюда не заглянет.

Это бескорыстное и разумное движение влечет за собой такие благотворные перемены в жизни рабочих и приносит столько пользы, помогая рассеивать подозрительность, порожденную недостатком уважения — пусть неумышленным — с нашей стороны, что сейчас едва ли уместно заниматься критикой мелочей, тем более что правильная до мельчайших подробностей постановка дела —

бесспорно вопрос чести для директора Уайтчеплского заведения. Тем не менее — хотя на американских плитах нельзя жарить мясо, но не такие уже они бесталанные, чтобы на них можно было варить только один определенный сорт мяса, и потому не нужно ограничиваться только сетчиной и говядиной. Даже самые восторженные поклонники этих питательнейших продуктов согласятся, по всей вероятности, изменить им изредка ради свинины и баранины, или — особенно в холодные дни — невинно развлечься тушеным мясом по-ирландски, мясными пирожками или бифштексом в тесте. Еще один недостаток Уайтчеплского заведения — это отсутствие пива. Если рассматривать это только как вопрос политики — то политика эта неблагоразумна, ибо она толкает рабочего в трактир, где — по слухам — продается джин. Но есть еще и более глубокие причины, почему отсутствие пива вызывает возражения. В нем кроется недоверие к рабочему. Это лохмотья все той же старой мантии покровительства, в которую грозные блюстители морали, мрачно бродящие по нашему высоконравственному свету, пытаются его закутать. А рабочий говорит, что хорошее пиво ему полезно и что он его любит. Кулинарное заведение могло бы снабжать его хорошим пивом, а теперь ему приходится довольствоваться плохим. Почему же Кулинарное заведение не снабжает его хорошим? Потому что он может напиться пьяным. Почему же Кулинарное заведение не разрешит ему купить одну пинту к обеду, от которой он не опьянеет? Потому что он, быть может, уже выпил пинту или две, прежде чем пришел сюда. Подобная подозрительность обижает, она находится в полном противоречии с доверием, выраженным директорами в их афишке, это робкая остановка на прямом пути. К тому же это несправедливо и неразумно. Несправедливо потому, что наказывает трезвенника за грехи пьяниц. Неразумно потому, что каждый человек, имеющий хотя бы какой-то опыт в подобных вещах, знает, что пьющий рабочий не напивается там, куда он идет есть и пить, а только там, куда он идет пить — именно пить. Усомниться в том, что рабочий может разобраться в этом вопросе не хуже, чем разбираю его здесь я, значит усомниться в его умственном развитии и снова начать разговаривать с ним как с малым ребенком,

скучно, снисходительно и покровительственно сюсюкая, внушая ему, что он должен быть паинькой, слушаться папу с мамой, не воображать, будто он взрослый мужчина и избиратель, благонравно сложить ручки и вести себя примерно.

Из отчетов Уайтчеплского независимого Кулинарного заведения я узнал, что все, что продается там — даже по приведенным мною ценам,— приносит известный маленький доход. Разумеется, на свет уже вылезли разные дельцы, и разумеется, они пытаются воспользоваться названием предприятия в своих целях. Классы, на благо которых были задуманы настоящие «Кулинарные заведения», сумеют разобраться между двумя видами предприятий.

## XXVI

### *Чатамские корабельные верфи*

Есть на Темзе и Медуэй * маленькие уединенные пристани, где я люблю коротать летом свой досуг. Текучая вода располагает к мечтаниям, для меня же нет лучше текучей воды, чем поднятая сильным приливом река. Мне нравится наблюдать за величественными кораблями, уходящими в море или возвращающимися домой с богатым грузом, за небольшими деловитыми буксирами, которые, самоуверенно пыхтя, выводят их на морские просторы и приводят обратно, за флотилиями баржей с бурыми и рыжеватыми парусами, словно сотканными из осенних листьев, за неповоротливыми угольщиками, идущими порожняком и с трудом продвигающимися против течения, за легкими винтовыми барками и шхунами, надменно держащими курс напрямик, тогда как остальным приходится терпеливо лавировать, поворачивая то на один, то на другой галс, за крошечными яхтами, над которыми высятся огромные полотнища белого холста, за парусными лодочками, которые ныряют в волнах по всем направлениям, то ли удовольствия ради, то ли по делу, разводя, подобно мелким людишкам, ужасную суматоху из-за пустяков. Я наблюдаю за ними, хотя, если мне не захочется, ничто

не может заставить меня ни думать о них, ни даже, если уж на то пошло, на них смотреть. Точно так же ничто не может заставить меня слушать плеск набегающих волн, журчание воды у ног, отдаленное поскрипывание ворота или еще более отдаленный шум лопастей парохода. Все это — так же как и скрипучий маленький причал, на котором я сижу, и рейка с отметкой уровня полной воды где-то высоко и отметкой уровня низкой воды у самой тины, и расшатавшаяся плотина, и разрушающаяся береговая насыпь, и подгнившие столбы и сваи, накренившиеся вперед, словно им доставляет тщеславное удовольствие любоваться своим отражением в воде,— может увести фантазию куда угодно. С таким же успехом увести фантазию куда угодно — или никуда — могут и пасущиеся на болотах овцы с коровами, и чайки, которые то кружат надо мной, то стремглав летят вниз, и вороны, которых ни одна пуля не достанет, возвращающиеся домой с богатого жнивья, и та цапля, что наелась рыбы и сейчас выглядит на фоне неба так понуро, словно от этой пищи у нее сделалось несварение желудка. Все доступное человеческим чувствам текучая вода может увлечь в области, им недоступные, и там слить в одно дремотное целое, слегка напоминающее какой-то неясный напев, которому, однако, нет точного определения.

Один из таких причалов находится неподалеку от старого форта (оттуда в карманный бинокль мне виден маяк Нор), а из этого форта таинственным образом появляется мальчик, которому я весьма обязан пополнением скудного запаса своих знаний. Мальчику этому совсем немного лет, у него смышленая физиономия, покрытая бурым летним загаром, и курчавые волосы такого же цвета. В этом мальчике — насколько я мог заметить — нет ничего, что могло бы показаться несовместимым с усидчивостью, пытливостью и созерцательностью, разве что бледнеющий синяк под глазом (деликатность не позволила мне осведомиться о его происхождении) наводит на кое-какие размышления. Ему я обязан тем, что могу теперь определить на любом расстоянии таможенное судно и знаю все формальности и церемонии, которые должен соблюдать идущий вверх по реке корабль с грузом из Индии, когда таможенные чиновники подымутся к нему на борт. Если бы не он,

я никогда бы не слышал о «скрытой малярии», болезни, в изучении всех симптомов которой я теперь весьма преуспел. Если бы мне никогда не приходилось слушать поучения, сидя у его ног, я, быть может, закончил бы свой земной путь, так и не узнав, что белая лошадь на парусе баржи означает, что баржа эта перевозит известь. Не менее признателен я ему и за неоценимые советы по части пива; сюда, между прочим, относится и предупреждение ни в коем случае не пить пива в некоем заведении, так как по причине недостаточного спроса оно там обычно прокисшее, хотя мой юный мудрец полагает, что эль избежал этой участи. Просветил он меня и касательно грибов, растущих на болотах, ласково пожурив за невежество, когда я высказал предположение, что они насквозь просолены. Делится своими познаниями он вдумчиво, как к тому располагает окружающий пейзаж. Лежа подле меня, он бросает в реку камушек или кусочек песчаника и затем вещает, подобно оракулу, и кажется, что слова его идут из центра расходящегося по воде круга. Поучая меня, он никогда не отступает от этого правила.

Вот с этим-то мудрым мальчиком — которого знаю только под именем «Дух Форта» — и проводил я время недавно в ветреный день возле расшумевшейся и взволнованной реки. Спускаясь к воде, я видел, как убирают с золотистых полей сжатый хлеб; румяный фермер, который, сидя верхом на жеребце, наблюдал за рабочими, сообщил мне, что сжал все свои двести шестьдесят акров пшеницы на прошлой неделе и что ему еще в жизни не доводилось сделать столько за неделю. Печать мира и изобилия лежала на всем; все было прекрасно: и формы и краски; казалось даже, что урожай, стекавший золотым потоком в баржи, которые отплывали и таяли вдали, спешит поделиться с не знающим серпа морем своими щедротами.

Именно в этот раз «Дух Форта», обращая свою речь к некоей плавучей батарее, с недавнего времени лежавшей в дрейфе в этой излучине реки, обогатил мой ум своими соображениями относительно кораблестроения и поведал мне, что хотел бы стать инженером. Я обнаружил, что ему досконально известно все, что касается выполнения контрактов господами Пэто и Брэси — фирмы, иску-

шенной по части цемента, достигшей совершенства в вопросах, относящихся к железу, замечательной там, где дело касается артиллерии. Заговорив о том, как забивают сваи и строят шлюзы, он совершенно загнал меня в тупик, и я просто не знаю, как отблагодарить его за кротость и снисходительность. Рассуждая таким образом, он неоднократно обращал свой взор все к одному и тому же далекому уголку ландшафта и таинственно, с неясным благоговением упоминал о «Верфи». Уже после того как мы расстались, размышляя над всем тем, что я узнал от него, я сообразил, что он имел в виду одну из наших больших государственных верфей, которая спряталась меж полей глубоко в котловине, за ветряными мельницами, словно стремясь в мирное время не попадаться никому на глаза и никого не тревожить. Плененный такой скромностью Верфи, я решил получше познакомиться с ней.

Мое высокое мнение относительно скромности Верфи ничуть не упало при более коротком знакомстве. Оглушительные удары молотов по железу сотрясали воздух, огромные сараи или навесы, под которыми строились могучие военные корабли, выглядели с противоположной стороны реки очень внушительными. Несмотря на все это, Верфь вовсе не старалась выставлять себя напоказ, она приютилась у подножья холмов, по склонам которых лежали поля, огороды с хмелем и фруктовые сады; ее высоченные трубы дымились неторопливо, почти лениво — точь-в-точь как чубук великана, а большие подъемные стрелы, стоявшие рядом на якоре, несмотря на свою несоразмерную величину, выглядели кротко и безобидно, совсем как жирафы фабричной работы. У пушечного склада на соседней канонерской пристани был невинный игрушечный вид, а часовой в красном мундире казался просто заводным солдатиком. Когда горячие солнечные лучи освещали его, он был совсем как «человечек с ружьецом, а пули налиты свинцом, свинцом, свинцом...»

Когда я переехал на лодке через реку и пристал у сходней, где до меня пытались пристать наносы стружек и водорослей, только им это не удалось, почему они и сбились в кучу тут же рядом, мне показалось, что даже вместо фонарных столбов там были пушки, а вместо архитектурных украшений — ядра. Итак, я прибыл к Верфи, скры-

вающейся за огромными створчатыми воротами, наглухо и накрепко запертыми, как несгораемый шкаф невероятных размеров. Ворота поглотили меня, и я очутился во чреве Верфи, имевшей на первый взгляд чисто прибранный, праздничный вид, как будто работы на ней приостановлены до новой войны. Хотя, если уж на то пошло, большое количество пеньки для тросов, не уместившейся даже на складах Верфи, вряд ли валялось бы, как сено, прямо на белых плитах мощеного двора, если бы Верфь действительно была настроена так миролюбиво, как ей хотелось представиться.

Дзинь! Бряк! Дзинь! Бах! Трах! Треск! Бряк! Дзинь! Бах! Стук! Бах! Бах! Бах! Господи, что это? Это — броненосец «Ахиллес», или то, что скоро станет броненосцем «Ахиллесом». Тысяча двести человек трудятся сейчас над его постройкой, тысяча двести человек трудятся, стоя на лесах у его бортов, на носу, на корме, под килем, между палубами, внизу в трюме, внутри и снаружи; они карабкаются, заползают в самые тесные уголки и закоулки, где только может повернуться человек. Тысяча двести молотобойцев, измерителей, конопатчиков, оружейных мастеров, слесарей, кузнецов, корабельных плотников, тысяча двести человек, которые стучат, бьют, брящают, трахают, гремят и снова стучат, стучат, стучат!.. И все же весь этот невероятный шум и гам вокруг нарождающегося «Ахиллеса» ничто в сравнении с раскатами страшного грохота, который потрясет корабль в тот страшный день, когда начнется его настоящая работа, когда потоки крови хлынут в палубные стоки. Все эти деловитые фигурки между палубами, которые, согнувшись, работают там, едва различимые в огне и дыме, ничто по сравнению с теми фигурками, которые в тот день будут делать в огне и дыме другое дело. Если паровые катера, которые сейчас бегают взад и вперед, помогая строить корабль, тоннами подвозя листы железа, как будто это самая обыкновенная листва, остановятся рядом с ним, тогда от них не останется ровно ничего. Только представьте себе, что этот самый «Ахиллес» — чудовищное соединение железного чана и дубового сундука — сможет когда-нибудь плыть или покачиваться на волнах! Только представьте себе, что у ветра и волн может когда-нибудь хватить сил, чтобы разбить его!

Только представьте себе, что везде, где я вижу докрасна раскаленное железное жало, протыкающее борт «Ахиллеса» изнутри — как сейчас вон там! вон! вон и вон еще! — и двух человек, подкарауливающих его появление на помосте снаружи с молотами в обнаженных до плеч руках, которые яростно обрушивают удары на это жало и продолжают ударять по нему, пока оно не расплющится и не почернеет, только представьте себе, что это забивают на место заклепку и что таких заклепок очень много в каждом листе железа, а во всем корабле их тысячи и тысячи! Мне очень трудно определить размеры корабля, находясь на его борту, ибо внутри он состоит из целой серии железных чанов и дубовых сундуков, ни конца, ни начала которым найти невозможно, так что половину корабля можно разбить в щепки, а оставшаяся половина все же сохранится и сможет держаться на воде. А потом нужно снова перелезть через борт и спуститься вниз прямо в грязь и слякоть на дне дока в подземную чашу поддерживающих его железных опор и, подняв глаза, взглянуть на заслоняющий свет необъятный выпуклый борт, суживающийся книзу, к тому самому месту, где стою я, и тогда после всех тяжких трудов можно совершенно забыть, что перед вами корабль, и вообразить, будто это — громадное неподвижное сооружение, воздвигнутое в каком-нибудь древнем амфитеатре (например, в Вероне) * и заполнившее его почти до краев! Однако как можно было бы сделать все это без вспомогательных мастерских, без механизмов, при помощи которых сверлят отверстия для заклепок в железных листах (четыре с половиной дюйма толщиной!), без гидравлического пресса, который придает этим листам нужную форму, подгоняя их к тончайшим, сходящим на нет изгибам линий корабля, без ножей, напоминающих клювы могучих и жестоких птиц, которые обрезают эти листы в соответствии с чертежом. В эти невероятно мощные машины, которыми так легко управляет один человек с внимательным взглядом и властной рукой, заложена — как мне кажется — частица присущей Верфи скромности. «Покорное чудовище, соблаговолите прокусить эту массу железа на равных расстояниях, там, где поставлены пометки мелом!» Чудовище смотрит на то, что ему предстоит сделать, и, подняв тяжелую голову, отвечает:

«Нельзя сказать, чтобы мне хотелось это делать, но раз надо, так надо!» Твердый металл раскаленной массой выворачивается из скрежещущих зубов чудовища и... дело сделано! «Послушное чудовище, обратите ваше внимание еще и на эту массу железа. Ее нужно обстрогать, чтобы она соответствовала этой незаметно сходящей на нет причудливой линии, на которую соблаговолите взглянуть!» Чудовище (пребывавшее в задумчивости) пригибает свою неуклюжую голову к линии, совсем как доктор Джонсон, и внимательно осматривает ее — очень внимательно, ведь оно несколько близоруко. «Нельзя сказать, чтобы мне хотелось делать это, но раз надо, так надо!..» Чудовище еще раз близоруко приглядывается, нацеливается, и исковерканный кусок, корчась от боли, падает вниз в пепел, словно раскаленная свернувшаяся кольцами змея. Изготовление заклепок это всего лишь милая игра, которой забавляются, стоя друг против друга, рабочий и подросток; не успевают они положить кусочек нагретого докрасна постного сахару на доску для игры в «Папессу Иоанну» *, как из окошечка выскакивает заклепка. Несмотря на все это, тон великолепных машин вполне соответствует тону великолепной Верфи и всей великолепной страны: «Нельзя сказать, чтобы нам хотелось делать это, но раз надо, так надо!..»

Каким образом смогут удерживать на месте невероятную громаду «Ахиллеса» сравнительно небольшие якоря — те, что лежат тут же рядом и предназначаются для него,— загадка мореходного искусства, разгадывать которую я предоставляю мудрому мальчику. Я же, со своей стороны, считаю, что с таким же успехом можно привязать слона к колышку от палатки или самого большого гиппопотама в Зоологическом саду к моей галстучной булавке. Вон там в реке, возле остова корабля, лежат две полые металлические мачты. Вот они-то на глаз кажутся мне достаточно большими, да и остальные его принадлежности тоже. Отчего же только якоря выглядят такими маленькими? Сейчас у меня нет времени задумываться над этим, так как я иду осматривать мастерские, где изготовляются все весла, нужные Британскому флоту. Должно быть, довольно большое помещение, размышлял я, и довольно длительная работа. Относительно размеров я разочаровываюсь очень

скоро, так как вся мастерская помещается на одном чердаке. Относительно же длительности работы... что это? Два катка для белья, размером несколько больше обычного, над которыми порхает рой бабочек. Чем же катки привлекают бабочек?

Подойдя поближе, я вижу, что это вовсе не катки, а сложные машины, в которые вделаны ножи, пилы и рубанки, срезающие гладко и прямо здесь и вкось там, вырезающие столько-то в одном месте и не вырезающие ничего в другом — словом, проделывающие все, что требуется, над деревянной чуркой, подсунутой снизу. Каждая из этих чурок должна превратиться в весло, и они были лишь вчерне подготовлены для этой цели, прежде чем окончательно распрощались с далекими лесами и погрузились на корабль, отплывающий в Англию. Тут же я вижу, что бабочки — это вовсе не бабочки, а древесная стружка, силой вращения машины подброшенная вверх в воздух, где она, двигаясь рывками, порхает, и резвится, и взлетает, и падает, и вообще настолько похожа на бабочек, что дальше некуда. Внезапно шум и движение прекращаются, и бабочки безжизненно падают на землю. За то время, что я пробыл здесь, одно весло изготовлено, остается только обточить ему ручку. В мгновение ока это весло оказалось уже у токарного станка. Один оборот машины, один миг — и ручка обточена! Весло готово!

Изящество, красота и производительность этой машины не требуют доказательств, однако в тот день как раз нашлось отличное тому доказательство. Для какой-то специальной цели понадобилась пара весел необычного размера, и их пришлось делать вручную. Сидя возле искусной и легко приводимой в действие машины, сидя возле непрерывно растущей на полу груды весел, человек топором вытесывал эти специальные весла. Тут дело обходилось без роя бабочек, без стружки, без опилок. Казалось, что трудолюбивый язычник (которому нет еще и тридцати) готовит весла на случай своей кончины, лет этак в семьдесят, чтобы прихватить их в подарок Харону для его лодки *, так медленно — по сравнению с машиной — продвигалась работа этого человека. Пока он утирал пот со лба, машина успевала изготовлять одно весло обычного образца.

Вороха тонкой и широкой, как лента, стружки, снятой с чурок, с быстротой секундной стрелки превращавшихся в весла, могли с головой засыпать человека с топором, прежде чем он закончил бы свою утреннюю работу.

От созерцания этого удивительного зрелища я снова возвращаюсь к кораблям — ибо, что касается Верфи, сердце мое принадлежит строящимся на ней кораблям, — и тут мое внимание привлекают какие-то незаконченные деревянные остовы судов, которые сохнут на опорах впредь до разрешения вопроса о сравнительных достоинствах дерева и железа, причем, надо сказать, вид у них такой, будто они с мрачной уверенностью ждут благоприятного для себя исхода спора. Рядом с этими внушающими почтение исполинами стоят таблички, на которых указаны их названия и боевая мощь — обычай, который, если бы ввести его в обиход среди людей, весьма способствовал бы непринужденности и приятности общения. По перекидной доске, в которой гораздо больше изящества, чем прочности, я отваживаюсь перебраться на борт винтового транспортного корабля, только что прибывшего с частной верфи для осмотра и приемки. Заботливым отношением к нуждам солдат, простотой своего устройства, обилием света и воздуха, чистотой, заботой о пассажирах — женщинах и детях — он производит самое благоприятное впечатление. Внимательно изучая корабль, я прихожу к заключению, что подняться на борт его, когда в адмиралтействе часы бьют полночь, и остаться там в одиночестве до самого утра я согласился бы лишь за большие деньги, ибо, без всякого сомнения, его часто посещают сонмы призраков суровых и упрямых старых служак, с прискорбием пожимающих своими херувимскими эполетами при мысли о том, как меняются времена. И все же, глядя на поразительные средства и возможности наших верфей, мы учимся более чем когда-либо почитать наших предков, ходивших в море, боровшихся с морем и владевших морем, не располагая этими средствами и возможностями. Эта мысль заставляет меня проникнуться величайшим почтением к старому кораблю, медные части которого совсем позеленели, а сам он потускнел и покрылся заплатами, и я снимаю перед ним свою шляпу. Молоденький,

с пушком на щеках, офицер инженерных войск, проходящий в этот момент мимо, увидев мое приветствие, принимает его на свой счет... чему я, разумеется, только рад.

После того как меня (в воображении) распилили на части пилами круглыми, приводившимися в действие паром, пилами вертикальными, пилами горизонтальными и пилами эксцентрического действия, я подошел, наконец, к той части своей экспедиции, когда можно уже бродить бесцельно, и следовательно, к самой сути своих не торговых исканий.

Везде, где я побывал, во всех уголках Верфи, я примечаю ее спокойствие и скромность. Торжественным покоем охвачены служебные помещения и другие здания из красного кирпича, дающие понять, что ничего из ряда вон выходящего здесь не происходит, степенно избегающие похвальбы — качества, которого я не видел нигде за пределами Англии. Белые плиты мостовой ничем, кроме случайного эха, не выдают близости строящегося «Ахиллеса» и его тысячи двухсот стучащих рабочих (ни один из которых не старался напускать на себя значительный вид). Если бы не шелест, наводящий на мысль об опилках и стружках, мастерская, где изготовляются весла, и движущиеся во всех направлениях пилы могли бы находиться за много миль отсюда. Внизу расположен большой водоем, где лес вымачивается в воде различной температуры, что необходимо для его выдерживания. Над водоемом по подвесным рельсам ходит Волшебный Китайский вагончик; он выуживает бревна из воды, когда они достаточно вымочены, плавно откатывается в сторону и складывает их в штабеля. Когда я был мальчишкой (в то время я был хорошо знаком с Верфью), мне казалось, что было бы очень заманчиво поиграть в волшебном вагончике, получив эту механику в полное свое распоряжение с милостивого соизволения государства. Я до сих пор еще подумываю, что не худо было бы попробовать написать, сидя в нем, книгу. Уединение в этом случае было бы полным, а скользить взад и вперед между штабелями леса — разве это не то же самое (только гораздо удобнее), что путешествовать по чужим странам: в чащах Северной Америки, в топких болотах Гондураса, в темных сосновых лесах, путешество-

вать в норвежскую стужу, в тропическую жару, в дождь и в грозу? Драгоценные запасы леса сложены в штабеля и припрятаны в укромных местах, как будто они не желают похваляться и лезть на глаза. Они всячески стараются не привлекать к себе внимания, они не призывают: «Поглядите-ка на меня!» А между тем это отборнейшее дерево, его отбирали в лесах всего мира, его отбирали по длине, отбирали по толщине, отбирали по прямизне, отбирали по кривизне; его отбирали, имея в виду мельчайшие особенности кораблей и гребных судов. Диковинно изогнувшиеся стволы лежат вокруг, восхищая глаз кораблестроителя. Гуляя по этим рощам, я набрел на прогалину, где рабочие осматривали недавно прибывший лес. Совсем идиллическая картинка на фоне реки и ветряной мельницы! И все это похоже на войну не больше, чем Американские Штаты на единое государство.

Бродя между мастерскими, где сучат тросы, я почувствовал, как меня опутывает блаженная лень, и тут мне стало казаться, что нить моей жизни, раскручиваясь все больше и больше, уводит меня к самым ранним дням моего детства, когда дурные сны — они были очень страшные, хотя в более зрелом возрасте я никак не мог понять, чем именно,— заключались в бесконечном свивании каната, но не из прядей, а из длинных тончайших нитей, а когда заплетенный канат подносили к моим глазам, я не мог удержаться от крика. А потом я иду между тихими мастерскими и складами, где хранятся паруса, рангоуты, такелаж, спасательные лодки, иду, готовый верить, что существует некто, облеченный властью, что этот некто бродит тут же, сгибаясь под тяжестью увесистой связки ключей на поясе, и, когда требуется что-нибудь, подходит, разбирая ключи — совсем как Синяя Борода,— и отпирает нужную дверь.

Как безмятежно выглядят эти длинные ряды складов сейчас, но стоит только электрической батарее послать приказание, как все двери распахнутся настежь, и такая флотилия боевых кораблей под парами и под парусами двинется вперед, какую найдет нужным наш видавший виды Медуэй — куда веселый Стюарт впустил голландцев *, пока его не столь веселые матросы умирали с голоду на улицах,— и понесут они в море кое-что достойное вни-

мания. Итак, я снова неторопливо возвращаюсь к Медуэю, где сейчас прилив достигает высшей точки, и вижу, что река выказывает сильнейшее желание ворваться в сухой док, где находится «Ахиллес» и его тысяча двести стучащих строителей, с намерением унести оттуда все, прежде чем они закончат работу.

Верфь до конца сохраняет полное спокойствие; мой путь к воротам лежит через тихую рощицу, где деревья заслоняют от солнца причудливую голландскую пристань и где испещренная бликами фигура корабельного мастера, который только что прошел в противоположном конце ее, могла быть тенью самого русского царя Петра. Но вот двери огромного несгораемого шкафа, наконец, захлопываются за мной, и я снова сажусь в лодку; и почему-то, наблюдая за тем, как погружаются в воду весла, думаю о хвастливом Пистоле * и его потомстве и о покорных чудовищах на Верфи с их вечным: «Нельзя сказать, чтобы нам хотелось делать это, но раз надо, так надо!..» Хр-р-рум!

## XXVII

### *В краю французов и фламандцев*

— Не то чтобы жизнь в этом краю кипела,— сказал я себе,— не блещет он и разнообразием, этот край, населенный на три четверти фламандцами и на одну четверть французами, но свои привлекательные стороны есть и у него. Хоть и проходят здесь железнодорожные магистрали, но поезда оставляют его далеко позади, устремляясь с пыхтением дальше — в Париж и на юг, в Бельгию и в Германию, к северному побережью Франции и в сторону Англии — лишь слегка закоптив его мимоходом. Ну, и потом, ведь я его не знаю, а это уже достаточно веский предлог, чтобы пожить здесь; кроме того, я не умею произносить чуть ли не половину длинных замысловатых фамилий, украшающих вывески магазинов, а это еще один достаточно веский предлог для пребывания здесь, потому что должен же я, наконец, выучиться. Короче говоря, я был «здесь», и мне нужен был только предлог, чтобы здесь

остаться. Удовлетворительный предлог был найден, и я остался.

В какой степени повлиял мсье П. Сальси на мое решение, не столь важно, хоть я и не скрываю, что принял его уже после того, как увидел на стене красную афишу с именем этого джентльмена. Мсье П. Сальси, par permission de M. le Maire [1], обосновался со своим театром в ратуше — великолепном, чисто выбеленном здании, на ступенях которого я теперь стоял. А мсье П. Сальси, полномочный директор означенного театра, входящего в «первый театральный arrondissement [2] департамента Нор», приглашал весь франко-фламандский люд посетить театр и принять участие в интеллектуальном пиршестве, предлагаемом его семейством драматических актеров, общей численностью в пятнадцать персон — «La Famille P. Salcy, composée d'artistes dramatiques, au nombre de 15 sujets».

Край, повторяю, не славится ни кипучей деятельностью, ни разнообразием, не блистает он и чистотой, но зато здесь приятно бывает прокатиться верхом, пока черная жидкая грязь не скроет бегущие по равнине и спускающиеся в овраги мощеные дороги. Край населен так редко, что я просто не понимаю, где живут крестьяне, которые пашут землю, сеют и снимают урожай, и на каких невидимых воздушных шарах доставляют их в поле на рассвете из далеких жилищ и увозят обратно на закате. Не могут же изредка попадающиеся бедные домики и фермы предоставить кров всем людям, необходимым для того, чтобы возделывать землю, хотя с работой здесь не слишком торопятся, так как в один долгий погожий день я встретил на протяжении двенадцати миль не более чем человек двадцать пять мужчин и женщин (вместе взятых), жавших хлеб и вязавших снопы. И все же я видел здесь больше скота, больше овец, больше свиней, да и содержались они лучше, чем в тех местах, где говорят на более чистом французском языке. Лучше здесь были сложены и скирды, круглые, выпуклые, похожие на кубари, укрытые хорошими навесами, а не какие-нибудь бесформенные

---

[1] С разрешения господина мэра *(франц.)*.

[2] Округ *(франц.)*.

бурые кучи, наваленные, словно сухари для посаженного на хлеб и воду великана, и пришпиленные к земле вертелом из его же кухни. Есть здесь также хороший обычай устраивать вокруг дома навес фута в три-четыре шириной, под которым всегда сухо и где можно подвешивать для просушки травы, держать земледельческие орудия, да мало ли что еще. Не хочу сказать ничего дурного о наших порядках (тем паче, что издали все выглядит в гораздо более розовом свете), но, во всяком случае, лихорадке при них открыт вход за порог. Замечательная домашняя птица франко-фламандского края, и зачем тебе вообще быть домашней птицей? Почему бы подрастающему поколению не перестать класть яйца, не вымереть и не покончить с этим делом? Сегодня я видел птичьих родителей во главе жалких выводков; с важным видом они пытались тщетно выскрести хоть что-нибудь из грязи и ковыляли на ногах столь тощих и слабых, что в применении к ним игривое слово «ножка» казалось бы насмешкой; кукареканье же главы семейства звучало словно тяжелый приступ кашля. Видел я и телеги и кое-какие земледельческие орудия — громоздкие, нескладные, уродливые. Тысячи тополей окаймляют здесь поля и плоскую равнину, и когда смотришь прямо перед собой, кажется, что стоит только переступить последнюю кайму на горизонте, и сразу полетишь кувырком в пространство. Маленькие, выбеленные, похожие на карцер часовни с наглухо запертыми дверьми, с фламандскими надписями, встречаются почти на каждом перекрестке; очень часто их украшают связки деревянных крестов, похожих на игрушечные сабли; иногда же за неимением часовни украшают так же старое дерево, засадив в его дупло какого-нибудь святого, а то и шест, на верху которого в некоем подобии священной голубятни тоже обитает какой-нибудь сильно уменьшенный в размерах святой. Не скажу, чтобы мы здесь в городе страдали от отсутствия подобных украшений, потому что в церкви — вон там за нашим отелем — посредством старых кирпичей и камня, с добавлением размалеванного холста и деревянных истуканов, весьма картинно представлена сцена распятия; а все это сооружение высится над пропыленным черепом какой-то священной особы (возможно!), лежащим за низенькой, покрытой

золой железной каминной решеткой, словно сначала его сунули туда, чтобы испечь, да огонь уже давно успел угаснуть. Это поистине край ветряных мельниц, только они здесь такие ветхие и шаткие, что при каждом повороте крыльев кажется, будто, сами себя подбив крылом, они вот-вот с жалобным скрипом рухнут на землю. Ну и, кроме этого, здесь край ткачей: из всех придорожных домиков доносится унылое постукивание ткацких станков — тра-та-та-щелк, тра-та-та-щелк! — и каждый раз, заглянув внутрь, я вижу бедного ткача или ткачиху, согнувшихся над работой, тогда как ребенок, которому тоже нашлось дело, вертит колесо маленького ручного станка, поставленного прямо на пол, чтобы ему было по росту. Бессовестное чудовище — ткацкий станок, расположившись в маленьком жилище, утверждает, что он — кормилец семьи, нагло настаивает на своих правах, широко расставив ноги, шагает через соломенные подстилки детей, заставляет тесниться всю семью и вообще ведет себя как распоясавшийся тиран. Но и он в свою очередь целиком зависит от безобразных заводов, и фабрик, и белилен, которые торчат то тут, то там среди перерезанных каналами полей и, подобно станку, считают ниже своего достоинства потесниться ради кого-нибудь или хотя бы не уродовать пейзаж. Вот что окружало меня, когда я стоял на ступенях ратуши и семейство П. Сальси, общим числом пятнадцать драматических персон, настоятельно уговаривало меня остаться здесь.

К тому же здесь была еще и ярмарка. Противостоять двойному нажиму было невозможно, а кроме того, губка моя осталась в последней гостинице, и поэтому я отправился в обход городка с намерением купить новую. В маленьких залитых солнцем лавчонках, торговавших шелками, оптическими стеклами, аптекарскими и бакалейными товарами — а случалось и картинками из священного писания,— восседали важные старые фламандские супружеские пары, обязательно в очках, созерцая друг друга через пустой прилавок, в то время как осы, по всей видимости захватившие с боем город и установившие в нем осиное военное положение, производили воинские маневры в окнах. Некоторые лавки были полностью оккупированы осами, но на это никто не обращал внимания, никто

даже не показывался, когда я стучал пятифранковой монетой по прилавку. Найти искомый предмет оказалось невозможно, как будто это был калифорнийский золотой самородок, и потому, оставшись без губки, я решил провести вечер с семейством П. Сальси.

Все члены семейства П. Сальси — отцы, матери, сестры, братья, дяди и тети — были так толсты и так похожи друг на друга, что местная публика, мне кажется, окончательно запуталась в интриге представляемой пьесы и до самого конца надеялась увидеть в каждом актере без вести пропавшего родственника каждого другого актера. Театр находился на верхнем этаже ратуши, и добираться до него нужно было по высокой, ничем не украшенной лестнице, на которой в непринужденной позе стоял один из членов семейства П. Сальси — джентльмен дородный и плохо поддающийся воздействию пояса — и взимал входную плату. Это обстоятельство вызвало в дальнейшем величайшее оживление, ибо лишь только поднялся занавес перед началом вступительного водевиля и перед зрителями в образе юного любовника (пропевшего коротенькую песенку, исполняя ее главным образом бровями) предстал, по всей видимости, тот же самый дородный джентльмен, плохо поддающийся воздействию пояса, как все зрители устремились на лестницу, чтобы воочию убедиться, мог ли он действительно за такой короткий промежуток времени облечься во фрак и приобрести столь нежный цвет лица и черные с вокальным изломом брови? Тут обнаружилось, что это был другой дородный джентльмен, плохо поддающийся воздействию пояса. Не успели еще зрители прийти в себя, как к нему присоединился третий дородный джентльмен, плохо поддающийся воздействию пояса — одно лицо с первым. Две эти «персоны» — а вместе с получателем входной платы — три, из числа объявленных пятнадцати — вступили в беседу, касающуюся очаровательной молоденькой вдовушки, которая, вскоре появившись на сцене, оказалась дородной дамой, решительно не поддающейся никакому воздействию, как и американские негры,— четвертая из пятнадцати «персон» и родная сестра пятой, проверявшей входные билеты. В свое время все пятнадцать персон весьма драматично

предстали перед зрителями. Не обошлось дело и без Ma Mère, Ma Mère[1] и без проклятий по адресу d'un Père[2], был тут и неизбежный маркиз, и столь же неизбежный молодой провинциал, придурковатый, но преданный, который последовал за Жюли в Париж и мог плакать, и смеяться, и задыхаться — все сразу. Действие развивалось при помощи добродетельной прялки в начале, порочных бриллиантов в середине и слезливого благословения (по почте) Ma Mère в конце. Вследствие же всего этого один дородный джентльмен, плохо поддающийся воздействию пояса, оказался пронзенным маленькой шпажкой, другой дородный джентльмен, плохо поддающийся воздействию пояса, получил ежегодную ренту в пятьдесят тысяч франков и орден; молодого же провинциала дружно убедили, что если он еще не испытывает величайшего блаженства — для чего, казалось бы, у него не было никаких причин,— то он должен немедленно начать его испытывать. Это дало ему последнюю возможность поплакать, посмеяться и позадыхаться — все сразу, и привело покидающих театр зрителей в состояние сентиментального восторга. Невозможно представить себе более внимательную или более воспитанную публику, хотя места в задних рядах в театре семейства П. Сальси и стоили на английские деньги всего шесть пенсов, а в передних — один шиллинг. Каким образом умудрились пятнадцать персон так растолстеть при таких ценах, одному только богу известно.

Каких великолепных фарфоровых рыцарей и их дам, вернувших себе при помощи позолоты весь свой былой блеск, мог бы я купить на ярмарке для украшения своего дома, будь я франко-фламандским крестьянином и имей я на то деньги! Какие сверкающие кофейные чашки с блюдечками мог бы я при удаче выиграть в лотерею! А какими сногсшибательными духами, какими сластями мог бы я торговать здесь! Или я мог бы стрелять в тире в маленьких куколок — их было много, и каждая стояла в тире в своем маленьком углублении,— я мог бы даже угодить в их королеву и завоевать франки и славу! Или, будь я

[1] Мать моя, мать моя! *(франц.)*

[2] Отца *(франц.)*.

здешним парнем, мои товарищи привезли бы меня на тачке состязаться в метании дротиков на приз муниципалитета, и, если бы я метал плохо и дротик мой, пролетая через кольцо, задел бы его, на меня вылилось бы целое ведро воды, от чего участники состязания спасаются забавными старыми шляпами, делающими их похожими на огородные пугала. Или будь я здешним уроженцем — мужчиной или женщиной, мальчишкой или девчонкой,— я мог бы всю ночь гарцевать на деревянной лошадке в пышной кавалькаде других таких же лошадок, четверней запряженных в триумфальные колесницы, которые кружились, кружились, кружились и кружились бы до бесконечности, в то время как мы — веселая орава — без конца пели бы хором под аккомпанемент шарманки, барабана и цимбал. Занятие, в общем, не более однообразное, чем езда верхом на Ринге в Гайд-парке, только куда более веселое, потому что разве случается там когда-нибудь, чтобы катающиеся пели хором под шарманку, разве бывает там, чтобы дамы обнимали лошадок обеими руками за шею, разве обмахивают там джентльмены своих дам хвостами борзых коней вместо вееров? И при виде всех этих кружащихся утех, украшенных самодельными плошками и китайскими фонариками, кружащимися вместе с ними, проясняются задумчивые лица ткачей, и светится цепочкой газовых фонарей ратуша, а над ней, на фоне газового света, парит французский орел, который, кажется, тоже не избежал здешней общекуриной немощи и, находясь, очевидно, в нерешительности, какой политический курс избрать, роняет свои перья. Везде реют флаги. И такое веселье стоит вокруг, что даже тюремный сторож выходит посидеть на каменных ступеньках тюрьмы, чтобы взглянуть на мир по ту сторону решетки, тогда как чудесный уголок — винная лавка, что напротив тюрьмы в тюремном переулке (она так и называется La Tranquillité[1], столь очаровательно ее местоположение), гремит голосами пастухов и пастушек, решивших провести здесь эту праздничную ночь. И тут я вспоминаю, что не далее как сегодня днем видел какого-то горемычного пастуха, направлявшегося в эту же сторону по ухабистой мостовой сосед-

[1] Спокойствие *(франц.)*.

ней улицы. Потрясающее зрелище — хилый, маленький, тупой, неповоротливый крестьянин в блузе, влекомый бурным вихрем в лице двух громадных жандармов в треуголках, едва умещавшихся на узкой улочке; каждый из них нес узелок украденного имущества, размерами не больше их эполет, и бряцал саблей, рядом с которой пленник казался настоящим пигмеем.

«Messieurs et Mesdames! Разрешите мне из чувства признательности к обитателям столь прославленного города и в знак почтения к их благоразумию и утонченному вкусу, разрешите мне представить вам Чревовещателя! Да, Чревовещателя! И еще, Messieurs et Mesdames, разрешите мне представить вам Трансформатора — лицедея, неподражаемого артиста, умеющего выразить лицом все что угодно, умеющего изменять черты, дарованные ему от господа, и создавать бесконечный ряд изумительных неподражаемых портретов, а также, Messieurs et Mesdames, умеющего изобразить все гримасы, сильные и выразительные, которые только свойственны человеческим лицам и отражают такие чувства и порывы человеческой души, как Любовь, Ревность, Мстительность, Ненависть, Жадность, Отчаяние! Эй, эй! К нам, к нам! Заходите!» Такую речь, прерываемую время от времени ударами в звонкий бубен — и надо сказать ударами от души, как будто бубен представляет всех тех, кто не желает заходить, — держит человек суровой и надменной наружности, одетый в роскошную форму, мрачный, потому что он владеет сокровенными тайнами балагана. «Заходите, заходите! Сегодня вам представляется счастливый случай! Не пропустите его! Завтра будет уже поздно! Завтра утром экспресс умчит от вас Чревовещателя и Трансформатора; Алжир оставит вас без Чревовещателя и Трансформатора! Да! Во славу своей родины они приняли неслыханное по важности предложение выступить в Алжире. Можете увидеть их в последний раз перед отъездом! Через минуту мы начинаем! Эй, эй! К нам, к нам! Заходите! Мадам, получите деньги, да поскорее! Сейчас мы начинаем! Заходите!»

Тем не менее, получив со всех деньги, оба — и мрачный оратор и мадам, сидящая в кисейной будочке и собирающая су, — продолжают зорко наблюдать за толпой, стараясь не упустить ни одного су. «Заходите, заходите! Вы

уже со всех получили деньги, мадам? Если нет, мы их подождем. Если да, начинаем!» С этими словами оратор бросает взгляд через плечо, вселяя в зрителей уверенность, что в щель между складками портьер, за которыми он вот-вот скроется, ему видны Чревовещатель и Трансформатор. Несколько су вырываются из карманов и тянутся к мадам. «В таком случае, поднимайтесь, Messieurs! — восклицает мадам пронзительным голосом и манит унизанным перстнями пальцем.— Поднимайтесь! Время не терпит! Мсье объявил начало!» Мсье ныряет внутрь, за ним следуем мы, последний немногочисленный улов. Внутри, как и снаружи, балаган выглядит довольно аскетически. Истинному храму искусств не нужно ничего, кроме стульев, драпировок, маленького столика, над которым висят две лампы, и зеркала, ради украшения вделанного в стену. Мсье в форме становится позади стола и окидывает нас презрительным взглядом; его лоб, освещенный двумя висячими лампами, кажется дьявольски интеллектуальным. «Messieurs et Mesdames, разрешите мне представить вам Чревовещателя! Он начнет со своего знаменитого номера «Пчела, влетевшая в окно». Пчела — очевидно самая настоящая пчела, творение природы,— влетит в окно и будет летать по комнате. Она будет с большим трудом изловлена мсье Чревовещателем... Ей удастся вырваться... Она снова будет летать по комнате... В конце концов она будет снова поймана мсье Чревовещателем и с трудом водворена в бутылку. Прошу вас, мсье!» — Тут предпринимателя сменяет за столиком Чревовещатель — худой, бледный и болезненный на вид. Пока развивается действие с пчелой, мсье Предприниматель сидит в сторонке на стуле, погруженный в хмурые, далекие от представления мысли.

Как только пчелу сажают в бутылку, он надменно выходит вперед, обводит нас мрачным взглядом, выжидая, чтобы затихли аплодисменты, и затем, строго взмахнув рукой, объявляет: «Замечательный номер нашей программы — ребенок, больной коклюшем». Когда с ребенком покончено, он таким же тоном объявляет: «Превосходнейший и исключительный номер! Диалог между мсье Татамбуром, находящимся в своей столовой, и его слугой Жеромом, находящимся в погребе. В заключение будут испол-

нены «Певцы в роще» и «Концерт домашних животных на ферме».

Исполнив все это, и надо сказать, исполнив хорошо, мсье Чревовещатель удаляется, и на сцену выскакивает мсье Трансформатор с таким видом, как будто его уборная находится в миле отсюда, а не в двух шагах. Это толстенький человечек в просторном белом жилете, с забавным выражением лица и с париком в руке. Слышатся непочтительные смешки, немедленно, однако, пресеченные Трансформатором, который с невероятно серьезным видом дает понять своим поклоном, что если мы ждали чего-то в этом роде, то мы жестоко ошибались. Появляется небольшое зеркальце для бритья и ставится на стол перед Трансформатором. «Messieurs et Mesdames, единственно при помощи вот этого зеркала и вот этого парика я буду иметь честь представить вам тысячу персонажей».

Готовясь к выступлению, Трансформатор обеими руками мнет себе лицо и выворачивает губы. Затем он опять становится невероятно серьезным и говорит, обращаясь к Предпринимателю: «Я готов!» Предприниматель, очнувшись от мрачной задумчивости, выходит вперед и объявляет: «Молодой рекрут!» Трансформатор нахлобучивает парик задом наперед, смотрится в зеркальце и появляется над ним, изображая рекрута, причем вид у него такой дурацкий и он так отчаянно косит глазами, что я невольно начинаю сомневаться, будет ли государству прок от такого рекрута. Гром аплодисментов. Трансформатор ныряет за зеркальце, начесывает на лоб собственные волосы, опять становится самим собою, и опять невероятно серьезен. «Знатный обитатель Faubourg St. Germain». Трансформатор пригибается, подымается снова — нужно предполагать, что он выглядит пожилым, мутноглазым, слегка параличным, сверхъестественно вежливым господином, по всей вероятности благородного происхождения. «Старейший член корпуса инвалидов в день рождения своего повелителя!» Трансформатор пригибается, подымается снова — парик у него сбит набок, он превратился в самого что ни на есть жалкого и надоедливого ветерана, который (это совершенно ясно) пустился бы немилосердно врать о своих былых подвигах, если бы не был ограничен правилами

пантомимы. «Скряга!» Трансформатор пригибается, подымается снова, сжимая кошель, и каждый волосок его парика стоит дыбом в знак того, что он живет в постоянном страхе перед ворами. «Гений Франции!» * Трансформатор пригибается, подымается снова — парик сдвинут назад и прилизан, поверх парика маленькая треуголка (до тех пор искусно спрятанная), белый жилет Трансформатора выпячен, левая рука Трансформатора заложена за белый жилет, правая рука Трансформатора за спиной. Гром аплодисментов. Это первая из трех поз «Гения Франции». Во второй позе Трансформатор нюхает табак, в третьей он, сложив трубкой правую руку, обозревает в этот бинокль свои несметные полчища. Затем Трансформатор, высунув язык и кое-как напялив парик, превращается в деревенского дурачка. Самой примечательной чертой всех его искусных перевоплощений является то, что как бы он ни старался изменить свою внешность, он с каждым разом становится все более и более похожим на самого себя.

Имелись на ярмарке и райки, и я с большим удовольствием увидел покрытые славой поля сражений, с которыми познакомился года два тому назад, как с «Крымской кампанией»; теперь же они именовались «Победой в Мексике». Изменения были достигнуты очень искусно и заключались главным образом в том, что на русских напустили побольше дыма и разрешили проникнуть на передовые позиции обозникам, которые, воспользовавшись этим, стащили с убитых врагов их мундиры. Когда художник делал свои первоначальные зарисовки, британских солдат в поле его зрения не оказалось, и, к счастью, они не портили картины и сейчас.

Ярмарка закончилась балом. В какой именно день состоялся этот бал, я, пожалуй, лучше умолчу и ограничусь лишь упоминанием, что происходил он на конском дворе, расположенном очень близко от линии железной дороги,— счастье еще, что он не загорелся от искры локомотива (в Шотландии, я полагаю, этим бы кончилось). Под навесом, премило украшенным зеркалами и мириадами флажков, танцевали всю ночь. Это было недорогое развлечение: двойной билет для кавалера и его дамы стоил на английские деньги всего один шиллинг три пенса, к тому же даже

из этой маленькой суммы пять пенсов подлежали возврату в виде «consommation»,— это слово я позволю себе перевести как «напиток, крепостью своей не превышающий обыкновенное вино, который подается в подогретом виде с сахаром и лимоном». На этом балу царило самое замечательное, самое непринужденное веселье, хотя очень многие танцоры были, по всей вероятности, не богаче пятнадцати персон семейства П. Сальси.

Короче говоря, оставив дома мерку, которой у нас принято мерить народные гулянья, я полностью оценил то бесхитростное веселье, которое ярмарка влила в скучную жизнь франко-фламандского края. А насколько эта жизнь скучна, я имел случай убедиться после того, как ярмарка закрылась, когда трехцветные флаги, вывешенные в окнах домов, выходящих на базарную площадь, были сняты, когда окошки наглухо закрылись, по всей вероятности, до следующей ярмарки, когда ратуша отключила газ и спрягала своего орла, когда два мостильщика, на которых — я полагаю — держатся все городские мостовые, забили назад булыжники, вывороченные для того, чтобы установить шесты с гирляндами и лампионами, когда тюремщик захлопнул ворота и угрюмо заперся внутри со своими арестантами... Но немного погодя, когда, прохаживаясь на рыночной площади по кругу, единственному следу, оставшемуся от деревянных лошадок, я размышлял о том, какой глубокий неизгладимый след иная лошадка может оставить на человеческих нравах и обычаях, глазам моим представилось вдруг чудесное зрелище — четыре особы мужского пола задумчиво шагали вместе по залитой солнцем площади. Они совершенно очевидно были родом не из этого города, что-то было в них неприкаянное, бродячее, как будто они вообще были родом ниоткуда. Один был в белом парусиновом костюме, другой в кепке и блузе, третий в поношенной военной форме, четвертый в бесформенном одеянии, наводившем на мысль, что сшито оно из нескольких старых зонтов. На всех были запыленные башмаки. Вдруг сердце у меня забилось, потому что в этих четырех особах мужского пола я узнал, несмотря на отсутствие бровей и румян, четырех персон семейства П. Сальси. Хоть на щеках их и лежал синеватый налет, хоть они и утратили юношескую свежесть, которая дости-

гается тем, что в Альбионе именуется «бритьем по-уайтчеплски» (и что на самом деле всего лишь белила, основательно втертые в щеки), но все же я узнал их. И пока я стоял в восхищении, из двора захудалого трактирчика показалась превосходная Ma Mère, Ma Mère со словами: «Суп на столе», и слова эти привели персону в парусиновом костюме в такой восторг, что, когда все они бросились бегом, чтобы принять участие в трапезе, он замыкал шествие, пританцовывая, засунув в карманы парусиновых штанов руки и отставив локти под углом — точь-в-точь как Пьеро. Бросив последний взгляд во двор, я увидел, что персона эта, стоя на одной ноге, смотрит в окно (без сомнения, на суп).

Немного погодя, все еще находясь под этим приятным впечатлением, я покинул город, даже и не мечтая о том, что подобные встречи могут поджидать меня на моем пути. Но оказалось, кое-что еще ждет меня впереди. Я ехал поездом, к которому был прицеплен длинный ряд вагонов третьего класса, битком набитых деревенскими парнями, которые вытянули несчастливые билеты при последнем наборе и сейчас отправлялись под надежной охраной в знаменитый французский гарнизонный город, где большая часть этого военного сырья перерабатывается в доблестное воинство. На вокзале они сидели повсюду со скромными узелками под мышкой, в домотканой потертой синей одежде, покрытые пылью, глиной и всеми разновидностями французской почвы; большинству из них в глубине души было грустно, но они бодрились, били себя в грудь и пели хором по малейшему поводу; а самые завзятые весельчаки несли на плече разрезанные пополам караваи черного хлеба, насадив их на трости. На каждой стоянке можно было слышать, как они поют, отчаянно фальшивя и делая вид, что им страшно весело. Однако, немного погодя, они перестали петь и начали смеяться действительно от души, причем время от времени к их хохоту примешивался собачий лай. Я должен был сойти с поезда незадолго до того места, куда они ехали, и так как остановка эта обставлялась продолжительной игрой на рожке, звонками и перечислением всего, что Messieurs les Voyageurs [1] должны

[1] Господа путешественники *(франц.)*.

делать и чего не должны, в целях благополучного прибытия на место своего назначения, у меня осталось достаточно времени, чтобы пройти вперед по перрону и взглянуть еще раз на прощанье на моих рекрутов, которые в восторге высовывались в окна и хохотали как дети. И тут я заметил, что крупный пудель с розовым носом, который ехал вместе с ними и был причиной их веселья, стоит теперь на задних лапах на самом краю перрона и держит на караул, готовясь отсалютовать, как только поезд тронется. На голове у пуделя был кивер (излишне добавлять, что он был сдвинут набок, на один глаз), одет он был в военный мундирчик и белые гетры утвержденного образца. При нем было оружие в виде маленького мушкета и маленькой шпаги, и выправка его была великолепна; он стоял, держа на караул, устремив незакрытый кивером глаз на своего хозяина или старшего офицера, стоявшего рядом. Так поразительно выдрессирован был этот пес, что, когда поезд тронулся и на него обрушились на прощанье радостные крики рекрутов и град сантимов — несколько монеток, брошенных с намерением вывести его из равновесия, ударились даже о его кивер,— он так и не шелохнулся, пока поезд не ушел. Тогда он сдал оружие своему офицеру, снял кивер, подтолкнул его лапкой, опустился на все четыре лапы, отчего мундирчик его сразу приобрел несуразнейший вид, и стал носиться по перрону в своих белых гетрах, яростно виляя хвостом. Мне пришло в голову, что пудель этот совсем не так прост, как кажется, и прекрасно понимает, что разделаться с военным учением и формой рекрутам будет не так легко, как ему.

Раздумывая над всем этим и роясь в кармане, чтобы одарить пуделя мелкими монетами, я случайно перевел глаза на лицо его старшего офицера и увидел — Трансформатора! Хотя путь в Алжир лежал совсем в противоположном направлении, командовавший военным пуделем полковник оказался не чем иным, как Трансформатором, одетым в темную блузу, с маленьким узелком, болтающимся на рукоятке зонта, вскинутого на плечо. Он вытаскивал из-за пазухи трубку, чтобы раскурить ее, когда они с пуделем пойдут своей дорогой, неизвестно куда и зачем.

## XXVIII

### *Шаманы цивилизации*

Путешествия (в бумажных корабликах) среди дикарей нередко доставляют мне по возвращении домой пищу для размышлений. Любопытно бывает разглядеть дикаря в цивилизованном человеке и проследить, как некоторые обычаи диких влияют на характер общества, похваляющегося своим превосходством над ними.

Неужели Северной Америке так никогда и не удастся избавиться от своего индейского шамана? Шаман этот проникает в мой вигвам под любым предлогом и с самыми нелепыми «шаманствами». Не пустить его в вигвам мне всегда бывает чрезвычайно трудно, а подчас и просто невозможно. Готовясь к судебным «шаманствам», он напяливает на голову парик из шерсти четвероногих, намазанный жиром и посыпанный грязной белой пудрой, после чего начинает нести тарабарщину, совершенно непонятную мужам и женам его племени. Для религиозных «шаманств» он облачается в пышные белые рукава, черные переднички, длинные черные жилеты особого покроя, сюртуки без воротников с шаманскими петлями, натягивает шаманские чулки, гетры и башмаки и венчает все это несуразнейшей шаманской шляпой. Однако в одном отношении я от него застрахован. В тех случаях, когда все шаманы — а вместе с ними и всякие другие их соплеменники обоего пола — представляются верховному вождю, он окружает себя для этого «шаманства» самыми смехотворными предметами, среди которых есть и старая рухлядь (взятая напрокат у торговцев), и новые подделки под старину, и целые штуки красного сукна (к которому он питает особое пристрастие), и белая, красная и синяя краска, которой он раскрашивает лицо. Нелепость этого «шаманства» достигает апогея, когда разыгрывается потешная баталия, после которой многих жен выносят замертво. Нечего и говорить, насколько все это непохоже на приемы в Сент-Джеймском дворце.

Очень трудно бывает не пустить в свой вигвам и африканского колдуна. В ведении этого лица находится все, что связано со смертью и трауром, и нередко он своим

пустым колдовством вконец разоряет целые семьи. Он не прочь поесть и выпить, и за его постным обликом прячется веселый чревоугодник. Его амулеты состоят из огромного количества никчемного хлама, за который он взимает очень дорогую плату. Он настойчиво внушает бедным осиротевшим туземцам, что чем большему числу прислужников они заплатят, чтобы те выставляли напоказ этот хлам в течение одного или двух часов (хотя никто из них в жизни своей никогда не видел усопшего, и смерть его только привела их в прекрасное расположение духа), тем больше благолепия будет в их скорби и тем больше почестей воздадут они покойнику. Несчастные устраивают в угоду заклинателю дорогостоящую процессию, участники которой несут какие-то палки, птичьи перья и много других вымазанных черной краской бессмысленных предметов, соблюдая при этом известный мрачный порядок, значение которого — если таковое вообще существует — не понимает никто, несут до самого края могилы и затем уносят обратно.

На островах Тонга считается, что каждый предмет имеет душу, поэтому, сломав топор так, что его уже нельзя починить, там говорят: «Его бессмертная часть отлетела, она отправилась охотиться в счастливые долины». Это верование имеет свое логическое следствие — когда человека хоронят, несколько принадлежащих ему сосудов для еды и питья и кое-что из его оружия должно быть сломано и похоронено вместе с ним. Суеверно и грешно! Но, право же, это суеверие заслуживает большего уважения, нежели прокат шутовской рухляди для представления, в основе которого не лежит никакой искренней веры.

Разрешите мне задержаться немного на своем не торговом пути и бросить мимолетный взгляд на торжественные похоронные обряды, виденные мною в местах, где, как предполагается, нет ни индейского шамана, ни африканского колдуна, ни жителей острова Тонга.

Однажды, когда я жил в некоем итальянском городке, гостил у меня один англичанин * — человек приятный, чрезвычайно восторженный и весьма неблагоразумный. Этот мой приятель узнал, что в затерявшемся среди виноградников дальней деревни домике живет иностранец, которого постигло страшное горе — внезапная смерть очень

дорогого ему существа. Обстоятельства утраты были весьма трагичны, и осиротевший человек, оставшись в полном одиночестве, чужой в тех краях, среди чужих ему крестьян, очень нуждался в помощи. Не без трудностей, но мягко и настойчиво преодолевая их, мой бескорыстный и решительный друг мистер Сердобольный проник к убитому горем незнакомцу и взял на себя устройство похорон.

У городской стены приютилось небольшое протестантское кладбище, и на обратном пути мистер Сердобольный зашел туда и выбрал место. Он всегда бывал очень горд и доволен, оказывая кому-нибудь услугу без посторонней помощи, и я знал, что для того, чтобы доставить ему удовольствие, нужно держаться в стороне и не мешать ему. Все же, когда возбужденный воспоминаниями о добром деянии, сотворенном им в тот день, он сообщил мне за обедом, что у него родилась блестящая мысль утешить несчастного «похоронами по английскому обряду», я рискнул указать ему на то, что обрядность наша, не вполне безупречная и в самой Англии, в руках итальянцев может кончиться полным провалом. Однако мистер Сердобольный был в таком восторге от своей затеи, что тотчас же написал письмо знакомому обойщику, прося его приехать на следующий день с первыми лучами солнца. Обойщик этот славился тем, что говорил на непонятном местном диалекте (своем родном) так непонятно, как никто на свете.

Когда на следующее утро я невольно подслушал из ванной состоявшееся на верхней площадке гулкой лестницы совещание мистера Сердобольного и обойщика, когда я услышал, как мистер Сердобольный переводит на изысканнейший итальянский язык описание английских похорон, а обойщик вставляет реплики на неведомых языках, да еще к тому же вспомнил, что здешние похоронные обряды ничего общего с английскими не имеют, мне в глубине души стало не по себе. Однако за завтраком мистер Сердобольный сообщил мне, что приняты все меры к тому, чтобы обеспечить похоронам исключительный успех.

Похороны должны были состояться вечером; зная, к каким городским воротам они подойдут, я вышел из этих ворот, лишь только солнце стало клониться к западу, и двинулся по пыльной-пыльной дороге. Не успел я пройти

и нескольких шагов, как навстречу мне показалась следующая процессия:

1. Мистер Сердобольный в сильном замешательстве, верхом на огромной серой лошади.

2. Ярко-желтая карета, запряженная парой лошадей, которыми правил кучер в ярко-красных бархатных панталонах и такой же безрукавке (по здешним понятиям, воплощение торжественности!). Лежащий на боку в карете гроб не позволял закрыть дверцы и высовывался с обеих сторон.

3. За каретой в облаке пыли шел безутешный иностранец, для которого, собственно, и предназначалась карета.

4. Из-за придорожного колодца, предназначенного для орошения какого-то огорода, выглядывал исполненный восхищения обойщик, говоривший на непонятном языке.

Теперь все это уже не имеет значения. Кареты, какого бы они цвета ни были, теперь равны для бедного мистера Сердобольного, и сам он покоится далеко к северу от того маленького, обсаженного кипарисами кладбища у городской стены, где так прекрасно Средиземное море.

Первые похороны, на которых я присутствовал — и в своем роде очень характерные,— были похороны мужа нашей служанки, моей бывшей няни, которая потом вышла замуж по расчету. Салли Флендерс, прожив год-другой в супружестве, стала вдовой Флендерса — мелкого подрядчика,— и не то она, не то сам Флендерс оказали мне честь, выразив желание, чтобы я «сопровождал» его. Мне было тогда, вероятно, лет семь или восемь — право, достаточно мало для того, чтобы встревожиться, услышав это выражение, поскольку я не знал, на какое расстояние распространяется это приглашение и до какого места должен я сопровождать покойного Флендерса. После того как главами семейства было дано соответствующее разрешение, меня облачили для похорон в траурный наряд, признанный домашними вполне приличествующим случаю (в него входила, если я не ошибаюсь, чья-то чужая рубашка), после чего мне было сделано строжайшее предупреждение, что если во время похорон я положу руки в карманы или отниму платок от глаз, то этим я погублю себя и опозорю всю семью. В тот знаменательный день, после

нескольких попыток прийти в скорбное расположение духа и сильно упав в собственном мнении из-за своей неспособности заплакать, я отправился к Салли. Салли была превосходной женщиной и хорошей женой старому Флендерсу, но при первом же взгляде на нее я понял, что сейчас в ней нет ничего от всегдашней, обычной, подлинной Салли. Ей было впору хоть на герб, так живописно она застыла в центре группы, в которую входили: флакон с нюхательной солью, носовой платок, апельсин, бутылочка с туалетным уксусом, сестра Флендерса, ее собственная сестра, жена брата Флендерса и две соседки-сплетницы — все в трауре и все с выражением полной готовности поддержать ее, как только она начнет падать в обморок. При виде бедного малютки (сиречь меня) она страшно взволновалась (еще более взволновав меня) и, воскликнув: «Вот он, мой бесценный крошка!» — впала в истерику и лишилась чувств, как будто мой вид страшно ее огорчил. Последовала умилительная сцена, в продолжение которой разные люди передавали меня из рук в руки и совали меня ей, как будто я был флаконом с солями. Немного оправившись, она обняла меня, произнесла: «Ведь ты же хорошо его знал, бесценный мой мальчик, и он тебя знал...» — и снова упала в обморок, что — как успокоительно заметили остальные орнаменты герба — «делало ей честь». И тут я понял, не хуже, чем понимаю сейчас, что она не упала бы в обморок, если бы не хотела, и что такое желание у нее не появилось бы, если бы этого от нее не ждали. Я почувствовал ужасную неловкость и вместе с ней фальшь. Кроме того, меня взяло сомнение, не требует ли учтивость, чтобы следующим лишился чувств я сам, поэтому я решил не спускать глаз с дяди Флендерса и при первых признаках того, что он собирается последовать примеру Салли, немедленно исполнить долг вежливости и тоже потерять сознание. Но дядя Флендерс (хилый и старенький бакалейщик) был занят исключительно одной мыслью, а именно, что все присутствующие хотят чаю, и потому непрерывно обносил всех чашками, нимало не считаясь с отказами. Был там еще малолетний племянник Флендерса, которому, по слухам, Флендерс оставил девятнадцать гиней. Он — этот племянник — выпил весь чай, который ему предлагали (в общей сложности, наверное, несколько

кварт) и съел все куски пирога с изюмом, до которых смог дотянуться. Полагая, однако, что приличия требуют в знак отчаяния прекращать время от времени жевать, он вдруг останавливался на полпути, делая вид, что забыл о том, что рот у него набит пирогом, и предавался печальным воспоминаниям о своем дяде. Я чувствовал, что во всем этом виноват гробовщик, который разносил перчатки, лежавшие на подносе, словно пышки, и укутывал нас в плащи (мой пришлось кругом подколоть, такой он оказался длинный); я был уверен, что он нарочно, для смеха затеял это представление. Поэтому, когда мы вышли на улицу, где порядок процессии непрестанно нарушался из-за меня, так как я то натыкался на идущих впереди, не различая из-за платка дороги, то мешал идущим сзади, которые спотыкались о мой волочившийся по земле плащ, я все время чувствовал, что все это по-нарочному. Мне было очень жалко Флендерса, но я понимал, что это еще не основание для того, чтобы все мы (женщины к тому же в капюшонах, похожих на вывернутые наизнанку ведерки для угля) старались идти в ногу с каким-то человеком в шарфе, державшим в руках какую-то штуку, похожую на траурную подзорную трубу, которую он вот-вот раскроет и примется обозревать горизонт. Я понимал, что, если бы мы не притворялись, мы не говорили бы все совершенно одинаково, в одном определенном тоне, заданном нам гробовщиком. Даже лицом все мы, от первого до последнего, стали похожи на гробовщика, как будто были связаны с ним тесными родственными узами, и я чувствовал, что это не могло бы случиться, если бы мы не притворялись. Когда мы вернулись к Салли, все продолжалось в том же духе. Обязательный, как прежде, пирог с изюмом, торжественное появление пары графинчиков с портвейном и хересом (и кусочками пробки); сестра Салли во главе чайного стола, позвякивавшая парадными чашками и горестно покачивавшая головой каждый раз, как она заглядывала в чайник, словно перед ней была открытая могила; все та же группа с герба, и та же Салли, и, наконец, слова утешения, обращенные к Салли, когда было сочтено, что настало время ей «слегка прийти в себя», слова, заключавшиеся в том, что покойнику «похороны справили уж та-ак хорошо, та-ак хорошо, что дальше некуда».

С тех пор доводилось мне видеть и другие похороны уже взрослыми глазами, но тяжесть на душе была совершенно та же, что и в детстве. Притворство! Настоящая скорбь, настоящее горе и торжественность были поруганы, но зато похороны «справлялись». Безрассудные траты, которыми отличаются похоронные обряды многих диких племен, сопутствуют и цивилизованным погребениям, и я не раз желал в глубине души, что уж если эти траты неизбежны, то пусть бы лучше гробовщик хоронил деньги, а мне бы дал похоронить друга.

Во Франции эти церемонии устраиваются более разумно, потому что на их устройство, в общем, не затрачивают столько денег. Не могу сказать, чтобы во мне вызывал благоговение обычай повязывать нагрудник и передник на фасад дома, погруженного в траур, не испытываю я и большого желания отправиться в место упокоения на колыхающемся катафалке, похожем на расшатанную кровать с четырьмя столбиками по углам, которым управляет чернильно-черный представитель рода человеческого в треуголке. Но, с другой стороны, может быть, я просто органически не способен оценить достоинства треуголки. Во французской провинции эти церемонии достаточно отвратительны, но их немного, и стоят они дешево. Друзья и сограждане покойного в своей собственной одежде, а не нарядившись, под руководством африканского колдуна, в маскарадные костюмы, окружают катафалк-носилки, а зачастую и несут их. Здесь не считают необходимым задыхаться под тяжестью ноши или водружать ее на плечи; гроб можно легко поднять и легко поставить, и поэтому несут его по улицам без того унылого шарканья и спотыкания, которые мы наблюдаем в Англии. Грязноватый священник (а то и два) и еще более грязноватый прислужник (а то и два) не придают похоронному обряду особой красоты, и я, кроме того, испытываю личную неприязнь к фаготу, в который время от времени дудит большеногий священник (дудят в фагот всегда большеногие священники), в то время как вся остальная братия громко затягивает унылое песнопение. Но все же во всей этой процедуре гораздо меньше от колдуна и шамана, чем при подобных обстоятельствах у нас. Мрачных колесниц, которые мы держим специально для таких спектаклей, здесь нет. Если

кладбище расположено далеко от города, то для этой цели нанимаются те же кареты, что и для всяких других целей, и хотя эти честные экипажи не претендуют на горестный вид, я никогда не замечал, чтобы люди, сидевшие в них, что-нибудь от этого теряли. В Италии монахи в надвинутых капюшонах, считающие своим долгом помогать при похоронах, зловещи и безобразны на вид, но по крайней мере услуги, которые они оказывают, оказываются добровольно, никого не разоряют и ничего не стоят. Почему же люди, стоящие на высшей ступени цивилизации, и первобытные дикари сходятся в желании сделать эти церемонии ненужно расточительными и не внушающими благоговения?

Некогда смерть отняла у меня друга, которого в свое время часто беспокоили всякие шаманы и колдуны и на ограниченные средства которого имелось немало претендентов. Колдун уверял меня, что я непременно должен быть в числе «провожающих» и что оба они — он сам и шаман — не имели никаких сомнений насчет того, что я должен ехать в черной карете и быть соответственно «экипирован». Я возражал против «экипировки», полагая, что она не имеет никакого отношения к нашей дружбе, возражал я и против кареты, не желая участвовать в этом беззастенчивом грабеже. И тут мне пришло в голову попробовать, что получится, если я спокойно пройду сам по себе от своего дома до места погребения моего друга, встану у его открытой могилы в моем собственном платье и обличии и с благоговением прослушаю лучшее из богослужений. Оказалось, что чувство умиротворения, испытанное мною при этом, было ничуть не меньше, чем если бы я стоял наряженный во взятые напрокат шляпу с крепом и шарф, спускавшийся мне до самых пят, и если бы я заставил осиротевших детей, которым и так грозила нужда, истратить на меня десять фунтов.

Разве может человек, хоть раз лицезревший потрясающую по своей нелепости церемонию передачи «послания лордов» в палату общин, бросить камень в бедного индейского шамана? Неужели в его мешочке из пересохшей кожи найдется что-нибудь столь же смехотворное, сколь два церемониймейстера лорд-канцлера, которые, придерживая свои черные юбочки, стараются боднуть мистера

спикера * нелепыми париками? А ведь бесчисленное множество авторитетных лиц уверяют меня — точно так же, как бесчисленное множество авторитетных лиц уверяют индейцев,— что без этой бессмыслицы обойтись никак нельзя, что ее упразднение может повлечь за собой ужасающие последствия. Что может подумать о Суде Общих Тяжб * разумный человек, никогда не слыхавший о судейских и адвокатских «экипировках», в первый день сессии? Какой прилив веселости вызвало бы описание подобной сцены у Ливингстона *, если бы все эти меха, и красное сукно, и козья шерсть, и конский волос, и толченый мел, и черные заплаты на макушках оказались бы в Тала Мунгонго, а не в Вестминстере! Этому образцовому миссионеру и доброму отважному человеку удалось, однако, обнаружить одно племя черных с сильно развитым чувством юмора, так что, несмотря на все свое дружелюбие и кротость, они так и не могли без смеха смотреть на то, как миссионеры распоряжались своими ногами в момент коленопреклонения, или слушать, как они затягивали хором гимн. Остается только надеяться, что никто из этого племени весельчаков не попадет в Англию и не будет заключен под стражу за неуважение к суду.

На упомянутых выше островах Тонга существует категория лиц, именуемых Матабу — или что-то в этом роде,— которые исполняют роль церемониймейстеров и точно знают, где должен сидеть каждый вождь во время торжественных собраний — собраний, как две капли воды похожих на наши собственные официальные обеды, поскольку в обоих случаях каждому присутствующему джентльмену настойчиво предлагают выпить какую-нибудь гадость. Эти Матабу принадлежат к привилегированному сословию, столь важными считаются их обязанности, и надо сказать, что они свое высокое положение используют наилучшим образом. И разве как-то недавно, вдали от островов Тонга и, между прочим, совсем недалеко от островов Британских, не были тоже призваны Матабу, чтобы рассудить необычайно важный спор о старшинстве, и разве эти Матабу не высказались по этому поводу самым недвусмысленным образом, так что, если бы их слова перевели тому бедному смешливому черному племени, оно, без сомнения, каталось бы по земле от хохота?

Однако чувство справедливости заставляет меня признать, что это отнюдь не односторонний вопрос. Раз уж мы так кротко подчиняемся шаману и колдуну и ничуть не возмущаемся, то дикари могут заметить, что мы поступали бы гораздо умнее, если бы и в других отношениях следовали их примеру. Среди диких племен широко распространен один обычай — сойдясь, чтобы обсудить какой-нибудь вопрос, имеющий общественное значение, они не спят всю ночь напролет, страшно шумят, танцуют, дудят в раковины-трубороги и (в тех случаях, когда они умеют обращаться с огнестрельным оружием) отбегают подальше от деревни и палят из ружей. Пора обсудить вопрос — не стоит ли и нашим законодательным собраниям задуматься над этим? Что и говорить, раковина-труборог не слишком мелодичный инструмент, и звук ее очень однообразен, однако в ней не меньше музыкальности и ничуть не больше однообразия, чем в волынке, которую способен затянуть мой друг достопочтенный член парламента, или в волынке, на которой он так лихо подыгрывает первому министру. Бесцельность споров с членами правительственной партии, равно как и с членами оппозиции, общеизвестна. Почему бы вместо этого не испробовать танцы? Полезно для моциона, и к тому же исключается возможность того, что это попадет в газеты. Достопочтенный и дикий парламентарий, обладающий ружьем и наскучивший прениями, выскакивает из дверей, стреляет в воздух, затем возвращается обратно и в спокойном молчании внемлет дальнейшей болтовне. Так пусть же достопочтенный и цивилизованный парламентарий, которого тоже распирает от желания высказаться, выскакивает в сводчатые переходы Вестминстерского аббатства *, и там в тиши ночной выпаливает свою речь, и возвращается обратно обезвреженным. На первый взгляд, обычай проводить широкую синюю полосу через нос и обе щеки, широкую красную полосу ото лба к подбородку, приклеивать деревяшку весом в несколько фунтов к нижней губе, вставлять рыбьи кости в уши и медное кольцо от гардин в нос и натирать все тело сверху донизу прогорклым маслом, прежде чем приступить к делу, не кажется слишком разумным. Однако это, подобно Виндзорской форме, вопрос вкуса и этикета. Что же касается дела как такового, то это уж другой

вопрос. И если собрание, состоящее из шестисот прекрасно обходящихся без портных диких джентльменов, сидящих на корточках в кружке, покуривая и время от времени ворча что-то, в конце концов достигает того, ради чего оно собралось,— я утверждаю это на основании опыта, который почерпнул во время своих странствий,— то уж этого никак нельзя сказать о собрании, состоящем из шестисот не могущих обойтись без портных цивилизованных джентльменов, восседающих на хитрых механических приспособлениях. Пусть лучше парламентарии, не щадя сил, пускают дым в глаза друг другу, нежели в глаза обществу; и по мне пусть лучше собрание похоронит полсотни топориков, чем похоронит хотя бы один вопрос, требующий внимания.

## XXIX

### *Титбулловская богадельня*

Вдоль линий большинства пригородных лондонских железных дорог часто попадаются здания богаделен и приютов (обычно с недостроенным крылом или центральной частью и исполненные честолюбивого желания казаться больше, чем на самом деле). Есть среди них учреждения совсем новые, но есть и такие, которые существуют давно и перенесены сюда из других мест. Эти произведения архитектуры имеют склонность неожиданно устремляться ввысь, совсем как стебелек фасоли в детской сказке про Джека и злого великана, а также украшать себя шпилями, как у часовен, или башенками, как на старинных помещичьих домах, и если бы не соображения расходов, пейзаж непременно украсился бы замками сомнительной красоты. Однако управляющие, большей частью сангвиники, довольствуются тем, что проектируют и воздвигают воздушные замки в будущем, в настоящем же предпочитают руководствоваться филантропическими чувствами по отношению к железнодорожным пассажирам. Ибо задача, как бы сделать, чтобы здание казалось им возможно более процветающим, обычно заслоняет собой другую, не столь насущную задачу, как бы сделать его поудобнее для жильцов.

Вопрос, почему никто из живущих в этих учреждениях никогда не смотрит в окна и не выходит прогуляться на клочке земли, который впоследствии — со временем — превратится в сад, относится к числу творящихся на этом свете чудес, список которых я непрерывно пополняю. Я пришел к убеждению, что они живут в состоянии хронической обиды и недовольства, отчего и отказываются сделать здания краше, придав им жилой вид. Встречал же я наследников, глубоко оскорбленных тем, что полученное наследство было в пятьсот фунтов, а не в пять тысяч, и знавал же я государственного пенсионера, получавшего двести фунтов и непрестанно предававшего анафеме отечество, потому что не получал четырехсот (хотя не имел основания рассчитывать и на шесть пенсов). Очевидно, до известного предела совершенно неизбежно, чтобы небольшая помощь тут же порождала у человека мысль, что его незаконно лишают большей. «Как проходит их жизнь в этом красивом и мирном уголке?» — рассуждали мы с еще одним посетителем по пути в очаровательный сельский приют для стариков и старух, расположенный в причудливых старинных постройках, затерявшийся в чаще старого разросшегося монастырского сада позади живописной церковки в одном из прелестных уголков Англии. Всего здесь было с десяток домиков, и мы решили, что поговорим с их обитателями, которые сидели в сводчатых комнатках, освещенные огнем очагов с одной стороны и солнечными лучами, проникавшими сквозь решетчатые окна, с другой,— поговорим и узнаем. Оказалось, что их жизнь проходила в сетованиях по поводу того, что старенький глухой управитель, живший вместе с ними в этом же четырехугольном дворе, стащил у них несколько унций чаю. Нет никаких оснований полагать, что эти унции действительно когда-нибудь существовали или что старенький управитель хотя бы догадывался, в чем дело, так как его собственная жизнь проходила в сетованиях по поводу того, что приходский надзиратель систематически крадет у него березовый веник.

Однако настоящие записки путешественника не по торговым делам посвящаются не старым богадельням, находящимся в сельской местности, и не новым богадельням, расположенным вдоль линий железных дорог. Они

относятся к прежним путешествиям, которые проходили среди самых обыкновенных лондонских богаделен с закопченными фасадами, с маленькими мощеными двориками, обнесенными железной оградой и заваленными сугробами, если так можно выразиться, кирпича и известки с песком, богаделен, которые стояли когда-то в окрестностях, а теперь очутились в самом центре густо населенного города — пробелов в идущей вокруг хлопотливой деятельности, скобок на тесно исписанных и испещренных кляксами страницах улиц.

Иногда эти богадельни принадлежат какому-нибудь обществу или братству. Иногда они были основаны частными лицами и содержатся на частные средства, завещанные когда-то давным-давно на веки вечные. Больше всех мне нравится Титбулловская богадельня, воплотившая в себе черты многих учреждений подобного рода. О самом Титбулле знаю я только то, что он скончался в 1723 году, что звали его Сэмпсон, что общественное положение его определялось словом «эсквайр» * и что, согласно его последней воле и завещанию, эта богадельня была основана как «Пристанище для девяти неимущих женщин и шести неимущих мужчин». Я даже не узнал бы и этого, если б не полустертая надпись, выбитая на угрюмом камне, вделанном в фасад центрального домика богадельни, над которым, красоты ради, высечен обрывок драпировки, похожий на изваяние титбулловского полотенца.

Титбулловская богадельня находится на большой улице в восточной части Лондона, в бедном, хлопотливом, кишащем народом квартале. Железный лом и жареная рыба, капли от кашля и искусственные цветы, отварные свиные ножки и мебель, которая выглядит так, словно ее натерли вазелином, зонтики, из которых торчат тетрадки романсов, и блюдечки с устрицами в каком-то зеленом соке, который, я надеюсь, служит у них признаком доброго здоровья,— все это продается тут же на тротуарах по пути в Титбулловскую богадельню. Видимо, со времен Титбулла земля в этих местах поднялась, и теперь, чтобы попасть в его владения, приходится скатываться вниз по трем каменным ступенькам. Вот так я и скатился туда первый раз, чуть не расшибив себе лоб о титбулловскую помпу, стоявшую спиной к улице сразу у ворот с таким самоуве-

ренным видом, словно она делала смотр титбулловским пенсионерам.

— Хуже не сыщешь! — сказал злобный старик с кувшином.— Нигде! Рукоятку с места не сдвинешь, а воду дает по капелькам. Хуже не сыщешь!

На старике был длинный сюртук, наподобие тех, в которые одеты носильщики портшезов на гравюрах Хогарта, из материи того особенного горохово-зеленого оттенка, в котором нет ничего зеленого и который, по всей вероятности, порождается бедностью. От сюртука к тому же исходил тот особенный запах кухонного шкафчика, который тоже, по всей вероятности, порождается бедностью.

— Может быть, помпа заржавела? — сказал я.

— Это вы про нее? Ну нет! — ответил старик с неприкрытой злобой в бесцветных глазах.— Ее и помпой-то назвать нельзя... В этом все и дело.

— Кто же в этом виноват? — спросил я.

Старик, непрерывно жевавший губами, как будто хотел разжевать свою злобу, да она оказалась чересчур жесткой и большой, ответил:

— Эти самые — джентльмены...

— Какие джентльмены?

— А вы сами, случаем, не из них? — спросил старик подозрительно.

— Вы хотите сказать — поверенные?

— Ну, верить-то я бы им не стал,— сказал злобный старик.

— Если вы говорите о джентльменах — опекунах этого учреждения, то я к ним не принадлежу и даже никогда о них не слышал.

— Хорошо бы и мне никогда о них не слышать,— задыхаясь, произнес старик,— в мои-то годы... с моими ревматизмами... воду таскать... из этой штуки!

Чтобы как-нибудь не опростоволоситься и не сказать слово «помпа», старик бросил в ее сторону еще один злобный взгляд, поднял свой кувшин и, удалившись в угловой домик, притворил за собой дверь.

Посмотрев по сторонам и убедившись, что каждый маленький домик состоит из двух крошечных комнатушек, убедившись, что маленький овальный дворик впереди был бы совсем похож на кладбище, где хоронят обитателей

этих домиков, только на его плоских скучных камнях не было выгравировано ни слова, и еще убедившись, что насыщенные жизнью и шумом потоки, текущие во всех направлениях по ту сторону ограды, имеют такое же отношение к этому месту, какое отметка низкого уровня воды имеет к оживленному пляжу, на котором она стоит, убедившись, что здесь больше ничего не увидишь, я уже собрался было выйти за ворота, как вдруг одна из дверей отворилась.

— Вам что-нибудь угодно, сэр? — осведомилась опрятная миловидная женщина.

— Откровенно говоря, нет. Не могу сказать, чтобы мне было что-нибудь угодно.

— И вам никого не надо, сэр?

— Да нет... по крайней мере... не будете ли вы столь любезны сказать мне, как зовут пожилого джентльмена, который живет вон в том углу?

Опрятная женщина вышла во двор, чтобы удостовериться, какую именно дверь я указываю, и все мы трое — она, помпа и я — выстроились в ряд спиной к улице.

— О! Его зовут мистер Бэттенс,— понизив голос, ответила опрятная женщина.

— Я только что с ним беседовал.

— Да что вы? — изумилась опрятная женщина.— Хо! Вот уж удивительно — мистер Бэттенс, и беседует.

— А что, обычно он бывает молчалив?

— Видите ли, мистер Бэттенс здесь старейший — то есть он старейший среди мужчин — по времени пребывания.

У нее была привычка, разговаривая, потирать руки, словно намыливая их, и в этом было что-то не только опрятное, но и успокоительное. Поэтому я спросил, нельзя ли мне взглянуть на ее комнату. Она охотно ответила: «Да!» — и мы вместе пошли внутрь, причем дверь она оставила открытой настежь — как я понял, ради соблюдения законов приличия. Дверь открывалась прямо в комнату без всякой прихожей, и такая мера предосторожности должна была пресечь сплетни.

Комната была мрачноватая, но чистенькая, и на окне стоял горшочек желтофиолей. Полку над камином украшали два павлиньих пера, вырезанный из дерева кораблик,

несколько раковин и профиль из черной бумаги с одной ресницей. Был ли это профиль мужчины или женщины, я так и не мог понять, пока хозяйка не сообщила мне, что это портрет ее единственного сына и что он на нем «прямо как вылитый...»

— Он жив, я надеюсь?

— Нет, сэр,— ответила вдова,— он потерпел кораблекрушение в Китае.

Сказано это было с сознанием скромного достоинства, которое эта географическая подробность сообщала ей как матери.

— Но если старички, живущие здесь, не слишком разговорчивы, этого, надеюсь, нельзя сказать про старых дам? Я, разумеется, не о вас...

Она покачала головой.

— Видите ли, все они очень сердитые.

— Но почему же?

— Не знаю, правда ли, что джентльмены обижают нас в мелочах, которые по праву нам полагаются, но все старые обитатели в этом уверены. А мистер Бэттенс, он еще дальше пошел — он даже сомневается в заслугах учредителя. Потому что, говорит мистер Бэттенс, уж как бы там ни было, а имя свое он возвеличил, и притом задешево.

— Боюсь, что мистера Бэттенса очень ожесточила помпа.

— Может, и так,— возразила опрятная вдова.— Рукоятку-то ведь и правда с места не сдвинешь. Но все же я про себя так думаю, что не стали бы джентльмены ставить плохую помпу вместо хорошей, чтобы прикарманить разницу, и я бы не хотела думать о них плохо. Ну, а помещения,— добавила моя хозяйка, обводя взглядом свою комнатку,— ведь, может, они и считались удобными во времена учредителя... если подумать, как жили в его времена... и значит, его за это винить нельзя. Но миссис Сэггерс очень из-за них сердится.

— Миссис Сэггерс здесь старейшая?

— Она вторая по старшинству. Самая старшая миссис Куинч, только она уже совсем впала в детство.

— А вы давно здесь?

— По времени пребывания я здесь младшая, и со мной

не очень-то считаются. Но когда миссис Куинч отмучается, тогда будет одна ниже меня. Ну и потом нельзя же ожидать, что миссис Сэггерс будет жить вечно.

— Совершенно верно. Да и мистер Бэттенс тоже.

— Ну, что касается стариков,— с пренебрежением заметила моя собеседница,— то они считаются местами только между собой. Мы их в расчет не берем. Мистер Бэттенс другое дело, потому что он много раз писал джентльменам и даже затевал с ними спор. Поэтому он стоит выше. Но обычно мы не очень-то считаемся со стариками.

Из дальнейшей беседы на эту тему я узнал, что среди неимущих старушек было принято считать неимущих старичков, независимо от их возраста, дряхлыми и от старости выжившими из ума. Я также обнаружил, что более молодые обитатели богадельни и новички некоторое время сохраняют быстро улетучивающуюся веру в Титбулла и его поверенных, но, достигнув известного общественного положения, они эту веру теряют и начинают всячески хулить и самого Титбулла и его добрые дела.

Познакомившись впоследствии поближе с этой почтенной дамой, которую звали миссис Митс, я стал время от времени навещать ее, всегда прихватив с собой небольшой подарок в виде пачки китайского чаю, и постепенно хорошо ознакомился с внутренней политикой и порядками Титбулловской богадельни. Однако мне так и не удалось узнать, кто были эти поверенные и где они находятся, ибо одной из странных фантазий этого заведения было то, что этих власть имущих личностей следовало туманно и загадочно называть просто «джентльмены». Секретаря «джентльменов» мне как-то показали как раз в ту минуту, когда он пытался защищать ненавистную помпу от нападок недовольного мистера Бэттенса, но сказать о нем я не могу ничего, разве только что он был развязен и весел, как и полагается клерку из адвокатской конторы. Из уст миссис Митс как-то, в минуту большой откровенности, мне довелось услышать, что мистера Бэттенса однажды убедили «предстать пред Джентльменами», чтобы либо отстоять правду, либо погибнуть за нее, и что, когда, выполнив эту страшную миссию, он покидал их контору, вдогонку ему полетел старый башмак. Однако старания его не пропали даром — следствием беседы было появление

водопроводчика, что, по мнению титбулловцев, увенчало лаврами чело мистера Бэттенса.

Жильцы Титбулловской богадельни друг друга за хорошее общество, как правило, не почитают. Старичок или старушка, принимающие посетителей извне или сами отправляющиеся на чашку чаю, соответственно вырастают в общественном мнении, обмен же визитами среди титбулловцев или приглашение ими друг друга на чаепитие в расчет не идет. К тому же они друг с другом почти не водятся, ввиду внутренней распри, вызванной ведром миссис Сэггерс. Число враждующих партий, возникших из-за этого предмета домашнего обихода, почти не уступало числу жилых помещений, расположенных на территории богадельни. Исключительная запутанность противоречивых мнений по этому вопросу не позволяет мне изложить их здесь со свойственной мне ясностью, но мне кажется, что все они представляют собой ответвления одного коренного вопроса — имеет ли миссис Сэггерс право оставлять ведро у своего порога? Вопрос этот приобрел, разумеется, много едва уловимых оттенков, но, грубо говоря, сводится именно к этому.

Среди жильцов Титбулловской богадельни есть два старичка, которые, как мне дали понять, были знакомы прежде в мире, лежащем за пределами помпы и железной ограды, когда оба они «занимались коммерцией». Они мужественно переносят превратности судьбы, чем вызывают глубокое презрение к себе со стороны остальных. Это два сутулых старичка с воспаленными глазами и бодрым видом; они ковыляют взад и вперед по двору, потряхивая бороденками, и ведут оживленную беседу. Окружающие принимают это за оскорбление; кроме того, возник вопрос — вправе ли они прогуливаться под какими-либо окнами помимо своих? Однако мистер Бэттенс разрешил им прогуливаться под своими окошками, по той причине — как он пренебрежительно выразился,— что при их слабоумии с них уже нечего спрашивать, так что теперь они могут мирно совершать свои прогулки. Они живут рядом и по очереди читают друг другу вслух свежие газеты (то есть самые свежие из тех, что попадают им в руки), а по вечерам играют в криббедж *. Говорят, что прежде, в теплые солнечные дни они заходили так далеко, что выносили

два стула и, усевшись возле железной ограды, смотрели на улицу, но столь недостойное поведение вызвало так много нареканий со стороны обитателей Титбулловской богадельни, что возмущенное общественное мнение заставило их в конце концов прекратить подобные выходки. Ходит слух — хотя очень возможно, что это клевета,— что они испытывают к памяти Титбулла какое-то подобие благоговения и что как-то раз они даже отправились на приходское кладбище, чтобы разыскать его могилу и поклониться ей. Это обстоятельство, по всей вероятности, и породило разделяемое всеми подозрение, что они «соглядатаи джентльменов»,— подозрение, в котором они сами всех утвердили в тот день, когда клерк джентльменов в моем присутствии предпринял слабую попытку восстановить репутацию помпы и когда оба они с непокрытыми головами выскочили из дверей своих жилищ, как будто и сами они и их жилища были составными частями старомодного барометра двойного действия с фигурками двух старушек внутри, и, пока этот клерк не отбыл восвояси, время от времени почтительно ему кланялись. У них, как известно, нет ни родных, ни друзей. Разумеется, оба несчастных старика стараются сделать свою жизнь в Титбулловской богадельне по возможности приятной, и, разумеется, они (как уже упоминалось выше) вызывают там к себе полное презрение.

В субботние вечера, когда на воле шумнее и суетливее, чем обычно, когда даже бродячие торговцы, выбрав местечко, останавливаются со своими лотками по ту сторону железной ограды и зажигают коптящие фонарики, титбулловцами овладевает беспокойство. Знаменитые сердцебиения миссис Сэггерс начинаются по большей части именно в субботу вечером. Но куда уж там Титбулловской богадельне тягаться своим шумом с улицей. Титбулловцы свято верят в то, что сейчас люди толкаются больше прежнего, убеждены они и в том, что все население Англии и Уэльса только и думает, как бы сбить вас с ног и растоптать. Кажется, все, что известно жильцам богадельни о железных дорогах,— это свистки паровозов (которые, по словам миссис Сэггерс, пронизывают ее насквозь и должны быть запрещены правительством). Возможно, они до сих пор ничего не знают и о почтовых сбо-

рах — во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь из них получал письма. Но зато есть там высокая, прямая, бледная дама, живущая в домике номер семь, которая ни с кем никогда не разговаривает и которую окружает таинственный ореол былого богатства — дама, которая делает всю домашнюю работу в специальных перчатках, к которой тайно все питают почтение, хотя явно и строят ей каверзы. Неизвестно откуда, в богадельню проник слух, что у этой старой дамы есть сын, внук, племянник или еще какой-то другой родственник — «подрядчик», которому нипочем развалить Титбулловскую богадельню, отправить ее в Корнуэлл * и там снова сколотить. Нагрянувшая как-то в карете на рессорах компания, которая увезла старую даму на целый день на пикник в Эппингский лес, произвела на всех огромное впечатление. Относительно того, кто из этой компании был сыном, внуком, племянником или каким-то другим родственником — «подрядчиком», — мнения разделились. Плотный субъект в белой шляпе и с сигарой собрал наибольшее количество голосов, но поскольку у титбулловцев не было никаких других оснований считать, что подрядчик вообще находился среди присутствующих, помимо того, что человек этот якобы созерцал печные трубы с таким видом, точно хотел развалить их и увезти со двора, то последовало брожение умов, и прийти к определенному решению так и не удалось. Чтобы как-то выйти из этого затруднительного положения, титбулловцы сосредоточили внимание на признанной красавице компании, чей туалет старушки тут же разобрали до последнего стежка и чьих «похождений» с другим — более стройным — субъектом в белой шляпе хватило, кажется, на то, чтобы потом месяцами вгонять в краску помпу (возле которой похождения эти главным образом обсуждались). В этом титбулловцы, которые органически не переваривают посторонних, остались верны себе. Что же касается вообще каких-нибудь усовершенствований или новшеств, то они твердо придерживаются мнения: то, что не нужно им, не нужно никому. Хотя, пожалуй, с подобным мнением мне приходилось сталкиваться и за пределами Титбулловской богадельни.

Незатейливые сокровища в виде всевозможной мебели, которую привозят с собой в богадельню жильцы, соби-

раясь остаться в этой тихой пристани до конца дней своих, в большей — и наиболее ценной — своей части бесспорно принадлежат старушкам. Я могу с уверенностью сказать, что имел честь переступить порог или по крайней мере заглянуть внутрь комнат всех девяти дам, и я заметил, что все они чрезвычайно заботятся о своих кроватях и полагают в любимой и привычной кровати и постельных принадлежностях неотъемлемую часть своего отдыха. Обычно в число их нежно любимого имущества входит также старомодный комод и, разумеется, чайный поднос. Мне известны по крайней мере две комнатки, где небольшой, ослепительно начищенный медный чайник щурится на огонь наперебой с кошкой, а одна старушка обладает даже кипятильником для воды, который занимает почетное место на комоде и служит ей библиотечным шкафом, так как в нем хранятся четыре книжечки небольшого формата и обведенный траурной полосой газетный лист с отчетом о похоронах ее высочества принцессы Шарлотты *. У бедных старичков такой роскоши нет и в помине. У принадлежащей им мебели такой вид, словно ее пожертвовали разные лица, совсем как сборник литературной смеси, в который все шлют старую заваль; стулья всегда разрозненные, старые лоскутные чехлы сбиты на сторону; кроме того, у них есть неряшливая привычка хранить одежду в шляпных коробках. Достаточно упомянуть одного старичка, довольно щепетильного в выборе своих обувных щеток и ваксы, и этим я исчерпаю все претензии на элегантность обитателей мужской половины богадельни.

В случае смерти кого-нибудь из жильцов, все остальные неизменно сходятся в том — и это единственный вопрос, по которому сходятся все без исключения,— что покойный «сам себя довел». Судя по мнению титбулловцев, людям вообще нет нужды умирать, если только они будут беречься. Но они не берегутся и умирают, а когда они умирают в Титбулловской богадельне, их хоронят за счет заведения. Для этой цели оставлены какие-то средства, на которые (я так уверенно рассказываю об этом потому, что мне довелось видеть похороны миссис Куинч) расторопный гробовщик с соседней улицы наряжает четверых стариков и четырех старушек, проворно составляет из них процессию в четыре пары, повязывает сзади на свою

шляпу большой бант из крепа и уводит их, весело поглядывая время от времени через плечо, словно желая удостовериться, что никто из компании не потерялся и не растянулся на дороге, как будто имеет дело со сборищем бестолковых старых кукол.

Отказ от места случай чрезвычайно редкий в Титбулловской богадельне. Рассказывают, правда, что сын одной старушки выиграл как-то в лотерею тридцать тысяч фунтов стерлингов и в скором времени, подкатив к воротам в собственной карете с музыкантами на запятках, умчал свою мать из богадельни, да еще оставил десять гиней на угощение. Но мне так и не удалось добиться подтверждения этого факта, и я отношусь к этому рассказу как к одной из легенд богадельни. Забавно, однако, что единственный случай, когда кто-то действительно отказался от места, произошел, так сказать, у меня на глазах.

Дело было так. Поводом к жестокому соперничеству у титбулловских дам служит вопрос, чьи посетители принадлежат к более изысканному обществу, и я нередко наблюдал, что посетители приходят разодетые, как на парад, очевидно по настойчивой просьбе дам, умоляющих их показываться в самом лучшем виде. Поэтому понятно, какое волнение вызвал некий гринвичский пенсионер *, явившийся как-то с визитом к миссис Митс. Пенсионер этот был грубовато добродушен и воинствен на вид, один рукав его был пуст, и одет он был с необыкновенной тщательностью: пуговицы его ослепительно горели, пустой рукав он заложил весьма замысловато, и в руке у него была трость, явно стоившая больших денег. Когда он постучал набалдашником трости в дверь миссис Митс — в Титбулловской богадельне нет дверных молоточков,— миссис Митс, по свидетельству соседки, изумленно вскрикнула, и голос ее был исполнен смятения. Та же самая соседка утверждала, что, когда пенсионера впустили, в комнате миссис Митс раздалось чмоканье, именно чмоканье, а не какой-либо иной звук.

Вид гринвичского пенсионера, когда он уходил, вселил уверенность в титбулловцев, что он еще вернется. Его визита ожидали с нетерпением, а за миссис Митс был установлен неотступный надзор. Между тем если что-нибудь могло поставить шестерых несчастных стариков в более

невыгодное положение, нежели то, в котором они хронически пребывали, так это было именно появление гринвичского пенсионера. Вид у них и раньше был довольно поникший, теперь же, рядом с пенсионером, они окончательно увяли. Бедные старички и сами сознавали свое ничтожество и кротко соглашались в душе, что, мол, нечего им тягаться с этим пенсионером, с его военными и морскими доблестями в прошлом и «деньжишками на табачишку» в настоящем, с его пестрой карьерой, в которой смешались и синие волны, и черный порох, и алая кровь, пролитая за Англию, за отчий дом и за красотку!

Не прошло и трех недель, как пенсионер появился снова. Снова постучал он в двери миссис Митс набалдашником своей трости и снова был допущен внутрь. Но на этот раз он ушел не один, так как миссис Митс в шляпке, на которой — как сразу было установлено — появилась свежая отделка, вышла вместе с ним и возвратилась домой только в десять часов по гринвичскому времени — час, когда пенсионеры пьют вечернюю кружку пива.

Теперь перемирие было заключено даже в столь спорном вопросе, как мутная вода в ведре миссис Сэггерс; дамы говорили только о поведении миссис Митс и о том, как дурно оно может отозваться на репутации Титбулловской богадельни. Решено было, что мистер Бэттенс должен «взяться за это дело», о чем мистер Бэттенс был поставлен в известность. Этот необязательный субъект возразил, однако, что он еще «не уяснил себе, как следует поступить», после чего все дамы единодушно заявили, что он на редкость несносен.

Каким образом могла произойти такая явная несообразность, что, с одной стороны, все дамы были возмущены миссис Митс, а с другой стороны, все дамы были восхищены пенсионером, значения не имеет. Прошла неделя, и титбулловцы были потрясены еще одним необъяснимым явлением. В десять часов утра к воротам подкатил кэб, на котором восседал не только гринвичский пенсионер с одной рукой, но еще и челсийский пенсионер с одной ногой. Оба они вылезли и подсадили на извозчика миссис Митс; затем гринвичский пенсионер разделил ее общество внутри кэба, а челсийский пенсионер взгромоздился на козлы рядом с кучером, выставив вперед свою деревяшку

наподобие бугшприта, словно воздавая шуточные почести морской карьере своего друга. Вот так экипаж и укатил. И в этот вечер никакая миссис Митс домой не вернулась.

Неизвестно, что предпринял бы по этому поводу мистер Бэттенс под напором возмущенного общественного мнения, если бы на следующее утро не произошло еще одно необъяснимое явление. Откуда ни возьмись, появилась тачка, которую подталкивали гринвичский и челсийский пенсионеры; у каждого во рту спокойно дымилась трубочка, и каждый налегал своей доблестной грудью на рукоятку.

Предъявленное гринвичским пенсионером «Свидетельство о браке» и его заявление, что он и его друг явились сюда за мебелью супруги гринвичского пенсионера, бывшей миссис Митс, ни в коей мере не примирили дам с поведением их подруги; напротив, говорят, что негодование их еще усилилось. Но, как бы то ни было, случайные посещения Титбулловской богадельни уже после этого события утверждают меня в мнении, что потрясение пошло им всем на пользу. Девять дам стали куда более остроумны и франтоваты, чем прежде, хотя нужно признать, что шестерых стариков они по-прежнему презирают до последней степени. Они также гораздо живее интересуются пролегающей мимо улицей, чем во времена моего первого знакомства с Титбулловской богадельней. И каждый раз, если мне случается, прислонившись спиной к помпе или железной ограде и беседуя с одной из дам помоложе, заметить, как румянец заливает вдруг ее щеки, я, не оборачиваясь, могу с точностью сказать, что мимо прошел какой-то гринвичский пенсионер.

## XXX

### *Хулиган*

Я столь решительно возражаю против замены слова «Хулиган» более мягким «Озорник», за последнее время широко вошедшим в употребление, что поставил его даже в заголовок этого очерка; тем более что цель моя — подробно осветить факт снисходительного отношения к Ху-

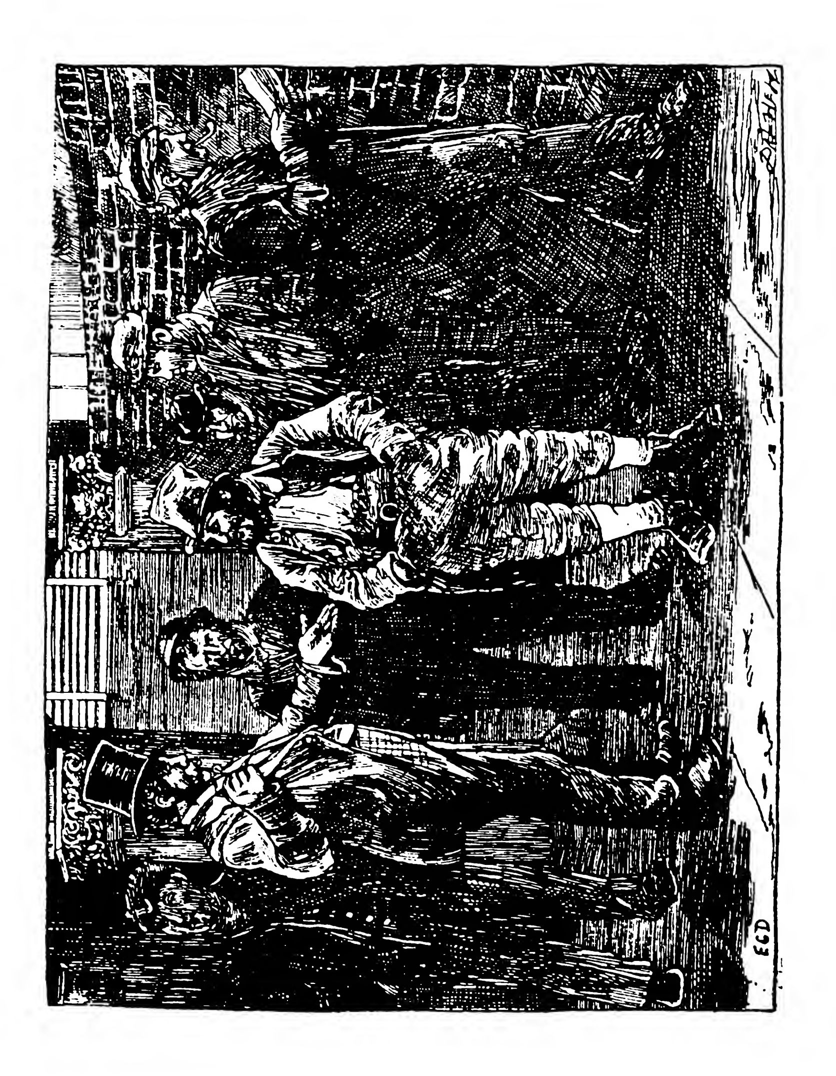
лигану, невыносимого для всех, кроме самого Хулигана. Я беру на себя смелость утверждать, что если жизнь моя отравляется Хулиганом — Хулиганом-профессионалом, свободно разгуливающим по улицам большого города, Хулиганом, чье единственное занятие состоит лишь в том, чтобы хулиганить, нарушать мой покой и залезать ко мне в карман, когда я мирно, никому не мешая, направляюсь по своим личным делам,— то, значит, Правительство, под эгидой которого я имею великую конституционную привилегию, высшую честь и счастье существовать, не выполняет простейшей, элементарнейшей обязанности всякого Правительства.

О чем довелось мне прочесть в лондонских газетах в начале сентября нынешнего года? О том, что Полиция «сумела, наконец, изловить двух членов печально знаменитой шайки Хулиганов, долгое время наводнявших улицу Ватерлоо». Да неужели? Какая замечательная Полиция! Перед нами прямая, широкая и многолюдная городская магистраль длиной в полмили, по ночам освещаемая газовыми фонарями, а помимо того еще и огнями огромного вокзала железной дороги, изобилующая магазинами, пересекаемая двумя оживленными проспектами, служащая главным путем сообщения с южной частью Лондона; и вот, после того как Хулиганы долгое время «наводняли» этот темный, уединенный закоулок, наша превосходная Полиция захватила теперь двух из них. Ну, а можно ли сомневаться в том, что любой человек, сносно знакомый с Лондоном, достаточно решительный и облеченный властью Закона, сумел бы в течение недели выловить всю банду целиком?

Многочисленность и дерзость Хулиганов следует в значительной мере приписать тому, что Суд и Полиция оберегают сословие Хулиганов чуть ли не так, как в заповедниках охраняют куропаток. Почему вообще оставлять на свободе завзятого Вора и Хулигана? Ведь он никогда не пользуется своей свободой для какой-либо иной цели, кроме насилия и грабежа; ведь по выходе из тюрьмы он ни одного дня не работал и никогда работать не будет. Как заведомый, завзятый Вор, он всегда заслуживает трех месяцев тюрьмы. Выйдя оттуда, он остается все тем же завзятым Вором, как и тогда, когда садился

туда. Вот и отправьте его обратно в тюрьму. «Боже милосердный! — воскликнет Общество охраны дерзких Хулиганов.— Но ведь это равносильно приговору к пожизненному заключению!» Именно этого я и добиваюсь. Я требую, чтобы Хулигану не позволяли мешать ни мне, ни другим порядочным людям. Я требую, чтобы Хулигана заставили трудиться — колоть дрова и таскать воду на благо общества, вместо того чтобы колотить подданных ее величества и вытаскивать у них из карманов часы. А если это требование сочтут неразумным, тогда еще неразумнее будет выглядеть обращенное ко мне требование платить налоги, которое окажется не чем иным, как вымогательством и несправедливостью.

Нетрудно заметить, что Вора и Хулигана я рассматриваю как одно лицо. Я поступаю так, зная, что в громадном большинстве случаев обе эти профессии практикуются одним и тем же лицом, о чем известно также и Полиции. (Что касается судей, то, за редким исключением, они знают об этом лишь то, что соблаговолит сообщить им Полиция.) Существуют категории людей, ведущих себя непристойно, хотя они и не хулиганы, как, например, железнодорожные машинисты, рабочие кирпичных и лесопильных заводов, уличные разносчики. Эти люди часто несдержанны и буйны, но, по большей части, в своей собственной среде, и, во всяком случае, они прилежные труженики, работают с утра до вечера, и работают упорно. А Хулиган в прямом смысле слова — почетный член сообщества, нежно именуемого «Озорным Элементом»,— либо сам Вор, либо пособник Вора. Когда он бесстыдно пристает к женщинам, выходящим в воскресный вечер из церкви (за что я бичевал бы его почаще и покрепче), то не только для того, чтобы позабавиться, но и для того, чтобы вызвать замешательство, которым могут воспользоваться он сам или его друзья с целью грабежа и обшаривания карманов. Когда он сшибает с ног полисмена и избивает его до полусмерти, то лишь потому, что этот полисмен некогда выполнил свой долг, предав его суду. Когда он врывается в таверну и выдавливает глаз у одного из посетителей или откусывает его ухо, то лишь потому, что этот человек выступал против него свидетелем. Когда он и его приятели, выстроившись в ряд поперек



тротуара,— скажем, на улице Ватерлоо, этом пустынном отроге Абруццских гор *,— движутся ко мне, «резвясь и дурачась», то заранее можно сказать, что их игривость грозит опасностью моему кошельку или булавке для галстука. Хулиган всегда Вор, а Вор всегда Хулиган.

И уж если я знаю об этом по своему повседневному опыту, как очевидец, хотя за такую осведомленность мне и не платят,— если я знаю, что Хулиган никогда не толкнет даму на улице и не собьет шляпы с головы иначе как с целью облегчить Вору его дело, то удивительно ли, что я требую принятия мер от тех, кому платят, чтобы они об этом знали?

Посмотрите-ка вот на эту кучку людей на углу улицы. Один из них — вертлявый субъект лет двадцати пяти, в неказистой, дурно пахнущей одежде; он носит плисовые штаны и настолько засаленный пиджак, что уже не различишь, из чего он сделан, шейный платок у него похож на угря, лицо цветом своим напоминает загрязненное тесто, истрепанная меховая шапка надвинута до самых бровей, чтобы скрыть тюремную стрижку волос. Руки он держит в карманах. Когда руки его ничем не заняты, он засовывает их в свои карманы (когда они заняты, то, естественно, в чужие),— ведь он понимает, что не загрубевшие от работы руки выдают его. Поэтому всякий раз, как он вытаскивает одну из них, чтобы утереть рукавом нос,— что происходит частенько, ибо он страдает хроническим насморком и глаза у него слезятся,— то сразу же засовывает ее обратно в карман. Другой — здоровенный мужлан лет тридцати пяти в цилиндре; его платье — некая помесь того, что носят игроки на скачках и головорезы; на лице — бакенбарды; на правой стороне груди — кричащего вида булавка; у него наглые, жестокие глаза, широкие плечи и крепкие, обутые в сапоги ноги, которые он всегда готов пустить в ход в драке. Третий — в сорокалетнем возрасте; он низкорослый, коренастый и кривоногий; носит короткие плисовые штаны, белые чулки, куртку с очень длинными рукавами, непомерно большой шейный платок, дважды или трижды обмотанный вокруг горла; его мертвенно-бледное, пергаментное лицо увенчано измятой белой шляпой.. Этот молодчик выглядит как казненный почтальон былых времен, преждевременно снятый с висе-

лицы и затем возвращенный к жизни усиленными стараниями дьявола. Пятый, шестой и седьмой — неуклюжие, сутулые молодые бездельники в заплатанной и обтрепанной одежде из какой-то осклизлой ткани, с чересчур короткими рукавами и чересчур узкими штанами,— сквернословящие негодяи, отвратительные как душою, так и наружностью. У всей этой компании в обычае как-то судорожно дергать ртом и смотреть исподлобья — приметы труса, скрывающегося под личиной задиры. Приметы вполне точные, так как все эти субъекты до крайности трусливы и в минуту опасности им свойственно скорее бросаться на землю и брыкаться, нежели постоять за себя. (Этим, возможно, и объясняются следы уличной грязи на спинах у пятого, шестого и седьмого, значительно более свежей, чем засохшие пятна грязи на ногах.)

Этих очаровательных джентльменов созерцает постовой полисмен. Совсем близко — рукой подать — и полицейский участок со вспомогательным резервом. Они никак не могут притвориться, что заняты каким-то делом, что они, скажем, носильщики или рассыльные. А если б они даже и притворились, это бы ни к чему не привело, так как он знает, что они не кто иные, как отъявленные Воры и Хулиганы, и им самим тоже известно, что он их знает. Он знает, где их притоны и какими воровскими кличками они кличут друг друга, знает, сколько раз, как долго и за что они сидели в тюрьме. Все это известно также и в полицейском участке, известно (или должно быть известно) также и в Скотленд-Ярде. Но известно ли ему, известно ли в полицейском участке, в Скотленд-Ярде или вообще где бы то ни было, почему эти молодчики находятся на свободе, когда в качестве заведомых Воров,— а это обстоятельство мог бы подтвердить под присягой целый отряд полисменов,— им следовало бы быть под замком, на каторжных работах? Откуда ему знать? Он был бы поистине мудрецом, если б знал это! И знает он только то, что они из той «печально знаменитой шайки Хулиганов», которые, по сообщению полицейского управления в газетах за минувший сентябрь, «долго наводняли» мрачную пустыню улицы Ватерлоо, из почти неприступных цитаделей которой Полиция, к невыразимому изумлению всех добрых граждан, извлекла, наконец, двоих.

Последствия этой привычки к созерцанию со стороны администрации — привычки, которой следовало бы скорее ожидать от отшельника, а не от полицейской системы,— знакомы всем нам. Хулиган становится одной из прочных основ нашего государства. Дела и успехи Хулиганов, игриво именуемых Озорниками (словно они не больше чем любители грубоватых шуток), широко освещаются в печати. В большом или малом числе они собрались; в приятном или подавленном расположении духа пребывали; принесли ли их благородные усилия щедрые плоды или фортуна была против них; действовали ли они с кровожадными побуждениями или грабили с добродушными шуточками и благосклонной заботливостью о сохранении жертвы целой и невредимой,— обо всем этом повествуется так, словно речь идет о каком-то учреждении. Найдется ли где-либо в Европе, кроме Англии, другой город, где с этим бичом общества обращались бы подобным же образом, или город, где ныне, как и в Лондоне, постоянно совершались бы подобные дерзкие нападения на людей?

Проявляем мы терпимость и по отношению к Приготовительным Школам Хулиганства. Трудно поверить, как часто совершают покушения на личность и имущество мирных людей юные лондонские Хулиганы, еще не ставшие Ворами и выступающие пока лишь претендентами на ученые степени и звания Университета Уголовных Судов. Прохожие на улицах постоянно рискуют получить увечье от бросаемых в них камней, а ведь это зло наверняка не разрослось бы до таких размеров, если бы мы обходились без Полиции, одними лишь своими плетками для верховой езды и тростями,— без Полиции, к которой я и сам в подобных случаях обращаюсь. Швырять камни в окна движущихся вагонов поезда — поистине разнузданное хулиганство, вдохновляемое самим дьяволом, и зло это стало таким вопиющим, что вынудило железнодорожные компании обратить на него внимание Полиции. А до этого бесстрастная созерцательность со стороны полисменов считалась в порядке вещей.

На протяжении последнего года среди юных лондонских джентльменов, обучающихся Хулиганству и совершенствующих это всемерно поощряемое светское искусство, вошел в привычку шутливый возглас: «Беру это

себе!» — вслед за которым с одежды проходящей дамы срывается какая-нибудь вещь. Мне известен факт, когда среди бела дня у одной дамы вот так шутливо сорвали на улице и унесли вуаль; и однажды летним вечером, когда было еще совсем светло, мне и самому случилось гнаться на Вестминстерском мосту за другим юным Хулиганом, который с этим возгласом бесстыдно набросился на мирно шедшую впереди меня скромную молодую женщину, едва не упавшую в обморок от негодования и смущения. А некоторое время спустя нас слегка позабавил мистер Карлейль *, описав свое собственное знакомство с уличным Хулиганом. Множество раз я наблюдал, как Хулиган действует в точном соответствии с описанием мистера Карлейля, но никогда еще не видел, чтоб его остановили.

Отвратительнейшая ругань, громогласно раздающаяся в общественных местах,— особенно в тех, что отведены для отдыха,— это еще один позор для нас и еще одно последствие созерцательного отношения Полиции, подобного которому я не встречал ни в какой иной стране, куда наезжал в качестве путешественника не по торговым делам. Много лет назад, когда я питал глубокий интерес к некиим детям, ходившим с нянями в Риджент-парк подышать свежим воздухом и порезвиться, я обнаружил там это зло в таких отвратительных и ужасающих размерах, что привлек внимание публики как к нему самому, так и к созерцательному отношению к нему со стороны Полиции. Заглянув после этого в недавно принятый Закон о Полиции и обнаружив, что он предусматривает наказание за сквернословие, я решил выступить сам в роли прокурора, как только представится серьезный повод. Повод представился довольно быстро, и впереди меня ожидали суровые испытания.

Виновницей скверного поступка, о котором идет речь, оказалась девица лет семнадцати — восемнадцати, возвращавшаяся с похорон какого-то ирландца и с развязным видом шествовавшая по улицам со свитой из нескольких негодяев, юношей и мальчишек, которые перемежали торжественное шествие пением и танцами. Она повернулась ко мне и, к великому удовольствию этого изысканного общества, выразилась самым что ни на есть внятным образом. Целую милю шел я по противоположной стороне

улицы следом за этой компанией и, наконец, повстречал полисмена. До этого момента компания потешалась на мой счет, но едва мужская часть ее увидела, что я заговорил с полисменом, как тотчас пустилась наутек, оставив девицу одну. Я спросил у полисмена, известно ли ему мое имя? Да, известно. «Арестуйте эту девицу, я обвиняю ее в сквернословии на улице». Он никогда не слышал о таком правонарушении. Зато я слышал. Может ли он положиться на мое слово, что с ним не случится никакой неприятности? Да, сэр, может. Итак, он забрал девицу, а я отправился домой за текстом Закона о Полиции.

С этим убедительным документом в кармане я вполне вошел в роль обвинителя и явился в местный полицейский участок. На дежурстве я застал очень толкового инспектора (они все толковые), который точно так же никогда не слышал о подобном правонарушении. Я показал инспектору соответствующий пункт, и мы вместе проштудировали его дважды или трижды. Пункт был ясен, и меня обязали явиться на другой день утром в десять часов к местному судье.

Утром я снова сунул в карман текст Закона о Полиции и предстал перед судьей. Принял он меня далеко не так любезно, как принял бы Лорд-Канцлер или Лорд Верховный судья, но это уже было вопросом благовоспитанности местного судьи, а меня интересовал лишь определенный пункт Закона, который я держал наготове, загнув в нужном месте листок. Для меня этого было достаточно.

Судья и секретарь начали совещаться. В ходе совещаний на меня явно смотрели как на человека, гораздо более неприятного, чем арестованная; как на человека, добровольно явившегося сюда, чтобы причинить беспокойство, в чем никак нельзя было обвинить арестованную. С тех пор как я имел удовольствие видеть ее в последний раз, девица принарядилась и теперь щеголяла в белом фартуке и соломенном капоре. Она показалась мне старшей сестрой Красной Шапочки, а я, кажется, показался сопровождавшему ее и сочувствовавшему ей Трубочисту Волком.

Судья сомневается, мистер путешественник не по торговым делам, можно ли поддержать такое обвинение, ведь о нем никому не было известно. Мистер путешественник не по торговым делам отвечает, что желательно, чтобы о

нем стало известно всем, и, если ему будет позволено, он попытается этому содействовать. Однако, заявляет он, вопрос не вызывает сомнений. Вот соответствующий пункт.

Я вручил текст Закона, после чего состоялось новое совещание. Затем мне задали весьма странный вопрос: «Мистер путешественник, неужели вы действительно хотите, чтобы эту девицу посадили в тюрьму?» Вытаращив глаза, я мрачно ответил: «Если б я не хотел, то чего ради я взял бы на себя труд явиться сюда?» В конце концов я принес присягу, дал необходимые показания о происшествии, и Белая Шапочка согласно этому пункту была оштрафована на десять шиллингов, с заменой тюремным заключением на столько же дней. «Э, да что там, сэр,— сказал провожавший меня полисмен, от души радуясь, что за крепкое словцо девице здорово попало, хотя и после стольких колебаний,— если она попадет в тюрьму, для нее это будет вовсе не новость. Она ведь с Чарльз-стрит, что по соседству с Друри-лейн!»

Принимая во внимание все обстоятельства, надо сказать, что Полиция — превосходное учреждение, и в подтверждение ее достоинств я привел свое скромное свидетельство. Безразличие полисменов — результат дурной системы, которую осуществляет человек в полицейском мундире, получающий двадцать шиллингов в неделю. Ему дают приказания, и за нарушение их он был бы призван к порядку. Незачем пространно доказывать, что система плоха,— факт этот самоочевиден. Будь это не так, не имели бы места и вызванные ею результаты. Кто станет утверждать, что при хорошей системе на улицах царил бы нынешний беспорядок?

Мои возражения против метода подхода Полиции к Хулигану и примеры непригодности этого метода сводятся к следующему: хорошо известно, что англичане, собравшиеся в массе по какому-нибудь торжественному случаю, наилучшие блюстители порядка. Хорошо известно, что повсюду, где собираются честные люди, вполне можно рассчитывать на уважение к закону и порядку и на решимость пресечь беззаконие и беспорядок. Отличной полицией служат люди и по отношению друг к другу, и тем не менее, по добродушию своему, они охотно соглашаются на то, чтобы честь охраны порядка принадлежала наемной

Полиции. Однако все мы бессильны против Хулигана, потому что подчиняемся закону, тогда как единственная забота Хулигана состоит в том, чтобы нарушать его при помощи силы и насилия. Более того, нас все время увещают свыше, словно детишек из воскресной школы, которым в перерыве дозволяется только скушать сдобную булочку и примерно вести себя, что мы не должны брать в свои руки охрану закона, а должны отдать себя под его защиту. Ясно, что наш общий враг — это Хулиган, которого следует безотлагательно наказать и истребить. Ясно, что он-то и есть тот самый правонарушитель, для подавления которого мы содержим дорогостоящую Полицию. Именно его мы поэтому и препоручаем особым заботам Полиции, сознавая, что сами-то мы, в общем, относимся друг к другу довольно сносно. Однако Полиция обращается с Хулиганом столь неумело и нелепо, что он процветает, умножается числом и наводняет улицы, совершая свои злодеяния с такой же развязностью, с какой носит шляпу, и встречая на своем пути не больше помех и препятствий, чем мы сами.

## XXXI

### *На борту парохода*

С тех пор как я в последний раз писал о своих путешествиях не по торговым делам для фирмы «Братство Человеческих Интересов», эти странствия так и не прекращались, вынуждая меня к беспрерывным передвижениям. У меня все те же необременительные дела. Я никогда не ищу заказов, никогда не получаю комиссионных, я из тех непосед, что не наживают добра,— разве что как-нибудь случайно.

С полгода назад, находясь на борту парохода в гавани Нью-Йорк, в Соединенных Штатах Америки, я пребывал в ленивейшем, мечтательнейшем и совершенно необъяснимом расположении духа. Это был один из самых лучших среди бороздящих моря кораблей — пароход «Россия» компании «Кьюнард-лайн», направлявшийся в Ливерпуль под командой капитана Кука. Чего еще оставалось мне желать?

Кроме благополучного плавания, желать мне было больше нечего. С тех пор как мои незрелые годы,— когда лицо у меня зеленело и я ощущал приступы морской болезни,— ушли в прошлое, а вместе с ними ушло и то лучшее, чем я обладал (худшее, увы, осталось!), ничто уж больше не ждало меня впереди.

Если б не это, я мог бы, подражая Стерну, сказать: «Все же, Евгений *,— и при этом задумчиво коснуться указательным пальцем его рукава, вот так,— все же, Евгений, мне грустно расставаться с тобой, ибо какие новые луга... мой дорогой Евгений... могут быть привлекательнее тебя, и на каких новых пажитях найду я Элизу *, или, если тебе так хочется, назови ее Анни?» Да, я мог бы это сделать; но Евгения уже нет,— и я этого не сделал.

Я отдыхал на штормовом мостике, наблюдая, как корабль медленно разворачивается, чтобы взять курс на Англию. Это происходило в середине чудеснейшего апрельского дня, и красивая бухта восхитительно сверкала. Живя здесь на берегу, я часто бывал свидетелем того, как непрерывно сыпал и сыпал снег, мягкий как пух, пока его не наваливалось столько, что он становился помехой для людей, и больше всего, кажется, для меня, так как в продолжение нескольких месяцев ноги у меня редко оставались сухими. В последние два-три дня пушистый снег, вместо того чтобы вяло тащиться за юбками выдохшейся зимы, с пылкой стремительностью обрушивался на землю, позволяя на миг проглянуть свежей юной весне. Но яркое солнце и ясное небо переплавили снег в великом тигеле природы; и в это утро он снова обрушился на море и на землю, но уже мириадами искрящихся золотом и серебром капель дождя.

Корабль благоухал цветами. Вероятно, давнишнее пристрастие мексиканцев к цветам частично перешло и в Северную Америку, где в изобилии выращивают цветы, со вкусом соединяя их в бесконечно разнообразных сочетаниях; как бы там ни было, а на борт было прислано столько пышных прощальных приветствий в виде цветов, что они переполнили занимаемую мною маленькую каюту на палубе, выплеснувшись из нее до близлежащих шпигатов, и целые груды их, что не смогла вместить каюта, превратили в цветники пустовавшие в пассажирском салоне

столы. Восхитительные ароматы берега, смешавшись со свежим запахом моря, создавали сказочную, чарующую атмосферу. И когда взобравшиеся на мачты матросы ставили паруса, когда внизу с огромной скоростью завертелся винт, время от времени сердито встряхивая сопротивлявшийся пароход, я отдался полной праздности и впал в полузабытье.

Меня охватила такая сильная лень, что не хотелось даже думать о том, я ли это здесь лежу или какое-то другое, загадочное существо. Какое это имело значение для меня, если б это был я, или для загадочного существа, если б это было оно? Так же обстояло дело и с воспоминаниями, которые лениво проплывали мимо меня,— или мимо него: зачем спрашивать себя, когда и где происходили те или иные события? Разве недостаточно знать, что когда-то и где-то они произошли?

Однажды в воскресенье я присутствовал на церковной службе на борту другого парохода, при сильном ветре. Вероятно, во время поездки сюда. Не важно. Приятно слушать, как судовые колокола старательно подражают звону церковных колоколов; приятно видеть, как собираются и входят свободные от вахты матросы: они в самых нарядных шляпах и фуфайках, руки и лица у них умыты, волосы приглажены. А затем возникают одно за другим забавные происшествия, предотвратить которые, даже при самых серьезных намерениях, невозможно. Обстановка такова. В салоне за столами собралось около семидесяти пассажиров. На столах — молитвенники. Корабль сильно качает. Все молчат. Священника нет. Шепотом передается слух, что по просьбе капитана богослужение согласился совершить находящийся на борту скромный молодой священник. Снова молчание. Корабль сильно накреняется.

Внезапно двустворчатая дверь распахивается настежь и в салон вкатываются, как на коньках, два здоровенных стюарда, поддерживая под руки священника. Выглядит это совсем так, словно они подобрали какого-то не стоящего на ногах пьянчужку и теперь тащат его в полицейский участок. Короткая заминка, молчание и особенно сильный крен. Стюарды не теряются и сохраняют равновесие, но не могут удержать в равновесии священника, который, запрокинув голову, пятится назад, словно твердо решив возвра-

титься обратно, тогда как они в свою очередь полны решимости доставить его к пюпитру посреди салона. Переносный пюпитр скользит вдоль длинного стола, норовя ударить в грудь то одного, то другого члена конгрегации. В эту минуту створки двери, заботливо прикрытые другими стюардами, снова распахиваются, и в салон, спотыкаясь, врывается, с очевидным намерением выпить пива, явно не набожный пассажир; разыскивая приятеля, он восклицает: «Джо!» — но, поняв неуместность своего поведения, говорит: «Хэлло! Прошу прощенья!» — и, спотыкаясь, выскакивает обратно. Тем временем конгрегация раскалывается на секты — как это часто случается с конгрегациями,— причем каждая секта отъезжает в сторону, а затем они все вместе налетают на слабейшую, которая первой отъехала в угол. Вскоре раскол в каждом углу достигает высшего предела. Новый неистовый крен. Стюарды, наконец, делают стремительный рывок, подводят священника к столбу посреди салона и выкатываются обратно, предоставляя священнику, обнявшему столб обеими руками, самому улаживать дела со своею паствой.

В другой воскресный день молитвы читал один из офицеров корабля. Все шло гладко и благочинно до тех пор, пока мы не предприняли рискованный и совершенно излишний эксперимент, решив спеть гимн. Едва было объявлено о гимне, как все поднялись, но никто не начинал, предоставляя эту честь другому. Когда последовавшая в результате этого пауза затянулась, офицер (который сам не пел) с некоторой укоризной затянул первую строку, после чего румяный, как яблочко, старый джентльмен, в течение всего рейса излучавший вежливое благодушие, принялся тихонько отбивать такт ногой (словно открывая танец на деревенской вечеринке) и с веселым видом заставил нас притвориться, будто мы подпеваем. Благодаря подобной тактике к концу первого куплета мы так оживились и приободрились, что никто из нас, как бы плохо он ни пел, ни за что не согласился бы молчать во время второго куплета; а когда дело дошло до третьего, мы загорланили с таким усердием, что было не совсем ясно, чем мы больше гордимся: то ли чувствами, которые выражаем сообща, то ли тем, что выражаем их с полнейшим пренебрежением к ритму и мотиву.

Позднее, когда я остался в одиночестве среди мертвой, наполненной рокотом волн, пустыни ночи, лежа на своей койке, защищенной деревянной решеткой, без которой, должно быть, скатился бы на пол, яркие воспоминания об этих происшествиях заставили меня от души рассмеяться, и я подумал: «Господи, по какому же это делу я тогда ехал и в какие абиссинские дебри зашли тогда события общественной жизни? Впрочем, мне это безразлично. А что касается событий, то если удивительное повальное увлечение игрушками (совершенно необычайное по своей непостижимой нелепости) не захватило тогда этого несчастного юного дикаря и бедную старую клячу и не поволокло первого за волосы его царственной головы «инспектировать» британских волонтеров, а вторую — за волосы ее конского хвоста в Хрустальный дворец, то тем лучше для всех нас, кто находится за пределами Бедлама!»

Возвращаясь мыслями к пароходу, я с беспокойством спрашивал себя: следует ли мне показывать Великому Объединенно-Соединенному Обществу Трезвости раздачу грога, происходящую в полдень? Да, пожалуй, следует. При данных обстоятельствах членам общества, пожалуй, будет полезно понюхать запах рома.

Над бадьей, в которой приготовлен грог, стоит помощник боцмана с небольшой жестяной кружкой в руках. Входит судовая команда, потребители греховного зелья, зрелые потомки великана Отчаяние — в противовес отряду юного ангела Надежды *. Некоторые из них в сапогах, другие в крагах; одни — в брезентовых штанах, другие — в пиджаках, третьи — в бушлатах, очень немногие — в куртках; большинство в шляпах-зюйдвестках; у всех вокруг шеи какой-нибудь грубый, плотный шарф; со всех стекает на пол соленая вода; они выдублены непогодой, измазаны машинным маслом, дочерна выпачканы сажей.

У каждого с пояса, ослабленного па время обеда, свисает нож в ножнах. Пока первый матрос, с горящими от нетерпения глазами наблюдает за тем, как наполняется отравленная чаша (а если выражаться прозой, то просто крохотная жестяная кружка), и, запрокинув голову, вливает в себя ее содержимое, передает пустую чашу следующему и отходит в сторону, второй матрос, заранее утерши рот рукавом или носовым платком, ожидает своей

очереди выпить, отдать чашу и отойти в сторону; у всякого, чья очередь приближается, горят глаза, поднимается дух и внезапно пробуждается желание пошутить с товарищем. Даже корабельный ламповщик, по своей должности получающий двойную порцию, не чувствует себя из-за этого униженным, хотя и опоражнивает отравленные чаши одну за другой так, словно выливает их содержимое в некий всасывающий аппарат, к которому сам он не питает никакого интереса. Когда они снова выходят на палубу, я замечаю, что настроение их намного улучшилось, даже их посиневшие от холода пальцы начинают снова окрашиваться в красный цвет; и когда я смотрю, как они, простершись на рангоутах, борются за жизнь посреди беснующихся парусов, я не могу, хоть убей, считать справедливым, что их — или меня — будут укорять за преступления, совершенные в пьяном виде уголовниками, которых привлекли к строжайшей судебной ответственности.

Находясь в тот день в Нью-Йоркской бухте и упорствуя в своей лени, я закрыл глаза и припомнил жизнь на борту одного из таких пакетботов. Начиналась она еще затемно с пуска помп и мытья палуб — так, во всяком случае, начиналась моя, потому что после этого я уже больше не мог заснуть. Подобные звуки мог бы издавать чудовищный исполин в какой-либо гигантской водолечебнице, добросовестно принимающий водные процедуры во всех ее отделениях и с крайним усердием отдающийся чистке зубов. Всплеск, шлепок, скрежет, растиранье, чистка зубов, бульканье, плеск, шлепок, бульканье, чистка зубов, шлепок, еще шлепок, бульканье, растиранье... Затем рассветало, и я, спустившись со своей койки по изящной лесенке, сооруженной из наполовину выдвинутых под койкой ящиков, открывал внутреннюю и наружную крышки глухого иллюминатора (закрытого матросом во время водных процедур) и глядел на медленно катящиеся, увенчанные белой пеной свинцовые валы, на которые заря холодного зимнего утра бросала свой спокойный, грустный взгляд и сквозь которые со страшной скоростью меланхолично пробивал себе путь пароход. И теперь, улегшись снова в ожидании, когда наступит время завтрака, состоявшего из поджаренного ломтика ветчины и стакана чаю, я вынужден был прислушиваться к голосу совести — к шуму винта.

В некоторых случаях это, возможно, был всего-навсего голос желудка, но мне пришла в голову прихоть назвать его более высокопарно. Это оттого, что мне казалось, будто все мы целый день напролет пытались заглушить этот голос. Оттого, что он раздавался у всех под подушкой, под тарелкой, под складным стулом, под книгой, слышался все время, чем бы мы ни занимались. Оттого, что все мы делали вид, будто не слышим его, особенно за обеденным столом, за вечерним вистом и во время утренних бесед на палубе; низкий и однообразный, он никогда не разлучался с нами; его нельзя было утопить в гороховом супе, затасовать в колоду карт, загнать вязальными спицами в узор вязанья, отвлечься от него книгой,— от него никуда нельзя было уйти. Его раскуривали вместе с самой вонючей сигарой, выпивали с самым крепким коктейлем; в полдень он сопровождал на палубу хрупких дам, которые, укутавшись в пледы, лежали там до тех пор, пока не засияют звезды; вместе со стюардами он прислуживал нам за столом; никто не мог погасить его вместе со свечами. Замечать голос совести считалось (как и на берегу) признаком дурного тона. Упоминать о нем было невежливо. Однажды в бурную погоду некий добродушный влюбленный джентльмен, которого винт выгнал на палубу, раздраженно воскликнул: «Ох, уж эта мне кляча!» [1], чем шокировал окружающих, в том числе и предмет своей привязанности.

По временам казалось, будто голос ослабевает. А в те быстротечные мгновения, когда в нос ударяли брызги шампанского, или когда в меню появлялась тушеная говядина с картофелем, или когда надоевшее, подававшееся изо дня в день, блюдо фигурировало в этом официальном документе под новым названием,— в такие волнующие минуты почти верилось, что он умолк. Его заглушала церемония мытья посуды, совершаемая на палубе после каждой трапезы кучкой людей, словно взявшихся состязаться на приз в перезвоне посуды. На короткое время мы забывали о нем тогда, когда травили канат, измеряли секстантом высоту солнца в полдень, вывешивали объявление о том, какое расстояние пройдено за минувшие сутки, переводили, в связи со сменой меридиана, стрелку часов, когда за борт

---

[1] В оригинале игра слов: screw — винт и кляча. *(Прим. ред.)*

выбрасывали объедки пищи, приманивая летящих вслед за нами ненасытных чаек. Но едва лишь подобное развлечение кончалось или приостанавливалось, как голос был уже тут как тут, докучая нам до крайности. Двое молодоженов, в упоении друг другом совершавших по палубе в течение дня прогулку миль в двадцать, внезапно, в самый разгар этого моциона, вздрагивали от укоров голоса и застывали на месте.

Но суровее всего наш ужасный наставник обращался с нами тогда, когда наступало время расходиться на ночь по своим каморкам; когда в салоне оставалось все меньше и меньше горящих свечей; когда возрастало число пустых стаканов с торчащими из них ложечками; когда по столу вяло скользили неизвестно чьи ломтики поджаренного хлеба с сыром и заблудившиеся сардины, запеченные в тесте; когда пассажир, постоянно занятый чтением, захлопывал книгу и гасил свою свечу; когда неизменно словоохотливый пассажир от усталости умолкал; когда пассажир, о котором врачи говорили, что он вот-вот схватит белую горячку, откладывал это событие до следующего дня; когда пассажир, ежевечерне перед сном предававшийся на палубе курению в продолжение двух часов и через десять минут после этого засыпавший, уже застегивал пальто, готовясь к своему стойкому бдению. Ибо когда мы расходились один за другим и, забираясь в свои клетушки, попадали в своеобразную атмосферу затхлой трюмной воды и виндзорского мыла, голос потрясал нас до основания. Горе нам, когда мы, усевшись на диване, наблюдаем, как качающаяся свеча все время старается стать на голову или как висящий на вешалке сюртук подражает тому, что, бывало, проделывали и мы сами в молодости на занятиях гимнастикой: удерживает себя в горизонтальном положении по отношению к стене, соревнуясь в этом с более легкими и гибкими полотенцами! В такое время голос совести с особенной легкостью делал нас своей добычей и разрывал на части.

Когда свечи погашены и мы лежим на койках, а ветер крепчает, голос становится еще более сердитым и басистым. Он раздается отовсюду: из-под матраца и подушки, из-под дивана и умывальника, из-под корабля и из-под океана, и кажется, будто с каждым взмахом (о, каким

взмахом!) великой Атлантики он поднимается из самых недр земного шара. В ночную пору тщетно отрицать его существование; невозможно притворяться тугим на ухо. Винт, винт, все время винт! Иногда он поднимается из воды и шипит, словно неистовый фейерверк — с той лишь разницей, что никогда не сгорает и всегда готов взорваться снова; иногда кажется, будто он вздрагивает от боли; иногда кажется, будто он напуган своей собственной выходкой и с ним происходит припадок, заставляющий его напрячь все силы, затрепетать и на мгновенье замереть. И тогда начинается качка, какая бывает лишь у кораблей, столь свирепо терзаемых винтом на всем протяжении пути, днем и ночью, в ясную и ненастную погоду.

Давал ли корабль раньше такой крен, как минуту назад? Давал ли он когда-нибудь вот такой крен, еще более страшный, что начинается сейчас? Вот переборка возле моего уха опустилась куда-то вглубь, на подветренную сторону. Поднимусь ли я когда-нибудь опять вместе с нею? Пожалуй, нет; переборка и я находимся в этом положении так долго, что я и в самом деле считаю: на этот раз мы зашли слишком далеко. Но какой же крен, боже мой! Какой глубокий, страшный, затяжной! Кончится ли он когда-либо и выдержим ли мы тяжесть водных масс, которые обрушились на корабль, сорвали с места всю мебель в офицерской столовой, высадили дверь в узком проходе между моей каютой и каютой пароходного эконома и бешено мечутся то туда, то сюда? Но эконом спокойно похрапывает, судовой колокол отбивает склянки, и я слышу мелодично отдающийся по всей палубе возглас вахтенного: «Все идет хорошо!», в то время как переборка, только что нырявшая вглубь, а теперь взлетающая вверх, пытается сбросить меня с койки, позабыв о том, что мы вместе с нею пережили.

«Все идет хорошо!» Сознавать это утешительно, хотя, конечно, все могло бы идти еще лучше. Но забудем о качке и стремительных атаках воды и подумаем о том, с какой бешеной скоростью мы мчимся во мраке. Подумаем о каком-либо другом судне, движущемся к нам навстречу! Существует ли между двумя движущимися в воде телами взаимное притяжение, которое может способствовать их столкновению?

Возникают также мысли о лежащей под нами бездне — ведь не умолкающий ни на мгновенье голос поразительно возбуждает воображение; возникают мысли о незнакомых пустынных горных хребтах и глубоких долинах, над которыми мы проходим; о чудовищных рыбах, кишащих в глубине; о том, что судно вдруг, по собственной прихоти, изменит курс и яростно устремится под воду с командой мертвых мореплавателей на борту. В такие минуты вспоминаешь и о весьма свойственной пассажирам привычке время от времени заговаривать о некоем большом пароходе, совершавшем точно такой же рейс и бесследно затерявшемся в море. Все, словно зачарованные, приближаются к порогу этой зловещей темы, потом замолкают, испытывают замешательство и делают вид, будто никогда и не касались ее. Вдруг раздается свисток боцмана! Слышатся хриплые распоряжения, матросы старательно трудятся — это значит, что ветер переменил направление. Наверху с шумом опускаются паруса и снасти, состоящие, как кажется, из сплошных узлов; работающие матросы представляются мне людьми футов по двадцать ростом, и каждый из них топает в двадцать раз сильнее обычного. Но постепенно шум слабеет, хриплые крики замирают, свисток боцмана звучит мягче, издавая спокойные, удовлетворенные ноты, весьма неохотно возвещая о том, что на сей раз с работой покончено; и тогда снова вступает голос.

Так, то вздымаясь вверх, то опускаясь вниз, впадаешь в смутный сон, прерываемый качкой и толчками, пока, наконец, сознание не начнет различать запахи виндзорского мыла и затхлой трюмной воды, а голос не возвестит, что исполин снова готов приняться за водные процедуры.

Вот какие причудливые воспоминания приходили мне в голову в тот день, когда я находился в Нью-Йоркской бухте, и тогда, когда мы, миновав пролив Нарроус, вышли в открытое море, и в долгие, праздные часы плавания в солнечную погоду! Наконец в один прекрасный день астрономические наблюдения и вычисления показали, что к ночи мы подойдем к берегам Ирландии. Весь этот вечер я стоял вахту на палубе, чтобы посмотреть, как мы будем подходить к берегам Ирландии.

Ночь очень темная, и море ярко сверкает фосфорическим блеском. На судне царит большое волнение, прини-

маются особые меры предосторожности. Бдительный капитан — на мостике, бдительный первый офицер ведет наблюдение по левому борту, бдительный второй офицер стоит рядом с рулевым возле компаса, бдительный третий офицер — с фонарем на корме. На тихих палубах не видно пассажиров, но тем не менее всюду чувствуется ожидание. Два матроса, стоящие у рулевого колеса, спокойны, серьезны и проворно выполняют приказания. Время от времени резко звучит команда, как эхо отдающаяся обратно; а в остальном ночь тянется медленно и молчаливо, без всяких перемен.

Ровно в два часа утра все, кто несет напряженную вахту, внезапно делают едва заметные жесты облегчения; фонарь в руках третьего офицера звякает, офицер пускает ракету, за нею еще одну. Мне показывают одинокий огонек, горящий вдали в темном небе. С огоньком должна произойти какая-то перемена, но никакой перемены нет. «Мистер Бдительный, пустите-ка для них еще пару ракет». Взвиваются еще две ракеты, зажигается голубой свет. Все глаза снова устремлены на маяк. Наконец с него взлетает маленькая игрушечная ракета; и в ту минуту, когда эта крохотная полоска света гаснет во мраке, о нас уже сообщено по телеграфу в Квинстаун, Ливерпуль и Лондон, а по подводному кабелю также и в Америку.

Теперь на палубе появляется с полдюжины пассажиров, высаживающихся в Квинстауне, почтовый агент и матросы, отряженные для погрузки мешков с почтой в баркас, который придет из порта. То тут, то там на палубе поблескивают лампы и фонари; лежащий на дороге груз оттаскивают в сторону ганшпугами; и на левом фальшборте, еще мгновение назад пустовавшем, сейчас вырос обильный урожай голов, принадлежащих матросам, стюардам и машинистам.

Вот мы достигаем маяка, вот он сбоку от нас, вот остается за кормой. Взвиваются новые ракеты: это между нами и берегом на всех парах с изяществом проходит Инмэновский пароход * «Город Париж», направляющийся в Нью-Йорк. Мы самодовольно отмечаем, что ветер дует ему прямо навстречу (ведь для нас он попутный) и что пароход сильно качает. (Наибольшее удовольствие вызывает это обстоятельство у тех пассажиров, которые больше

всего страдали от морской болезни.) Мы стремительно мчимся, а вместе с нами мчится и время; вот мы уже видим огни Квинстаунского порта, а потом и огни приближающегося к нам почтового баркаса. Каких только коленцев не выкидывает он на своем пути, бросаясь во все стороны, особенно туда, где ему нечего делать, и одному лишь небу известно, зачем он все это проделывает! Наконец он подскакивает на расстояние в один кабельтов к нашему левому борту, и с парохода ему кричат в рупор, чтобы он делал то-то, не делал того-то и занимался еще чем-то, словно сам он ровно ничего не смыслит. Когда, под оглушительный рев парового гудка, мы сбавляем ход и вконец сбитый с толку баркас прикреплен к пароходу канатами, стоящие наготове матросы начинают переносить на борт баркаса мешки с почтой, сгибаясь под их тяжестью и напоминая нетвердо стоящие на ногах картонные фигурки мельника и его работников, которых мы видели в театре в годы нашего детства. Все это время несчастный баркас мечется вверх и вниз, то и дело выслушивая окрики. После непрестанных метаний и окриков на борт к нему сажают пассажиров, едущих до Квинстауна, а потом волна подбрасывает баркас так высоко, что едва не опрокидывает его к нам на палубу. На прощанье злополучному, беспрерывно осыпаемому бранью баркасу бросают последнее страшное ругательство, затем его отпускают, и он начинает кружиться у нас за кормой.

Когда небо окрасилось зарей, голос совести снова обрел свою власть над нами и терзал нас, пассажиров, до самого порта; терзал, когда мы проходили мимо других маяков и опасных островов вблизи побережья, где в туманную погоду офицеры, с которыми я стоял вахту, ходили в парусной шлюпке на берег (о чем они, кажется, хранят весьма нежные воспоминания), мимо Уэльского и Чеширского побережья и мимо всего того, что располагалось вдоль пути нашего парохода к его постоянному доку на Мерсее. Там, в один прекрасный майский вечер, в девять часов, мы, наконец, остановились, и вот тогда-то голос затих. И вслед за наступлением тишины я испытал прелюбопытнейшее ощущение: казалось, что кто-то заткнул мне уши; с не менее любопытным ощущением я, покинув борт славного кьюнардовского парохода «Россия» (да будут

благополучны все его странствия!), осмотрел снаружи это доброе чудовище, в чьем теле обитал голос. Так, вероятно, и все мы когда-нибудь осмотрим мысленно остов, приютивший еще более беспокойный голос, у которого мое непоседливое воображение и заимствовало этот образ.

## XXXII

### *Звездочка на Востоке*

Вчера вечером я просматривал знаменитую «Пляску смерти» *, а сегодня мрачные старые гравюры с новой силой возникли в моем воображении с ужасающим однообразием, которого нет в оригинале. Зловещий скелет шествовал передо мною по улицам, громко стуча костями и вовсе не пытаясь замаскироваться. Он не играл здесь на цимбалах, не украшал себя цветами, не помахивал плюмажем, не путался ногами в ниспадающей до земли мантии или шлейфе, не поднимал бокала с вином, не восседал на пиру, не играл в кости, не пересчитывал золота. Это был просто нагой, мрачный, изголодавшийся скелет, который шел своей дорогой.

Фоном для этой неприглядной пляски смерти служили выходящие к загрязненной реке окраины Рэтклифа и Степни, в восточной части Лондона, в дождливый ноябрьский день. Здесь — лабиринт убогих улиц, дворов и переулков с жалкими домами, которые сдаются внаем покомнатно. Здесь всюду нечистоты, лохмотья, голод. Здесь — грязная пустыня, населенная преимущественно людьми, лишившимися работы или получающими ее лишь изредка и на короткое время. Они не знают никакого ремесла. Они выполняют черную работу в доках, в порту, грузят уголь и балласт, рубят дрова и возят воду. Но так или иначе, а они существуют и продолжают свой злосчастный род.

Мне показалось, что скелет сыграл здесь злую шутку. Он оклеил стены домов предвыборными плакатами, которые ветер и дождь превратили в настоящие лохмотья. Он даже подвел мелом итоги голосования на ставнях одного

ветхого дома. Он заклинал свободную и независимую голытьбу голосовать и за Того и за Этого; не отдавать предпочтения лишь одному из них, а поскольку она дорожит положением партий и процветанием страны (ведь и то и другое, по-моему, для нее чрезвычайно важно), избрать Того и Этого, ибо каждый из них без другого ничто, и создать, таким образом, славное и бессмертное целое. Решительно нигде скелет не мог бы более жестоко высмеять старинную религиозную идею!

Я размышлял над дальновидными планами Того и Этого и благодетельного общественного учреждения, именуемого Партией,— как приостановить физическое и нравственное вырождение многих (кто скажет, сколь многих?) тысяч английских граждан; как изыскать полезную для общества работу для тех, кто хочет трудом добывать себе средства к жизни; как уравнять налоги, возделать пустоши, облегчить эмиграцию и, прежде всего, спасти и использовать грядущие поколения, обратив, таким образом, непрерывно растущую слабость страны в ее силу. И, размышляя над этими обнадеживающими посулами, я свернул в узкую улицу, чтобы заглянуть в некоторые дома.

Улица была темная, огражденная с одной стороны глухою стеной. Наружные двери почти во всех домах оставались незаперты. Я зашел в первый попавшийся подъезд и постучался в дверь комнаты. Могу ли я войти? Пожалуйста, если сэру угодно.

Хозяйка комнаты, ирландка, подобрав где-то на пристани или на барже несколько длинных жердей, только что сунула их в пустой камин, чтобы сварить обед в двух чугунных котелках. В одном варилась какая-то рыба, в другом — несколько картофелин. Вспышка пламени позволила мне разглядеть стол, один-два сломанных стула и стоящие на каминной полке ветхие, неказистые безделушки из фаянса. И лишь поговорив с хозяйкой в течение нескольких минут, я увидел в самом углу отвратительную груду грязного тряпья, в которой никогда не заподозрил бы «постели», не будь у меня в этом отношении предыдущего печального опыта. На ней что-то валялось. Я спросил, что это такое.

— Там несчастное созданье, сэр; она очень плоха, и, к сожалению, она давно уже такая, а лучше ей уж никогда

не будет, она только и знает, что спать день-деньской, а по ночам без сна, и все это из-за свинца, сэр!

— Из-за чего?

— Из-за свинца, сэр! Одним словом, из-за свинцового завода, там женщин нанимают по восемнадцати пенсов в день, сэр, если они придут пораньше, и притом если им повезет, да еще если в них есть нужда. Она отравлена свинцом, сэр, одни отравляются свинцом быстро, другие позже, а некоторые никогда, но таких немного. И все это зависит от организма, сэр, у одних он крепкий, а у других — слабый. А у нее организм отравлен свинцом так, что хуже некуда, сэр! У нее через ухо мозги выходят, и от этого ей очень больно. Вот что это такое, ни больше и ни меньше, сэр!

Тут больная молодая женщина застонала; хозяйка нагнулась над нею, сняла с головы у нее повязку и распахнула заднюю дверь, чтобы на голову падал дневной свет с заднего дворика, самого крохотного и самого жалкого из всех виденных мною.

— Вот что выходит из нее, сэр, оттого, что она отравлена свинцом. И выходит это из больной бедняжки и днем и ночью. И от этого у нее ужасные боли. Скажу, как перед богом, муж мой вот уже четыре дня как ищет работу, он — докер, и сейчас тоже ищет, и готов взяться за любую работу, а ее нет, и ни дров, ни пищи, только самая малость, что в котелке, а у нас на две недели было меньше десяти шиллингов. Боже, сжалься над нами! Мы бедняки, у нас темно и холодно, да еще как!

Зная, что позже смогу, если сочту это необходимым, вознаградить себя за свою сдержанность, я решил, что во время таких визитов ничего давать не буду. Я пошел на это, чтобы испытать людей. И могу сразу же заявить: даже при самом внимательном наблюдении я не обнаружил никаких признаков того, что от меня ждут денег; эти люди были благодарны уже за одно то, что с ними беседуют об их злосчастной жизни, и сочувствие явно служило им утешением; они никогда не клянчили денег, и когда я ничего не давал, не выказывали ни малейшего удивления, разочарования или досады.

Тем временем из комнаты на втором этаже спустилась замужняя дочь хозяйки, чтобы также принять участие в

разговоре. Сегодня спозаранку она и сама ходила на завод свинцовых белил, чтобы наняться на работу, но безуспешно. У нее четверо детей; ее муж, тоже докер и тоже занятый поисками работы, имел, кажется, не больше шансов, чем ее отец. Это была англичанка, которую природа наделила пышной фигурой и веселым нравом. Ее жалкое платье, как и платье матери, выдавало старание сохранять хотя бы видимость опрятности. Ей было хорошо известно о страданиях несчастной калеки, об отравлении свинцом, и о том, в каких симптомах оно проявляется и как они усиливаются,— ведь она часто их наблюдала. Стоит лишь подойти к заводу, как уже один только запах может сбить с ног, сказала она; тем не менее она собиралась опять пойти туда наниматься. А что ей оставалось делать? Лучше уж самой чахнуть и гибнуть за восемнадцать пенсов в день, пока их платят, чем смотреть, как умирают от голода дети.

Убогий буфет темного цвета, прислоненный к задней двери комнаты и употреблявшийся для всевозможных надобностей, одно время служил и ложем для больной молодой женщины. Но теперь, когда ночи стали холодные, а одеяла и покрывала «пошли в заклад», она днем и ночью лежит там же, где сейчас. На груде грязного тряпья спят все вместе, чтобы было теплее, хозяйка, ее муж, эта несчастная больная и еще двое.

— Благослови вас господь, сэр, спасибо! — с признательностью сказали мне эти люди на прощанье, после чего я покинул их.

На одной из следующих улиц я постучал в дверь другой квартиры на первом этаже. Заглянув в комнату, я увидел там мужчину, его жену и четырех детей, которые сидели возле камина вокруг подставки для умывальника, служившей им столом, и поедали обед, состоявший из хлеба и заваренного чая. В камине дотлевала горстка углей, уже покрывшихся пеплом; в комнате стояла кровать под пологом, с постелью и покрывалом. Мужчина не поднялся с места ни тогда, когда я вошел, ни в продолжение всего времени, пока я был там, а лишь вежливо поклонился, когда я снял шляпу, и в ответ на мои слова, могу ли я задать ему один-два вопроса, сказал: «Конечно». Окна на передней и задней стенах позволяли проветривать ком-

нату; но эти окна были плотно закрыты, чтобы не впустить холод, и поэтому воздух здесь был спертый.

Жена — смышленая, находчивая женщина — поднялась с места и встала рядом с мужем; он взглянул на нее, как бы ожидая помощи. Вскоре выяснилось, что мужчина изрядно глуховат. Это был медлительный, простодушный человек лет тридцати.

— Чем он занимается?

— Джентльмен спрашивает, чем ты занимаешься, Джон?

— Я — котельщик.— Он оглянулся с чрезвычайно смущенным видом, словно отыскивая котел, необъяснимым образом исчезнувший.

— Он не механик, сэр, вы понимаете,— вставила жена,— он простой рабочий.

— Есть у вас работа?

Он снова посмотрел на жену.

— Джентльмен спрашивает, есть ли у тебя работа, Джон?

— Работа! — вскричал обездоленный котельщик, растерянно уставившись на жену и затем с крайней медлительностью переведя взор на меня.— Видит бог, нет!

— Конечно нет! — сказала бедная женщина, покачав головой и оглядев сначала четверых детей, одного за другим, затем мужа.

— Работа! — сказал котельщик, все еще разыскивая этот испарившийся котел сначала у меня на лице, затем в воздухе и, наконец, в чертах своего второго сына, сидевшего у него на коленях.— Ничего мне так не хочется, как получить работу! За последние три недели я работал всего лишь один день.

— Как же вы живете?

Слабый проблеск восхищения осветил лицо человека, желавшего быть котельщиком, когда он, вытягивая короткий рукав своей поношенной холщовой куртки, указал на жену:

— На ее заработки.

Я не запомнил, что именно стряслось с котельным делом или что он думал на этот счет; дополнительно он сообщил кое-какие неутешительные сведения и высказал мнение, что котельное дело никогда уж больше не возродится.

Изворотливость его жизнерадостной жены была просто замечательна. Она шила матросские куртки и другую дешевую одежду. Достав незаконченную куртку, она разложила ее на кровати — единственном предмете комнатной обстановки, на котором это можно было сделать, и показала, что уже сделано и что позднее будет доделано на швейной машине. По ее подсчетам, тут же произведенным, за пошив куртки, после вычета расходов на отделку, она получала десять с половиной пенсов, а уходило у нее на каждую куртку немного менее двух дней.

Но, видите ли, работу она получает из вторых рук, и уж конечно посредник не станет давать ее задаром. А при чем тут вообще посредник? А дело вот в чем. Посредник, видите ли, берет на себя риск за раздаваемые им материалы. Если б у нее хватило денег, чтобы внести залог,— скажем, два фунта стерлингов,— она могла бы получать работу из первых рук, и тогда не требовалось бы платить посреднику. Но так как у нее совсем нет денег, то приходится прибегать к помощи посредника, получающего за это свою долю, а остающаяся сумма снижается до десяти с половиной пенсов. Разъяснив мне все это весьма толково, и даже с некоторой гордостью, без всякого нытья или ропота, она снова сложила свою работу, присела рядом с мужем к подставке умывальника и опять принялась за обед из черствого хлеба. Как ни жалка была эта трапеза на голой доске, с чаем в щербатых глиняных кружках и со всевозможной иной убогой утварью, как ни бедно была одета эта женщина, чья кожа от недостаточного питания и умывания своим цветом напоминала краски босджесмена *, в ней ясно чувствовалось достоинство от сознания, что она — тот семейный якорь, на котором держится потерпевшее крушение судно котельщика. Когда я выходил из комнаты, взор котельщика медленно обратился к жене, словно где-то возле нее обитала его последняя надежда когда-нибудь снова увидеть исчезнувший котел.

Эти люди только однажды обращались в приход за помощью, да и то лишь тогда, когда несчастный случай на работе сделал мужа нетрудоспособным.

Миновав несколько дверей, я зашел в комнату на втором этаже. Хозяйка ее извинилась за то, что в комнате «страшный беспорядок». День был субботний, и она кипя-

тила детское бельишко в кастрюле на очаге. Ей было не во что больше положить его. Здесь не водилось ни фаянсовой, ни жестяной посуды, ни кадки, ни ведра. Вся утварь состояла лишь из одной-двух потрескавшихся глиняных кружек, разбитой бутылки или чего-то в этом роде и нескольких поломанных ящиков, заменявших стулья. В одном углу были сметены в кучку последние крохотные кусочки угля. В раскрытом буфете и на полу виднелись какие-то лохмотья. Другой угол комнаты занимала шаткая старая кровать, на которой лежал мужчина в рваной лоцманской куртке и грубой клеенчатой зюйдвестке. Стены комнаты совершенно почернели от покрывавшей их копоти, и вначале казалось, что их нарочно окрасили в черный цвет.

Встав напротив женщины, кипятившей детское белье (у нее не было даже куска мыла, чтобы выстирать его) и извинявшейся за это свое занятие, я смог незаметно охватить взглядом все окружающее и даже дополнить свой инвентарный список. При первом беглом взгляде я не приметил, что на пустой полке буфета лежит кусок хлеба, весом в полфунта, что на ручке двери, в которую я вошел, висит кусок ветхой, изодранной юбки красного цвета, что по полу разбросаны какие-то обломки ржавого железа, напоминающие негодные инструменты, и кусок железной дымовой трубы. Рядом стоял ребенок. На ближайшем к камину ящике сидели двое маленьких детей; время от времени один из них целовал другого — хрупкую, прелестную крошку.

Вид у этой женщины, как и у предыдущей, был крайне жалкий и цвет лица у нее также приближался к босджесменовским оттенкам. Ее фигура, некоторая живость и след ямочки на щеке каким-то непонятным образом оживили в моей памяти давние дни театра Аделфи * в Лондоне, когда миссис Фитцвильямс была приятельницей Викторины.

— Позвольте спросить, кто ваш муж?

— Он грузит уголь, сэр,— ответила она со вздохом, бросая взгляд в сторону кровати.

— Он без работы?

— Да, сэр! Ему все время не везет с работой; а сейчас он болен.

— У меня с ногами неладно,— сказал лежащий на

кровати мужчина.— Сейчас я их разбинтую.— И он тут же принялся за дело.

— Есть у вас дети постарше?

— У меня дочь, швея, и сын, который делает что придется. Она сейчас на работе, а сын ищет работу.

— Живут они тоже здесь?

— Здесь они спят. Они не могут вносить добавочную квартирную плату и поэтому приходят только ночью. Уж очень высока квартирная плата. Сейчас ее и нам повысили,— на шесть пенсов в неделю,— из-за этого нового закона о налогах. Мы уже задолжали за неделю; домовладелец устраивает нам ужасные скандалы, грозится выкинуть вон. Не знаю, чем все это кончится.

Мужчина на кровати уныло прервал:

— Вот они, мои ноги. Кожа лопнула, и они опухли. На работе я то и дело обо что-то ушибаюсь.

Он еще некоторое время смотрел на свои ноги (весьма грязные и уродливые), затем, по-видимому, вспомнив, что вид их не вызывает радости у семьи, забинтовал их снова, как будто они были чем-то вроде вещей, пользование которыми считается предосудительным, с безнадежным видом улегся на кровать, укрыл лицо зюйдвесткой и больше не шевелился.

— Старший сын и дочь спят в этом буфете?

— Да,— ответила женщина.

— Вместе с детьми?

— Да. Приходится спать вместе, так теплее. У нас не хватает одеял.

— Есть у вас какая-нибудь другая еда, кроме куска хлеба, который я вижу вон там?

— Никакой. Половину каравая мы съели на завтрак, с водой. Не знаю, чем все это кончится.

— Нет ли у вас надежды на перемену к лучшему?

— Если старший сын немного заработает сегодня, он принесет деньги домой. Тогда вечером у нас будет еда, а может, кое-что внесем и за квартиру. А если нет, то не знаю, чем все это кончится.

— Плохо дело.

— Да, сэр! Тяжела, ох, как тяжела жизнь. Осторожнее на ступеньках, когда будете спускаться, сэр! Они поломаны. Всего хорошего, сэр!

Эти люди испытывали смертельный страх перед работным домом и не получали никакого пособия.

В одной из комнат другого дома я встретился с очень славной матерью пятерых детей (последний из них совсем еще младенец), пациенткой приходского врача; поскольку ее муж лежит в больнице, Приходское объединение назначило пособие — на нее и на семью — в размере четырех шиллингов в неделю и пяти караваев хлеба. Я полагаю, что со временем, когда член парламента Этот и член парламента Тот, совместно с Партией Общественного Блага, договорятся между собою и добьются уравнения налогов, эта женщина сможет возобновить пляску смерти под звон добавочного шестипенсовика.

В этот раз я не заходил в другие дома, так как мне не под силу было больше видеть детей. Мужество, которого я заранее набрался, чтобы встретиться лицом к лицу с невзгодами взрослых, изменяло мне, как только я смотрел на детей. Я видел этих малышей голодными, серьезными, притихшими. Я думал о том, как они хворают и умирают в этих лачугах. Представляя их себе мертвыми, я не испытываю боли; но мысль об их страданиях и смерти совершенно лишает меня мужества.

Пройдя по набережной реки в Рэтклифе, я свернул в переулок, чтобы возвратиться к железной дороге, как вдруг мой взор остановился на вывеске, видневшейся на другой стороне улицы: «Детская больница Восточного Лондона». Вряд ли можно было найти другую вывеску, более соответствующую моему душевному состоянию; я пересек улицу и тотчас вошел в здание.

Эта детская больница устроена с помощью простейших средств в каком-то бывшем амбаре или складе крайне неказистого вида. В полу виднеются люки, через которые когда-то опускались и поднимались товары; тяжелая поступь и тяжелые грузы расшатали истоптанные доски; мое передвижение по палатам затруднялось громоздкими балками, перекладинами и неудобными лестницами. Тем не менее в больнице было просторно, чисто и уютно. На ее тридцати семи койках я видел мало красивых лиц, ибо голодное существование сказывается во втором и третьем поколениях в виде неприглядной внешности; но я убедился, что заботливый уход смягчает страдания младенцев

и детей; я слышал, как маленькие пациенты охотно отзываются на шутливо-ласкательные имена; легкое прикосновение доброй женщины открывало моему сострадательному взору исхудавшие прутики рук; и когда она это делала, крохотные, как птичьи лапки, ладошки любовно обвивались вокруг ее обручального кольца.

Один из младенцев не уступал по красоте любому из ангелочков Рафаэля. Его крошечная головка была забинтована, так как он страдал водянкой мозга; страдал он еще и острым бронхитом, и время от времени издавал — не жалуясь и не выражая нетерпения — тихий, горестный стон. Безукоризненно ровные линии его щек и подбородка были воплощением детской красоты, восхитительны были и глаза — большие и блестящие. Когда я остановился в ногах его кровати, глаза эти вперились в мои с тем грустно-озабоченным выражением, которое мы иногда наблюдаем у очень маленьких детей. Малыш не сводил с меня своего сосредоточенного взора все время, пока я стоял. Когда его маленькое тельце сотрясал горестный стон, пристальный взор оставался неизменным. Мне казалось, что ребенок умоляет меня поведать историю приютившей его маленькой больницы всем отзывчивым сердцам, к которым я найду доступ. И, положив свою загрубевшую руку на гладкую ручонку, сжатую в кулак возле подбородка, я дал малышу молчаливое обещание, что непременно это сделаю.

Это здание было приобретено и приспособлено для его нынешней благородной роли некиим молодым джентльменом и его молодой супругой, которые сами скромно поселились в нем в качестве медицинского персонала и администрации. Оба они еще до того приобрели большой практический опыт в медицине и хирургии: он — в должности хирурга крупной лондонской больницы, она — в качестве весьма серьезной студентки, выдержавшей строгие экзамены, а также в роли медицинской сестры среди больных бедняков во время эпидемии холеры.

Все зовет их прочь отсюда — их молодость, дарования, вкусы и привычки, не встречающие отклика ни в ком из окружающих; они вплотную сталкиваются с отвратительными явлениями, неизбежными при подобном соседстве, и все же они остаются здесь. Живут они в самом здании

больницы, в комнатах, расположенных на втором этаже. Когда они сидят за обеденным столом, до них доносится плач какого-нибудь больного ребенка. Фортепьяно леди, принадлежности для рисования, книги и другие свидетельства утонченности ее вкуса — столь же неотъемлемая часть обстановки этого сурового места, как и железные кроватки маленьких пациентов. Супруги вынуждены всячески изворачиваться в поисках свободного пространства, как пассажиры на пароходе. Фармацевт (привлеченный к ним не своекорыстием, а их обаянием и примером) спит в нише столовой, а свои туалетные принадлежности держит в буфете.

Постоянная готовность этих людей извлечь наибольшую пользу из всего, что их окружает, так приятно гармонирует с их собственной полезностью! Как они гордятся вот этой перегородкой, которую поставили сами, или вот этой, которую они сняли, или вон той, которую они передвинули, или печкой, что подарена им для приемной, или тем, что комнатку для осмотра они за одну ночь превратили в курительную! Как они восхищаются нынешним положением вещей, добавляя: «Если б нам еще удалось отделаться от досадной помехи — от этого угольного склада позади больницы!», «А вот наша больничная карета, чрезвычайно необходимая вещь, нам ее подарил один друг». Так мне представляют детскую колясочку, для которой в углу под лестницей нашелся едва вмещающий ее «каретный сарай». Готовится множество красочных гравюр, которые будут развешаны в палатах в дополнение к тем, что уже украшают их; как раз в этот день, утром, состоялось открытие своего рода общественного монумента — очаровательной вырезанной из дерева чудо-птицы с немыслимым хохолком, которая кивает головой, когда приводится в движение противовес; и еще там есть забавный песик смешанной породы, по кличке Пудель, который ковыляет среди кроватей и близко знаком со всеми пациентами. Характерно, что забавного песика (который служит неплохим тоническим средством) подобрали подыхающим с голоду у дверей этого учреждения, накормили, и с тех пор он живет здесь. Какой-то поклонник его умственных способностей наградил его ошейником с надписью: «Не суди о Пуделе по его внешности». С этим скромным призывом песик

обратился и ко мне, весело обмахивая хвостом подушку какого-то мальчика.

Когда больница открылась,— это было в январе нынешнего года,— люди поняли это, по-видимому, так, что ее услуги кем-то оплачиваются, и были склонны требовать этих услуг как своего права, а когда выходили из себя, то даже и бранились. Однако в скором времени они сообразили, в чем дело, и тогда их признательность намного возросла. Матери больных детей навещают их довольно часто, а отцы, главным образом, по воскресеньям. У родителей существует неразумный (но все же, как мне кажется, трогательный и понятный) обычай брать ребенка домой, когда он при смерти. Огромных усилий потребовало лечение мальчика с тяжелым воспалительным процессом, которого ненастным вечером взяли домой, а потом принесли обратно; но когда я увидел его, это уже был жизнерадостный ребенок, с аппетитом уплетавший свой обед.

Главные причины заболеваний маленьких пациентов — недостаточное питание и нездоровые квартирные условия. Поэтому и главные средства лечения — это хорошее питание, чистота и свежий воздух. Выписанные пациенты продолжают оставаться под наблюдением, время от времени их приглашают обедать; приглашаются также и те изголодавшиеся дети, которые еще не болели. Как леди, так и джентльмен не только хорошо знают жизнь своих пациентов и их семейств, но и всю подноготную многих из их соседей: последних они берут на учет. И тот и другая по опыту знают, что, погружаясь в нищету все глубже и глубже, беднота скрывает это до самой последней возможности, даже если удается, то и от них самих.

Все сиделки в этой больнице молодые — примерно в возрасте от девятнадцати до двадцати четырех лет. Даже при всем недостатке помещений у них есть здесь то, чего им не предоставили бы и во многих хорошо оборудованных больницах — собственная удобная комната, где они могут пообедать. По всей справедливости надо сказать, что привязанность к детям и сочувствие их горестям удерживают этих молодых женщин на работе гораздо сильнее, чем какие-либо иные побуждения. Самая умелая из сиделок — уроженка почти столь же бедного квартала; ей было

хорошо известно, как нужна такая больница. Она прекрасная портниха. Больница не в состоянии платить ей даже по фунту стерлингов жалованья в месяц; и вот как-то однажды леди сочла своим долгом осведомиться, не хочет ли сиделка вернуться к прежнему ремеслу, чтобы поправить свои дела. Нет, ответила сиделка: нигде не принесет она столько пользы и не будет так счастлива, как здесь; она должна остаться с детьми. И она осталась.

Когда я проходил по палате, одна из сиделок умывала маленького мальчика. Мне понравилось ее милое лицо, и я остановился, чтобы поговорить с ее подопечным — довольно хмурым, упрямым подопечным; ухватившись скользкой ручонкой за нос, он весьма торжественно выглядывал из-под одеяла. Неожиданно юный джентльмен брыкнул ногой и засмеялся, заставив милое лицо сестры расплыться в восхищенной улыбке, и это зрелище почти вознаградило меня за мои предыдущие огорчения.

Несколько лет назад в Париже шла трогательная пьеса под названием «Детский врач». Расставаясь с моим детским врачом, я видел в его свободно повязанном черном галстуке, в небрежно застегнутом черном сюртуке, в задумчивом лице, густых прядях темных волос, ресницах, даже в изгибе его усов, воплощенный идеал парижского драматурга, показанный тогда на сцене. Но ни у одного писателя, насколько мне известно, не хватило смелости изобразить жизнь и обитель этих молодых супругов в Детской больнице в восточной части Лондона.

Я сел в поезд на станции Степни, покинул Рэтклиф и доехал до вокзала на Фенчёрч-стрит. Пойти по моим следам может всякий, кто поедет этим же путем в обратном направлении.

## XXXIII

### *Скромный обед через час*

Прошлой осенью мне как-то случилось поехать по небольшому делу из Лондона в некий приморский курорт в обществе моего уважаемого друга Булфинча. Назовем этот курорт хотя бы Безымянным.

Я праздно слонялся по Парижу в страшную жару, с удовольствием завтракая под открытым небом в саду Пале-Рояля или Тюильри, с удовольствием обедая под открытым небом на Елисейских полях и уже за полночь наслаждаясь сигарой и лимонадом на Итальянском бульваре, когда Булфинч, превосходный делец, пригласил меня съездить по упомянутому небольшому делу в Безымянный; так вот и случилось, что я пересек канал и мы оказались вместе с Булфинчем в железнодорожном вагоне, направляясь в Безымянный и храня в жилетных карманах по обратному билету.

Булфинч сказал:

— Знаете что? Давайте пообедаем в «Темерере».

Я уже много лет не пользовался услугами «Темерера» и поэтому спросил Булфинча, рекомендует ли он «Темерер»?

Булфинч не взял на себя ответственность за рекомендацию, но, в общем, отозвался о «Темерере» довольно тепло. По его словам, он, «кажется, помнит», что недурно там пообедал. Это был непритязательный, но хороший обед. Разумеется, не такой, как в Париже (здесь тону Булфинча явно не хватило уверенности), но в своем роде вполне приличный.

Я спросил Булфинча, хорошо знакомого с моими вкусами и привычками, неужели я, по его мнению, способен довольствоваться любым обедом или, скажем, «чем-то в своем роде приличным»? Когда Булфинч подтвердил, что это так и есть, я, в качестве бывалого едока, согласился взойти на борт «Темерера».

— Итак, наметим план,— сказал Булфинч, приставив указательный палец к носу.— Сразу же по приезде в Безымянный мы отправимся в «Темерер» и закажем скромный обед, с тем чтоб его подали через час. И так как времени у нас будет в обрез, то как вы отнесетесь к тому, чтобы пообедать прямо в зале гостиницы и тем самым доставить фирме отличную возможность подать нам обед быстро и притом горячим?

В ответ я сказал только: «Ладно!» Булфинч (человек по натуре своей увлекающийся) начал тогда бормотать что-то насчет молодого гуся. Но я пресек его фальстафов-

ские поползновения, обратив внимание на ограниченность нашего времени и на сложность стряпни.

События развивались своим чередом и привели нас, наконец, к «Темереру». У входа нас встретил юноша в ливрее.

— Выглядит молодцом,— шепнул мне Булфинч, а вслух сказал: — Где тут у вас зал?

Юноша в ливрее (на поверку оказавшейся обветшалой) провел нас в эту желанную гавань и получил от Булфинча распоряжение немедленно прислать к нам официанта, так как мы хотим заказать скромный обед. После этого Булфинч и я стали ждать официанта, но тот был занят в каком-то неведомом и невидимом отсюда месте, и поэтому мы позвонили; на звонок явился официант, который объяснил, что нас обслуживает другой, и, не теряя ни минуты, скрылся.

Тогда Булфинч подошел к двери зала и, обратившись к конторке, где две молодые леди были погружены в счета «Темерера», извиняющимся тоном пробормотал, что мы хотели бы заказать скромный обед, но лишены возможности осуществить наше безобидное намерение, так как оставлены в одиночестве.

Одна из молодых леди взялась за колокольчик, и на его звон явился, на этот раз к конторке, официант, который не обслуживал нас; этот необыкновенный человек, чья жизнь, казалось, только и проходила в том, чтобы заявлять посетителям, что он их не обслуживает, с превеликим негодованием повторил свой прежний протест и удалился.

У Булфинча вытянулась физиономия, и он уже готов был сказать мне: «Это никуда не годится!» — когда официант, обязанный обслуживать нас, перестал, наконец, испытывать наше терпение.

— Официант,— жалобно произнес Булфинч,— мы уже очень давно ждем.

Официант, обязанный обслуживать нас, свалил ответственность на официанта, не обязанного нас обслуживать, и сказал, что виноват во всем тот.

— Мы хотели бы заказать скромный обед, с тем чтобы его подали через час,— сказал совершенно подавленный Булфинч.— Что бы вы могли предложить?

— А что бы вы хотели получить, джентльмены?

Держа в руке жалкий, засиженный мухами, ветхий листок меню, врученный ему официантом и представлявший собою нечто вроде рукописного оглавления к любой поваренной книге, Булфинч, крайне удрученный, что ясно сказывалось в его речи и поступках, повторил свой прежний вопрос.

— Получить можно суп из телячьей головы, язык, кэрри и жареную утку. Ладно. Вот за этим столом, возле окна. Ровно через час.

Я притворился, что гляжу в окно, но на самом деле мысленно отмечал крошки и грязные скатерти на всех столах, спертый, провонявший супом воздух, валяющиеся повсюду засохшие объедки, глубокое уныние обслуживавшего нас официанта и расстройство желудка, которым явно страдал сидевший в углу, за дальним столом, одинокий путешественник. Я тотчас же привлек внимание Булфинча к тому тревожному обстоятельству, что этот путешественник уже пообедал. Мы поспешно начали обсуждать, удобно ли, не поступаясь благовоспитанностью, спросить его, отведал ли он суп из телячьей головы, язык, кэрри или жареную утку? Придя к выводу, что это было бы невежливо, мы поставили на карту свои желудки в надежде, что они выдержат этот риск.

По-моему, на френологию *, в известных пределах, можно положиться; примерно такого же мнения я придерживаюсь и насчет более тонкого своеобразия линий руки, а физиогномику считаю непогрешимой, хотя все эти науки и требуют от изучающего их редкостных способностей. Но все же характер человека, на мой взгляд, определяется далеко не такими надежными признаками, как, скажем, характер какого-нибудь ресторана качеством сервировки. Когда я, отбросив в сторону последние следы притворства, протянул Булфинчу поочередно мутное масло, уксус с осадком, засоренный красный перец, грязную соль, отвратительные остатки соуса для рыбы и подернутые пленкой разложения анчоусы, Булфинч, знавший об этой моей теории и неоднократно убеждавшийся в ее правоте, приготовился к наихудшему.

Мы отправились по своему делу. Переход от тягостной, расслабляющей духоты «Темерера» к свежему и чистому воздуху курортных улиц принес нам такое облегче-

ние, что в душе у нас вновь затеплилась надежда. Мы начали высказывать предположения, что одинокий путешественник, возможно, принял слабительное или же сделал что-либо неблагоразумное, что и навлекло на него недуг. Булфинч заметил, что, по его мнению, обслуживавший нас официант немного повеселел, предлагая нам кэрри; и хотя я знал, что официант в эту минуту являл собою воплощенное отчаяние, все же я позволил и себе воспрянуть духом.

Когда мы шли вдоль тихо плещущего моря, мимо нас шествовала, как на параде, вся знать курорта, которая вечно фланирует взад и вперед с постоянством морского прибоя: хорошенькие девушки верхом, в сопровождении отвратительных берейторов; хорошенькие девушки пешком; зрелые дамы в шляпах — вооруженные очками, властные и бросавшие свирепые взгляды на представителей противоположного, более слабого пола. Богато представлены здесь были Фондовая биржа, Иерусалим, нудные члены скучных лондонских клубов. Встречались здесь и всевозможные авантюристы, начиная от косматого банкрота в двуколке и кончая мошенником в наглухо застегнутом сюртуке и подозрительного вида сапогах, зорко высматривающим какого-нибудь состоятельного молодого человека, склонного сыграть партию на бильярде в таверне за углом. Возвращались по домам, расположенным вдали от моря, учителя иностранных языков, покончившие на сегодня с уроками; с маленькими папками в руках спешили домой преподавательницы хороших манер; неторопливо шли парами вдоль моря школьники, обозревая водные просторы с таким видом, словно ожидали появления Ноева ковчега, который должен увезти их прочь. Неуверенно бродили в толпе призраки эпохи Георга Четвертого *, внешностью своей напоминавшие щеголей былых дней; о каждом из них можно было сказать, что он не только стоит в могиле одной или даже обеими ногами, но что он погружен в нее до верхнего края своего стоячего воротничка и что от него самого остался всего лишь скелет. Среди всей этой суеты неподвижность сохраняли одни только лодочники; прислонившись к перилам, они позевывали и смотрели на море, на пришвартованные рыбачьи лодки или просто себе под ноги. Таков неизменный образ

жизни этих нянек наших смелых мореплавателей; и в глотках у этих нянек всегда великая сушь, отчего их постоянно тянет выпить. Не стояли возле перил лишь два моряка — счастливые обладатели «знаменитой, чудовищной, неведомой лающей рыбы», только что выловленной (их частенько «только что вылавливают» вблизи Безымянного); они несли ее в корзине с крышкой, настойчиво приглашая любознательных поглядеть в отверстие на чудище.

По истечении часа мы вернулись в «Темерер». Булфинч дерзко обратился к юноше в ливрее с вопросом: «Где туалет?»

Очутившись в фамильном склепе, с окошечком вверху, который юноша в ливрее представил нам как искомое учреждение, мы уже сняли было с себя галстуки и пиджаки, но, обнаружив дурной запах и отсутствие полотенец, кроме двух измятых и совершенно мокрых тряпок, которыми уже воспользовались какие-то двое, мы снова надели наши галстуки и пиджаки и, не умываясь, бежали в ресторан.

Обслуживавший нас официант разложил там для нас приборы на скатерти, грязный вид которой мы уже имели удовольствие созерцать и которую теперь узнали по знакомому расположению пятен. И тут случилось поистине удивительное происшествие: не обслуживавший нас официант коршуном устремился к нам, схватил наш каравай хлеба и исчез с ним.

Булфинч безумным взглядом проводил эту загадочную личность «до портала», где с нею, словно с призраком в «Гамлете», столкнулся обслуживавший нас официант, который нес миску с супом.

— Официант! — позвал суровый посетитель, недавно закончивший обед и сейчас со свирепым выражением просматривавший счет через монокль.

Официант поставил миску с супом на расположенный в дальнем углу служебный столик и пошел поглядеть, что там такое стряслось.

— Знаете ли, так не годится. Взгляните-ка! Вот вчерашний херес, один шиллинг восемь пенсов, а тут опять два шиллинга. А что означают шесть пенсов?

Не имея понятия о том, что бы могли означать шесть пенсов, официант заявил, что никак не возьмет в толк,

в чем тут дело. Он вытер липкий от пота лоб и, не поясняя, о чем идет речь, сказал, что это просто невыносимо и что до кухни очень далеко.

— Отнесите счет в конторку и пусть его там исправят,— сказал Негодующий Математик — назовем его так.

Официант взял счет, пристально посмотрел на него, явно не в восторге от предложения отнести его в конторку, и, желая пролить на дело новый свет, высказал предположение, что, возможно, шесть пенсов как раз и означают шесть пенсов.

— Повторяю вам,— сказал Негодующий Математик,— вот вчерашний херес,— неужели вы не видите? — один шиллинг восемь пенсов, а тут опять два шиллинга. Как вы объясните разницу между шиллингом восемью пенсами и двумя шиллингами?

Будучи не способен сам как-либо объяснить разницу между шиллингом восемью пенсами и двумя шиллингами, официант пошел поискать, не сумеет ли это сделать кто-нибудь другой; уходя, он бросил через плечо на Булфинча беспомощный взгляд в знак сочувствия его трогательным мольбам о миске с нашим супом. После долгого промежутка времени, в течение которого Негодующий Математик читал газету, вызывающе покашливая, Булфинч поднялся было, чтобы принести миску, но тут снова появился официант и принес ее сам, бросив мимоходом исправленный счет на стол Негодующего Математика.

— Совершенно невозможно, джентльмены,— пробормотал слуга,— и до кухни так далеко.

— Ну, не вы же содержите гостиницу. Мы полагаем, что вы не виноваты. Принесите нам хересу.

— Официант! — раздалось со стороны Негодующего Математика, загоревшегося новым жгучим чувством обиды.

Официант, отправившийся за нашим хересом, тотчас остановился и вернулся узнать, что там стряслось опять.

— Взгляните-ка сюда! Стало еще хуже, чем прежде. Вы понимаете или нет? Вот вчерашний херес, шиллинг восемь пенсов, а тут опять два шиллинга. А что же, черт возьми, означают девять пенсов?

Это новое происшествие окончательно сбило с толку официанта. Сжимая в руке салфетку, он молча вперил вопросительный взор в потолок.

— Идите же за хересом, официант,— сказал Булфинч, не скрывая своего гнева и возмущения.

— Я хочу знать, что означают девять пенсов,— настаивал Негодующий Математик.— Я хочу знать, что означают шиллинг восемь пенсов за вчерашний херес и вот эти два шиллинга. Позовите кого-нибудь!

Ошеломленный официант вышел из зала, будто бы для того, чтобы позвать кого-нибудь, и под этим предлогом принес нам вино. Но едва лишь он показался с нашим графином, как Негодующий Математик снова обрушился на него:

— Официант!

— Официант, будьте любезны теперь обслуживать нас,— строго сказал Булфинч.

— Простите, джентльмены, но это совершенно невозможно...— взмолился официант.

— Официант! — сказал Негодующий Математик.

— ...и до кухни так далеко,— продолжал официант,— что...

— Официант! — настаивал Негодующий Математик.— Позовите кого-нибудь!

Мы отчасти опасались, что официант ринулся вон для того, чтобы повеситься, и были чрезвычайно обрадованы, когда он позвал некую особу с тонкой талией, в изящной, развевающейся юбке; особа эта немедленно уладила дело с Негодующим Математиком.

— О! — сказал Математик, пыл которого при ее появлении удивительным образом остыл,— я хотел спросить вас по поводу моего счета, мне кажется, в него вкралась небольшая ошибка. Позвольте, я покажу вам. Вот вчерашний херес, шиллинг восемь пенсов, а тут опять два шиллинга. И как вы объясните эти девять пенсов?

В чем бы ни состояло объяснение, сделано оно было тихим, неслышным для постороннего уха голосом. Доносился лишь голос Математика, бормотавшего: «А-а! Действительно! Благодарю вас! Да!» Вскоре после этого он ушел — уже совсем кротким человеком.

Все это время одинокий путешественник с расстройст-

вом желудка жестоко страдал, время от времени вытягивая то одну, то другую ногу и отхлебывая горячий, разбавленный бренди с тертым имбирем. Когда мы отведали нашего супа из телячьей головы и тотчас же почувствовали симптомы какого-то расстройства, схожего с параличом и вызванного чрезмерным обилием телячьего носа и мозгов в тепловатых помоях, содержащих растворенную затхлую муку, ядовитые приправы и примерно семьдесят пять процентов скатанных в шарики кухонных отбросов, мы были склонны приписать его недомогание той же причине. С другой стороны, у нас не могло не вызвать тревоги то обстоятельство, что он испытывал немые душевные муки, слишком сильно напоминавшие последствия, которые вызвал херес в нас самих. Мы также с ужасом заметили, как одинокий путешественник лишился самообладания при виде принесенного для нас языка, который проветривался на столике возле него все то время, пока слуга выходил — как мы догадывались — навестить своих друзей. А когда появилось кэрри, одинокий путешественник внезапно обратился в беспорядочное бегство.

В конечном итоге за несъедобную (помимо непригодной для питья) часть этого скромного обеда каждый из нас заплатил всего лишь семь шиллингов шесть пенсов. И мы с Булфинчем пришли к единодушному мнению, что за такую плату нигде во всей вселенной нельзя получить столь скверно приготовленный, столь скверно сервированный и столь скверно поданный отвратительный скромный обед. Утешаясь этим выводом, мы повернулись спиной к доброму, старому, дорогому «Темерéру» и решили, что впредь нога наша в это захудалое заведение уже не ступит.

## XXXIV

### *Мистер Барлоу*

Иногда мне кажется, что, пристрастившись с самого раннего возраста к чтению хороших книг, я был как бы воспитан под надзором почтенного, но страшного джентльмена, чье имя стоит в заголовке этого очерка. Резонерст-

вующий маньяк, мистер Барлоу прославился как наставник мастера Гарри Сэндфорда и мастера Томми Мертона *. Он знал решительно все и поучал во всех случаях жизни, начиная с того, как брать вишни с блюда, и кончая тем, как созерцать звезды ночью. В этой истории Сэндфорда и Мертона на примере некоего ужасного мастера Мэша показано, что сталось с юношей, не опекаемым мистером Барлоу. Этот юный негодник завивался и пудрился, в театре держался с невыносимым легкомыслием, понятия не имел, как вести себя один на один с взбесившимся быком (что, по-моему, было не слишком предосудительно, так как отдаленно напоминало мой собственный характер), и вообще был устрашающим примером губительного влияния роскоши на человечество.

Странная участь у мистера Барлоу — остаться в памяти потомства в виде ребяческого представления о воплощенной скуке! Бессмертный мистер Барлоу, скукой проложивший себе путь через зеленеющую свежесть веков!

Мой обвинительный акт против мистера Барлоу состоит из нескольких пунктов. Я перехожу к описанию некоторых из нанесенных им мне обид.

Во-первых, сам он никогда не шутил, а чужих шуток не понимал. Это отсутствие юмора у мистера Барлоу не только бросало свою мрачную тень на мое детство, но и отравляло мне удовольствие от чтения издававшихся тогда юмористических книжек по шесть пенсов штука; я изнемогал под тяжестью нравственных оков, вынуждавших меня смотреть на все глазами мистера Барлоу, и поэтому, когда меня разбирал смех от какого-нибудь прочитанного анекдота, я невольно спрашивал себя шепотом: «А что подумал бы об этом он? Что в этом увидел бы он?» И вся соль анекдота тотчас же превращалась в яд, отравлявший мою душу. Ибо мысленно я видел мистера Барлоу — флегматичного и холодного, пожалуй даже берущего с полки какую-нибудь отчаянно скучную древнегреческую книгу и переводящего пространную цитату о том, что сказал (а позднее, возможно, и опубликовал в исправленном виде) некий угрюмый мудрец, когда изгонял из Афин какого-нибудь злополучного шутника.

Больше всего я ненавижу мистера Барлоу за то, что

он изгонял из моей юной жизни все, кроме себя самого, за то, что он упорно отказывался приноровиться к моим любимым фантазиям и забавам. Кто дал ему право отравить мне скукой «Тысячу и одну ночь»? А ведь он это сделал. Он всегда внушал мне сомнения в правдивости Синдбада-Морехода. Я знал, что, если б мистеру Барлоу удалось завладеть волшебной лампой, он бы ее заправил, зажег и при свете ее прочитал лекцию о свойствах китового жира, мимоходом коснувшись вопроса о китобойном промысле. Пользуясь принципами механики, он так быстро обнаружил бы рычажок на шее у волшебного коня и так искусно повернул бы его в нужном направлении, что конь так никогда и не поднялся бы в воздух, и сказки не было бы и в помине. С помощью карты и компаса он доказал бы, что никогда не существовало восхитительного царства Касгар, граничившего с Татарией. Он заставил бы этого лицемерного юного педанта Гарри — с помощью чучела и временно возведенного в саду здания — проделать опыт, который показал бы, что спустить на веревке в дымоход восточной печи задохшегося горбуна и водрузить его стоймя на очаг, чтобы напугать поставщика султанского двора, было невозможно.

Я помню, как мистер Барлоу омрачил жизнерадостные звуки увертюры к пантомиме, на которой я впервые побывал в столице. Клик-клик, тинг-тинг, банг-банг, видл-видл-видл, банг! Я помню, какой леденящий холод пронизал меня всего и остудил мой пылкий восторг, когда в голову мне пришла мысль: «Это совершенно не понравилось бы мистеру Барлоу!» С того самого момента, как поднялся занавес, испытываемое мною удовольствие было отравлено ужасными сомнениями насчет того, не показались ли бы мистеру Барлоу слишком прозрачными одеяния нимф? В клоуне я видел двух человек: восхитительное, загадочное существо с чахоточным румянцем на лице, с веселым характером, но слабое умом, хотя и с проблесками остроумия, и ученика мистера Барлоу. Я представил себе, как мистер Барлоу тайком встает спозаранку, чтобы смазать жиром тротуар, и, когда ему удается повергнуть клоуна наземь, он сурово выглядывает из окна своего кабинета и спрашивает, как тому понравилась шутка.

Я представил себе, как мистер Барлоу накаливает добела все кочерги, что есть в доме, и обжигает клоуна всей этой коллекцией сразу, чтобы дать ему возможность поближе познакомиться со свойствами раскаленного железа, о каковых он (Барлоу) не преминет широко распространиться. Я вообразил, как мистер Барлоу станет сравнивать поведение клоуна в школе, когда тот выпивает чернила, облизывает свою тетрадь и вместо пресс-папье пользуется своей головой, и поведение педантичнейшего из педантов, упомянутого мною юного Гарри, восседающего у ног Барлоу и лицемерно притворяющегося, будто он охвачен юношеской страстью к ученью. Я подумал о том, как быстро мистер Барлоу пригладил бы волосы клоуна, не позволяя им топорщиться тремя высокими пучками, как, после недолгого обучения у мистера Барлоу, тот научится ходить, держа ноги ровно, вынимать руки из своих просторных карманов, и ему уже будет не до прыжков.

Другая вина мистера Барлоу состоит в том, что я совершенно не знаю, из чего и каким образом сделаны все предметы в мире. Опасаясь превратиться в Гарри и еще больше опасаясь, что если я начну расспрашивать, то попадусь в лапы Барлоу и навлеку на себя холодный душ объяснений и опытов, я избегал в юности ученья и стал, как говорят в мелодрамах, «тем несчастным, которого вы видите перед собой». На мистера Барлоу я возлагаю ответственность и за тот печальный факт, что я якшался с лентяями и тупицами. В моих глазах этот нудный педант Гарри стал настолько отвратителен, что, если б мне сказали, будто он прилежно учится на юге, я сбежал бы, в полной праздности, на крайний север. Лучше уж брать дурной пример с какого-нибудь мастера Мэша, чем учиться наукам и статистике у какого-нибудь Сэндфорда! И вот я вступил на путь, по которому, быть может, никогда и не пошел бы, не будь на свете мистера Барлоу. Я с содроганием размышлял: «Мистер Барлоу — скучный человек, притом обладающий могучей силой делать скучными и других. Скучный человек для него образец всех добродетелей. Он пытается сделать скучным и меня. Не стану отрицать, что знание — это сила; но у мистера Барлоу это сила внушать скуку». Вот почему я нашел себе прибежище в Катакомбах Невежества, в которых с того времени

пребывал и которые до сих пор еще служат моим местожительством.

Но тягчайшее из всех моих обвинений против мистера Барлоу заключается в том, что он и до настоящего времени бродит по земле под разными личинами, пытаясь превратить меня, даже в зрелом возрасте, в Томми. Неукротимый резонерствующий маньяк мистер Барлоу выкапывает всюду на моем жизненном пути волчьи ямы и, притаившись, сидит на дне, чтобы наброситься на меня, когда я меньше всего этого ожидаю.

Достаточно привести несколько примеров моего печального опыта в этом отношении.

Я знаю, что мистер Барлоу вложил большой капитал в волшебный фонарь, и несколько раз видел, как он сам, стоя в темноте с длинной указкой в руке, разглагольствовал в прежнем своем духе (что теперь стало еще ужаснее, так как иногда он злоупотребляет пустоцветами красноречия мистера Карлейля, по ошибке принятыми им за остроты), и потому неизменно избегаю этого развлечения. Давая согласие присутствовать на каком-либо сборище, где почетную роль играют графин с водой и записная книжка, я требую солидного залога и гарантии против появления мистера Барлоу, ибо вероятность встречи с ним в подобных местах особенно велика. Но как коварна натура этого человека: он ухитряется проникнуть даже туда, где меньше всего этого ждешь. Вот один из этих случаев.

Неподалеку от Катакомб Невежества находится некий провинциальный городок. В рождественскую неделю в мэрии этого провинциального городка выступала, для всеобщего услаждения, труппа негритянских комедиантов из Миссисипи. Зная, что хотя мистер Барлоу и придерживается республиканских убеждений, он не имеет никакого отношения к Миссисипи, и потому, считая себя в безопасности, я взял кресло в партере. Мне хотелось послушать и посмотреть, как миссисипские комедианты исполнят программу, которая в афишах была описана так: «Национальные баллады, народные пляски, негритянские хоровые песни, забавные сценки, остроумные диалоги и т. п.». Все девять негров были одеты на один манер: в черные пиджаки и брюки, белые жилеты, непомерно большие накрах-

маленные манишки с непомерно большими воротничками и непомерно большими белыми галстуками и манжетами, а все это вместе взятое представляло собою излюбленный костюм большей части жителей Африки, широко распространенный, по наблюдениям путешественников, на весьма различных широтах. Все девятеро усиленно вращали глазами и выставляли напоказ ярко-красные губы. По краям полукруга, образованного стульями, сидели музыканты, игравшие на тамбурине и кастаньетах. Помещавшийся в центре негр унылого вида (сразу вызвавший во мне смутное беспокойство, которого я не мог еще тогда объяснить), играл на миссисипском инструменте, очень схожем с тем, что когда-то на нашем острове именовался харди-гарди *. Сидевшие по обе стороны от него негры держали в руках другие инструменты, характерные исключительно для Отца Вод * и напоминавшие перевернутый верхом вниз барометр, на который натянули струны. В число инструментов входили также небольшая флейта и скрипка. Некоторое время все шло хорошо, и мы выслушали несколько остроумных диалогов между музыкантами, игравшими на тамбурине и кастаньетах, как вдруг негр унылого вида, повернувшись к тому, что играл на кастаньетах, обратился к нему и важным, резонерским тоном сделал несколько серьезных замечаний по поводу присутствующей в зале молодежи, а также о том, какое сейчас время года; из чего я заключил, что передо мною мистер Барлоу, вымазанный жженой пробкой!

В другой раз — это было в Лондоне — я сидел в театре, где давали веселую комедию. Действующие лица были жизненно правдивы (и следовательно, не резонеры), а так как они предавались своим делам и интрижкам, не адресуясь непосредственно ко мне, я надеялся, что все обойдется благополучно и меня не примут за Томми, тем более что пьеса уже явно шла к концу. Однако я заблуждался. Неожиданно, без всякого к тому повода, актеры перестали играть, подошли всем скопом к рампе, чтобы прицелиться в меня наверняка, и прикончили меня наповал нравоучением, в котором я различил страшную руку Барлоу.

О, уловки этого охотника так хитроумны и тонки, что уже на следующий вечер я снова очутился в западне, в ко-

торой даже самый осторожный человек не стал бы искать пружину. Я смотрел фарс, совершенно недвусмысленный фарс, где все действующие лица, в особенности женщины, весьма неумеренно предавались любовным интрижкам. Из числа актрис больше всех усердствовала некая леди, показавшаяся мне молодой и хорошо сложенной (в ходе представления она дала мне отличную возможность проверить правильность этого заключения). На ней был живописный наряд молодого джентльмена, панталоны которого по своей длине годились лишь младенцу и открывали ее изящные коленки; на ногах у нее красовались очень изящные атласные сапожки. Исполнив вульгарную песенку и вульгарный танец, эта очаровательная особа приблизилась к роковой рампе, нагнулась над нею и проникновенным тоном произнесла неожиданную похвалу добродетели, призывая публику соблюдать ее. «Великий боже! — воскликнул я.— Это Барлоу!»

Есть у мистера Барлоу еще и другой способ, крайне надоедливый и оттого еще более невыносимый, с помощью которого он постоянно старается удерживать меня в роли Томми.

Он с превеликим трудом сочиняет для журнала или газеты какую-нибудь заумную статейку — на это его хватит! — нисколько не заботясь ни о дороговизне ночного освещения, ни о чем ином, кроме как о том, чтобы окончательно заморочить самому себе голову. Но заметьте! Когда мистер Барлоу делится своими знаниями, он не довольствуется тем, чтобы они дошли по назначению и были вбиты в голову мне, его мишени, но еще и делает вид, будто обладал ими всегда, не придавая им ни малейшего значения, ибо впитал их с молоком матери, и что я, несчастный Томми, не последовавший его примеру, отстал от него самым жалким образом. Я спрашиваю: почему Томми должен всегда служить контрастом для мистера Барлоу? Если сегодня я не знаю того, о чем еще неделю назад и сам мистер Барлоу не имел ни малейшего понятия, то вряд ли это очень большой порок! И тем не менее мистер Барлоу всегда упорно приписывает его мне, ехидно спрашивая в своих статьях, мыслимо ли, чтобы я не знал того, что знает каждый школьник, а именно, что четырнадцатый поворот налево в степях России приведет к такому-то кочевому

племени? В столь же пренебрежительном тоне он задает и другие подобные вопросы. Так, когда мистер Барлоу в качестве добровольного корреспондента обращается с письмом в газету (что, как я заметил, он проделывает частенько), то предварительно расспрашивает кого-либо о сложнейших технических подробностях, после чего хладнокровнейшим образом пишет: «Итак, сэр, я полагаю, что каждый читатель вашей газеты, обладающий средними познаниями и средней сообразительностью, знает не хуже меня...», допустим, о том, что тяга воздуха из казенной части орудия такого-то калибра находится в таком-то (до мельчайших дробей) соотношении с тягой воздуха из дула,— или о каком-либо ином столь же широко известном факте. И о чем бы ни говорилось, будьте уверены, что это всегда ведет к возвеличению мистера Барлоу и к посрамлению его подавленного и порабощенного ученика.

Мистер Барлоу столь глубоко разбирается в существе моей профессии, что в сравнении с этим бледнеет и мое собственное знакомство с нею. Время от времени мистер Барлоу (под чужой личиной и под вымышленным именем, но узнанный мною) зычным голосом, слышным всем сидящим за длинным банкетным столом, поучает меня тем пустякам, которым я сам поучал его еще двадцать пять лет назад. Заключительный пункт моего обвинительного акта против мистера Барлоу состоит в том, что он не пропускает ни одного званого завтрака и обеда, вхож всюду — к богатым и к бедным, и всюду продолжает поучать меня, не давая мне возможности от него отделаться. Он превращает меня в скованного Прометея — Томми, а сам с жадностью хищника терзает мой необразованный ум.

## XXXV

### *В добровольном дозоре*

Одна из моих прихотей — намечать себе, даже во время самой обыкновенной прогулки, определенный маршрут. Отправляясь из своего ковент-гарденского дома прогуляться, я ставлю перед собой определенную цель и в

пути так же мало помышляю об изменении маршрута или о том, чтобы вернуться обратно, не выполнив задуманного до конца, как, скажем, о том, чтобы жульнически нарушить соглашение, заключенное с другим человеком. Недавно, поставив перед собой задачу — пройтись в Лаймхауз, я тронулся в путь ровно в полдень, в строгом соответствии с условиями контракта, заключенного с самим собою и требовавшего с моей стороны добросовестного исполнения.

В таких случаях я имею обыкновение рассматривать свою прогулку как обход дозором, а себя самого как совершающего обход полисмена в высоком чине. Я мысленно хватаю за шиворот хулиганов и очищаю от них улицы, и скажу прямо — если б я мог расправиться с ними физически, недолго пришлось бы им любоваться Лондоном.

Выйдя в этот обход, я проводил глазами трех здоровенных висельников, направлявшихся в свое жилище, которое — я мог бы присягнуть — находится неподалеку от Друри-лейн, совсем рукой подать (хотя их столь же мало тревожат там, как и меня в моем доме); и это натолкнуло меня на соображения, которые я почтительно представляю новому Верховному Комиссару, испытанному и способному слуге общества, пользующемуся моим полным доверием. Как часто, думал я, приходилось мне проглатывать в полицейских отчетах горькую пилюлю стереотипной болтовни о том, будто бы полисмен сообщил достопочтенному судье, будто бы соучастники арестованного скрываются в настоящее время на такой-то улице или в таком-то дворе, куда никто не осмеливается войти, и будто бы достопочтенный судья и сам наслышан о дурной славе такой-то улицы или такого-то двора, и будто бы, как наши читатели, несомненно, припомнят, это всегда одна и та же улица или один и тот же двор, о которых столь назидательно повествуется примерно раз в две недели.

Но предположим, что Верховный Комиссар разошлет во все отделения лондонской полиции циркуляр, требующий немедленно дать из всех кварталов сведения о названиях этих вызывающих толки улиц или об адресах дворов, куда никто не осмеливается войти; предположим далее, что в этом циркуляре он сделает ясное предупреждение:

«Если подобные места действительно существуют, то это свидетельствует о бездеятельности полицейских властей, которая заслуживает наказания; а если они не существуют и представляют собой лишь обычный вымысел, то это свидетельствует о пассивном потворстве полиции профессиональным преступникам, что также заслуживает наказания». Что тогда? Будь то вымыслы, будь то факты — смогут ли они устоять перед этой крупицей здравого смысла? Как можно признаться открыто в суде,— столь часто, что это сделалось такой же избитой новостью, как новость о гигантском крыжовнике,— что неслыханно дорогая полицейская система сохраняет в Лондоне воровские притоны и рассадники разврата времен Стюартов — и это в век пара и газа, электрического телеграфа и фотографий преступников! Да ведь если бы во всех других учреждениях дела шли подобным образом, то уже через два года мы бы вернулись к моровой язве, а через сто лет к друидам!

При мысли о моей доле ответственности за это общественное зло я зашагал быстрее и сбил с ног несчастное маленькое существо, которое, ухватившись одной ручонкой за лохмотья штанишек, а другою за свои растрепанные волосы, семенило босыми ножонками по грязной каменной мостовой. Я остановился, чтобы поднять и утешить плачущего малыша, и через мгновенье меня окружило с полсотни таких же, как и он, едва прикрытых лохмотьями ребятишек обоего пола; дрожа от голода и холода, они клянчили подаяние, толкались, тузили друг друга, тараторили, вопили. Монету, которую я вложил в ручонку опрокинутого мною малыша, тотчас же выхватили, потом снова выхватили из жадной лапы, и выхватывали еще и еще раз, и вскоре я уже потерял всякое представление о том, где же в этой отвратительной свалке, в этой мешанине лохмотьев, рук, ног и грязи затерялась монета. Подняв ребенка, я оттащил его с проезжей части улицы в сторону. Все это происходило посреди нагромождения каких-то бревен, заборов и развалин снесенных зданий, совсем рядом с Тэмпл-Баром.

Неожиданно откуда-то появился самый настоящий полисмен, при виде которого эта ужасная орава стала разбегаться во все стороны, а он притворно заметался то туда, то сюда и, разумеется, никого не поймал. Распугав

всех, он снял свою каску, вытащил из нее носовой платок, отер разгоряченный лоб и водрузил на свои места и платок и каску с видом человека, выполнившего свой высоконравственный долг; так оно в самом деле и было — ведь он сделал то, что ему предписано. Я оглядел его, оглядел беспорядочные следы на грязной мостовой, вспомнил об отпечатках дождевых капель и следах ног какого-то вымершего в седой древности существа, которые геологи обнаружили на поверхности одной скалы, и в голове у меня возникли вот какие мысли: если эта грязь сейчас окаменеет и сохранится в течение десяти тысяч лет, смогут ли тогдашние наши потомки по этим или иным следам, не обращаясь к свидетельству истории, а одним лишь величайшим напряжением человеческого ума прийти к ошеломительному выводу о существовании цивилизованного государства, которое мирилось с такой язвой общества, как беспризорные дети на улицах его столицы, которое гордилось своим могуществом на море и на суше, но никогда не пользовалось им, чтобы подобрать и спасти детей!

Дойдя до Олд-Бейли и бросив отсюда взгляд на Ньюгетскую тюрьму, я нашел в ее очертаниях какую-то диспропорцию. Странное смещение перспективы наблюдалось в этот день, кажется, и в самой атмосфере, вследствие чего гармоничность пропорций собора св. Павла, на мой взгляд, была несколько нарушена. По-моему, крест был вознесен чересчур высоко и как-то нелепо торчал над расположенным ниже золотым шаром.

Направившись к востоку, я оставил позади Смитфилд и Олд-Бейли, символизировавшие сожжение на костре, камеры смертников, публичное повешение, бичевание на улицах города на задке повозки, выставление у позорного столба, выжигание клейма раскаленным железом и прочее приятное наследие предков, которое было выкорчевано суровыми руками, отчего небо пока еще не обрушилось на нас,— и снова пустился в обход, отмечая, как своеобразно, словно бы проведенной поперек улицы невидимой чертой, отделены один от другого кварталы с близкими по роду деятельности торговыми заведениями. Здесь кончаются банкирские конторы и меняльные лавки; здесь начинаются пароходные агентства и лавки, торгую-

щие мореходными инструментами; здесь едва заметно отдает запахом бакалеи и лекарств; дальше — солидная прослойка мясных лавок; еще дальше преобладает мелкая торговля чулками; а начиная вот отсюда на всех выставленных для продажи товарах висят этикетки с ценами. Как будто бы все это делалось по особому предписанию свыше.

Возле церкви, что на улице Хаундсдич, всего лишь один шаг,— не шире того, который требовался, чтобы перешагнуть канаву у Кенон-гейта, что, по словам Скотта, имели обыкновение проделывать спасающиеся от тюрьмы должники в Холирудском убежище *, после чего, стоя на другой, свободной стороне канавы, они с восхитительным бесстрашием взирали на судебного пристава,— всего лишь один шаг, и все совершенно меняется и по виду и по характеру. К западу от этой черты стол или комод сделаны из полированного красного дерева; к востоку от нее их делают из сосны и мажут дешевой подделкой лака, похожей на губную помаду. К западу от черты каравай хлеба ценою в пенс или сдобная булочка плотны и добротны, к востоку — они расползлись и вздулись, словно хотят казаться побольше, чтобы стоить этих денег.

Мне предстояло обогнуть уайтчеплскую церковь и близлежащие сахарные заводы — громадные многоэтажные здания, похожие на портовые пакгаузы Ливерпуля; поэтому я повернул направо, а затем налево, за угол невзрачного здания, где внезапно столкнулся с призраком, так часто встречающимся на улицах совершенно другой части Лондона.

Какой лондонский перипатетик * нынешних времен не видел женщины, которая, вследствие какого-то повреждения позвоночника, ходит согнувшись вдвое и голова которой откинута вбок так, что падает на руку вблизи запястья? Кто не знает ее шали, и корзинки, и палки, помогающей ей брести почти наугад, так как она не видит ничего, кроме мостовой? Она никогда не просит милостыни, никогда не останавливается, она всегда куда-то идет, хотя и без всякого дела. Как она существует, откуда приходит, куда уходит и зачем? Я помню время, когда ее пожелтевшие руки представляли собою одни кости, обтянутые пергаментом. С тех пор произошли кое-какие пере-

мены: теперь на них можно видеть отдаленное подобие человеческой кожи. Центром, вокруг которого она вращается по орбите длиною в полмили, можно считать Стрэнд. Почему она забрела так далеко на восток? И ведь она возвращается обратно! До какого же еще более отдаленного места она доходила? В здешних краях ее видят не часто. Достоверные сведения об этом я получаю от собаки — кривобокой дворняжки с глуповатым, задранным кверху хвостиком, которая, навострив уши, бредет по улице, выказывая дружелюбный интерес к своим двуногим собратьям — если мне позволено будет употребить такое выражение. Возле мясной лавки она ненадолго задерживается, затем с довольным видом и со слюнкой во рту, словно размышляя над превосходными качествами свинины, она медленно, как и я, продвигается дальше на восток и вдруг замечает приближение этого сложенного вдвое узла тряпок. Ее поражает не столько сам узел (хотя и он ее удивляет), сколько то, что внутри него есть какая-то движущая сила. Дворняжка останавливается, еще больше навостряет уши, делает легкую стойку, пристально всматривается, издает короткое, глухое рычание, и кончик ее носа, как я с ужасом замечаю, начинает блестеть. Узел все приближается, и тогда она лает, поджимает хвост и уже готова обратиться в бегство, однако убедив себя, что такой поступок неприличен для собаки, оборачивается и снова рассматривает движущуюся груду тряпья. После долгих сомнений ей приходит в голову, что где-то в этой груде должно быть лицо. Приняв отчаянное решение пойти на риск с целью это выяснить, она медленно подходит к узлу, медленно обходит его вокруг и, наткнувшись, наконец, на человеческое лицо там, где его не должно быть, в ужасе взвизгивает и спасается бегством по направлению к Ост-Индским докам.

Очутившись в том пункте моего обхода, где проходит Комершел-роуд, я припоминаю, что неподалеку отсюда расположена станция Степни, ускоряю шаг и свертываю в этом месте с Комершел-роуд, чтобы посмотреть, как сияет моя Звездочка на Востоке.

Детская больница, которую я назвал этим именем, живет полнокровной жизнью. Все койки заняты. Койка, где лежало прелестное дитя, занята теперь другим ребен-

ком, а та милая крошка уже покоится вечным сном. Со времени моего предыдущего визита здесь выказали много доброты и забот; приятно видеть, что стены щедро украшены куклами. Любопытно, что думает Пудель о куклах, которые с застывшим взором простирают руки над кроватками и выставляют напоказ свои роскошные платья? Но Пудель гораздо больше интересуется пациентами. Я вижу, что он, совсем как заправский врач, обходит палаты в сопровождении другой собачонки, его подруги, которая семенит рядом с ним в качестве ассистентки. Пудель горит желанием познакомить меня с очаровательной маленькой девочкой, с виду совсем здоровой, но у которой, из-за рака колена, отнята нога. «Сложная операция,— как бы хочет сказать Пудель, обмахивая хвостом покрывало,— но, как видите, милостивый государь, вполне успешная!» Поглаживая Пуделя, пациентка с улыбкой добавляет: «Нога у меня так болела, что я даже обрадовалась, когда ее не стало!» Никогда еще не наблюдал я столь осмысленного поведения у собак, как у Пуделя в ту минуту, когда другая маленькая девочка раскрыла рот, чтобы показать необычайно распухший язык. Пудель — он стоит на стуле, чтобы быть на высоте положения,— смотрит на ее язык, из сочувствия высунув свой собственный с таким серьезным и понимающим видом, что у меня возникает желание сунуть руку в карман жилета и дать ему завернутую в бумажку гинею.

Я снова иду дозором и вблизи лаймхаузской церкви, конечного пункта моего обхода, оказываюсь перед каким-то «Заводом свинцовых белил». Пораженный этим названием, которое еще свежо в моей памяти, и сообразив, что завод — тот самый, о котором я упоминал в очерке о посещении Детской больницы Восточного Лондона и ее окрестностей в качестве путешественника не по торговым делам, я решил познакомиться с заводом.

Меня встретили два весьма разумных джентльмена, братья, владеющие предприятием совместно со своим отцом; они выразили полную готовность показать мне свой завод, после чего мы пошли по цехам. Завод занимается переработкой свинцовых болванок в свинцовые белила. Это достигается в результате постепенных химических изменений в свинце, которые производят в опре-

деленной последовательности. Способы переработки живописны и интересны; наиболее любопытен процесс выдерживания свинца на известной стадии производства в наполненных кислотой горшках, которые в огромном количестве ставят рядами, один на другой, и обкладывают со всех сторон дубильным веществом примерно на десять недель.

Прыгая по лесенкам, доскам и жердочкам до тех пор, пока я уже не знал, с кем себя сравнить — то ли с птицей, то ли с каменщиком, я, наконец, остановился на какой-то малюсенькой площадке и заглянул в один из огромных чердаков, куда снаружи, сквозь трещины в черепичной крыше, просачивался дневной свет. Несколько женщин подымались и спускались, относя на чердак горшки со свинцом и кислотой, подготовленные для закапывания в дымящемся дубильном веществе. Когда один ряд был полностью заставлен, его тщательно накрыли досками, которые в свою очередь тщательно засыпали слоем дубильного вещества, после чего сверху начали ставить новый ряд горшков; деревянные трубы обеспечивали достаточный приток воздуха. Ступив на чердак, который как раз заполнялся, я почувствовал, что от дубильного вещества пышет сильным жаром и что свинец и кислота пахнут далеко не изысканно, хотя, как я полагаю, на этой стадии их запах не ядовит. На других чердаках, где горшки откапывали, жар от дымящегося дубильного вещества был намного сильнее, а запах резче и въедливее. Я видел чердаки заполненные и порожние, наполовину заполненные и наполовину опорожненные; на них деловито карабкались сильные, расторопные женщины; и вся эта картина напоминала, пожалуй, чердак в доме какого-нибудь неимоверно богатого старого турка, преданные наложницы которого прячут его сокровища от подступающего султана или паши.

При изготовлении свинцовых белил, как и вообще при фабрикации пульп и красителей, один за другим следуют процессы смешивания, сепарации, промывки, размалывания, прокатки и прессовки. Некоторые из них бесспорно вредны для здоровья, причем опасность проистекает от вдыхания свинцовой пыли, или от соприкосновения со свинцом, или от того и другого вместе. Для предотвра-

щения этой опасности выдаются, как я узнал, доброкачественные респираторы (сделанные просто-напросто из фланели и муслина, чтобы недорого было их заменять, а в некоторых случаях — стирать с душистым мылом), рукавицы и просторные халаты. Повсюду обилие свежего воздуха, струящегося через раскрытые, удачно расположенные окна. Кроме того, объяснили мне, применяется и такая благотворная мера предосторожности, как частая замена женщин, работающих в наиболее вредных местах (мера, основанная на их собственном опыте или на опасениях перед дурными последствиями). В просторных халатах, с закрытыми носами и ртами, женщины выглядели необычно и таинственно, и эта маскировка еще более усугубляла их сходство с наложницами из гарема старого турка.

После того как злосчастный свинец похоронен и воскрешен, подогрет и охлажден, перемешан и отделен, промыт и размолот, прокатан и спрессован, его в конце концов подвергают нагреванию на сильном огне. В огромном каменном помещении — уподоблю его пекарне — стоит цепочка из женщин в описанных мною нарядах и передает из рук в руки, и далее в печь, формы с хлебами по мере того, как их выдают пекаря. В печи высотою с обычный дом, пока еще холодной, полно мужчин и женщин, стоящих на временном настиле и проворно принимающих и укладывающих формы. Дверь другой печи, которая вскоре будет охлаждена и опорожнена, слегка приоткрывают, чтобы путешественник не по торговым делам мог в нее заглянуть. Путешественник поспешно отшатывается, задыхаясь от страшной жары и невыносимого зловония. В общем, работа в этих печах, сразу после того как они открыты, пожалуй, вреднейшее занятие на заводе.

Однако я не сомневаюсь в том, что владельцы завода искренне и упорно стараются свести вредность этой профессии до минимума.

Женщинам предоставлено помещение для умывания (на мой взгляд, там следовало бы держать побольше полотенец) и комната, где они хранят одежду, обедают, где к их услугам удобная кухонная плита и топливо и где им помогает служанка, следящая за тем, чтобы они не забыли помыть руки перед едой. Они состоят под наблю-

дением опытного врача, и при первых же симптомах отравления свинцом их заботливо лечат. Когда я зашел к ним, на столах стояли чайники и другая необходимая для ужина посуда, что придавало комнате уютный вид. Доказано, что женщины переносят эту работу намного лучше мужчин; некоторые из них заняты ею в продолжение многих лет, и тем не менее значительное большинство тех, кого я видел, были здоровы и работоспособны. С другой стороны, надо иметь в виду, что многие из них весьма капризны и на работу выходят нерегулярно.

Американская изобретательность, кажется, в скором времени приведет к тому, что производство свинцовых белил будет полностью механизировано. Чем скорей, тем лучше. А тем временем, расставаясь со своими прямодушными проводниками по заводу, я сказал, что им нечего скрывать и что они ни в чем не заслуживают упрека. А что до всего остального, то философская сторона проблемы отравления свинцом рабочих, как мне представляется, довольно точно сформулирована ирландкой, о которой я писал в одном из моих очерков и которая заявила: «Одни отравляются свинцом быстро, а другие потом, а некоторые никогда, но таких немного. И все это зависит от организма, сэр, у одних он крепкий, а у других слабый».

Возвратившись обратно по тому же маршруту, я закончил свой обход.

## XXXVI

### *Бумажная закладка в Книге Жизни*

Однажды (не важно, когда) я был всецело поглощен одним делом (не важно, каким), выполнить которое мог только сам, не рассчитывая на чью-либо помощь; оно требовало от меня постоянного напряжения памяти, внимания и физических сил, вынуждало меня беспрерывно менять свое место пребывания, перескакивая чуть ли не с поезда на поезд. Я занимался этим делом в стране с чрезвычайно суровым климатом, притом в условиях чрезвычайно суровой зимы, а по возвращении оттуда продолжал

его в Англии, позволив себе лишь краткий отдых. Так шло до тех пор, пока, наконец,— казалось, совершенно неожиданно,— я настолько измотался, что, несмотря на обычную бодрость и уверенность в себе, усомнился, сумею ли выполнить эту нескончаемую задачу; впервые в жизни я испытал раздражительность, головокружение и тошноту. мой голос ослаб, зрение и чувство осязания начали сдавать, походка стала нетвердой, сознание затуманилось. Несколько часов спустя я обратился к врачу за советом, который и был мне дан — всего лишь в двух словах: «Немедленный отдых». Имея привычку относиться к себе столь же заботливо, как и ко всякому другому, и понимая, что совет этот как нельзя лучше отвечает моим интересам, я тотчас оставил дело, о котором говорил, и предался отдыху.

В намерения мои входило, так сказать, вложить бумажную закладку в книгу своей жизни, где в течение ближайших недель не должно было появиться никаких новых записей. Но случилось так, что и сама эта закладка тоже запечатлела некии весьма любопытные обстоятельства, о которых я и хочу рассказать с буквальной точностью. Повторяю: с буквальной точностью!

Среди этих любопытных обстоятельств отмечу прежде всего замечательное, в общем, сходство между положением, в каком очутился я, и положением некоего мистера Мердла, описанным в художественном произведении под названием «Крошка Доррит». Разумеется, мистер Мердл был жулик, мошенник и вор, тогда как моя профессия менее предосудительна (и менее выгодна), но, в сущности, эта разница значения не имеет.

Вот как обстояло дело с мистером Мердлом:

«Сперва он умирал поочередно от всех существующих в мире болезней, не считая нескольких новых, мгновенно изобретенных для данного случая. Он с детства страдал тщательно скрываемой водянкой; он унаследовал от деда целую каменоломню в печени; ему в течение восемнадцати лет каждое утро делали операцию; его важнейшие кровеносные сосуды лопались, как фейерверочные ракеты; у него было что-то с легкими; у него было что-то с сердцем; у него было что-то с мозгом. Пятьсот лондонцев, севших в это утро завтракать, понятия не имея ни о чем,

встали из-за стола в твердой уверенности, что слышали собственными ушами, как знаменитый врач предупреждал мистера Мердла: «Вы в любую минуту можете угаснуть, как свеча», а мистер Мердл отвечал на это: «Двум смертям не бывать, а одной не миновать». К одиннадцати часам теория чего-то с мозгом получила решительный перевес над всеми прочими, а к двенадцати выяснилось окончательно, что это был: УДАР.

Удар настолько понравился всем и удовлетворил самые взыскательные вкусы, что эта версия продержалась бы, верно, целый день, если бы в половине десятого Цвет Адвокатуры не рассказал в суде, как в действительности обстояло дело. По городу тотчас же пошла новая молва, и к часу дня на всех перекрестках уже шептались о самоубийстве. Однако Удар вовсе не был побежден; напротив, он приобретал все большую и большую популярность. Каждый извлекал из Удара свою мораль. Те, кто пытался разбогатеть и кому это не удалось, говорили: «Вот до чего доводит погоня за деньгами!» Лентяи и бездельники оборачивали дело по-иному. «Вот что значит переутомлять себя работой»,— говорили они. «Работаешь, работаешь, работаешь — глядь, и доработался до Удара!» Последнее соображение нашло особенно горячий отклик среди клерков и младших компаньонов, которым меньше всего грозила опасность переутомления. Они дружно уверяли, что участь мистера Мердла послужит им уроком на всю жизнь, и клялись беречь силы, чтобы избежать Удара и как можно дольше продлить свои дни на радость друзьям и знакомым».

Точно так же обстояло дело и со мной в то время, как я спокойно грелся на солнышке на своих кентских лужайках. О, если б я только знал это тогда!

Но пока я отдыхал, с каждым часом восстанавливая свои силы, со мною произошли еще более удивительные вещи. Я испытал на себе самом, что такое религиозное ханжество, и, рассматривая его проявления как новое предостережение против этого проклятия человечества, буду вечно питать признательность к людям, предположившим, что я дошел до такого состояния, когда мне уже не остается больше ничего другого, как играть роль дряхлого льва для всякого осла, у которого зачешется копыто.

Кто только не становился вдруг набожным за мой счет! Однажды мне самым категорическим образом заявили, что я язычник, причем это утверждение подкреплялось непререкаемым авторитетом некоего странствующего проповедника, который, как и большинство представителей этой невежественной, тщеславной и дерзкой братии, не мог связать и одной грамотной фразы, не говоря уже о том, чтобы написать сносное письмо. Этот вдохновенный индивидуум энергично наставлял меня на путь истинный; он в мельчайших подробностях знал, до чего я докачусь и что со мною станется, если я не переделаю себя по его образу и подобию, и казалось, состоял в богохульственно тесных взаимоотношениях со всеми силами небесными. Он видел — да, да! — всю подноготную моего сердца и самые сокровенные закоулки моей души, разбирался в тонкостях моего характера лучше, чем в азбуке, и выворачивал меня наизнанку, словно свою замызганную перчатку. Только в подобном мелком и грязном источнике можно почерпнуть столь мутные воды! Впрочем, из письма одного приходского священника, о котором я до того никогда не слышал и которого никогда в глаза не видел, мне удалось почерпнуть еще более необычайные сведения, а именно: что в жизни своей я — вопреки моим собственным представлениям на этот счет — мало читал, мало размышлял и не задавался никакими вопросами; что я не стремился проповедовать в своих книгах христианскую мораль; что я никогда не пытался внушить хотя бы одному ребенку любовь к нашему спасителю; что мне никогда не приходилось навек расставаться и склонять голову над свежевырытыми могилами; наконец, что я прожил всю жизнь «в неизменной роскоши», что нынешнее испытание для меня было необходимо, «да еще как!», и что единственный способ обратить его мне на пользу — это прочесть прилагаемые к сему проповеди и стихи, сочиненные и изданные моим корреспондентом! Уверяю вас, я не предаюсь пустой игре воображения, а рассказываю лишь о фактах, с которыми столкнулся сам. Необходимые документальные доказательства лежат у меня под рукой.

Другой любопытной и еще более забавной записью на бумажной закладке явилась та удивительная настойчи-

вость, с какой сочувствующие мне люди высказывали предположения, что внезапно прерванное мною дело было безрассудным образом осложнено моими явно неподходящими и явно неуместными привычками, как, например, гимнастическими упражнениями, купаньем в холодной воде, прогулками в любую непогоду, неумеренной работой,— ну и всем прочим, что обычно берут с собой в дорогу в чемодане или в шляпной картонке и вкушают при свете пылающих газовых рожков на виду у двухтысячной толпы. Эти совершенно неправдоподобные предположения позабавили меня больше всего; ведь с подобным курьезом я столкнулся впервые в жизни — лишь тогда, когда вложил между ее страницами эту любопытную закладку.

Оставили на закладке свои записи, разумеется, в самой благочестивой форме, и мои давние знакомые — всевозможные просители. В этот критический момент они рады были предоставить мне новый удобный случай послать им денежный перевод. Не обязательно размерами в фунт стерлингов, на чем они настаивали раньше; чтобы снять тяжесть с моей души, достаточно и десяти шиллингов. Видит бог, они не откажутся облегчить совесть погрязшего в грехах ближнего своего даже при всей незначительности этой суммы! Некий обладающий художественными наклонностями джентльмен (он щедро иллюстрировал издания Общества благотворительности) решил, что моя совесть, для которой выбрасывание денег на ветер представляет большое удовольствие, будет вполне удовлетворена, если я немедленно раскошелюсь, чтобы поддержать его скромный талант и его оригинальное творчество; в качестве образца последнего он приложил к письму произведение искусства, в котором я признал копию с гравюры, впервые опубликованной сорок или пятьдесят лет тому назад в книге покойной миссис Троллоп об Америке *. Число этих неутомимых благодетелей рода человеческого, готовых всего за какие-нибудь пять — десять фунтов пережить меня на много лет, было поразительно! Не уступало ему и число тех, кто хотел, с целью заслужить отпущение грехов, тратить — а ни в коем случае не копить! — значительные суммы денег.

Пробралась на закладку, которая должна была оста-

ваться совершенно чистой, и реклама различных чудодейственных лекарств и машин. При этом особенно бросалось в глаза, что каждый из рекламирующих что-либо, будь то в духовной или чисто материальной области, знал меня, как свои пять пальцев, и видел меня насквозь. Я был как бы прозрачной, принадлежащей всем вещью, и каждый считал, что находится со мною в на редкость близких отношениях. Несколько общественных учреждений имели очень лестное мнение о таких сторонах моей души, малейших признаков которых я, даже при наиболее тщательной самопроверке, так и не обнаружил у себя. Однако именно этим сторонам моей души и были адресованы аккуратные маленькие печатные бланки, начинающиеся словами: «Настоящим дарю и завещаю...»

Возможно, мои слова о том, что из всех записей на этой странной закладке наиболее искренним, наиболее скромным и наименее самонадеянным показалось мне письмо впавшего в самообман изобретателя таинственного способа «прожить четыреста или пятьсот лет», будут сочтены преувеличением. В действительности это вовсе не так, я высказываю их с глубокой и искренней убежденностью. С этой убежденностью и с добродушной усмешкой, относящейся ко всему остальному, я переворачиваю закладку в Книге Жизни и продолжаю свои записи.

## XXXVII

### *Призыв к полному воздержанию*

В минувший троицын день, ровно в одиннадцать часов утра, под окнами моей квартиры внезапно возникло странное существо, наряженное нелепейшим образом и восседающее верхом на лошади. На нем были сапоги, мешковатые штаны цвета недопеченного хлеба, принадлежащие какому-то весьма объемистому человеку, и голубая рубаха, раздувшиеся полы которой были засунуты за пояс упомянутых штанов; пиджака на нем не было; через плечо тянулась красная перевязь; на голове высилась алая,

отдаленно схожая с военной, шапка, украшенная спереди плюмажем, который в глазах неискушенного человека мог бы сойти за полинявший флюгер. Отложив в сторону газету, я с изумлением оглядел этого ближнего своего. Мой ум осаждали всевозможные предположения: позировал ли он какому-нибудь художнику для фронтисписа нового издания «Sartor Resartus» * или же его скорлупа и оболочка, как выразился бы уважаемый герр Тойфельсдрек *, были позаимствованы у какого-нибудь жокея, в цирке, у генерала Гарибальди, у дешевых фарфоровых безделушек, в игрушечной лавке, у Гая Фокса, в музее восковых фигур, у золотоискателей, в Бедламе или у всего этого, вместе взятого? Тем временем лошадь ближнего моего, отнюдь не по своей доброй воле, спотыкалась и скользила на гладких булыжниках Ковент-Гарден-стрит, и конвульсивные старания всадника не свалиться через голову лошади вызывали пронзительные крики у сочувствовавших ему женщин. В разгар этих упражнений, а именно в тот критический момент, когда хвост его боевого коня оказался в табачной лавке, а голова где-то в другом месте, к всаднику присоединилось еще двое подобных же чудо-всадников, лошади которых также спотыкались и скользили, заставляя первую спотыкаться и скользить еще отчаянней. Наконец этот Гилпинианский триумвират остановился и, повернувшись к северу, взмахнул одновременно тремя правыми руками, как бы отдавая невидимым войскам приказ: «Вперед, гвардия! В атаку!» Вслед за этим загремел духовой оркестр, вынудивший верховых мгновенно умчаться в какой-то отдаленный уголок земного шара, в направлении Сэррейских холмов.

Сообразив по этим признакам, что по улицам проходит процессия, я распахнул окно и, высунувшись наружу, имел удовольствие наблюдать ее приближение. Это была, судя по плакатам, процессия трезвенников, настолько многочисленная, что на прохождение ее потребовалось двадцать минут. В ней участвовало множество детей, причем некоторые из них были в столь нежном возрасте, что покоились на руках у своих матерей, словно для того, чтобы во время шествия практически продемонстрировать свое воздержание от спиртного и приверженность к некоему безалкогольному напитку. Вид у процессии, в

общем, был приятный, как это и подобает добродушно настроенной, праздничной толпе опрятно одетых, веселых и благопристойных людей. Она сверкала лентами, мишурой и перевязями через плечо и так изобиловала цветами, как будто они произросли в несметном количестве благодаря щедрой поливке. Погода стояла ветреная, и огромные плакаты вели себя со строптивостью, заслуживавшей всяческого порицания. Каждый из них, укрепленный на двух шестах и натянутый на полдюжину шнуров, несли, как принято было писать в изящной литературе прошлого века, «разношерстные люди», и на меня произвела сильное впечатление выраженная на их поднятых кверху лицах озабоченность — нечто среднее между озабоченностью эквилибриста и той, что сопутствует запусканию бумажных змеев, с примесью возбуждения рыболова, снимающего с удочки свою чешуйчатую добычу. От порыва ветра какой-нибудь плакат внезапно вздрагивал и несноснейшим образом кренился. Чаще всего это случалось с ярко расцвеченными плакатами, которые изображали опухшего от чая и воды джентльмена в черном в тот знаменательный момент, когда он наскоро обращает на путь нравственности целую семью, опустившуюся от пьянства и подавленную нуждой. Раздутый ветром джентльмен в черном начинал тогда вести себя с совершенно непозволительным легкомыслием, а захмелевшая от пива семья хмелела еще больше и яростно пыталась избавиться от его увещаний. Некоторые из надписей на плакатах были весьма решительного характера, как, скажем: «Мы никогда, никогда, никогда не отступимся от насаждения трезвенности!» — или выражали другие, столь же твердые намерения, напоминающие скептически настроенным людям слова миссис Микобер: «Я никогда не покину мистера Микобера», и об ответе мистера Микобера: «Право же, дорогая, я не слышал, чтобы хоть одна живая душа требовала, чтобы ты поступила подобным образом».

Время от времени участников процессии охватывало уныние, которое я сначала никак не мог объяснить. Но, немного присмотревшись, я понял, что это вызывалось приближением палачей — страшных должностных лиц, обязанных произносить речи,— которые ехали в открытых экипажах в различных пунктах шествия. Движению

этих ужасных колесниц с палачами неизменно предшествовала темная туча и ощущение сырости, как будто от множества мокрых одеял; и я заметил, что тех несчастных, которые следовали за палачами вплотную и потому вынуждены были созерцать их скрещенные на животах руки, самодовольные лица и угрожающе надутые губы, туча окутывала плотнее и сырость пронизывала сильнее, чем тех, что шли впереди. У некоторых из них я заметил столь мрачную неприязнь к властелинам эшафота и столь явное желание разорвать их на куски, что почтительно выразил бы устроителям процессии пожелание о том, чтобы в следующий троицын день палачей направляли к месту их зловещей деятельности безлюдными улицами и в наглухо закрытых повозках.

Процессия составилась из нескольких более мелких процессий, организованных по муниципальным округам столицы. Когда мимо проходил патриотический Пекем, я ощутил как бы веяние аллегории. Подумалось мне об этом потому, что Пекем развернул шелковое знамя, потрясшее небо и землю надписью: «Пекемское спасательное судно». Поскольку никакого судна поблизости не было, хотя за знаменем и следовали сами спасатели в образе «храброй, доблестной команды» в морской форме, я стал размышлять над тем фактом, что географы описывают Пекем как удаленное от моря поселение, все побережье которого ограничивается бечевником Сэррейского канала, и что на штормовой станции канала, как мне известно, ни одного спасательного судна нет. Отсюда я и сделал вывод об аллегорическом смысле и вместе с тем пришел к заключению, что если патриотический Пекем пленен пьянящим поцелуем поэзии, то это как раз и был пьянящий поцелуй поэзии, пленивший патриотический Пекем.

Я уже говорил, что вид у всей процессии был, в общем, приятный. Это выражение я употребил в его прямом смысле, который сейчас поясню. Он связан с заголовком этого очерка и предполагает небольшое, но справедливое испытание ревнителей умеренности их же собственным способом. Часть участников процессии шла пешком, другая часть ехала во всевозможных экипажах. И если на первых смотреть было приятно, то другие, наоборот,

вызывали неприятные чувства, ибо никогда еще и ни при каких обстоятельствах я не видел, чтобы лошади были так перегружены, как в этой процессии. С лошадьми ревнители умеренности обращались неумеренно и безжалостно, если, конечно, не считать, что огромные фургоны с десятью — двадцатью пассажирами — это умеренный груз для несчастного животного. Зачастую как самые маленькие и слабые, так и самые большие и сильные лошади были до того бессовестно перегружены, что Обществу охраны животных от жестокого обращения давно следовало бы за них вступиться.

Я всегда считал, что употребление без злоупотребления не только возможно, но и существует в действительности, и что поэтому сторонники полного воздержания — безрассудные, твердолобые люди. Однако процессия коренным образом изменила мое мнение. Ибо столь многие ездоки столь явно были не способны обходиться без злоупотреблений, что, на мой взгляд, единственное пригодное в данном случае лекарство от болезни — это полное воздержание от езды на лошадях. Трезвенникам все равно — выпиваете ли вы полпинты пива или же полгаллона. Здесь они тоже не делали никакого различия между пони и ломовой лошадью. И довод мой приобретает особое значение в силу того, что маленькое четвероногое испытывает те же муки, что и большое. Отсюда мораль: полное воздержание от езды на лошадях всех пород и размеров. Каждый трезвенник — участник процессий (не пешеход) может подписать этот обет в редакции журнала «Круглый год» 1 апреля 1870 года.

Но рассмотрим еще один вопрос. В процессии были и двуколки, двухместные кареты, фермерские повозки, ландо, фаэтоны и иные экипажи, седоки которых были милосердны к везущим их бессловесным тварям и не перегружали их сверх меры. Как быть с этими ни в чем не повинными людьми? Я не стану яростно поносить и порочить их, как это наверняка сделали бы трезвенники в своих брошюрах и трактатах, если б дело касалось выпивки, а не езды на лошадях; я только спрашиваю, как быть с ними? И ответ не вызывает никаких сомнений. Очевидно, и они, в точном соответствии с доктриной трезвенников, также должны заодно со всеми принять

обет полного воздержания от езды на лошадях. Этим участникам процессии не предъявляется претензия в том, что они жестоко обращались с животными, к помощи которых человек повсеместно прибегал веками, но ведь нельзя отрицать, что другие участники поступали именно так. Логика трезвенников утверждает, что часть равна целому, что виновный не отличается от невинного, слепой от зрячего, глухой от слышащего, немой от говорящего, пьяный от трезвого. А если кому-либо из умеренных седоков покажется, что такая логика представляет некоторое насилие над разумом, то я приглашаю их в следующий троицын день выйти из рядов процессии и поглядеть на нее из моего окна.

# РАССКАЗЫ 60-х ГОДОВ

# *Чей-то багаж*

*В четырех главах*

## ГЛАВА I

### *Оставлено им до востребования*

Пишущий эти непритязательные строки — официант, родился в семье официантов, имеет в настоящее время пять братьев официантов и одну сестру официантку, а посему он хотел бы сказать несколько слов насчет своей профессии, но предварительно почитает для себя удовольствием дружески посвятить свое сочинение Джозефу, почтенному метрдотелю кофейни «Шум и гам» (Лондон, Восточно-Центральный округ), ибо нет на свете человека, более достойного называться человеком и заслуживающего большего уважения за его ум и сердце, рассматривать ли его как официанта или же просто как представителя человеческого рода.

На случай путаницы в общественном мнении (а оно часто запутывается во многих вопросах) насчет того, что именно подразумевается под термином «официант», в следующих непритязательных строках даются разъяснения.

Быть может, не всем известно, что *не всякий* человек, подающий к столу,— официант. Быть может, не всем известно, что так называемый «подручный», которого приглашают на подмогу во «Франкмасонскую таверну» *, «Лондон» *, «Альбион» * или другие рестораны, не есть официант. Таких подручных можно нанимать целыми партиями прислуживать во время официальных обедов (и их легко узнать по тому признаку, что, подавая на стол, они дышат с трудом и убирают бутылку, опорожненную лишь наполовину), но эти лица *не* официанты. Дело в том, что вы не можете отказаться от портновского или башмачного

ремесла, от маклерства, от торговли овощами и фруктами, от издания иллюстрированного журнала, от перепродажи старого платья или от мелкого галантерейного дела,— вы не можете отказаться от этих профессий, когда вам вздумается или захочется, на полдня или на вечер, и сделаться официантом. Чего доброго, вы вообразите, что можете, но вы не можете; пожалуй, вы зайдете так далеко, что прямо скажете: «Я это сделаю»,— но вы не сделаете. Точно так же вы не можете отказаться от исполнения обязанностей камердинера, хотя бы вас к этому побуждали длительные недоразумения с поварихами (к слову сказать, поварское искусство в большинстве случаев тесно связано с недоразумениями), и сделаться официантом. Известно, что, если джентльмен и способен кротко переносить у себя дома какие-нибудь непорядки, он ни за что не потерпит их вне дома,— например, в «Шуме и гаме» или других подобных заведениях. Итак, какое же заключение можно вывести из всего вышесказанного и кто может сделаться истинным официантом? К этому призванию вас должны готовить. Официантом вы должны родиться.

Не хотите ли, прекрасная читательница,— если вы принадлежите к очаровательному женскому полу,— узнать, как человек рождается официантом? В таком случае узнайте об этом из биографического опыта человека, который служит официантом на шестьдесят первом году от своего рождения.

Вас приносили (когда вы еще не могли приложить свои пробуждающиеся силы ни к чему, кроме заполнения пустоты в ваших внутренностях),— вас украдкой приносили в буфетную, примыкающую к «Адмиралу Нельсону, ресторану для горожан и прочих лиц»,— и там вы тайком получали ту питательную и здоровую пищу, которая входит в состав организма британских женщин и которой они по праву гордятся и похваляются. Ваша матушка вышла замуж за вашего батюшку (тоже скромного официанта) в глубочайшей тайне, ибо если откроется, что официантка замужем, это погубит даже самое процветающее заведение, и то же можно сказать о замужестве актрисы. Поэтому вы контрабандой появлялись в буфетной, притом — в довершение бед — на руках недовольной бабушки. Вдыхая смешанные запахи жареного и пареного, супа, газа и

солодовых напитков, вы принимали младенческую свою пищу, причем ваша недовольная бабушка сидела, готовая подхватить вас, когда вашу матушку позовут и той придется вас бросить, шаль вашей бабушки лежала наготове, чтобы заглушить ваши естественные жалобы, ваше невинное существо было окружено чуждыми вам судками, грязными тарелками, крышками для блюд и остывшими подливками, а ваша матушка, вместо того чтобы убаюкивать вас колыбельной песней, кричала в разговорную трубу, передавая заказы на телятину и свинину. По причине этих неблагоприятных обстоятельств вас рано отняли от груди. Ваша недовольная бабушка, которая становилась все более недовольной по мере того, как пища ваша переваривалась все хуже, усвоила привычку трясти вас так, что все ваше тело застывало от ужаса и пища уже не переваривалась вовсе. Наконец бабушка ваша скончалась, так что пришлось обходиться без нее; впрочем, без нее не худо было бы обойтись гораздо раньше.

Когда один за другим начали появляться на свет ваши братья, матушка ваша уволилась, перестала одеваться по моде (прежде она была модницей) и завивать свои темные волосы (прежде локоны падали ей на плечи) и принялась выслеживать вашего батюшку, поздней ночью поджидая его при всякой погоде в грязном дворе, на который выходила задняя дверь ресторана «Старое мусорное ведро короля» (говорят, так назвал его король Георг IV), где ваш батюшка служил метрдотелем. Но в то время «Мусорное ведро» уже приходило в упадок, и ваш батюшка получал очень мало, если не считать получек в жидком виде. Ваша матушка делала эти визиты в интересах домашнего хозяйства, а вас заставляли вызывать родителя свистом. Иногда он выходил во двор, но большей частью не выходил. Однако, выходил он или нет, вся та сторона его жизни, которая была связана с официантской службой, хранилась в глубочайшей тайне, и ваша матушка сама считала это глубочайшей тайной, и когда вы с матушкой (оба под покровом глубочайшей тайны) крались по двору, вы даже под пыткой не признались бы, что знакомы со своим родным отцом, или что вашего отца зовут не Диком (это не было его настоящим именем, но никто не называл его иначе), или что у него имеются родные и

близкие, чада и домочадцы. Быть может, прелесть этой таинственности в сочетании с тем обстоятельством, что батюшка ваш имел при «Мусорном ведре» собственную сырую каморку позади протекающего бака (нечто вроде подвального чулана, где проходила сточная труба, где скверно пахло, где стояли подставка для тарелок и подставка для бутылок, и были три окошка, не похожие друг на друга, да и ни на что другое, и не пропускавшие дневного света),— быть может, все это повлияло на вашу юную душу и внушило вам убеждение, что вы тоже должны сделаться официантом; во всяком случае, вы были в этом убеждены так же, как все ваши братья и даже сестра. Все вы были убеждены, что родились официантами.

Что же вы почувствовали в этот период вашей жизни, когда ваш батюшка однажды вернулся домой к вашей матушке среди бела дня (что само по себе — безумный поступок со стороны официанта) и лег на свою кровать (иначе говоря, на кровать, где спали ваша матушка и все дети), утверждая, что глаза его превратились в жаренные с перцем почки. Врачи не помогли, и ваш батюшка скончался через сутки, в течение коих он время от времени (когда его внезапно озаряли проблески сознания и воспоминания о работе) повторял: «Два да два — пять. И три — шесть пенсов». Его похоронили на ближнем кладбище, в той части, где погребали бедняков за счет прихода, причем до могилы его проводило столько заслуженных официантов, сколько ухитрилось оторваться утром от мытья грязных стаканов (а именно — один), а после похорон вашу удрученную особу украсили белым шейным платком и вас приняли из милости в ресторан «Джордж и рашпер» (банкеты после театра и ужины).

Здесь, поддерживая свое бренное тело пищей, которую вы находили на тарелках (то есть какой бог послал и чаще всего по небрежности залитой горчицей), и теми напитками, которые оставались в стаканах (то есть большей частью опивками с обсосанными ломтиками лимона), вы к вечеру уже засыпали стоя и спали, пока вас не будили ударом кулака, а наутро принимались начищать и натирать каждую вещь в общем зале. Ложем вашим были опилки; одеялом — сигарный пепел. Здесь, нередко скрывая скорбящее сердце под ловко повязанным узлом ва-

шего белого шейного платка (точнее, несколько ниже и левее), вы почерпнули начатки знаний от одного подручного (по фамилии Бишопс, а по профессии — судомой), и, постепенно развивая свой ум при помощи писания мелом на перегородке углового отделения — пока вы не начали пользоваться чернильницей, когда та была свободна,— здесь вы достигли совершеннолетия и сделались официантом, коим состоите и поныне.

Тут я хотел бы сказать несколько почтительных слов по поводу того занятия, которое столь долго было занятием моих родных и моим и которым общество, к сожалению, почти всегда интересуется слишком мало. Нас обычно не понимают. Нет, не понимают. К нам недостаточно снисходительны. Например, допустим, что иной раз мы не в силах скрыть свою усталость и равнодушие, или, если можно так выразиться, безучастие, или апатию. Но вообразите, какие чувства испытывали бы вы сами, будь вы членом огромнейшей семьи, все остальные члены которой, кроме вас, вечно хотели бы есть и вечно куда-то спешили бы. Вообразите, что вы регулярно насыщаетесь мясной пищей в часы застоя, а именно в час дня и затем в девять часов вечера, и что чем более сыты вы, тем более прожорливыми приходят к вам ваши ближние. Вообразите, что вы обязаны (в то время как ваш желудок переваривает пищу) выражать личный интерес и симпатию к сотне (скажем, мягко выражаясь, что только к сотне) подвыпивших джентльменов, чьи мысли поглощены жиром, салом, подливкой, масляным соусом и которые заняты расспросами о таком-то мясе и таких-то блюдах, причем каждый ведет себя так, словно во всем мире остались только он, вы да меню.

Теперь послушайте, каких сведений от вас ожидают. Вы никогда не выходите из ресторана, но всем кажется, будто вы постоянно присутствуете всюду. «Что это, Кристофер, неужели пригородный поезд и правда потерпел крушение?», «Как дела в Итальянской опере, Кристофер?», «Кристофер, вы не знаете подробностей той истории в Йоркширском банке?» А любой кабинет министров — да у меня с ним больше хлопот, чем у королевы. Что касается лорда Пальмерстона *, то я за последние годы до того устал вечно заниматься его милостью, что заслужи-

ваю за это пенсии. Теперь послушайте, в каких лицемеров нас превращают и какую ложь (хочу верить — невинную) нас вынуждают говорить. Почему загнанный домосед-официант считается знатоком лошадей, страстно увлекающимся тренировкой скакунов и конскими состязаниями? Однако мы потеряли бы половину своих ничтожных доходов, если бы не приобрели склонности к этому спорту. То же самое (непонятно почему!) относительно земледелия. Опять же охота. Так же верно, как то, что ежегодно наступают месяцы август, сентябрь и октябрь, я стыжусь в глубине души того вида, с каким притворно интересуюсь, хорошо ли летают шотландские куропатки и сильны ли у них крылья (больно нужны мне их крылья — да и лапки тоже — если они не зажарены!), много ли серых куропаток на брюквенных полях, как держится фазан — пугливо или смело,— или вообще всем тем, о чем вам вздумается поболтать со мною. Однако вы можете видеть, как я (или любой другой официант моего ранга) стою у задней стенки отделения в ресторане, наклонившись к джентльмену, который вынул свой кошелек и положил перед собою счет, и доверительным тоном рассуждаю о подобных предметах, словно все счастье моей жизни зависит только от них.

Я уже упоминал о наших ничтожных доходах. Обратите внимание на одно совершенно пустяковое обстоятельство, придравшись к которому нас превращают в жертвы величайшей несправедливости! Потому ли, что мы постоянно носим много мелочи в правом брючном кармане и много полупенсов под фалдами фрака, потому ли, что такова уж человеческая натура (чего не хотелось бы признать), но вечно повторяется басня, будто все метрдотели — богачи. Откуда взялась эта басня? Кто первый пустил ее в оборот и где факты, доказывающие это бесстыдное утверждение? Выступи вперед, клеветник, и попробуй подкрепить свое злобное шипенье, отыскав в Докторс-Коммонс * и предъявив публике завещание хотя бы одного официанта. Однако о богатстве официантов твердят столь часто,— особенно скряги, которые дают на чай меньше прочих,— что отрицать бесполезно, и мы для поддержания своего престижа должны делать вид, будто собираемся заводить свое собственное предприятие, тогда

как нам скорее всего предстоит попасть в работный дом. Был некогда один такой скряга, посещавший «Шум и гам» (еще до той поры, как пишущий эти строки покинул упомянутое заведение по той причине, что был вынужден из собственного кармана угощать чаем весь штат своих помощников),— так вот, этот скряга довел издевательство над нами до горчайшего предела. Сам он, давая на чай, никогда не возносился выше чем на три пенса и даже зачастую пресмыкался по земле на пенс ниже, однако же называл пишущего эти строки крупным держателем бумаг государственного займа, ростовщиком, ссужающим людей деньгами под закладные, и капиталистом. Однажды кто-то подслушал, как он пространно развивал перед другими посетителями голословное утверждение, будто пишущий эти строки вложил под проценты тысячи фунтов в винокуренное и пивоваренное дело.

— Ну, Кристофер,— говорил он (только что раскошелившись лишь на какие-то жалкие гроши),— подумываете основать фирму, а? Не можете подыскать предприятия, соответствующего вашим громадным средствам — так, что ли?

Это искажение действительности привело к столь головокружительной бездне клеветы, а знаменитый и всеми уважаемый *Старик Чарльз*, долго занимавший высокое положение в отеле «Запад» и, по мнению многих, считавшийся отцом официантского ремесла, оказался вынужденным падать в эту бездну в течение стольких лет, что его собственная жена (ибо при нем состояла в качестве жены какая-то безвестная старушка) — его собственная жена поверила этому! А что оказалось на самом деле? В то время как шестеро избранных официантов несли его на своих плечах к могиле в сопровождении шестерых сменных, а еще шестеро поддерживали край надгробного покрова, причем все шагали в ногу под проливным дождем, промокшие до костей, а толпа собралась разве чуть поменьше, чем на королевских похоронах,— в это самое время его буфетную, так же как и его квартиру, перерыли сверху донизу в поисках имущества, но не нашли ровно ничего! Да и можно ли было хоть что-то найти, если, кроме собранной им за последний месяц коллекции тростей, зонтов и носовых платков (которую он еще не успел

продать, хотя всю жизнь аккуратно раз в месяц сбывал с рук свои коллекции), никакого имущества и не было? Тем не менее сила этого повсеместно распространенного пасквиля такова, что вдова Старика Чарльза, ныне призреваемая где-то в Приютах для бедных Компании пробкорезания на Блю-Энкор-роуд (ее не дальше как в прошлый понедельник обнаружили сидящей в виндзорском кресле* у дверей одного из этих приютов в чистом чепце на голове),— вдова ждет не дождется, что вот-вот найдут сокровища ее Джона! Более того: еще прежде чем он пал, пронзенный стрелой рока, а именно — когда с него писали масляными красками портрет в натуральную величину, который был заказан по подписке завсегдатаями «Запада» и должен был висеть над камином в общем зале, нашлось немало людей, которые требовали, чтобы художник изобразил в качестве так называемых аксессуаров вид из окна на Английский банк и несгораемую шкатулку на столе. И таким портрет и перешел бы к потомству, если бы другие, более благоразумные люди не потребовали изобразить на нем бутылку с пробочником, а оригинал — откупоривающим сию бутылку, и не настояли бы на своем.

Теперь я обращаюсь к предмету настоящего рассказа. Сделав эти, надеюсь, ни для кого не обидные замечания, каковые я почитал своим долгом высказать в свободной стране, от века повелевавшей морями, я сейчас перейду от общего вопроса к частному.

В один важный для меня период моей жизни, когда я ушел, точнее предупредил о своем уходе, из заведения, которое не буду называть (ибо уйти я решил потому, что тамошние хозяева занимались поборами с официантов, а ни одно заведение, унизившееся до столь противоречащих английскому духу и более чем глупых и подлых действий, не будет рекламироваться мною),— повторяю, во время одного знаменательного кризиса, когда я расстался с заведением, слишком ничтожным, чтобы его стоило называть, и еще не поступил в то, где с той поры и до сегодняшнего дня имею честь служить в качестве метрдотеля [1], я раздумывал, что же мне делать дальше. Тогда-то

[1] Название и точный адрес этого заведения вместе с прочими подробностями полностью вычеркнуты редактором. *(Прим. автора.)*

меня и пригласили в мое теперешнее заведение. Мне пришлось поставить условия, пришлось пойти на уступки; наконец обе стороны ратифицировали договор, и я вступил на новую стезю.

У нас имеются спальные номера и общий зал. Мы, в сущности говоря, не ресторан, да и не хотим этого. Поэтому, когда к нам случайно попадают люди, желающие только пообедать, мы знаем, как и чем следует их накормить, чтобы они больше не приходили. У нас имеются также отдельные кабинеты и семейные кабинеты, но главное — это общий зал. Я, адрес-календарь, письменные принадлежности и прочее — все мы занимаем особое отгороженное место, отведенное для нас в конце общего зала и возвышающееся над ним ступеньки на две, и все это — как я называю — в хорошем старомодном стиле. Хороший старомодный стиль требует, чтобы выполнение всех ваших заказов (хотя бы вы заказали только одну вафлю) зависело исключительно и всецело от метрдотеля. Вам нужно отдаться в его руки, словно вы новорожденный младенец. Иначе невозможно вести дело, не оскверненное порочными европейскими обычаями. (Излишне добавлять, что если посетители желают, чтобы с ними болтали на разных языках, а английский для них недостаточно хорош, то и семействам и одиноким джентльменам лучше пойти куда-нибудь в другое место.)

Обосновавшись в этом здравомыслящем и благоустроенном заведении, я как-то раз заглянул в номер 24-Б (он расположен над лестницей сбоку и обычно сдается постояльцам незначительным) и заметил там под кроватью кучу вещей в углу. В тот же день я спросил нашу старшую горничную:

— Что это за вещи валяются в двадцать четвертом Б?

Она ответила небрежным тоном:

— Чей-то багаж.

Устремив на нее взор, не лишенный строгости, я снова спрашиваю:

— Чей багаж?

Избегая моего взгляда, она отвечает:

— Вот еще! А я почем знаю?

Нелишне упомянуть, что она довольно дерзкая бабенка, хотя дело свое знает.

Метрдотель, иначе говоря — глава официантов, должен быть или «главой», или «хвостом». Он должен стоять либо на верхнем, либо на нижнем конце общественной лестницы. Он не может стоять, так сказать, на ее талии, то есть на середине или где бы то ни было, кроме как на конце. На каком именно конце — решать ему самому.

В этот знаменательный день я так ясно дал понять миссис Претчет свои намерения, что это раз и навсегда сломило ее дух непокорства по отношению ко мне. Да не обвинят меня в непоследовательности, если я называю миссис Претчет «миссис», хотя сам же отмечал выше, что официантка не должна выходить замуж. Читателей почтительно просят заметить, что миссис Претчет была не официанткой, но горничной. А горничная *может* выйти замуж; что касается старших горничных, то почти все они замужем, или говорят, что замужем. Обычно это, в сущности, одно и то же. (Примечание: мистер Претчет находится в Австралии, и тамошний его адрес просто: «Джунгли».)

Сбив с миссис Претчет спесь, насколько это было необходимо для спокойствия обеих сторон в будущем, я попросил ее объясниться.

— Так кто же все-таки оставил этот багаж? — спрашиваю я, желая немного ободрить ее.

— Клянусь вам своей священной честью, мистер Кристофер, не имею ни малейшего понятия,— отвечает миссис Претчет.

Если бы не выражение лица, с каким она поправила завязки своего чепчика, я усомнился бы в ее словах; но слова эти были сказаны таким убедительным тоном, что мало чем отличались от свидетельских показаний под присягой.

— Значит, вы никогда не видели этого постояльца? — продолжал я допрашивать ее.

— Нет! — ответила миссис Претчет, закрыв глаза с таким видом, будто она только что проглотила пилюлю необыкновенных размеров (что придало чрезвычайную силу ее отрицанию).— И ни один из служащих в этом доме его не видел! За пять лет все здесь сменились, мистер Кристофер, а Кто-то оставил тут свой багаж раньше.

При допросе мисс Мартин было получено (выражаясь словами великого барда из Стрэтфорда-на-Эйвоне) «не-

опровержимое подтверждение». Действительно, так оно и было. А мисс Мартин, это та молодая девица, что сидит в буфетной и пишет наши счета, и хотя она более высокомерна, чем это, на мой взгляд, подобает особе ее положения, ведет она себя безукоризненно.

Дальнейшие расследования показали, что багаж оставлен в залог за неоплаченный счет на сумму два фунта шестнадцать шиллингов шесть пенсов. Багаж пролежал под кроватью в номере 24-Б более шести лет. Кровать в нем с балдахином на четырех столбиках и с пологом, представляющим собой целые вороха старых драпировок и занавесок,— и в ней, как я однажды выразился, бесспорно наберется не двадцать четыре Б (блохи), а побольше. Помнится, эта острота рассмешила моих слушателей.

Не знаю почему — впрочем, разве мы когда-нибудь знаем почему? — но этот багаж засел у меня в голове. Я все думал да гадал, что это за Кто-то, чем он занимался и что было у него на уме. И я никак не мог взять в толк, почему он оставил такой большой багаж в залог за такой маленький счет. Дело в том, что дня два спустя я велел вытащить багаж, осмотрел его, и вот что там оказалось: черный чемодан, черный дорожный мешок, дорожный пюпитр, несессер, пакет в оберточной бумаге, шляпная коробка и зонт, прикрученный ремнем к трости. Все это было покрыто пылью и пухом. Я приказал швейцару залезть под кровать и вытащить вещи, и хотя он обычно утопает в пыли — плавает в ней с утра до ночи и поэтому носит плотно прилегающий жилет с черными холщовыми рукавами,— он так расчихался и горло у него так воспалилось, что пришлось охладить его стаканом эля, именуемого микстурой Олсопа.

Этот багаж так завладел моими мыслями, что я не только не положил его на место, после того как с него хорошенько стерли пыль и протерли его сырой тряпкой (раньше он весь был покрыт перьями, и казалось, вот-вот превратится в домашнюю птицу и начнет нести яйца),— повторяю, я не только не положил его на место, но велел перенести вниз, в одну из своих комнат. Там я время от времени принимался смотреть на багаж и все смотрел и смотрел, пока мне не начинало казаться, будто он то увеличивается, то уменьшается, то приближается ко

мне, то удаляется, и вообще выкидывает всякие штуки, как пьяный. Так было несколько недель,— я, пожалуй, не ошибусь, если даже скажу, что несколько месяцев,— но вот однажды мне вздумалось попросить мисс Мартин показать мне счет на сумму два фунта шестнадцать шиллингов шесть пенсов. Она была столь любезна, что извлекла его из книг — счет был написан до ее поступления сюда,— и вот его точная копия:

| № 4 | Общий зал | 1856 г. |
|---|---|---|
| | | Ф.Ш.П. |
| 2 февраля | Перо и бумага . . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Подогретый портвейн с водой . . . . | 0 2 0 |
| | То же . . . . . . . . . . . . . . | 0 2 0 |
| | Перо и бумага . . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Разбитый стакан . . . . . . . . . | 0 2 6 |
| | Коньяк . . . . . . . . . . . . . . | 0 2 0 |
| | Перо и бумага . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Поджаренный хлеб с анчоусами . . . | 0 2 6 |
| | Перо и бумага . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Ночлег . . . . . . . . . . . . . . | 0 3 0 |
| 3 февраля | Перо и бумага . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Завтрак . . . . . . . . . . . . . | 0 2 6 |
| | » жареная ветчина . . . . . . | 0 2 0 |
| | » яйца . . . . . . . . . . . . | 0 1 0 |
| | » кресс-салат . . . . . . . . . | 0 1 0 |
| | » креветки . . . . . . . . . . | 0 1 0 |
| | Перо и бумага . . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Пропускная бумага . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | Посыльный на Патерностер-Роу и обратно . . . . . . . . . . . . . | 0 1 6 |
| | То же ввиду неполучения ответа . . . | 0 1 6 |
| | Коньяк 2 ш. Свиная котлета, жаренная с перцем 2 ш. . . . . . . . . . . | 0 4 0 |
| | Перья и бумага . . . . . . . . . . | 0 1 0 |
| | Посыльный на Албемарл-стрит и обратно | 0 1 0 |
| | То же (задержан) ввиду неполучения ответа . . . . . . . . . . . . . | 0 1 6 |
| | Разбитая солонка . . . . . . . . . | 0 3 6 |
| | Большая ликерная рюмка апельсинной настойки . . . . . . . . . . . . | 0 1 6 |
| | Обед: суп, рыба, мясо и птица . . . . | 0 7 6 |
| | Бутылка ост-индского хереса . . . . | 0 8 0 |
| | Перо и бумага . . . . . . . . . . | 0 0 6 |
| | | 2 ф. 16 ш. 6 п. |

Примечание: «1 января 1857 г. Он ушел после обеда, попросив приготовить багаж и сказав, что зайдет за ним. Так и не зашел».

Этот счет не только не пролил света на вопрос, но, если можно так выразить мои недоумения, окутал его еще более зловещим ореолом. Как-то раз я заговорил о багаже с хозяйкой, и она сообщила мне, что при жизни хозяина насчет багажа было помещено объявление, в котором указывалось, что его продадут после такого-то числа для покрытия расходов, но никаких дальнейших шагов предпринято не было. (Замечу кстати, что хозяйка наша вдовеет четвертый год. А хозяин обладал одним из тех несчастливых организмов, в которых спиртное превращается в воду и раздувает злополучную жертву.)

Я говорил о багаже не только в тот раз, но и неоднократно то с хозяйкой, то с тем, то с другим, и, наконец, хозяйка сказала мне в шутку,— а может, и всерьез или наполовину в шутку, наполовину всерьез, не важно:

— Кристофер, я хочу сделать вам выгодное предложение.

(Если эти строки попадутся ей на глаза — дивно голубые,— пусть она не оскорбится моим упоминанием о том, что, будь я на восемь или десять лет моложе, я сам сделал бы то же самое! То есть сделал бы ей предложение. Не мне решать, можно ли назвать его выгодным.)

— Кристофер, я хочу сделать вам выгодное предложение.

— Какое именно, сударыня?

— Послушайте, Кристофер, перечислите все вещи в Чьем-то багаже. Мне известно, что вы знаете их наперечет.

— Черный чемодан, сударыня, черный дорожный мешок, дорожный пюпитр, несессер, пакет в оберточной бумаге, шляпная коробка и зонт, прикрученный ремнем к трости.

— Все вещи в том виде, в каком были оставлены. Ничего не открывали, ничего не разворошили.

— Совершенно верно, сударыня. Все заперто на замок, не считая пакета в оберточной бумаге, но он запечатан.

Прислонившись к конторке мисс Мартин у окна в буфетной, хозяйка похлопывает ладонью по открытой книге, лежащей на конторке — что и говорить, ручки у хозяйки красивые! — качает головой и смеется.

— Вот что, Кристофер,— говорит она,— заплатите мне по Чьему-то счету, и вы получите Чей-то багаж.

По правде сказать, я сразу же ухватился за эту мысль, да только...

— Он, пожалуй, не стоит таких денег,— возразил я, делая вид, будто колеблюсь.

— Это все равно что лотерея,— говорит хозяйка, сложив ручки на книге (у нее не только кисть руки красивая — то же можно сказать и про всю руку до плеча).— Неужели вы не рискнули бы купить лотерейных билетов на два фунта шестнадцать шиллингов шесть пенсов? А ведь тут пустых билетов нет! — говорит хозяйка, смеясь и снова покачивая головкой.— Так что вы *непременно* выиграете. Пусть даже потеряете, вы все равно выиграете! В этой лотерее все билеты счастливые! Вытащите пустой,— запомните джентльмены-спортсмены! — вы все равно получите черный чемодан, черный дорожный мешок, дорожный пюпитр, несессер, лист оберточной бумаги, шляпную коробку и зонт, прикрученный ремнем к трости!

Короче говоря, и мисс Мартин обошла меня, и миссис Претчет обошла меня, а хозяйка — та уже давно окончательно меня обошла, и все женщины в доме меня обошли, и заплати я вместо двух фунтов шестнадцати шиллингов целых шестнадцать фунтов два шиллинга, я и то признал бы, что дешево отделался. Ведь что поделаешь, когда женщины тебя обойдут?

Итак, я оплатил счет — наличными — и тем сразу пресек их смешки! Но окончательно я их сразил, когда сказал:

— Меня зовут Синяя Борода. Я собираюсь распаковать Чей-то багаж наедине, в потайной комнате, и ни один женский глаз не проникнет в его содержимое!

Считал ли я нужным твердо осуществить свое намерение — не важно, не важно также, видели ли женские глаза — и если видели, то сколько именно глаз,— как я распаковывал багаж. В настоящее время речь идет о Чьем-то багаже, а не о чьих-либо глазах или носах.

Что меня больше всего удивило в багаже, так это невероятное количество писчей бумаги, исписанной сверху донизу! И это была не наша бумага — не та бумага, что значилась в счете (мы свою бумагу знаем),— стало быть, Кто-то и раньше всегда писал, не зная ни отдыха ни срока. И он засовывал свои сочинения повсюду, во все уголки своего багажа. Сочинения были в его несессере, сочинения были в его сапогах, сочинения были среди его бритвенных принадлежностей, сочинения были в его шляпной коробке, сочинения были сложены и засунуты в зонт между прутьями из китового уса.

Одежда его — сколько ее там было — оказалась вполне приличной. А несессер был убогий; ни одной серебряной пробки, гнезда для флаконов пустые, похожие на заброшенные собачьи конурки, а зубной порошок необычайно пронырливый — он рассыпался повсюду, словно по ошибке решил, что все щели в несессере это промежутки между зубами. Одежду я спустил за довольно хорошую цену старьевщику, который держал лавку неподалеку от церкви святого Клементия Датчанина на Стрэнде,— этому самому старьевщику армейские офицеры продают свое форменное платье, когда им приходится туго и нужно отдавать не терпящие отлагательства карточные долги, о чем я догадался по тому, что окно его лавочки украшают мундиры с эполетами, висящие спиной к прохожим. Тот же торговец купил оптом чемодан, дорожный мешок, пюпитр, несессер, шляпную коробку, зонт, ремень и трость. На мое замечание, что, по-моему, все это — неподходящий для него товар, он возразил:

— Все равно что чья-нибудь бабушка, мистер Кристофер; но если кто-нибудь приведет сюда свою бабушку и предложит мне купить ее чуть-чуть дешевле, чем можно будет при удаче за нее выручить, после того как я ее вычищу и выверну наизнанку, то я куплю и бабушку!

Эта сделка оказалась безубыточной, и даже больше того, деньги, истраченные на оплату счета, принесли мне порядочную прибыль. Да вдобавок остались сочинения, а на эти сочинения я и хочу обратить беспристрастное внимание читателя.

Я намерен сделать это безотлагательно, и вот почему. То есть, иными словами, я хочу сказать именно следующее: прежде чем приступить к описанию нравственных мук, жертвой которых я пал из-за этих сочинений, прежде чем закончить мою душераздирающую историю рассказом об удивительной и волнующей катастрофе, столь же потрясающей по своей природе, сколь непредвиденной во всех других отношениях,— катастрофе, завершившей все и переполнившей чашу неожиданности,— нужно рассмотреть самые эти сочинения. Поэтому они теперь выступают на сцену. После краткого предисловия я отложу свое перо (хочу верить — свое непритязательное перо) и снова возьму его в руки лишь затем, чтобы изобразить мрачное состояние души, отягченной заботой.

Он писал неряшливо и ужасающе скверным почерком. Совершенно позабыв о чернилах, он щедро разбрызгивал их на все отнюдь того не заслуживающие предметы: на свою одежду, на свой пюпитр, на свою шляпу, на ручку своей зубной щетки, на свой зонт. Чернилами был залит ковер под столиком № 4 в общем зале, и две кляксы были обнаружены даже на беспокойном ложе этого человека. Справившись по документу, который я привел полностью, можно усмотреть, что утром третьего февраля тысяча восемьсот пятьдесят шестого года этот человек в пятый раз потребовал себе перо и бумагу. Неизвестно, каким способом он в силу своего неуравновешенного характера уничтожал эти материалы, полученные в буфетной, но нет сомнения, что роковое деяние совершалось им в постели и что долгое время спустя достаточно ясные улики оставались на наволочке.

Он не озаглавил ни одного своего сочинения. Боже! Как мог он поставить заголовок, не имея головы, и где была его голова, когда он забивал ее подобными вещами? В некоторых случаях он, по-видимому, скрывал свои сочинения, запрятывая их в глубине собственных сапог, а посему слог его начинал страдать еще большей неясностью. Но сапоги-то его, во всяком случае, были парные, а среди сочинений не найдется и двух хоть как-то связанных друг с другом. Чтобы не вдаваться в дальнейшие подробности, засим следует то, что было вложено в

## ГЛАВА II

### *его сапоги*

— Э, мосье Мютюэль! Почем я знаю, что я могу сказать? Уверяю вас, он сам называет себя — мосье Англичанин.

— Простите, это, по-моему, невозможно,— возразил мосье Мютюэль, согбенный, обсыпанный табаком старик в очках, в ковровых туфлях, в суконном картузе с остроконечным козырьком, в широком синем сюртуке до пят, в большом, пышном белом жабо и таком же галстуке,— впрочем, манишка у мосье Мютюэля была от природы белой только по воскресеньям, но с каждым днем недели она тускнела.

— Это, дорогая моя мадам Букле, по-моему, невозможно!— с улыбкой повторил мосье Мютюэль и сощурил глаза, не выдержав яркого света утреннего солнца, и тут его приятное стариковское лицо, слегка напоминающее скорлупу грецкого ореха, стало еще более похожим на ореховую скорлупу.

— Вздор! — Это восклицание сопровождалось легким криком досады и многочисленными кивками.— Зато очень возможно, что вы упрямый человек! — возразила мадам Букле, плотненькая, небольшого роста женщина лет тридцати пяти.— Так смотрите же сюда... глядите... читайте! «На третьем этаже мосье Англичанин». Не так ли?

— Так,— сказал мосье Мютюэль.

— Прекрасно. Продолжайте свою утреннюю прогулку. Убирайтесь прочь! — И мадам Букле прогнала собеседника, задорно щелкнув пальцами.

Местом утренней прогулки для мосье Мютюэля служила наиболее ярко освещенная солнцем часть Главной площади в одном скучном старинном укрепленном французском городке. А совершая свою утреннюю прогулку, мосье Мютюэль всегда шествовал, заложив руки за спину, с зонтом, очень похожим на хозяина, в одной руке и табакеркой — в другой. Так, волоча ноги наподобие слона (который, без сомнения, заказывает себе штаны у самого скверного из портных, одевающих зоологический мирок, и, надо думать, рекомендовал этого портного мосье Мю-

тюэлю), старик ежедневно грелся на солнышке — конечно, если оно светило,— и в то же время грел на солнышке красную орденскую ленточку, продетую в петлицу его сюртука; да иначе и быть не могло — ведь он был старозаветный француз.

Получив от представительницы прекрасного пола приказание продолжать свою утреннюю прогулку и убираться прочь, мосье Мютюэль рассмеялся (причем снова стал походить на грецкий орех), широким жестом снял картуз той рукой, в которой держал табакерку, и, не надевая его еще долго после того, как расстался с мадам Букле, продолжал свою утреннюю прогулку и убрался прочь, как и подобало столь галантному мужчине.

Документ, на который сослалась мадам Букле в беседе с мосье Мютюэлем, был список ее квартирантов, аккуратно переписанный ее родным племянником и бухгалтером (он писал как ангел) и вывешенный на воротах для сведения полиции. «Au second M. l'Anglais, propriétaire» — «На третьем этаже мистер Англичанин, землевладелец». Вот что там было написано яснее ясного.

Тут мадам Букле провела в воздухе черту указательным пальцем, как бы желая подчеркнуть тот щелчок, которым она попрощалась с мосье Мютюэлем, и, вызывающе уперев правую руку в бок с таким видом, словно ничего на свете не могло заставить ее позабыть про этот щелчок и разжать пальцы, вышла на площадь взглянуть на окна мистера Англичанина. Сей достойный субъект как раз стоял у окна, поэтому мадам Букле, грациозно кивнув ему вместо приветствия, посмотрела направо, посмотрела налево, как бы объясняя ему, почему она находится здесь; призадумалась на минуту, как бы объясняя самой себе, почему здесь нет кого-то, кого она ожидала, и снова вернулась к себе во двор. Мадам Букле сдавала внаем меблированные квартиры во всех этажах своего дома, выходящего на площадь, а сама жила на заднем дворе в обществе своего супруга, мосье Букле (мастерски игравшего на бильярде), полученной в наследство пивоварни, нескольких кур, двух повозок, племянника, маленькой собачки в большой конуре, виноградной лозы, конторы, четырех лошадей, замужней сестры (имевшей пай в пивоварне), мужа и двух детей этой замужней сестры, попу-

гая, барабана (в который бил сынишка замужней сестры), двух солдат на постое, множества голубей, дудки (на которой чудесно играл племянник), нескольких служанок и подручных, неизменного запаха кофе и супа, устрашающей коллекции искусственных скал и деревянных пропастей не менее четырех футов глубины, маленького фонтанчика и нескольких больших подсолнечников.

Надо сказать, что Англичанин, нанимая себе «апартаменты», или, как говорят у нас, по эту сторону канала, квартиру, сообщил свою фамилию совершенно точно: Лангли. Но, пребывая в чужих странах, он, как и все британцы, не раскрывал как следует рта, кроме как для принятия пищи, и потому владельцы пивоварни, не расслышав его фамилии, приняли ее за французское слово l'Anglais. Таким образом он превратился в «мистера Англичанина», и так его все и называли.

— Никогда я не видел таких людей! — пробормотал мистер Англичанин, глядя в окно.— В жизни не видывал!

Это была правда, ибо он лишь впервые выехал за пределы своей родины — островка честного, островка тесного, островка прелестного, островка известного и весьма достойного во всех отношениях, но отнюдь не представляющего собой весь земной шар.

— Эти ребята,— сказал мистер Англичанин, окинув глазами площадь, усеянную там и сям солдатами,— похожи на солдат не больше, чем...— Но, будучи не в силах придумать достаточно выразительное сравнение, не докончил фразы.

Это тоже (если судить по его опыту) было вполне справедливо, ибо хотя в городке и в его окрестностях наблюдалось огромное скопление военных, но их всех до единого можно было бы собрать на парад или полевые маневры и не найти среди них ни одного солдата, задыхающегося под своим нелепым обмундированием, или солдата, охромевшего от обуви, которая ему не по ноге, или солдата, стесненного в движениях ремнями и пуговицами, или солдата, которого намеренно превратили в человека, совершенно ни к чему не способного. Целый рой живых, смышленых, деятельных, проворных, расторопных, боевых ребят, мастеров на все руки, умеющих ловко взяться за

что угодно — от осады крепости до варки супа, от стрельбы из пушек до шитья, от фехтования до нарезывания луковицы, от войны до приготовления яичницы,— вот кого можно было увидеть здесь.

И что за рой! От Главной площади, на которую смотрел мистер Англичанин и где несколько взводов, составленных из новобранцев, упражнялись в маршировке гусиным шагом (некоторые из этих новобранцев лишь наполовину превратились из куколок в бабочек, иначе говоря — еще не окончательно перешли из штатского состояния в военное, ибо туловища их до сих пор были облачены в крестьянские блузы и только ноги — в форменные шаровары),— от Главной площади до укреплений и дальше на много миль весь город и ведущие к нему пыльные дороги кишели солдатами. Целый день на поросших травою валах, окружающих город, обучающиеся солдаты трубили в трубы и рожки; целый день в закоулках сухих траншей обучающиеся солдаты все били и били в барабаны. Каждое утро солдаты выбегали из огромных казарм на усыпанный песком близлежащий гимнастический плац, и там перелетали через деревянную кобылу, подтягивались на кольцах, кувыркались между параллельными брусьями, бросались вниз с деревянных помостов,— брызги, искры, блестки, ливень солдат! В каждом углу городских стен, на каждой гауптвахте, в каждой подворотне, в каждой караульной будке, на каждом подъемном мосту, в каждом рве, заросшем камышом, и на каждой насыпи, поросшей тростником,— всюду виднелись солдаты, солдаты, солдаты. Но чуть не весь город состоял из стен, гауптвахт, ворот, караульных будок, подъемных мостов, рвов, заросших камышом, и насыпей, поросших тростником, и поэтому чуть не весь город состоял из солдат.

Каким был бы этот сонный старинный городок без солдат, если даже с ними он до того заспался, что не заметил во сне, как эхо его охрипли, оборонительные засовы, замки, запоры и цепи все позаржавели, а вода во всех рвах застоялась! С тех времен, как Вобан соорудил здесь такие чудеса инженерного искусства, что, когда смотришь на этот город, чудится, будто он бьет тебя по голове, а каждый приезжий чувствует себя совершенно ошеломленным и подавленным его непостижимым видом,—

с тех времен, как Вобан превратил его в воплощение всех существительных и прилагательных, относящихся к военно-инженерному искусству, и не только заставил вас пролезать в город боком и вылезать из него боком справа, слева, понизу, поверху, в темноте, в грязи, через ворота, под арками, через крытые проходы, сухие проходы, сырые проходы, рвы, опускные решетки, подъемные мосты, шлюзы, приземистые башни, стены с бойницами и батареи тяжелой артиллерии, но, кроме того, нырнул по всем правилам фортификации под поля, окружающие город, и, вновь вынырнув на поверхность мили за три-четыре от него, возвел непостижимые насыпи и батареи среди мирных посевов цикория и свеклы,— с тех самых времен и до нынешних этот город спал; пыль, ржавчина, плесень покрыли его сонные арсеналы и склады, и трава выросла на его тихих улицах.

Только в базарные дни Главная площадь внезапно вскакивала с постели. В базарные дни какой-то благожелательный колдун стучал своей волшебной палочкой по плитам Главной площади, и тотчас же на ней возникали людные балаганы и ларьки, скамейки и стойки, приятный гул множества голосов, торгующихся и расхваливающих товары, и приятное, хотя и своеобразное смешение красок — белые чепцы, синие блузы и зеленые овощи,— и тогда чудилось, будто Рыцарь — искатель приключений — наконец-то действительно явился и все вобанцы внезапно пробудились ото сна. И вот уже по длинным аллеям, трясясь в запряженных ослами повозках с белым верхом, или сидя на ослах, в двуколках или фургонах, в телегах или кабриолетах, пешком, с тачками или с ношей за плечами, а также по речкам, рвам и каналам в маленьких остроносых деревенских лодках толпами и кучками двигались крестьяне и крестьянки с разными товарами на продажу. Здесь можно было купить сапоги, башмаки, сласти и одежду, а там (в прохладной тени городской ратуши) — молоко, сливки, масло и сыр; здесь — фрукты, лук, морковь и все, что требуется для приготовления супа, там — домашнюю птицу, цветы, упирающихся свиней; здесь — новые лопаты, топоры, заступы, садовые ножи, необходимые для земледельческих работ, там — горы хлеба и зерно в мешках; тут продавались детские

куклы, а там — пирожник оповещал о своих товарах боем и дробью барабана.

Но чу! Вот раздавались фанфары труб и сюда, прямо на Главную площадь, в роскошной открытой коляске, с четырьмя дующими в рожки, бьющими в барабаны и тарелки, разряженными в пух и прах лакеями на запятках, выезжала «Дочь некоего медика» в массивных золотых цепочках и серьгах, в шляпе с голубыми перьями, защищенная от любующегося ею солнца двумя огромными зонтами из искусственных роз,— выезжала, чтобы раздавать (в благотворительных целях) ту маленькую и приятную дозу лекарства, которая уже исцелила тысячи больных! Зубная боль, ушная боль, головная боль, сердечная боль, желудочная боль, истощение, нервозность, припадки, обмороки, лихорадка, озноб — все одинаково успешно излечивалось маленькой дозой лекарства прославленной Дочери прославленного медика! Вот как это происходило. Она, Дочь медика, владелица восхитительного экипажа, говорила вам,— а громы труб, барабана и тарелок подтверждали ее слова,— говорила вам, что в первый день вы, приняв маленькую приятную дозу лекарства, не почувствуете ничего особенного, кроме чрезвычайно гармоничного ощущения неописуемой и неодолимой радости; на второй день вам станет лучше, и настолько, что вам покажется, будто вы сделались другим человеком; на третий день вы окончательно избавитесь от своей болезни, какова бы она ни была и как бы долго вы ни болели, и тогда вы броситесь искать Дочь медика, чтобы пасть к ее ногам, лобызать края ее одеяния и накупить еще столько маленьких приятных доз лекарства, сколько сможете достать, распродав все свое скудное имущество; но она окажется недосягаемой, ибо она отбыла к египетским пирамидам собирать лекарственные травы,— и вы (хоть и исцелившийся) предадитесь отчаянию! Так Дочь медика обделывала свои дела (и очень проворно), и так шли своим чередом купля и продажа, смешение голосов и красок, пока уходящий свет солнца, покинув Дочь медика в тени высоких крыш, не побуждал ее укатить под звуки меди на запад, сверкнув прощальным эффектом бликов и отблесков на великолепном экипаже.

Но вот колдун снова стучал волшебной палочкой по

плитам Главной площади, и рушились балаганы, скамейки и стойки, исчезали товары, а вместе с ними тачки, ослы, повозки, запряженные ослами, двуколки и все, что двигалось на колесах или пешком, кроме убирающих мусор неторопливых метельщиков с неуклюжими телегами и тощими клячами и кроме их помощников — жирных городских голубей, набивших себе животы больше, чем в небазарные дни. Оставалось еще часа два до осеннего заката, и праздношатающийся наблюдатель, стоя за городскими воротами, на подъемном мосту, у потерны или на краю двойного рва, видел, как белый верх последней повозки уменьшался на глазах в аллее из длинных теней, отброшенных деревьями, или замечал последнюю деревенскую лодку, в которой гребла, направляясь домой, последняя ушедшая с базара женщина,— лодку, совсем черную на фоне алеющих вод длинного, узкого канала, протянувшегося по ложбине между наблюдателем и мельницей; и когда пена и водоросли, рассеченные веслом, снова смыкались над следом лодки, наблюдатель уже не сомневался в том, что никто больше не потревожит покоя этих стоячих вод до следующего базарного дня.

Но в этот день Главная площадь не должна была подниматься с постели, и потому мистер Англичанин, глядя вниз на молодых солдат, упражняющихся в маршировке гусиным шагом, был волен предаваться размышлениям на военные темы.

— Эти ребята расквартированы повсюду,— сказал он,— и смотреть, как они растапливают хозяйские камины, варят хозяйскую пищу, нянчат хозяйских детей, качают хозяйские люльки, перемывают хозяйские овощи и вообще приносят пользу всякого, но отнюдь не военного рода, в высшей степени смешно! Никогда я не видел таких людей... в жизни не видывал!

И это было истинной правдой. Разве рядовой Валентин, стоявший на постое в этом же самом доме, не орудовал за одну прислугу — за камердинера, повара, лакея и няню — в семье своего командира, господина капитана де-ла-Кур, и не натирал полов, не стелил постелей, не ходил на базар, не возился с одеждой капитана, не возился с приготовлением обеда, не возился с приправой к салату и не возился с грудным ребенком — все с одинаковой го-

товностью? Или, не говоря о нем, потому что он-то был обязан служить верой и правдой своему начальнику, разве рядовой Ипполит, стоявший на постое в доме парфюмера, на двести ярдов дальше,— разве рядовой Ипполит в свободное от службы время не оставался по доброй воле торговать в лавке, когда прекрасная парфюмерша уходила поболтать к соседкам, и разве он не продавал мыла с улыбкой на лице и саблей у пояса? Разве Эмиль, стоявший у часовщика, не приходил каждый вечер и, сняв мундир, не заводил всех часов в лавке? Разве Эжен, стоявший у жестяника, не возделывал, с трубкой во рту, огорода в четыре квадратных фута, разбитого во дворике, за лавкой, и на коленях в поте лица своего не собирал для жестяника плодов земли, добывая их из этой самой земли? Не умножая примеров, разве Батист, стоявший у бедного водоноса, не сидел в этот самый момент на мостовой, припекаемый лучами солнца, раскорячив свои военные ноги и поставив между ними пустое ведро, и не красил его в ярко-зеленый цвет снаружи и ярко-красный внутри, к восторгу и счастью водоноса, который брел от колодца через площадь, сгибаясь под тяжестью полных ведер? Или, чтобы не ходить далеко, разве у парикмахера, жившего по соседству, не стоял капрал Теофиль...

— Нет! — сказал мистер Англичанин, глядя вниз на парикмахерскую.— Сейчас его здесь нет. Однако девчонка тут.

Крошечная девочка стояла на ступеньках у входа в парикмахерскую и смотрела на площадь. Малютка — чуть побольше грудного младенца — была в плотно прилегающем белом полотняном чепчике, какие носят маленькие деревенские дети во Франции (подобно детям на картинах голландской школы), и в домотканом голубом платьице, совершенно бесформенном, но стянутом у толстенькой шейки. Девочка была низенькая и вся круглая, так что сзади у нее был такой вид, словно ее обрубили у талии и аккуратно приставили сюда голову.

— Однако девчонка тут.

Судя по тому, как девочка терла себе пухлой ручонкой глаза, они недавно были закрыты во сне и только что открылись. Но она так пристально смотрела на площадь, что англичанин тоже начал смотреть туда.

— Ага! — произнес он наконец.— Так я и знал. Капрал там!

Капрал, молодцеватый мужчина лет тридцати, пожалуй чуть-чуть ниже среднего роста, но очень хорошо сложенный,— загорелый капрал с темной острой бородкой,— в этот миг повернулся налево кругом и обратился с многословным наставлением к своему взводу. Форма ладно сидела на капрале, и весь он был подобранный и подтянутый. Это был гибкий и шустрый капрал, отменный капрал, начиная от ослепительно блестящих карих глаз, сверкающих из-под щегольского форменного кепи, и до ослепительно белых гетр. Он был точь-в-точь такой, каким должен быть образцовый французский капрал; образцовыми были и линии его плеч, и линии его талии, и линии его шаровар как в самом широком месте — у бедер, так и в самом узком — у икр.

Мистер Англичанин все смотрел и смотрел, и девочка тоже смотрела, и капрал смотрел (но последний смотрел на своих солдат), пока спустя несколько минут не кончилось ученье, после чего солдаты, усеявшие площадь, тотчас рассеялись. Тут мистер Англичанин сказал себе: «Черт возьми! Гляди-ка!» А капрал, широко расставив руки, побежал вприпрыжку к парикмахерской, схватил девочку, подбросил ее в воздух над своей головой, снова подхватил на лету, поцеловал и скрылся вместе с нею в доме парикмахера.

Надо сказать, что мистер Англичанин был в ссоре со своей заблудшей, непокорной и отвергнутой им дочерью, и все это произошло из-за ребенка. Но разве дочь его тоже не была когда-то ребенком, и разве она не взлетала некогда над головой отца, как эта девочка над головой капрала?

— Он — так его и этак — болван! — сказал Англичанин и закрыл окно.

Но окна в доме Памяти и окна в доме Милосердия не так легко закрыть, как окна из стекла и дерева. Они распахиваются, когда этого меньше всего ожидаешь; они скрипят по ночам; их приходится заколачивать гвоздями. Мистер Англичанин пытался заколотить их, но ему не удалось вбить гвозди как следует. Поэтому вечер он провел в расстройстве чувств, а ночь и того хуже.

Он был человек добродушный? Нет, мягкостью он не отличался и мягкость считал слабостью. Вспыльчивый и сердитый, когда ему противоречили? Очень, и в высшей степени нерассудительный. Угрюмый? Чрезвычайно. Мстительный? Пожалуй. Ведь ему иногда приходили в голову мрачные мысли: он хотел по всем правилам проклясть дочь, обратив взор к небу, как это делается на сцене. Но, вспомнив, что настоящее небо довольно далеко от того поддельного, что находится где-то над театральной люстрой, он раздумал.

И он уехал за границу, чтобы на всю жизнь избавиться от мыслей о своей отвергнутой дочери. И вот он попал сюда.

В сущности, именно по этой причине, больше чем по какой-либо другой, мистеру Англичанину чрезвычайно не нравилось, что капрал Теофиль так любит маленькую Бебе́ль, девочку из парикмахерской. В недобрый час он как-то сказал себе: «Черт его подери, этого малого,— ведь не отец же он ей!» Но эти слова внезапно укололи его самого и привели в еще худшее настроение. Поэтому он в душе ругательски выругал ничего не ведающего капрала и решил больше не думать об этом шуте гороховом.

Но вышло так, что отделаться от капрала ему не удалось. Знай капрал все тончайшие изгибы души англичанина, вместо того чтобы ровно ничего о нем не знать, и будь он не самым любезным капралом во всей славной французской армии, а самым упрямым, он и то не смог бы так решительно и так крепко укорениться в мыслях англичанина. Больше того: казалось, будто капрал вечно торчит у него на глазах. Стоило мистеру Англичанину выглянуть в окно, как взгляд его падал на капрала с маленькой Бебель. Стоило ему выйти на прогулку, как он встречал капрала, гуляющего с Бебель. Стоило ему вернуться домой в полном негодовании, как он видел, что капрал и Бебель опередили его и уже дома. Если он рано утром смотрел в окно, выходящее на двор, оказывалось, что капрал уже тут как тут — на заднем дворе парикмахерской — умывает, одевает и причесывает Бебель. Если же он искал убежища, подходя к окнам, выходящим на улицу, он видел, что капрал выносит свой завтрак на площадь и де-

лится им с Бебель. Вечно — капрал, и вечно — Бебель. Капрал не появлялся без Бебель, Бебель без капрала.

Мистер Англичанин был не очень силен во французском языке, когда ему приходилось на нем говорить, но французские книги он читал и понимал превосходно. Языки то же, что люди: когда знаешь их только с виду, в них легко ошибиться, и нужна беседа, чтобы завести с ними тесное знакомство.

Поэтому мистеру Англичанину пришлось хорошенько собраться с силами, прежде чем он смог подготовиться к обмену мнениями с мадам Букле насчет этого капрала и этой Бебель. Но вот мадам Букле как-то утром заглянула к нему, чтобы извиниться за то, что: о, небо! она в отчаянии, потому что ламповщик не прислал лампы, которую ему отдали в починку; впрочем, ламповщик такой человек, что весь свет от него стонет. И тут мистер Англичанин воспользовался удобным случаем.

— Мадам, эта малютка...

— Простите, мосье. Эта лампа.

— Нет, нет, эта маленькая девочка.

— Но простите! — сказала мадам Букле, закинув удочку, чтобы уловить непонятный для нее смысл его слов.— Разве можно зажечь маленькую девочку или отдать ее в починку?

— Маленькая девочка... в доме парикмахера.

— А-а-а-а! — воскликнула мадам Букле, внезапно улавливая смысл его слов своей тонкой удочкой.— Маленькая Бебель? Да, да, да! И ее друг капрал? Да, да, да, да! Так благородно с его стороны, не правда ли?

— Разве он не...

— Вовсе нет, вовсе нет! Он ей даже не родственник. Вовсе нет!

— Так почему же он...

— Совершенно верно! — воскликнула мадам Букле.— Вы правы, мосье! Это так благородно с его стороны. Тем более благородно, что он ей чужой. Именно так, как вы сказали.

— Она...

— Дочка парикмахера? — Мадам Букле снова ловко закинула удочку.— Вовсе нет, вовсе нет! Она дочка... словом, она ничья дочка.

— В таком случае, жена парикмахера...

— Ну да. Конечно. Именно так, как вы сказали. Жена парикмахера получает небольшое пособие, на которое воспитывает ребенка. Столько-то в месяц. Ну что ж! Разумеется, пособие очень маленькое, но ведь все мы здесь люди бедные.

— Вы не бедны, мадам.

— Не бедна квартирантами,— отозвалась мадам Букле, улыбаясь и грациозно наклоняя голову.— Это верно! А в прочих отношениях живу так себе.

— Вы мне льстите, мадам.

— Мосье, это вы льстите мне тем, что живете здесь.

Мистер Англичанин несколько раз разевал рот порыбьи, выражая этим свое желание возобновить затруднительный для него разговор, и мадам Букле, внимательно присмотревшись к нему, снова закинула свою тонкую удочку, и снова — с полным успехом.

— О нет, мосье, конечно нет. Жена парикмахера не обижает бедного ребенка, но она недостаточно заботлива. Здоровье у нее слабое, и она день-деньской сидит, глядя в окошко. Так что раньше, до того как капрал появился в городе, бедная маленькая Бебель была совсем заброшена.

— Странное...— начал мистер Англичанин.

— Имя? Бебель? Опять вы правы, мосье. Но это уменьшительное от Габриэль.

— Значит, ребенок что-то вроде игрушки для капрала? — спросил мистер Англичанин ворчливо-пренебрежительным тоном.

— Ну что ж! — ответила мадам Букле, пожав плечами и словно прося снисхождения капралу.— Надо же кого-нибудь любить. Человеческая натура слаба.

(«Чертовски слаба»,— буркнул англичанин на родном языке.)

— А капрала,— продолжала мадам Букле,— поставили на квартиру к парикмахеру — и, наверное, он проживет здесь долго, потому что состоит при генерале — и вот, когда он понял, что бедной ничьей девочке нужно, чтобы ее любили, а ему самому нужно кого-нибудь любить... Ну вот в этом-то все и дело, видите ли!

Мистер Англичанин принял это объяснение равнодушно, хотя и благосклонно, а оставшись один, обиженно сказал

самому себе: «Это бы куда ни шло, если б только эти люди — так их и этак — не были столь сентиментальны».

За городом было кладбище, и репутация вобанцев,— и так уже обвиненных англичанином в сентиментальности,— еще больше понизилась в его глазах, когда он в тот же день пошел погулять на это кладбище. Нельзя отрицать, что там можно было многому подивиться (с точки зрения англичанина) и, конечно, ничего похожего не встречалось во всей Британии. Не говоря уже о замысловатых узорчатых сердцах и крестах из дерева и железа, торчавших по всему кладбищу и придававших ему большое сходство с лужайкой, на которой ночью будет пущен великолепный фейерверк, на могилах было столько венков с вышитыми надписями: «Моей матери», «Моей дочери», «Моему отцу», «Моему брату», «Моей сестре», «Моему другу», и венки эти находились в столь различных стадиях нарядности и потрепанности, начиная от вчерашнего венка, блещущего свежими красками и яркими бусами, и до прошлогоднего венка — жалкого гниющего соломенного жгута! Столько садиков было здесь посажено и столько гротов в стольких стилях построено на могилах, а в них были и растения, и раковины, и гипсовые фигурки, и фарфоровые кувшинчики, и всякая всячина! Столько здесь висело картин-памяток (при самом внимательном исследовании их нельзя было отличить от маленьких круглых подносов), и на каждой из них яркими красками были изображены леди или джентльмены с непомерно большими белыми носовыми платками в руках, одетые в безупречнейший траур и с видом глубочайшей скорби опирающиеся на в высшей степени затейливые и роскошные урны! Столько вдов начертало здесь свои имена на гробницах покойных мужей, оставив пустое место для того числа, когда они сами покинут наш горестный мир; столько вдовцов отдало такую же дань своим покойным женам; и столько этих вдов и вдовцов, наверное, давным-давно уже успело снова вступить в брак! Одним словом, здесь было множество всяких вещей, которые иностранцу могли бы показаться хламом, если бы не то обстоятельство, что ничья грубая рука не смела коснуться даже самого простенького бумажного цветочка, лежащего на самой скромной кучке земли, пока он, священный, сам не истлевал здесь!

«Тут не веет торжественностью смерти»,— хотел было сказать мистер Англичанин, но бумажные цветы тронули его, словно робкая мольба, и он ушел с кладбища, так и не сказав того, что хотел сказать.

— А все-таки эти люди,— упрямо подхватил он, словно решив призвать себя к порядку, когда вышел за ворота,— они до того — так их и этак — сентиментальны!

Обратный путь его пролегал близ военного гимнастического плаца. Здесь англичанин прошел мимо капрала, который бойко обучал молодых солдат, как перепрыгивать при помощи каната через быстрые и глубокие потоки, лежащие на их пути к славе, и при этом сам ловко бросался с помоста и пролетал по воздуху футов сто или двести, чтобы личным примером подбодрить своих учеников. И здесь же англичанин прошел мимо сидящей на возвышении маленькой Бебель (должно быть, заботливый капрал сам посадил ее туда), которая смотрела на ученье широко раскрытыми круглыми глазками, похожая на изумленную синюю с белым птичку.

«Если девчонка умрет (и поделом ему: не строй из себя такого дурака!),— думал англичанин, отвернувшись и продолжая идти своей дорогой,— *он*, наверное, тоже потащит венок и поднос на это нелепое кладбище».

Тем не менее англичанин еще раза два выглядывал из окна рано утром, а потом однажды спустился на площадь, когда капрал и Бебель гуляли по ней, коснулся рукой шляпы в виде приветствия капралу (огромный шаг вперед) и поздоровался с ним.

— Добрый день, мосье.

— Довольно хорошенькая у вас девочка,— сказал мистер Англичанин, взяв девочку за подбородок и глядя сверху вниз в ее удивленные голубые глазки.

— Мосье, она очень хорошенькая девочка,— вежливо поправил его капрал, сделав ударение на слове «очень».

— И послушная? — спросил англичанин.

— И очень послушная. Бедняжка!

— Ха! — Англичанин нагнулся и потрепал девочку по щечке, хоть и несколько смутившись: должно быть, ему казалось, что он слишком далеко зашел на пути к сближению.— А что это за медаль висит у тебя на шее, малютка?

Бебель вместо ответа приложила к губам пухлый правый кулачок, и капрал предложил ей свои услуги в качестве переводчика.

— Мосье спрашивает, что это такое, Бебель.

— Это святая дева,— сказала Бебель.

— А кто дал ее тебе? — спросил англичанин.

— Теофиль.

— Кто же он такой, этот Теофиль?

Бебель рассмеялась, и смеялась весело, от души, хлопая в пухлые ладошки и топоча ножонками по каменным плитам площади.

— Он не знает Теофиля! Да он никого не знает! Он ничего не знает! — Но тут Бебель, поняв, что она слегка нарушила этикет, сунула правую ручонку в складки пышных шаровар капрала и, прижавшись к ним щечкой, поцеловала их.

— Мосье Теофиль это вы, если не ошибаюсь? — обратился англичанин к капралу.

— Это я, мосье.

— Разрешите...— Мистер Англичанин крепко пожал руку капралу и пошел прочь. Но ему чрезвычайно не понравилось, что старый мосье Мютюэль, встретив его на солнечной стороне площади, с одобрительным видом снял перед ним картуз. Отвечая на приветствие, англичанин буркнул на родном языке:

— Грецкий орех! *Тебе-то* какое дело?

Много недель мистер Англичанин проводил вечера в расстройстве чувств, а ночи и того хуже и все больше убеждался в том, что, как только стемнеет, вышеупомянутые окна в домах Памяти и Милосердия начинают скрипеть и что заколотил он их весьма неискусно. Вместе с тем он в течение многих недель с каждым днем все ближе и ближе знакомился с капралом и Бебель. Иначе говоря, он брал Бебель за подбородок, а капрала за руку, дарил Бебель мелкие монеты, а капралу сигары и, наконец, даже дошел до того, что обменялся трубками с капралом и поцеловал Бебель. Но все это он проделывал с каким-то стыдливым видом, и ему чрезвычайно не нравилось, что мосье Мютюэль, гуляя на солнышке, все это подмечал. И всякий раз, как англичанину казалось, будто мосье Мютюэль его увидел, он ворчал на своем родном языке:

— Опять ты здесь, грецкий орех! *Тебе-то* какое дело?

Короче говоря, мистер Англичанин только и делал, что наблюдал за капралом и маленькой Бебель да сердился на мосье Мютюэля за то, что тот наблюдает *за ним*. Одно лишь событие внесло некоторое разнообразие в это занятие: как-то раз, ветреной ночью, в городе начался пожар, и одни горожане, став цепью, принялись усердно передавать из рук в руки ведра с водой (причем англичанин деятельно помогал им), а другие — усердно бить в барабаны; и вдруг капрал внезапно исчез.

А потом так же внезапно исчезла Бебель.

В течение нескольких дней после исчезновения капрала она появлялась на улице — в прискорбно немытом и нечесаном виде,— но когда мистер Англичанин заговаривал с нею, она не отвечала, пугалась и убегала прочь. Теперь же походило на то, что она убежала совсем. А Главная площадь лежала под окнами пустынная и опустевшая.

Стыдясь и стесняясь, мистер Англичанин никого ни о чем не спрашивал, он только смотрел в окна, выходящие на улицу, смотрел в окна, выходящие во двор, слонялся по площади, заглядывал в парикмахерскую и проделывал все это и еще многое другое, посвистывая и напевая, с таким видом, словно и речи быть не могло, что ему кого-то недостает; но однажды после полудня, когда та сторона площади, где мосье Мютюэль обычно гулял на солнышке, была уже в тени, так что старик согласно заведенному порядку не имел никакого права выносить на улицу свою красную орденскую ленточку, он вдруг взял да и вышел навстречу англичанину, уже за двенадцать шагов сняв свой картуз!

Мистер Англичанин начал было по привычке ворчать: «Тебе-то какое...» — но прикусил язык.

— Ах, как грустно, как грустно! Увы, какое несчастье, как грустно! — произнес старый мосье Мютюэль, покачивая седой головой.

— Тебе-то ка... то есть, я хотел сказать, что вы имеете в виду, мосье Мютюэль?

— Наш капрал. Увы, наш дорогой капрал!

— Что с ним случилось?

— Вы ничего не слыхали?

— Нет.

— На пожаре. Ведь он был такой храбрый, такой рев-

ностный служака. Ах, слишком храбрый, слишком ревностный!

— Чтоб тебя черт побрал! — нетерпеливо перебил его англичанин.— Простите... я хотел сказать — меня... Я не привык говорить по-французски... Продолжайте, пожалуйста.

— И упавшим бревном...

— Боже мой! — воскликнул англичанин.— Но ведь, кажется, на пожаре погиб солдат?

— Нет. Капрал, тот самый капрал, наш дорогой капрал. Все товарищи его любили. Похороны произвели на всех трогательное впечатление... душераздирающее. Мосье Англичанин, на глазах у вас выступают слезы.

— Тебе-то ка...

— Мосье Англичанин, я уважаю ваше волнение. Я кланяюсь вам с глубоким почтением. Я не буду навязывать свое общество человеку, столь благородному.

Мосье Мютюэль, джентльмен с ног до головы, можно сказать до последней нитки его тусклой манишки,— джентльмен столь чистой воды, что, когда он сжимал сморщенной рукой дешевую жестяную табакерку с четвертью унции дешевого нюхательного табака, то любая щепотка этого табака и та превращалась в нечто джентльменское,— мосье Мютюэль проследовал дальше с картузом в руках.

— Не думал я,— сказал англичанин, погуляв несколько минут и неоднократно высморкавшись,— не думал я, когда осматривал кладбище... что мне снова придется пойти туда!

Он пошел прямо туда и, войдя в ворота, остановился, раздумывая, не спросить ли привратника, как пройти к могиле. Но он меньше чем когда-либо был расположен задавать вопросы и потому решил: «Наверное я увижу на этой могиле что-нибудь такое, что поможет мне узнать ее».

В поисках могилы капрала он не спеша бродил то по одной дорожке, то по другой, высматривая среди крестов, сердец, колонн, обелисков и надгробных камней холмик свежевзрытой земли. Теперь ему стало грустно при мысли о том, как много на этом кладбище мертвых,— в первое его посещение ему казалось, что их раз в десять меньше, а побродив и поискав еще немного, он сказал себе, окинув взглядом еще одну вереницу могил: «Должно быть, все умерли, кроме меня».

Нет, не все. На земле спал живой ребенок. Так оно и вышло: англичанин и в самом деле увидел на могиле капрала то, что помогло ему узнать ее, и это была Бебель.

Так любовно убрали товарищи покойного солдата место его последнего упокоения, что оно успело превратиться в хорошенький садик. На зеленом дерне этого садика, прижавшись щекой к траве, спала Бебель. Простой, некрашеный деревянный крестик стоял, вкопанный в дерн, и коротенькая ручонка Бебель обвивала этот крестик так же, как раньше много раз обвивала шею капрала. В могилу воткнули крошечный флажок (французский национальный флаг) и украсили ее лавровым венком.

Мистер Англичанин обнажил голову и несколько мгновений стоял молча. Но вот он надел шляпу, стал на одно колено и тихонько приподнял девочку.

— Бебель! Крошка моя!

Бебель открыла глазенки, все еще мокрые от слез, и сначала испугалась, но, узнав англичанина, пошла к нему на руки, пристально глядя на него.

— Не надо лежать здесь, крошка моя. Пойдем со мною.

— Нет! нет! Нельзя же бросить Теофиля. Я хочу к доброму, милому Теофилю!

— Мы поедем искать его, Бебель. Поедем искать его в Англии. Поедем искать его у моей дочери, Бебель.

— А мы найдем его там?

— Мы найдем там самое лучшее, что от него осталось. Пойдем со мной, бедная, заброшенная малютка! Призываю небо в свидетели,— тихо произнес англичанин и, прежде чем встать, прикоснулся к дерну в том месте, где под землей лежала грудь доброго капрала,— что я с благодарностью принимаю на себя заботу об этом ребенке!

Идти было далеко, и девочку пришлось взять на руки. Она тотчас же снова уснула и теперь уже обнимала за шею англичанина. Он взглянул на ее истрепанные башмачки, на ее исцарапанные ножки, на ее усталое личико, и понял, что она приходила сюда каждый день.

Он уже отошел было от могилы со спящей Бебель на руках, но вдруг остановился, задумчиво посмотрел на землю, задумчиво окинул взглядом соседние могилы.

— Такой уж обычай у этих людей, и ничего плохого в нем нет,— нерешительно проговорил мистер Англичанин.— Я, пожалуй, не прочь последовать их примеру. Никто не увидит.

Стараясь не разбудить Бебель, он пошел к сторожке, где продавались венки и прочее, и купил два венка. Один голубой с белым, украшенный блестящей серебряной мишурой, с надписью: «Моему другу»; другой неяркого красного цвета с черным и желтым и тоже с надписью: «Моему другу». С венками в руках он вернулся к могиле и снова опустился на одно колено. Приложив яркий венок к губам девочки, он помог ей повесить его на крест; потом повесил и свой венок. В сущности, венки эти довольно хорошо гармонировали с садиком. «Моему другу»; «Моему другу».

Когда мистер Англичанин с девочкой на руках выглянул из-за угла на Главную площадь, ему отнюдь не понравилось, что старик Мютюэль все еще расхаживает там, проветривая свою красную ленточку. Англичанин приложил неимоверные усилия к тому, чтобы увильнуть от достойного Мютюэля, и потратил поразительное количество времени и труда, стараясь прокрасться в свою собственную квартиру на манер человека, которого преследует правосудие. Наконец, благополучно вернувшись домой, он занялся туалетом Бебель, стараясь возможно точнее припомнить, как возился с нею бедный капрал; затем накормил и напоил ее и уложил на свою кровать. После этого он проскользнул в парикмахерскую, немного поговорил с парикмахершей, немного пошарил в своем кошельке и футляре для визитных карточек и, наконец, вернулся домой, забрав все пожитки Бебель, связанные в узелок, такой крошечный, что он совершенно скрывался у него под мышкой.

Увозить Бебель открыто и выслушивать комплименты и поздравления по случаю этого подвига было отнюдь не совместимо с его привычками и характером, и потому он весь следующий день придумывал, как вынести из дома оба свои чемодана, чтобы никто этого не заметил, и вообще во всех отношениях вел себя так, словно собирался бежать; впрочем, за одним исключением — он уплатил все те немногие долги, которые сделал в городе, и вместо словесного предупреждения написал мадам Букле письмо,

в которое вложил достаточную сумму. Поезд должен был отойти в полночь, и в этом поезде англичанин хотел увезти Бебель, чтобы искать с нею Теофиля в Англии, у своей прощенной дочери.

В полночь, при свете луны, мистер Англичанин пробирался по городу, как безобидный убийца, с Бебель вместо кинжала на груди. Тихо было на Главной площади и тихо на безлюдных улицах; закрылись все кафе; неподвижные, жались кучкой бильярдные шары; дремали сторожа и часовые, стоявшие там и сям на часах; даже Управление городских налогов, уснув, временно лишилось своего ненасытного аппетита.

Мистер Англичанин оставил позади себя площадь, оставил позади себя улицы, оставил позади себя кварталы, где обитало штатское население, и спустился к окружающим все это военным сооружениям Вобана, всюду пробираясь стороной. Когда тень первой массивной арки и потерны упала на него, а потом осталась позади; когда тень второй массивной арки и потерны тоже упала на него, а потом осталась позади; когда глухой стук его шагов на первом подъемном мосту перешел в более тихий шум; когда глухой стук его шагов на втором подъемном мосту тоже перешел в более тихий шум; когда англичанин перебрался через все канавы со стоячей водой и вышел к текучим водам на лунный свет,— тогда темные тени в его душе исчезли, глухие шумы умолкли, а ее потоки, когда-то напрасно запруженные, прорвались на волю. Слушайте же вы, «Вобаны» ваших собственных сердец, ограждающие свои сердца тройными стенами и рвами, цепями, засовами, запорами и поднятыми мостами,— сройте эти укрепления, сровняйте их со всепоглощающим прахом, прежде чем настанет та ночь, когда уже ничьи руки не смогут работать!

Все обошлось благополучно. Англичанин вошел в пустое отделение вагона, уложил Бебель рядом с собой на сиденье, как на кровать, и укрыл ее с ног до головы своим плащом. Едва успел он закончить все эти приготовления, едва откинулся на спинку своего сиденья, с большим удовлетворением созерцая дело рук своих, как вдруг заметил в открытом окне вагона необычное явление: маленькая жестяная коробочка, словно призрак, плыла и реяла в лунном свете.

Он наклонился вперед и высунул голову наружу. Внизу среди рельсов, колес и золы стоял мосье Мютюэль со своей красной ленточкой и всем прочим!

— Прошу прощенья, мосье Англичанин,— сказал мосье Мютюэль, держа табакерку в вытянутой руке: вагон был очень высокий, а старик очень низенький,— но я буду вечно почитать эту маленькую табакерку, если ваша столь щедрая рука возьмет из нее щепотку на прощанье.

Прежде чем исполнить эту просьбу, мистер Англичанин высунулся из окна и, не спрашивая старика, какое ему дело, пожал ему руку со словами: «Прощайте! Благослови вас бог!»

— Да благословит бог *и вас,* мистер Англичанин,— вскричала мадам Букле, которая тоже стояла среди рельсов, колес и золы.— И бог благословит вас счастьем дитяти, которое теперь с вами. И бог благословит вас в вашем собственном детище дома. И бог благословит вас вашими воспоминаниями! А вот это от меня!

Едва он успел выхватить у нее из рук букет, как поезд уже сорвался с места и полетел в ночь. На бумаге, в которую был обернут букет, кто-то (наверное, тот племянник, что писал как ангел) написал красивым почерком: «Дань другу тех, что лишены друзей».

— Неплохие люди, Бебель,— сказал англичанин, тихонько сдвинув плащ с личика спящей девочки, чтобы поцеловать ее,— хотя они до того...

Но в ту минуту он сам был слишком «сентиментален», чтобы произнести это слово, и только всхлипнул, а потом несколько миль ехал при лунном свете, прикрыв рукою глаза.

## ГЛАВА III

### *Его пакет в оберточной бумаге*

Мои произведения хорошо известны. Я молод и занимаюсь искусством. Вы много раз видели мои произведения, но пятьдесят тысяч шансов против одного, что вы не видели меня. Вы говорите, что не хотите меня видеть? Вы

говорите, что интересуетесь моими работами, но не мною? Не будьте в этом так уверены. Подождите минутку.

Давайте запишем все это черным по белому сразу же, чтобы впоследствии не было никаких неприятностей и нареканий. Об этом позаботится один мой приятель, специалист по надписыванию билетов, а значит, приверженный к литературе. Я молод и занимаюсь искусством, изящными искусствами. Вы много раз видели мои произведения, я возбудил ваше любопытство, и вы думаете, что видели меня. Тем не менее, как правило, вы никогда меня не видели, никогда не видите и никогда не увидите. Кажется, ясно... Но вот это-то меня и поражает. Кто-кто, а я — неудачливая знаменитость.

Один известный (а быть может, неизвестный) философ заметил, что мир ничего не знает о своих величайших людях. Он выразил бы это еще яснее, обрати он взор в мою сторону. Он мог бы сказать, что если мир кое-что знает о тех, кто лишь делает вид, что играет, однако выигрывает, то он ничего не ведает о тех, кто действительно играет, но не выигрывает. Это то же самое в других словах — и это-то меня и поражает.

Не в том дело, что я один страдаю от несправедливости, а в том, что я острее чувствую свои обиды, чем обиды любого другого человека. Занимаясь, как я уже говорил, изящными искусствами, а не благотворительностью, я откровенно сознаюсь в этом. Что касается обиженных товарищей, то таких товарищей у меня достаточно. Кого вы каждый день пропускаете на ваших экзаменационных пытках? Счастливых кандидатов, чьи головы и печени вы на всю жизнь вывернули наизнанку? Ну нет! На самом деле вы пропускаете репетиторов и тренировщиков. Если ваши принципы справедливы, почему бы вам завтра же не выйти с ключами от ваших городов на бархатных подушках, с оркестрами музыки, с реющими флагами и, стоя на коленях, не прочитать адреса репетиторам и тренировщикам, умоляя их прийти и править вами? Возьмем теперь ваши всевозможные государственные дела, ваши финансовые отчеты и ваши бюджеты; поистине много знает общество о тех, кто на самом деле составляет все это! Ваша знать и ваше дворянство — люди отменные? Да; гусь тоже отменная птица. Но вот что я вам скажу о гусе: он показался

бы вам не особенно вкусным, если бы не был нафарширован.

Быть может, я ожесточился из-за своей непопулярности? Но допустим, что я популярен. Допустим, что мои произведения всегда привлекают внимание. Допустим, что когда бы их ни показывали — при дневном свете или при искусственном,— они неизменно привлекают публику. Значит, они, несомненно, хранятся в какой-нибудь коллекции? Нет, они не хранятся ни в какой коллекции. Их воспроизводят в репродукциях? Нет, даже не воспроизводят. Так или иначе должны же они находиться где-нибудь? Опять неверно, ибо их зачастую нет нигде.

Вы скажете: «Во всяком случае, вы, друг мой, в прескверном расположении духа». Отвечу: я уже охарактеризовал себя как неудачника, и это вполне объясняет, почему, как говорится, «в кокосовом орехе прокисло молоко».

Люди, бывшие в Лондоне, знают то место на Сэррейском берегу реки Темзы, где стоит Обелиск, или, как его чаще называют, «Камень преткновения». Люди, не бывавшие в Лондоне, узнают о нем теперь, раз я упомянул о нем. Моя квартира недалеко оттуда. Я молодой человек, ленивый по натуре, и лежу в постели до тех пор, пока не почувствую настоятельной потребности встать и сколько-нибудь заработать, а сделав это, я снова ложусь в постель и лежу, пока не истрачу заработанного.

Как-то раз, когда мне пришлось выйти из дому в поисках съестного, я шел по Ватерлоо-роуд вечером, после наступления темноты, в обществе одного знакомого, моего соседа по квартире, по профессии газопроводчика. С ним приятно водить компанию; он работал в театрах, да и сам истый театрал и жаждет выступить на сцене в роли Отелло — то ли потому, что от работы лицо и руки у него всегда более или менее черные, или еще почему-нибудь,— этого я не сумею объяснить.

— Том,— говорит он,— вас тяготит какая-то тайна!

— Да, мистер Клик,— все в нашем доме величают его «мистер Клик», так как он снимает квартиру во втором этаже окнами на улицу и сплошь устланную коврами, да и мебель у него собственная, и хоть она не из красного дерева, но отлично сделана под красное дерево,— да, мистер Клик, меня тяготит тайна.

— Она угнетает вас, правда? — спрашивает он, искоса поглядывая на меня.

— Да, конечно, мистер Клик, с нею связаны обстоятельства,— я не удержался от вздоха,— которые действуют угнетающе.

— Потому-то вы и стали человеконенавистником, правда? — говорит он.— Так вот что я вам скажу: будь я на вашем месте, я бы это с себя стряхнул.

— Будь я на вашем месте, мистер Клик, я бы так и сделал, но будь вы на моем месте, вы бы так не сделали.

— Вот оно что! — говорит он.— За этим что-то кроется.

Некоторое время мы шли молча, как вдруг он возобновил разговор, дотронувшись до моей груди.

— Видите ли, Том, мне кажется, выражаясь словами поэта, написавшего семейную драму «Незнакомец» *, что в сердце у вас тайное горе.

— Совершенно верно, мистер Клик.

— Надеюсь, Том,— дружеским тоном продолжал он вполголоса,— дело тут не в изготовлении фальшивой монеты и не в банкротстве?

— Нет, мистер Клик. Не беспокойтесь.

— И не в подл...— мистер Клик запнулся и докончил,— и не в подделывании каких-нибудь документов, например?

— Нет, мистер Клик. Я законным образом занимаюсь искусством, изящными искусствами... но больше я ничего не могу сказать.

— Так! Вы родились под какой-то особой звездой? Что-нибудь вроде зловещих чар? Своего рода несчастная судьба? Червь втайне подтачивает ваши жизненные силы, насколько я могу догадаться? — спросил мистер Клик, воззрившись на меня не без восхищения.

Я сказал мистеру Клику, что уж если говорить начистоту, пожалуй, так оно и есть, и мне кажется, он начал гордиться мной.

Беседуя, мы подошли к толпе, бо́льшая часть которой старалась пробиться в передние ряды, откуда можно было увидеть нечто на тротуаре, а именно — различные рисунки, исполненные цветными мелками на каменных плитах и освещенные двумя свечами в подсвечниках из глины.

Вот содержание этих рисунков: голова и передняя часть тела хорошего, свежего лосося, очевидно только что присланного на дом из рыбной лавки; лунная ночь на море (в кругу); убитая дичь; спиральный орнамент; голова седовласого отшельника, погруженного в молитвенное созерцание; голова пойнтера, курящего трубку; херувим с младенчески пухлым телом, горизонтально летящий против ветра. Я нашел, что все это было исполнено превосходно.

Невзрачный, бедно одетый человек, весь дрожа (хотя было вовсе не холодно), стоял на коленях сбоку от этой картинной галереи, сдувая меловую пыль с луны, тушуя лоскутком кожи затылок отшельника и утолщая нижние линии некоторых букв в надписях. Я забыл сказать, что в состав композиции входили надписи и что, по-моему, они тоже были исполнены превосходно. Вот что было написано красивым круглым почерком: «Честный человек — благороднейшее божье создание. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Ф.Ш.П. Смиренно прошу дать работу в какой-либо конторе. Чтите королеву. Голод 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 острый шип. Чип-чоп, чери-чоп, фоль-де-роль де-ри-до. Астрономия и математика. Я пишу и рисую, чтобы поддержать свое семейство».

Необычайная красота этих произведений вызвала в толпе шепот восхищения. Художник закончил растушевку (испортив все места, к которым притрагивался), сел на тротуар, скрючившись так, что колени его почти касались подбородка, и тут его начали осыпать полупенсами.

— Жаль, что такой талантливый человек дошел до такой нищеты, не правда ли? — сказал мне один из зрителей.

— Чего только он не сделал бы, работай он по окраске карет или внутренней отделке домов! — сказал другой, откликаясь на слова первого, потому что я промолчал.

— Да что там, взгляните только на его почерк! Он пишет, как... лорд-канцлер! — сказал третий.

— Лучше! — возразил четвертый.— Я знаю, как пишет лорд-канцлер. Кто-кто, а уж *он* не смог бы поддерживать свое семейство этой работой.

Тут одна женщина отметила, как естественно распушились волосы отшельника, а другая, ее подруга, сказала насчет рыбьих жабр, что так и кажется, будто они раздуваются. Потом один пожилой джентльмен, провинциал, вы-

ступил вперед и спросил невзрачного человека, каким образом он исполняет свои произведения. Невзрачный человек вынул из карманов цветные мелки, завернутые в клочки оберточной бумаги, и показал их. Затем какой-то болван с прекрасным цветом лица, рыжеватыми волосами и в очках спросил насчет отшельника — не портрет ли это? Бросив скорбный взгляд на рисунок, невзрачный человек ответил, что отшельник до некоторой степени напоминает его отца. Тут какой-то мальчишка взвизгнул: «А может, пойнтер с трубкой — твоя мамаша?» — но его немедленно прогнал с глаз долой один благосклонный зритель, плотник с корзиной, полной инструментов, на спине.

При каждом новом вопросе или замечании толпа все с большим интересом тянулась к рисункам и все щедрее бросала полупенсы, а невзрачный человек подбирал их все более смиренно. Наконец другой пожилой джентльмен выступил вперед и, подав художнику свою визитную карточку, предложил ему прийти завтра к нему в контору и получить работу по переписке. К карточке был приложен шестипенсовик, так что художник выразил джентльмену глубокую благодарность и, прежде чем спрятать карточку в шляпу, несколько раз прочел ее при свете свечей, чтобы хорошенько запомнить адрес, на случай, если она затеряется. Толпу все это очень заинтересовало, и один человек из второго ряда проворчал грубым голосом, обращаясь к художнику:

— Выходит, вам теперь повезло, а?

Художник ответил (посапывая с очень грустным лицом):

— Надеюсь, что так, и очень благодарен.

На это толпа загудела хором: «Ну, теперь вы обеспечены»,— и полупенсы стали притекать несравненно медленнее.

Я почувствовал, что меня взяли за плечо и оттащили прочь, и вот мы с мистером Кликом уже очутились один на один на углу следующего перекрестка.

— Слушайте, Том,— сказал мистер Клик,— какое у вас было ужасное выражение лица!

— Неужели? — говорю я.

— Неужели? — говорит мистер Клик.— Да у вас был такой вид, словно вы жаждали его крови.

— Чьей крови?

— Художника.

— Художника? — повторил я. И я разразился бешеным, диким, мрачным, бессмысленным, неприятным хохотом. Я чувствую, что я это сделал. Знаю, что сделал.

Мистер Клик взглянул на меня с испугом, но ничего не сказал, пока мы не дошли до конца улицы. Тут он резко остановился и проговорил, возбужденно помахивая указательным пальцем:

— Томас, придется мне поговорить с вами начистоту. Я не люблю завистливых людей. Я понял, какой червь подтачивает ваши жизненные силы, Томас: этот червь — зависть.

— Вот как? — говорю я.

— Да, именно так! — говорит он.— Томас, берегитесь зависти! Это зеленоглазое чудище никогда не прибавляло и не сможет прибавить радости к светлой минуте, но совсем наоборот! Я боюсь завистливых людей, Томас. Каюсь, я страшусь завистливых людей, если они так завистливы, как вы. Когда вы рассматривали произведения одаренного соперника, когда вы слушали похвалы этому сопернику, и особенно когда вы поймали его смиренный взгляд, в то время как он прятал визитную карточку, лицо у вас дышало такой злостью, что было просто страшно. Томас, я слышал о том, как завистливы люди, которые занимаются искусством, но я и не подозревал, что можно быть таким завистливым, как вы. Желаю вам всего хорошего, но прощаюсь с вами. И если вы когда-нибудь попадете в беду, пырнув ножом или, скажем, задушив своего брата художника (а вы того и гляди до этого докатитесь), не приглашайте меня в свидетели, Томас, не то придется мне ухудшить ваше положение.

Тут мистер Клик со мной расстался, и мы раззнакомились.

Я влюбился. Ее звали Генриэтта. Наперекор своей лени я часто вставал с постели, чтобы встречаться со своей милой. Так же как и я, она жила неподалеку от Обелиска — этого «Камня преткновения»,— и я горячо надеялся, что никакой другой камень преткновения не ляжет на пути к нашему союзу.

Сказать, что Генриэтта была ветрена,— значит, сказать, что она была женщина. Сказать, что она занималась отделкой дамских шляп,— значит, лишь очень слабо выразить, с каким вкусом была отделана ее собственная шляпка.

Она согласилась ходить со мной на прогулки. Позвольте мне отдать ей должное, подчеркнув, что согласие она дала лишь после того, как подвергла меня испытанию.

— Я еще не готова,— говорила Генриэтта,— смотреть на вас, Томас, иначе, как на друга; но как друг я охотно буду гулять с вами, надеясь, что более нежные чувства, быть может, нахлынут впоследствии.

Мы ходили гулять.

Очарованный Генриэттой, я теперь вставал с постели каждый день. Я занимался своим делом с дотоле невиданным усердием, и все это время люди, хорошо знакомые с лондонскими улицами, наверное, заметили, что на них было больше... Но молчок! Еще не настала пора!

Как-то раз вечером в октябре я гулял с Генриэттой, наслаждаясь прохладным ветром, веявшим над мостом Воксхолл. Медленно пройдясь несколько раз взад и вперед, Генриэтта начала часто зевать (ведь все женщины жаждут волнующих развлечений) и, наконец, сказала:

— Давайте вернемся домой через Гровенор-Плейс, Пикадилли и Ватерлоо.

Отмечу для сведения иностранцев и провинциалов, что это хорошо известные в Лондоне площадь, улица и мост.

— Нет. Не через Пикадилли, Генриэтта,— сказал я.

— А почему не через Пикадилли, скажите, пожалуйста? — спросила Генриэтта.

Мог ли я сказать ей? Мог ли я сознаться, что меня гнетет недоброе предчувствие? Мог ли я заставить ее понять меня? Нет.

— Пикадилли мне не нравится, Генриэтта.

— А мне нравится,— сказала она.— Теперь уже темнеет, а когда темно, длинные ряды фонарей на Пикадилли выглядят очень красиво. Я пойду через Пикадилли.

Разумеется, мы так и пошли. Вечер был приятный, и на улицах толпился народ. Вечер был свежий, но не холодный и не сырой. Позвольте мне заметить, что такой вечер лучше всего подходит *для некоторых целей*.

Когда мы шли по Гровенор-Плейс мимо садовой ограды королевского дворца, Генриэтта промолвила тихо:

— Хотелось бы мне быть королевой.

— Почему, Генриэтта?

— Тогда я вывела бы *вас* в люди,— сказала она и, обеими руками взяв меня под руку, отвернулась.

Сделав из этого вывод, что вышеупомянутые более нежные чувства уже нахлынули, я сообразовал с ними свое поведение. Так мы, счастливые, вышли на ненавистную Пикадилли. По правой стороне этой улицы тянутся ряды деревьев, решетка Грин-парка и отличный, широкий, вполне подходящий тротуар.

— Ах! — вскрикнула Генриэтта.— Тут произошел несчастный случай.

Я посмотрел налево и спросил:

— Где, Генриэтта?

— Не там, глупенький! — сказала она.— Вон там, у решетки парка. Там, где собралась толпа. Нет, это не несчастный случай — просто люди на что-то смотрят! А что это за огоньки?

Она говорила о двух огоньках, горевших у самой земли и видневшихся между ногами толпы; это были две свечи на тротуаре.

— Ах, пойдемте туда! — воскликнула Генриэтта, перебегая вместе со мной через улицу. Я упирался, но тщетно.— Давайте посмотрим!

Опять рисунки на тротуаре. В среднем отделении — извержение Везувия (в кругу), под ним четыре овальных отделения, а в них: корабль в бурю, баранья лопатка с двумя огурцами, золотая нива с коттеджем владельца на заднем плане и нож с вилкой, нарисованные в натуральную величину; над средним отделением — виноградная кисть, а над всей композицией — радуга. Все это, по-моему, было нарисовано превосходно.

Человек, оберегавший эти произведения искусства, был во всех отношениях, не считая поношенной одежды, не похож на того, которого видели мы с мистером Кликом. Весь его вид и поведение дышали бодростью. Оборванец, он давал понять толпе, что бедность не принизила его и не омрачила чувством стыда его честные старания обратить свои таланты на пользу. Надписи, входившие в состав ком-

позиции, тоже были сочинены в бодром тоне. Вот какие чувства они выражали: «Пишущий беден, но не пал духом. К британской 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 публике он Ф. Ш. П. взывает. Честь и слава нашей храброй армии! А также 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 нашему доблестному флоту. БРИТАНЦЫ, ПОПАДАЙТЕ АБВГДЕЖ. Пишущий обыкновенными мелками будет благодарен за предоставление подходящего занятия. В ТОЧКУ! УРА!» Все это, по-моему, было написано превосходно.

Но в одном отношении этот человек был похож на первого: хотя он как будто усердно работал, орудуя множеством резинок и мелков в оберточной бумаге, однако на самом деле он только кое-где утолщал нижние линии двух-трех букв да сдувал меловую пыль с радуги или тушевал контуры бараньей лопатки. Он делал это весьма самоуверенно, но (как я тотчас заметил) столь неискусно, что портил все, к чему прикасался, так что когда он принялся за пурпурный дым, поднимающийся из отдаленного коттеджа владельца золотой нивы (дым был написан в красивых нежных тонах), я невольно высказал вслух свои мысли:

— Слушайте, оставьте дым в покое.

— Эй, ты! — вскричал мой сосед в толпе, грубо отпихнув меня локтем.— Что бы тебе прислать телеграмму? Знай мы, что ты сюда явишься, мы бы припасли для тебя кое-что поинтересней. Ты, может, лучше него знаешь толк в его ремесле, а? Скажи, ты уже написал завещание? Ты ведь не жилец на свете — умен больно.

— Не браните этого джентльмена, сэр,— сказал человек, оберегавший произведения искусства, и подмигнул мне,— быть может, он сам художник. Если да, сэр, значит, он, как свой брат, понимает меня, когда я...— тут в соответствии со своими словами он принялся работать над композицией, бойко хлопая в ладоши после каждого штриха,— когда я накладываю более светлую краску на свою кисть винограда... когда я оттеняю оранжевый цвет на своей радуге... подправляю букву «и» в слове «британцы»... бросаю желтый блик на свой огурец... добавляю еще прослойку жира к своей бараньей лопатке... роняю лишнюю зигзагообразную молнию на свой корабль, терпящий бедствие!

На первый взгляд, он проделывал все это очень аккуратно и проворно, и полупенсы так и полетели к нему.

— Благодарю, щедрая публика, благодарю! — воскликнул сей профессор.— Вы вдохновляете меня на дальнейшие усилия! Мое имя еще попадет в список британских живописцев. Поощряемый вами, я буду рисовать все лучше и лучше. Бесспорно лучше.

— Лучше этой виноградной кисти вы ничего не нарисуете,— сказала Генриэтта.— О Томас, какой виноград!

— Лучше *этого,* леди? Надеюсь, придет время, когда я буду изображать только ваши прекрасные глазки и губки, да так, чтобы вышли они, как живые.

— (Томас, а вы разве изображали их?) Но на это, наверное, уйдет много времени, сэр,— сказала Генриэтта, краснея,— то есть, чтобы вышли они как живые.

— Я учился этому, мисс,— сказал молодой человек, бойко растушевывая рисунки,— учился этому в пещерах Испании и Портингалии очень долго, да еще два года.

В толпе засмеялись, и новый зритель, протолкавшись вперед, ко мне, сказал:

— А ведь он и сам молодец, правда?

— И какой у него верный глаз! — тихо воскликнула Генриэтта.

— Да уж как у кого, а у него глаз должен быть верным,— сказал мой сосед.

— Еще бы, конечно должен! — прогудела толпа.

— Не обладай он столь верным глазом, он не мог бы нарисовать вот эту горящую гору,— сказал мой сосед. Он каким-то образом заставил окружающих признать себя авторитетом, и все смотрели на его палец, когда он показывал на Везувий.— Нужно иметь верный глаз, чтобы добиться такого эффектного освещения, но добиться этого двумя мазками... да как он только не ослеп!

Самозванец, сделав вид, что не слышит этих слов, теперь усиленно замигал обоими глазами сразу, словно они не выдержали столь большого напряжения, и откинул назад свои длинные волосы — они у него были очень длинные,— как бы желая охладить пылающий лоб. Я смотрел на него, но вдруг Генриэтта шепнула мне: «О Томас, какое у вас страшное лицо!» — и за руку вытащила меня из толпы.

Вспомнив слова мистера Клика, я в смущении спросил:

— То есть почему страшное?

— Ах, господи! Да у вас был такой вид,— сказала Генриэтта,— словно вы жаждали его крови.

Я хотел было ответить: «Я готов отдать два пенса, чтобы она потекла... у него из носа»,— но сдержался и промолчал.

Домой мы шли не говоря ни слова. С каждым нашим шагом более нежные чувства, нахлынувшие давеча, отливали со скоростью двадцати миль в час. Сообразуя свое поведение с отливом, как я это делал с приливом, я опустил руку, так что Генриэтте едва удавалось держаться за нее, и на прощанье пожелал ей спокойной ночи таким холодным тоном, что не погрешу против истины, если скажу, что этот тон прямо-таки резал ухо.

На другой день я получил следующий документ:

«Генриэтта извещает Томаса, что глаза мои открылись и я увидела Вас в истинном свете. Я обязана пожелать Вам всего хорошего, но прогулки кончены, и мы разделены непроходимой пропастью. Человек, столь злобствующий на превосходство — о, этот взгляд, брошенный на него! — никогда не поведет

*Генриэтту*

P. S к венцу».

Подчиняясь своей природной лени, я после получения этого письма залег в постель на неделю. Все это время Лондон был лишен обычных плодов моей работы. Когда же я вновь принялся за нее, я узнал, что Генриэтта вышла замуж за художника с Пикадилли.

Как я сказал? «За художника»? Какие жестокие слова, какой в них подлый обман и какая горькая насмешка! Я... я... я...— этот художник. Это я создал рисунки на Пикадилли, это я создал рисунки на Ватерлоо-роуд, это я, один я создаю все те рисунки на тротуарах, которые денно и нощно вызывают ваше восхищение. Я их создаю, и я сдаю их напрокат. Человек, которого вы видите с мелками в бумажках и резинками, человек, который подправляет нижние линии букв в надписях и подтушевывает лосося, человек, которому вы верите, человек, которому вы даете деньги, берет напрокат — да! и я дожил до

того, что рассказал об этом! — берет у меня напрокат эти произведения искусства, а сам не привносит в них ничего, кроме свечей.

Такова судьба гения в стране торгашей. Я не умею дрожать, я не умею вести себя бойко, я не умею просить, чтобы мне «дали занятие в какой-нибудь конторе»,— я только и умею, что придумывать да создавать свои произведения. Поэтому вы никогда меня не видите; вы думаете, что видите меня, но на самом деле видите кого-то другого, а этот «кто-то» просто торгаш. Тот, кого мы с мистером Кликом видели на Ватерлоо-роуд, умеет писать только одно-единственное слово «умножение» (и этому его выучил я), но слово это он пишет шиворот-навыворот, потому что не в силах написать его как следует. Тот, кого мы с Генриэттой видели у решетки Грин-парка, может только-только размазать при помощи своего обшлага и резинки оба конца радуги — если ему уж очень захочется порисоваться перед публикой,— но он даже ради спасения своей жизни не сумеет намалевать дугу этой радуги, так же как не сумеет намалевать лунный свет, рыбу, вулкан, кораблекрушение, отшельника или вообще достичь любого из моих наиболее прославленных эффектов.

Окончу тем, чем начал: кто-кто, а я — неудачливая знаменитость. И если вы даже очень часто видели, видите или будете видеть мои произведения, пятьдесят тысяч шансов против одного, что вы никогда не увидите меня, разве только когда свечи догорят, торгаш уйдет и вы случайно заметите небрежно одетого молодого человека, тщательно стирающего последние следы рисунков, чтобы никто не смог нарисовать их вновь. Это я!

## ГЛАВА IV

### *Его удивительный конец*

К настоящему времени всем уже стало ясно, что я продал вышеприведенные сочинения. То обстоятельство, что они напечатаны на этих страницах, побудит читателя (смею ли я добавить — снисходительного читателя?) сде-

лать вывод, что я продал их одному Лицу, которое еще никогда... [1]

Расставшись с этими сочинениями на самых выгодных условиях,— ибо, начав переговоры с данным журналом, я отдал себя в руки Лица, о коем можно сказать словами другого Лица, что... [1] — я вернулся к своим обычным занятиям. Но я слишком скоро узнал, что спокойствие духа покинуло то чело, над которым вплоть до сего времени Время только уничтожало волосы, оставляя все пространство под ним непотревоженным.

Излишне скрывать: чело, о коем я говорю,— мое собственное.

Да, над этим челом тревога реяла, словно черное крыло легендарной птицы, которая... про которую, впрочем, все здравомыслящие люди сами знают. А если и нет, я все же не могу с места в карьер говорить о ней подробно. Мысль о том, что сочинения теперь неизбежно попадут в печать и что Он еще жив и, возможно, увидит их, засела в моем изнуренном теле, как Ведьма Ночная. Гибкость ума покинула меня. Не помогла и бутылка — ни с вином, ни с лекарством. Я прибегал к обеим, но обе они только истощали и иссушали мой организм.

Пребывая в столь угнетенном состоянии духа (я был подвержен ему с тех пор, как впервые начал обдумывать, что я скажу Ему, неведомому, если он появится в общем зале и потребует удовлетворения), я как-то раз утром, в ноябре сего года, пережил нечто такое, что показалось мне перстом Судьбы и Совести одновременно. Я был в общем зале, один. Только что кончив мешать огонь в камине, чтобы он запылал ярче, я стал к нему спиной, надеясь, что проникающее в меня тепло смягчит внутренний голос Совести, как вдруг молодой человек в кепи, на вид образованный, хоть и слишком уж долгогривый, появился передо мной.

— Мистер Кристофер, метрдотель?

— Он самый.

Молодой человек стряхнул с глаз волосы, вынул из-за пазухи пакет и, передавая его мне, сказал, устремив на

---

[1] Конец этой хвалебной фразы вычеркнут редактором. *(Прим. автора.)*

меня (или это мне почудилось?) многозначительно сверкающий взгляд:

— *Корректуры.*

Я чувствовал по запаху, что фалды моего фрака уже тлеют, но был не в силах отойти от камина. Молодой человек вложил пакет в мою дрожащую руку и повторил — надо отдать ему должное — весьма вежливым тоном:

— *Корректуры. К. Г.*

К. Г. *Какая Гадость.* Он это хотел сказать? *Кайся, Грешник.* Буквы напоминали мне об этом? *Кара Грозит.* Они этими словами предостерегали меня? *Кто-то Гибнет?* Но нет: тут, к счастью, нужно «Х», а первой буквой было «К».

Я открыл пакет и увидел, что в нем находятся вышеприведенные сочинения в том самом виде, в каком читатель (смею ли я добавить — проницательный читатель?) созерцает их в настоящее время. Тщетно успокоительный голос шептал мне: «К. Г.» — журнал «Круглый год», он не мог уничтожить слова «корректуры». Слишком уж оно подходило к данному случаю. Корректуры сочинений, которые я столь некорректно продал.

Отчаяние мое возрастало с каждым днем. Пока дело не было сделано и сочинения не попали в печать, я не думал об опасности, которой подвергался, и о том, что сам себя сделал притчей во языцех. Вернуть журналу полученные от него деньги, чтобы нарушить договор и воспрепятствовать опубликованию сочинений, я не мог. Семейство мое нуждалось; близилось рождество; нельзя же было окончательно бросить на произвол судьбы брата в больнице и сестру в ревматизме. Средства некоего официанта, которому не помогал никто, истощались не только благодаря тому, что имелось в моем семействе, но и тому, чего в нем не имелось. Один брат без должности, другой брат без денег, достав которые он мог бы принять одно предложение, еще брат без царя в голове, еще брат без средств, уехавший в Нью-Йорк (не тот, что без царя в голове, а другой, хотя может показаться, что это тот самый), и все они поистине довели меня до того, что я не знал, куда повернуться. Мысли мои становились все более и более мрачными, я постоянно думал о корректурах, постоянно думал о том, что рождество не за горами, а когда корректуры

напечатают, с часу на час будет возрастать опасность, что, явившись ко мне на очную ставку в общий зал, Он среди бела дня и при всем народе потребует восстановления своих прав.

Потрясающая и непредвиденная катастрофа, на которую я в самом начале туманно намекал читателю (смею ли я добавить — высокообразованному читателю?), теперь приближается быстро.

Ноябрь еще не кончился, но последние отзвуки Гая Фокса давно уже смолкли. У нас был застой в делах — продано было всего несколько порций мяса пониже сортом чем то, которое у нас обычно продается, и, конечно, вино соответственного качества. В конце концов у нас начался такой застой, что приезжие, занимавшие номера 26, 27, 28 и 31, пообедав в шесть часов и подремав каждый над своей кружкой пива, уехали (каждый в своем кэбе, спеша каждый к своему ночному почтовому поезду), и мы остались без постояльцев.

Я уже взял вечернюю газету, сел с нею за столик № 6 (там тепло, и это самый удобный столик) и, погрузившись во всепоглощающие события дня, заснул. Меня привел в сознание хорошо знакомый мне окрик «официант!», и, ответив «сэр!», я увидел какого-то джентльмена, стоявшего у столика № 4. Читателя (смею ли я добавить — наблюдательного читателя?) просят запомнить местонахождение джентльмена: *у столика № 4.*

В руке у него был новомодный, не складной саквояж (я против таких саквояжей; уж коли на то пошло, я не понимаю, почему бы саквояжу не складываться, как складывались его предки). Посетитель сказал:

— Я хочу пообедать. Ночевать я буду здесь.

— Слушаю, сэр. Что прикажете подать вам на обед, сэр?

— Суп, немного трески, устричный соус и кусок мяса.

— Благодарю вас, сэр.

Я позвонил горничной, и миссис Претчет вышла в общий зал, скромно держа перед собой зажженную плоскую свечу и точно шествуя во главе многолюдной процессии, все остальные участники которой оставались невидимыми.

Между тем джентльмен подошел к камину, стал лицом к огню, прислонил лоб к каминной полке (камин у нас

низкий, так что джентльмен пригнулся, словно мальчик, играющий в чехарду) и испустил тяжелейший вздох. Волосы у него были длинные и белокурые и, когда он прислонил лоб к каминной полке, все они упали пыльным пухом ему на глаза; когда же он обернулся и поднял голову, все они упали пыльным пухом ему на уши. Это придало ему диковинный вид, напоминавший заросли увядшего вереска.

— О! Горничная... Ах! — Он, видимо, пытался что-то вспомнить.— Ну конечно. Да. Я сейчас не пойду наверх, но вы отнесите туда мой саквояж. Пока довольно будет указать, в какой именно номер... Вы можете предоставить мне номер двадцать четыре Б?

(О Совесть, какая ты Змея!)

Миссис Претчет предоставила ему эту комнату и отнесла туда его саквояж. Тогда он снова подошел к камину и принялся кусать ногти.

— Официант,— сказал он, кусая ногти в промежутках между словами,— дайте мне,— укус,— перо и бумаги, а через пять минут,— укус,— пожалуйста, пошлите мне сюда,— укус,— посыльного.

Не обращая внимания на остывающий суп, он еще до обеда успел написать и отослать шесть записок: три в Сити, три в Вест-Энд. Записки, отправленные в Сити, были адресованы на Корн-Хилл, Ладгейт-Хилл и Фарингдон-стрит. Записки, отправленные в Вест-Энд, были адресованы на Грейт-Марлборо-стрит, Нью-Барлингтон-стрит и Пикадилли. Каждую из них решительно отказались принять в каждом из этих шести мест, а ответов не было и следа. Вернувшись с этим известием, наш посыльный шепнул мне:

— Все адресованы книгоиздателям.

Но еще до возвращения посыльного Он пообедал и выпил бутылку вина. Теперь же (заметьте совпадение с документом, полностью приведенным выше!) он нервным движением локтя столкнул со стола тарелку с печеньем (но не разбил ее) и потребовал кипящего коньяку с водой.

Вполне убедившись теперь, что это Он Самый, я обливался потом. Но вот лицо его разгорелось от вышеупомянутого горячего возбуждающего средства, и он снова потребовал перо и бумаги и следующие два часа писал, а кон-

чив, бросил рукопись в огонь. Затем он отправился спать, и провожала его миссис Претчет. Миссис Претчет (осведомленная о моих переживаниях) сказала мне, спустившись вниз, что глаза его бегали по всем углам коридоров и лестницы, должно быть в поисках багажа, и что сама она, закрыв за собой дверь номера 24-Б, все-таки заглянула внутрь и заметила, что посетитель, сбросив с себя сюртук, самолично полез под кровать, как трубочисты лезли в трубу до изобретения машин для чистки дымоходов.

На следующий день (я умалчиваю об ужасах этой ночи) в нашей части Лондона был очень густой туман, так что в общем зале пришлось зажечь газ. У нас все еще не было ни одного посетителя, и никакие мои лихорадочные слова не смогут описать, как дергалось его лицо, когда он сидел за столиком № 4, тем более что газ горел неровно, потому что в счетчике что-то испортилось.

Заказав обед, он вышел и не возвращался добрых два часа. По возвращении он осведомился, не пришли ли ответы на его записки, и, получив безоговорочно отрицательный ответ, сейчас же потребовал куриного супа с пряностями, кайенского перца и апельсинной настойки.

Чувствуя, что близится борьба не на жизнь, а на смерть, я почувствовал также, что не должен от него отставать, и с этой целью решил есть и пить все то, что будет есть и пить он. Поэтому, сидя за своей перегородкой, но следя за ним глазами поверх занавески, я принялся за куриный суп с пряностями, кайенский перец и апельсинную настойку. А позже, когда он снова крикнул: «Апельсинной настойки!» — я тоже произнес эти слова пониженным голосом, обращаясь к Джорджу, моему второму помощнику (мой первый помощник был в отпуску), ибо Джордж служит посредником между мной и буфетом.

В течение всего этого ужасного дня он непрерывно ходил взад и вперед по общему залу. Иной раз он близко подходил к моему отделению и тогда заглядывал внутрь, совершенно очевидно — в поисках багажа. Пробило половину седьмого, и я накрыл скатертью его столик. Он потребовал бутылку старого хереса. Я тоже потребовал бутылку старого хереса. Он выпил свою бутылку. Я выпил свою бутылку, причем всякий раз, как он выпивал

рюмку, я тоже выпивал рюмку, насколько мне это позволяли мои обязанности. Он закончил чашкой кофе и рюмочкой. Я тоже закончил чашкой кофе и рюмочкой. Он подремал. Я подремал. Наконец он крикнул: «Официант!» — и потребовал счет. Теперь подошло время нам обоим сразиться в смертельной схватке.

С быстротой стрелы, летящей из лука, я принял решение; другими словами, я обдумывал это решение от девяти до девяти. Оно заключалось в том, что я первый заговорю на известную тему, во всем чистосердечно признаюсь и предложу постепенно дать ему возмещение по мере моих возможностей. Он заплатил по счету (оценив, как подобало, мои услуги), причем он все время оглядывался по сторонам в поисках хоть малейших следов своего багажа. Только раз глаза наши впились друг в друга со сверкающей неподвижностью (мне кажется, я прав, приписывая ему эту особенность?), свойственной взору достославного василиска. Решительный момент наступил.

Довольно твердой рукой, хоть и с некоторым смирением, я положил перед ним на стол корректуры.

— Милосердное небо! — вскричал он, вскочив с места и вцепившись себе в волосы.— Что это? Напечатано!

— Сэр! — успокоительно ответил я, наклонившись вперед.— Я смиренно признаю, что, к сожалению, это вышло по моей вине. Но я надеюсь, сэр, что когда я объясню вам все обстоятельства и вы увидите, сколь невинны были мои намерения...

Как ни странно, мне пришлось умолкнуть, потому что он схватил меня в свои объятия и прижал к своей грудной клетке; тут, признаюсь, лицо мое (и в особенности нос) потерпели некоторый временный ущерб, потому что он носил сюртук, застегнутый на все пуговицы, а пуговицы у него были необыкновенно твердые.

— Ха-ха-ха! — Он с диким хохотом выпустил меня из своих объятий и схватил за руку.— Как вас зовут, благодетель мой?

— Меня зовут, сэр... (я не мог его понять и потому был совершенно ошарашен и сбит с толку), меня зовут Кристофер, и как таковой я надеюсь, сэр, что когда вы услышите мои объяснения...

— Напечатаны! — опять вскричал он, быстро перелистывая корректуры все вновь и вновь и как бы купаясь в них.— Напечатаны! О Кристофер! Благодетель! Ничем вас нельзя отблагодарить... и все же — какую сумму вы согласны принять?

Я отступил от него на шаг, иначе мне снова пришлось бы пострадать от его пуговиц.

— Сэр, уверяю вас, мне уже хорошо заплатили, и...

— Нет, нет, Кристофер! Не говорите этого! Какую сумму вы согласны принять, Кристофер? Вы согласны принять двадцать фунтов, Кристофер?

Как ни велико было мое удивление, я, естественно, нашел слова, чтобы ответить ему следующее:

— Сэр, я полагаю, что еще не родился тот человек, который не согласится принять двадцать фунтов — конечно, при условии, что количество воды в его мозгу не превышает нормы. Но... впрочем, я чрезвычайно обязан вам, сэр (он уже успел вытащить из кошелька и сунуть мне в руку два банкнота), но мне хотелось бы знать, сэр, если только вы не сочтете меня навязчивым, каким образом мне удалось заслужить такую щедрость?

— Так знайте же, мой Кристофер,— говорит он,— что я с детских лет упорно, но тщетно старался напечатать свои произведения. Знайте, Кристофер, что все ныне здравствующие книгоиздатели — и несколько теперь уже покойных — отказывались меня печатать. Знайте, Кристофер, что я исписал горы бумаги, но все оставалось ненапечатанным. Впрочем, я прочту все это вам, мой друг и брат! Вы иногда пользуетесь днем отдыха?

Я понял, что мне грозит страшная опасность, но у меня хватило духа ответить: «Никогда!» И чтобы не осталось никаких сомнений, я добавил:

— Никогда! От колыбели и до могилы.

— Ну, что делать! — сказал он, тотчас позабыв о своем намерении, и снова принялся разглядывать корректуры с тихим смехом.

— Однако же меня все-таки напечатали! Первый порыв честолюбия, рожденный на бедном ложе моего отца, наконец-то удовлетворен! — продолжал он.— Золотой смычок, движимый рукою волшебника, издал полный

и совершенный звук! Когда же это случилось, мой Кристофер!

— Что случилось, сэр?

— Вот это! — Он любовался корректурами, держа их в вытянутой руке.— Когда это на-пе-ча-тали?

Тут я подробно рассказал ему обо всем, а он снова схватил меня за руку и проговорил:

— Дорогой Кристофер, вам, наверное, будет приятно услышать, что вы — орудие в руках Судьбы. Так оно и есть.

Какие-то меланхолические мысли пронеслись у меня в голове, и я покачал ею и сказал:

— Быть может, все мы орудия судьбы.

— Я не это имел в виду,— отозвался он,— я не делаю столь широких обобщений. Я ограничиваю себя одним этим случаем. Выслушайте меня внимательно, мой Кристофер! Отчаявшись избавиться своими силами от рукописей, лежащих в моем багаже (все они, куда бы я их ни посылал, неизменно возвращались мне), я лет семь назад оставил здесь свой багаж, лелея последнюю отчаянную надежду, что либо эти слишком, слишком правдивые рукописи никогда ко мне не вернутся, либо кто-нибудь другой, не такой неудачник, как я, подарит их миру. Вы слушаете меня, Кристофер?

— Очень внимательно, сэр!

Я слушал его столь внимательно, что все понял: голова у него слабая, а смесь из апельсинной настойки, кипящего коньяка и старого хереса уже начала сказываться (старый херес всегда ударяет в голову и лучше всего подходит для тех, кто привычен к вину).

— Шли годы, а сочинения эти покоились в пыли. В конце концов Судьба, выбрав свое орудие из всего рода человеческого, послала сюда вас, Кристофер, и вот шкатулка распалась на части, и великан вышел на волю!

Сказав это, он взъерошил себе волосы и стал на цыпочки.

— Однако,— взволнованно напомнил он сам себе,— нам придется засесть на всю ночь, мой Кристофер. Я должен править эти корректуры для печати. Налейте чернил во все чернильницы и принесите мне несколько новых перьев.

Он пачкал себя чернилами и пачкал корректуры всю ночь напролет и до того перепачкался, что в тот миг, когда Дневное Светило предупредило его своим восходом о том, что пора уезжать (в наемной карете), уже нельзя было разобраться, где корректуры, а где он сам, так густо все это было усеяно кляксами. Напоследок он попросил меня немедленно отнести корректуры с его правкой в редакцию этого журнала. Так я и сделал. По всей вероятности, его поправки не появятся в печати, ибо когда я переносил на бумагу заключительные фразы своей повести, из Бофорской типографии пришли сказать, что там не располагают никакими возможностями разобрать его правку. Тут некий причастный к редакции джентльмен (которого я не буду называть, но о котором достаточно сказать — стоя на широкой основе омываемого волнами острова, что смотрим ли мы на него, как... [1]) рассмеялся и бросил исправленные листы в огонь.

*1862*

---

[1] Конец этой хвалебной фразы в скобках вычеркнут редактором. *(Прим. автора.)*

# *Меблированные комнаты миссис Лиррипер*

*В двух главах*

## ГЛАВА I

### *О том, как миссис Лиррипер вела свое дело*

Как может кто-нибудь, кроме одинокой женщины, которой нужно зарабатывать на жизнь, взвалить на себя сдачу комнат жильцам, для меня совершенно непостижимо, душенька, извините за фамильярность, но это как-то само собой выходит, когда сидишь в своей комнатушке и хочется поговорить по душам с тем, кому доверяешь, и я бы поистине благодарила судьбу, кабы можно было доверять всему человечеству, но это невозможно, потому стоит вам только прилепить на окошко записку: «Сдаются меблированные комнаты», а часы ваши лежат на каминной полке,— можете навсегда распрощаться с этими часами, если хоть на секунду повернетесь к ним спиной, хотя бы манеры у посетителя были самые джентльменские, если же посетитель женского пола, это тоже не гарантия, как я узнала по опыту, когда пропали щипчики для сахара, а ведь эта дама (очень даже изящная женщина) попросила меня сбегать за стаканом воды, объяснив, что она, мол, скоро должна родить, да так оно и оказалось, только родила-то она под арестом, в полиции.

Дом номер восемьдесят первый, Норфолк-стрит, Стрэнд, как раз посредине между Сити и Сент-Джеймским парком, в пяти минутах ходьбы от главнейших увеселительных мест,— вот мой адрес. Этот дом я снимаю уже много лет — можете навести справки в приходских нало-

говых книгах,— и не плохо бы домовладельцу помнить об этом не хуже меня, да нет, как бы не так — он и полфунта краски не выдаст, даже ради спасения своей жизни; одной-единственной черепицы для починки крыши и то у него не выпросишь, душенька, хоть стой перед ним на коленях.

Вы, душенька, не видели в «Железнодорожном справочнике» Бредшоу объявления насчет дома номер восемьдесят один, Норфолк-стрит, Стрэнд, да, с божьей помощью, никогда и не увидите. Есть, правда, люди, которые считают возможным так унижать свое имя и даже заходят столь далеко, что помещают там изображение своего дома, ничуть не похожее, с какими-то пятнами вместо окон и каретой, запряженной четверней, у подъезда, но что к лицу меблированным комнатам Уозенхем — вниз по нашей улице, на той стороне,— то не к лицу мне, потому что у мисс Уозенхем свое мнение, а у меня свое, хотя, когда дело доходит до систематического сбивания цен — а это можно доказать под присягой на суде — и говорят, что «если, мол, миссис Лиррипер берет восемнадцать шиллингов в неделю, так я буду брать пятнадцать шиллингов и шесть пенсов»,— тут уж получается сделка между вами и вашей совестью (если, конечно, допустить для красного словца, что ваша фамилия Уозенхем, хотя я отлично знаю, что это совсем не так, иначе вы очень упали бы в моем мнении); а что касается свежего воздуха в спальнях и ночного швейцара, который-де безотлучно дежурит, то чем меньше об этом говорить, тем лучше, потому что воздух у нее в спальнях дрянной, а швейцар тоже дрянь.

Вот уже сорок лет миновало, как мы с моим бедным Лиррипером венчались в церкви святого Клементия-Датчанина, где у меня теперь есть свое место на удобной скамье и своя собственная подушечка для коленопреклонений, и я там сижу в благородной компании, предпочтительно на вечерней службе, когда церковь не так набита народом.

Мой бедный Лиррипер был красавец мужчина, глаза у него блестели, а голос был такой мягкий,— ни дать ни взять музыкальный инструмент из меда и стали,— но он всегда жил на широкую ногу, потому, видите ли, что работал по коммивояжерской части,— ездил по торговым

делам, а на этой дорожке, по его словам, жарко приходится, словно в печке, и он, бедный мой Лиррипер, часто говаривал: «Это сухая дорожка, милая Эмма, вот и заливаешь пыль то одним стаканчиком, то другим, и так целый день напролет, да еще полночи в придачу, а это меня изнуряет, Эмма!» Ну и кончилось это тем, что он вылетел в трубу, да, пожалуй, пролетел бы и через заставу (когда понесла эта его ужасная лошадь, которая ни минуты не могла постоять спокойно), но, на беду, уже стемнело, а ворота были заперты, вот колеса-то и застряли, и мой бедный Лиррипер с тележкой разлетелись на кусочки, и тут-то им и конец пришел. Он был красавец мужчина, веселый и добродушный, и будь в то время уже изобретена фотография, она никогда не передала бы вам мягкости его голоса, да и вообще я считаю, что фотографическим карточкам, как правило, не хватает мягкости: вечно у вас на этих карточках рябое лицо — точь-в-точь вспаханное поле.

Когда мой бедный Лиррипер приказал долго жить и его похоронили близ Хэтфилдской церкви в Хэртфордшире (хоть это и не его родина, но он любил гостиницу «Герб Солсбери», где мы остановились в день нашей свадьбы и до того счастливо провели две недели, что счастливей и быть не может),— так вот, когда моего бедного Лиррипера похоронили, я обошла всех его кредиторов и говорю им:

— Джентльмены, мне доподлинно известно, что я не отвечаю за долги своего покойного супруга, но я хочу их заплатить, потому что я его законная жена и мне дорого его доброе имя. Я хочу завести свое дело, джентльмены,— сдавать меблированные комнаты,— и если дело пойдет, каждый фартинг из взятых в долг моим покойным супругом будет уплачен вот этой моей правой рукой в память той любви, которую я питала к покойнику.

Много на это ушло времени, но все же я так и сделала, и тот серебряный молочник и, между нами говоря, также кровать с матрацем, что в моей комнате наверху (а потому наверху, что непременно исчезла бы, как только я вывесила объявление о сдаче комнат), так вот, и то и другое мне презентовали джентльмены, да еще выгравировали на молочнике надпись: «Миссис Лиррипер в знак уважения и признательности за ее благородное

поведение», и это до того меня тронуло, что я была совсем расстроена, пока мистер Бетли, который в то время занимал диванную и любил пошутить, не сказал мне:

— Развеселитесь, миссис Лиррипер, вообразите, что были ваши крестины, а эти джентльмены — ваши крестные отцы и матери, и подарили вам это на зубок.

Ну вот, это меня успокоило, и я не стыжусь вам признаться, душенька, что положила я тогда один сандвич и бутылочку хереса в корзинку и на империале дилижанса поехала на Хэтфилдское кладбище, а там поцеловала свою руку, потом опустила ее с какой-то гордой и все более нежной любовью на мужнину могилу, в густую траву,— а трава была зеленая-зеленая и волновалась,— только надо вам сказать, мне так долго пришлось восстанавливать его доброе имя, что за это время мое обручальное кольцо сильно стерлось и стало совсем тоненьким.

Я теперь старуха, и красота моя увяла, а ведь это я, душенька, вон там, над жаровней для нагреванья тарелок, и говорят, была похожа в те времена, когда за миниатюру на слоновой кости платили по две гинеи, а уж как там выйдет — хорошо ли, плохо ли,— дело случая, почему и приходилось вывешивать портреты не на видное место, а то гости, бывало, краснеют и смущаются, так как большей частью не могут отгадать, чей там портрет, и говорят, что это не твой, а еще чей-нибудь, а тут еще жил у меня один человек, который ухлопал свои денежки на хмель, так вот является он как-то утром передать мне квартирную плату и свое почтение — он жил на третьем этаже — и пытается снять мой портрет с крючка и положить его к себе в жилетный карман — можете вы себе это представить, душенька? — во имя той Л....., говорит, которую он питает к оригиналу... но только в его голосе никакой мягкости не было, и я ему не позволила взять миниатюру, однако о его мнении вы можете судить по его словам, обращенным к ней: «Молви мне слово, Эмма!» — сказал он, и хоть это и не очень разумные слова, но все-таки — дань сходству, да я и сама думаю, что портрет был похож на меня, когда я была молодая и носила корсеты такого фасона.

Но я собиралась порассказать вам о меблированных комнатах, и, конечно, мне ли не знать про них, если этим

делом я занималась так долго: ведь своего бедного Лиррипера я потеряла уже на втором году замужества и вскоре завела дело в Излингтоне *, а впоследствии переселилась сюда, и вот выходит, что за плечами у меня два меблированных дома, да тридцать восемь лет хлопот и забот, да кое-какие убытки, а опыта хоть отбавляй.

Девушки-горничные — самый тяжкий крест, не считая обзаведения, и они изводят вас хуже, чем люди, которых я прозвала «бродячими христианами», хотя почему эти люди слоняются по белу свету, выискивая объявления о сдаче комнат, а потом входят, осматривают помещение, торгуются (хотя им вовсе не нужно никаких комнат, у них и в мыслях не было снимать комнаты, потому что квартира у них уже есть),— так вот, почему они так поступают, это для меня загадка, и я буду очень благодарна, когда мне ее разгадают, если только это чудом произойдет когда-нибудь. Диву даешься, как это люди с подобными привычками могут жить так долго и процветать, но, должно быть, это все-таки полезно для здоровья — ведь они целыми днями стучатся в двери, ходят из дома в дом, вверх-вниз по лестницам, а уж до чего они придирчивы и дотошны, прямо удивительно; вот, скажем, смотрят они на свои часы и говорят:

— Будьте добры, оставьте за мной эти комнаты до послезавтра, до одиннадцати часов двадцати минут утра, но имейте в виду, что мой знакомый, приезжающий из провинции, обязательно требует, чтобы в комнатке над лестницей стояла маленькая железная кровать.

Ну, знаете ли, душенька, когда я была новичком в этом деле, я, бывало, прежде чем обещать, думала да раздумывала, забивала себе голову всякими вычислениями и совсем расстраивалась от разочарований, когда все это оказывалось обманом, но теперь я отвечаю: «Конечно, обязательно»,— а сама отлично понимаю, что это опять «бродячий христианин» и больше я о нем в жизни не услышу, хотя, по правде сказать, я теперь знаю в лицо большинство «бродячих христиан» не хуже, чем они знают меня, потому что каждый такой субъект, шатающийся по Лондону с этой целью, имеет обыкновение заходить раза по два в год, и прямо замечательно, что у них это в роду, и дети, когда вырастают, занимаются тем же,

но будь это иначе, все равно, сто́ит мне только услышать про «знакомого, приезжающего из провинции» — а это верный признак,— как я уже киваю головой и говорю сама себе: «Ну, ты, милейший,— бродячий христианин»; однако правда ли, что все они (как я слышала) люди с ограниченными средствами, но со склонностью к постоянной службе и частой перемене местожительства,— этого я, право, уж не решусь вам сказать.

Девушки-горничные, как я начала было говорить,— одна из наших главных и постоянных бед (вроде зубов, от которых корчишься, когда они впервые у тебя появляются, и которые уже не перестают тебя мучить, начиная с того времени, как прорезываются, и до тех пор, как их выдергиваешь, хотя расставаться с ними не хочется,— уж очень жалко,— но все равно всем нам приходится подвергаться этому и вставлять искусственные),— так вот, если достанешь себе работящую девушку, девять шансов против одного, что она будет ходить замарашкой, а жильцам, разумеется, неприятно, когда приличных гостей впускает девица с черным мазком на носу или грязным пятном на лбу. Ума не приложу, где они только измазываются, как, например, было с одной девушкой, самой работящей из всех, что когда-либо нанимались в прислуги, чуть не умирая с голоду, а ведь она, бедняжка, была до того работящая, что я так и прозвала ее «работящей Софи», и она с утра до ночи все скребла пол, стоя на коленях, и всегда была веселая — улыбка прямо не сходила у нее с черного лица. И вот раз я говорю Софи:

— Слушайте, Софи, голубушка, выгребайте золу в какой-нибудь определенный день, ваксу держите в нижнем дворике, не приглаживайте себе волос донышком кастрюли, не возитесь с нагаром на свечах, и можно сказать наверное, что грязи на вас не будет.

И все-таки грязь была, и непременно на носу, а нос у нее был вздернутый, широкий на конце и как будто хвастался этим, так что один солидный джентльмен и прекрасный жилец (с подачей первого завтрака и недельной платой, но немножко раздражительный и требовавший себе гостиную, когда она была ему нужна),— так вот, он сделал мне замечание:

— Миссис Лиррипер, я допускаю, что чернокожий —

тоже человек, но лишь в том случае, если он черен от природы.

Ну, тогда я поставила бедную Софи на другую работу и строго-настрого запретила ей отворять парадную дверь, когда постучат, и бегать на звонки, но она, к сожалению, была такая работящая, что, как только зазвонит звонок, ничем ее не удержишь: так и летит на кухонную лестницу. Я, бывало, вразумляю ее:

— Ах, Софи, Софи, ну скажите, ради всего святого, откуда это у вас?

А бедная эта, несчастная работящая девушка, увидевши, что я так расстроена, зальется, бывало, слезами и говорит:

— Я съела уж очень много ваксы, когда была маленькая, сударыня, потому что за мной совсем не было присмотра, и, должно быть, вакса теперь выходит наружу.

Ну, значит, вакса все и выходила наружу, а так как я больше ни в чем не могла упрекнуть бедняжку, я и говорю ей:

— Софи, подумайте серьезно,— хотите, я вам помогу уехать в Новый Южный Уэльс *,— ведь там этого, может, и не заметят.

И я ни разу не пожалела истраченных денег: они пошли на пользу, потому что Софи по дороге вышла замуж за корабельного кока (а он был мулат), и хорошо сделала, ибо потом жила счастливо, и, насколько я знаю, в среде новых поселенцев никто не обращал на нее внимания до самого ее смертного часа.

Каким образом мисс Уозенхем (что живет вниз по нашей улице, на той стороне) совместила со своим достоинством порядочной леди (а она вовсе не порядочная) то, что она сманила от меня Мэри-Энн Перкинсоп, ей самой лучше знать, а что до меня, я не знаю и не желаю знать, как составляются мнения о любом предмете в меблированных комнатах Уозенхем. Но Мэри-Энн Перкинсоп, хотя я хорошо обращалась с нею, а она нехорошо поступила со мной, стоила на вес золота — в таком страхе умела она держать жильцов, хоть и не отпугивала их: ведь жильцы гораздо реже звонили Мэри-Энн, чем любой другой служанке или хозяйке,— а это большая победа, особенно когда ты косоглаза и худа, как скелет,— но эта девица

действовала на жильцов своей твердостью, а все оттого, что отец ее разорился на торговле свининой.

Вид у Мэри-Энн был всегда такой приличный, а нрав до того суровый, что она укротила самого придирчивого джентльмена, с каким мне когда-либо приходилось иметь дело (вообразите, он каждое утро взвешивал на весах щепотки чаю и куски сахару, которые ему подавали), и он стал совсем кротким,— что твой ягненок,— однако впоследствии до меня дошло, что мисс Уозенхем, проходя по улице и увидев, как Мэри-Энн несет домой молоко от молочного торговца, который вечно любезничал и пересмеивался (за что я его, впрочем, не осуждаю) с каждой девушкой на улице, но при виде Мэри-Энн застывал и стоял столбом — ни дать ни взять монумент на Чаринг-Кросс *,— так вот, мисс Уозенхем, увидев Мэри-Энн, поняла, какая она находка для меблированных комнат, и дошла до того, что посулила ей на четыре фунта в год больше, чем платила я, и в результате Мэри-Энн, хотя мы с ней не сказали друг другу ни одного худого слова, говорит мне: «Если вы можете найти себе служанку, миссис Лиррипер, ровно через месяц, то сделайте одолжение, а я уже нашла себе место»,— что меня очень оскорбило, да так я ей и сказала, а она еще больше оскорбила меня, намекнув, что, поскольку ее отец разорился на торговле свининой, она вправе поступать подобным образом.

Уверяю вас, душенька, ужасно трудно бывает разобраться, какого сорта девушки лучше, потому что если они проворные, так от звонков сбиваются с ног, а если неповоротливые, вы сами страдаете от жалоб на них; если глаза у них сверкают, им объясняются в любви, а если они одеваются по моде, значит, обязательно примеряют шляпки жилиц; если они музыкальны, попробуйте помешать им слушать духовые оркестры и шарманки, и что бы ни было у них в голове, все равно головы их непременно будут высовываться в окна. А потом: то что в девушках нравится джентльменам, то не нравится дамам, а это грозит неприятностями для всех, да еще возьмите характеры, хотя такие характеры, как у Кэролайн Мекси, надеюсь, не часто встречаются.

Красивая она была, черноглазая девушка, эта Кэролайн, и хорошо сложена, но зато и поплатилась же я за

нее, когда она вышла из себя и развернулась во всю ширь, хотя это произошло исключительно из-за молодоженов, которые приехали смотреть Лондон и поселились на втором этаже, причем новобрачная была очень уж высокомерна и, как говорили, красота Кэролайн пришлась ей не по нутру, потому что сама она красотой не отличалась, но так или иначе, она изводила Кэролайн самым бессовестным образом. И вот как-то раз днем Кэролайн врывается в кухню — щеки у нее разгорелись, глаза горят — и говорит мне: «Миссис Лиррипер, эта женщина на втором этаже оскорбила меня так, что я не могу этого вынести!» — а я говорю: «Кэролайн, сдержите свой характер»,— а Кэролайн мне на это с ужасным смехом: «Сдержать свой характер? Вы правы, миссис Лиррипер, так я и сделаю... К черту ее! — взорвалась вдруг Кэролайн (когда она это сказала, вы смогли бы одним ударом птичьего перышка вогнать меня в землю до самого ее центра).— Покажу я ей свой характер!»

И тут, душенька, Кэролайн как тряхнет головой! Волосы у нее рассыпались, она взвизгнула и помчалась наверх, а я бегу за ней так быстро, как только несут меня мои дрожащие ноги, но не успела я войти в комнату, как вижу, что скатерть и розовый с белым сервиз уже сдернуты с грохотом на пол, а молодожены повалились навзничь в камин, и на джентльмене каминные щипцы, совок для угля и блюдо с огурцами,— счастье еще, что дело было летом.

— Кэролайн, успокойтесь! — говорю я.

Но она проносится мимо, срывает с меня чепчик и раздирает его зубами, а потом кидается на новобрачную, рвет на ней все платье на ленточки, хватает ее за уши и стукает затылком об ковер, а та вопит истошным голосом: «Режут!» — а полиция уже бежит по улице, а у Уозенхемши окна распахнуты настежь (вообразите, что я почувствовала, когда узнала об этом!), и мисс Уозенхем кричит с балкона, проливая крокодиловы слезы:

— Это все миссис Лиррипер — видать, обобрала жильца до нитки... до того довела, что с ума спятил... ее зарежут... так я и знала... Полиция!.. Спасите!..

И вот, душенька, являются четыре полисмена, а Кэролайн стоит за шифоньеркой и атакует их кочергой, а когда

ее разоружили, пускает в ход кулаки, что твой боксер — вверх-вниз, вверх-вниз,— просто ужас! Но когда ее одолели, я не могла стерпеть, чтобы с бедняжкой обращались так грубо и дергали ее за волосы, и я сказала полисменам:

— Господа полисмены, прошу вас не забывать, что она женщина, так же как и ваши матери, сестры и возлюбленные, и да благословит господь и вас и их!

И вот она уже сидит на полу, прислонившись к стене, в наручниках и еле переводя дух, а полисмены остывают, и куртки у них все изодраны, а мне она только всего и сказала: «Миссис Лиррипер, мне очень жаль, что я задела вас, потому что вы добрая старушка, прямо мать родная»,— и тут я подумала: а ведь мне и в самом деле часто хотелось быть матерью, однако что творилось бы у меня в душе, будь я матерью этой девушки! И вот, знаете ли, в полицейском участке обнаружилось, что она и раньше проделывала такие штуки, и она забрала свои платья, и ее посадили в тюрьму, а когда срок ее кончился и она должна была выйти на волю, я в тот вечер побежала к тюремным воротам с куском студня в своей корзиночке, чтобы немножко подкрепить бедняжку и помочь ей снова выйти на люди, и там встретилась с одной очень приличной на вид матерью, ожидавшей своего сына, который попался из-за дурной компании, и такой упрямый этот сын: даже башмаки у него были не зашнурованы. Ну вот, выходит Кэролайн, а я и говорю ей: «Кэролайн, пойдемте-ка со мной, сядем вон там у стены, в уголке, и вы покушайте немножко, чего я вам принесла,— это вам пойдет на пользу»,— а она бросается мне на шею и говорит, рыдая: «Ах, почему вы не были матерью, когда есть на свете такие матери, что хуже некуда! — говорит, а через полминуты уже смеется и говорит: — Неужто я и вправду разорвала в клочья ваш чепчик?» А когда я сказала ей: «Конечно, разорвали, Кэролайн»,— она опять рассмеялась и, погладив меня по щеке, возразила: «Так зачем же вы носите такие смешные старые чепчики, милая моя старушка? Не будь ваш старый чепчик таким смешным, я, пожалуй, не стала бы его рвать даже в тот день!»

Ну и девушка! А насчет того, как она собирается жить дальше, от нее нельзя было добиться ни слова,— только и

говорила: «Э, проживу, с голода не помру!» — да так мы и расстались, и она была очень благодарна — руки мне целовала,— и с тех пор я ее не видела и ничего о ней не слышала, вот разве только в одном я твердо уверена: тот новомодный чепчик в клеенчатой корзинке, который мне принесли как-то раз в субботу вечером неизвестно от кого (а принес его пренахальный маленький сорванец, который наследил грязными башмаками на чистых ступеньках и все свистел и вроде как играл на арфе, водя палочкой для обруча по железной ограде нижнего дворика),— так вот, я твердо уверена, что этот самый чепчик прислала мне Кэролайн.

Нет слов, душенька, чтобы рассказать вам, в каких только гнусностях тебя не подозревают, когда сдаешь меблированные комнаты, но я никогда не опускалась до того, чтобы иметь запасные ключи от комнат — один у меня, другой у жильца,— и не хочется думать такое даже про мисс Уозенхем (что живет вниз по нашей улице, на той стороне), напротив, я искренне надеюсь, что она на это не способна, однако деньги, бесспорно, нельзя добыть из ничего и нет оснований полагать, что Бредшоу ради ее прекрасных глаз поместил в своем справочнике объявление, хотя оно и все в пятнах. Ужас как обидно, когда жильцы так твердо убеждены, что ты стремишься их надуть, хотя им и в голову не приходит, что это они стараются надуть тебя, но, как говорит мне майор Джекмен: «Я знаю свет, миссис Лиррипер, и знаю, что это свойство присуще всем обитателям земного шара»,— и вообще майор не раз меня успокаивал, потому что он человек умный и много чего повидал на своем веку.

Подумать только — кажется, будто все это было вчера, а ведь уже тринадцать лет прошло с тех пор, как сижу я однажды вечером, в августе, у открытого окна диванной с видом на улицу (в диванной тогда никто не жил), надела очки и читаю вчерашнюю газету (а глаза мои, надо вам сказать, плохо разбирают печатное, но все-таки уж и то хорошо, что на дальнее расстояние я дальнозорка) — и вдруг слышу, как некий джентльмен, торопливо перейдя на нашу сторону, шагает в страшной ярости вверх по улице и говорит сам с собой, ругательски ругая и проклиная кого-то.

— Черт побери! — кричит он во всю глотку, сжимая в руках палку.— Я пойду к миссис Лиррипер! Где тут дом миссис Лиррипер?

Но вот, оглянувшись кругом и увидев меня, он срывает шляпу с головы и машет этой шляпой мне, точно я — сама королева, а потом говорит:

— Извините меня за вторжение, мадам, но прошу вас, мадам, не можете ли вы сообщить мне номер того дома на этой улице, где проживает известная и весьма уважаемая леди по фамилии Лиррипер?

Я слегка смутилась, хотя, признаюсь, была польщена, сняла очки, поклонилась и ответила:

— Сэр, миссис Лиррипер к вашим услугам.

— Поразительно! — говорит он.— Тысяча извинений! Мадам, разрешите мне попросить вас оказать любезность и велеть одному из ваших слуг открыть дверь джентльмену по фамилии Джекмен, который ищет квартиру.

Я в жизни не слышала такой фамилии, но более учтивого джентльмена, наверное, никогда не встречу — ведь вот что он мне сказал:

— Мадам, я потрясен тем, что вы сами открываете дверь столь недостойному человеку, как Джемми Джекмен. После вас, мадам. Я никогда не прохожу впереди дамы.

Потом он входит в диванную, принюхивается и говорит:

— Ха! Вот это диванная! Без затхлых буфетов,— однако диванная, и углем в ней не воняет.

Надо вам сказать, душенька, что некоторые злые языки раззвонили по всему околотку, будто у меня все пропахло углем, а это, по мнению жильцов, недостаток, если их не разуверить, поэтому я сказала майору кротко, но с твердостью, что он, очевидно, имеет в виду улицы Эрендел, Сэррей или Хоуард, но никак не Норфолк.

— Мадам,— говорит он,— я имею в виду меблированные комнаты Уозенхем, что вниз по вашей улице, на той стороне... мадам, вы понятия не имеете, что такое меблированные комнаты Уозенхем... мадам, это громадный мешок из-под угля, а у мисс Уозенхем принципы и манеры грузчика женского пола... мадам, по тем выражениям, в каких она говорила о вас, я понял, что она не умеет оценить по достоинству леди, а по тому, как она вела себя со мной, я понял, что она не умеет оценить по достоинству

джентльмена... мадам, моя фамилия Джекмен, а если вам понадобятся какие-либо сведения, помимо тех, которые я вам сообщил, обратитесь в Английский банк — быть может, он вам известен!

Так вот и поселился майор в диванной, и с того дня и до нынешнего он был неизменно самым любезным из жильцов и аккуратным во всех отношениях, если не считать одного недостатка, о котором мне не к чему упоминать, но это я ему прощаю за то, что он мой защитник, всегда охотно заполняет бумаги для налоговых ведомостей и списков присяжных заседателей, а как-то раз схватил за шиворот молодого человека, уносившего из гостиной часы под полой своего пальто, а в другой раз, забравшись на крышу и стоя на парапете, собственноручно затушил огонь одеялами,— это когда загорелась сажа в кухонном дымоходе,— так что мне не пришлось платить за пожарную машину, а после пошел по вызову в суд и произнес весьма красноречивую речь перед судьями, выступив против приходского совета, и вообще он настоящий джентльмен, хоть и горяч.

И, конечно, когда мисс Уозенхем задержала его сундуки и зонт, она поступила невеликодушно — хотя, возможно, это было ее законное право и я также, может, унизилась бы до такого поступка,— но ведь майор такой джентльмен, что хоть он далеко не высок ростом, но когда выпустит жабо на рубашку да наденет сюртук и шляпу с загнутыми полями, он кажется прямо-таки высоким, однако где именно он служил, этого, душенька, я не могу сказать вам в точности — в местных ли войсках или в заморских гарнизонах,— потому что я никогда не слыхала, чтобы сам он называл себя майором, а всегда попросту «Джемми Джекмен», и как-то раз, вскоре после того как он поселился здесь, я сочла своим долгом сообщить ему о том, что мисс Уозенхем пустила слух, будто он вовсе не офицер, и я даже осмелилась добавить: «Но ведь вы в офицерском чине, сэр?» — а он мне ответил: «Мадам, я, во всяком случае, не нижний чин, и довольно с вас на нынешний день, ибо довлеет дневи злоба его»,— что, несомненно, святая истина, а кроме того, он по-военному требует, чтобы ему в диванную каждое утро приносили на чистом подносе его сапоги, с которых только соскоблили

грязь, и сразу же после первого завтрака сам начищает их ваксой, вооружившись губочкой и блюдцем и тихонько посвистывая, и до того он аккуратный, что никогда не запачкает рубашки (а они у него такие, что лучшего и желать нельзя, правда скорей в отношении качества, чем количества), не пачкает он и усов, но, должно быть, нафабривает их в это же самое время,— уж очень они черные и блестящие, не хуже сапог, хотя шевелюра у него замечательно красиво поседела.

Третий год уже подходил к концу, с тех пор как майор занял диванную, как вдруг одним ранним утром в феврале месяце, незадолго до начала сессии парламента (из чего вы можете заключить, что множество всяких проходимцев уже готовилось тащить что под руку попадется),— так вот, одним ранним утром пришли ко мне джентльмен и леди из провинции посмотреть комнаты на третьем этаже, и я прекрасно помню, что перед этим глядела в окно и видела, как они вместе ехали по улице и высматривали объявления о сдаче комнат, а шел густой мокрый снег. Лицо джентльмена мне что-то не очень приглянулось, хотя он тоже был красивый, но леди была очень хорошенькая — молоденькая такая и нежненькая, и ей, видать, очень тяжело было бы мотаться по улицам и не в такую скверную погоду, хотя ехали они только от отеля Аделфи, а это не больше чем в четверти мили отсюда.

Надо вам сказать, душенька, что я была вынуждена брать за третий этаж лишних пять шиллингов в неделю по случаю убытка, который потерпела оттого, что последний жилец сбежал в парадном туалете — якобы отправился на званый обед,— и очень ловко все это было проделано и внушило мне подозрительность, особенно принимая во внимание сессию парламента, и потому, когда джентльмен предложил мне снять помещение на верных три месяца и деньги вперед, с правом возобновить контракт на тех же условиях еще на шесть месяцев, я сказала, что не помню,— может, я уже условилась с другими лицами, но, впрочем, спущусь вниз и наведу справку, а их прошу присесть. Они присели, а я побежала и дернула за ручку дверь в комнату майора, с которым уже привыкла советоваться, так как это мне очень помогало, и тут я догадалась по его тихому свисту, что он начищает себе сапоги, а это

занятие, как вам известно, требует уединения, однако он любезно отозвался: «Если это вы, мадам, входите»,— и я вошла и все ему рассказала.

— Ну, что ж, мадам,— говорит майор, потирая себе нос, что испугало меня в ту минуту, потому что в руках у него была черная губка, но он тер себе нос суставом, да и вообще он всегда очень аккуратно и ловко орудовал пальцами,— ну что ж, мадам, я полагаю, что деньги вам будут кстати?

Я постеснялась прямо сказать «да», особенно потому, что у майора слегка раскраснелись щеки — ведь у него не все было в порядке, но что именно — я не скажу, и в чем именно — не скажу тоже.

— Я, мадам, придерживаюсь того мнения,— говорит майор,— что, когда вам предлагают деньги, когда вам их предлагают, миссис Лиррипер, вы должны их брать. Что можно сказать против этих людей, которые сидят наверху, мадам?

— Я, право, ничего не могу сказать против них, сэр, но все же мне хотелось бы посоветоваться с вами.

— Вы, мадам, как будто упомянули, что они молодожены? — говорит майор.

Я говорю:

— Да-а. Надо полагать. Хотя, по правде говоря, эта молодая особа только сказала мне вскользь, что она не так давно была незамужней.

Майор опять потер себе нос и начал губочкой растирать ваксу по блюдцу, все кругом и кругом, а сам несколько минут тихо посвистывал и, наконец, сказал:

— По-вашему, это выгодная сделка, мадам?

— Еще бы, конечно, выгодная, сэр!

— Допустим, что они возобновят контракт еще на шесть месяцев. А вы очень огорчитесь, мадам, если... если случится худшее, что может случиться? — спросил майор.

— Право, не знаю,— говорю я майору.— Это зависит от обстоятельств. А вот вы, сэр, вы не будете возражать?

— Я? — говорит майор.— Возражать? Джемми Джекмен? Миссис Лиррипер, принимайте предложение.

Ну, я и пошла наверх и дала согласие, а они переехали на другой день, в субботу, и майор был так любезен, что написал для нас контракт красивым круглым почерком, в

выражениях, которые показались мне столь же юридическими, сколь военными, и мистер Эдсон подписал его в понедельник утром, а во вторник майор пришел с визитом к мистеру Эдсону, а мистер Эдсон в среду отдал визит майору — ну вот, третий этаж и подружился с диванной, да так, что лучшего и желать нельзя было.

Три месяца, за которые было уплачено вперед, прошли, и вот, душенька, наступил уже май, но никаких разговоров насчет возобновления контракта со мной не начинали, а тут оказалось, что мистер Эдсон вынужден уехать в деловую экспедицию через остров Мэн, что прямо-таки застало врасплох нашу хорошенькую дамочку, да и остров-то этот, по-моему, не лежит на пути ни в какую страну и ехать через него незачем ни в какое время; впрочем, насчет этого могут быть разные мнения. И так неожиданно все это случилось, что мистеру Эдсону пришлось уехать уже на другой день, а она так горько плакала, бедняжка, что, верьте не верьте, я тоже заплакала, когда увидела, как она стоит на холодной мостовой на резком восточном ветру — весна в тот год сильно запоздала,— прощается с ним в последний раз, обвивая руками его шею, и ее прелестные золотистые волосы развеваются во все стороны, а он ей твердит:

— Ну, будет, будет... Пусти меня, Пэгги!

А к тому времени уже стало ясно, что вскорости произойдет то самое событие, насчет которого майор так любезно заверил меня, что не будет возражать, если это случится у нас в доме, и я ей намекнула на это, когда мистер Эдсон уехал, а я утешала ее, поднимаясь с ней под руку по лестнице, и сказала:

— Вам скоро придется поберечь себя для кое-кого другого, миленькая моя, и вы должны это помнить.

Письма от него не приходило, хотя оно должно было прийти, и что только она переживала каждое утро, когда почтальон ничего не приносил ей, рассказать невозможно, так что даже почтальон и тот жалел ее, когда она со всех ног бежала вниз к дверям, а ведь нечего удивляться, что чувствительность притупляется, когда берешь на себя труд разносить чужие письма, не получая от этого никакого удовольствия и чаще всего ковыляя в грязи, под дождем за какие-то жалкие гроши. Но вот, наконец, в одно пре-

красное утро, когда она слишком плохо себя чувствовала, чтобы сбежать вниз по лестнице, почтальон и говорит мне, да еще с таким довольным видом, что я чуть не влюбилась в малого, хотя форменная куртка его промокла и с нее капало.

— Я,— говорит,— нынче утром зашел к вам к первой на этой улице, миссис Лиррипер, потому что есть у меня письмецо для миссис Эдсон.

Я как можно быстрее поднялась наверх, к ней в спальню, а она сидела на кровати и, схватив письмо, принялась его целовать, потом разорвала конверт и вдруг уставилась на бумагу, как будто в пустоту.

— Какое короткое,— говорит она, подняв на меня большие глаза,— ах, миссис Лиррипер, какое короткое!

А я ей говорю:

— Милая миссис Эдсон, это, конечно, оттого, что вашему супругу некогда было написать письмо подлиннее.

— Конечно, конечно,— говорит она, закрыв лицо обеими руками, и поворачивается к стенке.

Я тихонько закрыла дверь, а сама на цыпочках спустилась вниз и постучалась к майору, у которого тогда жарилась в голландской печке тонко нарезанная грудинка, и когда майор увидел меня, он встал с кресла и усадил меня на диван.

— Тише! — говорит он.— Я вижу, что-то неладно. Молчите... Повремените...

А я говорю:

— Ах, майор, боюсь, что там, наверху, творится что-то ужасное.

— Да, да,— говорит он,— и я стал побаиваться... повремените.— И вдруг, вопреки своим собственным словам, он приходит в страшную ярость и говорит: — Я никогда себе не прощу, мадам, что я, Джемми Джекмен, не раскусил всего этого еще в то утро... не пошел прямо наверх, когда сапожная губка была у меня в руках... не заткнул ему этой губкой глотку... и не задушил его до смерти на месте!

Успокоившись, мы с майором порешили, что ничего нам не остается делать, как только притворяться, будто мы ни о чем не подозреваем, и прилагать все усилия к тому, чтобы бедной малютке жилось покойно, но что я стала бы делать без майора, когда пришлось внушать всем

шарманщикам, что нам нужен покой, неизвестно — ведь он-то воевал с ними, как лев и тигр, даже до такой степени, что, не видя этого своими глазами, я не поверила бы, как это джентльмен может так стремительно выскакивать из дому с каминными щипцами, тросточками, кувшинами, углем, картофелем, взятым со своего стола, и даже со шляпой, сорванной со своей собственной головы, и в то же время до того свирепо выражаться на иностранных языках, что шарманщики, бывало, остановятся, не докрутивши ручки, и стоят, оцепенев, словно Спящие Уродины,— не могу же я назвать их Красавицами!

Теперь я до того пугалась, едва завидев почтальона невдалеке от нашего дома, что чувствовала облегчение, когда он проходил мимо; но вот дней через десять или недели через две он опять говорит мне:

— Письмо для миссис Эдсон... Она хорошо себя чувствует?

— Хорошо, почтальон, но она уже не в силах вставать так рано, как прежде,— что было истинной правдой.

Я отнесла письмо к майору, который сидел за завтраком, и говорю, запинаясь:

— Майор, не хватает у меня духу отдать ей письмо.

— Недобрый вид у этого чертова письма,— говорит майор.

— У меня не хватает духу, майор,— повторяю я, а сама вся дрожу,— отдать ей его.

Майор ненадолго призадумался, а потом говорит, подняв голову с таким видом, точно ему пришла на ум какая-то новая и полезная мысль:

— Миссис Лиррипер, я никогда себе не прощу, что я, Джемми Джекмен, не пошел в то утро прямо наверх со своей сапожной губкой в руках... не заткнул ему губкой глотку... и не задушил его до смерти на месте!

— Майор,— говорю я с некоторой поспешностью,— вы этого не сделали — и слава богу, потому что ничего хорошего из этого не получилось бы, и мне кажется, вашей губке нашлось лучшее применение на ваших почтенных сапогах.

Ну, мы образумились и порешили, что я постучу в дверь ее спальни и положу письмо на циновку снаружи, а сама подожду на верхней площадке, посмотрю, не слу-

чится ли чего, и, признаюсь, никакой порох, ни пушечные ядра, ни гранаты, ни ракеты не внушали никому такого страха, какой внушало мне это страшное письмо, когда я несла его на третий этаж.

Ужасный вопль пронесся по всему дому, как только она распечатала письмо, и я нашла ее лежащей замертво на полу. Я, душенька, даже не взглянула на письмо, которое лежало рядом с нею развернутое, потому что для этого не представилось случая.

Все, что мне требовалось, чтобы привести ее в чувство, майор собственноручно принес мне наверх и, кроме того, сбегал в аптеку за лекарствами, которых в доме не оказалось, а также ринулся в самую ожесточенную из своих стычек с одним музыкальным инструментом, представлявшим бальный зал не знаю уж в какой именно стране, но только фигурки вальсировали, то показываясь из-за портьеры, то скрываясь за нею, и притом вращали глазами. Но вот, долгое время спустя я увидела, что она приходит в чувство, и поскорей улизнула на площадку, да так и стояла там, покуда не услышала ее плача, а тогда вошла и говорю бодрым голосом:

— Миссис Эдсон, вы нездоровы, милочка моя, да и не мудрено,— и говорю это с таким видом, словно раньше и не входила к ней в комнату.

Поверила она мне или не поверила, этого я не могу сказать, да оно и не важно, хоть и могла бы, но я сидела с ней много часов, а она все благодарила меня и, наконец, сказала, что хочет полежать, потому что у нее голова болит.

— Майор,— шепчу я, заглянув в диванную,— прошу и умоляю вас, не выходите из дому!

А майор шепчет в ответ:

— Мадам, будьте уверены, что не выйду. Ну, а как она?

Я ему говорю:

— Майор, одному богу известно, что жжет и терзает ее бедную душу. Когда я с нею рассталась, она сидела у окна в своей комнате. А я теперь пойду посижу у окна в своей.

Прошел день, и настал вечер. Жить на улице Норфолк очень приятно,— только не в нижней ее части,— и все-таки летним вечером, когда она вся покрыта сором и клоч-

ками бумаги, и на ней играют беспризорные дети, и какая-то тяжелая тишина и духота давят на нее, а церковные колокола трезвонят где-то поблизости, тут немножко скучно, и ни разу я с тех пор не смотрела на нее в такой вот час и никогда не посмотрю в такой час без того, чтобы не вспомнить того скучного июньского вечера, когда эта молоденькая бедняжка сидела у своего открытого окна в угловой комнате на третьем этаже, а я сидела у своего открытого окна в угловой (противоположной угловой) на четвертом. Что-то милосердное, что-то более мудрое и доброе, чем я сама, заставило меня, пока еще было светло, надеть шляпку и шаль, а когда тени упали на землю и начался прилив, я видела — стоило мне только высунуть голову и взглянуть вниз на ее окно,— что она слегка наклонилась вперед и смотрит вниз. Уже темнело, когда я увидела ее на улице.

Я так боялась потерять ее из виду, что даже теперь, когда об этом рассказываю, у меня перехватывает дыхание, и, спускаясь по лестнице, я мчалась со всех ног, так что я только стукнула рукой в майорову дверь, проходя мимо, и выскочила из дому. Она уже скрылась. Не убавляя шагу, я пошла вниз по улице и, добравшись до поворота на Хоуард-стрит, увидела, что она свернула туда и идет прямо впереди меня на запад. Ох, до чего я обрадовалась, когда, наконец, увидела ее!

Она совсем плохо знала Лондон и очень редко выходила из дому, разве что подышать воздухом на нашей же улице, где она знала двух-трех малышей — детей наших соседей, и порой стояла среди них на мостовой, глядя на воду. Я знала, что идет она наудачу, однако она без ошибки сворачивала в переулки, если это было нужно, и, наконец, вышла на Стрэнд. Но я видела, что на каждом перекрестке она повертывала голову лишь в одну сторону, а именно в сторону реки.

Возможно, что только тишина и темнота, царившие вокруг Аделфи Террас, побудили ее устремиться в ту сторону, но шла она с таким видом, словно заранее решила пойти туда; да, пожалуй, так оно и было. Она спустилась прямо на площадку, прошлась вдоль нее, наклоняясь над чугунными перилами и глядя вниз, и впоследствии я часто просыпалась в постели, с ужасом вспоминая об этом. При-

стань внизу была безлюдна, вода поднялась высоко, и все это, должно быть, укрепило ее намерение. Она огляделась кругом, как бы ища дороги, и устремилась вниз — не знаю уж, по верному ли пути или нет, потому что я ни раньше, ни позже тут не бывала,— а я пошла за ней следом.

Надо сказать, что за все это время она ни разу не оглянулась назад. Но теперь походка ее сильно изменилась, и вместо того чтобы по-прежнему идти быстрым, твердым шагом, сложив руки на груди, она бежала под темными, мрачными сводами как безумная, широко раскинув руки, точно это были крылья и она летела навстречу своей смерти.

Мы очутились на пристани, и она остановилась. Я тоже остановилась. Увидев, как она взялась за завязки своей шляпы, я бросилась вперед по самому краю пристани и обеими руками обхватила ее за талию. В тот миг я знала, что она могла бы меня утопить, но вырваться из моих рук не смогла бы.

До тех пор мысли у меня путались, и я никак не могла придумать, что мне ей сказать, но чуть только я до нее дотронулась, разум вернулся ко мне, как по волшебству: голос стал естественным, голова ясной, и даже дышала я почти как всегда.

— Миссис Эдсон! — говорю я.— Милочка моя! Осторожней. Как это вы заблудились и попали в такое опасное место? Вы, наверное, шли по самым путаным улицам Лондона. Ну и не мудрено, что заблудились. Надо же вам было попасть в такое место! Я-то думала, что никто сюда не ходит, кроме меня, когда я тут заказываю уголь, да майора, что живет в диванной,— он любит выкурить здесь сигару! — а сказала я так, увидев, что этот славный человек уже стоит поблизости, делая вид, что курит.

— Кхе! Кхе! Кхе! — кашляет майор.

— Ах, боже мой,— говорю я,— да вот и он сам, легок на помине!

— Эй! Кто идет? — окликает нас майор по-военному.

— На что это похоже! — говорю я.— Неужели вы нас не узнаете, майор Джекмен?

— Эй! — восклицает майор.— Кто там зовет Джемми Джекмена? (Но он задыхался сильнее и говорил менее натурально, чем я от него ожидала.)

— Да ведь это же миссис Эдсон, майор! — говорю я.— Она вышла на воздух освежить свою бедную головку, которая очень болела, да вот сбилась с дороги, заблудилась, и бог знает, куда бы попала, не приди я сюда опустить письмо с заказом на уголь в почтовый ящик своего поставщика, а вы покурить сигару! Да вы и вправду, милочка, недостаточно хорошо себя чувствуете,—говорю я ей,— чтобы уходить так далеко из дому без меня... Ну, майор, ваша рука придется кстати,— говорю я ему,— ведь бедняжка может опереться на нее хоть всей своей тяжестью.

Тут мы, благодарение богу, подхватили ее с двух сторон и увели.

Она вся дрожала, словно от холода, пока я не уложила ее в постель, и до самого рассвета держала меня за руку, а сама все стонала и стонала: «О, жестокий, жестокий, жестокий!» Но когда я опустила голову, притворяясь, что меня одолел сон, я услышала, как бедняжка стала трогательно и смиренно благодарить судьбу за то, что ей помешали в безумии наложить на себя руки, и тут уж я чуть не выплакала себе глаза, залив слезами покрывало, и поняла, что она спасена.

У меня были кое-какие средства, и я могла себе коечто позволить, поэтому мы с майором на другой же день обдумали, как нам быть дальше, пока она спала, обессиленная, и вот я говорю ей, как только подвернулся удобный случай:

— Миссис Эдсон, милочка моя, когда мистер Эдсон внес мне квартирную плату за следующие шесть месяцев...

Она вздрогнула, и я почувствовала, что в меня впились ее большие глаза, но не подала виду и продолжала, уткнувшись в свое шитье:

— ...я выдала ему расписку, но сейчас не вполне уверена, что тогда правильно поставила на ней число. Вы не можете дать мне взглянуть на нее?

Она прикрыла холодной, застывшей рукой мою руку и посмотрела на меня, словно заглядывая мне в душу, так что мне пришлось бросить шитье и взглянуть на нее, но я заранее приняла предосторожности — надела очки.

— У меня нет никакой расписки,— говорит она.

— А! Так, значит, она осталась у него,— говорю я небрежным тоном.— Впрочем, беда невелика. Расписка всегда расписка.

С той поры она постоянно держала меня за руку, если я могла ей это позволить, что случалось тогда, когда я читала ей вслух, потому что нам с ней, конечно, приходилось заниматься шитьем, а обе мы были не мастерицы шить всякие крошечные штучки, но при всей моей неопытности я все же скорее могу гордиться плодами своих трудов. И хотя ей нравилось все то, что я ей читала, мне казалось, что, не считая нагорной проповеди, ее больше всего трогало благостное сострадание Христа к нам, бедным женщинам, и его детство и то, как матерь его гордилась им и как хранила в сердце его слова. В глазах у нее всегда светилась благодарность, и я никогда, никогда, никогда не забуду этого, пока не закрою собственных глаз в последнем сне, когда же я случайно бросала взгляд на нее, я неизменно встречала ее благодарный взгляд, и она часто протягивала мне дрожащие губы для поцелуя, словно была маленькой любящей, несчастной девочкой, а не взрослой женщиной.

Как-то раз бедные ее губки дрожали так сильно, а слезы лились так быстро, что мне показалось, она вот-вот поведает мне все свое горе, но я взяла ее за руки и сказала:

— Нет, милочка, не сейчас,— сейчас вам лучше и не пытаться. Подождите, пока не наступит хорошее время, когда все это пройдет и вы окрепнете,— вот тогда и рассказывайте мне что хотите. Согласны?

Она несколько раз кивнула мне головой, не выпуская моих рук, потом прижала их к своим губам и к груди.

— Одно лишь слово, дорогая моя,— сказала я,— нет ли кого-нибудь...

Она посмотрела на меня вопросительно:

— Кого-нибудь?

— К кому я могла бы пойти?

Она покачала головой.

— Кого я могла бы привести к вам?

Она опять покачала головой.

— Ну, а мне ведь никого не нужно, дорогая. Теперь будем считать, что с этим покончено.

Не больше чем неделю спустя,— потому что разговор наш происходил, когда мы давно уже сдружились с нею,— я склонялась над ее изголовьем и то прислушивалась к ее дыханию, то искала признаков жизни в ее лице. Наконец жизнь торжественно вернулась к ней, но это была не вспышка,— мне почудилось, будто бледный, слабый свет медленно-медленно разлился по ее лицу.

Она беззвучно произнесла что-то, и я догадалась, что она спросила:

— Я умру?

И я ответила:

— Да, бедняжечка моя милая, кажется, что да.

Я каким-то образом угадала ее желание и положила ее бессильную правую руку ей на грудь, а другую сверху, и она помолилась — так хорошо! — а я, несчастная, тоже помолилась, хоть и без слов. Потом я взяла завернутого в одеяльце ребеночка с того места, где он лежал, принесла его и сказала:

— Милочка моя, он послан бездетной старой женщине. Чтобы мне было о ком заботиться.

В последний раз она протянула мне дрожащие губы, и я нежно поцеловала их.

— Да, моя милочка,— сказала я.— Помоги нам бог! Мне и майору.

Не знаю, как это получше выразить, но я увидела в ее благодарном взгляде, что душа ее проясняется, поднимается, освобождается и улетает прочь.

* * *

Вот, душенька, отчего и почему мы назвали его Джемми — в честь майора, его крестного отца, и дали ему фамилию Лиррипер — в честь меня, и в жизни я не видывала такого милого ребенка, который так оживлял бы меблированные комнаты, как он наш дом, и был таким товарищем для своей бабушки, каким был Джемми для меня, к тому же всегда-то он был спокойный, слушался (большей частью), когда ему что-нибудь прикажешь, прямо утешительный был малыш,— глядя на него, душа радовалась, кроме как в один прекрасный день, когда он настолько вырос, что забросил свою шапочку на нижний

дворик Уозенхемши, а ему не захотели вернуть шапочку, и я до того разволновалась, что надела свою лучшую шляпку и перчатки, взяла зонтик, повела ребенка за ручку и говорю:

— Мисс Уозенхем, не думала я, что мне когда-нибудь придется войти в ваш дом, но если шапочку моего внука не возвратят немедленно, законы нашей родины, охраняющие собственность подданных, вступят в силу, и в конце концов нас с вами рассудят, чего бы это ни стоило.

С усмешкой, по которой я, признаюсь, сейчас же догадалась, что слух о запасных ключах не ложь (хотя, может, я и ошиблась и придется оставить мисс Уозенхем только под подозрением за недостатком улик), она позвонила и говорит:

— Джейн, вы не видели у нас в нижнем дворике старой шапки какого-то уличного мальчишки?

А я ей на это:

— Мисс Уозенхем, прежде чем ваша горничная ответит на этот вопрос, позвольте мне вам сказать прямо в глаза, что мой внук не уличный мальчишка и что он не имеет обыкновения носить старые шапки. Уж коли на то пошло, мисс Уозенхем,— говорю я,— шапочка моего внука, сдается мне, поновее вашего чепца,— что было очень дерзко с моей стороны,— ведь кружева у ней на чепце были самые простые, машинные, застиранные да к тому же еще и рваные, но ее наглость вывела меня из себя.

Тут мисс Уозенхем покраснела и говорит:

— Джейн, отвечайте на мой вопрос, есть у нас на нижнем дворике детская шапка или нет?

— Да, сударыня,— отвечает Джейн,— я, кажется, видела, что там валяется какое-то тряпье.

— В таком случае,— говорит мисс Уозенхем,— проводите этих посетителей вон из дома и выкиньте этот нестоящий предмет из моих владений.

Но тут мальчик,— а он все время глядел на мисс Уозенхем во все глаза, чтобы не сказать больше,— хмурит свои бровки, надувает губки, расставляет толстенькие ножонки, медленно сучит пухленькими кулачками, как будто вертит ручку кофейной мельницы, и говорит Уозенхемше:

— Вы не лугайте мою бабушку, а то я вас побью!

— Эге! — говорит мисс Уозенхем, сердито глядя на

крошку.— Уж если это не уличный мальчишка, так кому ж еще и быть? Хорош, нечего сказать!

А я разразилась хохотом и говорю:

— Если вы, мисс Уозенхем, смотрите без удовольствия даже на такого прелестного ребенка, я не завидую вашим чувствам и желаю вам всего хорошего. Джемми, пойдем домой с бабушкой.

И я не потеряла прекраснейшего расположения духа,— хотя шапочка вылетела прямо на улицу в таком виде, словно ее только что вытащили из-под водопроводного крана,— но шла домой, смеясь всю дорогу, и все это благодаря нашему милому мальчику.

Сколько миль мы с майором проехали вместе с Джемми в сумерках, не зажигая лампы, сосчитать невозможно, причем Джемми сидел за кучера на козлах (на окованном медью пюпитре майора), я сидела внутри почтовой кареты — то есть в кресле, а майор стоял за кондуктора на запятках, то есть просто позади меня, и весьма искусно трубил в рог из оберточной бумаги. И, право же, душенька, когда я, бывало, задремлю на своем сиденье в «почтовой карете» и вдруг проснусь от вспышки огня в камине да услышу, как наш драгоценный малыш правит лошадьми, а майор трубит сзади, требуя, чтобы нам дали сменную четверню, потому что мы приехали на станцию, так, верите ли, мне спросонья чудилось, будто мы едем по старой Северной дороге, которую так хорошо знал мой бедный Лиррипер. А потом, поглядишь, бывало, как оба они, и старый и малый, слезают, закутанные, чтобы погреться, топочут ногами и пьют стаканами эль из бумажных спичечных коробок, взятых с каминной полки, так сразу увидишь, что майор веселится не хуже мальчугана, ну, а я забавлялась совсем как в театре, когда, бывало, наш кучеренок откроет дверцу кареты и заглянет ко мне внутрь со словами: «Очень быстло ехали до этой станции... Стлашно было, сталушка?»

Но те невыразимые чувства, какие я испытала, когда мы потеряли этого мальчика, можно сравнить только с чувствами майора, а они были ни капельки не лучше моих,— ведь мальчик пропал пяти лет от роду в одиннадцать часов утра, и ни слуху ни духу о нем не было до половины десятого вечера, когда майор уже ушел к редак-

тору газеты «Таймс», помещать объявление, которое появилось на другой день, ровно через сутки после того, как беглец нашелся, и я бережно храню этот номер в ящике, надушенном лавандой, потому что это был первый случай, когда о Джемми написали в газетах. Чем дальше шло время, тем больше я волновалась, и майор тоже, и, кроме того, нас обоих ужасно раздражало невозмутимое спокойствие полицейских,— хотя надо им отдать должное, они были очень вежливы и предупредительны,— а также то упрямство, с каким они отказывались поддерживать наше предположение, что ребенка украли.

— В большинстве случаев мы их находим, сударыня,— уверял сержант, явившийся, чтобы меня успокоить, в чем он нисколько не преуспел, а сержант этот был рядовым констеблем во времена Кэролайн, на что он и намекнул вначале, сказав: — Не поддавайтесь волнению, сударыня, все обойдется благополучно — так же, как зажил мой нос, после того как его исцарапала та девица у вас на третьем этаже,— говорит,— ведь мы в большинстве случаев их находим, сударыня, потому что никто особенно не рвется подбирать, если можно так выразиться, подержанных ребятишек. Кто-кто, а уж вы получите его обратно, сударыня.

— Ах, но, дорогой мой, добрый сэр,— говорю я и сжимаю руки, потом ломаю их, потом опять сжимаю,— ведь он *до того* необыкновенный ребенок!

— Ну так что ж, сударыня,— говорит сержант,— мы и таких в большинстве случаев находим, сударыня. Весь вопрос в том, дорого ли стоит его одежда.

— Его одежда,— говорю я,— стоит недорого, сэр, потому что он был в своем будничном костюмчике, но ведь это *до того* прелестный ребенок!

— Не беспокойтесь, сударыня,— говорит сержант.— Кто-кто, а вы получите его обратно, сударыня. И даже будь он в своем лучшем костюме, самое худшее, что может случиться,— это то, что его найдут завернутым в капустные листья и дрожащим от холода где-нибудь в переулке.

Слова его пронзили мне сердце точно кинжалом — тысячью кинжалов,— и мы с майором бегали, как безумные, туда-сюда весь день напролет; но вот — дело было уже к вечеру — майор, возвратившись домой после своих перего-

воров с редактором «Таймса», словно в истерике врывается в мою комнатку, хватает меня за руку, вытирает себе глаза и кричит:

— Радуйтесь, радуйтесь... полисмен в штатском поднялся на крыльцо, когда я входил в дом... успокойтесь!.. Джемми нашелся!

Не мудрено, что я упала в обморок, и когда очнулась, бросилась обнимать ноги сыщику — а он был с темными бакенбардами и как будто составлял в уме инвентарь всего имущества в моей комнатке,— и тут я говорю ему: «Благослови вас бог, сэр, но где же наш милый крошка?» — а он отвечает: «В Кеннингтонском полицейском участке».

Я чуть было не упала к его ногам, окаменев от ужаса при мысли о том, что такая невинность сидит в кутузке вместе с убийцами, но сыщик добавил:

— Он побежал за обезьяной.

Тут я решила, что это какое-то слово на воровском языке, и стала его просить:

— О сэр, объясните любящей бабушке, какая такая обезьяна?

А он мне на это:

— Да вот та самая, в колпачке с блестками, а под подбородком ремешок, который вечно сползает на сторону,— та, что торчит у перекрестков на круглом столике и лишь в крайнем случае соглашается вынимать саблю из ножен.

Теперь я все поняла и всячески его благодарила, и мы с майором и с ним поехали в Кеннингтон, а там нашли нашего мальчика: он очень уютно устроился перед пылающим камином и сладко спал, наигравшись на маленькой гармони, величиной с утюг, даже меньше,— должно быть, ее отобрали у какого-то мальчишки, а полицейские любезно дали ее Джемми, чтоб он поиграл и заснул.

Ну, а про ту систему, душенька, по которой майор начал и, можно сказать, усовершенствовал обучение Джемми, в то время когда тот был еще такой маленький, что если стоял по ту сторону стола, то приходилось смотреть не через стол, а под него, чтобы увидеть этого крошку и его чудесные золотые кудри —точь-в-точь как у матери,— так вот, про эту систему, душенька, не худо бы узнать и королю, и палате лордов, и палате общин, и тогда майору,

наверное, вышло бы повышение, которого он вполне заслуживает и которое пришлось бы ему весьма кстати (говоря между нами), особенно по части фунтов, шиллингов и пенсов. Когда майор впервые взялся обучать Джемми, он сказал мне:

— Я собираюсь, мадам,— говорит,— сделать нашего питомца вычислителем.

— Майор,— говорю я,— вы меня пугаете: смотрите не нанесите малютке такого непоправимого вреда, что вы этого себе вовек не простите.

— Мадам,— говорит майор,— раскаяние, которое я испытал после того случая, когда в руке у меня была сапожная губка и я не задушил ею этого мерзавца... на месте...

— Опять! Ради всего святого! — перебиваю я майора.— Пусть совесть гложет его без всяких губок.

— ...повторяю, мадам, раскаяние, испытанное мною после того случая,— говорит майор,— можно сравнить только с раскаянием, которое переполнит мне грудь,— тут он ударил себя в грудь,— если этот острый ум не будут развивать с раннего детства. Но заметьте себе, мадам,— говорит майор, подняв указательный палец,— развивать таким методом, что для ребенка это будет одно удовольствие.

— Майор,— говорю я,— буду с вами откровенна и скажу вам начистоту: как только я замечу, что дорогой малютка теряет аппетит, я пойму, что все это от ваших вычислений, и прекращу их в две минуты. Или если я замечу, что они ударяют ему в голову,— говорю я,— или как-нибудь там расстраивают ему желудок, или что от этих самых вычислений у него подкашиваются ножки, результат будет тот же самый, но, майор, вы человек умный и много чего повидали на своем веку, вы любите ребенка, вы его крестный отец, и раз вы уверены, что попробовать стоит,— пробуйте.

— Эти слова, мадам,— говорит майор,— достойны Эммы Лиррипер. Я прошу об одном, мадам: предоставьте нам с крестником недельки две на подготовку сюрприза для вас и позвольте мне иногда забирать к себе из кухни некоторые небольшие предметы, в которых там пока нет надобности.

— Из кухни, майор? — переспрашиваю я, смутно опасаясь, уж не собирается ли он сварить ребенка.

— Из кухни,— отвечает майор, а сам улыбается и надувается и даже как будто становится выше ростом.

Ну, я согласилась, и некоторое время майор с мальчуганом каждый день сидели взаперти по получасу кряду, и я только и слышала, что они болтают да смеются, а Джемми хлопает в ладоши и выкрикивает разные числа, поэтому я сказала себе: «Пока что это ему не повредило»,— да к тому же, наблюдая за милым мальчиком, я не замечала в нем ничего особенного, и это меня тоже успокаивало. Наконец в один прекрасный день Джемми приносит мне карточку, исписанную аккуратным майоровым почерком: «Господа Джемми Джекмен,— надо вам знать, что мы назвали мальчика в честь майора,— имеют честь просить миссис Лиррипер пожаловать в Джекменский институт, в диванную, что с окнами на улицу, сегодня в пять ноль-ноль вечера и присутствовать при исполнении нескольких небольших фокусов из области элементарной арифметики». И, верьте не верьте, ровно в пять часов майор стоял в диванной за ломберным столом, крылья которого были подняты, а на столе, устланном старой газетной бумагой, в полном порядке было расставлено множество всякой кухонной утвари, причем крошка стоял на стуле и румяные щечки его горели, а глазки сверкали, словно кучка брильянтиков.

— Тепсль, бабушка,— говорит он,— вы садитесь и не плиставайте к нам,— ведь он увидел своими брильянтиками, что я собираюсь его потискать.

— Отлично, сэр,— говорю я,— в такой прекрасной компании я, разумеется, буду слушаться,— и села в кресло, которое для меня поставили, а сама так и трясусь от смеха.

Но вообразите мое восхищение, когда майор принялся выставлять вперед и называть вещи на столе одну за другой, и до того быстро — как фокусы показывают.

— Три кастрюли,— говорит,— щипцы для плойки, ручной колокольчик, вилка для поджаривания хлеба, терка для мускатного ореха, четыре крышки от кастрюль, коробка для пряностей, две рюмки для яиц и доска для рубки мяса... сколько всего?

И малыш сейчас же кричит в ответ:

— Пятнадцать: запишем пять, доска для мяса в уме,— а сам то в ладоши хлопает, то ножонки задирает, то на стуле пляшет.

Затем, душенька, они с майором принялись все с той же изумительной легкостью и точностью складывать столы и кресла с диванами, картины и каминные решетки — с утюгами, самих себя и меня — с кошкой и глазами мисс Уозенхем, и как только подведут итог, мой «розочка с брильянтами» то в ладоши хлопает, то ножонки задирает, то на стуле пляшет.

А майор-то как гордится!

— Вот это голова, мадам! — тихо шепчет он мне, прикрыв рот рукой. Потом говорит громко: — Теперь перейдем к следующему элементарному правилу... которое называется...

— Читание! — кричит Джемми.

— Правильно,— говорит майор.— Мы имеем вилку для поджаривания хлеба, картофелину в натуральном виде, две крышки от кастрюль, одну рюмку для яиц, деревянную ложку и две спицы для жаренья мяса; из всего этого для коммерческих надобностей требуется вычесть: рашпер для килек, кувшинчик из-под пикулей, два лимона, одну перечницу, тараканью ловушку и ручку от буфетного ящика. Сколько останется?

— Вилка для поджаливанья хлеба! — кричит Джемми.

— В числах сколько? — спрашивает майор.

— Единица! — кричит Джемми.

— Вот это мальчик, мадам! — тихо шепчет мне майор, прикрыв рот рукой.

Потом продолжает:

— Теперь перейдем к следующему элементарному правилу... которое называется...

— Множение! — кричит Джемми.

— Правильно,— говорит майор.

Ну, душенька, если я начну рассказывать вам подробно, как они умножали четырнадцать поленьев на два кусочка имбиря и шпиговку или делили чуть не все, что стояло на столе, на грелку от щипцов для плойки и подсвечник для спальни, получая в остатке лимон, то голова моя закружится и будет кружиться, кружиться, кружиться, как кружилась тогда. Поэтому я сказала:

— Прошу извинить, что обращаюсь с просьбой к председателю, профессор Джекмен, но, мне кажется, пора прервать лекцию, потому что мне необходимо крепко обнять этого молодого ученого.

На что Джемми кричит со своего стула:

— Бабушка, ласклойте луки, я на вас плыгну!

И я раскрыла ему объятия, как раскрыла свое скорбное сердце, когда его бедная молодая мать лежала при смерти, и он прыгнул на меня, и мы долго обнимали друг друга, а майор, который прямо лопался от гордости, что твой павлин, тихо шепчет мне, прикрыв рот рукой:

— Не к чему повторять ему мои слова, мадам, — и вправду не к чему, потому что слова майора были очень отчетливо слышны,— но вот *это* мальчик!

Таким образом Джемми рос себе да рос и начал уже ходить в школу, но продолжал учиться под руководством майора, и нам было так хорошо, что лучше и быть не может, а что касается меблированных комнат, то им привалило счастье: они, можно сказать, сдавались сами собой, и будь их вдвое больше, все равно все были бы сданы, но все-таки пришлось мне в один прекрасный день нехотя и через силу сказать майору:

— Майор, знаете, что мне нужно вам сказать? Нашего мальчика надо отдать в пансион.

Грустно было видеть, как вытянулось лицо у майора, и я от всего сердца пожалела доброго старика.

— Да, майор,— говорю я,— хотя жильцы любят его не меньше чем вас и хотя одни мы знаем, как он нам дорог, однако это в порядке вещей, и вся жизнь складывается из разлук, так что придется и нам расстаться с нашим баловнем.

Хотя я говорила это самым решительным тоном, но в глазах у меня двоилось, так что я видела сквозь слезы двух майоров и с полдюжины каминов, а когда бедный майор уперся чистым, ярко начищенным сапогом в каминную решетку, а локтем в колено, а голову опустил на руку и начал качаться взад и вперед, я ужасно расстроилась.

— Но,— говорю я, откашлявшись,— вы так хорошо подготовили его, майор... вы были ему таким хорошим учителем... что на первых порах ему будет совсем легко. И к

тому же он такой смышленый, что скоро завоюет себе место в первом ряду...

— Второго такого мальчика,— говорит майор, посапывая,— нет на земле.

— Верно вы говорите, майор, и не годится нам из чистого себялюбия и ради самих себя мешать ему сделаться красой и гордостью любого общества, в которое он войдет, а быть может, даже стать великим человеком, правда, майор? Когда я свое отработаю, он получит мои маленькие сбережения (потому что в нем вся моя жизнь), и мы должны помочь ему сделаться разумным человеком и добрым человеком, правда, майор?

— Мадам,— говорит майор, встав с места,— Джемми Джекмен оказался более старым дурнем, чем я думал, а вы его пристыдили. Вы совершенно правы, мадам. Вы вполне и неоспоримо правы... С вашего разрешения я пойду прогуляться.

Итак, майор ушел, а Джемми был дома, и я увела мальчика сюда, в свою комнатку, поставила его перед своим креслом, погладила его кудри — точь-в-точь такие, как у матери,— и начала говорить с ним серьезно и ласково. Я напомнила своему любимчику, что ему уже десятый год, и сказала ему насчет его жизненного пути почти то же самое, что говорила майору, а потом объявила, что теперь нам нужно расстаться, но тут невольно умолкла, потому что увидела вдруг памятные мне дрожащие губки, и это так живо воскресило былые времена! Но он был очень мужественный и скоро справился с собой и так серьезно говорит мне сквозь слезы, кивая головкой:

— Я понимаю, бабушка... я знаю, что так *надо,* бабушка... продолжайте, бабушка, не бойтесь за *меня.*

А когда я высказала все, что было у меня на душе, он обратил ко мне свое ясное, открытое личико и говорит слегка прерывающимся голосом:

— Вот увидите, бабушка, я вырасту большой и сделаю все, чтобы доказать вам свою благодарность и любовь... а если вырасту не таким, как вам хочется... нет, надеюсь, что вырасту таким... а не то я умру.

Тут он сел подле меня, а я принялась рассказывать ему про школу, которую мне горячо рекомендовали,— где она

находится, сколько там воспитанников и в какие игры они, как я слышала, играют и сколько времени продолжаются каникулы, а он слушал все это внимательно и спокойно. И вот, наконец, он говорит:

— А теперь, милая бабушка, позвольте мне стать на колени здесь, где я привык читать молитвы, позвольте мне только на минутку спрятать лицо в вашем платье и поплакать, потому что вы были для меня лучше отца... лучше матери... братьев, сестер и друзей!..

Ну, он поплакал, и я тоже, и нам обоим полегчало.

С того времени он крепко держал свое слово, всегда был весел, послушен, и даже когда мы с майором повезли его в Линкольншир, он был самый веселый из всей нашей компании, что, впрочем, очень естественно, но он, право же, был веселый и оживлял нас, и только когда дело дошло до последнего прощанья, он сказал, печально глядя на меня: «Ведь вы не хотите, чтобы я очень грустил, правда, бабушка?» И когда я ответила: «Нет, милый, боже сохрани!» — он сказал: «Это хорошо!» — и убежал прочь.

Но теперь, когда мальчика уже не было в меблированных комнатах, майор постоянно пребывал в унынии. Даже все жильцы заметили, что майор приуныл. Теперь уже не казалось, как прежде, что он довольно высок ростом, и если, начищая свои сапоги, он хоть капельку интересовался этим занятием, и то уже было хорошо.

Как-то раз вечером майор пришел в мою комнатку выпить чашку чаю, покушать гренков с маслом и прочитать последнее письмо Джемми, полученное в тот день (письмо принес тот же самый почтальон, и он успел состариться, пока разносил почту), и видя, что письмо немного оживило майора, я и говорю ему:

— Майор, не надо унывать.

Майор покачал головой.

— Джемми Джекмен, мадам,— говорит он с глубоким вздохом,— оказался более старым дурнем, чем я думал.

— От уныния не помолодеешь, майор.

— Дорогая моя миссис Лиррипер,— говорит майор,— можно ли помолодеть от чего бы то ни было?

Чувствуя, что майор берет надо мною верх, я переменила тему.

— Тринадцать лет! Три-надцать лет! Сколько жильцов въехало и выехало за те тринадцать лет, что вы прожили в диванной, майор!

— Ха! — говорит майор, оживляясь. — Много, мадам, много.

— И, кажется, вы со всеми были в хороших отношениях?

— Как правило (за некоторыми исключениями, ибо нет правил без исключений), как правило, дорогая моя миссис Лиррипер, — говорит майор, — я имел честь быть с ними знакомым, а нередко и пользоваться их доверием.

Пока я наблюдала за майором, который опустил седую голову, погладил черные усы и снова предался унынию, одна мысль, которая, наверное, искала, куда бы ей приткнуться, каким-то образом попала в мою старую башку, извините за выражение.

— Стены моих меблированных комнат, — говорю я небрежным тоном (потому что, видите ли, душенька, когда человек в унынии, говорить с ним напрямик бесполезно), — стены моих меблированных комнат могли бы много чего порассказать, если б умели говорить.

Майор не пошевельнулся и слова не вымолвил, но я видела, как он плечами — да, душенька, именно плечами! — прислушивался к моим словам. Я своими глазами видела, что плечи его были потрясены этими словами.

— Наш милый мальчик всегда любил сказки, — продолжала я, словно говоря сама с собой. — И, мне кажется, этот дом — его родной дом — мог бы когда-нибудь написать для него две-три сказки.

Плечи у майора опустились, дернулись, и голова его выскочила из воротничка. С тех самых пор как Джемми уехал в школу, я не видела, чтобы голова майора так выскакивала из воротничка.

— Нет спору, что в промежутках между дружескими партиями в криббедж и прочие карточные игры, дорогая моя мадам, — говорит майор, — а также потягивая из того сосуда, который во времена моей юности, во дни незрелости Джемми Джекмена, назывался круговой чашей, я обменивался многими воспоминаниями с вашими жильцами.

На это я заметила — и, сознаюсь, с самой определенной и лукавой целью:

— Жаль, что наш милый мальчик не слышал этих воспоминаний!

— Вы это серьезно говорите, мадам? — спрашивает майор, вздрогнув и повернувшись ко мне.

— Почему же нет, майор?

— Мадам,— говорит майор, завернув один обшлаг,— я запишу все это для него.

— Ага! Теперь вы заговорили! — восклицаю я, радостно всплеснув руками.— Теперь вы перестанете унывать, майор!

— Начиная с сегодняшнего дня и до моих каникул, то есть каникул нашего милого мальчика,— говорит майор, завернув другой обшлаг,— можно многое сделать по этой части.

— Не сомневаюсь, майор, потому что вы человек умный и много чего повидали на своем веку.

— Я начну,— сказал майор и опять стал как будто выше ростом,— я начну завтра.

И вот, душенька, майор за три дня сделался другим человеком, а через неделю снова стал самим собой и все писал, и писал, и писал, а перо его скребло, словно крысы за стенной панелью, и не могу уж вам сказать, то ли у него много нашлось о чем вспомнить, то ли он сочинял романы, но все, что он написал, лежит в левом, застекленном отделении книжного шкафчика, который стоит прямо позади вас.

## ГЛАВА II

### *О том, как диванная добавила несколько слов*

Имею честь представиться: моя фамилия Джекмен. Я горд, что имя мое сохранится для потомства благодаря самому замечательному мальчику на свете (его зовут Джемми Джекмен Лиррипер) и благодаря моему достойнейшему и высокочтимейшему другу миссис Эмме Лиррипер, проживающей в доме номер восемьдесят один по Норфолк-стрит, Стрэнд, в графстве Мидлсекс, в Соединенном Королевстве Великобритании и Ирландии.

Не моему перу описать тот восторг, с каким встретили мы нашего дорогого и необыкновенно замечательного мальчика по его прибытии на первые его рождественские каникулы. Достаточно будет отметить, что, когда он влетел в дом с двумя великолепными наградами (за арифметику и примерное поведение), мы с миссис Лиррипер в волнении обняли его и немедленно повели в театр, где все трое получили восхитительное удовольствие.

Не для того, чтобы воздать должное добродетелям лучшей из представительниц ее прекрасного и глубокоуважаемого пола (которую я, из уважения к ее скромности, обозначу здесь лишь инициалами Э. Л.), присоединяю я этот отчет к пачке бумаг — от которых наш в высшей степени замечательный мальчик был в таком восторге,— прежде чем снова убрать их в левое, застекленное отделение книжного шкафчика миссис Лиррипер.

И не для того, чтобы навязывать читателю имя старого, чудаковатого, отжившего свой век, неизвестного Джемми Джекмена, некогда (к своему умалению) проживавшего в меблированных комнатах Уозенхем, но вот уже много лет проживающего (к своему возвышению) в меблированных комнатах Лиррипер. Соверши я сознательно поступок столь дурного тона, это поистине было бы самопревозношением, особенно теперь, когда это имя носит Джемми Джекмен Лиррипер.

Нет, я взял свое скромное перо, чтобы составить небольшой очерк о нашем поразительно замечательном мальчике, стремясь, в меру малых своих способностей, нарисовать приятную картинку душевной жизни милого мальчика. Эта картинка, быть может, заинтересует его самого, когда он станет взрослым.

Первый по нашем воссоединении святочный день был блаженнейшим из всех дней, какие мы когда-либо проводили вместе. Джемми не мог помолчать и пяти минут кряду, кроме как в то время, когда был в церкви. Он говорил, когда мы сидели у камина, он говорил, когда мы гуляли, он говорил, когда мы снова сидели у камина, он не переставая говорил за обедом, отчего обед казался почти таким же замечательным, как сам Джемми. Это весна счастья расцветала в его юном, свежем сердце, и она оплодотворяла (да позволено мне будет употребить столь сме-

лое образное выражение) моего высокочтимого друга, а также Дж. Дж., пишущего эти строки.

Мы сидели втроем. Обедали мы в комнатке моего уважаемого друга, и угощали нас превосходно. Впрочем, все в этом заведении — и чистота, и порядок, и комфорт,— все всегда превосходно. После обеда наш мальчик уселся на свою старую скамеечку у ног моего высокочтимого друга, причем горячие каштаны и стакан хереса (поистине отличнейшее вино!) стояли на стуле, заменявшем стол, а лицо мальчика пылало ярче, чем яблоки на блюде.

Мы говорили о моих набросках, которые Джемми к тому времени успел прочитать от доски до доски, и по этому поводу мой высокочтимый друг, приглаживая кудри Джемми, заметила следующее:

— Ведь ты тоже принадлежишь к этому дому, Джемми, и куда больше, чем жильцы, потому что ты в нем родился, а потому не худо бы когда-нибудь добавить твою сказку к остальным, я так думаю.

Тут Джемми сверкнул глазами и сказал:

— И *я* так думаю, бабушка.

Потом он начал смотреть на огонь, потом засмеялся, как бы совещаясь с ним, потом сложил руки на коленях моего высокочтимого друга и, обратив к ней свое ясное лицо, сказал:

— Хотите послушать сказку про одного мальчика, бабушка?

— Еще бы! — ответила мой высокочтимый друг.

— А вы, крестный?

— Еще бы! — ответил и я.

— Ладно! — сказал Джемми.— Так я расскажу вам эту сказку.

Тут наш бесспорно замечательный мальчик обхватил себя руками и снова рассмеялся мелодичным смехом при мысли о том, что он выступит в новой роли. Потом он снова как бы посовещался о чем-то с огнем и начал:

— Когда-то, давным-давно, когда свиньи пили вино, а мартышки жевали кашу,— не в мое время и не в ваше, но это дело не наше...

— Что с ним?! — воскликнула мой высокочтимый друг.— Что у него с головой?

— Это стихи, бабушка! — сказал Джемми, хохоча от души.— Мы в школе всегда так начинаем рассказывать сказки.

— Он меня до смерти напугал, майор! — воскликнула мой высокочтимый друг, обмахиваясь тарелкой.— Я уж подумала было, что он не в своем уме!

— В то замечательное время, бабушка и крестный, жил-был один мальчик — не я, заметьте себе!

— Конечно, не ты! — говорит мой уважаемый друг.— Не он, майор, понимаете?

— Да, да,— говорю я.

— И он уехал в школу, в Ратлендшир...

— Почему не в Линкольншир? — спрашивает мой уважаемый друг.

— Почему не в Линкольншир, милая моя старенькая бабушка? Потому что в Линкольнширскую школу уехал я, вот почему!

— Ах да, верно! — говорит мой уважаемый друг.— А ведь это не про Джемми, вы понимаете, майор?

— Да, да,— говорю я.

— Ладно! — продолжает наш мальчик, уютно обхватив себя руками, весело рассмеявшись (и опять словно совещаясь с огнем), а потом снова подняв глаза на миссис Лиррипер.— И вот он по уши влюбился в дочь своего учителя, а она была до того красива, что другой такой никто и не видывал: глаза у нее были карие, а волосы каштановые и прелестно вились; голос у нее был очаровательный, и вся она была очаровательная, и звали ее Серафина.

— Как зовут дочь твоего учителя, Джемми? — спросила мой уважаемый друг.

— Полли! — ответил Джемми, грозя ей пальцем.— Ага! Вот я вас и поймал! Ха-ха-ха!

Тут они с моим уважаемым другом посмеялись и обнялись, а потом наш общепризнанно замечательный мальчик продолжал с огромным удовольствием:

— Ладно! И вот он в нее влюбился. И вот он думал о ней, и мечтал о ней, и дарил ей апельсины и орехи, и дарил бы ей жемчуга и брильянты, если бы мог купить их на свои карманные деньги, но он не мог. И вот ее отец... Ах, он был настоящий варвар! Придирался к мальчикам,

каждый месяц устраивал экзамены, читал нравоучения на любые темы в любое время и знал все на свете по книгам. И вот этот мальчик...

— А его как-нибудь звали? — спросила мой уважаемый друг.

— Нет, его никак не звали, бабушка. Ха-ха-ха! Вот опять! Опять я вас поймал!

После чего они снова посмеялись и обнялись, и наш мальчик продолжал:

— Ладно! И вот у этого мальчика был друг, почти что его ровесник, и учился он в той же школе, а звали его (у этого мальчика почему-то было имя), а звали его... дайте вспомнить... звали его Боббо.

— А не Боб? — переспросила мой уважаемый друг.

— Конечно нет! — ответил Джемми.— Почему вы, бабушка, подумали, что Боб? Ладно! И вот этот друг был умнейшим, и храбрейшим, и красивейшим, и великодушнейшим из всех друзей на свете, и вот он влюбился в сестру Серафины, а сестра Серафины влюбилась в него, и вот они все выросли большие.

— Чудеса! — говорит мой уважаемый друг.— Что-то они уж очень скоро выросли.

— Вот они все выросли большие,— повторил наш мальчик, смеясь от души,— и Боббо вместе с этим мальчиком уехали верхом искать своего счастья, а лошадей они достали по знакомству, но в то же время за деньги: то есть они оба вместе скопили семь шиллингов и четыре пенса, а лошади были арабской породы и стоили дороже, но хозяин сказал, что ему довольно и этого, так как он хочет сделать одолжение мальчикам. Ладно! И вот они нашли свое счастье и галопом вернулись в школу, а в карманах у них было столько золота, что его хватило бы на всю жизнь. И вот они позвонили в тот колокольчик, в который звонят родители и гости (не тот, что на задней калитке), и когда им открыли дверь, провозгласили: «Теперь все равно что во время скарлатины! Все мальчики отправляются домой на неопределенное время!» И тут все громко закричали «ура», а потом друзья поцеловали Серафину и ее сестру — каждый свою милую, никак не чужую,— а потом приказали немедленно заключить варвара под стражу.

— Бедняга! — проговорила мой уважаемый друг.

— Немедленно заключить его под стражу, бабушка,— повторил Джемми, стараясь принять строгий вид и давясь от смеха,— и его каждый день кормили теми обедами, которыми кормят мальчиков, и пил он полбочонка того пива, которое они получают, а больше ему ничего не давали. И вот начались приготовления к двум свадьбам, и были там большие корзины с провизией, и соленья, и сласти, и орехи, и почтовые марки, и вообще разные разности. И вот все так развеселились, что выпустили варвара на свободу, и он тоже развеселился.

— Я рада, что его выпустили,— говорит мой уважаемый друг,— ведь он только исполнял свой долг.

— Да, но ведь он исполнял его слишком усердно! — воскликнул Джемми.— Ладно! И вот этот мальчик с невестой в объятиях сел верхом на лошадь и ускакал прочь, и он все скакал и скакал, пока не прискакал в одно место, где у него жили бабушка и крестный,— не вы, заметьте себе!

— Нет, нет! — сказали мы оба.

— И там его приняли с большой радостью, и он набил буфет и книжный шкаф золотом и засыпал золотом свою бабушку и своего крестного, потому что оба они были самые добрые, самые хорошие люди на свете. И вот когда они сидели по колено в золоте, послышался стук в дверь, и это оказался Боббо (тоже верхом на лошади, с невестой в объятиях), а приехал он сказать, что навеки снимет за двойную плату все меблированные комнаты, которые не нужны этому мальчику, этой бабушке и этому крестному, и что все они будут жить вместе и будут счастливы! И так оно и было и будет всегда.

— А они не ссорились между собой? — спросила мой уважаемый друг, в то время как Джемми уже сидел у нее на коленях и обнимал ее.

— Нет! Никто ни с кем не ссорился.

— А денег они не растратили?

— Нет! Никто никогда не мог бы их истратить.

— И никто из них не постарел?

— Нет! После этого никто не старел.

— И никто из них не умер?

— О нет, нет, нет, бабушка! — воскликнул наш ми-

лый мальчик, прижавшись щекой к бабушкиной груди и крепче прижимая бабушку к себе.— Никто никогда не умирал.

— Ах, майор, майор! — говорит мой уважаемый друг, блаженно улыбаясь мне.— Да это куда интересней всех наших рассказов. Давайте же закончим «Сказкой про мальчика», майор, потому что это самая лучшая сказка на свете!

Подчиняясь приказу достойнейшей из женщин, я записал здесь эту сказку настолько точно, насколько мне это позволили мои наилучшие способности вкупе с моими наилучшими намерениями, и скрепил своей подписью

*Дж. Джекмен.*

**Диванная.**
**Меблированные комнаты миссис Лиррипер.**

*1863*

## *Наследство миссис Лиррипер*

*В двух главах*

### ГЛАВА I

*Миссис Лиррипер рассказывает, как она жила и что переживала*

Ах! Приятно бывает, душенька, опуститься в свое кресло, хоть сердце немножко и бьется оттого, что вечно бегаешь то вверх по лестницам, то вниз по лестницам, и почему только все кухонные лестницы винтовые, этому могут найти оправдание одни лишь архитекторы, хоть я и считаю, что они не очень хорошо знают свое дело, да вряд ли когда и знали его, иначе почему у них всюду все одинаково и почему так мало удобств и так много сквозняков, и опять же: штукатурку накладывают слишком толстым слоем,— а я глубоко убеждена, что от этого в домах заводится сырость,— ну а что касается дымовых труб, то их как попало нахлобучивают на крыши (вроде того, как гости — свои шляпы, расходясь после вечеринки), и при этом архитекторы знают не больше меня, если не меньше, какое влияние это окажет на дым,— ведь вся разница большей частью лишь в том, что дым либо забивается тебе в глотку прямой струей, либо извивается, прежде чем в тебя попасть! А насчет этих новомодных металлических труб разного фасона (длинный ряд таких труб торчит на меблированном доме мисс Уозенхем, что вниз по нашей улице, на той стороне),— насчет них можно сказать, что они только закручивают дым всякими затейливыми узорами, но тебе все равно приходится его

глотать, а по мне лучше глотать свой дым попросту, без затей,— вкус-то ведь все равно тот же самый,— не говоря уж о том, что ставить на крыше своего дома что-то вроде знаков, по которым можно судить, в каком виде дым проникает к тебе во внутренности,— это чистейшее тщеславие.

Так вот, раз уж я сижу здесь перед вами, душенька, в своем собственном кресле, в своей собственной тихой комнатке, в своем собственном меблированном доме номер восемьдесят один, Норфолк-стрит, Стрэнд, Лондон, расположенном между Сити и Сент-Джеймским парком (если только можно сказать, что все осталось по-старому после того, как появились эти отели, которые добавляют к своему названию слово «ограниченный», потому-де, что воздвигли их акционерные общества с «ограниченной ответственностью», но которые майор Джекмен прозвал «неограниченными», так как они вырастают всюду, а если уж не могут больше расти в высоту, ставят на крыше флагштоки, однако насчет этих чудищ я могу сказать лишь одно: когда я останавливаюсь в гостинице, подавайте мне хозяина и хозяйку с приветливыми лицами, а не медную доску с электрическими номерками, которые с треском на ней выскакивают,— ведь доска, натурально, не может мне обрадоваться, ну а я вовсе не хочу, чтобы меня втаскивали к ней на подъемнике, словно черную патоку на корабли, и заставляли телеграфировать о помощи посредством всяких хитроумных приборов, но безо всякого толку),— так вот, значит, душенька, раз уж я сижу здесь, мне нечего говорить о том, что я до сей поры веду свое дело — сдаю меблированные комнаты,— и, надеюсь, буду вести его до самой смерти, когда с согласия духовенства меня наполовину отпоют в церкви святого Клементия-Датчанина, а кончат отпевать на Хэтфилдском кладбище, где я снова лягу рядом с моим бедным Лиррипером — пепел с пеплом, прах с прахом.

Не ново для вас, душенька, будет и то, что майор — все еще постоянная принадлежность диванной, совсем как крыша на доме, а что Джемми — лучший и умнейший мальчик на свете, и что мы всегда скрывали от него печальную историю его бедной хорошенькой молодой матери, миссис Эдсон, покинутой на третьем этаже и умершей на

моих руках, поэтому он уверен, что я его родная бабушка, а сам он сирота, что же касается его склонности к инженерному искусству, то они с майором мастерят паровозы из зонтиков, разбитых чугунков и катушек, а паровозы эти сходят с рельсов, падают со стола и увечат пассажиров не хуже настоящих,— прямо чудеса в решете,— и когда я говорю майору: «Майор, вы не можете хоть каким-нибудь способом привести к нам кондуктора?», майор очень обидчиво отвечает: «Нет, мадам, этого нельзя сделать», а когда я спрашиваю: «Почему же нет?», майор отвечает: «Эту тайну знаем только мы, лица, заинтересованные в железнодорожных делах, мадам, и наш друг, достопочтенный вице-президент Торговой палаты»,— и верьте не верьте, душенька, даже эти скудные сведения мне удалось вытянуть из майора не раньше, чем он написал Джемми в школу, чтобы запросить его мнения, какой ответ мне дать, а вся причина в том, что когда мы в первый раз начали с маленькой моделью и прекрасной, отличной сигнализацией (которая, в сущности, работала так же скверно, как и настоящая) и я сказала со смехом: «А какую должность в этом предприятии получу я, джентльмены?» — Джемми обхватил меня руками за шею и говорит, приплясывая: «Вы будете публикой, бабушка», так что теперь они надувают меня как хотят, а я сижу себе в кресле да ворчу.

Не знаю, душенька, потому ли, что взрослый человек, да еще такой умный, как майор, вообще не может не отдаваться всем сердцем и душой чему бы то ни было, даже игрушкам, а непременно берется за все всерьез (или еще почему-нибудь — не знаю), но только нашему Джемми далеко до той серьезности и веры в дело, с какими майор взялся за управление Соединенным Большим Лирриперским узлом и Джекменовской Большой Диванно-Норфолкской железнодорожной линией.

— Вы знаете, бабушка,— объявил, сверкая глазами, мой Джемми, когда железную дорогу окрестили,— нам нужно дать ей целую кучу имен, не то наша милая старушка публика,— тут постреленок поцеловал меня,— не захочет платить деньги.

Итак, «публика» разобрала акции — десять штук по девяти пенсов,— а как только эти деньги были истрачены,

купила двенадцать привилегированных акций по шиллингу шести пенсов каждая, причем все они были подписаны Джемми и заверены подписью майора и, между нами говоря, оказались куда ценнее кое-каких акций, которые я покупала в свое время. В течение тех же самых каникул линию построили и открыли на ней движение, поезда ходили, сталкивались, котлы взрывались и происходили всякого рода происшествия и крушения — все как взаправду и очень мило. Чувство ответственности, с каким майор по-военному исполнял обязанности начальника станции — отправлял с опозданием поезда из Лондона и звонил в один из тех маленьких колокольчиков, что продаются на улицах в придачу к ведеркам для угля и лежат на подносе, висящем на шее у разносчика, — это чувство ответственности делало ему честь, душенька, и когда майор по вечерам писал Джемми в школу месячные отчеты насчет подвижного состава, железнодорожного полотна и всего прочего (все это хранилось у него на буфете, и он каждое утро, перед тем как чистить себе сапоги, собственноручно стирал пыль с игрушек), я видела, что ум его как нельзя больше занят мыслями и заботами, а брови насуплены свирепо; впрочем, майор ничего не делает наполовину, и это видно по тому огромному наслаждению, с каким он ходит вместе с Джемми на изыскания (когда Джемми может с ним пойти), несет цепь и рулетку, проектируя не знаю уж какие там улучшения и новые улицы прямо поперек Вестминстерского аббатства, причем обыватели твердо уверены, что вышло постановление парламента перевернуть весь город вверх дном. Даст бог, так оно и будет, когда Джемми по-настоящему возьмется за это дело!

Упомянув о своем бедном Лиррипере, я вспомнила об его родном младшем брате, докторе, хотя каких именно наук он был доктором, мне, право, очень трудно сказать, разве что доктором по части выпивки, потому что Джошуа Лиррипер не знал ни вот столечко ни из физики, ни из музыки, ни из юриспруденции, зато его постоянно вызывали в суд графства и налагали на него штрафы, от которых он удирал, а однажды захватили в коридоре вот этого самого дома с раскрытым зонтиком в руке, с майоровой шляпой на голове и в очках, причем он завернулся в коврик для вытирания ног и заявил, что он — сэр Джонсон

Джонс, кавалер ордена Бани *, и живет в казармах конногвардейского полка. В тот раз он только за минуту перед тем вошел в дом, и горничная оставила его стоять на коврике, а сама ушла, потому что он послал ее ко мне с обрывком бумаги, скрученным так, что он скорее смахивал на жгутик для зажигания свечей, чем на записку, а в бумажке мне предлагалось сделать выбор: либо вручить ему, Джошуа Лирриперу, тридцать шиллингов, либо увидеть его мозги в доме, причем в записке стояло «срочно» и «требуется ответ». При мысли о том, что мозги кровного родственника моего бедного, дорогого Лиррипера разлетятся по новой клеенке, я ужасно расстроилась, душенька, и хотя Джошуа Лиррипер и недостоин помощи, вышла из своей комнаты спросить, сколько он согласен взять раз и навсегда, с тем чтобы больше никогда так не делать, как вдруг увидела, что он арестован двумя джентльменами, которых я, судя по их покрытой пухом одежде, готова была бы принять за торговцев перинами, если бы они не отрекомендовались мне представителями закона.

— Несите сюда ваши цепи, сэр,— говорит Джошуа тому из них, что был пониже ростом и носил высоченный цилиндр,— закуйте меня в кандалы!

Вообразите мои переживания, когда я представила себе, как он идет по Норфолк-стрит, гремя кандалами, а мисс Уозенхем глядит в окно!

— Джентльмены! — говорю я, а сама вся дрожу и чуть не падаю на пол.— Будьте добры, проводите его в покои майора Джекмена.

Они провели его в диванную, и когда майор увидел на нем свою собственную шляпу с загнутыми полями (Джошуа Лиррипер стянул ее с вешалки в коридоре, чтобы придать себе военный вид),— когда майор это увидел, он пришел в такую необузданную ярость, что собственноручно сдернул шляпу с его головы и подбросил ее ногой до потолка, на котором долго после этого случая оставалась метинка.

— Майор,— говорю я,— успокойтесь и посоветуйте, что мне делать с Джошуа, родным младшим братом моего покойного Лиррипера.

— Мадам,— говорит майор,— вот мой совет: наймите ему квартиру с полным пансионом на пороховом заводе,

обещав выдать заводчику приличное вознаграждение, когда Джошуа Лиррипер взлетит на воздух.

— Майор,— говорю я,— вы, как христианин, не можете говорить это всерьез.

— Мадам,— говорит майор,— клянусь богом, могу!

Да и в самом деле, помимо того, что майор, несмотря на все его достоинства, человек очень горячий для своего роста, он успел составить себе дурное мнение о Джошуа по причине его предыдущих выходок, хоть они и не сопровождались столь вольным обращением с майоровыми вещами.

Когда Джошуа Лиррипер услышал наш разговор, он повернулся к тому человеку, что был пониже ростом и носил высоченный цилиндр, и говорит:

— Идемте, сэр! Ведите меня в мою мрачную темницу! Где моя гнилая солома?

Ну, душенька, когда я представила себе Джошуа Лиррипера, обвешанного чуть не с головы до ног висячими замками на манер барона Тренка * в книжке Джемми, эта картина так на меня подействовала, что я залилась слезами и говорю майору:

— Майор, возьмите мои ключи и уладьте дело с этими джентльменами, иначе у меня не будет ни минуты покоя,— что майору и пришлось проделать несколько раз, как до этого случая, так и после, но все же я не могу забыть, что Джошуа Лиррипер тоже не лишен добрых чувств и выражает их тем, что очень расстраивается, когда не имеет возможности носить траур по своем брате.

Сама я вот уже много лет как перестала носить вдовий траур, не желая привлекать к себе внимание, но в отношении Джошуа это моя слабость, и я не могу не поддаваться ей хоть немножко, когда он мне пишет: «Один-единственный соверен даст мне возможность носить приличный траурный костюм в знак скорби о моем возлюбленном брате. В час его печальной кончины я дал обет вечно носить черные одежды в память о нем, но — увы! — сколь недальновиден человек! — как могу я выполнить этот обет, не имея ни пенни?»

Сила его чувств достойна удивления,— ведь ему и семи лет от роду не исполнилось в тот год, когда умер мой бедный Лиррипер, и если он до сих пор сохранил подобные чувства, это прекрасно его рекомендует. Но мы знаем, что

во всех нас есть кое-что хорошее (если бы только знать, где именно оно скрывается в некоторых из нас!), и хотя со стороны Джошуа было очень неделикатно пользоваться добросердечием нашего милого ребенка в первый год его школьной жизни и писать ему в Линкольншир просьбу выслать свои карманные деньги с обратной почтой (а затем их присвоить), все же он родной младший брат моего бедного Лиррипера и, быть может, просто по забывчивости не заплатил по счету в гостинице «Герб Солсбери», когда привязанность к покойнику внушила ему желание провести две недели близ Хэтфилдского кладбища, да и к вину он не пристрастился бы, не попади он в дурную компанию. Так что если майор действительно сыграл с ним скверную штуку при помощи садовой кишки для поливки растений, которую он унес к себе в комнату тайком, без моего ведома, мне кажется, знай я это наверное, я огорчилась бы и у нас с майором вышел бы крупный разговор. И знаете, душенька, хотя майор сыграл штуку и с мистером Бафлом тоже — по ошибке, разгорячившись,— и хотя у мисс Уозенхем это могли понять превратно, в том смысле, что я-де была не готова к приходу мистера Бафла (ведь он сборщик налогов), но в этом случае я огорчилась меньше, чем, быть может, следовало бы. Ну а выйдет ли Джошуа Лиррипер в люди или нет, этого я не берусь сказать, но я слышала, что он выступил на сцене одного частного театра в роли бандита, не получив после этого дальнейшего ангажемента от антрепренеров.

Что касается мистера Бафла, то в его лице мы имеем пример того, что в людях все-таки есть что-то хорошее даже тогда, когда ничего хорошего от них не ожидаешь, ибо нельзя отрицать, что поведение мистера Бафла при исполнении обязанностей было не из приятных. Собирать налоги — это одно, но бегать глазами по сторонам с таким видом, словно подозреваешь, что налогоплательщик постепенно выносит из дому свое имущество поздно ночью через заднюю дверь, это совсем другое, потому что не брать с тебя лишних налогов сборщик не может, но подозревать — это уж добрая воля. Нельзя не извинить джентльмена с таким пылким характером, как у майора, если ему не нравится, когда с ним разговаривают, держа перо в зубах, и хотя шляпа с низкой тульей и широкими

полями, не снятая с головы того, кто вошел в мой дом, раздражает меня лично не сильнее, чем всякая другая шляпа, я все же могу понять майора, тем более что, не питая никаких злобных и мстительных чувств, майор презирает людей, не отдающих долги, и так именно всегда и относился к Джошуа Лирриперу. И вот, душенька, в конце концов майор решил проучить мистера Бафла, и это очень меня беспокоило.

В один прекрасный день мистер Бафл заявляет о своем приходе двумя резкими стуками, и майор бросается к дверям.

— Пришел сборщик получить налоги за два квартала,— говорит мистер Бафл.

— Деньги приготовлены,— говорит майор и впускает его в дом.

Но по дороге мистер Бафл бегает глазами по сторонам со свойственной ему подозрительностью, а майор вспыхивает и спрашивает его:

— Вы увидели привидение, сэр?

— Нет, сэр,— отвечает мистер Бафл.

— А я, знаете ли, уже раньше заметил,— говорит майор,— что вы, судя по всему, очень усердно ищете призраков в доме моего уважаемого друга. Когда вы отыщете какое-нибудь сверхъестественное существо, будьте добры показать его мне, сэр.

Мистер Бафл таращит глаза на майора, потом кивает мне.

— Миссис Лиррипер,— говорит майор, вскипая, и представляет меня движением руки.

— Имею удовольствие быть с нею знакомым,— говорит мистер Бафл.

— А... хм!.. Джемми Джекмен, сэр,— представляется майор.

— Имею честь знать вас в лицо,— говорит мистер Бафл.

— Джемми Джекмен, сэр,— говорит майор, качнув головой в сторону с каким-то яростным упорством,— позволяет себе представить вам своего высокочтимого друга, вот эту леди, миссис Эмму Лиррипер, проживающую в доме номер восемьдесят один, Норфолк-стрит, Стрэнд, Лондон, в графстве Мидлсекс, в Соединенном Королевстве

Великобритании и Ирландии. По этому случаю, сэр,— говорит майор,— Джемми Джекмен снимает с вас шляпу.

Мистер Бафл смотрит на свою шляпу, которую майор швырнул на пол, поднимает ее и снова надевает себе на голову.

— Сэр,— говорит майор, густо краснея и глядя ему прямо в лицо,— налог на невежливость не уплачен за два квартала, и сборщик пришел.

И с этими словами, вы не поверите, душенька, майор снова швыряет на пол шляпу мистера Бафла.

— Это...— начинает мистер Бафл, очень рассерженный и с пером в зубах.

Но майор, все больше и больше вскипая, говорит:

— Выньте свой огрызок изо рта, сэр! Иначе, клянусь всей проклятой налоговой системой этой страны и любой цифрой в сумме государственного долга, я вскочу к вам на спину и поеду на вас верхом, как на лошади!

И, несомненно, он так и сделал бы, потому что его стройные коротенькие ноги уже были готовы к прыжку.

— Это,— говорит мистер Бафл, вынув свое перо изо рта,— оскорбление, и я буду преследовать вас по закону.

— Сэр,— отзывается майор,— если вы человек чести и считаете, что ей не воздали должного, ваш сборщик может в любое время явиться сюда, в меблированные комнаты миссис Лиррипер, к майору Джекмену, и получить полное удовлетворение!

С этими многозначительными словами майор впился глазами в мистера Бафла, а я, душенька, тогда буквально жаждала ложечки успокоительной соли, разведенной в рюмке воды, и вот я им говорю:

— Пожалуйста, джентльмены, прекратите это, прошу вас и умоляю!

Однако майора невозможно было утихомирить — он только и делал, что фыркал еще долго после того, как мистер Бафл удалился, ну а в какое состояние пришла вся моя кровь, когда на второй день обхода мистера Бафла майор принарядился и, напевая какую-то песню, принялся шагать взад и вперед по улице — причем один глаз у него был почти совсем скрыт под шляпой,— чтобы описать это, душенька, не найдется слов даже в словаре Джонсона. Но я приоткрыла дверь на улицу, а сама, накинув шаль, спря-

талась в майоровой комнате, за оконными занавесками, твердо решив, что, как только надвинется опасность, я выбегу наружу, буду кричать, пока хватит голоса, держать майора за шею, пока хватит сил, и попрошу связать обоих противников. Не успела я и четверти часа постоять за оконными занавесками, как вдруг вижу, что мистер Бафл приближается с налоговыми книгами в руках. Майор тоже завидел его и, напевая еще громче, пошел ему навстречу. Сошлись они у ограды нижнего дворика. Майор широким жестом снимает свою шляпу и говорит:

— Мистер Бафл, если не ошибаюсь?

Мистер Бафл тоже широким жестом снимает свою шляпу и отвечает:

— Так меня зовут, сэр.

Майор спрашивает:

— Вам что-нибудь требуется от меня, сэр?

Мистер Бафл отвечает:

— Ничего, сэр.

И вот, душенька, оба они очень низко и надменно поклонились друг другу, после чего разошлись в разные стороны, и с тех пор, всякий раз как мистер Бафл отправлялся в обход, майор встречал его и раскланивался с ним у нижнего дворика, чем очень напоминал мне Гамлета и того другого джентльмена в трауре * перед тем, как им убить друг друга, хотя лучше было бы тому другому джентльмену убить Гамлета более честным путем и пускай менее вежливо, но не прибегая к яду.

В нашем околотке не любили семейства Бафлов,— ведь если бы вы, душенька, снимали дом, вы сами увидели бы, что любить податных ненатурально, а помимо этого, все находили, что миссис Бафл не к лицу так важничать только потому, что у них завелся фаэтон в одну лошадь, да и тот был куплен на деньги, удержанные из налоговых сборов,— поступок, который я лично считаю неблаговидным. Одним словом, их не любили, и в семье у них были нелады, так как супруги изводили мисс Бафл и друг друга по той причине, что мисс Бафл питала нежные чувства к одному молодому джентльмену, который был в ученье у мистера Бафла, и даже поговаривали, будто мисс Бафл захворает чахоткой, а нет, так уйдет в монастырь,— очень уж она отощала и совсем потеряла аппетит,— так что

стоило ей выйти из дому, как два гладко выбритых джентльмена с белыми повязками на шее и в жилетах, похожих на черные детские передники, принимались подглядывать за нею из-за углов.

Так обстояли дела у мистера Бафла, как вдруг в одну прекрасную ночь меня разбудил страшный шум и запах гари и, выглянув в окно своей спальни, я увидела зарево — вся улица была ярко освещена. К счастью, у меня как раз в это время пустовало несколько комнат, и вот я еще не успела накинуть на себя кое-какую одежду, как слышу, что майор колотит в дверь мансарды и кричит не своим голосом:

— Одевайтесь!.. Пожар! Не пугайтесь!.. Пожар! Соберитесь с духом!.. Пожар! Все в порядке!.. Пожар!

Едва я открыла дверь своей спальни, как майор ворвался в нее и, чуть не сбив меня с ног, схватил в свои объятия.

— Майор,— говорю я, чуть дыша,— где горит?

— Не знаю, дорогая,— говорит майор.— Пожар! Джемми Джекмен будет защищать вас до последней капли крови... Пожар! Будь милый мальчик дома,— какое редкостное удовольствие для него!.. Пожар!

Но, в общем, держался он совершенно спокойно и храбро, вот только не мог выговорить ни одной фразы без того, чтобы не заорать «пожар», а это потрясало меня до самых внутренностей. Мы бегом спустились в гостиную, высунулись в окошко, и тут майор окликает какого-то бесчувственного постреленка, который весело скачет по улице, чуть не лопаясь от восторга:

— Где горит?.. Пожар!

А постреленок отвечает на бегу:

— Вот так штука! Старик Бафл поджег свой дом, чтобы не дознались, что он ворует налоги. Урра! Пожар!

И тут полетели искры, повалил дым, пламя трещит, вода хлещет, пожарные машины дребезжат, топоры стучат, стекла разбиваются вдребезги, шум, крик, суматоха, жара, и от всего этого у меня ужасно забилось сердце.

— Не пугайтесь, дражайшая,— говорит майор.— Пожар! Нечего бояться... Пожар! Не открывайте наружной двери, пока я не вернусь... Пожар! Вы совершенно спокойны и не волнуетесь, правда?.. Пожар, пожар, пожар!

Тщетно пыталась я удержать его, говоря, что его до смерти задавят пожарные машины, а сам он до смерти надорвется от чрезмерного напряжения сил, до смерти промочит себе ноги в грязной воде и слякоти, и его до смерти сплющит в лепешку, когда рухнут крыши,— дух майора взыграл, и он помчался галопом вслед за тем пострелёнком, пыхтя и задыхаясь, а я и горничные, мы столпились у окон диванной и смотрели на страшные языки пламени над домами на той стороне — ведь мистер Бафл жил за углом. И вдруг видим: несколько человек бегут по улице прямо к нашему подъезду, причем майор с самым деловитым видом руководит всеми, потом бегут еще несколько человек, а потом... в кресле на манер Гая Фокса несут... мистера Бафла, запеленутого в одеяло!

И вот, душенька, по приказу майора, мистера Бафла тащат вверх по лестнице, волокут в диванную и вываливают на софу, после чего и майор и все прочие, не говоря ни слова, мчатся назад во весь дух, так что я бы приняла их за мелькнувшее видение, если бы не мистер Бафл, очень страшный на вид в своем одеяле и с выпученными глазами. Но они мигом примчались назад вместе с миссис Бафл, запеленутой в другое одеяло, втащили ее в дом, вывалили на диван и умчались, но тотчас же примчались назад вместе с мисс Бафл, запеленутой в третье одеяло, и ее тоже втащили в дом, вывалили и умчались, но сейчас же примчались назад вместе с молодым джентльменом, что был в ученье у мистера Бафла, запеленутым в четвертое одеяло, причем его волокли за ноги два джентльмена, а он обхватил их за шеи руками, совсем как некий ненавистный субъект на картинках в тот день, когда он проиграл сражение (но куда девалось кресло, я не знаю), а у волос его был такой вид, словно их только что взъерошили. Когда все четверо очутились рядом, майор стал потирать себе руки и зашептал мне хрипло, насколько у него хватило голоса:

— Если бы только наш милый, замечательный мальчик был дома, какое он получил бы редкостное удовольствие!

Но вот, душенька, мы приготовили горячий чай, подали гренки и подогретый коньяк с водой, в который добавили немножко мускатного ореха, и сначала все Бафлы дичи-

лись и куксились, но потом сделались более общительными, поскольку все у них было застраховано. И как только мистер Бафл обрел дар слова, он назвал майора своим спасителем и лучшим другом и сказал ему:

— Мой навеки дражайший сэр, позвольте мне познакомить вас с миссис Бафл.

А она тоже назвала его своим спасителем и лучшим другом и была с ним настолько любезна, насколько позволило ей одеяло. Затем он познакомил майора с мисс Бафл. Надо сказать, что голова у молодого учащегося джентльмена была не совсем в порядке, и он все стонал:

— Робина обратилась в пепел, Робина обратилась в пепел! — И это было тем более трогательно, что, запеленутый в одеяло, он как бы выглядывал из футляра для виолончели, но тут мистер Бафл сказал:

— Робина, поговори с ним!

Мисс Бафл промолвила:

— Дорогой Джордж!

И если бы не майор, который немедленно налил учащемуся молодому джентльмену коньяку с водой и тем вызвал у него жестокий припадок кашля из-за мускатного ореха, от которого у юноши захватило дух, ему, пожалуй, было бы не под силу вынести эти слова своей любимой. Когда же учащийся молодой джентльмен опомнился, мистер Бафл прислонился к миссис Бафл (они были как два узла, поставленные рядом) и, недолго посовещавшись с нею, сказал со слезами, которые майор, подметивший их, тотчас же вытер:

— Наша семья не была дружной. Давайте же помиримся теперь, раз мы пережили такую опасность. Берите ее руку, Джордж!

Молодой джентльмен не мог достаточно далеко протянуть свою руку, чтобы взять руку мисс Бафл, но словесно выразил свои чувства очень красиво, хоть и несколько туманно. Я же не запомню такого приятного для меня завтрака, как тот, за который все мы сели, немножко подремав, причем мисс Бафл очень мило готовила чай, совершенно в римском стиле, вроде того, как раньше представляли в Ковент-Гарденском театре, а все члены семейства были в высшей степени любезны, да такими и остались навсегда с той самой ночи, как майор стоял у пожарной

лестницы и принимал их по мере того, как они спускались (молодой человек спустился вниз головой, чем все и объяснялось). И хотя я не говорю, что мы менее склонны осуждать друг друга, когда вся наша одежда сводится к одеялам, но все-таки скажу, что почти все мы могли бы лучше понимать людей, если бы меньше от них отгораживались.

Взять хотя бы меблированные комнаты Уозенхем, что вниз по нашей улице, на той стороне. Я несколько лет относилась к ним очень неодобрительно, ибо считала, да и сейчас считаю, что мисс Уозенхем систематически сбивала цены, к тому же дом ее ничуть не похож на картинку в справочнике Бредшоу: там слишком много окон и непомерно ветвистый и огромный дуб, какого на Норфолкстрит испокон веков никто не видывал, да и карета, запряженная четверней, никогда не стаивала у подъезда Уозенхемши, из чего следует, что со стороны Бредшоу было бы куда приличней нарисовать простой кэб. Вот с какой горечью я относилась к этим меблированным комнатам вплоть до того дня в январе прошлого года, когда одна из моих девушек, Салли Рейригену, которую я до сих пор подозреваю в том, что она ирландского происхождения, хотя родные ее называли себя уроженцами Кембриджа (а если я не права, так зачем ей было убегать с каменщиком лимерикской веры * и венчаться в деревянных сандалиях, не дожидаясь, пока у него как следует побледнеет синяк под глазом, полученный в драке со всей компанией — четырнадцать человек и одна лошадь — на крыше кареты?),— повторяю, душенька, я с неодобрением относилась к мисс Уозенхем вплоть до того самого дня в январе прошлого года, когда Салли Рейригену с грохотом ввалилась (я не могу подобрать более мягкого выражения) в мою комнату, подпрыгнув то ли по-кембриджски, то ли нет, и сказала:

— Ура, миссис! Мисс Уозенхем распродают с молотка!

Ну, когда я внезапно это услышала, душенька, и сообразила, что эта девчонка Салли, чего доброго, подумает, будто я радуюсь разорению своего ближнего, я залилась слезами, упала в кресло и сказала:

— Мне стыдно самой себя!

Ладно! Я попыталась выпить чашечку чаю, но не

смогла — так много я думала о мисс Уозенхем и ее несчастьях. Неприятный это был вечер, и я подошла к окну, выходящему на улицу, и стала смотреть через дорогу на меблированные комнаты Уозенхем, и, насколько я могла разобрать в тумане, вид у дома был грустный-прегрустный, а света ни в одном окне. И вот, наконец, я говорю себе: «Этак не годится»,— надеваю свою самую старую шляпку и шаль, не желая, чтобы мисс Уозенхем в такое время видела мои лучшие наряды, и, можете себе представить, направляюсь в меблированные комнаты Уозенхем, и стучу в дверь.

— Мисс Уозенхем дома? — говорю я, повернув голову, когда дверь открылась.

И тут я увидела, что дверь открыла сама мисс Уозенхем, такая измученная, бедняжка,— глаза совсем распухли от слез.

— Мисс Уозенхем,— говорю я,— прошло уже несколько лет с тех пор, как у нас с вами было маленькое недоразумение по поводу того, что шапочка моего внука попала к вам на нижний дворик. Я выбросила это из головы вон, надеюсь, и вы тоже.

— Да, миссис Лиррипер,— говорит она удивленно.— Я тоже.

— В таком случае, дорогая моя,— говорю я,— мне хотелось бы войти и сказать вам несколько слов.

Услышав, что я назвала ее «дорогая моя», мисс Уозенхем самым жалостным образом залилась слезами, а тут какой-то не совсем бесчувственный пожилой человек, недостаточно чисто выбритый, в ночном колпаке, торчащем из-под шляпы, выглядывает из задней комнаты, вежливо прося извинения за свой вид и оправдываясь тем, что опухоль после свинки въелась в его организм, а также за то, что он пишет письмо домой, жене, на раздувальных мехах, которыми он пользовался вместо письменного стола,— так вот, он выглядывает и говорит:

— Этой госпоже не худо бы услышать слово утешения,— а потом уходит.

Таким образом я и получила возможность сказать очень даже натурально:

— Ей не худо услышать слово утешения, сэр? Ну, так бог даст, она его услышит!

И мы с мисс Уозенхем пошли в комнату, выходящую на улицу, а там свеча была такая скверная, что казалось, она тоже плакала, истекая слезами, и тут я и говорю:

— Теперь, дорогая моя, расскажите мне все.

А она ломает руки и говорит:

— Ах, миссис Лиррипер, этот человек описывает мое имущество, а у меня нет на свете ни единого друга, и никто не даст мне взаймы ни шиллинга.

Не важно, что именно сказала такая говорливая старуха, как я, когда мисс Уозенхем произнесла эти слова, и лучше уж, душенька, я не буду повторять этого, но признаюсь вам, я готова была выложить тридцать шиллингов, лишь бы иметь возможность увести к себе бедняжку попить чайку, но не решилась на это из-за майора. Правда, я знала, что могу вытянуть майора, как нитку, и обвести его вокруг пальца в большинстве случаев и даже в этом, если только примусь за него как следует, но ведь мы, беседуя друг с другом, так часто поносили мисс Уозенхем, что мне стало очень стыдно за себя, и, кроме того, я знала, что его самолюбие она задела, а мое нет, да еще я боялась, как бы эта девчонка Рейригену не поставила меня в неловкое положение. Вот я и говорю мисс Уозенхем:

— Дорогая моя, дайте-ка мне чашечку чаю, чтобы прочистить мои тупые мозги,— тогда я смогу лучше разобраться в ваших делах.

И вот мы попили чайку и поговорили о делах, и оказалось, что задолжала она всего только сорок фунтов и... Ну, да ладно! Она самая работящая и честная женщина на свете и уже выплатила половину своего долга, так зачем же об этом распространяться, особенно если суть вовсе не в этом? А суть в том, что когда она целовала мне руки и держала их в своих, а потом снова целовала их и благословляла меня, благословляла, благословляла,— я в конце концов повеселела и говорю:

— Какой я была непонятливой старой дурой, дорогая моя, если считала вас совсем другой, чем вы есть на самом деле.

— А я-то,— говорит она,— как я ошибалась в вас!

— Слушайте, скажите мне, бога ради,— спрашиваю я,— что именно вы обо мне думали?

— Ах! — отвечает она.— Я думала, что вы не сочув-

ствуете мне в моей несчастной нищенской жизни потому, что сами вы богатая и катаетесь как сыр в масле.

Тут я затряслась от смеха (чему была очень рада, потому что уже надоело ныть) и говорю:

— Да вы только взгляните на мою наружность, дорогая моя, и скажите, ну разве это на меня похоже, даже будь я богатая,— кататься как сыр в масле?

Это подействовало! Мы развеселились, как угри (так всегда говорится, но что это за угри, вы, душенька, быть может, знаете, я — нет), и я отправилась к себе домой счастливая и довольная донельзя. Но, прежде чем я доскажу про это, вообразите, что я. оказывается, ошибалась в майоре! Да, ошибалась. На следующее утро майор приходит ко мне в комнатку с вычищенной шляпой в руках и начинает:

— Дорогая моя мадам...— но вдруг прикрывает лицо шляпой, словно только что вошел в церковь.

Я сижу в полном недоумении, а он выглядывает из-за шляпы и снова начинает:

— Мой высокочтимый и любимый друг...— но тут снова скрывается за шляпой.

— Майор,— кричу я в испуге,— что-нибудь случилось с нашим милым мальчиком?

— Нет, нет, нет! — отвечает майор.— Просто мисс Уозенхем сегодня пришла спозаранку извиняться передо мной, и, клянусь богом, я не могу вынести всего того, что она мне наговорила.

— Ах, вот оно что, майор,— говорю я,— а вы не знаете, что еще вчера вечером я вас боялась и не считала вас и вполовину таким хорошим, каким должна бы считать! Поэтому перестаньте прятаться за шляпу, майор,— вы не в церкви,— и простите меня, милый старый друг, а я больше никогда не буду!

Ну, душенька, предоставляю решать вам самим, выполнила я свое обещание или нет. А до чего трогательно бывает, как подумаешь, что ведь мисс Уозенхем при своих ничтожных средствах и при своих убытках так много делает для старика отца да еще содержит брата, который имел несчастье размягчить себе мозги, борясь с трудностями математики, а одет он у нее всегда с иголочки, и живет в трехоконной задней комнатке, которую жильцам

выдают за дровяной чулан, и за один присест уписывает целую баранью лопатку — только подавай!

А теперь, душенька, если вы склонны уделить мне внимание, я начну рассказывать вам про свое наследство, впрочем, я твердо намеревалась перейти к этому с самого начала, но как вспомнишь что-нибудь, так за этим сразу же еще что-нибудь вспомнится.

Дело было в июне месяце, накануне солнцестояния, и вот приходит ко мне моя горничная Уинифред Меджерс (она была из секты Плимутских сестер, и тот Плимутский брат *, что ее увез, поступил очень разумно, потому что более чистоплотной девушки, более пригодной на то, чтобы ввести ее как жену в свой дом, во всем свете не сыщешь, и она впоследствии заходила ко мне с прехорошенькими Плимутскими близнецами),—так, значит, дело было в июне месяце, накануне солнцестояния, и вот приходит ко мне Уинифред Меджерс и говорит:

— Какой-то джентльмен от консула желает поговорить с миссис Лиррипер.

Верьте не верьте, душенька, но я вообразила, что речь идет о консолях в банке, где у меня отложено кое-что для Джемми, и я говорю:

— Боже мой, неужто они страшно упали?

А Уинифред мне на это:

— Не похоже, сударыня, чтоб он упал.

Тогда я ей говорю:

— Проводите его сюда.

Входит джентльмен, смуглый, волосы острижены, я бы сказала — чересчур коротко, и говорит очень вежливо:

— Мадам Лирруиперр?

Я говорю:

— Да, сэр. Садитесь, пожалуйста.

— Я пришел,— говорит он,— от фрранцузского консула. (Тут я сразу поняла, что это не касается Английского банка.) Мы получили из мэррии горрода Санса,— говорит джентльмен, как-то чудно и с большим искусством выговаривая звук «р»,— сообщение, которое я буду иметь честь пррочитать. Мадам Лирруиперр понимает по-фрранцузски?

— Что вы, сэр? — говорю я.— Мадам Лиррипер ничего такого не понимает.

— Это ничего не значит,— говорит джентльмен,— я буду перреводить.

И тут, душенька, джентльмен прочитал что-то насчет какого-то департамента и какой-то мэрии (которую я, да простит мне бог, принимала за женщину по имени Мэри, пока майор не вернулся домой, причем я несказанно удивлялась, каким образом эта особа припуталась ко всей истории), а потом перевел мне что-то очень длинное, утруждая себя самым любезным образом, и дело оказалось вот в чем: в городе Сансе во Франции умирает один неизвестный англичанин. Он лежит без языка и без движения. В квартире его нашлись золотые часы и кошелек, в котором столько-то и столько-то денег, а также чемодан, в котором такая-то и такая-то одежда, но никакого паспорта и никаких бумаг нет, если не считать, что на столе валяется колода карт и на рубашке червонного туза написано карандашом следующее: «Властям. Когда я умру, прошу переслать все, что останется после меня, миссис Лиррипер, дом номер восемьдесят один, Норфолк-стрит, Стрэнд, Лондон, в качестве наследства».

Когда джентльмен объяснил мне все это (причем я подумала, что письмо составлено гораздо более вразумительно, нежели можно ожидать от французов, но в то время я еще не была знакома с этой нацией), он вручил мне документ. И можете быть уверены, что я ровно ничего в нем не разобрала, разве только заметила, что бумага похожа на оберточную и вся припечатана орлами.

— Полагает ли мадам Лирруиперр,— говорит джентльмен,— что она знает своего несчастного компатрриота?

Вообразите, душенька, в какое смятение я пришла, услышав, что меня спрашивают о каких-то моих «компатриотах».

— Извините,— говорю я,— будьте так добры, сэр, говорите немножко попроще, если можно.

— Этого англичанина, несчастного, прри смеррти. Этого компатрриота стррадающего,— говорит джентльмен.

— Благодарю вас, сэр,— говорю я,— теперь мне все ясно. Нет, сэр, я не имею понятия, кто это такой.

— Нет ли у мадам Лирруиперр сына, племянника, кррестника, дрруга, знакомого, прроживающего во Фрранции?

— Я наверное знаю,— говорю я,— что никакого родственника или друга у меня там нет, и думаю, что нет и знакомых.

— Прростите. А вы прринимаете локатерров? — говорит джентльмен.

Тут я, душенька, будучи вполне убеждена, что он как любезный иностранец хочет предложить мне что-нибудь, например, понюшку табаку, слегка наклонила голову и, вы не поверите, говорю ему:

— Нет, благодарю вас. Не имею этой привычки.

Джентльмен смотрит на меня в недоумении, потом переводит с французского:

— Жильцов!

— О! — говорю я со смехом.— Вот оно что! Ну как же, конечно!

— Быть может, это какой-нибудь ваш пррежний жилец? — говорит джентльмен.— Какой-нибудь жилец, с которрого вы не взяли кварртиррной платы? Вы иногда не бррали с жильцов кварртиррной платы?

— Гм! Случалось, сэр,— говорю я,— но, уверяю вас, я не могу припомнить ни одного джентльмена, который хоть сколько-нибудь соответствовал бы вашему описанию.

Короче говоря, душенька, мы ни к чему не пришли, но джентльмен записал все, что я сказала, и ушел. И он оставил мне бумагу, которая была у него в двух копиях, а когда майор вернулся, я и говорю, передавая ему эту бумагу:

— Вот, майор, глядите,— ни дать ни взять «Альманах старика Мура» * со всеми иероглифами полностью, так вы разберитесь и скажите, что вы об этом думаете.

На чтение у майора ушло немного больше времени, чем я ожидала, судя по быстроте, с какой лился у него поток слов, когда он набрасывался на шарманщиков, но в конце концов он разобрался в бумаге и уставился на меня в изумлении.

— Майор,— говорю я,— вы поражены.

— Мадам,— говорит майор,— Джемми Джекмен ошеломлен.

Так совпало, что как раз в тот день майор ходил наводить справки насчет поездов и пароходов, потому что на следующий день наш мальчик должен был приехать до-

мой на летние каникулы, и мы собирались повезти его куда-нибудь, чтобы он развлекся, и вот пока майор сидел, уставившись мне в лицо, меня вдруг осенило, и я говорю:

— Майор, сходите-ка справьтесь по своим книгам и картам, где именно находится этот самый город Санс во Франции.

Майор сдвинулся с места, пошел в диванную, повозился там и, вернувшись, говорит мне:

— Санс, дражайшая моя мадам, расположен в семидесяти с лишком милях к югу от Парижа.

А я ему говорю, пересилив себя:

— Майор,— говорю,— мы отправимся туда вместе с нашим милым мальчиком.

При мысли об этом путешествии майор, можно сказать, был совершенно вне себя. Он прочитал в газетах объявление, из которого почерпнул кое-какие полезные для себя сведения, и после этого весь день напролет бесновался, как лесной дикарь, а на другой день, рано утром, задолго до того, как Джемми должен был приехать домой, убежал на улицу, готовясь встретить нашего мальчика известием, что все мы уезжаем во Францию. Можете мне поверить, что наш краснощекий мальчуган бесновался не меньше майора, и оба они вели себя так скверно, что я им сказала:

— Если вы, дети, не угомонитесь, я уложу вас обоих в постель.

Тогда они принялись чистить майорову подзорную трубу, чтобы впоследствии обозревать в нее Францию, а потом ушли покупать кожаную сумку с пружинной застежкой, которую Джемми собирался повесить себе через плечо и носить в ней деньги на манер маленького Фортуната * с его кошельком.

Не дай я им слова, возбудившего их надежды, сомневаюсь, чтобы у меня хватило духу на такую поездку, но теперь отступать было поздно. И вот на другой же день после солнцестояния мы уехали утром в почтовой карете. И когда мы добрались до моря (а море я видела лишь раз в жизни, когда мой бедный Лиррипер за мной ухаживал), его свежесть, и глубина, и воздушность, и мысль о том, что оно волновалось от начала времен и волнуется вечно, но почти никто не обращает на него внимания,—

все это привело меня в очень серьезное расположение духа. Однако я чувствовала себя прекрасно, так же как Джемми и майор, и, в общем, качало не очень сильно, хотя голова у меня кружилась и казалось, что я во что-то погружаюсь, но все-таки я заметила, что внутренности у иностранцев, как видно, созданы более полыми, чем у англичан, и от них гораздо больше ужасного шуму, особенно когда они плохо переносят качку.

Но, душенька, когда мы высадились на материк, какая там оказалась синева, и свет, и яркие краски повсюду,— даже будки часовых и те полосатые,— а блестящие барабаны бьют, а низенькие солдаты с тонкими талиями щеголяют в чистых гетрах... и все это, в общем, так на меня подействовало, что слов нет,— ну, как будто меня на воздух приподняло. Что касается завтрака, будьте покойны: держи я у себя повара и двух судомоек, и то я не могла бы так хорошо завтракать даже при двойных расходах,— ведь до чего приятно, когда перед тобой не торчит обидчивая молодая особа, которая смотрит на тебя свирепо, точно ей жалко провизии, и благодарит за посещение ее ресторана пожеланием, чтобы ты подавилась пищей,— а здесь, напротив, все были так вежливы, так проворны и внимательны, и вообще нам было удобно и спокойно во всех отношениях, если не считать того, что Джемми опрокидывал в себя вино стаканами и я опасалась, как бы он не свалился под стол.

А до чего хорошо говорил Джемми по-французски! Ему теперь часто приходилось практиковаться в этом, потому что, как только, бывало, кто-нибудь заговорит со мной, я отвечаю: «Не *компрени*[1], вы очень любезны, но толку не выйдет... Ну-ка, Джемми!» — и тут Джемми как начнет тараторить — просто прелесть,— одного лишь ему не хватало: он вряд ли понимал хоть слово из того, что ему говорили французы, так что пользы от этих разговоров получалось меньше, чем я ожидала,— впрочем, во всех остальных отношениях Джемми казался настоящим туземцем, но что касается разговорной речи майора, то я бы сказала, сравнивая французский язык с английским,

[1] Искаженное французское: «Je ne comprends pas» — Не понимаю.

что французскому не мешало бы иметь больший запас слов на выбор, тем не менее, когда майор спрашивал какого-нибудь военного джентльмена в сером плаще, который час, признаюсь, не будь я знакома с майором, я приняла бы его за коренного француза.

За моим наследством мы решили съездить на другой день, а весь первый провести в Париже, и предоставляю вам, душенька, судить, *как* я провела этот день вместе с Джемми, майором, подзорной трубой и одним молодым человеком бродячей наружности (впрочем, тоже очень вежливым), который стоял у подъезда гостиницы, а потом отправился с нами показывать нам достопримечательности. Всю дорогу в поезде до самого Парижа майор и Джемми до смерти пугали меня тем, что выходили на платформу на всех станциях, осматривали паровозы, забираясь под их механические животы, и вообще всё куда-то лазили и неизвестно откуда вылезали в поисках усовершенствований, которые они могли бы применить на своей Соединенной Большой Диванно-Узловой железной дороге, но когда мы в одно ясное утро вышли на великолепные улицы, мои спутники выбросили из головы свои планы перестройки Лондона и отдали все свое внимание Парижу. Тут бродячий молодой человек спросил меня: «Желаете, чтобы я говорил по-англезски, нет?», на что я ответила: «Если можете, молодой человек, это будет очень любезно с вашей стороны», но не успел он поговорить со мной и получаса, как я решила, что малый свихнулся, да и я тоже, и тогда я ему сказала: «Будьте добры, перейдите опять на свой родной французский язык, сэр»,— а сказала я это, чтобы больше не мучиться понапрасну, стараясь его понять, и тем облегчить свое отчаянное положение. Впрочем, нельзя сказать, что я потеряла больше других, ибо я заметила, что всякий раз, как он, бывало, начнет описывать что-нибудь очень пространно, а я спрошу Джемми: «Что он там такое болтает, Джемми?» — Джемми отвечает мне, мстительно глядя на него: «Он говорит страшно невнятно!» — а когда молодой человек еще пространней опишет все заново и я спрошу Джемми: «Ну, Джемми, к чему это все относится?» — Джемми отвечает: «Он говорит, что это здание ремонтировалось в тысяча семьсот четвертом году, бабушка».

Где этот бродячий джентльмен приобрел свои бродячие замашки, я, конечно, не знаю, и ожидать этого от меня не приходится, но когда мы сели завтракать, он ушел за угол, и не успели мы проглотить последний кусок, он уже был тут как тут — я прямо диву далась,— и то же самое повторялось и за обедом, и вечером, и в театре, и у ворот гостиницы, и у дверей магазинов, где мы покупали какой-нибудь пустяк, и во всех остальных местах, и вместе с тем он страдал привычкой плеваться. А насчет Парижа я могу сказать вам лишь одно, душенька: это и город и деревня вместе, и всюду там резные камни, и длинные улицы с высокими домами, и сады, и фонтаны, и статуи, и деревья, и позолота, и необыкновенно рослые солдаты, и необыкновенно малорослые солдаты, и прелестнейшие няньки в белейших чепчиках, играющие в скакалку с претолстенькими детишками в преплоских шапочках, и повсюду столы, накрытые к обеду чистыми скатертями, и люди, которые сидят на улице, покуривая и потягивая напитки весь день напролет, и повсюду на открытом воздухе представляют разные пьески для простого народа, а любая лавка похожа на прекрасно обставленную комнату, и все как будто играют во все на свете. А уж если говорить о сверкающих огнях, которые зажигаются, когда стемнеет, и внизу, и спереди, и сзади, и вокруг, и о множестве театров, и о множестве людей, и о множестве всего чего угодно,— так это сплошное очарование. И, пожалуй, одно только меня и раздражало: платишь ли, бывало, за проезд по железной дороге, или меняешь деньги у менялы, или берешь билеты в театр, служащая дама или господин непременно сидит в клетке (я думаю, их посадило туда правительство) за толстенными железными прутьями, так что все это больше смахивает на зоологический сад, чем на свободную страну.

А вечером, когда я, наконец, уложила в постель свои драгоценные кости и мой юный сорванец пришел поцеловать меня и спросил: «Что вы думаете об этом чудесном-расчудесном Париже, бабушка?» — я ему ответила: «Джемми, мне кажется, будто какой-то роскошный фейерверк пущен у меня в голове». Поэтому на следующий день, когда мы поехали за моим наследством, живописная мест-

ность показалась мне очень освежающей и успокоительной, и я прекрасно отдохнула от одного ее вида, что было для меня весьма полезно.

И вот, наконец, душенька, мы приехали в Санс, хорошенький городок с огромным собором, а у собора две башни, и грачи влетают в бойницы и вылетают из них, а на одной башне стоит еще одна башня вроде каменной кафедры. И на этой кафедре, такой высокой, что птицы летают ниже ее — вы не поверите,— я заметила пятнышко (когда отдыхала в гостинице перед обедом), и люди объяснили мне знаками, что это пятнышко — Джемми, да так оно и оказалось. Я-то, сидя на балконе гостиницы, воображала, что ангел мог бы опуститься на эту башню и возвестить людям, что они должны стать хорошими, но я никак не подозревала, что именно возвещает с такой высоты, сам того не ведая, наш Джемми одному из жителей этого города.

А как приятно была расположена гостиница, душенька! Прямо под башнями, так что их тени весь день падали на стены, меняясь, как на солнечных часах, а крестьяне въезжали во двор и выезжали со двора в повозках и крытых кабриолетах, а рынок был перед самым собором, и все кругом было такое чудно́е,— прямо как на картине. Мы с майором решили, что чем бы ни кончилось получение моего наследства, но провести наши каникулы лучше всего здесь, и мы решили также не омрачать радости нашего милого мальчика встречей с англичанином, если он еще жив, а лучше нам пойти туда вдвоем. Надо вам знать, что на той высоте, куда забрался Джемми, у майора захватило дыхание, и, оставив мальчика с проводником, он вернулся ко мне.

После обеда, когда Джемми отправился посмотреть на реку, майор пошел в мэрию и вскоре вернулся с каким-то военным при шпаге, со шпорами, в треугольной шляпе, с желтой перевязью через плечо и длинными аксельбантами, которые ему, наверное, мешали. И вот майор говорит:

— Англичанин до сих пор лежит в том же состоянии, дорогая моя. Этот джентльмен проводит нас к нему.

Тут военный снял передо мной свою треуголку, и я заметила, что волосы у него надо лбом выбриты в подражание Наполеону Бонапарту, но непохоже.

Мы вышли через ворота, миновали огромный портал собора и пошли по узенькой улице, где люди сидели, болтая друг с другом, у дверей своих лавок, а дети играли на мостовой. Военный шел впереди и, наконец, остановился у лавки, где продавали свинину и где в окне красовалась статуэтка сидящей свиньи, а из двери в жилую часть дома выглядывал осел.

Завидев военного, осел вышел на мостовую, потом повернулся и, стуча копытами, пошел обратно по коридору, выходящему на задний двор. Таким образом, путь был очищен, и нас с майором провели по общей лестнице на третий этаж, в комнату с окнами на улицу — пустую комнату с красным черепичным полом, темную оттого, что наружные решетчатые ставни были закрыты. Когда военный открыл ставни, я увидела башню, на которую поднимался Джемми, темнеющую на закате, и, обернувшись к кровати у стены, увидела англичанина.

У него было что-то вроде воспаления мозга и волосы все вылезли, а на голове лежала сложенная в несколько раз мокрая тряпка. Я посмотрела на него очень внимательно — он лежал совсем изможденный, с закрытыми глазами,— и вот я и говорю майору:

— Никогда в жизни я не видела этого человека.

Майор тоже посмотрел на него очень внимательно и говорит мне:

— И я никогда в жизни его не видел.

Когда майор перевел наши слова военному, тот пожал плечами и показал майору игральную карту, на которой было написано про мое наследство. Завещание было написано слабой, дрожащей рукой, вероятно в кровати, и я так же не признала почерка, как не признала лица этого человека. Не признал его и майор.

Хотя бедняга лежал в одиночестве, за ним ухаживали очень хорошо, но в то время он, наверное, не сознавал, что кто-нибудь сидит рядом с ним. Я попросила майора сказать военному, что мы пока не собираемся уезжать и завтра я вернусь сюда подежурить у постели больного. Но я попросила майора добавить — и при этом резко качнула головой, чтобы подчеркнуть свои слова: «Мы оба сходимся на том, что никогда не видели этого человека».

Наш мальчик чрезвычайно удивился, когда мы, сидя на

балконе при свете звезд, рассказали ему об этом, и начал перебирать написанные майором рассказы о моих прежних жильцах, спрашивая, не может ли англичанин быть одним из них. Оказалось, что не может, и мы пошли спать.

Утром, как раз во время первого завтрака, военный пришел, звеня шпорами, и сказал, что доктор заметил по каким-то признакам, что больной перед смертью, возможно, придет в сознание. Тут я и говорю майору и Джемми:

— Вы, мальчики, ступайте порезвитесь, а я возьму молитвенник и пойду посидеть с больным.

И я пошла и просидела несколько часов, время от времени читая бедняге молитву, и только в середине дня он пошевельнул рукой.

Раньше он лежал совсем неподвижно, так что не успел он пошевельнуться, как я заметила это, сняла очки, отложила книгу, поднялась и стала смотреть на него. Сначала он шевелил одной рукой, потом обеими, а потом — как человек, который пробирается куда-то в потемках. Еще долго после того, как глаза его открылись, они были словно затянуты пеленой, и он все еще нащупывал себе путь к свету. Но постепенно зрение его прояснилось и руки перестали двигаться. Он увидел потолок, он увидел стену, он увидел меня. Когда его зрение прояснилось, мое прояснилось также, и когда мы, наконец, взглянули друг другу в лицо, я отшатнулась и крикнула сгоряча:

— Ах, вы, злой вы, злой человек! Вот вы и наказаны за свой грех!

Ведь едва жизнь затеплилась в его глазах, я узнала в нем мистера Эдсона, отца Джемми, так жестоко покинувшего бедную молодую незамужнюю мать Джемми, которая умерла на моих руках, бедняжка, и оставила мне Джемми.

— Жестокий вы, злой человек! Подлый вы изменник!

Собрав последние силы, он попытался повернуться, чтобы спрятать свое жалкое лицо. Рука его свесилась с кровати, а за нею и голова, и вот он лежал передо мной, сломленный и телом и духом. Поистине печальное зрелище под летним солнцем!

— О господи! — заплакала я.— Научи, что мне сказать этому несчастному! Я бедная грешница, и не мне его судить!

Но, подняв глаза на ясное яркое небо, я увидела ту высокую башню, где Джемми стоял выше пролетавших птиц, глядя на окно этой самой комнаты, и мне почудилось, будто там засиял последний взгляд его бедной прелестной молодой матери,— такой, каким он стал в ту минуту, когда душа ее просветлела и освободилась.

— Ах, несчастный вы, несчастный,— говорю я, став на колени у кровати,— если сердце ваше раскрылось и вы искренне раскаиваетесь в содеянном, спаситель наш смилуется над вами!

Я прижалась лицом к кровати, а он с трудом дотянулся до меня бессильной рукой. Хочу верить, что это был жест раскаяния. Больной пытался крепко уцепиться за мое платье, но пальцы его были так слабы, что тут же разжались.

Я подняла его на подушки и говорю ему:

— Вы меня слышите?

Он подтвердил это взглядом.

— Вы меня узнаете?

Он опять подтвердил это взглядом и даже еще яснее.

— Я здесь не одна. Со мною майор. Вы помните майора?

Да. Я хочу сказать, что он опять дал мне утвердительный ответ взглядом.

— И мы с майором здесь не одни. Мой внук — его крестник — с нами. Вы слышите? Мой внук.

Он снова попытался ухватить меня за рукав, но рука его смогла только дотянуться до меня и тотчас упала.

— Вы знаете, кто мой внук?

Да.

— Я любила и жалела его покинутую мать. Когда она умирала, я сказала ей: «Дорогая моя, этот младенец послан бездетной старой женщине». С тех пор он всегда был моей гордостью и радостью. Я люблю его так нежно, словно выкормила своей грудью. Хотите увидеть моего внука перед смертью?

Да.

— Когда я кончу говорить, дайте мне знать, что вы правильно поняли мои слова. От него скрыли историю его рождения. Он не знает о ней. Ничего не подозревает. Если я приведу его сюда, к вашей постели, он будет думать,

что вы совершенно чужой ему человек. Я не могу скрыть от него, что в мире есть такое зло и горе, но что они были так близко от него, когда он лежал в своей невинной колыбели, это я от него скрывала, скрываю и всегда буду скрывать ради его матери и ради него самого.

Он показал мне знаком, что отлично все понял, и слезы потекли у него из глаз.

— Теперь отдохните, и вы увидите его.

Тут я дала ему немного вина и коньяку и оправила его постель. Но я уже начала опасаться, как бы майор и Джемми не опоздали. Занятая своим делом и этими мыслями, я не услышала шагов на лестнице и вздрогнула, увидев, что майор остановился посреди комнаты и, встретившись глазами с умирающим, узнал его в эту минуту, как я узнала его незадолго перед тем.

Гнев отразился на лице майора, а также ужас и отвращение и бог весть что еще. Тогда я подошла к нему и подвела его к кровати, потом сложила и воздела руки, а майор последовал моему примеру.

— О господи,— сказала я,— ты знаешь, что оба мы видели, как страдало и мучилось юное создание, которое теперь с тобою. Если этот умирающий искренне раскаялся, мы оба вместе смиренно молим тебя помиловать его.

Майор сказал: «Да будет так!» — а я немного погодя шепнула ему: «Милый старый друг, приведите нашего любимого мальчика».

И майор, такой умный, что понял все без слов, ушел и привел Джемми.

Никогда, никогда, никогда я не забуду ясного, светлого лица нашего мальчика в ту минуту, когда он стоял в ногах кровати и смотрел на умирающего, не зная, что это его отец. Ах! Как он тогда был похож на свою милую молодую мать!

— Джемми,— говорю я,— я узнала все насчет этого бедного джентльмена, который так болен,— оказывается, он действительно когда-то жил в нашем старом доме. И так как он, умирая, хочет видеть всех, кто принадлежит к этому дому, я послала за тобой.

— Ах, несчастный! — говорит Джемми, сделав шаг вперед и очень осторожно касаясь руки умирающего.— Как мне жаль его. Несчастный, несчастный человек!

Глаза, которым суждено было вскоре закрыться навеки, впились в мои, и у меня не хватило сил устоять перед ними.

— Видишь, милый мой мальчик,— этот наш ближний умирает, как умрут и лучшие и худшие из нас; но в его жизни есть одна тайна... и если ты сейчас коснешься щекой его лба и скажешь: «Да простит вас бог!» — ему станет легче в последний его час.

— О бабушка! — сказал Джемми от всего сердца.— Я недостоин.

Однако он нагнулся и сделал то, о чем я просила. Тогда дрожащие пальцы больного ухватились, наконец, за мой рукав, и мне кажется, что, умирая, он пытался поцеловать меня.

* * *

Ну вот, душенька! Вот вам и вся история моего наследства, и если она вам понравилась, стоило бы, рассказывая ее, потрудиться в десять раз больше.

Вы, может быть, подумаете, что после всего этого французский городок Санс нам опротивел; но нет, мы этого не находили. Я ловила себя на том, что всякий раз, как я смотрела на высокую башню, стоящую на другой башне, мне вспоминались другие дни, когда одно прелестное юное создание с красивыми золотистыми волосами доверилось мне, как родной матери, и от этих воспоминаний город казался мне таким тихим и мирным, что я и выразить этого не могу. И все обитатели гостиницы, вплоть до голубей на дворе, подружились с Джемми и майором и отправлялись вместе с ними во всякого рода экспедиции в разнообразных экипажах, покрытых грязью вместо краски и запряженных норовистыми ломовыми лошадьми, с какими-то веревками вместо сбруи, и каждый новый знакомый был одет в синее, словно мясник, и каждый новый конь становился на дыбы, стремясь пожрать и растерзать другого коня, и каждый человек, имеющий бич, щелкал им — щелк-щелк-щелк-щелк-щелк,— как школьник, которому бич впервые попал в руки. Что касается майора, душенька, то он проводил бо́льшую часть времени со стаканчиком в одной руке и бутылкой легкого вина в другой, и всякий раз, как он видел кого-нибудь тоже со стаканчиком

в руке, все равно кого — военного с аксельбантами, или служащих гостиницы, сидящих за ужином во дворе, или горожан, болтающих на лавочке, или поселян, уезжающих с рынка домой,— майор бросался чокаться с ними и кричал: «Эй! вив[1] такой-то!» или «вив то-то!» И хотя я не могла вполне одобрить поведение майора, что же делать — в мире много всяких обычаев и они разные, соответственно разным частям этого мира, и когда майор танцевал прямо на площади с одной особой, содержавшей парикмахерскую, он, по-моему, был вполне прав, танцуя как можно лучше и с такой силой вертя свою даму, какой я от него не ожидала, однако меня немного беспокоили бунтарские крики танцоров и всей остальной компании — точь-в-точь как на баррикадах,— так что я, наконец, сказала:

— Что это они кричат, Джемми?

А Джемми говорит:

— Они кричат, бабушка: «Браво, английский военный! Браво, английский военный!» — что очень польстило моему самолюбию как британки, да так все с тех пор и звали майора — «английский военный».

Но каждый вечер мы в одно и то же время усаживались втроем на балконе гостиницы, в конце двора, и смотрели на золотисто-розовый свет, озарявший огромные башни, и смотрели, как менялись тени башен, покрывавшие все, что нас окружало, включая и нас самих, и как вы думаете, что мы там делали? Вообразите, душенька, Джемми, как оказалось, привез с собою несколько рассказов из тех, что майор записал для него со слов прежних жильцов, живших в доме номер восемьдесят один, Норфолк-стрит, и вот как-то раз он приносит их и говорит:

— Бабушка! Крестный! Еще рассказы! Читать их буду я. И хотя вы писали их для меня, крестный, я знаю, вы не будете возражать, если я прочту их бабушке, правда?

— Нет, милый мой мальчик,— говорит майор.— Все, что у нас есть, принадлежит ей, и мы сами тоже принадлежим ей.

— Навеки любящие и преданные Дж. Джекмен и Дж. Джекмен Лиррипер! — восклицает юный сорванец, сжи-

---

[1] Да здравствует *(франц.)*.

мая меня в объятиях.— Отлично, крестный! Слушайте! Бабушка теперь получила наследство, поэтому я хочу, чтобы эти рассказы тоже стали частью бабушкиного наследства. Я завещаю их ей. Что скажете, крестный?

— Хип-хип, ура! — говорит майор.

— Прекрасно! — кричит Джемми в страшном волнении.— Вив английский военный! Вив леди Лиррипер! Вив Джемми Джекмен. он же Лиррипер! Вив наследство! Теперь слушайте, бабушка. И вы слушайте, крестный. Читать буду я! И знаете, что я еще сделаю? В последний вечер наших каникул, когда мы уложим вещи и будем готовы к отъезду, я закончу все одной повестью своего собственного сочинения.

— Смотрите не обманите, сэр,— говорю я.

## ГЛАВА II

### *Миссис Лиррипер рассказывает, как закончил Джемми*

Ну вот, душенька, так мы все и читали по вечерам майоровы записи, и, наконец, наступил вечер, когда мы уже уложили вещи и готовились уехать на другой день, и уверяю вас, хотя я с радостным нетерпением ждала того дня, когда вернусь в старый милый дом на Норфолк-стрит, я к тому времени составила себе очень высокое мнение о французской нации и заметила, что французы гораздо более домовиты и хозяйственны в семейной жизни и много проще и приятнее в обращении, чем я ожидала, но, между нами говоря, меня поразило, что в одном отношении другой нации, которую я не хочу называть, было бы полезно взять с них пример, а именно — в том, с какой бодростью они из всяких пустяков извлекают для себя маленькие радости на маленькие средства и не позволяют важным персонам смущать их надменными взглядами или заговаривать их своими речами до одурения, да я и всегда думала насчет этих важных персон, что надо бы их всех и каждого в отдельности засунуть в медные котлы, закрыть крышками и никогда оттуда не выпускать.

— А теперь, молодой человек,— говорю я Джемми, когда мы в тот последний вечер вынесли на балкон свои стулья,— будьте добры вспомнить, кто должен был «закончить все».

— Хорошо, бабушка,— говорит Джемми,— эта знаменитая личность — я.

Однако, несмотря на столь шутливый ответ, вид у него был до того серьезный, что майор поднял брови на меня, а я на майора.

— Бабушка и крестный,— говорит Джемми,— вряд ли вы знаете, как много я думал о смерти мистера Эдсона.

Это меня слегка испугало.

— Ах, это было печальное зрелище, милый мой,— говорю я,— а печальные воспоминания приходят на ум чаще веселых. Но это,— говорю я после короткого молчания, желая развеселить себя, и майора, и Джемми — всех вместе,— это не значит «заканчивать». Так расскажи свою повесть, милый.

— Сейчас расскажу,— говорит Джемми.

— А когда все это было, сэр? — спрашиваю я.— «Когда-то, давным-давно, когда свиньи пили вино»?

— Нет, бабушка,— отвечает Джемми все так же серьезно,— когда-то, давным-давно, когда французы пили вино.

Я снова взглянула на майора, а майор взглянул на меня.

— Короче говоря, бабушка и крестный,— говорит Джемми,— это было в наши дни, и это повесть о жизни мистера Эдсона.

Как я разволновалась! Как майор переменился в лице!

— То есть вы понимаете,— говорит наш ясноглазый мальчик,— я хочу рассказать вам эту повесть на свой лад. Я не спрошу у вас, правдива ли она или нет, во-первых, потому, что, по вашим словам, бабушка, вы очень мало знаете жизнь мистера Эдсона, а во-вторых, то немногое, что вы знаете,— тайна.

Я сложила руки на коленях и не отрывала глаз от Джемми, пока он говорил.

— Несчастный джентльмен,— начинает Джемми,— герой нашего рассказа, был сыном Такого-то, родился Там-то и выбрал себе такую-то профессию. Но нас интересует не

этот период его жизни, а его юношеская привязанность к одной молодой и прекрасной особе.

Я чуть не упала. Я не смела взглянуть на майора, но и не глядя на него, знала, какие чувства его обуревают.

— Отец нашего злосчастного героя,— говорит Джемми, как будто подражая стилю некоторых своих книжек,— был светский человек, лелеявший честолюбивые планы насчет будущего своего единственного сына, и потому он решительно воспротивился его предполагавшемуся браку с добродетельной, но бедной сиротой. Он даже зашел так далеко, что прямо пригрозил нашему герою лишить его наследства, если тот не отвратит своих помыслов от предмета своей преданной любви. В то же время он предложил сыну в качестве подходящей супруги дочь одного соседнего состоятельного джентльмена, которая была и хороша собой, и приятна в обращении, а в отношении приданого не оставляла желать ничего лучшего. Но молодой мистер Эдсон, верный первой и единственной любви, воспламенившей его сердце, отверг выгодное предложение и, осудив в почтительном письме гнев отца, увез свою любимую.

Я, душенька, начала было успокаиваться, но, когда дело дошло до увоза, разволновалась пуще прежнего.

— Влюбленные,— продолжал Джемми,— бежали в Лондон и соединились брачными узами в церкви святого Клементия-Датчанина. И в этот период их простой, но трогательной истории мы видим их обитающими в жилище одной высокоуважаемой и всеми любимой леди, по имени Бабушка, проживавшей в ста милях от Норфолк-стрит.

Я почувствовала, что теперь мы почти спасены,— почувствовала, что милый мальчик и не подозревает о горькой правде, и, впервые взглянув на майора, глубоко вздохнула. Майор кивнул мне.

— Отец нашего героя,— продолжал Джемми,— был непреклонен и неукоснительно привел свою угрозу в исполнение, поэтому молодоженам пришлось в Лондоне очень плохо и было бы еще хуже, если бы их добрый ангел не привел их к миссис Бабушке, а та, догадавшись об их бедственном положении (несмотря на их старания скрыть это от нее), множеством деликатных ухищрений сглаживала их тернистый путь и смягчала остроту их первых горестей.

Тут Джемми взял мою руку и с этой минуты подчеркивал поворотные пункты своей повести, хлопая моей ладонью по другой своей руке.

— Через некоторое время они покинули дом миссис Бабушки и продолжали свой жизненный путь то с успехом, то с неудачами в других местах. Но при всех переменах, к добру или худу, мистер Эдсон говорил прекрасной спутнице своей жизни: «Неизменная любовь и верность помогут нам преодолеть все!»

Моя рука дрогнула в руке милого мальчика,— ведь эта фраза так прискорбно не соответствовала действительности!

— «Неизменная любовь и верность,— повторяет Джемми, точно эти слова доставляют ему какое-то гордое, благородное наслаждение,— помогут нам преодолеть все!» Так он говорил. И так они пробивали себе дорогу в жизни, бедные, но смелые и счастливые, пока миссис Эдсон не произвела на свет ребенка.

— Дочь? — спрашиваю я.

— Нет,— отвечает Джемми,— сына. И отец так гордился им, что был почти не в силах оторвать от него глаз. Но темная туча омрачила эту картину: миссис Эдсон расхворалась, зачахла и умерла.

— Ах! Расхворалась, зачахла и умерла! — говорю я.

— И вот у мистера Эдсона осталось единственное утешение, единственная надежда, единственное побуждение к деятельности — его обожаемый сын. По мере того как ребенок подрастал, он становился настолько похожим на мать, что казался ее живым портретом. Он удивлялся, почему отец, целуя его, плачет. Но, к несчастью, он походил на мать не только лицом, но и здоровьем, и тоже умер, еще не выйдя из детских лет. Тогда мистер Эдсон, одаренный прекрасными способностями, зарыл их в землю в своем одиночестве и отчаянии. Он стал безразличным ко всему, безрассудным, растерянным. Мало-помалу он опускался все ниже, ниже, ниже, ниже, пока, наконец, не начал жить( как мне кажется) одной только карточной игрой. И вот болезнь настигла его в городе Сансе, во Франции, он слег и уже не встал. Но теперь, когда он лежал при смерти и все было кончено, он вспоминал ушедшую юность, еще не погребенную им под пеплом, и с бла-

годарностью думал о доброй миссис Бабушке, которую давно потерял из виду и которая была так добра к нему и его молодой жене в первые дни их брака,— и вот почему он оставил ей в наследство то немногое, что ему принадлежало. А она, приехав повидать его, сначала так же не узнала его, как не узнала бы по развалинам, каким был до своего разрушения греческий или римский храм, однако в конце концов она его вспомнила. И тогда он со слезами на глазах сказал ей, как он сожалеет о том, что так дурно провел остаток своей жизни, и попросил ее быть к нему как можно снисходительней, ибо жизнь эта была, можно сказать, бедным падшим ангелом его неизменной любви и постоянства. И так как с нею был ее внук, а умирающий думал, что родной его сын, останься он в живых, мог бы отчасти напоминать этого мальчика, он попросил ее, чтобы она велела внуку коснуться щекой его лба и сказать ему несколько прощальных слов.

Когда Джемми дошел до этого места, голос у него упал, и слезы выступили на глазах у меня и у майора.

— Ах ты маленький волшебник! — говорю я.— Как это ты сам обо всем догадался? Поди-ка запиши все до единого слова, потому что это просто чудо.

Так Джемми и сделал, а я передала вам, душенька, всю повесть по его записи.

Тут майор взял мою руку, поцеловал ее и сказал:

— Дорогая моя, мы во всем преуспели.

— Ах, майор! — отозвалась я, вытирая глаза.— Нечего нам было бояться. Мы должны были знать все это заранее. Сияющей юности чужда измена, зато ей близки доверие и милосердие, любовь и постоянство!

*1864*

# *Роман, сочиненный на каникулах*

*В четырех частях*

## ЧАСТЬ I

### *Вводный роман. Сочинение Уильяма Тинклинга, эсквайра*[1]

Эта вводная часть никем не выдумана из головы, так и знайте. Это было взаправду. Вы должны верить вводной части больше, чем тому, что пойдет за ней, иначе не поймете, как было написано то, что за ней пойдет. Вы должны верить всему, но этой части, пожалуйста, верьте больше всего. Я редактор этих сочинений. Боб Редфорт (он мой двоюродный брат и сейчас нарочно толкает стол) сам хотел редактировать эти сочинения, но я сказал, чтобы он не смел, потому что не может,— ведь он и понятия не имеет, как нужно редактировать.

Нетти Эшфорд моя жена. Мы повенчались с ней в первый же день нашего знакомства в стенном шкафу, что в углу танцевальной школы с правой стороны, а обручальное кольцо (зеленое) купили в игрушечном магазине Уилкингуотера. Это я купил его в долг и заплачу из своих карманных денег. Когда великолепная церемония кончилась, мы вчетвером ушли на дорожку, что между садовыми изгородями, и выстрелили из пушки (Боб Редфорт принес ее, заряженную, в своем жилетном кармане), чтобы объявить о нашей свадьбе. После выстрела пушка так и под-

[1] Восьми лет. *(Прим. автора.)*

прыгнула, а потом перевернулась. На другой день с такими же церемониями обвенчали подполковника Робина Редфорта с Элис Рейнберд. На этот раз пушка взорвалась с ужаснейшим треском так, что какой-то щенок даже залаял.

В то время, о котором мы теперь говорим, моя несравненная жена была в плену — в школе мисс Гриммер. Школу содержат две компаньонки — Дроуви и Гриммер,— и неизвестно, которая хуже. Очаровательная жена подполковника тоже была заключена в темницах этого заведения. Мы с подполковником поклялись друг другу похитить наших жен в следующую среду, когда пансионерки будут гулять парами.

Дело было отчаянное, и подполковник, который одарен живым умом и занимается противозаконной деятельностью (он пират), предложил идти в атаку с фейерверком. Однако мы из человеколюбия отказались от этого: слишком дорого обойдется.

Легко вооруженный ножом для разрезания книг (который был спрятан под застегнутой курткой) и потрясая грозным черным флагом, укрепленным на конце палки, подполковник принял команду надо мною в два часа пополудни этого богатого событиями дня. Он начертил план атаки на клочке бумаги и накатал его на палочку от обруча. Он показал мне план. Моя позиция и мой портрет во весь рост (но на самом деле уши у меня не торчат так горизонтально) были изображены за угловым фонарным столбом, и тут же мне был вручен письменный приказ оставаться на месте, пока я не увижу, что мисс Дроуви пала. Дроуви, которая должна была пасть, это та, что в очках, а не та, что в большой сиреневой шляпке. По этому сигналу я должен был ринуться вперед, схватить свою жену и с боем проложить себе путь на дорожку между изгородями. Тут мы с подполковником должны были соединиться и, поставив своих жен позади себя — между нами и оградой,— победить или умереть.

Неприятель появился... приблизился. Размахивая черным флагом, подполковник бросился в атаку. Последовало смятение. В тревоге я ждал сигнала; но сигнала не было. Ненавистная Дроуви в очках не только не пала, но, как мне показалось, накинула подполковнику на голову его

противозаконное знамя и принялась тузить его зонтиком. Та, что в сиреневой шляпке, тоже проявляла чудеса храбрости и колотила его кулаками по спине. Убедившись, что на этот раз все потеряно, я ринулся в отчаянный рукопашный бой и пробился на дорожку. Свернув на заднюю тропинку, я, к счастью, никого не встретил и без помехи прибыл на место.

Будто целый век прошел, пока подполковник прибежал ко мне. Он ходил к портному, чтобы тот зашил дырки на его штанах, и объяснил наше поражение тем, что ненавистная Дроуви отказалась пасть. Поняв, как она упряма, он сказал ей: «Умри, малодушная!» — но увидел, что она глуха к доводам разума — в этом случае, как и в других.

На другой день моя цветущая жена вместе с женой подполковника пришла в танцевальную школу. Как! Неужели она отвернулась от меня? Ха! Вот именно. С упреком во взоре она сунула мне в руку клочок бумажки и пошла танцевать с другим кавалером. На бумажке было написано карандашом: «Боже! Смогу ли я написать это слово? Неужели мой супруг... трутень?»

Я прямо остолбенел, голова моя пылала, и я старался угадать, какой клеветник пустил слух, что мой род происходит от вышеупомянутого неблагородного насекомого. Тщетны были мои старания. Когда танцы кончились, я шепотом вызвал подполковника в раздевальню и показал ему записку.

— Тут один слог лишний,— произнес он, мрачно сморщив лоб.

— Ха! Как это лишний? — спросил я.

— Она спрашивает, может ли она написать это слово. Выходит, что нет; видишь — не смогла и вместо него написала другое,— сказал подполковник, ткнув пальцем в строчку.

— Какое же слово она хотела написать? — спросил я.

— Трус-с-с,— зашипел мне в ухо пират-подполковник, возвращая записку.

Тут я понял, что или мне всю жизнь придется бродить по земле заклейменным мальчиком — то есть человеком,— или я обязан восстановить свою честь и потребовать, чтобы меня судили военным судом. Подполковник признал мое право на суд. Трудновато оказалось собрать

судей, потому что тетка французского императора не захотела отпустить его из дому. А он был председатель суда. Но не успели мы назначить ему заместителя, как сам председатель сбежал от тетки, перелез через стену заднего двора и вернулся к нам самодержавным монархом.

Суд состоялся на лужайке у пруда. Я узнал в одном адмирале из числа судей своего самого заклятого врага. Однажды он так ругался из-за кокосового ореха, что я не вытерпел; однако я был уверен в своей невиновности и к тому же президент Соединенных Штатов (сидевший рядом с ним) еще не вернул мне моего ножа, поэтому я собрался с духом и приготовился к тяжкому испытанию.

Торжественное это было зрелище, наш суд! Меня привели два палача в передниках наизнанку. Под зонтиком стояла моя жена, опираясь на жену пирата-подполковника. Председатель призвал к порядку одну маленькую прапорщицу за то, что она хихикала, когда дело шло о жизни и смерти, а потом велел мне признаться: «Трус я или не трус, виновен или не виновен?» Я заявил твердым голосом: «Не трус и не виновен» (маленькую прапорщицу председатель снова призвал к порядку за нехорошее поведение, а она взбунтовалась, покинула суд и принялась кидаться камнями).

Мой непреклонный враг, адмирал, поддерживал обвинение против меня. Вызвали жену подполковника подтвердить, что во время схватки я стоял за угловым фонарным столбом. До чего тяжело мне было слушать, как моя собственная жена дает свидетельские показания по тому же вопросу. Меня могли бы избавить от этого, но адмирал знал, чем меня уязвить. Молчи, душа! Ничего! Потом вызвали подполковника давать свидетельские показания.

Я с нетерпением ждал этой минуты, потому что это был поворотный пункт моего дела. Оттолкнув своих стражей — им вовсе незачем было держать меня, дуракам этаким, пока меня не признали виновным,— я спросил подполковника, в чем, по его мнению, первый долг солдата. Он еще не успел ответить, как вдруг президент Соединенных Штатов встал и заявил суду, что мой враг адмирал произнес слово «храбрость»; а ведь подсказывать свидетелю нечестно. Председатель суда немедленно приказал набить адмиралу рот листьями и связать его веревкой.

Заседание еще не возобновилось, а я уже с удовлетворением увидел, как приговор привели в исполнение.

Тогда я вынул из кармана штанов бумагу и спросил:

— Как по-вашему, подполковник Редфорт, в чем первый долг солдата? В повиновении?

— Именно,— ответил подполковник.

— А эта бумага, взгляните на нее, пожалуйста, написана вашей рукой?

— Именно,— ответил подполковник.

— Это военный план?

— Именно,— ответил подполковник.

— План сражения?

— Совершенно верно,— ответил подполковник.

— Последнего сражения?

— Последнего сражения.

— Будьте добры описать его, а потом вручить председателю суда.

То была минута моего торжества, и, начиная с нее, мои страдания и грозившие мне опасности кончились. Суд встал и запрыгал, убедившись, что я в точности исполнял приказы. Мой враг — адмирал, хоть он и был в наморднике, оказался настолько злобным, что предложил считать меня обесчещенным за то, что я бежал с поля битвы. Но ведь сам подполковник тоже сбежал, поэтому он поклялся словом и честью пирата, что, когда все потеряно, бежать с поля битвы можно и это вовсе не позор. Меня уже собирались признать «не трусом и невиновным», а мою цветущую жену собирались публично вернуть в мои объятия, как вдруг непредвиденное обстоятельство расстроило общее ликование. Это была не кто иная, как тетка французского императора,— она вцепилась ему в волосы. Заседание прервалось, и суд бросился бежать врассыпную.

На второй день после суда, когда серебряные лучи месяца еще не коснулись земли, а вечерние тени уже начали на нее падать, можно было различить четыре фигуры, которые медленно двигались к плакучей иве на берегу пруда — опустевшей арене позавчерашних мук и побед. Подойдя поближе и присмотревшись опытным глазом, можно было узнать в этих фигурах пирата-подполковника с молодой женой и позавчерашнего доблестного узника с молодой женой.

На прекрасных лицах наших нимф отражалось уныние. Все четверо несколько минут молча сидели на траве, прислонившись к иве, и, наконец, жена подполковника сказала, надув губы:

— Не стоит больше воображать, и лучше нам все это бросить.

— Ха! — воскликнул пират.— Воображать?

— Перестань! Ты меня огорчаешь! — отозвалась его жена.

Очаровательная жена Тинклинга повторила это неслыханное заявление. Оба воина обменялись мрачными взглядами.

— Если взрослые не *желают* делать того, что следует,— сказала жена пирата-подполковника,— и всегда берут над нами верх, какой толк от того, что мы будем воображать?

— Нам же хуже,— вставила жена Тинклинга.

— Ты отлично знаешь,— продолжала жена подполковника,— что мисс Дроуви ни за что бы не захотела пасть. Ты сам на это жаловался. Ты знаешь, как позорно окончился военный суд. А наш брак — разве мои родные его призна́ют?

— А разве мои родные призна́ют наш брак? — сказала жена Тинкглинга.

Оба воина снова обменялись мрачными взглядами.

— Уж если тебе велели убираться вон,— сказала жена подполковника,— так можешь сколько угодно стучать в дверь и требовать меня, все равно тебя выдерут за уши, за волосы или за нос!

— А если ты будешь настойчиво звонить в колокольчик и требовать меня,— сказала жена Тинклинга этому джентльмену,— тебя закидают всякой дрянью из того окна, что над дверью, или обольют водой из садовой кишки.

— А у вас дома будет не лучше,— продолжала жена подполковника.— Вас отправят спать или придумают еще что-нибудь столь же унизительное. И потом, как вы добудете деньги, чтобы нас кормить?

— Грабежом! — мужественно ответил пират-подполковник.

Но его жена возразила:

— А если взрослые не захотят, чтобы их грабили?

— Тогда,— сказал подполковник,— они заплатят своей кровью.

— А если они не захотят,— возразила его жена,— и не станут платить ни своей кровью и ни еще чем-нибудь?

Наступило мрачное молчание.

— Так, значит, ты больше не любишь меня, Элис? — спросил подполковник.

— Редфорт! Я навеки твоя,— ответила его жена.

— Так, значит, ты больше не любишь меня, Нетти? — спросил пишущий эти строки.

— Тинклинг! Я навеки твоя,— ответила моя жена.

Мы все четверо расцеловались. Да не поймут меня превратно непостоянные сердца. Подполковник поцеловал свою жену, а я свою. Но ведь дважды два — четыре.

— Мы с Нетти обдумали наше положение,— печально промолвила Элис.— Со взрослыми нам не справиться. Они над нами смеются. Кроме того, они теперь все переделали по-своему. Вот, например, вчера крестили маленького братца Уильяма Тинклинга. И что же? Пришел ли на крестины хоть один король? Отвечай, Уильям.

Я сказал «нет»; разве только под видом двоюродного дедушки Чоппера.

— А королева пришла?

Насколько я знал, никакой королевы к нам не приходило. Возможно, королева сидела на кухне, но не думаю: прислуга, наверное, доложила бы про нее.

— А феи были?

— Ни одной феи я не видел.

— Помнится, мы думали,— сказала Элис с грустной улыбкой,— мы все четверо думали, что мисс Гриммер окажется злой волшебницей, придет на крестины с костылем и преподнесет ребенку зловещий подарок.— Было что-нибудь в этом роде? Отвечай, Уильям.

Я сказал, что мама потом говорила (и она действительно говорила), что подарок двоюродного дедушки Чоппера жалкая дешевка, но она не назвала этот подарок зловещим. Она сказала, что он жалкий, подержанный, подделка и что дедушка мог бы позволить себе купить что-нибудь подороже.

— Очевидно, это взрослые все так переделали по-своему,— сказала Элис.— Ведь мы-то не смогли бы, даже

если бы хотели, а мы никогда бы не захотели. Или, может, мисс Гриммер все-таки злая волшебница, но не хочет вести себя так, как ей полагается, потому что взрослые ее отговорили. Но все равно, они нас поднимут на смех, скажи мы им только, чего мы ожидали.

— Тираны! — пробормотал пират-подполковник.

— Нет, Редфорт,— сказала Элис,— не надо так говорить. Не ругайся, Редфорт, а то они пожалуются папе.

— Пускай! — сказал подполковник.— Наплевать! Кто он такой, подумаешь!

Тут Тинклинг пустился в опасное предприятие — сделал замечание своему противозаконному другу, и тот согласился взять назад вышеупомянутые мрачные выражения.

— Что же нам остается делать? — продолжала Элис, как всегда, кротко и рассудительно. Нам нужно воспитывать, нам нужно воображать по-новому, нам нужно ждать.

Подполковник стиснул зубы. Спереди у него не хватало четырех и еще куска от другого зуба, и его два раза таскали к злодею-дантисту, но подполковник убегал от своих конвоиров.

— Как это воспитывать? Как воображать по-новому? Как ждать?

— Воспитывать взрослых,— ответила Элис.— Мы расстанемся сегодня вечером. Да, Редфорт,— обратилась она к подполковнику, потому что он засучил рукава,— расстанемся сегодня вечером! И давайте во время будущих каникул — ведь они скоро начнутся — подумаем о том, как перевоспитать взрослых и показать им, какою должна быть жизнь. Давайте скроем свои мысли под видом романов. Ты, я и Нетти! Уильям Тинклинг пишет разборчивей и быстрее всех, поэтому он перепишет наши сочинения. Согласны?

Подполковник хмуро ответил:

— Ничего не имею против.— Потом спросил: — А как насчет воображения?

— Мы будем воображать,— сказала Элис,— что мы дети; мы не будем воображать себя взрослыми,— ведь они должны нам помогать, а не хотят и совсем нас не понимают.

Подполковник, все еще очень недовольный, проворчал:

— А как насчет ожидания?

— Мы будем ждать,— сказала маленькая Элис, взяв за руку Нетти и глядя на небо,— мы будем ждать, верные и постоянные до гроба, пока жизнь не изменится, да так, что все нам будут помогать и никто не станет над нами смеяться, а феи вернутся. Мы будем ждать, верные и постоянные до гроба, пока нам не исполнится восемьдесят, девяносто или сто лет. А тогда феи пошлют детей и *нам,* и мы поможем им, прелестным бедняжкам, если они будут воображать по-нашему.

— Так и сделаем, милая! — сказала Нетти Эшфорд, обнимая ее обеими руками за талию и целуя.— А теперь пусть мой муж пойдет купить нам вишен,— деньги у меня есть.

Я самым дружеским образом пригласил подполковника пойти со мной вместе, но он настолько забылся, что в ответ на приглашение лягнул ногой, потом бросился животом на траву и принялся выдергивать ее и жевать. Впрочем, когда я вернулся, Элис уже почти удалось рассеять его дурное настроение, и теперь она утешала его рассказами о том, как скоро всем нам будет по девяносто лет.

Пока мы сидели под ивой и ели вишни (по-честному, потому что Элис выдала каждому его долю), мы затеяли игру в девяносто лет. Нетти стала жаловаться, что у нее, старенькой, болит спина, так что она даже захромала, а Элис спела песенку по-старушечьи, но песенка была очень красивая, и всем нам стало весело. Впрочем, не знаю, взаправду ли весело, но, во всяком случае, уютно.

Вишен была целая куча, а Элис всегда брала с собой какой-нибудь хорошенький мешочек, коробочку или сундучок со всякими вещицами. В тот вечер она взяла с собой крошечную рюмочку. И вот Элис и Нетти сказали, что они сделают нам вино из вишен, чтобы выпить за нашу любовь, на прощанье.

Каждый получил по целой рюмке, и вино оказалось превкусное; и каждый произносил тост: «За нашу любовь, на прощанье». Подполковник выпил свое вино последним, и мне сейчас же пришло в голову, что оно сейчас же ударило ему в голову. Так или иначе, но, опрокинув рюмку, он стал вращать глазами, а потом отвел меня в сторону и хриплым шепотом предложил, чтобы мы оба «все-таки похитили их».

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил я своего противозаконного друга.

— Похитим наших жен, а потом пробьем себе дорогу, не задерживаясь на поворотах, и прямо — марш к Испанскому океану! — ответил подполковник.

Может, мы и сделали бы такую попытку, хотя, по-моему, из нее все равно ничего бы не вышло; но мы оглянулись и увидели, что под ивой только месяц светит, а наши милые, прелестные жены ушли. Тут мы залились слезами. Подполковник разревелся вторым, а успокоился первым; но ревел он здóрово.

Мы стеснялись своих красных глаз и полчаса с ними возились,— все старались их побелить. Подвели себе глаза куском мела — я подполковнику, а он мне,— но потом в спальне увидели в зеркало, что получилось ненатурально, не говоря уж о воспалении. Тут мы завели разговор насчет девяноста лет. Подполковник сказал мне, что у него есть пара башмаков, на которые нужно поставить подметки и каблуки; но едва ли стоит говорить об этом отцу, потому что подполковнику очень скоро стукнет девяносто лет, а тогда будет удобнее носить туфли. Еще подполковник сказал, уперев руку в бок, что уже чувствует, как стареет и у него начинается ревматизм. А я сказал ему то же самое о себе. А дома, когда родные говорили за ужином (они вечно пристают то с тем, то с другим), что я начал горбиться, я так обрадовался!

Этим кончается вводная часть, которой вы должны были верить больше всего.

## ЧАСТЬ II

### *Роман. Сочинение мисс Элис Рейнберд*[1]

Жил-был один король, и была у него королева; и он был самый мужественный из мужчин, а она была самая очаровательная из женщин. Король был по профессии государственным служащим. Отцом королевы был деревенский доктор.

[1] Семи лет. *(Прим. автора.)*

У них было девятнадцать человек детей и постоянно рождались новые дети. Семнадцать человек этих детей нянчили младшего, грудного ребеночка; Алиса, старшая, нянчила всех прочих. Возраста они были разного: от семи лет до семи месяцев.

Теперь перейдем к нашему рассказу.

Однажды король шел на службу и зашел в рыбную лавку купить полтора фунта лососины — кусок не слишком близко к хвосту,— потому что королева (она была хорошая хозяйка) попросила его прислать домой лососины. Мистер Пиклз, торговец рыбой, сказал:

— Пожалуйста, сэр; а не угодно ли вам еще чего-нибудь? До свиданья.

Король шел на службу печальный, потому что до дня получения жалованья оставалось еще очень много времени, а некоторые его милые детки уже выросли из своих платьев. Не успел он уйти далеко, как вдруг мальчик, посыльный мистера Пиклза, догнал его и спросил:

— Сэр, вы не заметили старушки у нас в лавке?

— Какой старушки? Я никакой старушки не заметил,— ответил король.

Надо вам знать, что король потому не заметил никакой старушки, что эта старушка была для него невидима, а видима только для мальчика мистера Пиклза. Может, это получилось потому, что мальчишка так возился и так брызгался водой и с такой силой швырялся рыбами, что, будь она для него невидима, он испортил бы ей платье.

Тут как раз прибежала и старушка. Она была одета в богатейшее платье из шелка, переливающегося разными цветами, и пахла сушеной лавандой.

— Вы король Уоткинз Первый? — спросила старушка.

— Да,— ответил король,— моя фамилия Уоткинз.

— Если не ошибаюсь, вы папа прекрасной принцессы Алисы? — спросила старушка.

— И восемнадцати других милых деток,— ответил король.

— Слушайте! Вы идете на службу? — сказала старушка.

Тут король сразу же догадался, что она, должно быть, фея,— иначе как она могла знать, куда он идет?

— Вы правы,— сказала старушка, отвечая на его

мысли.— Я добрая фея Грандмарина. Внимание! Когда вы вернетесь домой, вежливо попросите принцессу Алису скушать немного лососины — вот той, что вы сейчас купили.

— Лососина может ей повредить,— сказал король.

Старушка так рассердилась на эту нелепость, что король очень испугался и смиренно попросил у нее прощения.

— Слишком уж много твердят: одно вредно, другое вредно,— сказала старушка с величайшим презрением.— Не жадничайте! Должно быть, вам самим хочется съесть всю лососину.

Выслушав этот упрек, король повесил голову и сказал, что никогда больше не будет говорить про вредное.

— Так будьте паинькой и не делайте этого,— сказала фея Грандмарина.— Когда прекрасная принцесса Алиса согласится отведать лососины — а я думаю, она согласится,— вы увидите, что она оставит рыбью косточку на тарелке. Попросите ее высушить эту косточку, натереть ее и полировать, пока она не заблестит, словно перламутр, а потом пусть бережет ее как подарок от меня.

— Это все? — спросил король.

— Потерпите немножко, сэр,— строго заметила ему фея Грандмарина.— Не прерывайте других, пока они не кончат говорить. И что это за привычка у вас, взрослых,— вечно вы всех прерываете.

Король опять повесил голову и сказал, что больше не будет.

— Так будьте паинькой и не делайте этого,— сказала фея Грандмарина,— передайте от меня привет принцессе Алисе и скажите ей, что рыбья косточка — волшебный дар, которым можно воспользоваться только один раз; но в этот единственный раз косточка даст принцессе все, чего она пожелает, *если только она пожелает этого вовремя.* Вот мой завет. Не позабудьте его.

Король хотел было спросить: «А можно узнать почему...», но фея пришла в полную ярость.

— Будете вы паинькой или нет, сэр?! — вскричала она, топнув ногой.— Почему да почему! Вечно вы хотите знать почему... Потому! Вот вам! Получили? Надоели мне ваши взрослые «почему»!

Старушка до того рассвирепела, что король страшно испугался и сказал, что если он обидел ее, то очень раскаивается и никогда больше не будет спрашивать «почему».

— Так будьте паинькой и не делайте этого! — сказала старушка.

Тут Грандмарина исчезла, а король ушел и все шел и шел, пока не дошел до своей конторы. Там он все писал, писал и писал, пока не настало время идти домой. Дома он, по приказу феи, вежливо попросил принцессу Алису отведать лососины. А когда принцесса с большим удовольствием скушала лососину, он, как и предсказывала фея, увидел на тарелке рыбью косточку и передал дочке завет феи, а принцесса Алиса заботливо высушила косточку, натерла ее и отполировала так, что она заблестела, словно перламутр.

И вот наутро королева уже собиралась встать с постели, как вдруг сказала:

— Ох, горе мне, горе! Ох! Голова моя, голова! — и упала в обморок.

В это время принцесса Алиса заглянула в дверь спальни спросить насчет завтрака, но, увидев свою царственную маму в таком состоянии, сильно встревожилась и позвонила в колокольчик, чтобы вызвать Пегги — так звали лорда-камергера. Но тут она вспомнила, где стоит флакон с нюхательной солью, влезла на стул и достала флакон; а потом влезла на другой стул, у кровати, и дала королеве понюхать этот флакон; а потом соскочила на пол и принесла воды; а потом опять вскочила на стул и намочила лоб королеве; коротко говоря, когда лорд-камергер пришла, она — такая милая старушка — сказала маленькой принцессе:

— Какая проворная! Все сделала не хуже меня самой!

Но это еще не самое худшее, что́ случилось с доброй королевой. О нет! Она тяжко и очень долго болела. Все это время принцесса Алиса всегда старалась угомонить всех семнадцать человек маленьких принцев и принцесс, одевала и раздевала их, нянчила ребеночка, кипятила воду в чайнике, разогревала суп, выметала камин, капала лекарство, ухаживала за королевой, вообще делала все, что могла, и была так занята, так занята, так занята, как

только можно — ведь во дворце было не очень много слуг по трем причинам: потому, что у короля не хватало денег, потому, что его не собирались повысить по службе, и потому, что до дня следующей квартальной получки было так далеко, что он казался почти таким же далеким и маленьким, как любая звезда.

Но в то утро, когда королева упала в обморок, где же была волшебная рыбья косточка? Да в кармане у принцессы Алисы! Принцесса уже вынула ее, чтобы привести в чувство королеву, но потом положила на место и начала искать флакон с нюхательной солью.

Когда в то утро королева пришла в себя и задремала, принцесса Алиса спешно побежала наверх рассказать одну особенную тайну одной своей особенно задушевной подруге — герцогине. Люди думали, что это кукла, но на самом деле она была герцогиня, хотя никто, кроме принцессы, об этом не знал.

Эта особенная тайна была тайной волшебной рыбьей косточки, и герцогиня отлично ее знала, потому что принцесса все ей рассказывала. Принцесса стала на колени перед кроватью, на которой, широко раскрыв глаза, лежала герцогиня в парадном туалете, и шепотом открыла ей тайну. Герцогиня улыбнулась и кивнула. Конечно, люди могут подумать, что она никогда не улыбалась и не кивала; но она часто это делала, только никто, кроме принцессы, про это не знал.

Затем принцесса Алиса бегом сбежала вниз, чтобы опять дежурить в комнате королевы. Она часто дежурила в комнате королевы совсем одна; но пока королева хворала, принцесса каждый вечер дежурила вместе с королем. И каждый вечер король сурово смотрел на принцессу, удивляясь, почему она не вынимает волшебной рыбьей косточки. Всякий раз как принцесса Алиса замечала это, она бежала наверх, чтобы еще раз шепотом рассказать про тайну герцогине; а еще она говорила герцогине: «Они думают, что мы, дети, все делаем без толку, по-дурацки!» А герцогиня, хоть она была самой великосветской герцогиней на свете, подмигивала ей.

— Алиса! — сказал король как-то вечером, после того как принцесса пожелала ему спокойной ночи.

— Что, папа?

— Куда девалась волшебная рыбья косточка?
— Она у меня в кармане, папа.
— А я думал, ты ее потеряла.
— Конечно нет, папа!
— Или позабыла о ней.
— Вовсе нет, папа!

А в другой раз страшный маленький кусака-мопс из соседней квартиры бросился на одного юного принца, когда тот, вернувшись домой из школы, стоял на крыльце, и напугал его до полусмерти, а принц ткнул рукой в оконное стекло, и вот из руки у него потекла кровь, и все текла, и текла, и текла. Тут семнадцать человек маленьких принцев и принцесс увидели, как из него течет кровь, и все течет, и течет, и течет, и сами тоже испугались до полусмерти и раскричались так, что все их семнадцать рожиц посинели сразу. Но принцесса Алиса закрыла рукой все их семнадцать ротиков, один за другим, и уговорила сестриц и братцев вести себя потише, чтобы не беспокоить больную королеву. А потом она сунула раненую руку принца в таз со свежей холодной водой и, в то время как принцы и принцессы таращили на него свои дважды семнадцать — тридцать четыре (запишем четыре, три в уме) глаза, принцесса Алиса осмотрела руку, чтобы узнать, не осталось ли в ней осколков стекла; но, к счастью, осколков не осталось. Тогда она сказала двум толстоногим принцам, маленьким, но крепким:

— Принесите мне королевский мешок с лоскутками: мне нужно шить и кроить, резать и прилаживать.

И вот оба маленьких принца схватили королевский мешок с лоскутками и притащили его, а принцесса Алиса села на пол, взяла большие ножницы, нитку с иголкой и принялась шить и кроить, резать и прилаживать; потом сделала бинт, перевязала руку принцу, и перевязка держалась замечательно; а когда все было сделано, она увидела, что ее папа, король, заглядывает в дверь.

— Алиса!
— Да, папа?
— Что ты тут делала?
— Шила, кроила, резала и прилаживала, папа.
— Где волшебная рыбья косточка?
— У меня в кармане, папа.

— А я думал, ты ее потеряла.
— Конечно нет, папа!
— Или позабыла о ней.
— Вовсе нет, папа!

Потом принцесса Алиса побежала наверх к герцогине и рассказала ей о том, что произошло, и снова рассказала ей про тайну, а герцогиня тряхнула льняными локонами и улыбнулась розовыми губками.

Так! А в другой раз ребеночек упал за каминную решетку. Все семнадцать человек маленьких принцев и принцесс уже привыкли к таким неприятностям, потому что сами они постоянно падали за каминную решетку или с лестницы, но ребеночек еще не успел привыкнуть,— личико у него распухло, а под глазом появился синяк. Бедный малыш упал потому, что он скатился с колен принцессы Алисы, когда она в большом жестком переднике (в котором прямо задыхалась, такой он был тесный), сидела перед огнем в кухне и чистила репу на суп к обеду; а делала она это потому, что королевская кухарка сбежала в то утро со своим верным возлюбленным — очень рослым, но очень пьяным солдатом. Тогда все семнадцать человек маленьких принцев и принцесс, которые вечно плакали, что бы ни случилось, принялись плакать и рыдать. Но принцесса Алиса (она сама не могла удержаться, чтобы не поплакать немножко) спокойно попросила их угомониться, чтобы королеве, которая быстро поправлялась, не пришлось опять переселяться наверх, а потом сказала им:

— Молчите вы, несносные обезьянки, пока я буду осматривать малыша!

Затем она осмотрела ребеночка и увидела, что он ничего себе не сломал. Тогда она приложила холодное железо к его бедному милому глазику и погладила его бедное милое личико, и вскоре он заснул у нее на руках.

И вот она сказала всем семнадцати принцам и принцессам:

— Боюсь, что если я его сейчас уложу, он проснется и у него опять что-нибудь заболит; так уж будьте паиньками, и все вы станете поварами.

Услышав это, они запрыгали от радости и принялись мастерить себе поварские колпаки из старых газет. Тогда

она одному дала солонку, другому ячневую крупу, третьему зелень, четвертому репу, тому морковь, этому лук, тому коробку с пряностями, и все они сделались поварами и хлопотливо забегали туда-сюда, а принцесса Алиса сидела посредине, задыхаясь в большом жестком переднике, и нянчила ребеночка. Вскоре суп сварился, а ребеночек проснулся, улыбаясь, как ангел, и его отдали подержать самой смирной из принцесс, а всех остальных принцев и принцесс запихнули в дальний угол, чтобы они только издали смотрели, как принцесса Алиса будет выливать суп из кастрюли в суповую миску: иначе они, чего доброго, обварились бы или ошпарились — ведь они вечно попадали в беду.

Но вот суп стал выливаться в миску, окутанный большими клубами пара и душистый, словно букет из вкусных цветов, и все захлопали в ладоши. Малыш, глядя на них, тоже захлопал в ладошки и так потешно скорчил свою опухшую рожицу, как будто у него болели зубки, а все принцы и принцессы расхохотались. Тут принцесса Алиса сказала:

— Смейтесь и будьте паиньками, а после обеда мы сделаем ему гнездышко на полу, в уголке, и он будет сидеть в гнездышке и смотреть, как танцуют восемнадцать поваров.

Маленькие принцы и принцессы пришли в восторг, съели весь суп, вымыли все тарелки и блюда, убрали всю посуду, сдвинули стол в угол, а потом все они в своих поварских колпаках, а принцесса Алиса в тесном жестком переднике (принадлежавшем кухарке, которая сбежала со своим верным возлюбленным — очень рослым, но очень пьяным солдатом), протанцевали танец восемнадцати поваров перед прелестным, как ангел, ребеночком, а тот, позабыв о своем распухшем личике и синяке под глазом, крякал в упоении.

И вот принцесса Алиса опять увидела, что отец ее, король Уоткинз Первый, стоит в дверях и говорит:

— Что ты делала, Алиса?

— Стряпала и улаживала, папа.

— А еще что ты делала, Алиса?

— Развлекала детей, папа.

— Где волшебная рыбья косточка, Алиса?

— У меня в кармане, папа.

— А я думал, ты ее потеряла.

— Конечно нет, папа!

— Или позабыла о ней.

— Вовсе нет, папа!

Тогда король вздохнул так тяжело и, должно быть, так огорчился и сел так грустно, опустив голову на руку и облокотившись о кухонный стол, сдвинутый в угол, что все семнадцать принцев и принцесс тихонько выскользнули из кухни и оставили его одного с принцессой Алисой и прелестным, как ангел, ребеночком.

— Что с вами, папа?

— Я страшно беден, дитя мое.

— Разве у вас совсем нет денег, папа?

— Никаких денег, дитя мое.

— Разве их нельзя как-нибудь достать, папа?

— Никак. Я очень старался, все на свете перепробовал,— ответил король.

Услышав эти слова, принцесса Алиса сунула руку в тот карман, где у нее лежала рыбья косточка.

— Папа,— сказала она,— если мы очень старались и все на свете перепробовали, значит мы сделали решительно все, что было в наших силах?

— Без сомнения, Алиса.

— Но если мы сделали все, решительно все, что было в наших силах, папа, и этого оказалось недостаточно, тогда, мне кажется, пора нам просить помощи у других.

Это и было тайной волшебной рыбьей косточки, и принцесса Алиса сама угадала эту тайну в словах доброй феи Грандмарины, и про нее-то она и шептала так часто своей прекрасной и великосветской подруге — герцогине.

И вот принцесса Алиса вынула из кармана волшебную рыбью косточку, которую сушила, натирала и полировала, пока она не заблестела, словно перламутр, поцеловала ее и пожелала, чтобы день квартальной получки жалованья был сегодня. Сейчас же так и случилось: квартальное жалованье короля загремело в трубе и высыпалось на середину комнаты.

Но это еще не половина — нет, это еще меньше четверти всего того, что́ произошло,— ведь сразу же после

этого добрая фея Грандмарина приехала в карете, запряженной четверней (павлинов), с мальчиком мистера Пиклза на запятках, разодетым в серебро и золото, в треугольной шляпе, в пудреном парике, в розовых шелковых чулках, с тростью, украшенной драгоценными камнями, и букетом цветов. Мальчик мистера Пиклза спрыгнул на пол, снял треуголку и необыкновенно вежливо (ведь он совершенно изменился по волшебству) помог Грандмарине выйти из кареты; и вот она вышла в богатом платье из шелка, переливающегося разными цветами, благоухая сушеной лавандой и обмахиваясь сверкающим веером.

— Алиса, милая моя,— сказала прелестная старая фея,— здравствуй! Надеюсь, ты здорова? Поцелуй меня.

Принцесса Алиса обняла ее, а Грандмарина повернулась к королю и спросила довольно резко:

— Вы паинька?

Король сказал, что, пожалуй, да.

— Надеюсь, вы теперь понимаете, почему моя крестница,— тут фея снова поцеловала принцессу,— не обратилась к рыбьей косточке раньше? — спросила фея.

Король застенчиво поклонился.

— Так! Но в то время вы этого не знали? — спросила фея.

Король поклонился еще более застенчиво.

— А вы будете снова спрашивать «почему»? — спросила фея.

Король ответил, что «нет» и что он очень раскаивается.

— Так будьте же паинькой и живите счастливо веки вечные,— сказала фея.

Тут Грандмарина махнула веером, и вошла королева в роскошном наряде, а все семнадцать маленьких принцев и принцесс вошли теперь уже не в тех платьях, из которых они выросли, а с ног до головы во всем новеньком, и все на них было сшито на рост, со складками, чтобы потом можно было выпустить из запаса. Затем фея хлопнула веером принцессу Алису, и тесный жесткий передник слетел с нее, и она оказалась одетой в чудесное платье — словно маленькая невеста — с венком из флердоранжа на голове и в серебряной фате. Потом кухонный шкаф превратился в гардероб из красивого дерева с золотом и с зеркалом, и он был набит всевозможными наря-

дами,— все они были для принцессы Алисы, и все отлично на ней сидели. Потом в комнату вбежал прелестный, как ангел, ребеночек,— сам, на своих ножках,— причем личико и глаз у него теперь были ничуть не хуже прежнего, а даже гораздо лучше. Тогда Грандмарина пожелала познакомиться с герцогиней, и когда герцогиню принесли вниз, они обменялись множеством комплиментов.

Фея и герцогиня немного пошептались, а потом фея проговорила:

— Да, я так и думала, что она вам сказала.

Тут Грандмарина повернулась к королю и королеве и объявила:

— Мы поедем искать принца Одинчелове́кио. Приглашаю вас прийти в церковь ровно через полчаса.

И вот она села в карету вместе с принцессой Алисой, а мальчик мистера Пиклза посадил туда герцогиню, и она сидела на переднем сиденье, а потом мальчик мистера Пиклза закинул подножку, влез на запятки, и павлины улетели, распустив хвосты.

Принц Одинчеловекио сидел один-одинешенек, кушал ячменный сахар и все ждал, когда ему стукнет девяносто лет. Когда же он увидел, что павлины, а за ними карета влетают в окно, он сразу подумал, что сейчас случится что-то необыкновенное.

— Принц, я привезла вам вашу невесту,— сказала Грандмарина.

Как только фея произнесла эти слова, лицо у принца Одинчеловекио перестало быть липким, куртка и плисовые штаны превратились в бархатный костюм персикового цвета, волосы закурчавились, а шапочка с пером прилетела, как птичка, и опустилась ему на голову. По приглашению феи он сел в карету и тут возобновил свое знакомство с герцогиней, с которой встречался раньше.

В церкви были родственники и друзья принца, а также родственники и друзья принцессы Алисы, семнадцать человек принцев и принцесс, ребеночек и толпа соседей. Свадьба была невыразимо великолепная. Герцогиня была подружкой и смотрела на всю церемонию с кафедры, опираясь на подушечку.

Затем Грандмарина устроила роскошный свадебный пир, на котором подавались всевозможные кушанья и все-

возможные напитки. Свадебный торт был изящно украшен белыми атласными лентами, серебряной мишурой и белыми лилиями, и он имел сорок два ярда в окружности.

Когда Грандмарина выпила за здоровье молодых, а принц Одинчеловекио произнес речь и все прокричали: «Хип-хип-хип, ура!» — Грандмарина объявила королю и королеве, что впредь в каждом году будет по восьми дней квартальной получки жалованья, а в високосном году таких дней будет десять. Потом она повернулась к Одинчеловекио и Алисе и сказала:

— Дорогие мои, у вас родится тридцать пять человек детей, и все они будут послушные и красивые. У вас будет семнадцать мальчиков и восемнадцать девочек. Волосы у всех ваших детей будут кудрявые. Дети никогда не будут болеть корью и вылечатся от коклюша еще до своего рождения.

Услышав такие радостные вести, все снова прокричали:

— Хип-хип-хип, ура!

— Остается только покончить с рыбьей косточкой,— сказала в заключение Грандмарина.

И вот она взяла рыбью косточку у принцессы Алисы, и косточка немедленно влетела в горло страшному маленькому мопсу-кусаке из соседней квартиры, и тот подавился и умер в судорогах.

## ЧАСТЬ III

### *Роман. Сочинение подполковника Робина Редфорта*[1]

Герой нашего рассказа посвятил себя ремеслу пирата в сравнительно раннем возрасте. Мы знаем, что он стал командиром великолепной шхуны с сотней заряженных до самого жерла пушек гораздо раньше, чем пригласил гостей, чтобы отпраздновать свой десятый день рождения.

---

[1] Девяти лет. *(Прим. автора.)*

Говорят, что наш герой, считая себя оскорбленным одним учителем латинского языка, потребовал удовлетворения, которое всякий человек чести обязан дать другому человеку чести. Не получив этого удовлетворения, он, гордый духом, тайно покинул столь низменное общество, купил подержанный карманный пистолет, сунул в бумажный кулек несколько сандвичей, приготовил бутылку испанской лакричной воды и вступил на поприще доблести.

Пожалуй, скучно было бы следить за Смельчаком (так звали нашего героя) в начале его жизненного пути. Достаточно будет сказать, что мы видим, как он, уже в чине капитана Смельчака, одетый в парадную форму, полулежит на малиновом каминном коврике, разостланном на шканцах его шхуны «Красавица», которая плывет по Китайским морям. Вечер прекрасный. Команда лежит вокруг своего капитана, и он поет ей следующую песню:

Эх, кто на суше, тот дурак!
Эх, пират, он весельчак!
Эх, тати-тати-та-так!
Так!

Хор: Наддай!

Простые матросы все вместе подхватили песню своими грубыми голосами в лад с сочным голосом Смельчака, и эти веселые звуки оказали на всех успокоительное действие, которое легче представить себе, нежели описать.

Тут вахтенный на топе мачты крикнул:

— Киты!

Теперь все пришло в движение.

— Где именно? — крикнул капитан Смельчак, вскочив на ноги.

— С носовой части по левому борту, сэр — ответил человек на топе мачты, притронувшись к шляпе.

Так высоко стояла дисциплина на борту «Красавицы», что даже сидя на таком высоком месте, матрос должен был соблюдать ее под страхом, что его казнят выстрелом в голову.

— Этот подвиг совершу я! — сказал капитан Смельчак.— Юнга, мой гарпун! С собой не беру никого.— И, прыгнув в свою шлюпку, капитан, направляясь к чудовищу, стал грести с замечательной ловкостью.

Теперь все пришло в возбуждение.

— Плывет к киту! — сказал один пожилой моряк, следя за капитаном в подзорную трубу.

— Разит его! — сказал другой моряк, совсем еще мальчик, но тоже с подзорной трубой.

— Тащит к нам! — сказал третий моряк, мужчина во цвете лет, но тоже с подзорной трубой.

И правда, уже видно было, что капитан приближается к шхуне и тащит за собой огромную тушу. Мы не будем останавливаться на оглушительных криках «Смельчак! Смельчак!», которыми встретили капитана, когда он, небрежно вскочив на шканцы, преподнес добычу своим матросам. Впоследствии они продали кита за две тысячи четыреста семнадцать фунтов стерлингов десять шиллингов и шесть пенсов.

Приказав поднять паруса, капитан теперь взял курс на вест-норд-вест. «Красавица» скорее летела, чем плыла по темно-голубым волнам. В течение двух недель ничего особенного не произошло, если не считать того, что после жестокой резни захватили четыре испанских галеона * и бриг из Южной Америки,— все с богатым грузом. Но вот безделье начало сказываться на духе команды. Капитан Смельчак созвал всех на корму и сказал:

— Ребята, я слышал, что среди вас есть недовольные. Пусть они выступят вперед!

Поднялся ропот и послышались глухие выкрики: «Есть, капитан!», «британский флаг», «стоп», «правый борт», «левый борт», «бушприт» — и тому подобные проявления тайного мятежного духа. Потом Уилл Запивоха, шкипер с фор-марса, вышел из толпы. Это был великан, но под взглядом капитана он дрогнул.

— Чем ты недоволен? — спросил капитан.

— Да что там, знаете ли, капитан Смельчак,— ответил громадный морской волк,— я много лет плавал на кораблях — и мальчиком и мужчиной,— но в жизни не видывал, чтобы команде подавалось к чаю такое кислое молоко, как на борту вашего судна.

В эту минуту пронзительный крик «человек за бортом!» возвестил удивленной команде, что Запивоха (который отшатнулся, когда капитан просто по рассеянности взялся за свой верный карманный пистолет, торчавший за

кушаком), оказывается, потерял равновесие и теперь борется с пенистыми волнами.

Теперь все пришли в изумление.

Но сбросить мундир, невзирая на различные роскошные ордена, которыми он был украшен, и нырнуть в море вслед за утопающим великаном было для капитана Смельчака делом одной секунды. Безумно было всеобщее возбуждение, когда спустили шлюпки; велика была всеобщая радость при виде капитана, державшего в зубах утопающего; оглушительны были восторженные крики, когда обоих втащили на верхнюю палубу «Красавицы». И с той минуты, как капитан Смельчак переменил свое мокрое платье на сухое, не было у него более преданного, хоть и смиренного друга, чем Уильям Запивоха.

Тут Смельчак показал пальцем на горизонт и обратил внимание своей команды на тонкие мачты и реи одного корабля, стоящего в гавани под защитой крепостных пушек.

— Он будет нашим на восходе солнца,— сказал Смельчак.— Выдайте двойную порцию грога и приготовьтесь к сражению.

Теперь все принялись за приготовления.

Когда после бессонной ночи настал рассвет, оказалось, что неизвестный корабль выходит под всеми парусами из гавани и вызывает на бой. Когда же оба судна подошли друг к другу поближе, незнакомый корабль выстрелил из пушки и поднял римский флаг. Смельчак понял, что это барк учителя латинского языка. Так оно и было. Барк без толку слонялся по свету с того времени, как его владелец стал вести бродячую жизнь.

Тут Смельчак обратился с речью к своим матросам, обещая взорвать их на воздух, если он убедится, что их репутация этого требует, а затем отдал приказ взять учителя-латиниста в плен живым. Потом он отправил всех по местам, и бой начался бортовым залпом с «Красавицы». Затем она повернулась и дала залп с другого борта. «Скорпион» (так назывался — и это очень подходящее название! — барк учителя латинского языка) не замедлил дать ответный залп, и последовала ужасающая канонада, во время которой пушки «Красавицы» произвели сокрушительный разгром.

Уже видно было, как учитель латинского языка стоит на корме среди дыма и пламени и ободряет свою команду. Надо отдать ему справедливость, он был не трус, хотя его белая шляпа, короткие серые штаны и длинный до пят сюртук табачного цвета (тот самый сюртук, в котором он оскорбил Смельчака) представляли самый неблагоприятный контраст с блестящим мундиром нашего капитана. В этот миг Смельчак схватил пику и, став во главе своей команды, отдал приказ пойти на абордаж.

Ожесточенная схватка произошла среди плетеных подвесных коек или где-то в той стороне; но вот учитель-латинист, увидев, что все его мачты рухнули, корпус и снасти его судна прострелены, а Смельчак с боем пробивает себе дорогу к нему, латинисту, сам спустил свой флаг, отдал Смельчаку свою саблю и запросил пощады. Не успели его посадить в капитанскую шлюпку, как «Скорпион» пошел ко дну со всей командой.

Теперь капитан Смельчак созвал своих матросов, но тут произошло одно событие. Капитан нашел нужным казнить кока одним ударом кортика, потому что кок, потерявший в этом сражении родного брата, пришел в ярость и бросался на учителя с кухонным ножом.

Потом капитан Смельчак обратился с речью к учителю-латинисту, сурово упрекнул его в измене и спросил команду, как по ее мнению: чего заслуживает учитель, оскорбивший мальчика?

Все ответили в один голос:

— Смерти!

— Пожалуй, что так,— сказал капитан,— но пусть никто не сможет сказать, что Смельчак осквернил час своего торжества кровью врага. Приготовьте катер!

Катер немедленно приготовили.

— Я не буду лишать вас жизни,— сказал капитан учителю,— но я обязан навеки лишить вас возможности оскорблять других мальчиков. Я посажу вас в эту лодку, а вы плывите в ней по воле ветра. Вы найдете в ней два весла, компас, бутылку рома, бочонок воды, кусок свинины, мешок сухарей и мою латинскую грамматику. Ступайте, оскорбляйте туземцев, если сможете их отыскать!

Несчастный был глубоко уязвлен этой горькой насмешкой. Его посадили в катер, и вскоре он остался далеко по-

зади. Он не пытался грести, но все видели,— когда в последний раз смотрели на него в корабельные подзорные трубы,— как он лежит на спине, задрав ноги кверху.

Теперь подул свежий ветер, и капитан Смельчак отдал приказ держать курс на зюйд-зюйд-вест, но в течение ночи давал иногда небольшой отдых шхуне, отклоняясь на один или два румба к вест-весту или даже к зюйд-весту, если ей было очень тяжело. Затем он отошел ко сну, ибо поистине очень нуждался в отдыхе. Вдобавок к усталости от ратных трудов этот храбрый воин получил в бою шестнадцать ран, но никому ни слова про них не сказал.

Утром налетел внезапный шквал, а за ним последовали разные другие шквалы. Целых шесть недель ужасным образом гремел гром и сверкала молния. Затем целых два месяца бушевали ураганы. За ними последовали водяные смерчи и бури. Старейший матрос на борту — а он был очень стар — в жизни не видывал такой погоды. «Красавица» не имела понятия, где она находится, и плотник доложил, что трюм залит водой на шесть футов и два дюйма. Все до единого каждый день падали без чувств, когда откачивали воду.

Съестных припасов осталось теперь очень мало. Наш герой приказал выдавать команде уменьшенный паек, а себе самому урезал паек еще больше, чем любому из своих подчиненных. Но бодрость не давала ему худеть. В этом отчаянном положении преданность Запивохи (наши читатели, наверное, не забыли его) была поистине трогательной. Смиренный, но любящий Уильям много раз просил, чтобы его закололи и заготовили впрок для капитанского стола.

И вот мы приближаемся к поворотному пункту.

Как-то раз, когда проглянуло солнце и буря утихла, человек на топе мачты (теперь он был уже слишком слаб, чтобы притрагиваться к шляпе, к тому же ее унесло ветром) крикнул:

— Дикари!

Теперь все превратилось в ожидание.

Вскоре появились полторы тысячи челноков; в каждом из них сидело на веслах по двадцати дикарей, и прибли-

жались они в полном порядке. Они были светло-зеленого цвета (то есть дикари) и с большим воодушевлением пели следующую песню:

Жевать, жевать, жевать. Зуб!
Грызи, грызи. Мясо!
Жевать, жевать, жевать. Зуб!
Грызи, грызи. Мясо!

В тот час сгущались вечерние тени, и потому все подумали, что эти простодушные люди на свой лад поют вечерний гимн. Однако слишком скоро оказалось, что их песня — это перевод молитвы, которую читают перед обедом.

Как только вождь, великолепно украшенный громадными перьями ярких цветов и похожий на величественного боевого попугая, понял (он в совершенстве понимал английский язык), что этот корабль — «Красавица» капитана Смельчака, он рухнул ничком на палубу, и невозможно было убедить его встать, пока сам капитан не поднял его и не сказал, что не причинит ему вреда. Все остальные дикари тоже в ужасе рухнули ничком на палубу, и их тоже пришлось поднимать одного за другим. Так слава великого Смельчака летела впереди него и дошла даже до этих детей природы.

Затем дикари притащили неисчислимое количество черепах и устриц, и матросы сытно пообедали, а также наелись ямса *. После обеда вождь сказал капитану Смельчаку, что в деревне можно поесть еще лучше и что он будет рад отвезти туда капитана и его офицеров. Заподозрив предательство, Смельчак приказал команде своей шлюпки сопровождать его в полном вооружении. Не худо бы всем командирам принимать такие меры предосторожности, которые... но не будем забегать вперед.

Когда челноки пристали к берегу, ночной мрак озарился пламенем огромного костра. Приказав команде шлюпки (во главе с неграмотным, но неустрашимым Уильямом) держаться поблизости и быть начеку, Смельчак храбро пошел вперед рука об руку с вождем.

Но как описать удивление капитана, когда он увидел целый хоровод дикарей, поющих хором вышеприведенный варварский перевод предобеденной молитвы и пляшущих, взявшись за руки, вокруг учителя-латиниста, который

лежал в корзинке для провизии (с обритой головой), причем два дикаря обваливали его в муке, перед тем как изжарить!

Тут Смельчак посоветовался со своими офицерами насчет того, что́ следует предпринять. Между тем несчастный пленник не переставал просить прощения и умолять, чтобы его отпустили. По предложению великодушного Смельчака, в конце концов было решено не жарить учителя, но позволить ему остаться в сыром виде, однако при условии, что он даст два обещания, а именно:

1. Что он никогда, ни при каких обстоятельствах не будет ничему учить ни одного мальчика.

2. Что, если его отвезут в Англию, он будет всю жизнь путешествовать в поисках мальчиков, которым нужно писать письменные работы, и будет писать письменные работы для этих мальчиков задаром и никому ни слова про это не скажет.

Вынув шпагу из ножен, Смельчак приказал учителю поклясться на ее блестящем клинке, что тот выполнит эти условия. Пленник горько плакал и, как видно, глубоко осознал ошибки своей прежней деятельности.

Но вот капитан приказал команде своей шлюпки приготовиться к залпу, а выстрелив, побыстрее перезарядить ружья.

— И будьте уверены, человек двадцать или сорок из вас полетят вверх тормашками,— проворчал Уильям Запивоха,— потому что я сам в вас целюсь.

С этими словами насмешливый, но смертоносный Уильям хорошенько прицелился.

— Пли!

Звонкий голос Смельчака был заглушен громом выстрелов и воплями дикарей. Залп за залпом будили многочисленные эхо. Сотни дикарей были убиты, сотни ранены, а тысячи с воем разбежались по лесам. Учителю-латинисту одолжили лишний ночной колпак и длинный фрак, который он надел задом наперед. Он представлял смехотворное, но жалкое зрелище, и поделом ему.

Теперь мы видим, что капитан Смельчак с этим спасенным негодяем на борту держит курс на другие острова. На одном из них — где ели не людей, а свинину и овощи,— капитан женился (но только по-нарочному) на дочери

местного вождя. Здесь он некоторое время отдыхал, получая в дар от туземцев огромное количество драгоценных камней, золотого песка, слоновой кости, сандалового дерева, и страшно разбогател. Разбогател несмотря на то, что почти каждый день делал чрезвычайно дорогие подарки своим матросам.

Когда наконец на корабль погрузили столько всевозможных ценных вещей, сколько он мог вместить, Смельчак приказал сняться с якоря и повернуть нос «Красавицы» к берегам Англии. Этот приказ выполнили, прокричав троекратное «ура», и, прежде чем село солнце, неуклюжий, но проворный Уильям протанцевал на палубе множество матросских танцев.

А затем мы видим, что капитан Смельчак находится примерно в трех милях от Мадейры и следит в подзорную трубу за каким-то подозрительным незнакомым кораблем, который приближается к шхуне. Капитан выстрелил из пушки, приказывая кораблю остановиться, а на корабле подняли флаг, и Смельчак тотчас же узнал, что это флаг, висевший на шесте в саду позади его отчего дома.

Заключив из этого, что отец его отправился в море на поиски своего пропавшего без вести сына, капитан послал свою собственную шлюпку к незнакомому кораблю разузнать, так ли это, и если так, то имеет ли отец вполне благородные намерения. Шлюпка вернулась с подарком, состоявшим из зелени и свежего мяса, и доложила, что незнакомый корабль — это «Родня», водоизмещением в тысячу двести тонн, а на борту его не только отец капитана, но и мать, и большинство теток и дядей, а также все двоюродные братья и сестры. Смельчаку также доложили, что все его родственники ведут себя подобающим образом и жаждут обнять и отблагодарить его за то, что он оказал им честь своими славными подвигами. Смельчак тотчас же пригласил их позавтракать на борту «Красавицы» на следующее утро и приказал подготовиться к блестящему балу, который должен был длиться целый день.

В течение этой ночи капитан понял, что вернуть учителя-латиниста на путь истины — дело безнадежное. Когда оба корабля стояли рядом, этот неблагодарный изменник был уличен в том, что сигнализировал «Родне» и предлагал выдать ей Смельчака. Наутро его первым дол-

гом повесили на рее, после того как Смельчак выразительно объяснил ему, что такова судьба всех обидчиков.

Когда капитан встретился со своими родителями, они залились слезами. Его дяди и тетки тоже готовы были залиться слезами при встрече с ним, но этого он не потерпел. Его двоюродные братья и сестры были ошеломлены размерами его корабля и дисциплиной его матросов и потрясены великолепием его мундира. Он любезно водил их по всему судну и показывал все достойное внимания. А еще он выстрелил из своих ста пушек и забавлялся, глядя, как перепугались родственники.

Пир задали такой, какого никогда еще не задавали ни на одном корабле, и продолжался он от десяти часов утра до семи часов следующего утра. Произошел только один неприятный случай. Капитану Смельчаку пришлось заковать в кандалы своего двоюродного брата Тома за дерзость. Впрочем, когда мальчик попросил прощения, его гуманно отпустили на волю, продержав всего несколько часов в одиночном заключении.

Теперь Смельчак увел свою маму в большую каюту и начал расспрашивать о той молодой девице, в которую он, как все на свете знали, был влюблен. Мама ответила, что предмет его любви находится теперь в школе в Маргете и пользуется морскими купаниями (был сентябрь), но она, мама, подозревает, что друзья молодой девицы все еще противятся их браку. Смельчак тут же решил бомбардировать город, если потребуется.

С этой целью Смельчак принял команду над своим кораблем и, переправив всех, кроме бойцов, на борт «Родни», приказал этому судну держаться поблизости, а сам вскоре бросил якорь на маргетском рейде. Тут, вооруженный до зубов, он сошел на берег в сопровождении команды своей шлюпки (во главе с верным, хоть и свирепым Уильямом) и потребовал свидания с мэром. Тот вышел из своего кабинета.

— Ты знаешь, мэр, как зовут этот корабль? — в ярости спросил Смельчак.

— Нет,— ответил мэр, протирая глаза, которым он едва смог поверить, когда увидел чудесный корабль, стоявший на якоре.

— Его зовут «Красавица»,— сказал капитан.

— Ха! — воскликнул мэр, вздрогнув.— Так, значит, вы капитан Смельчак?

— Он самый.

Наступило молчание. Мэр затрепетал.

— Ну, мэр, выбирай! — сказал капитан.— Веди меня к моей невесте, а не то я тебя бомбардирую!

Мэр попросил два часа отсрочки, чтобы навести справки о молодой девице. Смельчак дал ему только один час и приставил к нему на этот час сторожем Уильяма Запивоху с саблей наголо, которому приказал сопровождать мэра, куда бы тот ни пошел, и проколоть его насквозь, если он будет заподозрен в обмане.

Через час мэр вернулся ни живой ни мертвый, а за ним по пятам шел Запивоха, совсем живой и отнюдь не мертвый.

— Капитан,— сказал мэр,— я установил, что молодая девица собирается идти купаться. Уже сейчас она ждет своей очереди получить купальную будку. Прилив еще низкий, но поднимается. Если я сяду в нашу городскую лодку, я не вызову подозрений. Когда молодая девица в купальном костюме войдет в мелкую воду из-под навеса будки, моя лодка станет ей поперек дороги и помешает вернуться на берег. Остальное — ваше дело.

— Мэр, ты спас свой город,— отозвался капитан Смельчак.

Тут капитан дал сигнал своей шлюпке приехать за ним, сам сел за руль, а команде приказал грести к пляжу и там остановиться. Все произошло так, как было условлено. Его очаровательная невеста вошла в воду, мэр в лодке проскользнул позади нее, а она смутилась и поплыла на глубокое место, но вдруг... один ловкий поворот руля и один резкий удар веслами на шлюпке, и вот обожающий Смельчак уже обхватил свою возлюбленную сильными руками. Тут ее вопли ужаса перешли в крики радости.

«Красавица» еще не успела подойти к берегу, а в городе и гавани уже взвились все флаги, зазвонили все колокола, и храбрый Смельчак понял, что ему нечего бояться. Поэтому он решил жениться тут же на месте и дал сигнал на берег, вызывая к себе священника и клерка, которые быстро прибыли на парусной лодке «Жаворонок».

На борту «Красавицы» снова задали большой пир, в разгаре которого мэра вызвал курьер. Мэр вернулся с известием, что правительство прислало узнать, не согласится ли капитан Смельчак, чтобы в награду за великие услуги, оказанные им родине в качестве пирата, ему пожаловали чин подполковника. Капитан с презрением отверг бы эту нестоящую милость, но его молодая супруга пожелала, чтобы он согласился, и он дал согласие.

Одно лишь событие произошло, прежде чем славное судно «Родню» отпустили восвояси, одарив богатыми подарками всех на борту. Неприятно рассказывать (но таковы характеры некоторых двоюродных братьев), что Том, неучтивый двоюродный брат капитана Смельчака, был уже связан и ему собирались дать три дюжины ударов плетью за «нахальство и подшучиванье», но супруга капитана Смельчака похлопотала за него, и его пощадили. Затем «Красавицу» снарядили заново, и капитан вместе с молодой женой отплыли в Индийский океан, чтобы там наслаждаться счастьем веки вечные.

## ЧАСТЬ IV

### *Роман. Сочинение мисс Нетти Эшфорд* [1]

Есть такая страна, которую я вам покажу, когда научусь понимать географические карты, и где дети всё делают по-своему. Жить в этой стране ужасно приятно. Взрослые обязаны слушаться детей, и им никогда не позволяют досиживать до ужина, кроме как в день их рождения. Дети заставляют взрослых варить варенье, делать желе, мармелад, торты, паштеты, пудинги и всевозможное печенье. Если же они не хотят, их ставят в угол, пока не послушаются. Иногда им позволяют чего-нибудь попробовать; но когда они чего-нибудь попробуют, им потом всякий раз приходится давать порошки.

Одна из жительниц этой страны, миссис Апельсин, очень милая молодая женщина, к несчастью, сильно стра-

[1] Шести с половиной лет. *(Прим. автора.)*

дала от своей многочисленной родни. Ей все время надо было присматривать за своими родителями, а у них были родственники и друзья, которые то и дело выкидывали всякие штуки. И вот миссис Апельсин сказала себе: «Я, право, не могу больше так изводиться с этими мучителями; надо мне всех их отдать в школу».

Миссис Апельсин сняла передник, оделась очень мило, взяла своего грудного ребеночка и пошла с визитом к другой даме, миссис Лимон, содержавшей приготовительную школу. Миссис Апельсин стала на скребок для очистки сапог, чтобы дотянуться до звонка, и позвонила — «рин-тин-тин».

Опрятная маленькая горничная миссис Лимон побежала по коридору, подтягивая свои носки, и вышла на звонок — «рин-тин-тин».

— Доброе утро,— сказала миссис Апельсин.— Сегодня прекрасная погода. Как поживаете? Миссис Лимон дома?

— Да, сударыня.

— Передайте ей, что пришла миссис Апельсин с ребенком.

— Слушаю, сударыня. Войдите.

Ребеночек у миссис Апельсин был очень красивый и весь из настоящего воска. А ребенок миссис Лимон был из кожи и отрубей. Но когда миссис Лимон вышла в гостиную со своим ребенком на руках, миссис Апельсин вежливо сказала:

— Доброе утро. Сегодня прекрасная погода. Как вы поживаете? А как поживает маленькая Пискунья?

— Она плохо себя чувствует. У нее зубки прорезываются, сударыня,— ответила миссис Лимон.

— О! В самом деле, сударыня? — сказала миссис Апельсин.— Надеюсь, у нее не бывает родимчиков?

— Нет, сударыня.

— Сколько у нее зубок, сударыня?

— Пять, сударыня.

— У моей Эмилии восемь, сударыня,— сказала миссис Апельсин.— Не положить ли нам своих деток рядышком на каминную полку, пока мы будем разговаривать?

— Очень хорошо, сударыня,— сказала миссис Лимон.— Хм!

— Мой первый вопрос, сударыня: я вам не докучаю? — спросила миссис Апельсин.

— Нисколько, сударыня! Вовсе нет, уверяю вас,— ответила миссис Лимон.

— Тогда скажите мне, пожалуйста, у вас есть... у вас есть свободные вакансии? — спросила миссис Апельсин.

— Да, сударыня. Сколько вакансий вам нужно?

— По правде говоря, сударыня,— сказала миссис Апельсин,— я пришла к заключению, что мои дети,— (ох, я и забыла сказать, что в этой стране всех взрослых называют детьми!),— что мои дети мне прямо до смерти надоели. Дайте подумать. Двое родителей, двое их близких друзей, один крестный отец, две крестных матери и одна тетя. Найдется у вас восемь свободных вакансий?

— У меня их как раз восемь, сударыня,— ответила миссис Лимон.

— Какая удача! Условия умеренные, я полагаю?

— Весьма умеренные, сударыня.

— Питание хорошее, надеюсь?

— Превосходное, сударыня.

— Неограниченное?

— Неограниченное.

— Очень приятно! Телесные наказания применяются?

— Как вам сказать... Иногда приходится встряхнуть кого-нибудь,— сказала миссис Лимон,— бывает, что и шлепнешь. Но лишь в исключительных случаях.

— Нельзя ли мне, сударыня, осмотреть ваше заведение? — спросила миссис Апельсин.

— С величайшим удовольствием покажу вам, сударыня,— ответила миссис Лимон.

Миссис Лимон повела миссис Апельсин в класс, где сидело много воспитанников.

— Встаньте, дети,— сказала миссис Лимон, и все встали.

Миссис Апельсин прошептала миссис Лимон:

— Вон тот бледный лысый ребенок с рыжими бакенбардами, он, должно быть, наказан. Можно спросить, что он натворил?

— Подойдите сюда, Белый, и скажите этой леди, чем вы занимались,— сказала миссис Лимон.

— Играл на бегах,— хмуро ответил Белый.

— Вам грустно, что вы так плохо вели себя, непослушное дитя? — спросила миссис Лимон.

— Нет,— сказал Белый,— мне грустно проигрывать, а выиграть я не прочь.

— Вот какой противный мальчишка, сударыня! — сказала миссис Лимон.— Ступайте прочь, сэр! А вот это Коричневый, миссис Апельсин. Ох, какой он несносный ребенок, этот Коричневый! Ни в чем не знает меры. Такой прожорливый! Как ваша подагра, сэр?

— Скверно,— ответил Коричневый.

— Чего же еще ожидать? — сказала миссис Лимон.— Ведь вы едите за двоих. Сейчас же ступайте побегайте. Миссис Черная, подойдите ко мне поближе. Ну и ребенок, миссис Апельсин! Вечно она играет. Ни на один день ее не удержишь дома; вечно шляется где-то и портит себе платье. Играет, играет, играет, играет с утра до ночи и с вечера до утра. Можно ли ожидать, что она исправится?

— Я и не собираюсь,— дерзко проговорила миссис Черная.— Вовсе не хочу исправляться.

— Вот какой у нее характер, сударыня,— сказала миссис Лимон.— Поглядишь, как она носится туда-сюда, забросив все свои дела, так подумаешь, что она хотя бы добродушная. Но нет, сударыня! Это такая дерзкая, нахальная девчонка, какой вы в жизни не видывали!

— У вас с ними, должно быть, куча хлопот, сударыня? — сказала миссис Апельсин.

— Ах, еще бы, сударыня! — сказала миссис Лимон.— Ведь у них такие характеры, они так ссорятся, никогда не знают, чтó для них полезно, вечно хотят командовать... нет, избавьте меня от таких неразумных детей!

— Ну, прощайте, сударыня,— сказала миссис Апельсин.

— Ну, прощайте, сударыня,— сказала миссис Лимон.

Затем миссис Апельсин взяла своего ребеночка, отправилась домой и объявила своим детям, которые ей так досаждали, что она всех их поместит в школу. Они сказали, что не хотят ехать в школу; но она уложила их сундуки и отправила их вон из дома.

— Ох, ох, ох! Теперь отдохну и успокоюсь! — сказала миссис Апельсин, откинувшись на спинку своего крес-

лица.— Наконец-то я отделалась от этих беспокойных сорванцов, слава тебе господи!

Тут другая дама, миссис Девясил, пришла с визитом и позвонила у входной двери — «рин-тин-тин».

— Милая моя миссис Девясил,— сказала миссис Апельсин,— как поживаете? Пожалуйста, пообедайте с нами. У нас будет только вырезка из пастилы, а потом просто хлеб с патокой, но если вы не побрезгаете нашим угощением, это будет *так* любезно с вашей стороны!

— С удовольствием,— сказала миссис Девясил.— Буду очень рада. Но как вы думаете, зачем я к вам пришла, сударыня? Догадайтесь, сударыня.

— Право, не могу догадаться, сударыня,— сказала миссис Апельсин.

— Вы знаете, я нынче вечером собираюсь устроить маленькую детскую вечеринку,— сказала миссис Девясил,— и если вы с мистером Апельсином и ребеночком придете к нам, мы будем в полном составе.

— Я просто в восторге, уверяю вас! — сказала миссис Апельсин.

— Как это любезно с вашей стороны! — сказала миссис Девясил.— Надеюсь, детки вам не наскучат?

— Ах, милашки! Вовсе нет,— ответила миссис Апельсин.— Я в них души не чаю.

Тут мистер Апельсин вернулся домой из Сити, и он тоже вошел, позвонив — «рин-тин-тин».

— Джеймс, друг мой,— сказала миссис Апельсин,— у тебя усталый вид. Что сегодня делалось в Сити?

— Играли в лапту, в крикет и в мяч, дорогая, а от этого прямо из сил выбиваешься,— ответил мистер Апельсин.

— Уж это мне противное, беспокойное Сити! — сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил.— Как там утомительно, правда?

— Ах, так трудно! — сказала миссис Девясил.— Последнее время Джон спекулировал на кольцах от волчков, и я часто говорила ему по вечерам: «Джон, да стоит ли это всех трудов и усилий?»

К тому времени поспел обед, поэтому все сели за стол, и мистер Апельсин, разрезая кусок пастилы, сказал:

— Только низкая душа никогда не радуется. Джейн, спуститесь в погреб и принесите бутылку лучшего имбирного пива.

Когда пришла пора пить чай, мистер и миссис Апельсин с ребеночком и миссис Девясил отправились к миссис Девясил. Дети еще не пришли, но бальный зал для них был уже готов и разукрашен бумажными цветами.

— Какая прелесть! — сказала миссис Апельсин.— Ах, милашки! Как они обрадуются!

— А вот я детьми не интересуюсь,— сказал мистер Апельсин и зевнул.

— Даже девочками? — сказала миссис Девясил.— Полно! Девочками-то вы интересуетесь!

Мистер Апельсин покачал головой и опять зевнул.

— Все — вертихвостки и пустышки, сударыня!

— Милый Джеймс,— вскричала миссис Апельсин, оглядевшись по сторонам,— взгляни-ка сюда! Вот тут в комнате, за дверью, уже приготовлен ужин для милашек. Вот для них немножко соленой лососины, гляди! А вот для них немножко салата, немножко ростбифа, немножко курятины, немножко печенья и чуть-чуть-чуть шампанского!

— Да, сударыня,— сказала миссис Девясил,— я решила, что лучше им ужинать отдельно. А наш стол вон там в углу, и здесь джентльмены смогут выпить рюмку горячего вина с сахаром и водой и скушать сандвич с яйцом, а потом спокойно поиграть в карты и посмотреть на детей. А у нас с вами, сударыня, будет дела по горло: ведь нам придется занимать гостей.

— О, еще бы, надо думать! Дела хватит, сударыня,— сказала миссис Апельсин.

Начали собираться гости. Первым пришел толстый мальчик с седым коком и в очках. Горничная привела его и сказала:

— Приказано передать привет и спросить, в котором часу за ним прийти.

На это миссис Девясил ответила:

— Никак не позже десяти. Как поживаете, сэр? Входите и садитесь.

Потом пришло множество других детей: мальчики в одиночку, девочки в одиночку, мальчики и девочки вместе.

Они вели себя очень нехорошо. Некоторые смотрели на других в монокли и спрашивали: «Это кто такие? Я их не знаю». Некоторые смотрели на других в монокли и говорили: «Как живете?» Некоторым подавали чашки чая или кофе, и они говорили: «Благодарю, весьма!» Многие мальчики стояли столбом и теребили воротнички своих рубашек. Четыре несносных толстых мальчика упорно стояли в дверях, разговаривая про газеты, пока миссис Девясил не подошла к ним и не сказала:

— Не мешайте людям входить в комнату, милые мои, этого я никак не могу вам позволить. Если вы будете путаться под ногами, то, как ни грустно, а придется мне отправить вас домой.

Один мальчик, с бородой и в широком белом жилете, стал, широко расставив ноги, на каминном коврике и принялся греть перед огнем фалды своего фрака, так что его действительно пришлось отправить домой.

— Это в высшей степени неприлично, милый мой,— сказала миссис Девясил, выводя его из комнаты,— и я не могу этого допустить.

Заиграл детский оркестр — арфа, рожок и рояль, — а миссис Девясил вместе с миссис Апельсин засновали среди детей, уговаривая их приглашать дам и танцевать. Но дети были такие упрямые! Очень долго невозможно было убедить их, чтобы они пригласили дам и стали танцевать. Большинство мальчиков говорило: «Благодарю, весьма! Но не сейчас». А большинство других мальчиков говорило: «Благодарю, весьма! Но не танцую».

— Ох, уж эти дети! Всю душу вымотают! — сказала миссис Девясил, обращаясь к миссис Апельсин.

— Милашки! Я в них души не чаю, но они и в самом деле могут всю душу вымотать,— сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил.

В конце концов дети начали медленно и печально скользить под звуки музыки, но и тут они не желали слушаться, а упорно стремились танцевать именно с этой дамой и ни за что не хотели танцевать с той дамой, да еще сердились. И они не желали улыбаться, нет, ни за что на свете; а когда музыка умолкала, всё ходили и ходили вокруг комнаты унылыми парами, словно все остальные умерли.

— Ох, до чего же трудно занимать этих противных детей! — сказала миссис Девясил, обращаясь к миссис Апельсин.

— Я в них души не чаю, в этих милашках, но, правда, трудно,— сказала миссис Апельсин, обращаясь к миссис Девясил.

Надо сознаться, это были очень невоспитанные дети. Сначала они не желали петь, когда их просили петь; а потом, когда все уже убеждались, что они не будут петь, они пели.

— Если вы споете нам еще одну такую песню, милая,— сказала миссис Девясил высокой девочке в платье из сиреневого шелка, украшенном кружевами и с огромным вырезом на спине,— мне, как ни грустно, придется предложить вам постель и немедленно уложить вас спать!

В довершение всего девочки были одеты так нелепо, что еще до ужина платья их превратились в лохмотья. Ведь мальчики волей-неволей наступали им на шлейфы. И все-таки, когда им наступали на шлейфы, девочки опять сердились, и вид у них был такой злой, такой злой! Однако все они, видимо, обрадовались, когда миссис Девясил сказала: «Дети, ужин готов!» И они пошли ужинать, толпясь и толкаясь, словно дома за обедом ели только черствый хлеб.

— Ну, как ведут себя дети? — спросил мистер Апельсин у миссис Апельсин, когда та пошла взглянуть на своего ребеночка.

Миссис Апельсин оставила ребеночка на полке поблизости от мистера Апельсина, который играл в карты, и попросила его присмотреть за дочкой.

— Очаровательно, дорогой мой! — ответила миссис Апельсин.— Так смешно смотреть на их ребяческий флирт и ревность! Пойдем посмотрим!

— Очень благодарен, милая,— сказал мистер Апельсин,— но кто как, а я детьми не интересуюсь.

И вот, убедившись, что ребеночек в целости и сохранности, миссис Апельсин пошла одна, без мистера Апельсина, в комнату, где ужинали дети.

— Что они теперь делают? — спросила миссис Апельсин у миссис Девясил.

— Произносят речи и играют в парламент,— ответила миссис Девясил миссис Апельсин.

Услышав это, миссис Апельсин сейчас же вернулась к мистеру Апельсину и сказала:

— Милый Джеймс, пойдем! Дети играют в парламент.

— Очень благодарен, дорогая,— сказал мистер Апельсин,— но кто как, а я не интересуюсь парламентом.

Тогда миссис Апельсин снова пошла одна, без мистера Апельсина, в комнату, где ужинали дети, посмотреть, как они играют в парламент. Тут она услышала, как один мальчик закричал: «Правильно, правильно, правильно!», а другие мальчики закричали: «Нет, нет!», а другие: «Ближе к делу!», «Хорошо сказано!» и вообще всякую немыслимую чепуху. Затем один из тех несносных толстых мальчиков, которые загораживали вход, сказал гостям, что он встал на ноги (как будто они сами не видели, что он встал на ноги, а не на голову или на что-нибудь другое!), встал на ноги для того, чтобы объясниться и, с разрешения своего глубокоуважаемого друга, если тот позволит ему называть его так (другой несносный мальчик поклонился), он начнет объясняться. Затем несносный толстый мальчик начал долго бормотать без всякого выражения (и совсем непонятно) про то, что он держит в руке бокал; и про то, что он пришел нынче вечером в этот дом выполнить, он бы сказал, общественный долг; и про то, что в настоящее время он, положа руку (другую руку) на сердце, заявляет глубокоуважаемым джентльменам, что собирается открыть дверь всеобщему одобрению. Тут он открыл эту дверь словами: «За здоровье хозяйки!» — и все остальные сказали: «За здоровье хозяйки!» — а потом закричали «ура». После этого другой несносный мальчик начал что-то бормотать без всякого выражения, а после него еще несколько шумливых и глупых мальчиков забормотали все сразу. Но вот миссис Девясил сказала:

— Не могу больше выносить этот шум. Ну, дети, вы очень мило поиграли в парламент; но в конце концов и парламент может наскучить, так что пора вам перестать, потому что скоро за вами придут.

Затем потанцевали еще (причем шлейфы девочек рвались даже больше, чем до ужина), а потом за детьми начали приходить, и вам будет очень приятно узнать, что несносного толстого мальчика, который «встал на ноги», увели первым без всяких церемоний. Когда все они ушли,

бедная миссис Девясил повалилась на диван и сказала миссис Апельсин:

— Эти дети сведут меня в могилу, сударыня... Непременно сведут!

— Я просто обожаю их, сударыня,— сказала миссис Апельсин,— но они, правда, очень уж надоедают.

Мистер Апельсин надел шляпу, а миссис Апельсин надела шляпку, взяла своего ребеночка, и они отправились домой. По дороге им пришлось проходить мимо приготовительной школы миссис Лимон.

— Интересно знать, милый Джеймс,— сказала миссис Апельсин, глядя вверх на окно,— спят они теперь, наши драгоценные детки, или нет?

— Ну, я-то не особенно интересуюсь, спят они или нет,— сказал мистер Апельсин.

— Джеймс, милый!

— Ты-то ведь в них души не чаешь,— сказал мистер Апельсин.— А это большая разница.

— Не чаю! — восторженно проговорила миссис Апельсин.— Ох, просто души не чаю!

— А я нет,— сказал мистер Апельсин.

— Но вот о чем я думала, милый Джеймс,— сказала миссис Апельсин, сжимая ему руку,— может быть, наша милая, добрая, любезная миссис Лимон согласится оставить у себя детей на каникулы.

— Если ей за это заплатят, бесспорно согласится,— сказал мистер Апельсин.

— Я обожаю их, Джеймс,— сказала миссис Апельсин,— так давай заплатим ей!

Вот почему эта страна дошла до такого совершенства и жить в ней было так чудесно. Взрослых людей (как их называют в других странах) вскоре совсем перестали брать домой на каникулы, после того как мистер и миссис Апельсин не стали брать своих; а дети (как их называют в других странах) держали их в школе всю жизнь и заставляли слушаться.

*1868*

# *Объяснение Джорджа Силвермена*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Случилось это так...

Однако сейчас, когда с пером в руке я гляжу на эти слова и не могу усмотреть в них никакого намека на то, что писать далее, мне приходит в голову, не слишком ли они внезапны и непонятны. И все же, если я решусь их оставить, они могут послужить для того, чтобы показать, как трудно мне приступить к объяснению моего объяснения. Корявая фраза, и тем не менее лучше я написать не могу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Случилось это так...

Однако, перечитав эту строку и сравнив ее с моим первым вступлением, я замечаю, что повторил его без всяких изменений. Это тем более меня удивляет, что использовать эти слова я собирался в совсем иной связи. Намерением моим было отказаться от начала, которое первым пришло мне на ум и, отдав предпочтение другому, совершенно иного характера, повести объяснение от более ранних дней моей жизни. Я предприму третью попытку, не уничтожая следов второй неудачи, ибо нет у меня желания скрывать слабости как головы моей, так и сердца.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Не начиная прямо с того, как это произошло, я подойду к этому постепенно. Да так оно будет и естественнее: господь свидетель, постепенно пришел я к этому.

Родители мои влачили нищенское существование, и приютом младенчества моего был подвал в Престоне. Помню, что для детского моего слуха стук ланкаширских башмаков отца по булыжнику мостовой вверху отличался от стука всех других деревянных башмаков; помню также, с каким трепетом, когда мать спускалась в подвал, старался я разглядеть, злой или добрый вид у ее щиколоток, ...у ее колен... у талии... пока наконец не показывалось ее лицо и вопрос не разрешался сам собой. Из этого следует, что я был робок, что лестница, ведущая в подвал, была крутой, а дверная притолока очень низкой.

Железные тиски бедности наложили неизгладимый отпечаток на лицо моей матери, на ее фигуру, не пощадив и ее голоса. Злобные, визгливые слова выдавливались из нее, словно из кожаного кисета, стиснутого костлявыми пальцами; когда она бранилась, ее взгляд блуждал по подвалу — взгляд измученный и голодный. Отец, сутулясь, сидел на колченогом табурете и молча смотрел в пустой очаг, пока она не выдергивала из-под него табурет, требуя, чтобы он пошел раздобыть денег. Тогда он уныло взбирался по лестнице, а я, придерживая рукой (других подтяжек у меня не было) рваную рубашонку и штаны, принимался бегать по подвалу, увертываясь от матери, норовившей вцепиться мне в волосы.

Своекорыстный дьяволенок — так чаще всего называла меня мать. Плакал ли я оттого, что кругом было темно, или оттого, что я замерзал, или оттого, что меня мучил голод, забирался ли я в теплый уголок, когда в очаге горел огонь, или набрасывался на еду, когда находилось что поесть,— она каждый раз повторяла: «Ах ты своекорыстный дьяволенок!» А горше всего было сознавать, что я и в самом деле своекорыстный дьяволенок. Своекорыстный, потому что нуждался в тепле и крове, своекорыстный, потому что нуждался в пище, своекорыстный, потому что за-

вистливо и жадно сравнивал про себя, какая доля этих благ, в тех редких случаях, когда судьба ниспосылала их нам, доставалась мне, а какая — отцу и матери.

Порой они оба уходили искать работы, а меня на день-два запирали в подвале одного. И тогда, полностью отдаваясь своекорыстию, я мечтал о том, чтобы иметь всего в изобилии (кроме горя и нищеты), и о том, чтобы поскорее умер отец моей матери, бирмингемский фабрикант машин,— я слышал, как она говорила, что после его смерти унаследует целую улицу домов, «если только ей удастся добиться своих прав». И я, своекорыстный дьяволенок, стоял, задумчиво расковыривая замерзшими босыми ногами щели между разбитыми кирпичами сырого пола — перешагнув, так сказать, через труп деда прямо в целую улицу домов, чтобы продать их и купить мяса, хлеба и одежды.

Наконец и в наш подвал пришла перемена. Неотвратимая перемена снизошла даже до него — как, впрочем, достигает она любой высоты, на какую бы ни забрался человек,— и принесла за собой другие перемены.

В самом темном углу была у нас навалена куча, уж не знаю какого гнусного мусора, которую мы называли «постелью». Три дня мать пролежала там не вставая, а потом вдруг начала смеяться. Наверное, я никогда прежде не слышал ее смеха, потому что этот незнакомый звук напугал меня. Напугал он и отца, и мы принялись по очереди поить ее водой. Потом она начала ворочать головой и петь. А потом, хотя ей не полегчало, отец тоже стал смеяться и петь, и кроме меня, некому было подавать им воду, и оба они умерли.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда меня вытащили из подвала двое мужчин,— сперва один из них заглянул туда, быстро ушел и привел другого,— я чуть не ослеп от яркого света. Я сидел на мостовой, мигая и щурясь, а вокруг меня кольцом стояли люди,— впрочем, на довольно большом расстоянии; и вдруг,

верный своей репутации своекорыстного дьяволенка, я нарушил молчание, заявив:

— Я хочу есть и пить!

— А он знает, что они умерли? — спросил один другого.

— А ты знаешь, что твой отец и твоя мать умерли от лихорадки? — строго спросил меня третий.

— Я не знаю, что такое «умерли». Это когда кружка застучала об их зубы и вода расплескалась? Я хочу есть и пить,— вот все, что я мог ему ответить.

Когда я стал оглядываться, людское кольцо расширилось; я почувствовал запах уксуса и еще чего-то (теперь я знаю, что это была камфара), и меня чем-то обрызгали. Затем кто-то поставил возле меня плошку с дымящимся уксусом, и все с безмолвным ужасом и отвращением стали следить, как я ем и пью то, что мне принесли. Я и тогда понимал, что внушаю им отвращение, но ничего не мог с этим поделать.

Я все еще ел и пил, а кругом уже начали обсуждать, что же делать со мной дальше, когда где-то в толпе раздался надтреснутый голос:

— Меня зовут Хокъярд, мистер Верити Хокъярд, и я проживаю в Уэст Бромвиче.

Кольцо вокруг меня распалось, и в образовавшемся просвете появился желтолицый, крючконосый джентльмен, все облачение которого, вплоть до гамаш, было серо-стального цвета; его сопровождали полицейский и какой-то чиновник. Он приблизился к плошке с дымящимся уксусом и побрызгал спасительной жидкостью — на себя осторожно, а на меня обильно.

— У него был дед в Бирмингеме, у этого маленького мальчика, и он тоже недавно скончался,— объявил мистер Хокъярд.

Я повернулся к нему и алчно спросил:

— А где его дома?

— Ха! Какое отвратительное своекорыстие на краю могилы! — воскликнул мистер Хокъярд и вторично побрызгал на меня уксусом, словно изгоняя из меня дьявола.

— Я взял на себя небольшие — весьма, весьма небольшие — обязательства относительно этого мальчика; чисто добровольные обязательства, диктуемые просто честью,

если не просто чувством; но как бы то ни было, я взял их на себя, и они будут (о да, они будут!) выполнены.

На зрителей этот джентльмен, казалось, произвел куда более благоприятное впечатление, чем я.

— Он будет отдан в школу,— сказал мистер Хокъярд (о да, он будет отдан в школу!),— но как поступить с ним теперь? Он, возможно, заражен. Он, возможно, распространяет заразу.— Кольцо зрителей заметно расширилось.— Так как же поступить с ним теперь?

Он заговорил со своими спутниками. Я ничего не сумел расслышать, кроме слова «ферма». Разобрал я и еще одно сочетание звуков, повторенное несколько раз и показавшееся мне тогда бессмысленным, хотя впоследствии я узнал, что это были слова «Хотоновские Башни».

— Да,— сказал мистер Хокъярд,— по-моему, это разумный выход, по-моему, это наилучший выход. И его можно будет, говорите вы, дня два продержать одного в палате?

Очевидно, это предложил полицейский — ибо именно он ответил «да»; и в конце концов именно он взял меня за плечо и повел, толкая перед собой по улицам, пока мы не пришли к какому-то унылому зданию, и я не очутился в выбеленной комнате, где стояли стул, на котором я мог сидеть, стол, за которым я мог сидеть, железная кровать с хорошим матрасом, на которых я мог лежать, и одеяло с пледом, чтобы укрываться. И где мне давали есть вдоволь каши и научили так очищать после еды жестяную миску, чтобы она блестела, как зеркало. Там же меня выкупали и дали мне новую одежду; мои старые лохмотья были сожжены, а меня всего пропитали камфарой, уксусом и всякими другими обеззараживающими снадобьями.

Когда все это было проделано — не знаю, много или мало прошло дней (да, впрочем, это и неважно),— в дверях появился мистер Хокъярд и, не переступая порога, сказал:

— Стань-ка у дальней стенки, Джордж Силвермен. Подальше, подальше. Вот так, хорошо. Как ты себя чувствуешь?

Я ответил ему, что не чувствую холода, не чувствую голода, не чувствую жажды. Этим исчерпывались все человеческие чувства, которые были мне тогда доступны, если не считать боли от побоев.

— Так вот,— сказал он,— ты поедешь на ферму, расположенную в здоровой местности, чтобы очиститься от заразы. Старайся поменьше сидеть в четырех стенах. Старайся побольше бывать на свежем воздухе, пока тебя оттуда не увезут. Лучше пореже упоминай — то есть ни в коем случае не упоминай,— отчего умерли твои родители, а то тебя не захотят там держать. Веди себя хорошо, и я пошлю тебя учиться. О да, я пошлю тебя учиться, хотя я вовсе не обязан этого делать. Я слуга господа, Джордж; и я был ему хорошим слугой вот уже тридцать пять лет. Господь имел во мне хорошего слугу, и он это знает.

Совершенно не представляю себе, какой смысл вложил я тогда в его слова. Не знаю также, когда именно стало мне ясно, что он является весьма уважаемым членом какой-то малоизвестной секты или общины, все члены которой, буде у них возникало такое желание, могли проповедовать перед остальными, и звался среди них братом Хокъярдом. А тогда, в выбеленной палате, мне было достаточно и того, что тележка фермера ждет меня на углу. Я не стал мешкать, ибо это была первая поездка в моей жизни.

Мерное покачивание тележки убаюкало меня, и я уснул. Но прежде я успел вдоволь наглядеться на улицы Престона; возможно, во мне и шевелилось смутное желание узнать место, где находился наш подвал, но я сильно в этом сомневаюсь. Такой я был своекорыстный дьяволенок, что ни разу не задумался, кто похоронит моих родителей, где их похоронят и когда. Мысли мои были заняты другим: буду ли я на ферме есть днем так же досыта и укрываться ночью так же тепло, как в палате.

Я проснулся оттого, что тележка затряслась на выбоинах, и увидел, что мы взбираемся на крутой холм по изрезанной колеями проселочной дороге, вьющейся среди полей. И вскоре, миновав остатки насыпи и несколько массивных хозяйственных построек, которые прежде служили укреплениями, мы проехали под полуразрушенной аркой и остановились перед фермерским домом, встроенным в наружную сторону толстой стены, некогда окружавшей внутренний двор Хотоновских Башен. На все это я глядел, как жалкий дикарь, не замечая кругом ничего особенного, никакой древности, считая, что такой, очевидно, и должна

быть ферма; объясняя следы упадка единственной причиной всех бедствий, которая была мне известна,— нищетой; жадно глазея на порхающих голубей, на скот в загоне, на уток в пруду и бродящих по двору кур с голодной надеждой увидеть многих из них на обеденном столе, пока я буду жить тут; гадая, не являются ли выставленные на просушку подойники вместительными мисками, в которых хозяину дома подается его сытная пища и которые он затем отполировывает, как это делал я в палате; боязливо принимая скользящие по залитому солнцем холму тени облаков за чьи-то хмурящиеся брови — тупой, запуганный, угрюмый звереныш, заслуживавший только отвращения.

В ту пору моей жизни я еще не имел ни малейшего представления о том, что существуют веления долга. Я не знал, что жизнь может быть прекрасной. Когда я, бывало, прокрадывался по подвальной лестнице на улицу и со злобной жадностью заглядывал в витрины, чувства, владевшие мною, едва ли хоть чем-нибудь отличались от чувств бездомного щенка или волчонка. И точно так же мне не было ведомо уединение — такое уединение, когда человек познает самого себя. Мне часто приходилось оставаться одному — но и только.

Вот каким я был в тот день, когда впервые уселся за обеденный стол на кухне старой фермы. Вот каким я был в тот вечер, когда лежал, растянувшись на своей постели против узкого окна с цветными стеклами, залитый холодным лунным светом, словно маленький вампир.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Что знаю я теперь о Хотоновских Башнях? Очень немногое, ибо мне из чувства благодарности не хотелось уничтожать свои первые впечатления. Старинный дом, стоящий на холме примерно в миле от дороги, между Престоном и Блекберном, где Иаков Первый, понаделавший кучу баронетов *, чтобы потуже набить свой карман, возможно, пожаловал кое-кому из своих верноподданных этот доходнейший для короны титул. Старинный дом, покину-

тый, пришедший в ветхость, чьи парки и сады давно превратились в луга и пашни, и, хотя подножие его холма попрежнему омывают реки Рибл и Даруэн, туманная пелена дыма на горизонте, средства от которой не смог бы указать даже этот наделенный сверхъестественным предвидением Стюарт, говорит о наступлении века машин.

Что знал я тогда о Хотоновских Башнях? Когда я впервые увидел в арке ворот безжизненный внутренний двор и испуганно отшатнулся от разбитой статуи, которая внезапно возникла передо мной, словно дух-покровитель этих мест; когда я тихонько обошел жилой дом и прокрался в старинные залы с покосившимися полами и потолками, где повсюду угрожающе нависали гнилые балки и стропила, а от моих шагов со стен осыпалась штукатурка, где дубовые панели давно были сорваны, а окна разбиты или заложены; когда я обнаружил галерею над старой кухней и сквозь столбики балюстрады посмотрел на тяжелый дубовый стол и скамьи, с трепетом ожидая, что сейчас войдут и усядутся на них уж не знаю какие призраки, поднимут головы и посмотрят на меня уж не знаю какими жуткими глазами или пустыми глазницами; когда я пугливо вздрагивал, замечая в кровле дыры и щели, откуда на меня печально смотрело небо, где пролетали птицы и шелестел плющ,— и видел на трухлявых половицах под ними следы зимних непогод; когда на дне темных провалов рухнувших лестниц дрожала зеленая листва, порхали бабочки и пчелы жужжали, влетая и вылетая через дверные проемы; когда вокруг развалин всюду лились сладкие ароматы, зеленела свежая молодая поросль, пробуждалась вечно обновляющаяся жизнь — повторяю, когда сквозь мрак, окутывавший мою душу, я смутно почувствовал все это, что знал я тогда о Хотоновских Башнях?

Я написал, что небо печально смотрело на меня. И эти слова предвосхищают ответ. Я знал тогда, что все эти предметы печально смотрят на меня; что все они словно вздыхают или шепчут с легкой жалостью: «Ах ты бедный своекорыстный дьяволенок!»

Потом, вытянув шею, я заглянул в провал одной из боковых лестниц и увидел несколько крыс. Они дрались из-за какой-то добычи, и когда я их вспугнул, спрятались в

темноте, сбившись в кучку, а я вспомнил прежнюю (она уже успела стать прежней) жизнь в подвале.

Как перестать быть своекорыстным дьяволенком? Как добиться того, чтобы я не внушал людям отвращение, подобное тому, какое я сам испытывал к крысам? Я скорчился в углу самой маленькой из комнат, ужасаясь самому себе и плача (впервые в жизни причиной моих слез не было физическое страдание), и попробовал обдумать все это. Тут мой взгляд упал на плуг, который тянули две лошади, и его спокойное мирное движение взад-вперед по полю, казалось, чем-то помогало мне.

У фермера была дочка, примерно одного со мною возраста, и за обеденным столом она сидела напротив меня. Когда я в первый раз обедал с ними, мне пришло в голову, что она может заразиться от меня тифом. Тогда это меня ничуть не обеспокоило. Я только прикинул, как она будет выглядеть больная и умрет ли она или нет. Но теперь мне пришло в голову, что я могу уберечь ее от заразы, если буду держаться от нее подальше. Я понимал, что в таком случае мне придется жить впроголодь, однако решил, что от этого мое поведение будет менее своекорыстным и менее дьявольским.

И вот я стал с раннего утра забираться в какой-нибудь укромный уголок среди развалин и прятался там, пока она не ложилась спать. В первые дни я слышал, как меня звали к завтраку, обеду и ужину, и моя решимость слабела. Но я укреплял ее, уходя в дальний конец развалин, где мне уже ничего не было слышно. Я часто украдкой смотрел на нее из темных окон и, не замечая никаких изменений в ее свежем розовом личике, чувствовал себя почти счастливым.

Оттого, что я постоянно думал о ней, в моей душе зародилось что-то вроде детской любви, которая пробуждала во мне все новые человеческие чувства. Меня облагораживала гордость, рожденная сознанием, что я оберегаю ее, что я приношу ради нее жертву. И сердце мое, согретое этой любовью, незаметно стало мягче и к моим родителям. Словно до тех пор оно было заморожено, а теперь оттаяло. Старинные развалины и вся таившаяся в них прелесть жалели не только меня, но и моих родителей. Поэтому я плакал еще не раз и плакал часто.

Фермер и его семейство, решив, что я угрюм и зол, обходились со мной неласково, хотя никогда не оставляли меня без еды, несмотря на то, что я не приходил к обеду и к ужину. Как-то вечером, когда я в свой обычный час открыл кухонную щеколду, Сильвия (такое чудесное у нее было имя) еще только уходила к себе. Увидев ее на лестнице, я замер в дверях. Однако она услышала скрип щеколды и оглянулась.

— Джордж,— радостно окликнула она меня,— завтра у меня день рождения и придет скрипач, приедут гости — мальчики и девочки, и мы будем танцевать. Я тебя приглашаю. Хоть разочек перестань дуться, Джордж!

— Мне очень жалко, мисс,— ответил я,— только я... нет, я не могу прийти.

— Ты противный, злой мальчишка,— презрительно бросила она.— И не надо мне было тебя приглашать. Больше я никогда не стану с тобой разговаривать.

Она ушла, а я остался стоять, устремив глаза на огонь. Фермер, нахмурившись, сказал:

— Вот что, парень, Сильвия права. В первый раз вижу, чтобы мальчишка был таким угрюмым нелюдимом.

Я попробовал объяснить ему, что у меня на уме нет ничего худого, но он только холодно буркнул:

— Может, и так, может, и так! Ну-ка садись ужинать, садись ужинать, а потом иди и дуйся, сколько твоей душеньке угодно.

О, если бы они видели меня на другой день, когда я, спрятавшись в развалинах, ожидал прибытия веселых молодых гостей; если бы они видели меня вечером, когда я потихоньку выскользнул из-за похожей на призрак статуи и остановился, прислушиваясь к музыке и ритмичному топоту танцующих ног, вглядываясь в освещенные окна жилого дома,— а развалины вокруг внутреннего двора тонули во мраке; если бы они догадались, какие чувства переполняли мое сердце, когда я прокрался по черной лестнице в свою каморку, утешая себя мыслью: «Им не будет от меня никакого вреда»,— они перестали бы считать меня угрюмым нелюдимом.

Вот так родилась моя застенчивость, то робкое молчание, которым встречал я неправильное толкование моих поступков, и так возник этот невыразимый, этот болезнен-

ный страх, что меня могут счесть расчетливым или своекорыстным. Вот так начал складываться мой характер, еще прежде чем на него оказала влияние полная трудов одинокая жизнь бедного школяра.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Брат Хокъярд (так он велел мне называть его) поместил меня в школу и сказал, чтобы я работал прилежно и сам заботился о своем будущем.

— Можешь быть за себя спокоен, Джордж,— сказал он.— Вот уже тридцать пять лет, как я — лучший слуга на службе господа нашего (о да, лучший!), и он знает, чего стоит такой слуга (о да, он знает!), и он поможет тебе в учении в счет награды мне. Вот что он сделает, Джордж. Он сделает это ради меня.

С самого начала мне не нравилась та фамильярная уверенность, с какой брат Хокъярд говорил о путях неисповедимого и всемогущего провидения. И, по мере того как я становился старше и умнее, она нравилась мне все меньше и меньше, а его манера подтверждать каждое свое высказывание восклицанием в скобках, словно, хорошо себя зная, он не верил ни единому своему слову, казалась мне теперь отвратительной. Не могу выразить, как тяжелы были мне эти чувства,— я боялся, что они порождены своекорыстием.

Время шло, и я заслужил стипендию, так что с тех пор не стоил брату Хокъярду ни гроша. Добившись этого, я стал трудиться еще прилежнее, надеясь получить рекомендацию в колледж и денежное вспомоществование для обучения там. Мое здоровье оставалось слабым (наверное, я слишком пропитался миазмами престоновского подвала), а работал я много, и вот меня снова начали считать — я имею в виду моих сверстников — угрюмым нелюдимом.

Моя школа находилась неподалеку от тех мест, где подвизалась община брата Хокъярда, и каждый раз, когда в воскресенье я бывал отпускным, как это у нас называлось,

я, согласно его желанию, посещал их собрания. Прежде чем я вынужден был признать, что вне стен своей молельни эти братья и сестры были не только ничем не лучше остальных представителей рода человеческого, но даже, мягко выражаясь, не уступали в греховности любому грешнику, когда дело касалось обвешивания покупателей и загрязнения уст ложью,— повторяю, прежде чем я вынужден был признать все это, их витиеватые речи, их чудовищное самомнение, их вопиющее невежество, их стремление наделить верховного повелителя земли и неба собственной низостью, скаредностью и мелочностью поражали и пугали меня. Однако, поскольку они утверждали, что осенены благодатью и что лишь глаза, затуманенные своекорыстием, могут этого не заметить, я некоторое время переживал несказанные муки, без конца спрашивая себя, не тот ли своекорыстный дьявольский дух, который владел мною в детстве, мешает мне воздать им должное.

Брат Хокъярд был любимым проповедником этой общины и обычно по воскресеньям первым поднимался на помост (кафедрой им служил маленький помост, на котором стоял стол). В будние дни он был москательщиком. Брат Сверлоу, пожилой человек с морщинистым лицом, огромным стоячим воротничком и синим в крапинку шейным платком, который сзади доходил ему до макушки, тоже был москательщиком и проповедником. Брат Сверлоу вслух горячо восхищался братом Хокъярдом, но (как не раз приходило мне в голову) в душе злобно ему завидовал.

Прошу того, чей взор устремлен на эти строки, оказать мне любезность дважды перечесть мое торжественное заверение, что, описывая язык и обычаи вышеупомянутой общины, я воспроизвожу их со взыскательной, добросовестной и скрупулезной точностью.

В первое воскресенье после того, как мои усилия были вознаграждены и не оставалось никаких сомнений, что я буду учиться в колледже, брат Хокъярд закончил свое длинное поучение следующим образом:

— Итак, друзья и братья мои во грехе, начиная, я предупредил вас, что не знаю, о чем поведу свою речь (о нет, я этого не знал!), но что меня это не тревожит, ибо господь, конечно, вложит в мои уста нужные мне слова.

(«Вот-вот!» — поддерживает брат Сверлоу.)

— И он вложил в мои уста нужные мне слова.

(«Вложил, вложил!» — поддерживает брат Сверлоу.)

— А почему?

(«Ну-ка, объясните!» — поддерживает брат Сверлоу.)

— А потому, что я был его верным слугой уже тридцать пять лет, и потому, что он это знает. Тридцать пять лет! И он это знает, не сомневайтесь! Я получил нужные мне слова в счет своего жалования. Я получил их от господа, братья мои во грехе. «Задаточек! — сказал я.— Жалованья уже накопилось немало, так прошу задаточек, в счет того, что мне причитается». И я получил задаток и выплатил его вам; а вы не завернете его в салфетку, и не завернете его в полотенце, и не завернете его в платок, а пустите его в оборот под высокие проценты. Очень хорошо. А теперь, братья и сестры мои во грехе, я кончу речь свою вопросом и задам его так ясно (с помощью господа, в которой он мне не откажет — после тридцати-то пяти лет!), что дьяволу не удастся запутать его в головах ваших, чего ему, конечно, очень бы хотелось.

(«Ну, это на него похоже! Старый мошенник!» — поддерживает брат Сверлоу.)

— А вопрос этот таков: учены ли ангелы?

(«Нет, нет! Ни чуточки»,— убежденно поддерживает брат Сверлоу.)

— Нет. А где тому доказательства? Вот оно — прямехонько из рук господа. Ныне среди нас присутствует некто, обученный всей учености, какую только можно было в него вбить. Это я обеспечил ему всю ученость, какую только можно было в него вбить. Его дед (об этом я узнал впервые) был одним из наших братьев. Он был братом Парксопом. Вот кем он был. Имя его в своекорыстном миру было Парксоп, и был он братом этого братства. Ужли же не был он братом Парксопом?

(«Был, был! Как бы ни брыкался, а был!» — поддерживает брат Сверлоу.)

— Ну, и поручил он того, кто ныне присутствует среди нас, заботам собрата своего по греху (а этот собрат по греху, не сомневайтесь, был в свое время грешником почище любого из нас, хвала господу!), брата Хокъярда. Моим. Это я обеспечил ему без награды или вознаграждения — ни крупицы мирра, ни благовоний, ни амбры, не

говоря уже о медовых сотах,— всю ученость, какую только можно было в него вбить. Но привела ли она дух его в наш храм? Нет. А разве не примкнули к нам за этот срок невежественные братья и сестры, что не отличат круглого «о» от кривого «з»? Во множестве. Стало быть, ангелы не учены, стало быть, они даже азбуки не знают. А теперь, друзья и братья мои во грехе, когда я поведал вам это, может, кто-нибудь из присутствующих братьев — может, вы, брат Сверлоу,— помолится за нас?

Брат Сверлоу принял на себя эту священную миссию, предварительно вытерев губы рукавом и пробормотав:

— Уж не знаю, сумею ли я поразить кой-кого из вас куда надо. Так-то.

Эти слова сопровождались загадочной улыбкой, а затем он взревел. В особенности он молил охранить нас от ограбления сироты, от сокрытия завещания отца или (например) деда, от присвоения недвижимого имущества сироты (например, домов), от притворных благодеяний тому, кого мы обездолили, и от прочих подобных грехов. Он кончил мольбой ниспослать нам покой и мир, в чем лично я после двадцати минут его рева очень нуждался.

Даже если бы я не видел, как он, поднимаясь с колен и обливаясь потом, бросил многозначительный взгляд на брата Хокъярда, даже если бы я не слышал, каким тоном брат Хокъярд хвалил его за мощь его рыка, я все равно уловил бы злобный намек, заключенный в этой молитве. В первые годы моего школьного обучения у меня иногда возникали смутные подозрения на этот счет,— причиняя мне большие муки, ибо вызывались они своекорыстием и были совсем не похожи на те чувства, которые заставили меня избегать Сильвии. Это были отвратительные и совершенно бездоказательные подозрения. Они были достойным детищем мрачного подвала. Они были не просто бездоказательными, они сами себя опровергали — разве не был я живым доказательством того, что сделал брат Хокъярд? Разве без него увидел бы я то небо, которое печально глядело на несчастного звереныша в Хотоновских Башнях?

Хотя, когда детство мое кончилось и я стал более свободен в своих поступках, страх вновь оказаться во власти животного себялюбия несколько утих, но я все же остере-

гался любого чувства, которое чем-нибудь его напоминало. Растоптав свои недостойные подозрения, я начал с тревогой думать, что не могу преодолеть отвращение к манерам брата Хокъярда и к религии, которую он исповедует. И вот, возвращаясь в это воскресенье с собрания общины, я решил во искупление обид, которые невольно нанес ему в своих мыслях, написать и вручить ему перед отъездом в колледж письмо с перечнем всех оказанных им мне благодеяний и выражениями моей глубокой за них благодарности. Этот документ мог также послужить как бы ответом на все темные намеки любого его завистливого брата и соперника-проповедника. И я написал это письмо с большим тщанием. Могу прибавить — и с большим чувством, потому что, сочиняя его, я сам растрогался.

Занятия мои в школе кончились, всю неделю, которая оставалась до моего отъезда в Кембридж, делать мне было нечего, и я решил пойти в лавку брата Хокъярда, чтобы отдать ему письмо лично.

Зимний день клонился к вечеру, когда я постучал в дверь его маленькой конторы, расположенной в дальнем конце длинной низкой лавки. В эту минуту (я прошел через задний двор, где сгружались ящики и бочонки и где висела дощечка с надписью «Ход в контору») приказчик крикнул мне из-за прилавка, что хозяин занят.

— У него брат Сверлоу,— сказал приказчик, который тоже был членом братства.

Я решил, что все складывается как нельзя удачнее, и рискнул постучать вторично. Они переговаривались вполголоса,— очевидно, речь шла о каком-то платеже, потому что я услышал, как они считают деньги.

— Кто там? — раздраженно крикнул брат Хокъярд.

— Джордж Силвермен,— ответил я, открывая дверь.— Можно войти?

Оба брата были настолько поражены моим появлением, что я смутился больше обычного. Впрочем, уже зажженный в комнате газ придавал их лицам мертвенный оттенок, и возможно, это обстоятельство ввело меня в заблуждение.

— Что случилось? — спросил брат Хокъярд.

— Да, что случилось? — спросил брат Сверлоу.

— Ничего,— ответил я, робко доставая изготовленный

мною документ.— Я просто принес письмо, написанное мной.

— Написанное тобой, Джордж? — воскликнул брат Хокъярд.

— И адресованное вам,— ответил я.

— И адресованное мне, Джордж?

Он побледнел еще сильнее и поспешно вскрыл конверт, но проглядев письмо и уловив его общее содержание, перестал спешить, и щеки его чуть порозовели.

— Хвала господу! — сказал он.

— Вот-вот! — воскликнул брат Сверлоу.— Хорошо сказано! Аминь.

Затем брат Хокъярд с некоторым оживлением произнес:

— Тебе следует узнать, Джордж, что брат Сверлоу и я собираемся начать общее дело. Мы будем компаньонами. И сейчас мы договариваемся об условиях. Брат Сверлоу будет получать половину чистой прибыли (о да, он будет ее получать, будет ее получать до последнего фартинга!).

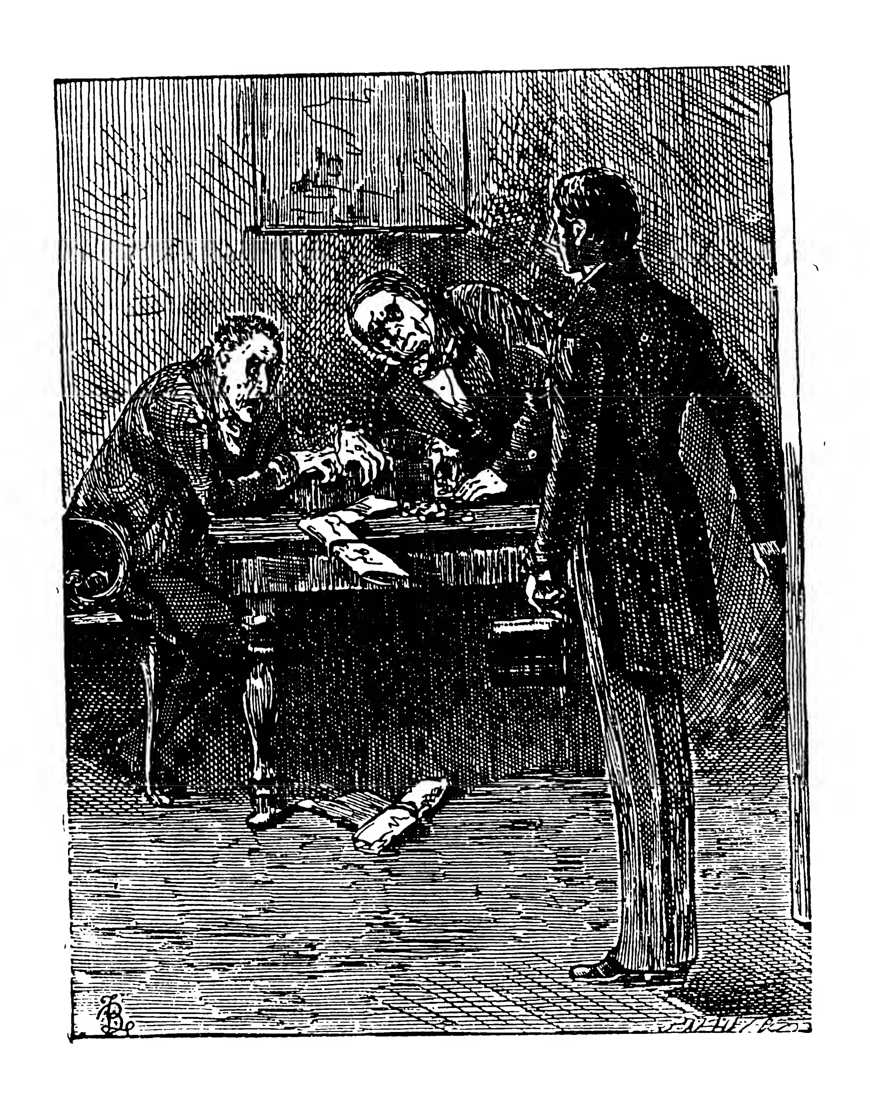
— С соизволения господня! — сказал брат Сверлоу, крепко сжимая правой рукой правое колено.

— Есть ли какие-нибудь возражения, Джордж,— продолжал брат Хокъярд,— против того, чтобы я прочел это письмо вслух?

После вчерашней молитвы я больше всего желал именно этого и с большим жаром стал просить его прочесть письмо вслух. Что он и не преминул сделать, а брат Сверлоу слушал с кривой улыбкой.

— В добрый час пришел я сюда,— сказал он, прищуриваясь и возводя глаза к потолку.— И также в добрый час был я вчера подвигнут обрисовать на ужас грешникам натуру, совсем не похожую на натуру брата Хокъярда. Но это был не я, а господь: я чувствовал, как он обличал нечестивца, пока я покрывался испариной.

Затем они оба выразили пожелание, чтобы я перед отъездом непременно посетил собрание братства. Я заранее знал, как мучительно будет мне снова стать предметом публичной проповеди и молитв. Однако я рассудил, что это будет в последний раз и, кроме того, придаст моему письму убедительность. Братья и сестры хорошо знали, что для меня нет места в их раю, и такой прощальный



знак уважения к брату Хокъярду, столь противоречащий моим греховным наклонностям, несомненно, подкрепит мое утверждение, что он был добр ко мне и что я ему благодарен. И вот, поставив только условием, что меня не станут обращать на путь истинный — при этом, как мне было хорошо известно по прежнему знакомству с их мерзкими таинствами, несколько братьев и сестер непременно повалились бы на пол с воплями, что все их грехи лежат у них в левом боку тяжким бременем во столько-то фунтов и унций,— я дал требуемое обещание.

С той минуты, как брат Сверлоу узнал содержание моего письма и до самого конца нашего разговора, он время от времени вытирал один глаз кончиком своего синего в крапинку шейного платка и чему-то ухмылялся. Впрочем, у этого брата вообще была дурная привычка все время гаденько ухмыляться, даже когда он проповедовал. Помнится, с каким восторгом оскаливал он зубы, когда во всех подробностях описывал со своего помоста муки, ожидающие людей неправедных (другими словами, весь род человеческий, кроме членов братства),— в такие минуты его усмешка казалась мне особенно ужасной.

Я ушел, а братья продолжали договариваться об условиях контракта и считать деньги; и больше я их не видел, если не считать следующего воскресенья. Брат Хокъярд умер года два-три спустя, оставив все свое имущество брату Сверлоу — как мне рассказывали, завещание было помечено этим самым днем.

Теперь в душе у меня воцарился мир, и в воскресенье, зная, что я победил свое недоверие и оправдал брата Хокъярда в завистливых глазах соперника, я отправился в гнусную молельню без обычного тревожного смущения. Как мог я предвидеть, что самый чувствительный, даже болезненно чувствительный уголок моей души, прикосновение к которому, пусть самое легкое, всегда заставляло меня мучительно содрогаться, послужит лэйтмотивом этого собрания?

В этот день молитву читал брат Хокъярд, а проповедовал брат Сверлоу. Собрание открывалось молитвой, за которой следовала душеспасительная беседа. Брат Хокъярд и брат Сверлоу оба находились на возвышении: брат Хокъярд стоял на коленях у стола, готовый гнусаво про-

честь молитву, брат Сверлоу сидел у стены, готовый с ухмылкой прочесть проповедь.

— Так вознесем же жертву-молитву, братья и сестры мои во грехе!

Да, конечно, но жертвой оказался я. Борьба шла за душу нашего грешного, своекорыстного брата, который здесь присутствует. Перед этим нашим непробудившимся братом открывается теперь путь, который может привести его к сану служителя так называемой «церкви». Вот предмет его упований. Церковь. Не молельня, господи. Церковь. В молельне нет ни священников, ни архидиаконов, ни епископов, ни архиепископов, но в церкви их, господи, несть числа. Охрани нашего грешного брата от его любви к наживе! Очисти грудь нашего непробудившегося брата от греха своекорыстия! Слов в молитве было гораздо больше, но весь смысл сводился к этому.

Затем вперед вышел брат Сверлоу и (как я и предполагал) взял за тему стих «Царство мое не от мира сего». Но чье же царство от мира сего, братья мои по греху? Чье? Да нашего брата, здесь присутствующего. Единственное царство, о котором он помышляет,— это царство от мира сего. («Так оно и есть!» — поддерживают слушатели.) Что сделала женщина, когда она потеряла монету? Стала ее искать. Что должен был бы сделать наш брат, когда он потерял свой путь? («Искать его»,— вставляет одна из сестер.) Воистину искать его. Но должен ли он был искать его в стороне верной или неверной? («В стороне верной»,— вставляет какой-то брат.) Так говорили пророки! Он должен искать его в стороне верной, или он не найдет его совсем. Но он повернулся спиной к стороне верной, и он его не найдет. И вот, братья и сестры мои во грехе, дабы показать вам разницу между суетным своекорыстием и несуетным бескорыстием, между царством не от мира сего и царством от мира сего, я прочту вам письмо нашего суетного, своекорыстного брата к брату Хокъярду. Судите же по нему, был ли брат Хокъярд тем верным опекуном сирых и бесприютных, которого имел в виду господь, когда в прошлый раз на этом самом месте он рассказал вам об опекуне неверном. Ибо тогда говорил господь, а не я. Не сомневайтесь.

Затем брат Сверлоу с ревом и стонами прочел мое

письмо и продолжал реветь и стонать еще добрый час. Церемония завершилась псалмом — обращаясь ко мне, все братья единодушно рычали, а сестры единодушно визжали, что я брожу, мирской корысти полный, а их святой любви качают волны; что я с мамоною во тьму попал навек, а их несет вперед второй ковчег.

Когда я наконец ушел оттуда, сердце мое мучительно сжималось, а в душе царило уныние — не потому, что я был так слаб, чтобы признать этих косных тупиц толкователями воли божественного величия и мудрости, но потому, что я был все же достаточно слаб, чтобы сетовать на свою жестокую судьбу: мои побуждения снова не были поняты и снова толковались превратно именно тогда, когда я пытался задушить в себе последнее подобие своекорыстия и когда я уже начинал надеяться, что благодаря неустанным стараниям мне это наконец удалось.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Моя робость и непримечательность обрекли меня в колледже на уединенную жизнь, так как я почти ни с кем не знакомился. Родственники не приезжали навестить меня, потому что у меня не было родственников. Друзья не отвлекали меня от занятий, потому что я не приобрел друзей. Я жил на свою стипендию и много читал. В остальном время, проведенное мною в колледже, мало чем отличалось от дней в Хотоновских Башнях.

Чувствуя себя непригодным для шумной суетливой жизни общества и в то же время считая, что сумею с искренним усердием выполнить свой долг, если мне удастся получить какой-нибудь скромный приход, я начал готовиться к принятию духовного сана. В надлежащий срок я был рукоположен и принялся подыскивать себе место. Следует упомянуть, что я отлично сдал экзамены, что мне удалось заслужить университетскую стипендию и что моих средств было вполне достаточно для моего очень скромного образа жизни. К тому же я занимался в качестве репетитора с несколькими юношами — это увеличивало мой

доход и само по себе было мне очень интересно. Однажды я к своей безграничной радости случайно услышал, как наш самый уважаемый профессор сказал: «Мне говорили, что Силвермен благодаря умению ясно и толково объяснять, благодаря терпению, приятному характеру и добросовестности оказался превосходным репетитором». Ах, если бы мое «умение ясно и толково объяснять» пришло мне на помощь сейчас, сделав это мое объяснение более убедительным, чем оно, боюсь, пока получается!

Комнаты, которые я занимал в колледже, находились в углу двора, где дневной свет всегда казался тусклым,— возможно, поэтому, но еще больше из-за моего тогдашнего душевного состояния, я, вспоминая ту пору моей жизни, всегда кажусь себе погруженным в благодетельный сумрак. Других я вижу в блеске солнечных лучей, я вижу наших гребцов, сильных, великолепно сложенных юношей на сверкающей воде, вижу светлые блики от озаренной солнцем листвы, которые скользят по их головам и плечам, но сам я всегда в тени и только смотрю на них. Без всякого дурного чувства, сохрани бог, но совсем один, как некогда смотрел я на Сильвию из темных развалин или, глядя на красные отблески в окнах фермы, прислушивался к ритмичному топоту танцующих ног, а развалины кругом были окутаны ночным мраком.

Теперь я перейду к причине, заставившей меня упомянуть о похвальном отзыве профессора. Не будь этой причины, упоминание о нем оказалось бы простым хвастовством.

Среди тех, с кем я занимался, был мистер Фейруэй, второй сын леди Фейруэй, вдовы сэра Гастона Фейруэя, баронета. Этот юноша обладал блестящими способностями, но он происходил из богатой семьи и был ленив и изнежен. Он обратился ко мне слишком поздно и являлся на занятия столь неаккуратно, что, боюсь, я вряд ли принес ему большую пользу. В конце концов я счел своим долгом отсоветовать ему сдавать экзамены, которые все равно были ему не по силам, и он покинул колледж, не получив никакой степени. После его отъезда леди Фейруэй написала мне, указывая, что, поскольку мои занятия принесли ее сыну так мало пользы, справедливо будет, если я верну половину полученной мною платы. Насколько мне

известно, такое требование никогда еще не предъявлялось ни одному репетитору, и должен откровенно признаться, что я понял, насколько оно справедливо, только когда мне его предъявили. Но раз поняв, я, разумеется, немедленно вернул деньги.

Со времени отъезда мистера Фейруэя прошло два года, если не больше, и я уже забыл о нем, когда в один прекрасный день он вдруг вошел в мою комнату.

Мы обменялись обычными приветствиями, а затем он сказал:

— Мистер Силвермен, я приехал сюда с матерью. Она остановилась в гостинице и хотела бы, чтобы я представил вас ей.

Я всегда чувствую себя неловко с незнакомыми людьми и, вероятно, чем-то выдал, что его предложение мне неприятно, так как он, не дожидаясь моего ответа, добавил:

— Мне кажется, эта встреча может способствовать вашей дальнейшей карьере.

Я покраснел при мысли, что мне могут приписать такие своекорыстные побуждения, и выразил готовность пойти с ним немедленно.

По пути мистер Фейруэй спросил меня:

— Вы деловой человек?

— Кажется, нет,— ответил я.

— А моя мать деловая женщина,— сказал мистер Фейруэй.

— Неужели? — заметил я.

— Да, моя мать, как говорится, женщина хозяйственная. Умудряется, например, извлечь некоторую выгоду даже из мотовства моего старшего брата, который сейчас за границей. Короче говоря — хозяйственная женщина. Разумеется, это все между нами.

Он никогда раньше не пускался со мной в откровенности, и эти его слова меня немало удивили. Я ответил, что он, конечно, может положиться на мою скромность, и больше не возвращался к этому деликатному предмету. Идти нам было недалеко, и вскоре я уже предстал перед его матушкой. Он представил меня, попрощался со мной и оставил нас (как он выразился) беседовать о делах.

Леди Фейруэй оказалась хорошо сохранившейся величественной красавицей довольно крупного сложения; осо-

бенно меня смущал пристальный взгляд ее больших круглых темных глаз.

— Я слышала от моего сына,— сказала ее милость,— что вы, мистер Силвермен, хотели бы получить приход.

Я признал, что это так.

— Не знаю, известно ли вам,— продолжала ее милость,— что в нашем распоряжении есть место приходского священника. Вернее сказать — в моем распоряжении.

Я признал, что это мне неизвестно.

— Дело обстоит именно так,— сказала ее милость.— Собственно говоря, таких мест у нас два: одно приносит двести фунтов годового дохода, другое — шестьсот. Оба прихода находятся в нашем графстве — Северном Девоншире, как, возможно, вам известно. Первое из них вакантно. Не хотите ли занять его?

Неожиданность этого предложения, а также пристальный взгляд темных глаз ее милости совсем меня смутили.

— Мне жаль, что я не могу предложить вам место с шестьюстами фунтов,— сказала леди Фейруэй холодно,— хотя я не хочу оскорблять вас подозрением, мистер Силвермен, что вы разделяете мое сожаление, ибо это было бы сребролюбием, а я убеждена, что вы не сребролюбец.

— Благодарю вас, леди Фейруэй,— горячо сказал я.— Благодарю, благодарю! Мне было бы очень больно думать, что меня могут заподозрить в подобном пороке.

— Вполне естественно,— ответила ее милость.— Отвратительное качество, особенно в священнике. Однако вы не сказали, принимаете ли вы это место.

Извинившись за мою рассеянность или неумение ясно выражаться, я уверил ее милость, что принимаю этот приход с величайшей охотой и благодарностью. Я добавил, что надеюсь, она не будет судить о моей признательности за ее великодушие по моим словам — если меня застигают врасплох, когда я что-нибудь глубоко чувствую, я не умею выразить это пышными фразами.

— Итак, все решено,— сказала ее милость.— Все решено. Ваши обязанности не будут обременительными, мистер Силвермен. Очаровательный дом, очаровательный цветник, фруктовый сад и прочее. Вы сможете брать учеников. Ах, кстати! Впрочем, нет, я вернусь к этому позже. Что бишь я намеревалась сказать, когда это слово меня сбило?

Ее милость пристально на меня посмотрела, как будто мне это было известно. А мне это известно не было. И я снова смутился.

— Ах да, конечно,— сказала ее милость после некоторого размышления.— Как я рассеянна! Наш последний бенефициарий — бессребреник каких мало — утверждал, что, поскольку обязанности его столь необременительны, а дом столь очарователен, он по совести не может чувствовать себя спокойно, если я не разрешу ему помогать мне с моей перепиской, счетами и прочими мелочами того же рода; пустяки, разумеется, но они затруднительны для женщины. Так, может быть, мистер Силвермен, вы тоже...? Или мне лучше...?

Я поспешил сказать, что мои скромные способности будут всегда к услугам ее милости.

— Как я благодарна,— сказала ее милость, возводя глаза к небу (и на мгновение переставая сверлить меня взглядом),— что мне дано иметь дело с благородными людьми, которых пугает даже мысль о сребролюбии! — (При этом слове она содрогнулась.) — А теперь о вашей ученице.

— Моей...? — я ничего не понимал.

— Мистер Силвермен, вы представить себе не можете, как она талантлива. Она,— сказала ее милость, беря меня за локоть,— по моему глубочайшему убеждению, самая замечательная девушка на свете. Уже знает греческий и латынь лучше, чем леди Джейн Грей *. И научилась всему сама! И заметьте — еще не воспользовавшись глубокими познаниями мистера Силвермена в области классической литературы и языков. Не говоря уже о математике, которую она жаждет изучать и знанием которой (как я слышала от моего сына и других лиц) мистер Силвермен столь заслуженно славится.

По-видимому, смущенный взглядом ее милости, я потерял нить нашего разговора, хотя и не понимал, как и в какую минуту это произошло.

— Аделина,— сказала ее милость,— моя единственная дочь. Если бы я не была убеждена, что меня не ослепляет материнское пристрастие, если бы я не знала твердо, что, познакомившись с ней, вы сочтете большой честью возможность руководить ее занятиями, я поспешила бы кос-

нуться вопроса, неотъемлемо связанного с сребролюбием, и спросила бы вас, на каких условиях...

Я перебил ее милость просьбой не продолжать. Ее милость заметила, что это меня огорчает, и сделала мне одолжение прислушаться к моим мольбам.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Блестящее образование, которое мог бы приобрести ее брат, если бы захотел, и редкое совершенство души и характера, присущее только ей одной,— вот какова была Аделина.

Я не стану превозносить ее красоту, я не стану превозносить ее ум, ее тонкую восприимчивость, ее чудесную память, ее ласковую снисходительность к медлительному учителю, которому довелось развивать ее великие дарования. Тогда мне было тридцать лет. Сейчас мне шестьдесят; но и теперь я вижу ее такой, какой она была тогда — жизнерадостной, прекрасной и молодой, мудрой, остроумной и доброй.

Когда я понял, что люблю ее,— откуда мне знать? В первый день? В первую неделю? В первый месяц? Невозможно вспомнить. Если я не могу — а я не могу — представить себе даже предшествующую мою жизнь вне ее милой власти, как же мне вспомнить одну эту подробность?

Но когда бы я ни сделал это открытие, оно тяжким бременем легло на мою душу. И все же теперь, сравнивая его с куда более тяжелым бременем, которое я впоследствии принял на себя, я убеждаюсь, что ноша эта не была такой уж непосильной. Сознание, что я люблю ее и буду любить, пока жив, что тайна эта останется навеки скрытой в моей груди и Аделина никогда о ней не узнает, служило для меня источником гордости и радости, облегчало мои страдания.

Но позднее — примерно через год — я сделал еще одно открытие, и тогда мои муки, моя борьба с собой стали поистине жестокими.

Если эти слова и увидят свет, то лишь когда я стану

прахом, когда ее светлый дух вернется в сферы, о которых он и в земных оковах хранил воспоминания, когда сердца тех, кто сейчас вокруг нас, давно перестанут биться, когда все плоды наших ничтожных побед и поражений исчезнут без следа. Я открыл, что она любит меня.

Быть может, она преувеличивала мои знания и полюбила меня за них; быть может, она чересчур высоко оценила мое желание служить ей, и полюбила меня за него; быть может, она слишком поддалась тому шутливому сочувствию, которое не раз высказывала, сетуя, как мало у меня того, что слепой свет зовет мудростью, и полюбила меня за это; быть может — конечно, так! — она приняла отраженный блеск моих заимствованных познаний за яркое чистое сияние подлинных лучей; но как бы то ни было, тогда она любила меня и позволила мне об этом догадаться.

В глазах леди Фейруэй, гордой своим родом и своим богатством, я был чем-то вроде домашнего животного, недостойного и помыслить о ее дочери. Но куда более недостойным чувствовал себя я сам, сравнивая ее с собой. Более того, даже в глазах леди Фейруэй не мог бы я пасть так низко, как пал в собственных, когда в воображении своем эгоистично воспользовался благородной доверчивостью Аделины, стал хозяином всего ее состояния, нисколько не смущаясь тем, что в самом расцвете своей красоты и талантов она окажется навеки связанной с неуклюжим педантом — со мной.

Нет! Что угодно, только бы не поддаваться своекорыстию! Если я и прежде боролся с ним, то теперь мне следовало всеми силами помешать ему осквернить святыню моих чувств.

Однако ее гордая, великодушная смелость потребовала от меня в эти решающие минуты величайшего такта и терпения. После многих горьких ночей (да, я снова узнал тогда, что могу плакать не только от физической боли) я выбрал свой путь.

Леди Фейруэй во время нашей первой беседы бессознательно преувеличила поместительность моего очаровательного домика. Я мог поселить в нем только одного ученика. Это был молодой человек из хорошей семьи, но, что называется, бедный родственник. Родители его умерли. Занятия с ним и полный пансион оплачивал мне его дядя,

и предполагалось, что за три года мы с ним сделаем все возможное, чтобы подготовить его для успешного вступления в жизнь. В это время он занимался со мной второй год, и близилось его совершеннолетие. Он был красив, умен, энергичен, пылок, смел — его можно было назвать подлинным молодым англосаксом в лучшем смысле этого слова.

Я решил пробудить в них взаимное чувство.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда я переборол себя, я как-то вечером сказал:

— Мистер Грэнвил (его звали мистер Грэнвил Уортон), мне кажется, вы еще ни разу не разговаривали с мисс Фейруэй.

— Что поделаешь, сэр,— ответил он со смехом,— вы сами столько с ней разговариваете, что для других не остается времени.

— Я же ее учитель,— промолвил я.

Больше в тот раз мы к этой теме не возвращались. Но я устроил так, что они скоро встретились. До тех пор я устраивал так, чтобы они не встречались; ибо, пока я любил ее — я хочу сказать, пока я не решился пожертвовать своим чувством,— в моем недостойном сердце таилась ревность к мистеру Грэнвилу.

Это была случайная встреча в парке, но они некоторое время оживленно беседовали — подобное стремится к подобному, а между ними было много общего. И в этот вечер, когда мы сели ужинать, мистер Грэнвил сказал мне:

— Мисс Фейруэй поразительно красива, сэр, и совершенно очаровательна. Не правда ли?

— Да, правда,— сказал я, украдкой бросив на него взгляд, и увидел, что он покраснел и о чем-то задумался. Я помню это удивительно живо, потому что смешанное чувство глубокого удовлетворения и острой боли, вызванное этим незначительным обстоятельством, мне довелось испытать потом много раз, и с каждым разом в моих волосах появлялось все больше седины.

Мне не понадобилось особенных стараний, чтобы ка-

заться меланхоличным, но я сумел притвориться во всех отношениях более старым, чем был на самом деле (господь свидетель, мое сердце было тогда даже слишком юным), разыграть из себя отшельника и книжного червя и мало-помалу принять в обращении с Аделиной отеческую манеру. В то же время я постарался сделать наши занятия менее интересными, чем прежде; отделил себя от моих любимых поэтов и философов; показал их, как подобает, во всем их блеске, а себя, их смиренного слугу, как подобает, отодвинул в сужденную мне тень. Кроме того, я позаботился и о своей внешности — я и раньше не был щеголем, но теперь мой туалет стал небрежным.

И вот так, принижая себя одной рукой, другой я стремился возвысить мистера Грэнвила, занимаясь с ним именно теми разделами науки, которые, как я, увы, слишком хорошо знал, интересовали ее, и придавая ему (не смейся над этим выражением, неизвестный читатель, и не истолкуй его ложно, ибо я страдал!) возможно большее сходство со мной в том единственном отношении, в каком я мог быть привлекателен. И постепенно, постепенно, в то время как он все больше становился таким, каким перестал быть я, мне стало ясно, что его ведет любовь и что любовь уводит ее от меня.

Так прошел год, и каждый день его казался годом от вечного ощущения глубокой удовлетворенности, смешанной с острой болью, а потом Аделина и Грэнвил — к этому времени они уже достигли совершеннолетия и имели право распоряжаться собой — пришли ко мне рука об руку (мои волосы тогда уже совсем побелели) и попросили меня соединить их узами брака.

— И ведь именно вам, дорогой учитель,— сказала Аделина,— надлежит сделать это — если бы не вы, мы не разговорились бы в тот первый раз, и если бы не вы, мы не смогли бы потом встречаться так часто.

Все это было правдой от слова и до слова, ибо, отправляясь к леди Фейруэй для наших многочисленных деловых занятий, я неизменно брал с собой мистера Грэнвила и оставлял его в гостиной беседовать с мисс Фейруэй.

Я знал, что ее милость восстанет против такого брака дочери, как, впрочем, против любого брака, который не даст возможности обменять ее на определенное количе-

ство земель, драгоценностей и денег. Но поглядев на стоявшую передо мною пару и увидев, как они оба молоды и красивы; зная, что они обладают общностью вкусов и знаний, которая переживет молодость и красоту; вспомнив, что Аделина может теперь распоряжаться своим состоянием, а также, что мистер Грэнвил, хоть он и небогат, происходит из хорошей семьи, которая никогда не жила в подвале в Престоне; и твердо веря, что любовь их — не мимолетное чувство, ибо они видят друг друга в истинном свете, я сказал, что охотно окажу им ту услугу, о которой Аделина просит своего дорогого учителя, и помогу им мужем и женою вступить в сияющий мир, чьи золотые врата распахнуты перед ними.

Летним утром я встал еще до рассвета, чтобы подготовить себя к этому увенчанию моих трудов; жилище мое находилось неподалеку от моря, и я спустился к прибрежным скалам, желая увидеть солнце во всем его величии.

Спокойствие пучины морской и тверди небесной, стройно гаснущие звезды, безмятежное обещание грядущего дня, розовый блеск, все ярче разгоравшийся в небе и на водах и, наконец, вдруг разлившийся повсюду ослепительный свет вернули гармонию моему духу, рассеяв ночное смятение. Все вокруг словно говорило со мной, и все, что я слышал в море и в воздухе, словно твердило мне: «Утешься, смертный, жизнь твоя коротка. Наши приготовления к тому, что сейчас произойдет, повторялись и будут повторяться неисчислимые столетия».

Я обвенчал их. Я знаю, что моя рука была холодна, когда я положил ее на их сплетенные пальцы, но слова, которые должны сопровождать этот жест, я произнес не запнувшись, и в душе моей был мир.

После скромного завтрака в моем доме они уехали, и когда они были уже далеко, для меня настала минута исполнить данное им обещание — сообщить о случившемся ее матери.

Я отправился к леди Фейруэй и, как всегда, нашел ее милость в кабинете, где она занималась делами. В этот день у нее оказалось больше поручений для меня, чем обычно, и прежде чем я успел вымолвить хоть слово, она уже вручила мне кипу разных документов.

— Миледи,— сказал я тогда, стоя перед ее столом.

— А? Что-нибудь случилось? — спросила она, бросая на меня быстрый взгляд.

— Я хотел бы питать надежду, что, подготовившись и поразмыслив, вы примиритесь с этим.

— Подготовившись и поразмыслив? Кажется, сами вы не слишком хорошо подготовились, мистер Силвермен,— презрительно бросила она, а я, как обычно, смутился под ее взглядом.

— Леди Фейруэй,— сказал я, делая первую и последнюю попытку оправдаться,— со своей стороны могу сказать только, что я старался исполнить свой долг.

— Со своей стороны? — повторила ее милость.— Так, значит, в этом замешаны и другие? Кто же они?

Я хотел уже ответить, как вдруг она так быстро протянула руку к звонку, что я умолк на полуслове, и сказала:

— Где же Аделина?

— Погодите. Успокойтесь, миледи. Я обвенчал ее сегодня утром с мистером Грэнвилом Уортоном.

Она плотно сжала губы, посмотрела на меня еще более пристально, чем всегда, подняла правую руку и сильно ударила меня по щеке.

— Отдайте мне эти документы! Отдайте мне эти документы!

Она вырвала бумаги из моих рук и швырнула их на стол. Затем, пылая негодованием, опустилась в свое кресло, скрестила руки на груди и поразила меня в самое сердце упреком, которого я никак не ожидал.

— Своекорыстный негодяй!

— Своекорыстный? — воскликнул я.— Своекорыстный?

— Вот полюбуйтесь,— продолжала она с неописуемым презрением, указывая на меня, словно в комнате был кто-то третий,— полюбуйтесь на этого ученого-бессребреника, который думает только о своих книгах! Полюбуйтесь на этого простака, которого кто угодно обведет вокруг пальца! Полюбуйтесь на мистера Силвермена, человека не от мира сего! Еще бы! Он слишком простодушен для этого хитрого света. Он слишком прям, чтобы противостоять этому коварному свету. Что он дал вам за это?

— За что? И кто?

— Сколько,— спросила она, наклоняясь вперед и оскорбительно постукивая пальцами правой руки по ла-

дони левой,— сколько мистер Грэнвил Уортон заплатит вам за то, что вы помогли ему заполучить деньги Аделины? Какой процент вы получаете с состояния Аделины? Какие условия вы навязали этому юноше, когда вы, преподобный Джордж Силвермен, облеченный правом совершать бракосочетания, обязались отдать ему руку этой девушки? Каковы бы ни были эти условия, для вас они выгодны. Где уж ему, бедняге, тягаться с таким хитрецом и лицемером!

Совсем растерявшись от ужаса при этом жестоком и несправедливом упреке, я потерял дар речи. Однако лелею надежду, что мой вид вопиял о моей невиновности.

— Выслушайте меня, хитрый лицемер,— сказала ее милость, чей гнев только возрастал, по мере того как она давала ему выход,— запомните хорошенько мои слова, подлый интриган, так хорошо носивший свою личину, что я даже не заподозрила ваших коварных замыслов. У меня были свои планы, как устроить судьбу моей дочери; планы, обещавшие знатное родство, планы, обещавшие богатство. Вы, вы встали мне поперек дороги и провели меня, но за то, что мне встали поперек дороги, за то, что меня провели, я буду мстить. Вы собираетесь пробыть в этом приходе еще месяц?

— Неужели вы полагаете, леди Фейруэй, что после ваших оскорбительных слов я пробуду здесь хотя бы час?

— Значит, вы от него отказываетесь?

— Я мысленно отказался от него уже несколько минут тому назад.

— Не виляйте, сэр! Отказываетесь вы от него?

— Без всяких условий и полностью. И я жалею только об одном — что я вообще его увидел.

— От всего сердца разделяю это ваше сожаление, мистер Силвермен. Однако запомните, сэр: если бы вы от него не отказались, я бы вас из него выгнала. Но хотя вы от него и отказались, вы не отделаетесь от меня так дешево, как вам кажется. Я разглашу эту историю. Я доведу до всеобщего сведения гнусное предательство, которое вы совершили ради денег. Ценой его вы приобрели богатство, но ценой его вы приобрели и врага. Вы позаботитесь, чтобы это богатство не ушло из ваших рук, а я позабочусь, чтобы вы не ушли из рук этого врага.

Тогда я сказал:

— Леди Фейруэй, сердце мое разбито. Пока я не вошел сейчас в эту комнату, даже возможность такой неслыханной гнусности, в которой вы меня обвиняете, не приходила мне в голову. Ваши подозрения...

— Подозрения! Как бы не так! — воскликнула она гневно.— Уверенность!

— Ваша уверенность, как вы ее называете, миледи, или ваши подозрения, как называю их я, жестоки, несправедливы и полностью лишены какого-либо основания. Больше я ничего не скажу — кроме одного: я поступил так не ради собственной выгоды или удовольствия. О себе я не думал совсем. Еще раз повторяю: сердце мое разбито. Если я по неведению совершил зло, когда стремился к добру, это уже достаточное наказание.

На это она ответила еще одним гневным «Как бы не так!», и я вышел из комнаты (кажется, я нашел дорогу ощупью, хотя глаза мои были открыты) с твердой уверенностью, что голос мой отвратителен и что я сам тоже отвратителен.

Из-за этого брака был поднят большой шум и дело дошло до епископа. Мне был сделан строгий выговор, и я чуть было не лишился сана. Много лет это темное облако не рассеивалось, и имя мое было запятнано. Но сердце мое все-таки не разбилось — если от разбитого сердца человек умирает. Ибо я остался в живых.

Аделина и ее муж не оставили меня в это тяжелое время. Те, кто знавал меня в колледже, и даже те, кому была известна там только моя репутация, также не отреклись от меня. Мало-помалу все больше людей начало верить, что я был не способен совершить то, что мне приписывалось. В конце концов мне предложили место священника в отдаленном приходе, где я теперь и пишу это объяснение. Я пишу его летом у распахнутого окна, за которым простирается кладбище — приют равно открытый для счастливых сердец, для раненых сердец и для разбитых сердец. Я пишу его для собственного успокоения, не думая о том, найдет ли оно когда-нибудь читателя.

*1868*

# КОММЕНТАРИИ

## ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ ПО ТОРГОВЫМ ДЕЛАМ

Этот интересный цикл очерков позднего Диккенса, объединенный фигурой повествователя — «путешественника не по торговым делам»,— впервые издается в советское время. Если не считать нескольких малоудачных попыток дореволюционных переводчиков, у нас еще не было перевода на русский язык этого своеобразного и талантливого публицистического произведения Диккенса. А между тем «Путешественник не по торговым делам» представляет несомненный интерес как по своим художественным достоинствам, так и для уяснения многих сложных сторон мировоззрения Диккенса.

Замысел «Путешественника» возник у писателя в 1860 году, и в этом же году Диккенс приступил к его воплощению. Очерки этого цикла он периодически продолжал писать вплоть до последнего года своей жизни. Они печатались в разное время в журнале «Круглый год». Отдельным изданием первые семнадцать очерков вышли в 1860 году; второе издание, куда были включены следующие одиннадцать очерков, появилось в 1868 году, и шесть последних очерков, которые Диккенс назвал «Новые неторговые образчики», были напечатаны в 1869 году.

Сын Диккенса, Чарльз Диккенс-младший, в своем предисловии к «Путешественнику» замечает: «Об истории создания этих очерков можно сказать лишь, что они писались в разное время, в разных местах, в перерывах между множеством другой работы». Известно, что в этот период Диккенс много путе-

шествовал, выступал с публичными чтениями своих произведений, продолжал работать над большими романами.

Название «Uncommercial Traveller» (буквально «Неторговый путешественник»), по свидетельству биографа Диккенса Форстера, происходит от «Школы торговых путешественников», (то есть разъездных торговых агентов), которой Диккенс восхищался как образцовым учебным заведением.

Из этой неожиданной аналогии возникла мысль о путешествиях не по торговым делам, главный интерес которых составляет человек во всей сложности его бытия: «Я всегда в дороге. Я езжу, фигурально выражаясь, от великой фирмы «Братство Человеческих Интересов»... наблюдая малое, а иной раз великое, и то, что рождает во мне интерес, надеюсь, заинтересует и других».

Очерки неторгового путешественника необычайно разнообразны по жанру и по тематике. Они действительно содержат и очень малое в масштабах человеческого общества, и весьма значительное.

Порой читатель видит прежнего, неудержимо веселого, остроумного юмориста Боза, пером которого созданы пронизанные добродушной иронией замечательные главы: «Нянюшкины сказки» с неподражаемым «Фаустом» нянюшкиного вображения — плотником Стружкой, продавшим душу дьяволу, «Ночной пакетбот Дувр — Кале», где юмористически описываются страдания пассажиров во время морской качки, и многие другие.

Но чаще всего великий гуманист, представляющий фирму «Братство Человеческих Интересов», беседует с читателем о злободневных, острых социальных проблемах, подводит итоги своих жизненных наблюдений, открыто негодует и в то же время пытается подчас примирить непримиримое.

Шестидесятые годы XIX века — период относительной стабилизации капитализма в Англии. Позади остались бурные годы чартистского движения. Добившись полной победы, буржуазия заговорила о процветании Британской империи. Система «прикармливания» верхушки рабочего класса и попытки некоторого камуфляжа в отношении наиболее вопиющих свидетельств нищеты — все это заслонило в глазах определенной части англичан подлинное положение беднейших масс страны.

Диккенс не относился к числу этих англичан. Свидетельством тому, наряду с блестящими сатирическими образами по-

следних романов, служат лучшие страницы «Путешественника не по торговым делам».

По справедливому замечанию Луначарского, «вмешиваясь со всей страстностью в разгоравшуюся политическую борьбу, Диккенс каждый раз пробегает всю шкалу настроений — от сентиментальной растроганности и благодушного юмора до едкого сарказма и обличительного пафоса». Сарказмом и возмущением пронизан очерк «Груз Грейт Тасмании», в котором, излагая действительные факты, Диккенс анализирует причины и сущность вопиющего преступления английских военных властей. Непримиримо звучит финал очерка, где Диккенс требует жестокого наказания преступников, иначе «...позор падет на голову правительства... и на английскую нацию, покорно стерпевшую такое злодеяние, совершенное от ее имени».

Призыв задуматься над бедственным положением неимущих звучит и в поражающем своей реалистичностью очерке «Звездочка на востоке». Диккенс размышляет над тем, «как приостановить физическое и нравственное вырождение многих (кто скажет, сколь многих?) тысяч английских граждан; как изыскать полезную для общества работу для тех, кто хочет трудом добывать себе средства к жизни; как уравнять налоги, возделать пустоши, облегчить эмиграцию и, прежде всего, спасти и использовать грядущие поколения, обратив, таким образом, непрерывно растущую слабость страны в ее силу».

«Неторговое путешествие» в Лондонский Ист-Энд так ярко воссоздает образы безработных, бесправных и голодных людей, что страницы, им посвященные, не уступают лучшим страницам диккенсовских социальных романов. Страшна своей безысходностью жизнь безработного докера и котельщика, ничто не сравнимо с убожеством их жилья, с трагедией жалкого голодного существования; ничто не сравнимо с ужасной участью женщины-работницы, погибающей от отравления свинцом. С горечью и болью пишет Диккенс об обездоленных детях Ист-Энда, о страшных причинах их болезней и смерти — недоедании и плохих жилищах.

На фоне этой трагической безысходности Диккенс увидел лишь одну крошечную звездочку надежды — детскую больницу, созданную по доброй воле молодым врачом и его женой. Всячески акцентируя внимание читателя на гуманном подвиге создателей больницы, писатель взывает к человеческому благородству и самопожертвованию. Такие выводы из столь обличи-

тельной картины соответствовали положительной программе Диккенса, мечтавшего о мирном сотрудничестве классов в рамках существующего общества. В последнее десятилетие жизни писателя становится более разительным контраст между идеалами Диккенса и его остро критическим отношением к социальной несправедливости. Это порой приводит писателя к попыткам примирить непримиримое и порождает известные противоречия в его творчестве.

«Путешественник не по торговым делам» содержит примеры таких противоречий в трактовке одной и той же проблемы.

Так очерк «В добровольном дозоре» знакомит читателя с фабрикой свинцовых белил, где работала изображенная в «Звездочке на востоке» умирающая женщина. Выясняется, что хозяева фабрики весьма добродетельны и ни в чем не повинны, ибо стремятся, как могут, обезопасить труд работниц. А сами работницы плохо это ценят и бывают «капризны». К тому же вовсе не каждый организм поддается отравлению.

Этот неожиданный вывод не может не удивить читателя, так же, как удивляет его описание работного дома в Уоппинге. Помня Диккенса — разоблачителя «тюрьмы для бедных» в «Оливере Твисте», странно читать повествование «неторгового путешественника» о чистоте и порядке в работном доме и о категории «строптивых», не желающих это ценить. Правда, Диккенс и здесь с возмущением пишет о «гнилых палатах», но теперь он уже не призывает уничтожить работные дома, а предлагает лишь распределить равномерно налог для бедных среди богатых и бедных приходов, что может дать средства для содержания образцовых работных домов.

Здесь как нельзя более четко отразились реформистские устремления Диккенса, его попытки разрешить все социальные противоречия внутри современного ему общества.

Однако в основе мировоззрения Диккенса неизменно лежит его неиссякаемый гуманизм, его вера в могущество доброго начала в человеке. Эта вера звучит порой наивно и сентиментально, но она порождает непримиримую борьбу писателя с лицемерием и ханжеством во всех их проявлениях.

Резкий протест Диккенса против ханжества и снобизма английских обрядов содержит интересный очерк «Шаманы цивилизации». О религиозном ханжестве говорится в шутливом, остроумном очерке «Бумажная закладка в книге жизни».

В очерке «Два посещения общедоступного театра» Диккенс

высмеивает проповеди, которыми пичкали англичан. Он часто обращается к библии, чтобы подчеркнуть, в каком резком противоречии находится современная церковная практика даже с библейскими канонами.

В «Кораблекрушении» — пожалуй, единственном очерке «Путешественника», написанном с «сентиментальной растроганностью»,— Диккенс рисует образ скромного провинциального священника, бескорыстно отдавшего себя служению людям. Этот образ напоминает прежних идеальных героев молодого Диккенса и отражает веру писателя в нравственную красоту простого человека, в возможность человеческого самосовершенствования.

При всей абстрактности этой идеи Диккенса, при всех его социальных заблуждениях, он был неизменно на стороне своего народа, всегда призывал улучшить жизнь тех, кого он назвал Людьми с большой буквы в своей известной политической речи в Бирмингаме (1869). «Моя вера в людей, которые правят, в общем, ничтожна. Моя вера в Людей, которыми правят, в общем, беспредельна»,— заявил Диккенс.

Во имя этих Людей писатель разоблачал самые темные стороны буржуазной действительности; будущее страны он видел в судьбе ее народа.

В «Путешественнике не по торговым делам» читатель с интересом познакомится с картинами Лондона, изображающими не парадные фасады, а самые дальние, незаметные на первый взгляд уголки. Он увидит ночной Лондон времен Диккенса и кварталы Ист-Энда — районы трущоб и бедноты. Чрезвычайно интересна картина работы Чатамских верфей. Как известно, Диккенс первым ввел в литературу в качестве полноправного художественного объекта действующую фабрику, верфи, железную дорогу.

Очерки «Неторгового путешественника» содержат широкий круг тем, картин, образов, проблем, относящихся к жизни Англии 60-х годов XIX века, и представляют несомненный интерес для современного читателя.

Стр. 8. *...вроде друида, окруженного горой образчиков величиной с целый Стонхендж.— Друиды* — жрецы у древних кельтов. Их религия основывалась на культе природы и требовала жертвоприношений, иногда даже человеческих.

*Стонхендж* — одно из древних каменных сооружений кельтов, остатки которого сохранились в Англии до сих пор; нахо-

дится в графстве Уилтшир близ Солсбери. Стонхендж связывают с обрядами друидов.

Стр. 20. *...подобно Воозу...— Вооз* —персонаж из библии.

Стр. 24. *...Ланальго, близ Молфри на Энглси...— Ланальго* — местечко, расположенное на острове Энглси, Северный Уэльс.

*Работный дом* — дом призрения для престарелых, инвалидов и детей-сирот. По закону 1834 года лиц, обращающихся к общественной помощи, в принудительном порядке помещали в работный дом.

*Индиа-Хаус* — здание в Лондоне, где размещалось управление Ост-Индской компании.

*Типу-саиб* — правитель последнего независимого государства на юге Индии, был убит в войне с англичанами в 1799 году.

*Чарльз Лэм* (1775—1834) — английский писатель и критик, около тридцати лет провел на службе Ост-Индской компании.

*«Голова Сарацина»* — известный лондонский постоялый двор, просуществовавший до 1868 года.

Стр. 26. *Коронер* — особый судебный следователь в Англии, в обязанности которого входит расследование причин смерти лиц, умерших внезапно, при невыясненных обстоятельствах.

Стр. 30. *...признал дальнюю родственницу моего почтенного друга миссис Гэмп.— Миссис Гэмп* — персонаж из романа Диккенса «Мартин Чезлвит»; отличалась слабостью к спиртным напиткам.

Стр. 35. *В Бостоне, штат Массачузетс, с этим бедным созданием обращались бы как с человеком...*— В то время Бостон, богатый торговый город в Америке, славился своими общественно-благотворительными учреждениями. Особенно рекламировались дома для бедняков, построенные в южной части города на острове Дир.

*Разве это повелели ангелы-хранители в своей, воспеваемой по сей день, хартии, когда Британия, вся в путанице аллегорий, восстала по воле небес из лазурных вод океана?* — Намек на содержание первой строфы английской патриотической песни «Правь, Британия», написанной композитором Т. Арном (1710—1778) на слова поэта Дж. Томсона (1700—1748).

Стр. 36. *...«когда они пели гимн», Некто ...поднялся на гору Елеонскую.*— Имеется в виду эпизод из евангелия, где повествуется о том, как Иисус под восторженные клики народа направился от горы Елеонской в Иерусалим на осле.

Стр. 37. *...мы со смотрителем оба масоны, сэр, и я всякий*

*раз делаю ему знак...* — *Масонство* — религиозно-этическое течение, возникшее в XVIII веке в Англии.

Свое название и обряды масоны позаимствовали от братств вольных каменщиков (XII, XIII вв.). В этих братствах тщательно оберегались от посторонних профессиональные тайны, их не доверяли даже бумаге, для общения между членами братств существовали определенные тайные знаки.

Стр. 38. *Боу-стрит* — одна из центральных улиц Лондона, на которой находилось главное полицейское управление.

Стр. 40. *...в лондонском театре «Британия»...* — В начале своего существования этот театр ставил почти исключительно мелодрамы, но постепенно стал театром разнообразного репертуара. Более пятидесяти лет (с 1841 года) во главе театра стояли супруги Лейн, поддерживавшие образцовый порядок.

Стр. 46. *...не хуже самого Крайтона понаторел в философии.* — *Крайтон* Джеймс (1560—1585), прозванный «блестящим Крайтоном», шотландец по происхождению. Был выдающимся лингвистом, владел двенадцатью языками, глубоко знал математику, теологию и философию.

Стр. 49. *...рассказать, как Христос избрал двенадцать бедняков...* — Имеется в виду евангельская история о 12-ти апостолах.

*...когда у двух сестер умер брат...* — Речь идет о Лазаре, брате Марфы и Марии, которого воскресил Христос.

Стр. 50. *...«окрашивает волны в цвет багровый»* — строка из трагедии Шекспира «Макбет», акт II, сцена 2.

Стр. 52. *...старуха, похожая на Норвудскую цыганку с картинки в старинном шестипенсовом соннике...* — Речь идет о некоей Маргарет Финч, умершей в 1760 году, как предполагают, в возрасте ста девяти лет. Ее изображение часто печаталось на обложках «волшебных» книжек как символ «Королевы цыган».

Стр. 60. *Перед комодом сидела полная пожилая дама — Хогарт изображал ее многократно...* — *Хогарт* Уильям (1697—1764) — знаменитый английский художник, основоположник нравоописательной сатиры в живописи, автор нескольких циклов гравюр, посвященных быту и нравам английского общества XVIII века. Здесь имеется в виду сводня, изображенная Хогартом в серии его гравюр «Карьера продажной женщины».

Стр. 62. *Три Парки...* — *Парки* — богини судьбы у древних римлян.

Стр. 64. *Уолворт* — пригород Лондона.

*Брикстон* — район Лондона, в прошлом один из его южных пригородов.

*Пекхем* — сельское предместье Лондона.

Стр. 65. *Что смотрит сэр Ричард Мэйн...* — В 1850—1868 годах Мэйн был главой лондонского полицейского управления.

*И хоть я британец и в качестве такового убежден, что никогда не буду рабом.* — Намек на слова из английской патриотической песни «Правь, Британия».

Стр. 70. *...подобно доктору Джонсону...* — *Джонсон* Сэмюел (1709—1784) — выдающийся английский литературовед и лингвист, автор первого английского толкового словаря. Особенности поведения д-ра Джонсона в быту породили множество анекдотов, популярных у англичан. Этому способствовала широко известная биография Джонсона, «Жизнь Джонсона», изложенная его другом и биографом Босуэлом (1740—1795).

Стр. 75. *Грейвзенд* — порт на южном берегу Темзы.

*Рочестер* — портовый город на правом берегу реки Мэдуэй, в сорока пяти километрах от Лондона, к нему примыкают Чатамские доки.

Стр. 76. *...где Фальстаф вышел грабить путешественников, а потом убежал.* — Имеется в виду эпизод из хроники Шекспира «Генрих IV» (ч. I).

*...«Дуй, хладный ветер, дуй!»...* — Фраза из песенки Амьена в пьесе Шекспира «Как вам это понравится» (акт II, сцена 7).

Стр. 77. *...(он никак не сродни Марии Лоренса Стерна)...* — *Мария* — персонаж произведений английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» и «Сентиментальное путешествие». Несчастная любовь лишила ее рассудка.

Стр. 86. *...детские стихи о Банбери-Кросс...* — Речь идет о широко известной в Англии детской песенке.

*...чем-то вроде нового тирана Геслера в кантоне Теллей...* Вильгельм *Телль* — легендарный швейцарский герой, по преданию, глава тайного союза, готовившего свержение австрийского ига. *Геслер* — наместник австрийского императора в кантоне, где жил Телль. За то, что Телль не поклонился его шляпе, Геслер приказал ему сбить стрелой яблоко с головы маленького сына, грозя за неповиновение смертью. Борьба Телля с тираном Геслером окончилась победой Телля.

Стр. 89. *Орден Виктории* — английский военный орден, учрежденный королевой Викторией в 1856 году.

Стр. 90. *...мой чиновный друг Панглос...* — *Панглос* — учитель юноши Кандида в повести Вольтера «Кандид». Он проповедует теорию оптимизма: все к лучшему в этом лучшем из миров.

*...солдаты Хэвлока...*— *Хэвлок* — английский генерал (1797—1857), участвовал в осуществлении колонизаторских планов Англии в Индии и Малой Азии. Его идеалом был солдат, воспитанный в строго пуританском духе.

Стр. 100. *Гауэр* Джон (ок. 1330—1408) — английский поэт.

*Мильтон Джон* — выдающийся английский поэт (1608—1674), автор эпической поэмы «Потерянный рай».

Стр. 104. *...времен королевы Анны.*— *Анна* Стюарт — королева Великобритании и Ирландии в 1702—1714 годах.

Стр. 109. *Майские шесты.*— Так в Англии XVIII века называли шесты, украшенные цветами и лентами, вокруг которых танцевали первого мая, в праздник весны.

Стр. 110. *Монумент* — колонна, воздвигнутая в Лондоне в память «великого пожара» 1666 года.

*...церковь из «Пути повесы»...*— *«Путь повесы»* — *серия* из восьми картин, созданная У. Хогартом в 1735 году.

Стр. 111. *...некоторые возведены по проектам Рена.*— *Рен* (1632—1723) — выдающийся английский архитектор. После пожара 1666 года ему было поручено составить проект застройки Лондона, который был, однако, осуществлен только частично. Рен — создатель таких замечательных архитектурных памятников, как собор св. Павла и Монумент.

Стр. 113. *...вдохновение скромного художника воплотилось в фигурах мистера Томаса Сейерса, Великобритания, и мистера Джона Хинана, Соединенные Штаты Америки.*— *Сейерс* и *Хинан* — известные во времена Диккенса боксеры. Знаменитый бой между ними в Фарнборо (1860) был описан Теккереем в одном из его очерков.

*...порождает у художника ассоциации в стиле Исаака Уолтона...*—*Исаак Уолтон* (1593—1683) — автор книги «Совершенный рыболов» (1653). Она построена в форме спора между рыболовом, птицеловом и охотником о ценности этих видов спорта и содержит пасторальные картины природы.

Стр. 115. *Уайтчепл* — один из беднейших районов Лондона, известный своими трущобами.

Стр. 121. *Обелиск* — колонна, воздвигнутая в южном Лондоне на площади Сент-Джордж в 1771 году в честь лорд-мэра города Кросби.

Стр. 135. *...останавливаясь на ночлег в своих «ложах», которые рассеяны по всей стране.*— Намек на ложи (ячейки) братств вольных каменщиков.

Стр. 139. *Я назову свой родной городок... Скукотаун.*— Под Скукотауном Диккенс подразумевает город своего детства Чатам.

Стр. 140. *Серингапатам* — город в Индии, был захвачен англичанами в 1799 году после длительной осады.

Стр. 142. *Если у моих дверей нет красно-зеленого фонаря и ночного звонка...*— Красно-зеленый фонарь и звонок обычно висели на дверях домов английских врачей.

*Коудл* — горячий напиток, смесь вина с яйцами и сахаром.

Стр. 144. *...впервые увидел Ричарда Третьего... который, схватившись не на жизнь, а на смерть с добродетельным Ричмондом...*— Речь идет об эпизоде из хроники Шекспира «Ричард III», акт V, сцена 5. *Ричард III* — английский король (1483—1485). *Ричмонд* — Генрих Тюдор, будущий король Генрих VII (1485—1509).

*...ведьмы из «Макбета» до ужаса походили на шотландских танов...*— В древности у англосаксов и датчан существовала категория своего рода свободных слуг или приближенных лорда — *таны*. В их обязанности входило следовать за своим господином на войну в качестве его телохранителей. Существовали королевские таны, состоявшие непосредственно при особе короля, и средние или низшие таны при второстепенных по положению баронах. Позднее таны составили касту профессиональных воинов, имевших свою земельную собственность.

Стр. 146. *Джон Беньян* (1628—1688) — английский писатель, автор религиозно-дидактического романа «Путь паломника» (1678).

*Клинопись.*— Популярность этой темы объяснялась тем, что в XIX веке английским ученым Генрихом Раулинсоном (1810—1893) была впервые расшифрована клинопись Персии, Ассирии и Вавилона.

*...предпослал балладе «Чрез поля, где зреет рожь»...*— Имеется в виду баллада Роберта Бернса (1759—1796). В русском переводе С. Маршака — «Пробираясь до калитки полем вдоль межи...»

Стр. 148. *...познакомились с Родриком Рэндомом.*— *Родрик Рэндом* — герой романа английского писателя Т. Смоллета (1721—1771) «Приключения Родрика Рэндома».

Стр. 150. *...спутал Стрэпа с лейтенантом Хэтчуэем, который не был знаком с Рэндомом, хоть и находился в близких отношениях с Пиклем.*— Речь идет о героях романов Смоллета «Приключения Перегрина Пикля» и «Приключения Родрика Рэндома».

Стр. 153. *...все предметы в этот час неузнаваемо изменились, кроме разве черепа Йорика.*— Имеется в виду череп королевского шута Йорика, о котором упоминается в V акте трагедии Шекспира «Гамлет».

Стр. 155. *...тюрьма Королевской Скамьи* — долговая тюрьма, которая существовала в Лондоне с 1755 по 1869 год. Это была последняя действующая долговая тюрьма в Англии.

Стр. 156. *...великий всеведущий мастер, который назвал сон смертью каждодневной жизни...*— Шекспир, «Макбет», акт II, сцена 3.

Стр. 160. *Грейз-Инн* — один из четырех главных судебных «Иннов» (юридических корпораций) в Лондоне, обладавших монопольным правом подготовки юристов.

Стр. 163. *...пилигримы будут ходить в Горэмбери, чтобы посмотреть памятник, изображающий Бэкона в кресле...*— Фрэнсис *Бэкон* (1561—1626) — выдающийся английский философ-материалист, борец против средневековой схоластики, «родоначальник английского материализма» (Маркс). *Горэмбери* — имение Бэкона.

*...подобно тому, как сидел на развалинах Карфагена Марий...*— *Марий* — римский полководец и политический деятель (род. в 155 году до н. э.). Будучи побежден Суллой, он бежал в Африку. Когда наместник Африки пытался принудить его покинуть страну, он просил передать ему, что беглец Гай Марий сидит на развалинах Карфагена. *Карфаген* — древний город на северном побережье Африки. Весной 146 года до н. э. он был захвачен римским войском и разрушен.

Стр. 169. *...хотели выдавить из себя Макбетово «аминь», застрявшее у них в глотке.*— Шекспир, «Макбет», акт II, сцена 2:

> «Молитвы я алкал, но комом в горле
> «Аминь» застряло».

Стр. 175. *...в водах бухты, которую переплыл Пятница, когда за ним гнались двое его проголодавшихся собратьев-людоедов...*— Имеется в виду эпизод из романа английского писателя Д. Дефо «Робинзон Крузо» (ч. I, гл. IV).

Стр. 176. *...мистера Аткинса ...когда он приплыл к берегу,*

*чтобы высадить капитана.*— Ошибка Диккенса: Аткинса не было в шлюпке, которая везла капитана, он приплыл позже («Робинзон Крузо», ч. I, последняя глава).

*Я никогда не был застигнут ночью волками на границе Франции и Испании...*— Намек на эпизод из I главы «Робинзона Крузо».

Стр. 177. *Я никогда не был в подземелье разбойников, где жил Жиль Блаз...*— *Жиль Блаз* — герой одноименного романа французского писателя Лесажа (1668—1747). Описание его жизни в подземелье разбойников занимает 4—10 главы первой книги романа.

*Бробингнег* — имеется в виду Бробдингнег — страна великанов в романе Джонатана Свифта (1667—1745) «Путешествия Лемюэля Гулливера».

Стр. 195. *Эгепимона* — буквально пристанище любви (греч.). В Англии в 1849 году была основана под этим названием религиозная община, получившая скандальную известность в связи с аморальным поведением ее членов.

Стр. 197. *...подписали обращение к лорду Шефтсбери...*— Энтони Эшли Купер, лорд *Шефтсбери* (1801—1885) был известен своей филантропической деятельностью.

Стр. 199. *...некий знатный англичанин...*— Имеется в виду лорд Дэдли Стюарт (1803—1854), известный в Англии как защитник идеи независимости порабощенных стран.

Стр. 206. *...мистер Крукшенк мог бы лишний раз показать, до чего может довести человека бутылка.*— Речь идет о Джордже *Крукшенке,* английском художнике (1792—1878). Потрясенный гибелью своего отца от алкоголизма, он с фанатической страстностью боролся против торговли спиртными напитками, используя для этого и палитру художника.

Стр. 207. *Десть* (бумаги) — старая единица счета писчей бумаги, 24 листа.

Стр. 209. *Пристань Св. Екатерины* — находится на левом берегу Темзы.

Стр. 210. *Остров Мэн* — расположен почти в центре Ирландского моря.

Стр. 215. *Волан* — закругленный с одного конца кусок пробкового дерева с насаженными на него перьями. Заменял мяч в старинной игре.

Стр. 216. *Цирк Франкони.*— *Франкони* (1738—1836) — известный дрессировщик животных.

Стр. 220. *Вобан* — знаменитый французский военный инженер (1633—1707), создатель многих военных укреплений и крепостей во Франции.

*Газебрук* — город на севере Франции.

Стр. 221. *...религиозные зрелища Ричардсона.* — *Ричардсон* — владелец популярного в середине XIX века бродячего театра, где ставили самые разнообразные зрелища от мелодрам до назидательно-религиозных представлений.

*...орнитологический... вид...* — *Орнитология* — наука, изучающая птиц.

Стр. 222. *Кассим-баба* — персонаж из «Сказок тысяча и одной ночи».

*...придавали ей сходство с мятежными толпами Мазаньелло...* — *Мазаньелло* (1623—1647) — вождь восстания неаполитанских рыбаков (1647) против испанцев, оккупировавших Неаполь.

Стр. 226. *...принадлежали к племени каннибалов...* — Название «каннибалы» (людоеды) произошло от слова «канниба» — так во времена Колумба жители Багамских островов называли жителей Гаити, которых они считали людоедами.

Стр. 230. *...выступать в роли Атласа, с достоинством несущего на плечах роскошный родовой особняк.* — *Атлас,* по древнегреческому преданию, сын титана Япета и брат Прометея. Вместе с другими титанами он хотел завладеть небом, за что Зевс осудил его держать на себе небесный свод.

*...в элегии Грея...* — *Грей* Томас (1716—1771) — английский поэт-сентименталист. В 1751 году была напечатана его элегия «Сельское кладбище», которая принесла поэту широкую известность.

*...верить юному Норвалу...* — *Норвал* — персонаж из драмы шотландского драматурга Джона Хоума (1722—1808) «Дуглас».

Стр. 231. *...на каких патагонцев они были рассчитаны?..* — *Патагонцы* (большеногие) — общее название индейцев, населявших южную часть Аргентины (Пампу и Патагонию); большая часть их была истреблена аргентинскими колонизаторами в середине XIX века. Диккенс ошибочно считает патагонцев людьми очень крупного телосложения. На самом деле они были невысокого роста, с непропорционально большой головой при коротких руках и ногах.

Стр. 236. *...из чего я заключаю, что вкус ее почтенных родителей, не удосужившихся познакомиться с Саут-Кенсингтон-*

*ским музеем, был воспитан весьма недостаточно...— Саут-Кенсингтонский музей* представлял для обозрения весьма пеструю по содержанию экспозицию, включающую произведения живописи и скульптуры, машины, книги и даже продукты животноводства.

Стр. 239. *...написал ...больше писем, чем Хорэс Уолпол.— Хорэс Уолпол* — английский писатель (1717—1797), известен как основоположник жанра романов ужаса и тайн (так называемых готических романов). Здесь имеется в виду посмертное издание «Писем» Уолпола, включающее две тысячи семьсот образцов его эпистолярного искусства.

Стр. 247. *...будто на английском престоле восседает какой-нибудь Бурбон...— Бурбоны* — французская королевская династия, занимавшая престол во Франции в XVI—XIX веках. Бурбоны проводили жесткую политику укрепления абсолютной королевской власти и беспощадного угнетения народа.

Стр. 249. *...этот вопрос мне хотелось бы задать профессору Оуэну.— Оуэн* Ричард (1804—1892) — английский натуралист-анатом.

*...привлек на мою сторону сэра Бенджамина Броди, сэра Дэвида Уилки...— Бенджамин Броди* (1783—1862) — известный английский врач. *Дэвид Уилки* (1785—1841) — шотландский живописец.

*...вроде заговора Гая Фокса.*— Речь идет о так называемом «Пороховом заговоре» (1605), который был организован католиками против короля Иакова I. Один из организаторов заговора, *Гай Фокс,* должен был поджечь бочки с порохом, установленные заранее в подвалах парламента. Однако бочки были обнаружены и заговор открыт. В день годовщины открытия Порохового заговора, 5 ноября, по улицам носили, а затем сжигали соломенное чучело Гая Фокса.

Стр. 253. *...затем последовало «А ну живей, ребята», затем «Янки Дудл»... «Боже, храни королеву!»...— «А ну живей, ребята»* — название английской народной песни. *«Янки Дудл»* — песня, возникшая в Англии во времена Кромвеля. Была завезена в Америку в эпоху войны за независимость (1775—1783) и стала там популярной народной песней. *«Боже, храни королеву»* — английский государственный гимн.

Стр. 260. *Потомки святого Георгия и Дракона.*— По преданию, св. Георгий, победитель страшного дракона, жил в конце III века н. э. Считается главным покровителем Англии.

Стр. 261. *Эктон...*— западное предместье Лондона.

Стр. 262. *Фигура... не обезображена, как, согласно мифу, были обезображены прекрасные родоначальницы племени мудрых воительниц...*— По преданию, амазонки выжигали себе правую грудь, чтобы она не мешала натягиванию лука.

Стр. 267. *Мормоны* — религиозная секта, возникшая в первой половине XIX века в Северной Америке. Религия мормонов — смесь различных верований. Их общины построены на строго иерархическом принципе, требующем от членов секты полного подчинения. У мормонов имелась тайная полиция (данаиты), не гнушавшаяся темными преступлениями и убийствами. Совершенно бесправны были женщины, в общинах допускалось многоженство.

Берега Соленого озера в Северной Америке — место, где мормоны основали свои поселения.

Стр. 269. *...давно уже мечтает добраться до пророка Джо Смита...*— Имеется в виду невежественный авантюрист *Джозеф Смит,* напечатавший в 1830 году «Книгу мормонов», в которой он объявил, что учение мормонов возникло еще до рождества Христова и что мормоны уже тогда были истинными христианами. А он, Джо Смит, по указанию ангела, нашел таинственные скрижали, на которых было записано это учение. «Библия Смита» оказалась просто неизданным романом одного пастора, однако Джо Смит, новоявленный «пророк», сумел найти себе последователей и основать первую общину мормонов.

Стр. 283. *Багатель* — игра, напоминающая бильярд.

*...позади закрытых банков могущественной Ломберд-стрит.— Ломберд-стрит* — улица в Сити, на которой сосредоточено большое число банков.

Стр. 284. *Такие превращения известны еще со времен Виттингтона.*— С именем Виттингтона (Ричард Виттингтон — историческое лицо, жившее в конце XIV — начале XV века) связана известная английская легенда о бедном ученике лондонского купца. Однажды Виттингтон решил бежать от хозяина, но вернулся, услышав в звоне церковных колоколов слова: «Вернись, Дик Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». После этого Виттингтон разбогател и трижды избирался лорд-мэром Лондона.

Стр. 285. *Таверна Гарравея* — одна из старейших кофеен в лондонском Сити; в ней обычно собирались деловые люди и заключались крупные торговые сделки.

Стр. 288. *Уильям Питт* — английский премьер-министр в 1783—1801 и 1804—1806 годах; проводил реакционную политику, в частности, добился увеличения налогов.

Стр. 289. *Заплесневелый дореформенный член парламента от этого гнилого местечка...*— Избирательная реформа 1832 года уничтожила представительство в английском парламенте от так называемых «гнилых местечек», ничтожных по территории, а порой даже ненаселенных.

Стр. 297. *Абердин* — порт на восточном побережье Шотландии. *Экзетер* — главный город графства Девоншир, лежащий на берегах реки Экс, древняя столица саксонских королей.

*Друри-лейн.*— В данном случае речь идет о районе трущоб, каким были во времена Диккенса окрестности театра Друри-лейн.

Стр. 300. *...как гонимый амоком малаец.— Амок* (японск.— убивать) — порыв преходящего бешенства. Эта болезнь была распространена среди жителей Индийского архипелага. Одержимый амоком человек бежит и безжалостно убивает всех, кто попадается ему на пути.

Стр. 307. *Медуэй* — река в графстве Кент, на которой расположены Чатамские корабельные доки.

Стр. 312. *...в каком-нибудь древнем амфитеатре (например, в Вероне)...— Верона* — город в Италии, где имеется много памятников древности, в том числе хорошо сохранившийся огромный древнеримский амфитеатр — овальное мраморное здание, рассчитанное на 22 000 зрителей.

Стр. 313. *...для игры в «Папессу Иоанну».— «Папесса Иоанна»* — распространенная в Англии карточная игра.

Стр. 314. *...чтобы прихватить их в подарок Харону для его лодки...— Харон* в греческой и римской мифологии — старик перевозчик, переправлявший через реку Ахерон в подземное царство тени умерших. Отсюда обычай вкладывать покойнику в рот между зубами медную монету для уплаты Харону за переправу.

Стр. 317. *...куда веселый Стюарт впустил голландцев...*— Имеется в виду английский король Карл II (1630—1685), двор которого отличался распущенностью нравов; Голландия была одно время его союзницей в войне с Францией.

Стр. 318. *...о хвастливом Пистоле...— Пистоль* — сподвижник Фальстафа (Шекспир, «Виндзорские кумушки», «Генрих IV» и «Генрих V»).

Стр. 328. *«Гений Франции!»* — Речь идет о Наполеоне I.

Стр. 333. *...гостил у меня один англичанин...*— Имеется в виду Ангус Флетчер, друг Диккенса.

Стр. 340. *Спикер* (буквально — оратор) — председатель палаты общин в английском парламенте.

*Суд Общих Тяжб* — гражданский суд, один из высших судов общего права в Англии, которые руководствовались нормами обычного права и судебными прецедентами, так как в Англии нет кодекса законов. В связи с этим английские юристы крайне усложнили процесс судопроизводства.

*Ливингстон* Дэвид (1813—1873) — выдающийся английский путешественник, исследователь Африки. За тридцать лет путешествий Ливингстон обследовал природу огромных пространств от Кейптауна почти до экватора и от Атлантического до Индийского океана. Особенное внимание он обращал на жизнь и нравы местных жителей.

Стр. 341. *Вестминстерское аббатство* — старинная церковь в Лондоне, основана в 616 году саксонским королем Себертом. С XI века — место коронования английских королей и королев, а также усыпальница королей, государственных деятелей и выдающихся людей Англии. В южном приделе здания находится «Уголок поэтов» — усыпальница великих английских писателей. Древнейшая часть здания находится прямо против парламента — поэтому Диккенс и рекомендует «обезвреживать» там словоохотливых парламентариев перед их появлением в парламенте.

Стр. 344. *«Эсквайр»* — в XVII веке титул «эсквайр» присваивался английским землевладельцам, позднее это слово стали ставить после имени и фамилии зажиточных буржуа, чиновников, адвокатов, судей и т. д.

Стр. 349. *Криббедж* — карточная игра.

Стр. 351. *Корнуэлл* — мыс Корнуэлл в графстве Корнуэлл — одна из крайних западных точек Англии.

Стр. 352. *...газетный лист с отчетом о похоронах ее высочества принцессы Шарлотты...— Принцесса Шарлотта* — дочь английского короля Георга IV, умерла в 1817 году.

Стр. 353. *Гринвичский пенсионер* — обитатель приюта для престарелых моряков в Гринвиче.

Стр. 360. *...на улице Ватерлоо, этом пустынном отроге Абруццских гор...— Абруццы* — горы в Италии, наиболее высокая часть Апеннин, их крутые склоны расчленены глубокими ущельями. Диккенс иронически сопоставляет широкую оживленную улицу Ватерлоо с пустынной частью Абруцц.

Стр. 363. *Карлейль* Томас (1795—1881) — английский публицист и историк.

Стр. 367. *Евгений.*— Под этим именем Лоренс Стерн выводит в «Тристраме Шенди» и «Сентиментальном путешествии» своего близкого друга Джона Голла.

*Элиза* — друг и возлюбленная Стерна Элиза Дрепер.

Стр. 370. *...зрелые потомки великана Отчаяние — в противовес отряду юного ангела Надежды.— Великан Отчаяние* и *ангел Надежды* — аллегорические фигуры из романа английского писателя Джона Беньяна «Путь паломника».

Стр. 377. *Инмэновский пароход...*— то есть пароход, принадлежащий англичанину *Инмэну* (1825—1881) — основателю пароходной линии, чьи суда курсировали между Англией и Америкой.

Стр. 379. *...просматривал знаменитую «Пляску смерти».*— Имеется в виду серия гравюр немецкого художника Гольбейна, впервые изданная в 1538 году в Лионе. В XIX веке неоднократно переиздавались.

Стр. 384. *...своим цветом напоминала краски босджесмена* — то есть бушмена (юго-западная Африка). Название *босджесмены* (bosjesmans) — то есть люди кустов, зарослей — было дано бушменам голландцами в конце XVII века. Бушмены известны как создатели интересных образцов наскальной живописи. Их красками были: сажа, известь и охра нескольких тонов.

Стр. 385. *Театр Аделфи* — театр реалистической мелодрамы, расположен на одной из главных улиц Лондона, Стрэнде.

Стр. 394. *Френология* — псевдонаучное «учение» о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека.

Стр. 395. *...бродили в толпе призраки эпохи Георга Четвертого...— Георг IV* (1762—1830) — английский король (1820—1830), поддерживал крайне реакционную политику правительства консервативной партии. Среди аристократии пользовался славой «первого джентльмена Европы». Английский народ неоднократно открыто выражал свою ненависть к Георгу IV в выступлениях и демонстрациях.

Стр. 400. *...мистер Барлоу прославился как наставник мастера Гарри Сэндфорда и мастера Томми Мертона.— Мистер Барлоу, Сэндфорд* и *Мертон* — персонажи широко известной в Англии детской книжки Томаса Дэя «История Сэндфорда и Мертона» (1783).

Стр. 404. *Харди-гарди* — старинный струнный музыкальный инструмент.

*...инструменты, характерные исключительно для Отца Вод.— Отец Вод* — река Миссисипи в Америке.

Стр. 410. *...спасающиеся от тюрьмы должники в Холирудском убежище...— Холируд* — королевский дворец в Эдинбурге, построенный на месте древнего аббатства, служившего часто резиденцией и местом погребения английских королей. Во времена католиков Холируд был убежищем для правонарушителей всех родов, на его территории они находились вне досягаемости правосудия. Но затем это стало привилегией лишь несостоятельных должников.

*Перипатетик* (буквально — «прогуливающийся») — последователь древнегреческой философской школы Аристотеля. По преданию, Аристотель преподавал свое учение во время прогулок.

Стр. 420. *...в книге покойной миссис Троллоп об Америке.*— Имеется в виду книга английской писательницы Фрэнсис Троллоп (1780—1863) «Домашние нравы американцев» (1832), в которой она излагает свои впечатления об Америке, в резко неодобрительном тоне отзываясь о нравах американцев.

Стр. 422. *«Sartor Resartus»* — философско-публицистический роман Т. Карлейля (1833—1834).

*...как выразился бы уважаемый герр Тойфельсдрек.— Тойфельсдрек* — вымышленное лицо, профессор, чей труд Карлейль якобы излагает в романе «Sartor Resartus»,

## РАССКАЗЫ 60-х ГОДОВ

### ЧЕЙ-ТО БАГАЖ

Рассказ был впервые опубликован в 1862 году в рождественском номере журнала Диккенса «Круглый год». Он создавался в соавторстве с другими писателями. Диккенсу принадлежат здесь первые четыре главы.

Стр. 429. *«Франкмасонская таверна»* — ресторан, сохранившийся до сих пор, находится на Грейт-Куин-стрит.

*«Лондон»* — старинный отель, был открыт в 1758 году, находится на Бишопсгейт-стрит.

*«Альбион»* — один из излюбленных ресторанов Диккенса. Здесь он праздновал с друзьями завершение романа «Николас Никльби». Сейчас «Альбион» — место, где собирается театральная богема.

Стр. 433. *Лорд Пальмерстон* (1784—1865) — английский реакционный государственный деятель, в 1855—1858 годах и 1859—1865 годах был премьер-министром.

Стр. 434. *Докторс-Коммонс* — система судов в Англии, охватывающая суды по делам наследственного права, церкви и адмиралтейства.

Стр. 436. *Виндзорское кресло* — деревянное кресло, изготовленное из разных пород дерева. Было очень распространено в Англии XVIII века.

Стр. 468. *«Незнакомец»* — английское название пьесы «Ненависть — раскаяние» немецкого драматурга Коцебу (1761—1819).

### МЕБЛИРОВАННЫЕ КОМНАТЫ МИССИС ЛИРРИПЕР
### НАСЛЕДСТВО МИССИС ЛИРРИПЕР

Оба рассказа были написаны для рождественских номеров журнала «Круглый год» (1863, 1864) и сразу завоевали очень большую популярность у читателей. Для работы над ними Диккенс также привлек соавторов. Лично ему принадлежат в «Меблированных комнатах миссис Лиррипер» две первые главы, в «Наследстве миссис Лиррипер» — первая и последняя главы.

Стр. 491. *...завела дело в Излингтоне.— Излингтон* — северная окраина Лондона.

Стр. 493. *Новый Южный Уэльс* — западный штат Австралии.

Стр. 494. *Монумент на Чаринг-Кросс* — конная статуя английского короля Карла I Стюарта на одной из центральных площадей Лондона.

Стр. 533. *Кавалер ордена Бани.— Орден Бани* — одна из высших наград в Англии.

Стр. 534. *...на манер барона Тренка...*— Фридрих *Тренк* — немецкий авантюрист, издавший в 1787 году свои мемуары. В 1794 году Тренк был гильотинирован по приказу Робеспьера, как тайный агент Пруссии.

Стр. 538. *...напоминал мне Гамлета и того другого джентльмена в трауре...*— Имеется в виду Лаэрт, который носил траур по отцу (Шекспир, «Гамлет»).

Стр. 542. *...с каменщиком лимерикской веры.— Лимерик* — город в Ирландии.

Стр. 546. *Плимутский брат...*— «Плимутские братья» — мистическая секта, основанная в Плимуте Джоном Дарби (1800—1882). Из Англии секта была изгнана духовенством, и Плимутские братья появились затем в других странах, главным образом в США.

Стр. 548. *«Альманах старика Мура»* — старинный английский календарь, составленный в 1701 году Френсисом Муром, содержал предсказания будущего.

Стр. 549. *...на манер маленького Фортуната...— Фортунат* — герой народной легенды о мальчике-нищем, получившем от Судьбы волшебный кошелек, в котором никогда не переводились деньги.

## РОМАН, СОЧИНЕННЫЙ НА КАНИКУЛАХ

Впервые был напечатан в американском журнале «Our Joung Folks» в январе — мае 1868 года.

Стр. 588. *Галеон* — старинный военный испанский корабль.

Стр. 592. *Ямс* — съедобный клубень тропического растения, произрастающего в Индии и на Вест-Индских островах.

## ОБЪЯСНЕНИЕ ДЖОРДЖА СИЛВЕРМЕНА

Рассказ был написан Диккенсом для американского журнала «Атлантик Мансли» и опубликован впервые в январе — марте 1868 года.

Стр. 614. *...Иаков Первый, понаделавший кучу баронетов...— Иаков I* — английский король (1603—1625). В период с 1611 по 1621 год Иаков I, стремясь получить возможно больше средств для королевской казны, злоупотреблял торговлей титулами.

Стр. 630. *Леди Джейн Грей* (1537—1554) — англичанка, образованнейшая женщина своего времени; в пятнадцать лет она уже владела греческим, латинским, итальянским и французским языками.

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПУТЕШЕСТВЕННИК НЕ ПО ТОРГОВЫМ ДЕЛАМ

*Переводы Ю. Кагарлицкого (главы I—XVI), В. Ефановой (главы XVII—XXIX) и Н. Новикова (главы XXX—XXXVII).*

**РАССКАЗЫ 60-х ГОДОВ**

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

*Собр. соч., т. 26*

Редактор Э. Раузина
Художник Н. Семпер
Художеств. редактор Л. Калитовская
Технический редактор Г. Каунина
Корректор В. Элькин

Сдано в набор 19/V 1961 г. Подписано к печати 16/I 1962 г. Бумага 84 × 108¹/₃₂. 20,75 печ. л. 34,03 усл. печ. л. 33,62 уч.-изд. л. Тираж 430 000 (1—150 000) экз. Заказ № 2672. Цена 1 р. 10 к.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Н-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий»
Госполитиздата Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.